This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

REESE LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class 836
F.07
e

Полное собраніе сочиненій

Ивана Ивановича ПАНАЕВА.

Изданіе Н. Г. Мартынова.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Ивана Ивановича

ПАНАЕВА.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1888.

И. И. ПАНАЕВЪ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ,

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПИСЕМЪ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ.

Литературныя воспоминанія 1830—1847. — Воспоминанія о Бѣлинскомъ.—Похороны Добролюбова.— Некрологъ Мартынова.—Рашель въ Петербургѣ.— Письма.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книгопродавца Н. Г. МАРТЫНОВА.

1888.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

DEC 2 2 1..

REESE

Типографія В. Безобразова и Комп. (Вас. Остр., 8 л., № 45).

813/6
P187
PG=337
P2 L58
1888
MAIN

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1830—1839.

стр.

ГЛАВА I. Вступленіе.—Благородный пансіонъ при Петербургскомъ университетѣ. — Профессора и преподаватели. — Моя любовь къ литературѣ. — Рѣчь на актѣ. — Графъ Хвостовъ. — Письмо ко мнѣ литератора Римскаго-Корсакова. — Литературный вечеръ у него. — М. И. Глинка и баронъ Дельвигъ. — Литературные шуты. — Экзамены. — Пирамида и шапочка. — Выходъ нашъ изъ пансіона съ помощію влюбленнаго инженера. — Нѣсколько заключительныхъ словъ 1

ГЛАВА II. Первое время послѣ выхода изъ пансіона. — Мои литературныя упражненія и чтеніе.—Классицизмъ и романтизмъ, Notre dame de Paris. — Моя неудавшаяся попытка печататься.—Первый нравственный толчокъ, полученный мною по поводу моего разсказа о подаренной дѣвкѣ. — Мои знакомства. — Фантазіи о военной службѣ и камеръ-юнкерскомъ мундирѣ. — Опредѣленіе меня на службу. — В. М. и Д. М. Княжевичи. — Моя отставка. — Первая моя напечатанная повѣсть, поощрившая меня къ дальнѣйшей литературной дѣятельности. — Встрѣча съ Пушкинымъ у Смирдина. — Нѣсколько словъ о Пушкинѣ. — Толки о дѣятельности. — «Торквато Тассо» Кукольника и мое знакомство съ его авторомъ 29

ГЛАВА III. Дальнѣйшее знакомство мое съ Кукольникомъ.— Его поклонники. — Первое представленіе «Рука Всевышняго» и ярость его поклонниковъ. — Тріумвиратъ, образовавшійся изъ трехъ представителей искусствъ: Брюлова, Глинки и Кукольника. — Ихъ дружба. — Чиновники особыхъ порученій при авторитетахъ. — Середы Кукольника. — Булгаринъ. — Ужинъ у Кукольника. — М. И. Глинка. — Каррикатурный альбомъ Степанова. — Продолженіе моей службы.

207282

стр.

Князь Ширинскій-Шихматовъ. — Балъ у него. — Умирающій Сварникъ-Сварацкій. — Толки о Краевскомъ въ департаментѣ. — Мое знакомство съ Краевскимъ. — Переводъ «Отелло». — Знакомство съ Каратыгинымъ, Брянскимъ и княземъ Шаховскимъ. 46

ГЛАВА IV. Литературныя сборища по утрамъ у Краевскаго.— Баронъ Розенъ, Якубовичъ, Благиславлевъ съ «Утреннею Зарею», Гребенка, Бернетъ, Степановъ, Струйскій и другіе. — Появленіе Бенедиктова. — Чтеніе «Хевери». — Соколовскій. — Воейковъ. — Литературный вечеръ у меня. — Знаменитый обѣдъ, данный Воейковымъ при открытіи новой типографіи, на деньги купца Жукова. — Русская пляска. 68

ГЛАВА V. Альманахъ въ память открытія типографіи. — Э. И. Губеръ. — Вечеръ у Воейкова въ великомъ посту. — Чтеніе «Сумасшедшаго дома». — Нумеръ «Русскаго Инвалида», присланный мнѣ Воейковымъ съ надписью на память. — Юбилей Крылова. С. Н. Глинка на этомъ юбилеѣ. — Литературно-великосвѣтскія субботы у князя В. Ѳ. Одоевскаго. — Сахаровъ, издатель «Сказаній Русскаго народа». — Отецъ Іакинфъ. — Отношенія Одоевскаго къ молодымъ литераторамъ. — С. А. Соболевскій. — Смерть Пушкина и разборъ его бумагъ. — Имя Краевскаго на оберткѣ «Современника», вмѣстѣ съ именами князя Вяземскаго, Жуковскаго и Плетнева 87

ГЛАВА VI. Вечера у графа Ѳ. П. Толстого. — Кукольниковская партія. — Вечеръ у Гребенки. — Шевченко. — Сотрудникъ Сенковскаго и М. А. Языковъ. — Серапіоновы литературные вечера во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ. — А. А. Комаровъ. — П. В. Анненковъ и капитанъ Клюге фонъ-Клугена у. — Знакомство мое съ Н. А. Майковымъ. — 14-лѣтній Аполлонъ Майковъ. — И. А. Гончаровъ и Г. Дудышкинъ. Кукольникъ въ кругу офицеровъ. — Пріѣздъ А. В. Кольцова въ Петербургъ. — Мое сближеніе съ нимъ. — Разговоры о Бѣлинскомъ. — Впечатлѣніе, произведенное на меня «Литературными мечтаніями» Бѣлинскаго 105

ГЛАВА VII. Запрещеніе «Телескопа». — «Библіотека для Чтенія», Сенковскій и геніи, имъ созданные. — Возвращеніе больнаго Надеждина изъ Устъ-Сысольска. — Мое сближеніе съ нимъ. — Надеждинъ, какъ собесѣдникъ. — Отвѣтъ Надеждина на вопросъ: почему теперь нѣтъ хорошихъ стиховъ? — Отношенія Надеждина къ разнымъ издателямъ. — Два слова о Н. И. Гречѣ. — Гоголь у Прокоповича. — Башуцкій и его вечера. — Приготовленія къ изданію «Отечественныхъ Записокъ». — Разговоръ мой съ Краевскимъ по этому поводу. — Объявленіе объ изданіи «Отечественныхъ Записокъ» . . 121

ГЛАВА VIII. Начало «Отечественныхъ Записокъ». — Графъ Соллогубъ и «Исторія двухъ калошъ». — Лермонтовъ и его отношенія къ Краевскому. — Стихотвореніе его: «Есть рѣчи...». — Впечатлѣніе, произведенное на Лермонтова появленіемъ его «Казначейши» въ «Современникѣ» Плетнева. — Пріѣздъ въ Петербургъ Межевича и пріемъ, сдѣланный ему Краевскимъ. — Отъѣздъ въ Москву. — Эпилогъ къ 1-й части. 137

RLESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

стр.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 1839—1847.

ГЛАВА I. Москва. — Знакомство съ кружкомъ Бѣлинскаго. — Семейство С. Т. Аксакова. — Бѣлинскій и Константинъ Аксаковъ. — Обѣды и вечера у Аксаковыхъ. — И. Е. Великопольскій. — Балъ, данный имъ на Прѣсненскихъ прудахъ, и иллюминація. — М. Н. Загоскинъ. — Обѣдъ у него. — Моя поѣздка съ нимъ на Воробьевы горы. — Мочаловъ въ «Гамлетѣ» и «Отелло». — Странное предложеніе Погодина. — Вечера у Мельгунова. Стихи Хомякова и отрывокъ изъ письма ко мнѣ Краевскаго по ихъ поводу. — Павловъ и Хомяковъ, разсуждающіе о Милькѣевѣ. — Чтеніе «Тоски по родинѣ» у Аксаковыхъ. — Моя статейка о Москвѣ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Инвалиду». — Разговоръ мой съ К. С. Аксаковымъ на берегу Москвы-рѣки у Драгомиловскаго моста 154

ГЛАВА II. Кетчеръ. — Нѣсколько словъ о кружкахъ, къ которымъ принадлежалъ онъ. — М. С. Щепкинъ и его семейство. — Поѣздка въ Химки къ нему на дачу. — Гоголь у Аксаковыхъ. — Чтеніе I главы «Мертвыхъ Душъ». — Представленіе «Ревизора» въ присутствіи автора — Н. Ф. и К. К. Павловы. — Кетчеръ и Павловъ . 176

ГЛАВА III. Воззрѣнія Бѣлинскаго и его кружка въ 1839 году. — Встрѣча Бѣлинскаго съ студентомъ Кавелинымъ. — Мои письма къ Краевскому о Бѣлинскомъ. — Отрывки изъ письма ко мнѣ Краевскаго. — Мой отъѣздъ изъ Москвы въ деревню. — Возвращеніе въ Москву. — Еще письмо Краевскаго. — Вечера у Бакунина. — Статья Бѣлинскаго по поводу книжки о «Бородинской Годовщинѣ». — Негодованіе Бѣлинскаго противъ Менцеля. — Отъѣздъ мой съ Бѣлинскимъ изъ Москвы. 196

ГЛАВА IV. 208

ГЛАВА V. Грановскій и московскій кружокъ . . . . . —

ГЛАВА VI. Бѣлинскій въ Петербургѣ. — Пріѣздъ Бакунина. — Его посѣщеніе. — Переѣздъ Бѣлинскаго отъ меня на Петербургскую сторону. — Пріѣздъ Каткова, остановившагося у меня. — Наши занятія и гулянья. — Переводъ нашъ «Путеводителя въ Пустынѣ», Купера. — Ссора Каткова съ Бакунинымъ у Бѣлинскаго. — Толки о дуэли. — Книгопродавецъ Поляковъ. — Отъѣздъ Бакунина и Каткова за границу. — Полгора года страдальческой жизни Кетчера въ Петербургѣ. 244

ГЛАВА VII. Нашъ петербургскій кружокъ. — Субботы у меня. — Увлеченіе Бѣлинскаго Леру и Жоржъ-Зандомъ. — Revue Independante. — Неловкое положеніе Краевскаго, вслѣдствіе новаго направленія Бѣлинскаго. — Женитьба Бѣлинскаго. — Кречетовъ. — Ударъ паралича. — Некрасовъ. — Знакомство съ нимъ и съ Григоровичемъ. — Появленіе Тургенева. — Два слова объ эксплуататорахъ . . . 254

стр.

ГЛАВА VIII. Бѣлинскій внѣ своего кружка. — Военный исторіографъ. — Обѣдъ у Башуцкаго и чтеніе его. — Обѣды и вечера А. С. Комарова. — Лажечниковъ и его неудачное исканіе мѣста директора московскихъ театровъ. — Смерть Воейкова и Полевого. — Отношеніе тогдашнихъ литераторовъ къ «Отечественнымъ Запискамъ». — Нѣсколько словъ о Губерѣ 268

II.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Воспоминанія о Бѣлинскомъ 285
По поводу похоронъ Н. А. Добролюбова 317
Некрологъ Мартынова 326
Рашель въ Петербургѣ. 338

III.

ПИСЬМА РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ

КЪ И. И. ПАНАЕВУ.

И. С. Тургенева 397
А. В. Головнина 410
Б. Н. Мансурова 412
В. П. Боткина. . . . . —
П. К. Щебальскаго 414
А. Н. Островскаго . . . . . —
Гр. А. Н. Толстаго . . . . . —
М. Н. Лонгинова 415
Д. В. Григоровича 417

Поясненіе къ «Воспоминаніямъ».

I.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

отъ 1830 до 1839 годовъ.

ГЛАВА I.

Вступленіе. — Благородный пансіонъ при Петербургскомъ университетѣ. — Профессора и преподаватели.—Моя любовь къ литературѣ.—Рѣчь на актѣ.—Графъ Хвостовъ. — Письмо ко мнѣ литератора Римскаго-Корсакова. — Литературный вечеръ у него.—М. И. Глинка и баронъ Дельвигъ.—Литературные шуты.—Экзамены.—Пирамида и шапочка.—Выходъ нашъ изъ пансіона съ помощію влюбленнаго инженера.—Нѣсколько заключительныхъ словъ.

Приступая къ моимъ литературнымъ воспоминаніямъ, я долженъ сказать о самомъ себѣ, на столько, на сколько это необходимо для связи разсказа. Я буду говорить о себѣ съ полною откровенностью. Обличать самого себя труднѣе, чѣмъ другихъ; но я постараюсь быть твердымъ и не поколеблюсь при мысли, что моя откровенность можетъ подать поводъ къ болѣе или менѣе остроумнымъ выходкамъ противъ меня журнальныхъ и газетныхъ чиновниковъ. Такія выходки давно уже не производятъ на меня никакого впечатлѣнія. Отрѣшившись мало-по-малу отъ бо́льшей части дикихъ взглядовъ и предразсудковъ той среды, въ которой я взросъ и воспитался, я могу говорить о своемъ прошедшемъ, не смущаясь.

Я учился въ благородномъ пансіонѣ при Петербургскомъ университетѣ (теперь 1-я гимназія). Передъ этимъ я былъ помѣщенъ въ *высшее училище* (теперь 2-я гимназія), въ которомъ я пробылъ только двѣ недѣли. Я умолялъ и плакалъ, чтобы меня взяли оттуда, потому-что не хотѣлъ учиться вмѣстѣ съ дѣтьми разночинцевъ и ремесленниковъ. Въ двѣнадцать лѣтъ, несмотря на совершенное ребячество, я уже былъ глубоко проникнутъ чувствомъ касты, сознаніемъ своего дворянскаго достоинства. Мольбы мои взять меня изъ высшаго училища нашли не только совершенно основательными, но даже нѣкоторые изъ близкихъ мнѣ людей разсказывали объ этомъ своимъ знакомымъ съ гордостію. «Дитя, а какія высокія чувства!» и я выигралъ этимъ въ глазахъ родныхъ и знакомыхъ.

Меня опредѣлили въ благородный пансіонъ...

Эти благородные пансіоны существовали единственно только для дѣтей привиллегированнаго класса, родителямъ которыхъ казалось тогда обременительнымъ и безполезнымъ подвергать своихъ избалованныхъ и изнѣженныхъ дѣтокъ излишнему труду и тяжелому университетскому курсу, наравнѣ съ какими-нибудь разночинцами и семинаристами. Курсъ благородныхъ пансіоновъ едвали былъ не ниже настоящаго гимназическаго курса, а между-тѣмъ эти пансіоны пользовались равными съ университетами привиллегіями. Нѣкоторые профессора университета и учителя не скрывали по этому поводу своего негодованія и высказывали его очень рѣзко, особенно на экзаменахъ. Они пожимали плечами, покачивали головами и справедливо замѣчали, что награждать университетскими привиллегіями такихъ *неучей, какъ мы* — вопіющая несправедливость. Объ этомъ намъ особенно часто повторялъ учитель латинскаго языка, преподававшій этотъ языкъ также и въ высшемъ училищѣ. Онъ съ какимъ-то особеннымъ ожесточеніемъ нападалъ на насъ. Неблаговоспитанность его доходила до крайнихъ предѣловъ. Если кто-нибудь изъ насъ не зналъ урока и повторялъ подсказываемое ему сзади товарищемъ,—то учитель, насупивъ свои густыя брови, восклицалъ обыкновенно:

— Коли будешь слушать чужія рѣчи, то тебѣ взвалятъ осла на плечи. — Болванъ!

При такихъ грубыхъ выходкахъ, оскорбленные ученики поднимались со своихъ скамеекъ и въ одинъ голосъ говорили:

— Покорно прошу обращаться съ нами вѣжливѣе. Здѣсь не высшее училище. Мы дворяне.

— Ахъ, вы пустоголовые дворяне! возражалъ учитель:— ну какой въ васъ толкъ? Да у меня въ высшемъ училищѣ послѣдній ученикъ, сынъ какого-нибудь сапожника, безъ одной ошибки прочитаетъ глаголъ amo, покуда я его держу на воздухѣ за ухо...

Профессоръ математики, экзаменовавшій насъ, обыкновенно повторялъ со злобою:

— Нѣтъ, никуда вы не годитесь... развѣ только въ гусары, либо въ уланы.

Впрочемъ нѣкоторые профессора и учителя, самые неумолимые, строгіе и грубые, оказывались не только снисходительными, даже нѣжными съ тѣмъ изъ насъ, которые передъ экзаменомъ адресовались къ нимъ съ просьбою о приватныхъ урокахъ. Къ числу таковыхъ принадлежалъ и неблаговоспитанный учитель латинскаго языка.

Когда ученикъ являлся къ нему передъ экзаменомъ съ просьбою о приватныхъ урокахъ, учитель латинскаго языка обыкновенно пріятно ухмылялся и говорилъ:

— Я преждупреждаю васъ, что я беру за уроки дорого... 25 р. за урокъ. Шесть уроковъ для васъ будетъ довольно. Это будетъ стоитъ вамъ 150 р.—и деньги покорнѣйше прошу впередъ.

Ученикъ отдавалъ ему деньги. Учитель являлся на первый урокъ, объявлялъ ему то, что именно онъ спроситъ его на экзаменѣ, и затѣмъ уже болѣе не являлся на остальные пять уроковъ, отговариваясь неимѣніемъ времени, или болѣзнью.

Къ такимъ наставникамъ мы не могли питать уваженія; къ тому же ихъ рутинное, пошлое, устарѣлое преподаваніе по самымъ жалкимъ курсамъ—не могло не только заохотить насъ къ ученію, но просто отвращало насъ отъ этой мертвой науки—и мы принуждали себя учиться только для того, чтобы получить извѣстный классъ... Наши умственныя способности нисколько не развивались; онѣ, напротивъ, тупѣли, забитыя

рутиной. Безсмысленное заучиванье наизусть, слово въ слово по книгѣ, было основой ученія, и потому самые тупые ученики, но одаренные хорошею памятью, всегда выходили *первыми*.

Пошлость, тупоуміе и разныя нелѣпыя выходки нашихъ наставниковъ заставили насъ смотрѣть на нихъ, какъ на шутовъ и забавляться надъ ихъ смѣшными и слабыми сторонами.

Профессоръ исторіи Т. О. Роговъ, вяло преподававшій намъ исторію по Кайданову, маленькій, тучный человѣкъ, страстный охотникъ до ватрушекъ, читалъ намъ однажды объ Лжедимитріи. Нѣкоторые изъ учениковъ запаслись наканунѣ, за ужиномъ, сырниками и положили ихъ утромъ разогрѣть въ печь... Запахъ творога началъ щекотать тонкое обоняніе профессора и онъ, не докончивъ фразы, сошелъ съ каѳедры и отправился прямо къ печной заслонкѣ, отворилъ ее и, запустивъ руку въ печь, воскликнулъ:

— Ужъ тутъ у васъ навѣрно положены ватрушки.

— Это, Т. О., замѣтилъ одинъ изъ учениковъ: — лжеватрушки, потому-что это сырники.

Невинное замѣчаніе это показалось профессору оскорбленіемъ преподаваемой имъ науки и нарушеніемъ дисциплины. Онъ взглянулъ съ любовью на сырникъ, положилъ его въ печь и, обратившись къ ученику, сдѣлавшему замѣчаніе, съ строгимъ видомъ, произнесъ:

— А вотъ я сведу васъ къ инспектору за вашу неприличную и неумѣстную выходку... и погрозилъ ученику, но потомъ, успокоившись, взошелъ на каѳедру, растеревъ предварительно нѣсколько плевковъ на полу, которые онъ не могъ равнодушно видѣть, что, конечно, заставляло учениковъ заплевывать весь полъ передъ его приходомъ.

Т. О. Роговъ бралъ съ насъ подписку на свой курсъ исторіи. Онъ говорилъ, что этотъ курсъ у него совсѣмъ готовъ, стоитъ только приступить къ печатанію; но прибавлялъ наивно, что онъ боится разбойника Полевого, для котораго нѣтъ ничего священнаго, и который, пожалуй, обругаетъ его.

Преподаватель математики К. А. Шаликовскій былъ еще забавнѣе профессора исторіи. Шаликовскій былъ поэтъ. Разсѣянный, блѣдный, вѣчно съ взъерошенными волосами, онъ

часто останавливался среди своихъ вычисленій, бросалъ съ негодованіемъ мѣлъ, отходилъ отъ доски и восклицалъ тоненькимъ пѣвучимъ голосомъ:

— Мнѣ эта сушь надоѣла, господа... Что вамъ задалъ къ переводу латинскій учитель? — Дайте я вамъ переведу. Я вѣдь многія мѣста изъ Саллюстія знаю наизусть...

Ученики, разумѣется, съ радостью исполняли его желаніе, и онъ тутъ же принимался переводить, забывая о своей математикѣ.

Онъ не зналъ ни одного ученика въ лицо, и запомнилъ фамилію только одного, который ходилъ съ костылемъ; но если ученикъ съ костылемъ не зналъ урока, то на вызовъ учителя стоило только выйти другому, вооруженному костылемъ. Учитель никогда не замѣчалъ этой продѣлки.

Преподаватель правъ — А—ій, маленькій, худенькій господинъ, съ черными масляными глазками и съ хохолкомъ напереди, очень смѣшно пришепетывавшій, болѣе всѣхъ подвергался оскорбленіямъ воспитанниковъ. Его никто никогда не слушалъ, во время его классовъ разговаривали, кричали, играли подъ столомъ въ орлянку и въ карты, а иногда цѣлыя скамейки двигались на него, образовывали около него каре и тѣснили его къ стѣнѣ. Онъ сердился, плакалъ, выбѣгалъ изъ класса и второпяхъ опускалъ ноги въ калоши, не замѣчая, что онѣ налиты квасомъ. Когда по его просьбѣ его перевели въ Ришельевскій лицей и онъ въ послѣдній разъ явился къ намъ на лекцію, его прощаніе съ нами было смѣшно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оставило въ насъ тяжелое впечатлѣніе.

«Господа! — говорилъ онъ: — я прощаю вамъ тѣ оскорбленія, котолія вы постоянно наносили мнѣ. Ластанемся длузьями... Мозетъ быть, господа, кто знаетъ?... (и въ эту минуту на глазахъ его показались слезы) звѣзда сцастія заголиться для меня надъ Эвксинскимъ Понтомъ....»

Въ этотъ разъ надъ нимъ никто не смѣялся, и когда одинъ изъ воспитанниковъ хотѣлъ при выходѣ его дать ему щелчокъ въ затылокъ, — другіе остановили его... Онъ крѣпко жалъ всѣмъ руки, и лицо его выражало грустное умиленіе отъ чувства признательности за то, что съ нимъ въ послѣдній разъ обошлись по-человѣчески.

Одинъ только изъ всѣхъ учителей пользовался нѣкоторой любовью и вниманіемъ воспитанниковъ, за свой смѣлый и свободный образъ мыслей. Это былъ учитель русской словесности В. И. Кречетовъ, издавшій поэму Подолинскаго «Дивъ и Пери» съ краткимъ предисловіемъ, въ которомъ сказано было, что «это такой цвѣтокъ въ вертоградѣ нашей словесности, мимо котораго нельзя пройти не полюбовавшись». Кречетовъ былъ изъ семинаристовъ. Онъ имѣлъ съ небольшимъ лѣтъ 30, былъ высокаго роста, коренастаго тѣлосложенія, съ орлинымъ носомъ, съ головою въ формѣ груши, какъ у Людовика-Филиппа, покрытою бѣлокурыми волосами съ завитками на вискахъ. Волосы эти начинали рѣдѣть, что повидимому его безпокоило, потому-что онъ имѣлъ нѣкоторое поползновеніе къ свѣтскости и щегольству, и онъ безпрестанно запускалъ свои пальцы въ волосы, отряхалъ пальцы передъ глазами, бралъ для чего-то выпавшій волосъ, разсматривалъ его и раздиралъ не безъ нѣкотораго ожесточенія. Онъ имѣлъ также особую манеру сморкаться: вынималъ изъ кармана чистый платокъ, отряхивалъ его, высмаркивался въ самый кончикъ, завертывалъ его тщательно и потомъ оскаливалъ зубы и потрясалъ головою... Большимъ краснорѣчіемъ онъ не обладалъ, но какъ-то вздувалъ и взмыливалъ свои фразы, добавляя недосказанное жестами руки и различными тѣлодвиженіями. Смѣлость и свободный образъ мыслей его заключались въ томъ, что онъ открыто и прямо называлъ Пушкина великимъ поэтомъ и даже приносилъ намъ его новыя стихотворенія, прочитывалъ ихъ и разбиралъ ихъ красоты. Тогда это была дѣйствительная смѣлость, потому-что даже имя Пушкина, какъ безнравственнаго и либеральнаго писателя, нельзя было произносить въ учебныхъ заведеніяхъ. Кречетовъ при томъ подсмѣивался надъ всѣми піитиками и риторикамн и говорилъ, что онъ только по необходимости преподаетъ намъ всѣ эти пошлости. Онъ занималъ насъ разсказами о своихъ литературныхъ связяхъ и, упоминая о Баратынскомъ и Дельвигѣ, обыкновенно прибавлялъ: *мой* Дельвигъ, *мой* Баратынскій, или мой *Евгеній*. Изъ древнихъ писателей, знакомствомъ которыхъ онъ любилъ щегольнуть, Кречетовъ болѣе всѣхъ восхищался Гораціемъ и называлъ его также *мой* Горацій.

Онъ любилъ подтрунить при случаѣ надъ другими нашими

преподавателями и называлъ ихъ, съ презрительной гримасой, глупыми старовѣрами; нерѣдко намекалъ намъ о томъ, что у него въ головѣ роятся тысячи мыслей, но что недостатокъ времени не даетъ ему возможности олицетворить эти мысли въ поэтическіе образы. Одинъ онъ изъ всѣхъ нашихъ учителей отзывался съ уваженіемъ о Полевомъ и о его «Московскомъ Телеграфѣ». Онъ обращался съ нами по-пріятельски, не давая чувствовать силу своей учительской и начальнической власти, какъ другіе, и обнаруживалъ особенное расположеніе къ тѣмъ воспитанникамъ, у которыхъ начинала проявляться страсть къ русской словесности. Въ теченіе своего годоваго курса онъ почти не упоминалъ намъ о реторикѣ и только къ концу года, передъ экзаменомъ, давалъ намъ небольшую тетрадку, заключавшую въ себѣ реторику и піитику вмѣстѣ, заучивать наизусть... На лекціяхъ же занимался разборомъ нашихъ сочиненій, подтрунивалъ и острилъ надъ ними, декламировалъ намъ стихи Державина, Батюшкова, Жуковскаго, Козлова и, втайнѣ отъ начальства, Пушкина, Баратынскаго, Языкова и Дельвига. Онъ представлялъ намъ характеристики этихъ поэтовъ, разсыпая въ страшномъ количествѣ прилагательныя. Онъ краснорѣчиво говорилъ, что *строй лиры Державина отличается необыкновенною возвышенностью*, что *Державинъ высоко паритъ, какъ орелъ, и гордо ширяетъ въ поднебесьи* (и при этомъ размахивалъ руками), что *смѣлостью и яркостью фантазіи, блескомъ и роскошью своихъ образовъ и картинъ онъ равняется съ древними скандинавскими бардами*; что Батюшковъ *напитался классическимъ духомъ и заимствовалъ у классиковъ ихъ скептицизмъ*, что Жуковскій и Козловъ *свели насъ въ міръ таинственный и новый и познакомили насъ съ романтизмомъ* (слово романтизмъ Кречетовъ обыкновенно произносилъ въ-носъ) и прочее. Любимыми словами Кречетова при такихъ характеристикахъ были: *полнота*, *округлость*, *сочность*, *музыкальность*, *гармонія*, — и онъ безпрестанно повторялъ ихъ при разборѣ новѣйшихъ поэтовъ, особенно Пушкина и Языкова. Произнося слова «сочный», «округлый», онъ какъ бы подтверждалъ окончательно эту полноту и округлость движеніями рукъ.

Однажды Кречетовъ явился къ намъ въ классъ съ таинственнымъ и торжествующимъ видомъ. Онъ сѣлъ на свой

стулъ, провелъ рукою по волосамъ и, разодравъ выпавшій волосъ, обозрѣлъ всѣхъ насъ значительно, потомъ высморкался въ кончикъ платка и наконецъ произнесъ:

— *Въ послѣднихъ числахъ сентября!*...—Въ послѣднихъ числахъ сентября!... произнесъ онъ еще выразительнѣе, остановившись на минуту. — Господа, продолжалъ онъ, ну, что, кажется, можетъ быть обыкновеннѣе, пошлѣе, вседневнѣе, прозаичнѣе этихъ словъ? Эти слова мы произносимъ ежедневно, ежеминутно, въ самыхъ ничтожныхъ разговорахъ... *Въ послѣднихъ числахъ сентября!* Какая проза! А между-тѣмъ, господа, это первый стихъ прелестной, игривой, бойкой, ловкой, остроумной поэмы, которая вся искрится поэзіей. Вы думаете, что я шучу — нисколько: этими словами начинается новая поэма Пушкина: «Графъ Нулинъ».

И вслѣдъ затѣмъ Кречетовъ прочелъ намъ нѣсколько отрывковъ изъ «Нулина», все однако посматривая на дверь, со стеклами въ корридоръ, въ которую нерѣдко заглядывали инспекторъ и его помощникъ. Окончивъ чтеніе, онъ воскликнулъ:

— Начать поэму такими пустыми, прозаическими словами, какъ *въ послѣднихъ числахъ сентября* — это, господа, я вамъ скажу, величайшая дерзость. Только Пушкинъ могъ рѣшиться на это. Вотъ что̀ значитъ геній! Вы, однако, господа, прибавилъ Кречетовъ: — не разсказывайте о томъ, что здѣсь говорится и читается, вашему начальству. Сору изъ избы выносить не надо.

— Какъ можно! Сохрани Богъ! кричали воспитанники въ одинъ голосъ.

Послѣ этого понятно, почему Кречетова они любили и почему ставили его выше другихъ преподавателей, хотя онъ не отличался отъ нихъ ни особенными знаніями, ни особеннымъ умомъ, ни даже блескомъ слова.

На меня Кречетовъ обращалъ большое вниманіе, потому-что я по-русски писалъ правильнѣе другихъ и представлялъ сочиненія, которыя ему очень нравились. Съ пятнадцатилѣтняго возраста у меня развилась страсть къ чтенію и литературѣ. Я съ жадностью и пріятнымъ трепетомъ перечитывалъ всѣ тогдашніе альманахи, особенно «Сѣверные Цвѣты»,

романы Вальтеръ-Скотта, главы «Онѣгина», выходившія отдѣльно, и нѣкоторыя статьи въ «Московскомъ Телеграфѣ». У немногихъ изъ моихъ товарищей также начинала пробуждаться любовь къ чтенію и около меня собирался небольшой кружокъ слушающихъ. Украдкою отъ начальства, подъ видомъ повторенія уроковъ, мы такимъ образомъ каждый вечеръ сходились въ классѣ читать романы Вальтеръ-Скотта или «Телеграфъ». Въ «Телеграфѣ» болѣе всего занимали насъ статьи о театрѣ г. Ушакова, въ которыхъ, кстати и не кстати, говорилось обо всемъ на свѣтѣ, и статьи полемическія и критическія самого Полевого. Чтенія эти всетаки хоть сколько-нибудь способствовали къ нашему развитію; но чѣмъ болѣе мы пріобрѣтали привычку къ чтенію, тѣмъ сильнѣе чувствовали отвращеніе къ ученію, къ наукамъ, которыя преподавали намъ.

Я зналъ множество стиховъ наизусть, пробовалъ самъ писать стихами и, наконецъ, началъ, года за полтора до выпуска, издавать журналъ, подражая въ формѣ «Московскому Телеграфу». Въ этомъ журналѣ были повѣсти, стихи, критика, смѣсь, все, какъ слѣдуетъ. Я показывалъ Кречетову первый нумеръ этого журнала, и онъ, пробѣжавъ его, остался очень доволенъ. Въ пансіонѣ начинали смотрѣть на меня, какъ на будущаго литератора, и воспитаники, плохо знавшіе грамоту и неимѣвшіе никакой фантазіи, стали прибѣгать ко мнѣ съ просьбами писать для нихъ сочиненія на задаваемыя имъ темы. Я исполнялъ эти просьбы очень охотно, тѣмъ болѣе, что это не составляло для меня никакого труда. Я уже началъ набивать руку.

Не помню, который-то изъ нашихъ преподавателей, вдругъ въ одинъ прекрасный день, ко всеобщему изумленію, вздумалъ, Богъ знаетъ почему, вооружиться противъ заучиванія уроковъ наизусть, слово-въ-слово, и потребовалъ, чтобы ему уроки разсказывали *своими словами*. Какъ пришла ему въ голову такая фантазія—неизвѣстно, но это привело многихъ учениковъ, даже изъ первыхъ, въ величайшее безпокойство. Одинъ изъ такихъ подошелъ ко мнѣ однажды.

— У меня до тебя большая просьба, сказалъ онъ.

— Что такое?

— Да вотъ ** выдумалъ глупость, чтобы своими словами

говорить уроки. Я думаю вотъ что... Надо только начать своими словами, а потомъ можно валять по книгѣ. Онъ не замѣтитъ. Только ты пожалуйста запиши мнѣ, какъ начать своими словами—я и выучу наизусть, а потомъ буду продолжать по книгѣ. Ты у насъ сочинитель, тебѣ это ниночемъ, ты съумѣешь это сдѣлать.

Воспитаннику этому было уже шестнадцать лѣтъ.

Я исполнилъ его желаніе. Онъ вызубрилъ мои слова, и всякій разъ прибѣгалъ ко мнѣ съ тѣмъ же.

Не мѣшаетъ замѣтить, что онъ кончилъ курсъ однимъ изъ первыхъ и впослѣдствіи, вступивъ на военное поприще, обратилъ своими талантами особенное вниманіе начальства и достигъ виднаго положенія.

Кречетовъ былъ еще болѣе оцѣненъ нами, когда мы перешли въ выпускной классъ. Въ этомъ классѣ преподавалъ словесность извѣстный профессоръ, авторъ «Военнаго Краснорѣчія» Я. В. Толмачевъ. Я. В. питалъ закоренѣлую ненависть ко всему живому и современному. Онъ упорно остановился на Державинѣ и даже неохотно упоминалъ о Батюшковѣ и о Жуковскомъ. Карамзина онъ только уважалъ за его Исторію, и то болѣе потому, что Карамзинъ читалъ первыя ея главы августѣйшимъ лицамъ и былъ признанъ офиціально исторіографомъ.

— Я, друзья мои, говорилъ онъ намъ съ чувствомъ гордости:—тридцать уже лѣтъ ничего не читаю, потому-что убѣжденъ, что теперь пишутъ все пустяки.

Когда мы заговаривали съ нимъ о Пушкинѣ, или декламировали его стихи, онъ махалъ рукою и перебивалъ, затыкая уши:

— Перестаньте! перестаньте! это все пустяки и побрякушки: ничего возвышеннаго, ничего нравственнаго. И кто вамъ даетъ читать такія книги?

О Полевомъ онъ не могъ слышать равнодушно. — Это мерзавецъ! говорилъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: — безграмотное животное, двухъ строкъ со складомъ и правильно не можетъ написать... Лавочникъ, цѣловальникъ, а осмѣливается безнаказанно оскорблять людей пожилыхъ, чиновныхъ и ученыхъ!

— Какъ же вы знаете, что Полевой безграмотный, воз-

ражали мы:—вѣдь вы сами говорите, что вы тридцать лѣтъ ничего не читали?

— Да мнѣ попалась недавно, отвѣчалъ онъ съ безконечнымъ добродушіемъ: — у кого-то изъ знакомыхъ случайно книжонка, въ которой была напечатана между прочимъ и его чепуха. Я прочелъ нѣсколько строчекъ и ужаснулся.... Да что я говорю, лавочникъ!—Всякій лавочникъ, друзья мои, напишетъ правильнѣе его.

Яковъ Васильевичъ задалъ намъ однажды сочиненія. Я выписалъ начало повѣсти Полевого (кажется «Сохатый») и представилъ ему выписку за собственное сочиненіе.

Я. В. читалъ долго и внимательно, останавливался на каждомъ періодѣ и былъ восхищенъ изящностью слога, мастерствомъ оборотовъ и грамматическою правильностью этого сочиненія....

— Молодецъ, другъ мой, молодецъ! говорилъ онъ. Хорошо, очень хорошо. И онъ качалъ головой отъ удовольствія. — Я вамъ скажу, друзья мои, что такой слогъ сдѣлалъ бы честь и опытному писателю. Не поправлялъ ли, впрочемъ, тебя кто-нибудь? прибавилъ онъ, черезъ минуту, задумчиво.

— Нѣтъ, никто, Яковъ Васильевичъ, бойко отвѣчалъ я:— я это написалъ сразу-съ, безъ всякихъ поправокъ.

— У тебя талантъ, другъ мой, талантъ!

И съ-тѣхъ-поръ Яковъ Васильевичъ относился ко мнѣ съ особеннымъ вниманіемъ и рекомендовалъ меня инспектору и помощнику инспектора.

Въ день публичнаго акта, при выпускѣ, я подошелъ къ Толмачеву.

— Я виноватъ передъ вами, Яковъ Васильевичъ, сказалъ я:—я васъ обманулъ. Я вамъ выдалъ чужое сочиненіе, которымъ вы были такъ восхищены, за свое... Вѣдь это вы такъ восхищались слогомъ Полевого. Я подалъ вамъ подстрочную выписку Полевого. Видите ли, онъ однако не такъ безграмотенъ, какъ вы говорите.

Толмачевъ нахмурился, взглянулъ на меня сначала наблагосклонно, но потомъ улыбнулся и сказалъ:

— Что ты, мой другъ, какой вздоръ говоришь!

— Спросите у моихъ товарищей, если не вѣрите.

— И вѣрить не хочу, и спрашивать не буду, отвѣчалъ Толмачевъ рѣшительно, и отвернулся.

Я впрочемъ еще прежде имѣлъ счастіе обратить на себя вниманіе Якова Васильевича.

Когда онъ вошелъ въ первый разъ къ намъ въ классъ и прочелъ списокъ новыхъ выпускныхъ воспитанниковъ, онъ остановился съ видимымъ удовольствіемъ на моей фамиліи.

— А что, г. Панаевъ, спросилъ онъ: — вы родственникъ тому Панаеву, который написалъ «Идилліи»?

Этотъ вопросъ преслѣдовалъ меня. Всѣ начальники и учителя предлагали его мнѣ при вступленіи моемъ въ пансіонъ.

— Да, родственникъ, отвѣчалъ я

— И близкій?

— Племянникъ.

— А-а-а! протянулъ Толмачевъ значительно: — «Идилліи» вашего дядюшки образцовыя идилліи, единственныя у насъ въ этомъ родѣ. Я хоть тридцать лѣтъ ничего не читаю, но для Панаева я сдѣлалъ исключеніе и прочелъ его «Идилліи» съ великимъ удовольствіемъ.

Я сдѣлался любимцемъ Я. В., хотя не заслужилъ этого ничѣмъ, кромѣ того, что былъ племянникомъ моего дяди, не раздѣляя вовсе мнѣнія достойнаго профессора объ его идилліяхъ.

Для публичнаго акта Толмачевъ задалъ мнѣ написать рѣчь *О значеніи русской словесности въ послѣднее время*, что-то въ родѣ этого. Послѣднимъ временемъ онъ, разумѣется, считалъ время Державина. Задача эта привела меня въ совершенный тупикъ. Я могъ написать сочиненіе о захожденіи или восхожденіи солнца, поѣздку въ Парголово или въ Нарву, но какъ же разсуждать о значеніи словесности? Я зналъ нѣсколько стиховъ Ломоносова и Державина, которые заставляли меня выучивать наизусть; незамѣтно и добровольно заучилъ почти всю первую главу «Онѣгина» и нѣсколько стихотвореній Жуковскаго, Батюшкова, Языкова, перечелъ всѣ новѣйшіе альманахи и кое-какія критическія статьи въ «Телеграфѣ» — но этимъ и ограничивались всѣ мои безсвязныя знанія въ русской словесности. Что жъ я напишу? Этотъ вопросъ долго мучилъ меня. Наконецъ я принялся перечитывать

«Телеграфъ» и написалъ какую-то нелѣпую статью, составленную изъ разныхъ телеграфскихъ критикъ, и придѣлалъ къ ней кое-какъ фразистое заключеніе. Я чувствовалъ однако, что все это никуда не годится.

Толмачевъ взялъ мою несчастную компиляцію для просмотра домой и потомъ возвратилъ мнѣ ее съ улыбкой.

— Нѣтъ, другъ мой, сказалъ онъ:—ты напоролъ какую-то дичь. Ужъ ты не безпокойся. Я самъ для тебя напишу рѣчь такую, какую надобно.

Смыслъ этой рѣчи я совершенно забылъ, да, кажется, въ ней и не было никакого смысла. Въ заключеніе, какъ водится, было обращеніе къ Государю и изъявленіе чувства благоговѣйной признательности августѣйшему покровителю просвѣщенія за попеченіе и заботливость объ насъ.

Я показалъ эту рѣчь Кречетову. Онъ перелисталъ ее и бросилъ съ презрѣніемъ.

— Избитыя мѣста, пошлость, ни одной живой, свѣжей, сочной мысли, ничего этакого... этакого...

И руки Кречетова пришли въ движеніе для объясненія этого, но ничего не объясняли. Онъ повторилъ еще разъ *этакого*, махнулъ рукой и прибавилъ:

— Э! да впрочемъ чего ждать отъ старика, выжившаго изъ ума?... А можно бы написать славную рѣчь, пропитанную свѣжими мыслями, и обдѣлать ее изящно, какъ игрушечку...

Начались репетиціи въ публичной залѣ. Я читалъ бойко, четко, съ удареніями, съ возвышеніями и пониженіями голоса, не обнаруживая ни малѣйшаго смущенія. Инспекторъ, его помощникъ, гувернеры—всѣ были въ восторгѣ отъ моего чтенія и я былъ совершенно счастливъ. На одну изъ репетицій явился и попечитель К. Д. Бороздинъ—человѣкъ очень тихій и добрый. Онъ также отозвался о моемъ чтеніи съ большой похвалой.

— Было бы недурно, замѣтилъ онъ мнѣ:—если бы вы при заключительныхъ словахъ обратились къ портрету Государя императора, приподняли правую руку и постарались бы прослезиться.

Я обѣщалъ — и дѣйствительно прослезился... при мысли,

что внизу меня ожидаетъ щегольской сюртукъ и что черезъ десять минутъ я буду совершенно свободенъ.

Это были слезы первическаго восторга; я бы заплакалъ въ эту минуту безъ всякихъ фразъ и рѣчей. Бойкость, съ которою я произнесъ рѣчь, и мои заключительныя слезы произвели, какъ видно, сильное впечатлѣніе не только на почетныхъ посѣтителей, присутствовавшихъ на актѣ—на неизбѣжнаго графа Хвостова и другихъ, но даже на самого министра народнаго просвѣщенія князя Ливена, и когда меня вызвали для полученія изъ рукъ его аттестата на чинъ двѣнадцатаго класса, онъ сказалъ мнѣ:

— Я ожидалъ, что вручу вамъ аттестатъ на десятый классъ. Отчего же вы не получили десятый классъ?

— Я не имѣю, ваше сіятельство, способностей къ математикѣ и потому... началъ я, заикаясь.

— Жаль, перебилъ меня министръ:—что я не зналъ этого прежде.

Я раскланялся, взялъ аттестатъ и хотѣлъ броситься внизъ переодѣваться, какъ нѣсколько воспитанниковъ закричали мнѣ:

— Панаевъ! тебя спрашиваетъ графъ Хвостовъ.

Дѣлать было нечего. Я вернулся.

Графъ Хвостовъ, согбенный старецъ, въ поношенномъ мундирѣ съ потускнѣвшимъ шитьемъ и съ анненскою порыжѣвшею лентою черезъ плечо, когда я подошелъ къ нему, обратился ко мнѣ съ слѣдующими словами:

— Ваша рѣчь прекрасна и вы прочли ее съ большимъ искусствомъ. Вамъ дѣлаетъ большую честь, что вы любите отечественную словесность... А Владиміръ Ивановичъ Панаевъ вамъ родственникъ?

— Онъ мой дядя.

— Похвально, замѣтилъ Хвостовъ задумчиво, какъ-будто про-себя.

«Для кого же похвально? подумалъ я, улыбаясь невольно. Для меня, что я имѣю такого дядю, или для моего дяди, что онъ имѣетъ такого племянника?»

— Владиміръ Иванычъ мой хорошій пріятель, продолжалъ Хвостовъ:—я пришлю къ нему переводъ мой «Сатиръ» Буало для передачи вамъ, съ моею надписью. Это даръ вамъ

отъ стараго поэта, которому вы доставили истинное удовольствіе своею рѣчью.

Я раскланялся и убѣжалъ переодѣваться. «Сатиры» были присланы Хвостовымъ къ Панаеву на другой же день, но я забылъ ихъ взять — и онѣ такъ и остались въ библіотекѣ моего дяди.

Но я еще на минуту вернусь къ послѣднимъ днямъ моей пансіонской жизни.

Кречетовъ поддерживалъ связи и знакомства почти со всѣми кончившими курсъ въ пансіонѣ и имѣвшими поползновеніе къ литературѣ, или къ какимъ-либо искусствамъ вообще. Къ числу такихъ его бывшихъ воспитанниковъ, сдѣлавшихся потомъ его пріятелями, принадлежалъ, между-прочимъ, *Римскій-Корсаковъ*, напечатавшій въ концѣ двадцатыхъ годовъ нѣсколько стишковъ и сдѣлавшійся извѣстнымъ своей эпиграммой къ плохому стихотворцу. Начала этой эпиграммы я не помню, но она оканчивалась тѣмъ, что стихи плохаго стихотворца —

«Какъ подъ лощеный гладки,
На мысли не споткнешься въ нихъ»....

Эти два стишка произвели величайшій эффектъ. Они поразили своимъ остроуміемъ и потому, вѣроятно, приводились безпрестанно, кстати и не кстати, всѣми критиками тогдашняго времени.

Римскій-Корсаковъ жилъ неподалеку отъ пансіона, на Загородномъ проспектѣ, и въ это время (1829 году) у него на квартирѣ остановился больной М. И. Глинка, товарищъ его по пансіону, извѣстный тогда уже удачнымъ переложеніемъ на музыку нѣсколькихъ стихотвореній Пушкина и другихъ. Кречетовъ зарекомендовалъ меня имъ. Онъ отзывался съ большою похвалою о моей страсти къ литературѣ и о моихъ литературныхъ способностяхъ.

Въ одинъ день, когда мы гуляли въ саду послѣ обѣда, сторожъ подалъ мнѣ небольшую рукопись и письмо.

Я распечаталъ это письмо и прочелъ не безъ удивленія слѣдующее:

«Простите, что я, не имѣя удовольствія лично знать васъ, но много наслышавшись отъ В. И. Кречетова о вашей любви

къ литературѣ и о вашемъ талантѣ, — рѣшаюсь безпокоить васъ слѣдующимъ вопросомъ: не желаете ли вы пріобрѣсти прилагаемую при семъ мою небольшую поэму за 15 рублей (тогда считали на ассигнаціи), чѣмъ вы премного меня обяжете, выведя меня изъ затруднительнаго денежнаго положенія, въ которомъ я нахожусь въ сію минуту. Въ ожиданіи вашего отвѣта, остаюсь и прочее.

«Вашъ покорный слуга,

«*Римскій-Корсаковъ*».

Письмо это, конечно, подѣйствовало очень пріятно на мое самолюбіе. Я пришелъ въ восторгъ при мысли, что меня знаютъ извѣстные литераторы и адресуются ко мнѣ съ такими просьбами. Я тотчасъ же принялся за чтеніе поэмы Корсакова, которая мнѣ очень понравилась. Если бы у меня были въ эту минуту 15 рублей, я сейчасъ пріобрѣлъ бы, разумѣется, поэму и почиталъ бы себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ, издавъ ее. Но кромѣ 15 руб., на изданіе ея требовалась порядочная сумма, — рублей покрайней-мѣрѣ 100 ассигнаціями, а у меня не было и гривенника. Занять было не у кого. Я сообщилъ о моемъ горѣ одному изъ моихъ товарищей, очень любившему меня. Товарищъ обѣщалъ мнѣ сначала занять для меня 15 руб. у своего брата, но потомъ объявилъ мнѣ съ прискорбіемъ, что у него не хватило на это смѣлости. Я долженъ былъ отослать поэму автору съ извиненіемъ, что при всемъ моемъ искреннемъ желаніи никакъ не могу исполнить его просьбы, потому-что не имѣю денегъ.

Римскій-Корсаковъ, повидимому, не обидѣлся моимъ отказомъ, потому-что черезъ два мѣсяца послѣ этого онъ пригласилъ меня къ себѣ черезъ Кречетова на *литературный вечеръ*...

Это уже было для меня совершеннымъ торжествомъ.

— Вы тутъ увидите всѣхъ извѣстныхъ литераторовъ, замѣтилъ мнѣ Кречетовъ: — и между прочимъ моего добраго Дельвига.

У меня сердце захлебывалось при мысли объ этомъ вечерѣ. Такъ-какъ вечеръ этотъ назначенъ былъ въ воскресенье на масляницѣ, и въ 9 часовъ я долженъ былъ уже быть въ

пансіонѣ, то Кречетовъ выпросилъ для меня дозволеніе явиться двумя часами позднѣе.

Въ семь часовъ я уже былъ на квартирѣ Карсакова. Я перешагнулъ за порогъ ея съ благоговѣйнымъ трепетомъ и робостію, но хозяинъ дома, человѣкъ высокій, тучный и апатичный, ободрилъ меня своею безцеремонностью и добродушіемъ и тотчасъ же познакомилъ меня съ М. И. Глинкою, который обошелся со мною совершенно по-товарищески, спрашивалъ меня о своихъ старыхъ наставникахъ (онъ воспитывался также въ благородномъ пансіонѣ) и пародировалъ ихъ чрезвычайно удачно. Глинка былъ въ этотъ вечеръ необыкновенно живъ и веселъ, несмотря на разстройство своего здоровья; онъ заливался, какъ колокольчикъ, и особенно удачно воспроизводилъ нашего учителя логики и письмоводителя пансіонной канцеляріи И. А. Колмыкова, про котораго С. А. Соболевскій, сдѣлавшійся извѣстнымъ впослѣдствіи своими ядовитыми и мѣткими эпиграммами, хотя онѣ никогда не появлялись въ печати, и дружбой съ Пушкинымъ, написалъ, еще будучи въ пансіонѣ, слѣдующее четверостишіе:

Нашъ учитель Колмыковъ
Умножаетъ дураковъ;
Онъ жилетъ свой поправляетъ
И глазами все моргаетъ.

Глинка до такой степени воплотилъ въ себѣ комическую личность Колмыкова, что онъ уже потомъ, лѣтъ черезъ десять послѣ его смерти, олицетворилъ его съ искусствомъ поразительнымъ представляя, что бы Колмыковъ дѣлалъ и говорилъ при такихъ или другихъ обстоятельствахъ, въ такомъ или другомъ положеніи. Если бы Колмыковъ воскресъ, онъ дѣйствительно въ такихъ обстоятельствахъ и при такихъ положеніяхъ не могъ бы поступать и говорить иначе.

Квартира Римскаго-Корсакова состояла изъ трехъ небольшихъ комнатъ, обставленныхъ кое-какою мебелью. Эти комнатки мало-по-малу начинали набиваться гостями и наполняться табачнымъ дымомъ... Я сидѣлъ въ уголкѣ и робко взглядывалъ на каждаго новаго незнакомца, предполагая въ немъ непремѣнно литератора. Изъ первыхъ явился идеалъ Глинки, Иванъ Акимовичъ Колмыковъ. Онъ обнялся и расцѣловался съ Глинкой.

Колмыковъ говорилъ отрывисто.

— Радъ, говорилъ онъ, обращаясь къ Корсакову и Глинкѣ: — душевно радъ видѣть васъ... Хорошіе пріятели, мудрая бесѣда, бутылка добраго вина — услада жизни... Ты поэтъ, онъ музыкантъ — suum cuique!

И при каждомъ словѣ онъ моргалъ и обдергивалъ свой жилетъ.

Вмѣстѣ съ Колмыковымъ явился господинъ огромнаго роста и съ мрачнымъ, педантическимъ выраженіемъ лица, бывшій преподаватель чего-то въ пансіонѣ, нѣкто г. Огинскій, котораго я лѣтъ черезъ пять послѣ этого встрѣтилъ на литературномъ вечерѣ у графа Хвостова, гдѣ онъ читалъ свой трактатъ «объ Огнѣ».

Кречетова я засталъ уже у Корсакова. Онъ расхаживалъ какъ у себя дома, былъ въ очень пріятномъ расположеніи духа и заранѣе уже, кажется, предвкушалъ предстоящій ужинъ, потому-что былъ большой охотникъ поѣстъ, самъ себя называлъ *гострономомъ* и считалъ себя тонкимъ знатокомъ винъ.

Львомъ вечера былъ баронъ Дельвигъ, нисколько впрочемъ не походившій на льва. Дельвигъ былъ средняго роста, имѣлъ вялыя манеры, очень мягкое и симпатическое лицо. и какъ-то задумчиво и вмѣстѣ добродушно посматривалъ сквозь свои очки. Онъ пріѣхалъ позже другихъ, и при его появленіи всѣ всполошились, начиная съ хозяина дома. Одинъ Глинка, который былъ коротокъ съ Дельвигомъ, сохранилъ обычное спокойствіе. У меня билось сердце и я не спускалъ съ него глазъ. Мнѣ было невыразимо лестно сидѣть въ одной комнатѣ съ такимъ знаменитымъ летераторомъ и притомъ еще другомъ Пушкина.

Дельвигъ усѣлся на диванъ, другіе расположились почтительно около него; хозяинъ дома ухаживалъ за нимъ, какъ подчиненный за начальникомъ. Кречетовъ безпрестанно заговаривалъ съ нимъ, стараясь показать свою фамильярность; но Дельвигъ отвѣчалъ ему и посматривалъ на него съ полуулыбкою, которая показывала, что онъ не принимаетъ его слишкомъ серьезно...

Когда Дельвигъ и всѣ около него усѣлись, я навострилъ уши. «Ну, подумалъ я, вотъ теперь-то пойдетъ рѣчь о лите-

ратурѣ». Однако ожиданія мои были обмануты. Дельвигъ говорилъ мало, о литературѣ ни слова; только на вопросъ о «Подснѣжникѣ» сказалъ, что онъ выйдетъ на-дняхъ, и показалъ виньетку къ нему, нарисованную Лангеромъ, которая начала переходить изъ рукъ въ руки. Говорилъ болѣе всѣхъ Глинка, который завелъ Колмыкова и Огинскаго, чтобы показать ихъ во всемъ блескѣ. Колмыковъ, обдергивая свой жилетъ и моргая глазами, произнесъ нѣчто въ родѣ рѣчи, пересыпавъ ее цитатами изъ Цицерона и Горація.

Глинка аплодировалъ ему, и отовсюду раздавались восклицанія: «Bravo!» Кречетовъ болѣе всѣхъ глумился надъ Колмыковымъ.

— У васъ прекрасный ораторскій талантъ, замѣтилъ ему Дельвигъ.

— Благодарю, баронъ, за похвалу, воскликнулъ Колмыковъ: — но краснорѣчіе пріобрѣтается, а поэзія врожденный даръ.... Oratores fiunt, poetae nascuntur.

Колмыковъ имѣлъ своего рода находчивость, и когда ему кто-то изъ учениковъ проговорилъ однажды:

«Нашъ учитель Колмыковъ
Умножаетъ дураковъ....»

онъ моргнулъ, обдернулъ жилетъ и перебилъ:

— Не вѣрно, слѣдуетъ сказать:

Нашъ учитель Колмыковъ
Обучаетъ дураковъ....

Замѣчательно, что логика, которую преподавалъ намъ Колмыковъ, начиналась слѣдующими замѣчательными словами:

«Философію можно понимать какъ науку, или какъ способность... Какъ науку...»

Далѣе уже я не помню; но хорошо и это начало.

Весь литературный вечеръ прошелъ въ томъ, что хозяинъ дома, Глинка, Дельвигъ и Кречетовъ подстрекали Колмыкова и Огинскаго на разныя нелѣпыя выходки и подтрунивали надъ ними. Колмыковъ и Огинскій забавляли и развлекали общество и безсознательно играли роль шутовъ. Мнѣ показалось, что и Кречетовъ былъ близокъ къ этой роли. Въ то время, какъ онъ острилъ надъ Колмыковымъ и Огинскимъ,

надъ нимъ также подтрунивали и довольно рѣзко, что меня и огорчало, и удивляло вмѣстѣ; но Кречетовъ не замѣчалъ этого и, повидимому, былъ очень доволенъ собою и своими шуточками.

Четыре часа пролетѣли для меня, какъ одна минута... Уже въ одной изъ комнатъ разстилалась салфетка на столѣ, слышался громъ ножей, вилокъ и тарелокъ, уже раздавалось шипѣніе изъ кухни и распространялся въ комнатахъ запахъ кухоннаго чада, смѣшиваясь съ табачнымъ дымомъ. Былъ двѣнадцатый часъ въ началѣ. Мнѣ должно было отправляться въ пансіонъ, и я отправился почти со слезами на глазахъ.

На другой день Кречетовъ объявилъ мнѣ, что ужинъ былъ составленъ изъ простыхъ, но сытныхъ блюдъ и вина были очень тонкія; что Колмыкова и Огинскаго напоили и потѣшались надъ ними вдоволь; что вообще было очень весело; что онъ *своего* Дельвига провожалъ потомъ домой и что дорогою они высказывали другъ другу очень много новыхъ и дѣльныхъ мыслей о литературѣ, но не упомянулъ впрочемъ какихъ.

Кречетовъ сообщилъ мнѣ впослѣдствіи, что этотъ литературный вечеръ данъ былъ на занятыя деньги, что Римскій-Корсаковъ любитъ жить широко, только, къ сожалѣнію, отецъ его — очень богатый и скупой человѣкъ — совсѣмъ не высылаетъ ему денегъ и потому онъ находится всегда въ стѣсненномъ положеніи; но зато ужъ если къ нему какъ-нибудь попадутъ деньги, онъ задаетъ сейчасъ же угощеніе пріятелямъ и истрачиваетъ все до копѣйки. «Онъ славный и добрый малый, съ горячимъ сердцемъ», прибавилъ Кречетовъ въ заключеніе.

Послѣ этого литературнаго вечера я только и грезилъ, какъ бы поскорѣй окончить курсъ наукъ и сдѣлаться литераторомъ. Мы высчитали, сколько мѣсяцевъ, дней, часовъ и минутъ остается намъ въ пансіонѣ и вычеркивали каждый день...

Время тянулось мучительно. Весна однако приближалась... и наступила. На огородѣ противъ пансіона начинала подниматься спаржа—несомнѣнный признакъ скорыхъ экзаменовъ. При мысли объ нихъ холодный потъ выступалъ у меня на

спинѣ. Начальство было ко мнѣ очень расположено и предполагало, что я долженъ выйти однимъ изъ первыхъ, потому-что первый годъ послѣ вступленія въ пансіонъ я учился очень прилежно, то-есть отвѣчалъ уроки безъ запинки, слово въ слово по учебникамъ; впослѣдствіи это опротивѣло мнѣ, и я пересталъ заниматься, но уже слылъ, по преданію, прилежнымъ и способнымъ ученикомъ. Я отличался также примѣрнымъ благонравіемъ, а извѣстно, что въ то время (я не знаю, какъ теперь) благонравіе ставилось гораздо выше прилежанія. Но все-таки отъ экзамена зависѣла моя участь. «Ну что, если я опозорюсь и обману ожиданія родителя и начальства? Мнѣ хотѣлось выйти 10-мъ классомъ, но я сознавалъ невозможность этого, потому-что не имѣлъ никакихъ способностей къ такъ-называемымъ положительнымъ наукамъ и особенно къ математикѣ. У насъ проходили диференціалы и интегралы, а я, какъ Митрофанушка, не зналъ даже простаго дѣленія!...» Самолюбіе мое очень страдало, а спаржа въ огородѣ поднималась все выше и выше. До экзаменовъ оставалось не болѣе 7 дней.

Мы начинали вставать вмѣстѣ съ солнцемъ, чтобы приготовляться къ экзаменамъ. Я уже замѣтилъ, что все ученіе основывалось на одной памяти, слѣдовательно память была намъ нужнѣе всего, а я, къ сожалѣнію, никогда не отличался хорошею памятью; къ тому же, она значительно притупилась у меня отъ безсмысленнаго долбленія. Лѣниво поднимали меня съ постели мои товарищи въ 4 часа утра. Я бралъ груду книгъ и тетрадей и отправлялся въ классъ. Солнце ярко свѣтило, Въ этотъ годъ (1830) весна въ Петербургѣ была очень ранняя и жары начались съ мая мѣсяца. Въ классѣ было душно. Я хватался то за одну, то за другую учебную тетрадь или книгу съ какимъ-то судорожнымъ безпокойствомъ, а между-тѣмъ дремота долила меня и потъ градомъ катился съ лица. Я до-сихъ-поръ не могу безъ отвращенія вспоминать объ этомъ времени.

Нѣсколько экзаменовъ сошло съ рукъ довольно удачно, но еще впереди былъ экзаменъ въ математикѣ, о которомъ большая часть изъ насъ помышляла съ ужасомъ. Изъ 15 выпускныхъ воспитанниковъ только пять отличались кое-какими математическими способностями, остальные уподоблялись мнѣ.

Преподавалъ у насъ математику, какъ я сказалъ уже, поэтъ Шелиховскій, а экземенаторомъ былъ профессоръ Д. М. Чижовъ—одно имя котораго мы произносили съ трепетомъ, до того онъ казался намъ строгъ и неумолимъ.

За два дня до экзамена я ходилъ какъ убитый. Что со мною будетъ? Эти роковыя слова я шевелилъ въ устахъ, какъ Каинъ имя Авеля въ стихахъ профессора Шевырева.

Наканунѣ экзамена я почувствовалъ себя нездоровымъ и помышлялъ было уже о больницѣ, но нѣкоторые изъ товарищей, рѣшившіеся всю ночь посвятить приготовленію, уговаривали меня присоединиться къ нимъ.

— Да вѣдь я ужь ничему не выучусь въ одну ночь, печально возразилъ я.

— Конечно, но все-таки лучше; мы тебѣ совѣтуемъ.

И я послѣдовалъ ихъ безполезному совѣту. Одинъ изъ воспитанниковъ повторялъ съ мѣломъ у доски, безпрестанно исписывалъ и стиралъ доску и очень бойко стучалъ мѣломъ. Я ничего не понималъ, глаза мои слипались, и я заснулъ...

Роковое утро наступило...

На небѣ не было ни облачка. Солнце свѣтило досадно ярко, какъ-будто для того, чтобы освѣтить сильнѣе мой позоръ.

Экзаменъ былъ назначенъ въ 10 часовъ.

Я сидѣлъ у окна, выходившаго на улицу, и каждый проѣзжій издали казался мнѣ Чижовымъ. Сердце мое безпрестанно замирало и я чувствовалъ необыкновенную слабость.

Пробило 11 часовъ, а Чижовъ не появлялся. Насъ потребовали въ публичную залу. Я соскочилъ съ окна съ радостнымъ крикомъ:

— Господа! господа! Чижова ужь вѣрно не будетъ!

Но Чижовъ вдругъ, какъ-будто выросшій изъ-подъ пола, очутился передо мною.

У меня помутилось въ глазахъ и я чуть не упалъ...

По списку я стоялъ шестымъ. Въ отмѣткѣ противъ меня значилось, что я имѣю *отличныя* свѣдѣнія въ математикѣ.

Вызывали по два воспитанника разомъ: одинъ отвѣчалъ, другой приготовлялъ отвѣтъ на доскѣ.

Дошла очередь до меня. Я подошелъ къ экзаменатор-

скому столу, вынулъ билетъ, развернулъ его и прочелъ громко, ничего не понявъ, что было написано въ этомъ билетѣ.

Инспекторъ нашъ, человѣкъ очень добрый, даже нѣжный и имѣвшій обо мнѣ почему-то высокое понятіе, мягкимъ и ласковымъ голосомъ сказалъ мнѣ:

— Покуда будетъ отвѣчать г. Х., вы намъ, душенька, и изложите на доскѣ то, что у васъ въ билетѣ. «Да, легко сказать — изложить!» подумалъ я и подошелъ къ доскѣ, взялъ мѣлъ въ руки, снова развернулъ зачѣмъ-то мой билетъ, прочелъ его, хотя зналъ, что это совершенно безполезно. Въ отчаяніи я началъ чертить на доскѣ какую-то геометрическую фигуру.

Товарищи мои знаками вызвали Шелиховскаго и сказали ему, чтобъ онъ помогъ мнѣ. Шелиховскій подкрался къ моей доскѣ и началъ подсказывать мнѣ, робко озираясь...

— Ну вы понимаете дальше? шепнулъ онъ мнѣ.

— Ничего я не понимаю, и ничего не знаю, сказалъ я, опуская мѣлъ.

— Какъ! такъ вы ничего не знаете! съ ужасомъ, громко воскликнулъ Шелиховскій.

На это восклицаніе Чижовъ и инспекторъ обратились ко мнѣ.

— Что такое? извольте прочесть вашъ билетъ, сказалъ мнѣ строго Чижовъ.

Я прочелъ.

— Ну-съ, отвѣчайте.

Я изложилъ кое-какъ подсказанное мнѣ Шелиховскимъ, безпрестанно путаясь, и остановился...

— Что же далѣе?

Я молчалъ.

Чижовъ предлагалъ мнѣ тысячу вопросовъ: онъ мучилъ меня, Богъ знаетъ для чего, около часа. Я стоялъ безмолвно, едва удерживая слезы и печально опустивъ руку, въ которой держалъ мѣлъ...

Чижовъ наконецъ оставилъ меня, пожалъ плечами и обратился съ досадою къ Шелиховскому.

— Какимъ же образомъ вы показали, что онъ имѣетъ отличныя свѣдѣнія, когда онъ понятія ни о чемъ не имѣетъ? И это выпускные воспитанники, получающіе университетскія

права! продолжалъ Чижовъ, придравшись къ своей любимой темѣ и обращаясь къ инспектору. — Что же я поставлю такому господину? Онъ вѣрно прочитъ себя въ гусары, либо въ уланы...

Инспекторъ былъ очень огорченъ за меня и началъ что-то вполголоса говорить Чижову, но Чижовъ строго и упорно качалъ головою.

— Мнѣ до этого нѣтъ дѣла, отвѣчалъ громко Чижовъ:— въ моемъ предметѣ я все-таки обязанъ поставить ему ноль.

Въ отчаяніи, со стыдомъ и со слезами на глазахъ и весь въ мѣлу, вышелъ я изъ публичной залы, вошелъ въ классъ, бросился на скамейку и зарыдалъ.

Ко мнѣ подошелъ П*, одинъ изъ товарищей, бывшій на отличномъ счету у начальства, которому онъ очень ловко подслуживался. П* учился на 10-й классъ; папенька обѣщалъ ему подарить рысака, если онъ выйдетъ десятымъ классомъ. «Способностями Богъ его не наградилъ» и даже не далъ добраго сердца. При весьма ограниченномъ умѣ и способностяхъ и неограниченномъ эгоизмѣ, онъ весь былъ пропитанъ лицемѣрствомъ и лестью.

При видѣ моего отчаянія, П* скорчилъ добродушную и вмѣстѣ плачевную гримасу и произнесъ со вздохомъ:

— Мнѣ ужасно жаль тебя, братецъ! вѣдь съ нолемъ тебя не выпустятъ изъ пансіона. А мнѣ такъ Чижовъ поставилъ 4; теперь ужъ я непремѣнно выйду десятымъ классомъ!

Съ такимъ же утѣшеніемъ онъ не совсѣмъ удачно подошелъ къ другому воспитаннику, съ характеромъ гораздо рѣшительнѣе моего и также получившему ноль въ математикѣ. Воспитаннику съ рѣшительнымъ характеромъ не понравилось участіе товарища и онъ нанесъ ему очень значительную непріятность, которую тотъ перенесъ съ похвальнымъ смиреніемъ и кротостью.

Обратимся однако къ экзамену. Горесть моя начинала мало-по-малу смягчаться и утихать, по мѣрѣ того, какъ мои товарищи возвращались съ экзамена въ такомъ же положеніи, какъ я, то-есть: съ нулями въ экзаменаторскомъ спискѣ и съ отчаяніемъ въ сердцахъ. Такихъ возвратилось уже человѣкъ до четырехъ. «Ну, покрайней-мѣрѣ не одинъ я». Эта мысль утѣшила меня. Послѣ обѣда, поободрившись, я

отправился въ публичную залу. Былъ уже шестой часъ. Оставалось человѣкъ недоэкзаменованныхъ пять. Чижовъ былъ въ самомъ жалкомъ расположеніи. Шесть нолей красовалось уже на листѣ. Поставивъ послѣдній ноль, при самомъ моемъ входѣ въ залу, Чижовъ обратился къ Шелиховскому съ вопросительной ироніей:

— Что же это такое, наконецъ?

Шелиховскій схватилъ себя за голову, взъерошилъ волосы и вскрикнулъ какимъ-то отчаяннымъ, раздирающимъ голосомъ:

— Боже мой! да чѣмъ же я виноватъ? Что̀ мнѣ съ ними дѣлать?...

Но это еще были цвѣточки,—ягодки впереди.

Предпослѣднимъ Чижовъ вызвалъ Татищева. Татищевъ былъ сынъ богатаго помѣщика, провинціяльнаго аристократа, необыкновенно довольнаго собой, державшаго себя съ комическою важностью, гордившагося тѣмъ, что у него въ гербѣ княжеская корона, и оравшаго во все горло. Онъ часто являлся въ пансіонъ къ сыну и возбуждалъ своимъ крикомъ и манерами общій смѣхъ... Сынъ очень походилъ манерами на отца, кричалъ такъ же громко и хвасталъ передъ товарищами своимъ богатствомъ и своей княжеской короной. Товарищи обращались съ нимъ какъ съ шутомъ, но, несмотря на это — любили его, потому-что онъ былъ до крайности наивенъ и добръ. Онъ писалъ однажды сочиненіе для Кречетова, которое начиналось такъ:

«Солнце склонилось къ западу. Былъ прекрасный и тихій вечеръ. *Филомела пѣла, а соловей свисталъ....*»

Съ этой «филомелой» потомъ не давали ему прохода.

Отецъ объявилъ ему, что если онъ получитъ 10-й классъ, то будетъ получать отъ него въ годъ по 5,000 руб. асс., если 12-й—2,500 р., а если 14-й—то 1,200 р. Татищевъ учился на 5,000 р., какъ ему это было ни тяжело. Онъ зубрилъ съ утра до ночи, мучился и все-таки отставалъ отъ другихъ, почти ничего не дѣлавшихъ... Но вдругъ, за полгода до выпуска отецъ его умираетъ скоропостижно. Матери у него давно не было. Татищевъ дѣлается полнымъ властелиномъ своихъ богатствъ и перестаетъ учиться...

— Изъ-за чего я стану теперь себя мучить? говорилъ онъ намъ, — сами согласитесь, теперь мнѣ все равно, какимъ

классомъ ни выйти. Я завишу самъ отъ себя и буду издерживать, сколько хочу.

И когда учителя спрашивали его уроки, онъ вставалъ обыкновенно съ своего мѣста, корчилъ плачевную гримасу и произносилъ, всхлипывая:

— Я не могъ приготовить урока, потому-что я недавно лишился родителя и благодѣтеля.

Учителя улыбались, воспитанники фыркали и Татищева оставляли въ покоѣ.

Итакъ очередь наконецъ дошла до Татищева.

Всѣ воспитанники, печальные и веселые, съ нолями и съ хорошими баллами, сошлись на это зрѣлище.

Татищевъ подошелъ къ экзаменаторскому столу очень бойко, расшаркался не безъ граціи (граціи обучала его, по его словамъ, г-жа Каламъ, гувернантка, бывшая при немъ) и взялъ билетъ....

— Покажите вашъ билетъ, сказалъ ему Чижовъ.

Татищевъ подалъ ему билетъ и, неизвѣстно для чего, съ пріятностью улыбнулся. Чижовъ прочиталъ его.

— Очень хорошо, сказалъ онъ: — подойдите къ доскѣ, начертите пирамиду...

— Что прикажете? Пирамиду-съ? закричалъ Татищевъ во все горло.

— Ну да! пирамиду, сказалъ Чижовъ: — я вамъ говорю: начертите пирамиду.

— Вотъ она-съ, произнесъ Татищевъ, тыкая на шапочку указательнымъ пальцемъ, который состоялъ у него изъ двухъ суставовъ вмѣсто трехъ. Вообще фигура Татищева не отличалась большою стройностью, колѣни у него были выгнуты, животъ впередъ и взглядъ много утрачивалъ выраженія отъ бѣльма, которое у него начинало образовываться на одномъ глазу.

— Такъ это по-вашему пирамида? протянулъ Чижовъ.

— Да-съ, твердо отвѣчалъ Татищевъ, съ недоумѣніемъ однако и безпокойствомъ взглянувъ на товарищей, которые едва удерживались отъ смѣха.

Чижовъ обернулся къ Шелиховскому...

— Г. Татищевъ! что же это? произнесъ, съ воплемъ, Шелиховскій.

Татищевъ догадался, что дѣло плохо, и торжественное выраженіе лица его вдругъ смѣнилось слезной гримасой.

Чижовъ сдѣлалъ Татищеву еще два какіе-то вопроса — одинъ изъ алгебры, другой изъ ариѳметики, но Татищевъ отвѣчалъ на нихъ одними слезами и, всхлипывая, сказалъ, что онъ не могъ заниматься, потому-что лишился родителя и благодѣтеля.

— Ну идите, сказалъ Чижовъ, махнувъ рукою. — Товарищамъ вашимъ я поставилъ ноли, а вамъ, сударь, я и пера не помочу въ чернилы, чтобы поставить что-нибудь. Вы и ноля не стоите.

Татищевъ удалился, рыдая.

Но Татищеву всѣ мы, получившіе ноли, были обязаны своимъ спасеніемъ. Вотъ какъ это случилось: за сестрой Татищева, имѣвшей значительный капиталъ, ухаживалъ въ это время одинъ инженерный офицеръ, большой пріятель Чижова. Татищевъ объявилъ инженерному офицеру, что если Чижовъ поставитъ ему порядочный балъ, то въ такомъ случаѣ онъ немедленно изъявитъ свое согласіе на бракъ, а въ противномъ случаѣ онъ и слышать не хочетъ ни о чемъ. Это былъ его послѣдній и рѣшительный ультиматумъ. Инженерный офицеръ сообщилъ свое положеніе Чижову; Чижовъ тронулся положеніемъ своего пріятеля, явился въ пансіонъ, потребовалъ экзаменаторскій листъ и поставилъ Татищеву 2, а намъ всѣмъ, вмѣсто нолей, полтора бала.

Не влюбись такъ кстати для всѣхъ насъ инженерный офицеръ въ сестру Татищева, мы, кажется, не могли бы раздѣлаться съ математикой, если бы остались въ пансіонѣ и еще на нѣсколько лѣтъ.

И вотъ мы окончили курсъ наукъ. Въ рукахъ у насъ великолѣпные пергаментные листы съ правами на чины и съ удостовѣреніями, что мы во всѣхъ наукахъ имѣемъ отличныя, очень хорошія или достаточныя свѣдѣнія, и притомъ отличались примѣрнымъ благонравіемъ. Начальство пожимаетъ съ чувствомъ наши руки и поздравляетъ насъ, родители прижимаютъ насъ къ груди въ умиленіи, мы, разумѣется, внѣ себя отъ восторга, что уже не школьники. Но ни начальству, ни родителямъ, ни намъ не приходитъ въ голову, для чего мы приготовлены, и приготовлены ли къ чему-нибудь? Внѣшняя

жизнь ослѣпляетъ, соблазняетъ насъ и мы отдаемся ей съ увлеченіемъ; мы не разсуждаемъ объ явленіяхъ этой жизни, потому-что въ насъ не только не развили мыслительныхъ способностей, но еще забили ихъ пошлою моралью и рутиной.

Мы не пріобрѣли никакихъ, даже элементарныхъ научныхъ свѣдѣній.

Въ туманѣ головъ нашихъ бродятъ безсвязно кое-какія историческія имена, названія городовъ и войнъ, какіе-то годы и цифры, но не только года, даже столѣтія мѣшаются и перепутываются въ нихъ. Мы выходимъ изъ пансіона такими же дѣтьми, потерявшими пушистость щекъ и уже начинающими подбривать и подстригать усы и бороду. При нашемъ невѣжествѣ и отсутствіи умственнаго развитія, мы принимаемъ все на вѣру и безусловно, и входимъ въ избитую колею, не понимая возможности какой-либо другой, лучшей жизни, различной отъ нашей, но даже не будучи въ состояніи вообразить что-нибудь лучшее. Чинопочитаніе и покорность до того были вкоренены въ насъ въ родительскихъ домахъ и потомъ развиты въ пансіонѣ, что мы, вступивъ въ свѣтъ, совершенно теряемся и робѣемъ при появленіи каждой титулованной особы и при взглядѣ на всякую блестящую мишуру и разныя внѣшнія украшенія. При этомъ у насъ возникаетъ одна мысль: «какъ бы поскорѣй добиться до всего этого?» Нечего и говорить о чувствѣ общественномъ, гражданскомъ. О пробужденіи его едва ли думало тогдашнее воспитаніе.

Вотъ какихъ полезныхъ дѣятелей приготовлялъ для отечества — Благородный пансіонъ!

ГЛАВА II.

Первое время послѣ выхода изъ пансіона. — Мои литературныя упражненія и чтеніе.—Классицизмъ и романтизмъ. — «Notre Dame de Paris».—Моя неудавшаяся попытка печататься.—Первый нравственный толчокъ, полученный мною по поводу моего разсказа о подаренной дѣвкѣ. — Мои знакомства. — Фантазія о военной службѣ и камеръ-юнкерскомъ мундирѣ.—Опредѣленіе меня на службу. — В. М. и Д. М. Княжевичи.—Моя отставка. — Первая моя напечатанная повѣсть, поощрившая меня къ дальнѣйшей литературной дѣятельности.—Встрѣча съ Пушкинымъ у Смирдина. Нѣсколько словъ о Пушкинѣ. — Толки о дѣятельности. — «Торквато Тассо» Кукольника и мое знакомство съ его авторомъ.

Долго послѣ выпуска нашего изъ пансіона я рѣшительно не зналъ, что дѣлать съ собой и куда пріютить голову. Знакомыхъ у меня почти никого не было, я шатался безцѣльно по петербургскимъ улицамъ, вымышляя, какъ бы убивать длинные зимніе вечера и ничего не придумывая, потому-что трудно что-нибудь придумать безъ денегъ (а денегъ у меня было очень мало), просиживалъ обыкновенно по нѣскольку часовъ въ мелкихъ кондитерскихъ, на Гороховой и на Вознесенской улицѣ, за чашкой сквернаго шоколада съ двумя или тремя моими товарищами и въ томъ числѣ съ М. А. Языковымъ, съ которымъ мы дружно и не разлучаясь шли въ жизни. Но кондитерскія представляли мало рессурсовъ къ развлеченію: маленькая, грязная комнатка, освѣщенная одной тускло-горящей свѣчкой, слоеные пирожки на горькомъ маслѣ, засаленные чубуки съ перышкомъ или съ сургучомъ, вмѣсто янтаря,—все это наводило скорѣе уныніе. Интересовъ у насъ никакихъ не было, разговоръ вертѣлся около вседневныхъ предметовъ и скоро прекращался; мы, зѣвая, смотрѣли другъ на друга, какъ бы спрашивая: «Господи! да неужели же это жизнь, которая издали казалась намъ такъ соблазнительной?»... Останавливаясь у какого-нибудь ярко освѣщеннаго дома, у подъѣзда котораго стояли экипажи, — мы съ любопытствомъ и завистью смотрѣли на окна, въ которыхъ мелькали женскія фигуры въ нарядныхъ платьяхъ, казавшіяся намъ красавицами; около нихъ увивались молодые офицеры и штатскіе франты... До насъ глухо доходили звуки музыки. «Какъ тамъ весело! думали мы, — счастливцы! счастливцы!... Вотъ она, эта жизнь-то! но какъ же достичь ее?»....

И не зная, какъ разрѣшить этотъ глубокій вопросъ, понуривъ головы, мы расходились печально по домамъ.

— Эхъ, господа! сказалъ мнѣ съ Языковымъ однажды одинъ изъ нашихъ товарищей, пребойкій и преразбитной малый, окончившій впослѣдствіи очень трагически свое существованіе: — вы дрянь, какіе-то вялые, замученные, робкіе, вы не умѣете жить... Погодите, васъ надо разшевелить... Я вамъ устрою такой вечерокъ, за который вы поблагодарите меня.

— Когда? гдѣ? спрашивали мы, оживляясь.

— Завтра вечеромъ въ кондитерской на Вознесенской.

— Да ужъ намъ наскучила эта кондитерская, возразили мы, хмуря брови.

— Ахъ вы, глупцы! перебилъ насъ товарищъ: — разумѣется, сидѣть за чашкой шоколада и за трубкой табаку вдвоемъ скучно... Да что тутъ толковать? Собирайтесь-ка туда завтра вечеромъ, часовъ въ 8, — эта кондитерская вамъ покажется раемъ. Я уже приготовлю вамъ чудесные сюрпризы.

На другой день еще до восьми часовъ мы явились въ кондитерскую и сидѣли, съ трепетомъ ожидая нашего товарища. Онъ не заставилъ насъ долго ждать, поздоровался съ нами и сказалъ намъ, улыбаясь таинственно:

— Погодите, погодите... сейчасъ...

Потомъ закричалъ:

— Карлъ Иванычъ! — И когда кондитеръ явился на этотъ крикъ, онъ велѣлъ принести свѣчей и что-то шепнулъ ему на ухо. Кондитеръ кивнулъ значительно головой и сказалъ:

— Я уже послалъ. Будутъ, будутъ!

Я взглянулъ на Языкова, Языковъ на меня. Насъ начала бить дрожь отъ страха и ожиданія.

Минутъ черезъ десять вошли въ комнату двѣ дѣвицы маленькаго роста, очень невзрачныя и одѣтыя не совсѣмъ чисто — что-то въ родѣ горничныхъ или модистокъ. Товарищъ нашъ встрѣтилъ ихъ криками и объятіями, усадилъ на диванъ возлѣ насъ и велѣлъ подать имъ шоколаду. Дѣвицы жеманились, мы съ Языковымъ дрожали и не смѣли заговорить съ ними. Товарищъ нашъ смѣялся надъ нами и

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

толкнулъ одну изъ дѣвицъ на Языкова, который вскрикнулъ и отшатнулся отъ нее.

Въ эту минуту отворилась дверь и въ дверяхъ появился квартальный съ суровымъ взглядомъ...

— Это что такое? вскрикнулъ онъ: — дебошъ! Сейчасъ всѣ вонъ отсюда!

Дѣвицы убѣжали; мы бросились въ испугѣ и стыдѣ къ нашимъ шинелямъ и вышли изъ кондитерской, сопровождаемые угрожающимъ взоромъ квартальнаго.

Такъ печально окончился вечеровъ, который хотѣлъ задать намъ нашъ товарищъ. Онъ вышелъ изъ кондитерской такъ же смиренно, какъ мы; но, отойдя нѣсколько шаговъ, объявилъ намъ, что онъ непремѣнно приколотитъ этого мерзавца квартальнаго.

Съ-тѣхъ-поръ эти кондитерскія до того огадились намъ, что мы даже избѣгали проходить мимо нихъ.

Праздность и пустота до болѣзни начали томить меня, а домашніе мои говорили мнѣ:

— Вотъ когда ты поотдохнешь немного, надобно будетъ, другъ мой, подумать и о службѣ.

Отъ нечего дѣлать, я началъ заниматься устройствомъ своей комнаты — и убралъ ее съ нѣкоторымъ эффектомъ и комфортомъ. Я былъ очень счастливъ при мысли, какъ должна будетъ понравиться эта комната Языкову и Кречетову. Освѣтивъ ее однажды вечеромъ и полюбовавшись ею при освѣщеніи, я легъ на диванъ и началъ фантазировать о томъ, какъ бы сдѣлаться литераторомъ. При мысли, что мое имя будетъ въ печати подъ какою-нибудь повѣстью, или подъ какимъ-нибудь стихотвореніемъ, пріятная дрожь пробѣжала по моему тѣлу, и я ощутилъ потребность сейчасъ же написать что-нибудь. Я призадумался и въ головѣ моей начали слагаться стихи «Къ Дѣвѣ» на манеръ Языкова, который производилъ на меня тогда сильное впечатлѣніе. Черезъ часъ было готово стихотвореніе въ четырехъ куплетахъ. Я продекламировалъ его вслухъ и остался очень доволенъ его звучностью. Мнѣ смертельно захотѣлось сейчасъ же прочесть его Кречетову. Что скажетъ онъ? Только-что я подумалъ объ этомъ, какъ раздался звонокъ и Кречетовъ явился передо мною. Я чуть не бросился ему на шею отъ радости.

Кречетовъ осмотрѣлъ мою комнату съ большимъ вниманіемъ и произнесъ:

— О, да вы, батюшка, устроились очень мило! съ этакимъ эстетическимъ вкусомъ... всѣ эти бездѣлушечки расположены такъ удачно...

Кречетовъ опустился на мягкое кресло и продолжалъ похвалы моимъ декораторскимъ способностямъ.

Я тотчасъ же прочелъ ему мое стихотвореніе.

— Славный стихъ, звучный, Языковскій, проговорилъ Кречетовъ, взявъ изъ моихъ рукъ тетрадку, въ которую я четко вписалъ это стихотвореніе.

Онъ продекламировалъ его самъ и сказалъ:

— У васъ, батюшка, талантъ. Продолжайте, продолжайте.

И я въ-самомъ-дѣлѣ продолжалъ сочинять почти каждый день по стихотворенію, подражая всѣмъ тогдашнимъ знаменитымъ поэтамъ, такъ-что вскорѣ тетрадка была вся исписана стихами. Несмотря однако на похвалы Кречетова, я и не помышлялъ о томъ, чтобы послать даже лучшее, по моему мнѣнію, изъ этихъ стихотвореній въ какой-нибудь журналъ. Литераторы и журналисты вообще казались мнѣ существами высшими, недоступными, съ которыми вступать въ сношенія было бы съ моей стороны неслыханною дерзостью; тѣ же, которые печатали свои сочиненія въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ», въ «Литературной Газетѣ» и въ «Московскомъ Телеграфѣ», представлялись мнѣ уже полу-богами... Я писалъ стихи такъ, отъ праздности, и самолюбіе мое было удовлетворено похвальными отзывами моего снисходительнаго наставника.

Любимымъ чтеніемъ моимъ, кромѣ нашихъ журналовъ и альманаховъ, были романы Вальтеръ-Скотта. Я перечелъ всѣ ихъ во французскихъ и русскихъ переводахъ.

Въ это время въ Европѣ была въ самомъ разгарѣ война классиковъ съ романтиками. Имена французскихъ сподвижниковъ романтизма — Гюго, Дюма, Барбье, Сулье, Сю, де-Виньи, Бальзака — начинали пріобрѣтать у насъ громкую извѣстность. Гюго своимъ предисловіемъ къ «Кромвелю» *нанесъ послѣдній ударъ классицизму*, какъ выражался Кречетовъ, приходившій въ неистовый энтузіазмъ отъ этого предисловія и всегда носившійся съ «Кромвелемъ». Отъ Вальтеръ-

Скотта я перешелъ къ французскимъ романтикамъ и читалъ ихъ съ жадностью. Борьба классицизма съ романтизмомъ нѣсколько раздражила мои умственныя способности, давно требовавшія какой-нибудь пищи. Не задумываясь, я тотчасъ же сталъ подъ знамена романтизма, представителями котораго у насъ считалъ Полевого, Пушкина и его школу, и торжествовалъ побѣду романтиковъ, имѣя впрочемъ очень слабое понятіе о томъ, что за звѣри классики. Подъ словомъ классицизмъ я неопредѣленно разумѣлъ вообще все отжившее, старое, обветшалое, и наоборотъ, подъ словомъ романтизмъ — все живое и новое, къ которому начиналъ чувствовать инстинктивное, неопредѣленное влеченіе. Почему возникла эта борьба? Какой смыслъ заключался въ этомъ явленіи? Я не могъ понять этого. Въ торжествѣ романтизма я праздновалъ побѣденіе Толмачевыхъ, Роговыхъ, Кайдановыхъ, Зябловскихъ, всѣхъ нашихъ маленькихъ деспотовъ и притѣснителей, упорно державшихся за свои узкія и гнилыя понятьица и за свою пошлую, рабскую мораль. Всѣ наши учителя, за исключеніемъ Кречетова, всѣ инспектора, всѣ гувернеры съ презрѣніемъ и ожесточеніемъ отзывались о новомъ литературномъ движеніи и считали его глубоко-безнравственнымъ. Мы считали ихъ классиками. Этого одного уже было довольно, чтобы мы сдѣлались самыми отчаянными романтиками.

Литературная революція, какъ извѣстно, совпадала во Франціи съ политическою революціей... И въ литературѣ, и въ политикѣ новыя идеи торжествовали; но я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о значеніи политическихъ движеній. Іюльская революція не произвела на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія. Я слышалъ мелькомъ, что Карлъ X сверженъ, и что вмѣсто него взошелъ на престолъ Людовикъ-Филиппъ, но за что прогнанъ одинъ и сдѣланъ королемъ другой?—это меня нисколько не интересовало. Кромѣ литературы, ничто не занимало меня и я не имѣлъ ни о чемъ понятія.

Послѣ появленія «Notre Dame de Paris» я почти готовъ былъ идти на плаху за романтизмъ.

Я узналъ о «Notre Dame de Paris» изъ «Московскаго Телеграфа». Вскорѣ послѣ этого весь читающій по-французски Петербургъ началъ кричать о новомъ геніальномъ произведеніи Гюго. Всѣ экземпляры, полученные въ Петер-

бургѣ, были тотчасъ же расхватаны. Я едва досталъ для себя экземпляръ и съ нервическимъ раздраженіемъ приступилъ къ чтенію. Я прочелъ его почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывалъ такого наслажденія отъ чтенія. Клодъ-Фролло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили изъ моего воображенія; сцену, когда Клодъ-Фролло приводитъ ночью Эсмеральду къ висѣлицѣ и говоритъ: «выбирай между мною и этой висѣлицей»—я выучилъ наизусть. Я больше двухъ мѣсяцевъ бредилъ этимъ романомъ и перечитывалъ отрывки изъ него Кречетову и нѣкоторымъ изъ моихъ товарищей, съ которыми болѣе симпатизировалъ.

Успокоясь немного отъ волненія, я принялся переводить послѣднія двѣ главы «Notre Dame», перевелъ ихъ съ любовію, тщательно обдѣлалъ слогъ и прочелъ Кречетову. Онъ нашелъ мой переводъ образцовымъ и посовѣтовалъ послать въ «Московскій Телеграфъ». Я переписалъ его, еще поисправилъ мѣстами и послалъ.

Болѣе полугода послѣ того я съ трепетомъ развертывалъ каждую вновь получаемую книжку, но—увы!—мой переводъ не появлялся. Онъ такъ и сгинулъ въ редакціи «Телеграфа». Эта первая неудавшаяся попытка *печататься* не надолго, впрочемъ, обезкуражила меня.

Охота къ чтенію не давала еще мнѣ совершенно погрязнуть въ пустотѣ и ничтожествѣ праздной и безсмысленной среды, окружавшей меня. Романы Вальтеръ-Скотта и Гюго пробудили во мнѣ желаніе узнать средневѣковую исторію. Но литература представлялась мнѣ какъ-то совершенно отдѣльно отъ жизни. Она пріятно щекотала и раздражала мою фантазію, мало способствуя развитію мысли. Ничто, окружавшее меня, еще не возбуждало во мнѣ никакого вопроса, не наводило ни на какое раздумье или сомнѣніе. Всѣ предразсудки, дикія понятія и взгляды, внушенные мнѣ съ дѣтства, оставались во мнѣ неприкосновенными.

Однажды ко мнѣ зашелъ одинъ изъ моихъ товарищей. Въ разговорѣ съ нимъ я упомянулъ, между прочимъ, къ чему-то, что матушка моя *подарила дѣвку* одной изъ своихъ родственницъ. Товарищъ мой, грубый по натурѣ и ничего почти не читавшій, былъ однако поразвитѣе меня. Онъ скорчилъ при этихъ словахъ гримасу и сказалъ мнѣ:

— Какъ тебѣ не стыдно говорить объ этомъ, и еще такъ хладнокровно, какъ-будто о самой простой вещи?

— Отчего же? Что жь тутъ необыкновеннаго? Развѣ она не имѣла права подарить свою крѣпостную дѣвку? возразилъ я съ удивленіемъ.

— Любезный другъ, я знаю, что это дѣлаютъ, что мужиковъ, лакеевъ, бабъ и дѣвокъ продаютъ и дарятъ, да ужь объ этомъ люди образованные вслухъ-то стыдятся говорить. Вѣдь человѣкъ не вещь, хоть онъ и крѣпостной; у него такая же душа, какъ у насъ съ тобою, и онъ также, какъ и мы, созданъ по образу и подобію Божію.

Эти простыя слова поразили меня... Я вдругъ почувствовалъ дикость своихъ понятій—и покраснѣлъ до ушей. Долго по уходѣ товарища я сидѣлъ въ грустномъ раздумьи...

«Что же это такое?» разсуждалъ я съ самимъ собою. «Какимъ образомъ, въ-самомъ-дѣлѣ, человѣкъ можетъ владѣть человѣкомъ на правахъ вещи и располагать его участью по своей прихоти, по своему безумному произволу? Отъ кого онъ могъ получить такое жестокое, такое нелѣпое право?» И удивлялся, отчего эти вопросы прежде не приходили мнѣ въ голову.

Это былъ первый нравственный толчокъ, данный моей мысли. Она пробудилась и начала нѣсколько тревожить меня. Мнѣ сдѣлалось какъ-будто совѣстно, что я владѣю крѣпостными людьми, и я началъ обращаться съ ними гораздо лучше и осторожнѣе. Этимъ очень были недовольны нѣкоторые изъ близкихъ ко мнѣ... «Ты избалуешь всѣхъ людей въ домѣ, другъ мой, говорили мнѣ: — надобно, чтобы они чувствовали, что ты баринъ и боялись тебя.»

Послѣ выпуска я поддерживалъ отношенія съ тѣми изъ товарищей, съ которыми болѣе симпатизировалъ и познакомился съ ихъ семействами; но самолюбіе, мучившее меня, что я не имѣю никакихъ свѣтскихъ талантовъ, дѣлало меня дикимъ и застѣнчивымъ, особенно въ дамскомъ обществѣ, котораго поэтому я старался избѣгать.

Нѣкоторые изъ близкихъ мнѣ пламенно желали, чтобы я былъ военный, и непремѣнно кавалеристъ, и заставили меня брать уроки въ верховой ѣздѣ. Эполеты, сабля и шпоры очень смущали мое воображеніе; но мысль, что я

долженъ еще поступить въ юнкерскую школу, засѣсть снова на школьную скамью и держать экзамены — охлаждала мои воинственные порывы... Я рѣшился вступить въ штатскую службу, вопреки желаніямъ моихъ близкихъ, которые утѣшились мыслію, что я буду камеръ-юнкеромъ. Камеръ-юнкерство тревожило также и мое воображеніе. Мнѣ самому очень хотѣлось надѣть золотой мундиръ. Я даже нѣсколько разъ видѣлъ себя во снѣ въ этомъ мундирѣ и въ каких-то орденахъ, и, просыпаясь, всякій разъ былъ огорченъ, что это только сонъ.

Наконецъ я опредѣлился на службу, безъ жалованья, въ Департаментъ Государственнаго Казначейства, подъ протекцію директора этого департамента Д. М. Княжевича, который былъ товарищемъ моему отцу по Казанскому университету.

Меня заставили переписывать бумаги и сочинять какія-то отношенія. Эти занятія мнѣ ужасно не понравились. Я пріѣзжалъ въ департаментъ поздно и не высиживалъ до конца. Мой начальникъ отдѣленія, братъ Д. М. Княжевича, Владиславъ Максимовичъ, смотрѣлъ на меня неблагосклонно, — и дѣйствительно, на него и на всякаго порядочнаго человѣка я долженъ былъ производить самое непріятное впечатлѣніе!

Однажды я пріѣхалъ въ департаментъ въ вицъ-мундирѣ и въ пестрыхъ клѣтчатыхъ панталонахъ, которые только-что показались тогда въ Петербургѣ. Я надѣлъ такія панталоны одинъ изъ первыхъ и хотѣлъ щегольнуть ими передъ всѣмъ департаментомъ. Эффектъ, произведенный моими панталонами, былъ свыше моего ожиданія. Когда я проходилъ мимо рядъ комнатъ въ свое отдѣленіе, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятія, улыбаясь, толкали другъ друга и показывали на меня. Этого мало. Многіе столоначальники и даже начальники отдѣленія приходили въ мое отдѣленіе посмотрѣть на меня; нѣкоторые изъ нихъ подходили ко мнѣ и говорили:

— Позвольте полюбопытствовать, что это на васъ за панталоны? — и дотрогивались до нихъ.

А одинъ изъ столоначальниковъ — юмористъ — замѣтилъ:

— Да они, кажется, изъ той самой матеріи, изъ которой кухарки дѣлаютъ себѣ передники.

Панталоны мои произвели такой шумъ и движеніе въ департаментѣ, что В. М. Княжевичъ обернулся къ моему столу, посмотрѣлъ на меня искоса и потомъ, проходя мимо меня, замѣтилъ мнѣ, что я неприлично одѣваюсь.

По случаю холеры, появившейся въ Петербургѣ въ 1831 году, я вовсе пересталъ ходить въ департаментъ. Когда, послѣ трехмѣсячнаго отсутствія, я появился въ департаментъ, В. М. Княжевичъ подозвалъ меня къ себѣ.

— Отчего вы такъ долго не были въ департаментѣ? спросилъ онъ меня, измѣняясь въ лицѣ.

— Я былъ нездоровъ, отвѣчалъ я.

— Вы должны были объ этомъ увѣдомить... и я вообще долженъ сказать вамъ, что такъ служить нельзя. Вы являетесь въ 12 часовъ, когда всѣ приходятъ въ половинѣ десятаго.

— Да я не получаю жалованья, перебилъ я.

— Это не отговорка. Если вы желаете продолжать службу, то должны служить какъ всѣ. Въ противномъ случаѣ...

— Я долженъ оставить службу, вы хотите сказать... снова перебилъ я.—Что жъ такое, я выйду въ отставку.

— Какъ вамъ угодно... Я васъ не удерживаю... сердито замѣтилъ Владиславъ Максимовичъ.

Я уѣхалъ изъ департамента съ намѣреніемъ на другой же день подать въ отставку, но все откладывалъ день-за-день, а между-тѣмъ въ департаментъ не показывался.

Такъ прошло два мѣсяца.

Въ одно прекрасное утро явился ко мнѣ департаментскій курьеръ и объявилъ, что меня проситъ къ себѣ директоръ департамента.

Дмитрій Максимовичъ Княжевичъ былъ человѣкъ очень горячій, и въ минуту гнѣва высказывался очень рѣзко. Такое приглашеніе не предвѣщало ничего добраго, и я отправился въ департаментъ съ непріятнымъ ощущеніемъ.

Я вошелъ въ департаментскую комнату и остановился передъ директорскимъ столомъ.

Дмитрій Максимовичъ былъ погруженъ въ занятія.

Черезъ минуту онъ поднялъ голову отъ бумагъ и оборотился ко мнѣ.

— Я просилъ васъ къ себѣ, сказалъ онъ мнѣ, къ удивленію моему, довольно мягкимъ голосомъ:—чтобы переговорить съ вами насчетъ вашей службы. Вы совсѣмъ не бываете въ департаментѣ.

— Я хочу выйти въ отставку, ваше превосходительство, сказалъ я.

— Напрасно, возразилъ директоръ: — я знаю, что вы имѣли объясненіе съ моимъ братомъ. Братъ мой человѣкъ больной и желчный. Онъ можетъ быть сказалъ вамъ что-нибудь лишнее, а вы какъ молодой человѣкъ оскорбились. Забудьте это. Мнѣ было бы очень пріятно, чтобы вы продолжали службу подъ моимъ начальствомъ. Мнѣ дорога память вашего отца, и я хотѣлъ бы что-нибудь для васъ сдѣлать.

Я былъ тронутъ этими словами, поблагодарилъ его за участіе, но, несмотря на то, отвѣчалъ, что уже твердо рѣшился выйти въ отставку, чувствуя совершенную неспособность къ такому роду службы.

— Ну, какъ вамъ угодно, отвѣчалъ Дмитрій Максимовичъ.—Принуждать я васъ не могу.

Я въ тотъ же день подалъ въ отставку, и болѣе года не вступалъ въ службу, а между-тѣмъ толкался по улицамъ; заходилъ въ кондитерскія и съ жадностью прочитывалъ печатавшуюся тогда въ «Сынѣ Отечества» повѣсть Марлинскаго «Фрегатъ Надежда», думая: «Господи, если бы написать что-нибудь въ этомъ родѣ!»

Пользуясь легкимъ нездоровьемъ и запрещеніемъ доктора выѣзжать изъ дому, я со страхомъ и трепетомъ принялся за сочиненіе повѣсти. Я не имѣлъ, какъ видѣлъ читатель, никакого понятія о жизни; даже внѣшнія ея явленія схватывалъ разсѣянно, вскользь, а кое-какая способность къ наблюдательности, безъ всякаго взгляда, не могла мнѣ служить ни къ чему. Что было дѣлать? Я, послѣ долгихъ усилій, составилъ однако очень эффектный, по моему мнѣнію, сюжетъ, разумѣется въ высшей степени нелѣпый, стараясь рабски подражать манерѣ изложенія и слогу Марлинскаго.

По мѣрѣ писанія я прочитывалъ ее Кречетову. Кречетовъ похваливалъ, въ особенности слогъ, но замѣчалъ, что я касаюсь только внѣшней стороны при изображеніи лицъ, мало заглядываю въ глубь человѣческаго сердца; что моимъ лицамъ

не достаетъ психическаго развитія и тому подобное. При этомъ онъ прибавлялъ, что необходимо быть строгимъ къ самому себѣ, что, написавъ произведеніе, надо положить его года на три; черезъ три года перечесть, исправить и положить еще на три года, потомъ снова перечесть и снова исправить и еще положить на годъ, а уже послѣ этого, прибавивъ кое-какіе штрихи—съ Богомъ печатать; что онъ самъ поступаетъ всегда по этимъ правиламъ, и что у него груда весьма серьезныхъ сочиненій, которыя можетъ-быть скоро появятся въ печати.

Руководствоваться рецептомъ Кречетова у меня недостало терпѣнія. Мнѣ смертельно хотѣлось видѣть свое произведеніе напечатаннымъ и я послалъ мою повѣсть въ редакцію «Сынъ Отечества».

Черезъ три мѣсяца первая половина ея появилась въ печати. Я дрожащими руками взялъ номеръ журнала и въ волненіи, почти сквозь слезы умиленія, перелистывалъ его. Въ эту минуту я былъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ, и нѣсколько дней послѣ этого прохаживался по улицамъ съ особенною гордостью и торжественностью... Кречетовъ былъ также доволенъ моимъ дебютомъ и замѣчалъ, что когда онъ прочелъ мою повѣсть въ печати, она показалась ему несравненно лучше.

Поощренный напечатаніемъ моего произведенія, я началъ обдумывать другую повѣсть, а между-тѣмъ пописывалъ все стишки и исписалъ ими толстыя три тетради, но не рѣшался отослать ни одного стихотворенія въ печать. Несмотря на одобренія Кречетова, я чувствовалъ, что не имѣю поэтическаго дара, и полагалъ, что мое настоящее призваніе—проза. Кречетовъ согласился съ этимъ, когда я ему это замѣтилъ.

Вторая повѣсть моя, имѣвшая болѣе смысла и простоты, напечатана была въ «Телескопѣ». Она понравилась многимъ литераторамъ, и что странно—людямъ, не имѣвшимъ между собою ничего общаго — Бѣлинскому и Воейкову. Воейковъ воспѣлъ ей, въ своихъ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Инвалиду», такую преувеличенную похвалу (такова ужъ была его манера), которая болѣе походила на иронію, и вздумалъ почему-то приписать эту повѣсть Бѣлинскому, который въ это время только-что появился съ своими «Литературными мечтаніями» въ «Телескопѣ».

Послѣ этой повѣсти издатели журналовъ и альманаховъ обратили на меня вниманіе и начали обращаться ко мнѣ съ просьбами о повѣстяхъ. Я уже началъ считать себя литераторомъ. Перелистывая однажды тетради съ моими стихотвореніями (ихъ накопилось до шести), я выбралъ изъ нихъ только пять стихотвореній для печати, а остальное сжегъ.

Гораздо спустя напечатанія моей первой повѣсти, однажды, часа въ три, я зашелъ въ книжный магазинъ Смирдина, который помѣщался тогда на Невскомъ проспектѣ, въ бель-этажѣ дома Лютеранской церкви. Въ одно почти время со мною вошли въ магазинъ два человѣка: одинъ большаго роста, съ весьма важными и смѣлыми пріемами, полный, съ рыжеватой эспаньолкой, одѣтый франтовски. Другой средняго роста, одѣтый безъ всякихъ претензій, даже небрежно, съ курчавыми бѣлокурыми волосами, съ нѣсколько арабскимъ профилемъ, толстыми выдавшимися губами и съ необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянулъ на послѣдняго, сердце мое такъ и замерло. Я узналъ въ немъ Пушкина, по извѣстному портрету Кипренскаго.

До этого я нигдѣ никогда не встрѣчалъ Пушкина. Я преодолѣлъ робость, которую ощутилъ при первомъ взглядѣ на этотъ великій литературный авторитетъ, подошелъ къ прилавку, у котораго онъ остановился, и началъ внимательно и въ подробности разсматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившіе болѣе на когти. Выраженіе лица его показалось мнѣ очень симпатическимъ, а улыбка чрезвычайно пріятной и даже добродушной. Онъ спросилъ у Смирдина не помню какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился къ своему спутнику съ какимъ-то замѣчаніемъ. Спутникъ, заложивъ руку за жилетъ, отвѣчалъ громко и не смотря на Пушкина, и потомъ, съ улыбкой обратившись къ Смирдину, началъ съ нѣкоторою торжественностью:

Къ Смирдину какъ ни придешь...

и остановился.

Смирдинъ заюлилъ и началъ ухмыляться. Пушкинъ взглянулъ на своего спутника съ полуулыбкою и покачалъ головою. Я думалъ, глядя на господина съ рыжей эспаньолкой: «какъ счастливъ этотъ господинъ, обращающійся съ вели-

кимъ человѣкомъ такъ небрежно и просто, тогда какъ у меня отъ одного взгляда на Пушкина замираетъ дыханіе. Кто же такой этотъ счастливецъ, такъ близкій къ Пушкину?»

Съ этимъ вопросомъ обратился я къ Смирдину, когда Пушкинъ вышелъ изъ лавки.

— Это С. А. Соболевскій, отвѣчалъ Смирдинъ: — прекраснѣйшій человѣкъ и другъ Александра Сергѣевича. Онъ пишетъ на всѣхъ удивительнѣйшія эпиграммы въ стихахъ-съ.

Послѣ я уже узналъ, что стихъ, произнесенный Соболевскимъ у Смирдина, былъ первый стихъ извѣстнаго экспромта Пушкина:

Къ Смирдину какъ ни придешь,
Ничего не купишь,
Иль Сенковскаго найдешь,
Иль въ Булгарина наступишь.

Я и не смѣлъ думать о знакомствѣ съ Пушкинымъ, да и какое право имѣлъ я на знакомство съ нимъ? Я только завидовалъ моему пріятелю Дирину, который познакомился съ нимъ по случаю своего отдаленнаго родства съ Вильгельмомъ Кюхельбекеромъ. Родные Дирина получали черезъ III Отдѣленіе письма отъ ссыльнаго Кюхельбекера, въ которыхъ всегда почти упоминалось о Пушкинѣ, и Диринъ носилъ обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Диринъ занимался тогда переводомъ сочиненія Сильвіо-Пеллико «Объ обязанностяхъ человѣка» и сообщилъ объ этомъ Пушкину, который одобрилъ его мысль и обѣщалъ ему даже написать предисловіе къ его переводу.

Диринъ былъ въ восхищеніи отъ пріемовъ Пушкина, отъ его привѣтливости и внимательности. Пушкинъ дѣйствительно, по словамъ всѣхъ литераторовъ, имѣвшихъ съ нимъ сношенія, былъ очень простъ, любезенъ и до утонченности вѣжливъ въ обхожденіи, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубовичъ гордился тѣмъ, что Пушкинъ всегда выпрашивалъ у него стиховъ для своихъ изданій.

Энтузіазмъ Дирина къ Пушкину доходилъ до благоговѣнія. Когда какой-то мой переводъ стиховъ Гюго былъ напечатанъ рядомъ со стихами Пушкина въ «Библіотекѣ для Чтенія», Диринъ, увѣдомляя меня объ этомъ, писалъ: «Ты пойми, какая это высокая честь. Ты счастливецъ. Я не знаю,

чего бы я не далъ, чтобы видѣть имя свое рядомъ съ именемъ Пушкина.»

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Дирина, я какъ-то завелъ рѣчь о немъ и объ его отношеніяхъ къ Пушкину съ П. А. Плетневымъ.

— А знаете ли, почему Пушкинъ былъ такъ внимателенъ и вѣжливъ къ нему?

— Почему же? Вѣдь онъ былъ со всѣми таковъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Плетневъ: — съ нимъ онъ былъ особенно внимателенъ—и вотъ почему. Я какъ-то разъ утромъ зашелъ къ Пушкину и застаю его въ передней, провожающимъ Дирина. Излишняя внимательность его и любезность къ Дирину нѣсколько удивили меня, и когда Диринъ вышелъ, я спросилъ Пушкина о причинѣ ея.

— Съ такими людьми, братецъ, излишняя любезность не вредитъ, отвѣчалъ, улыбаясь, Пушкинъ.

— Съ какими людьми? спросилъ я съ удивленіемъ.

— Да вѣдь онъ носитъ ко мнѣ письма отъ Кюхельбекера... Понимаешь? Онъ служитъ въ III Отдѣленіи.

Я расхохотался и объяснилъ Пушкину его заблужденіе. Диринъ, разумѣется, ничего не зналъ о подозрѣніи Пушкина; онъ пришелъ бы отъ этого въ отчаяніе, но Пушкинъ послѣ этого обнаружилъ къ нему уже дѣйствительное участіе, что доказываетъ и предисловіе къ его переводу Сильвіо-Пеллико.

Я слѣдилъ за литературою усердно, читалъ отъ доски до доски всѣ журналы и всѣ отдѣльно выходившія замѣчательныя литературныя произведенія. При появленіи «Торквато Тассо» Кукольника, я пришелъ, конечно, въ восторгъ отъ этого произведенія, какъ и большинство средняго рода петербургскихъ литераторовъ и петербургской публики. «Какія колоссальныя надежды долженъ подавать поэтъ, выступающій съ такимъ произведеніемъ!» говорили въ литературныхъ кружкахъ и въ обществѣ.

Петербургская молодежь, занимавшаяся литературой, въ высшей степени заинтересована была личностью автора «Тасса». Носились слухи, что онъ привезъ съ собою множество удивительныхъ произведеній, долженствующихъ сдѣлать переворотъ въ русской литературѣ.

— Хочешь ли познакомиться съ Кукольникомъ? сказалъ

мнѣ однажды одинъ изъ моихъ пріятелей, Ф. Т. Фанъ-деръ-Флитъ. Завтра вечеромъ онъ читаетъ у Гижилинскаго свою новую драму. Пріѣзжай ко мнѣ. Мы поѣдемъ вмѣстѣ. Я тебя познакомлю съ Гижилинскимъ, а Гижилинскій познакомитъ насъ съ Кукольникомъ. Говорятъ, новая драма Кукольника— просто чудо!

Нечего говорить, съ какою радостью я принялъ это предложеніе.

Вожделѣнный вечеръ наступилъ.

Въ 7 часовъ мы были уже у Гижилинскаго.

Черезъ полчаса явился поэтъ.

Въ это время еще онъ имѣлъ нѣкоторое сходство съ тѣмъ идеализированнымъ портретомъ, который впослѣдствіи былъ сдѣланъ Брюловымъ. На насъ произвела сильное впечатлѣніе его сухощавая и длинная фигура, его блѣдное и продолговатое лицо, черные задумчивые глаза и какой-то особенный тонъ, который казался намъ пророческимъ. При этомъ Кукольникъ говорилъ по печатному на букву о, что придавало особенную вѣскость и торжественность его словамъ.

Слушателей собралось человѣкъ десять. Гижилинскій всѣхъ насъ представилъ поэту. Кукольникъ каждаго изъ насъ обнялъ и поцѣловалъ.

— Господа, произнесъ онъ: — отъ души радъ съ вами сблизиться. Вы любите и чтите искусство, а искусство—моя святыня, которой я обрекъ себя на служеніе. Всѣ, любящіе искусство, близки мнѣ,—слѣдовательно, хотя я вижу васъ въ первый разъ, но уже считаю васъ какъ бы родными и близкими себѣ.

Кукольникъ вскорѣ приступилъ къ чтенію «Руки Всевышняго», замѣтивъ впрочемъ, что онъ не считаетъ эту драму лучшимъ своимъ произведеніемъ, что у него задуманъ цѣлый рядъ драмъ изъ жизни итальянскихъ художниковъ, требовавшихъ огромной *эрудиціи*, изъ которыхъ одна: «Джулія Мости» приведена почти совсѣмъ къ окончанію, и что это его любимое, задушевное произведеніе.

Кукольникъ прочелъ намъ свою драму мастерски, съ эффектомъ. Слушатели были плохими критиками: имъ не могло придти въ голову ни о томъ, какая мысль движетъ произве-

деніемъ, ни о томъ, заключаетъ ли оно въ себѣ хотя тѣнь исторической правды. Мы восхищались только эффектными стихами и монологами. Этого одного довольно было, чтобы «Рука Всевышняго» показалась намъ замѣчательнымъ произведеніемъ.

Когда Кукольникъ кончилъ, было уже около часа. Послѣ изъявленія восторговъ, начались приготовленія къ ужину.

За ужиномъ Кукольникъ говорилъ неумолкаемо, и каждое слово его казалось намъ чуть не откровеніемъ. Онъ поразилъ насъ своими обширными и многосторонними свѣдѣніями, что̀ было очень немудрено при отсутствіи въ насъ всякихъ свѣдѣній.

Послѣ ужина онъ сѣлъ на диванѣ. На столѣ передъ диваномъ поставлена была бутылка съ краснымъ виномъ. Мы разсѣлись кругомъ поэта. Рѣчь его становилась все вдохновеннѣе и возвышеннѣе — покрайней-мѣрѣ намъ такъ казалось. По поводу кѣмъ-то изъявленнаго восторга о его «Тассо», Кукольникъ замѣтилъ, что это произведеніе дѣтское, слабое, сравнительно съ его «Мости» и съ тѣмъ рядомъ произведеній, которыя замышлены имъ.

— Сказать ли вамъ, господа, что смущаетъ меня, произнесъ Кукольникъ въ заключеніе: — я съ вами буду говорить прямо: меня смущаетъ мысль, что русская публика еще не доросла до пониманія серьезныхъ произведеній. Много ли въ ней такихъ, какъ вы? Мнѣ кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски.

Слова эти произвели на всѣхъ насъ потрясающее впечатлѣніе. У-у! Каковъ! — подумали мы, перемигнувшись другъ съ другомъ, и съ нѣкоторымъ страхомъ взглянули на Кукольника, какъ на существо, выходящее изъ ряду вонъ, высшее... Потомъ мнѣ показалось немного подозрительнымъ, чтобы можно было такъ же хорошо владѣть чуждыми языками, какъ своимъ отечественнымъ, но я тотчасъ же устыдился моего сомнѣнія.

— Мнѣ это больно, горько, продолжалъ поэтъ, — и на глазахъ его, покрайней-мѣрѣ такъ показалось намъ, были слезы: — я люблю Россію горячо, но дѣлать нечего! всетаки, я думаю, придется бросить русскій языкъ...

Мы начали умолять поэта, чтобы онъ не дѣлалъ этого и не лишалъ бы русскую литературу и наше любезное отечество — славы; что онъ и въ Россіи найдетъ себѣ много истинныхъ приверженцевъ и почитателей... Что касается до насъ, мы почти дали ему клятву въ вѣрности на всю жизнь...

Кукольникъ долго молчалъ. Бутылка была опорожнена. Онъ прислонился къ спинкѣ дивана и закрылъ глаза.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ поднялъ вѣки и медленнымъ взглядомъ обвелъ всѣхъ насъ.

Этотъ взглядъ показался намъ до того многозначительнымъ, что я вздрогнулъ и всѣ переглянулись другъ съ другомъ

— Благодарю васъ, искренно и отъ всего сердца благодарю, произнесъ Кукольникъ глубоко-растроганнымъ голосомъ:—не за себя благодарю, а за искусство, великое дѣло котораго вы такъ горячо принимаете къ сердцу... Да, я буду писать по-русски, я долженъ писать по-русски, уже по одному тому, что я нахожу такихъ русскихъ, какъ вы!...

Кукольникъ всталъ, обнялъ насъ и сказалъ, что онъ счастливъ, пріобрѣтя себѣ такихъ друзей, какъ мы...

— Добрый хозяинъ дома дастъ намъ еще бутылку вина, прибавилъ Кукольникъ:—и мы скрѣпимъ нашъ союзъ брудершафтомъ.

Мы разстались съ поэтомъ часа въ четыре утра, убѣжденные въ его геніальности.

Я долго не могъ заснуть, и все думалъ о счастіи быть другомъ такого поэта и говорить ему *ты*...

ГЛАВА III.

Дальнѣйшее знакомство мое съ Кукольникомъ.—Его поклонники.—Первое представленіе «Руки Всевышняго» и ярость его поклонниковъ. — Тріумиратъ, образовавшійся изъ трехъ представителей искусствъ: Брюлова, Глинки и Кукольника.—Ихъ дружба.—Чиновники особыхъ порученій при авторитетахъ.—Середы Кукольника.—Булгаринъ.—Ужинъ у Кукольника.—М. И. Глинка.—Каррикатурный альбомъ Степанова.—Продолженіе моей службы.—Князь Ширинскій-Шихматовъ.—Балъ у него.—Умирающій Сваррикъ-Сварацкій.—Толки о Краевскомъ въ департаментѣ.—Мое знакомство съ Краевскимъ.—Переводъ «Отелло».—Знакомство съ Каратыгинымъ, Брянскимъ и княземъ Шаховскимъ.

Съ Кукольникомъ я не могъ видаться часто. Онъ возилъ свою «Руку» изъ дома въ домъ и читалъ ее. Толпы новыхъ поклонниковъ его возрастали съ каждымъ новымъ чтеніемъ и заслоняли его отъ прежнихъ. Надобно сказать правду, что эти поклонники набирались всюду безъ разбора и, соперничая другъ съ другомъ въ энтузіазмѣ, вообще не отличались большимъ развитіемъ. «Рука» репетировалась между-тѣмъ въ театрѣ. Наконецъ, наступило давножеланное для энтузіастовъ Кукольника представленіе. — Весь партеръ былъ набитъ ими. Я, разумѣется, былъ въ томъ же числѣ.—Въ нашей преданности и энтузіазмѣ къ поэту мы не щадили ни рукъ, ни голоса: кричали, топали, хлопали и вызвали автора несчетное количество разъ послѣ представленія. Успѣхъ былъ огромный. Но когда драма Кукольника появилась въ печати, она встрѣчена была, къ нашему огорченію, не совсѣмъ благосклонно.

Всѣмъ извѣстенъ отзывъ объ ней Полевого и послѣдствіе этого отзыва — «Телеграфъ» былъ запрещенъ. По этому поводу кто-то написалъ довольно остроумное четверостишіе:

Рука Всевышняго—три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ходъ дала
И Полевого уходила.

Вскорѣ послѣ этой чудотворной «Руки» начались чтенія новыхъ произведеній: «Джулія Мости», «Джакобо Саназаръ», «Скопина-Шуйскаго», «Роксоланы» и такъ далѣе. Кукольникъ читалъ намъ свои новыя произведенія однимъ изъ первыхъ. Сенковскій произвелъ его за «Торквато Тассо» въ Гёте.

Такое непомѣрное повышеніе показалось неловкимъ нѣкоторымъ изъ самыхъ благоразумныхъ его поклонниковъ. Мой энтузіазмъ къ поэту, впрочемъ, не остывалъ. Каждое новое его произведеніе казалось мнѣ шагомъ впередъ. Имя Кукольника гремѣло въ журналахъ и въ обществѣ. Онъ становился авторитетомъ, близко сошелся съ Брюловымъ и Глинкою и уже довольно равнодушно смотрѣлъ на фалангу своихъ поклонниковъ, которые уже для него дѣлались безполезными.

Каждое чтеніе новаго произведенія оканчивалось ужиномъ и шампанскимъ. На этихъ ужинахъ поэтъ дѣлалъ объясненія своимъ произведеніямъ, изъ которыхъ между-прочимъ узнали, что *цаца* и *ляля* въ «Джулія Мости» — любимыя слова его дѣтства; и что онъ рѣшился внести ихъ въ драму, какъ пріятное для него воспоминаніе. Извѣстно, что Кукольникъ почти всѣхъ своихъ героевъ заставлялъ краснорѣчиво пророчествовать, и любилъ самъ пророчествовать о себѣ на дружескихъ сходкахъ.

Такимъ-образомъ, разговорясь однажды о литературѣ и о значеніи Пушкина, онъ сказалъ:

— Пушкинъ, безспорно, поэтъ съ огромнымъ талантомъ, гармонія и звучность его стиха удивительны, но онъ легкомысленъ и не глубокъ. Онъ не создалъ ничего значительнаго; а если мнѣ Богъ продлитъ жизнь, то я создамъ что-нибудь прочное, серьезное и можетъ-быть дамъ другое направленіе литературѣ... (Передавая слышанное мною изъ устъ поэта, я ручаюсь, конечно, только за вѣрность мысли, а не за слова и обороты фразъ).

Къ сожалѣнію, въ дѣйствительной жизни пророчества не всегда сбываются такъ легко, какъ въ поэтическихъ произведеніяхъ.

Сближеніе и короткость Кукольника съ Брюловымъ и Глинкою, пользовавшимся уже громкою извѣстностью послѣ «Жизни за Царя», еще болѣе возвысили Кукольника въ глазахъ его многочисленныхъ поклонниковъ. Они мечтали видѣть въ этой короткости какой-то разумный союзъ представителей живописи, музыки и поэзіи, и полагали, что онъ можетъ имѣть вліяніе покрайней-мѣрѣ на эстетическое развитіе нашего общества. Едва ли Кукольникъ не поддерживалъ и не распространялъ эту мысль. Въ сущности, союзъ этотъ не

имѣлъ и тѣни чего-нибудь серьезнаго. Представители трехъ искусствъ сходились только для того, чтобы весело проводить время и, разумѣется, толковать между прочимъ о святынѣ искусства и вообще о высокомъ и прекрасномъ. Союзъ этотъ поддерживался нѣкоторое время тѣмъ, что представители пріятно щекотали самолюбіе другъ друга. Около нихъ, какъ всегда около авторитетовъ, образовался небольшой штатъ угодниковъ, шутовъ, исполнителей особыхъ порученій и блюдолизовъ изъ маленькихъ талантиковъ. Въ числѣ таковыхъ выдвигались на первомъ планѣ безталанный художникъ Яненко, грубый, наглый циникъ, который для того только, чтобы хорошо выпить и поѣсть, готовъ былъ пожертвовать даже женою и дочерью въ угоду кому-либо изъ своихъ патроновъ, и другой—также безталанный художникъ Мокрицкій, съ льстивой и рабской натурой, всегда притворно-робко входившій въ мастерскую Брюлова, взглядывавшій на новое произведеніе его кисти съ лицемѣрнымъ благоговѣніемъ, восклицавшій: «недостоинъ, недостоинъ!» и выбѣгавшій, закрывая глаза, какъ бы ослѣпленный имъ. Къ нимъ присоединилось нѣсколько маленькихъ литературныхъ талантиковъ, отчасти изъ тщеславной мысли прослыть друзьями геніальныхъ, по ихъ мнѣнію, людей, отчасти изъ того, чтобы вмѣстѣ съ ними веселиться, пить и ѣсть.

Въ это время Кукольникъ вмѣстѣ съ своимъ братомъ Платономъ, управлявшимъ дѣлами Новосильцева, занималъ довольно большую квартиру въ Фонарномъ переулкѣ, въ домѣ Плюшара. Онъ завелъ у себя *Середы*. Плюшаръ, мотавшій тогда деньги, получаемыя имъ съ «Энциклопедическаго Лексикона», находился въ близкихъ отношеніяхъ къ Кукольнику, Сенковскому, Булгарину и Гречу. Кукольникъ также сошелся очень близко съ послѣдними.

Впослѣдствіи на этихъ «Середахъ» (это уже было въ началѣ сороковыхъ годовъ) собиралось иногда человѣкъ до восьмидесяти. Тутъ не были уже исключительно любители искусства и поклонники литературы, художники и литераторы, а всякаго рода весельчаки, военные и штатскіе, пожилые и молодые — даже игроки, аферисты и спекуляторы. Вся эта разнохарактерная ватага безтолково толпилась и шумѣла, бродя изъ комнаты въ комнату. Хозяинъ дома кочевалъ среди

этой толпы и останавливался на минуту передъ своими гостями съ какимъ-нибудь любезнымъ словомъ. — О святынѣ искусства не было и помину. На этихъ Середахъ перебывали всѣ пишущіе люди, за исключеніемъ немногихъ писателей-аристократовъ, принадлежавшихъ къ друзьямъ Пушкина. Середы эти начались уже послѣ смерти Пушкина. (Надобно замѣтить, что Пушкинъ никогда ни слова не говорилъ о сочиненіяхъ Кукольника, хотя онъ, какъ извѣстно, радовался появленію всякаго таланта.) Одну изъ важныхъ ролей на этихъ Середахъ игралъ Булгаринъ, къ которому хозяинъ дома былъ очень внимателенъ. Здѣсь я увидѣлъ въ первый разъ этого господина. Кукольникъ познакомилъ меня съ нимъ, хотя я вовсе не просилъ его объ этомъ. Короткія отношенія Кукольника съ Булгаринымъ дѣйствовали непріятно на меня и на всѣхъ молодыхъ поклонниковъ поэта. — Новое пишущее и читающее поколѣніе этого времени все безъ исключенія презирало Булгарина. Тотъ, кто печаталъ свои статьи въ «Пчелѣ», или былъ въ короткихъ сношеніяхъ съ ея редакторомъ, компрометировалъ себя въ мнѣніи молодежи. Между старымъ и старѣвшимъ поколѣніемъ Булгаринъ пользовался еще большою популярностью. Можно сказать утвердительно, что Кукольникъ поступилъ неразсчетливо для своей литературной репутаціи, видимо склоняясь болѣе на сторону отживавшаго поколѣнія и протягивая руку такимъ людямъ, какъ Булгаринъ. Но въ это время уже, кажется, святыня искусства, о которой онъ еще такъ горячо проповѣдывалъ за пріятельскими обѣдами и за ужинами въ кафе-ресторанахъ, отходила для него на второй планъ. Другіе, болѣе существенные и практическіе проэкты начинали уже, кажется, занимать его во вредъ поэзіи.

Когда Кукольникъ подвелъ меня къ Булгарину, Булгаринъ схватилъ меня за руку и, какъ-то спотыкаясь почти на каждомъ словѣ, скороговоркою произнесъ, брызгая слюнями:

— Очень радъ, очень радъ, почтеннѣйшій! Я васъ, еще не зная, душевно полюбилъ за вашу повѣсть... вы пишете чистымъ русскимъ языкомъ, прекрасный слогъ, прекрасный! Полюбите меня, не слушайте моихъ враговъ... Дядюшку вашего я уважаю. Мы съ нимъ старые знакомые... достойный человѣкъ, достойный.

Въ эту минуту, какъ онъ мнѣ говорилъ это, я курилъ сигару и пустилъ ему дымъ прямо въ ротъ.

Булгаринъ поперхнулся.

Съ-тѣхъ-поръ, при упоминаніи о моихъ повѣстяхъ въ «Пчелѣ», онъ всякій разъ заговаривалъ о сигарѣ, совершенно не кстати, увѣряя, будто всѣ изображаемыя мною лица непремѣнно курятъ сигары, что эти сигары весьма неумѣстны и что можно быть, конечно, охотникомъ до нихъ, но не надоѣдать съ ними въ литературѣ. Кромѣ меня и Булгарина никто, конечно, не понималъ, что это значитъ.

При напечатаніи одной изъ моихъ повѣстей (это было также въ началѣ сороковыхъ годовъ, здѣсь я ужъ кстати введу этотъ эпизодъ), «Сѣверная Пчела» отозвалась, что хотя она не имѣетъ удовольствія знать меня лично и не слыхала, къ какому обществу я принадлежу, но, судя по тому, что я недурно изображаю міровъ мелкихъ чиновниковъ, я вѣроятно долженъ принадлежать къ этому мірку. Въ заключеніе, «Пчела» замѣчала, что я до такого совершенства изучилъ извѣстнаго рода старушекъ, у которыхъ собираются молодыя дѣвицы для пріятнаго препровожденія времени съ молодыми людьми, и такъ вѣрно изображаю подобные дома, что можно заключить, будто я родился и воспитывался въ одномъ изъ такихъ домовъ.

Эта милая выходка подала поводъ къ большимъ толкамъ между многими изъ тѣхъ литераторовъ, которыхъ Булгаринъ считалъ своими врагами, и когда я дня черезъ два послѣ этого пріѣхалъ на вечеръ къ князю Одоевскому — Одоевскій, графъ Соллогубъ и Башуцкій встрѣтили меня тѣмъ, что я непремѣнно долженъ жаловаться на Булгарина; что такая наглость и гнусность не можетъ остаться безнаказанной; что сегодня онъ оскорбилъ меня, завтра можетъ оскорбить кого-нибудь изъ нихъ и прочее, и прочее.

Я однако жаловаться не рѣшился; но графъ Соллогубъ при встрѣчѣ съ предсѣдателемъ цензурнаго комитета, княземъ Дундуковымъ-Корсаковымъ, разсказалъ ему объ этой выходкѣ противъ меня.

Князь Дундуковъ спросилъ въ комитетѣ, кто изъ цензоровъ пропускалъ тотъ номеръ «Пчелы», гдѣ она была напечатана. Оказалось, что это былъ родной братъ его П. А.

Корсаковъ. Корсаковъ отговарившися передъ братомъ тѣмъ, что онъ не понялъ намека. Князь Дундуковъ сдѣлалъ ему выговоръ и приказалъ строже слѣдить за «Пчелою».

Булгаринъ узналъ объ этомъ и послалъ къ князю Дундукову письмо, въ которомъ объяснялъ ему, что статью обо мнѣ писалъ не онъ; что онъ и не подозрѣвалъ объ моемъ существованіи; что мало ли что говорится иногда о людяхъ и позначительнѣе меня; что неужели обо мнѣ нельзя ничего сказать, потому-что я ношу одну фамилію съ какимъ-нибудь директоромъ канцеляріи; что онъ, Булгаринъ, человѣкъ благонамѣренный, извѣстный съ самой хорошей стороны правительству; что онъ въ дѣтствѣ былъ такъ-сказать *повитъ голубыми лентами*, что его вельможи ласкали, а Свистуновъ — всегда цѣловалъ; что онъ рѣжетъ всѣмъ правду-матку въ глаза; что поэтому его ненавидятъ разные литераторы, считающіе себя неизвѣстно почему аристократами; что Соллогубъ величается графомъ, хотя въ Польшѣ графовъ никогда не было; что князь Вяземскій работалъ по найму у купца третьей гильдіи Полевого, что князь Одоевскій готовъ за деньги написать статью противъ кого угодно и прочее, и прочее. Въ заключеніе онъ просилъ, какъ притѣсняемый, защиты у князя Дундукова и называлъ его брата, Корсакова, благороднымъ цензоромъ и *дворяниномъ*.

Письмо это долго хранилось въ копіи у Краевскаго, пылавшаго тогда благороднымъ негодованіемъ противъ всякихъ *не-литературныхъ* выходокъ.

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ этого, я заѣхалъ къ В. И. Панаеву.

— Что́ у тебя такое было съ Булгаринымъ? спросилъ онъ меня.

Я давно забылъ о выходкѣ «Пчелы».

— Ничего, отвѣчалъ я: — я съ Булгаринымъ не имѣю никакихъ связей и сношеній. А что?

— Да я дней пять тому назадъ встрѣтилъ его въ Милютиныхъ лавкахъ. Онъ присталъ ко мнѣ. «Ваше превосходительство, говоритъ, вы на меня сердитесь... Я не виноватъ...» — «За что мнѣ на васъ сердиться?» — «Въ «Пчелѣ», говоритъ, оскорбили вашего племянника; но я, клянусь вамъ Богомъ, не зналъ объ этомъ. Я вашего племянника люблю,

ваше превосходительство, несмотря на то, что онъ якшается съ моими врагами. Я поручилъ написать объ немъ одному сотруднику, думая, что онъ находится съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, а онъ съ нимъ въ контрѣ — и ввелъ меня въ эту непріятность. Простите меня, Бога ради! Я не виноватъ, не виноватъ, ваше превосходительство!» — И все тыкался мнѣ въ плечо и цѣловалъ, объясняясь въ любви ко мнѣ и къ тебѣ. Я ничего хорошенько не понялъ.

Я разсказалъ Панаеву, въ чемъ дѣло, и передалъ ему содержаніе письма Булгарина къ Дундукову.

Панаевъ покачалъ головою.

— Ахъ, неужели, возразилъ онъ съ свойственною ему мягкостью: — Булгаринъ такой низкій человѣкъ! Я этого не думалъ... Мнѣ какъ-то хочется думать о людяхъ все лучше.

Эпилогъ къ этой забавной исторіи разыгрался лѣтъ пять спустя.

Я жилъ на дачѣ въ Парголовѣ, гдѣ жилъ тогда и Межевичъ, перешедшій отъ Краевскаго къ Булгарину и потомъ редижировавшій «Полицейскими Вѣдомостями».

Съ Межевичемъ я познакомился, когда онъ пріѣхалъ изъ Москвы и сдѣлался сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ» (объ этомъ ниже я буду говорить подробно). Межевичъ очень конфузился, перебѣжавъ въ «Пчелу», и долго скрывалъ это отъ насъ. Въ это время я написалъ статейку «Петербургскій Фельетонистъ», въ которой мой фельетонистъ также тайно перебѣгаетъ изъ одного журнала въ другой. Межевичъ принялъ эту статейку на свой счетъ.

Я встрѣтился съ Межевичемъ по дорогѣ въ садъ и мы пошли вмѣстѣ. Вечеръ былъ теплый и тихій; я разговорился съ нимъ о чемъ-то. Тишина природы и моя любезность подѣйствовали на Межевича.

Онъ вдругъ растроганный остановился и произнесъ:

— Знаете ли, что я передъ вами очень виноватъ?

— Какимъ образомъ? спросилъ я.

— Вѣдь это я написалъ въ «Пчелѣ» извѣстный вамъ гадкій намекъ на васъ. Я былъ тогда глубоко оскорбленъ вашимъ «Петербургскимъ Фельетонистомъ», простите меня.

— И, полноте, любезный Василій Степановичъ,—я ужъ давно и забылъ объ этомъ, отвѣчалъ я.

Межевичъ съ чувствомъ и даже со слезящимися глазами пожалъ мою руку...

Но обратимся къ «Середамъ» Кукольника.

Вся ватага гостей расходилась обыкновенно около часу,—иногда Яненко или кто-нибудь изъ мелкихъ литераторовъ, состоявшихъ по особымъ порученіямъ при поэтѣ, разными хитростями выживутъ гостей ранѣе. По очищеніи комнатъ, накрывается ужинъ человѣкъ на двадцать самыхъ интимныхъ и продолжается до утра. За этимъ ужиномъ происходили дружескія и всяческія изліянія, выступала на сцену святыня искусства и раздавались вдохновенныя и пророческія рѣчи хозяина дома.

На одной изъ середъ, Кукольникъ, часовъ въ одиннадцать, подошелъ ко мнѣ, значительно мигнулъ и шепнулъ съ улыбкою:

— Не уѣзжай. Когда разбредется вся эта шушера, останутся избранные. Вечера мои собственно начинаются тогда, когда они кончаются для нихъ...

Кукольникъ указалъ головою на своихъ гостей.

— До-сихъ-поръ, прибавилъ онъ: — была только увертюра, опера начнется потомъ.

Надо замѣтить, что это происходило послѣ «Роксоланы» и «Скопина-Шуйскаго», которые имѣли огромный успѣхъ на сценѣ. Усердіе наше къ крикамъ и хлопанью не уставало. Къ намъ присоединилось еще множество офицеровъ различныхъ полковъ—новыхъ друзей поэта, съ еще болѣе громкимъ голосомъ, чѣмъ у насъ.

Хотя я продолжалъ быть убѣжденъ въ огромномъ талантѣ Кукольника, но меня уже смущали его связи съ Булгаринымъ, Плюшаромъ и имъ подобными личностями, которымъ я не могъ сочувствовать; его исканіе популярности безъ всякаго разбора, ухаживанье за людьми чиновными и значительными и еще притомъ прославленіе ихъ между пріятелями, пиры безъ конца, повтореніе тѣхъ же громкихъ фразъ и проч. Середы эти много способствовали моему разочарованію. Сомнѣніе начало закрадываться въ меня относительно призванія поэта: благоговѣніе мое къ нему чуть-чуть колебалось; я уже иногда начиналъ посматривать на него, какъ на простаго

смертнаго и даже осмѣлился замѣчать иногда его комическія стороны.

Въ такомъ положеніи я былъ къ нему, когда онъ сдѣлалъ мнѣ честь, которой удостоивались немногіе — удержалъ меня на ужинъ.

Мнѣ однако это было еще очень пріятно.

За ужиномъ Кукольника въ этотъ разъ было человѣкъ пятнадцать: нѣсколько офицеровъ Преображенскаго полка, Яненко, Струговщиковъ, переводившій Гёте и издававшій тогда «Художественную Газету», Каменскій, интересный молодой человѣкъ, явившійся съ Кавказа съ повѣстями à la Марлинскій и съ солдатскимъ Георгіемъ въ петлицѣ. Кавказскій герой одержалъ двѣ побѣды въ Петербургѣ: одну надъ Краевскимъ, издававшимъ «Литературныя Прибавленія къ Инвалиду», который, пораженный его талантомъ, заплатилъ ему 500 рублей ассигнаціями за его первую повѣсть; другую надъ дочерью Ѳ. П. Толстаго. Остальныхъ присутствовавшихъ за этимъ ужиномъ я не помню. Ужинъ отличался не столько съѣстною, сколько винною частью. Въ столовой на одной стѣнѣ висѣлъ портретъ Кукольника-поэта, на другой его брата—Платона—работы Брюлова, въ великолѣпныхъ рамахъ. Вино лилось. За шампанскимъ Кукольникъ всталъ и, обращаясь въ особенности къ офицерамъ, поднимая бокалъ и протягивая съ нимъ руку къ портрету брата, произнесъ торжественно:

— Преображенцы! за здоровье отсутствующаго Платона!

Здоровье управляющаго новосильцевскимъ имѣніемъ было выпито съ криками.

Я сидѣлъ возлѣ М. И. Глинки.

Глинка передъ ужиномъ былъ въ дурномъ расположеніи духа. Онъ говорилъ мало и нехотя, гордо поднималъ свою голову и, заложивъ руку за жилетъ, важно прохаживался въ толпѣ, *будируя* всѣхъ своихъ знакомыхъ. Такія минуты находили на него часто. За ужиномъ онъ однако мало-по-малу расходился; говорилъ мнѣ о своихъ музыкальныхъ планахъ, о своемъ «Русланѣ», надъ которымъ онъ тогда трудился, о будущности Россіи (это былъ одинъ изъ любимыхъ его разговоровъ), о русскомъ народѣ. Глинка полагалъ, что онъ хорошо знаетъ народъ и въ случаѣ необходимости будетъ умѣть говорить съ нимъ. При такого рода разговорахъ, онъ обыкно-

венно очень одушевлялся: глаза его сверкали, онъ щипалъ руку того, съ кѣмъ говорилъ, и безпрестанно повторялъ: «неправда ли»?... Въ этотъ разъ онъ исщипалъ мою руку до синяковъ.

Глинка былъ человѣкъ страстный, увлекающійся, настоящій поэтъ,—и въ такія минуты онъ возбуждалъ къ себѣ большую симпатію и увлекалъ многихъ своими фантазіями и парадоксами, потому-что въ его увлеченіяхъ не было ничего поддѣльнаго... надобно было только сидѣть отъ него подальше. Но когда кто-нибудь затрогивалъ чуть-чуть его самолюбіе, или ему только казалось это, онъ становился нестерпимо гордъ, дулся, поднимался на ходули и принималъ важныя и пресмѣшныя позы, вовсе не шедшія къ его маленькой фигуркѣ.

Степановъ — нынѣшній редакторъ «Искры» — мастерки схватилъ комическія стороны Глинки, Брюлова и Кукольника. Онъ представилъ всю жизнь ихъ въ очень злыхъ, мѣткихъ и остроумныхъ карикатурахъ. Альбомъ этотъ принадлежитъ теперь графу Г. А. Кушелеву-Безбородко.

О святынѣ искусства за ужиномъ Кукольника было мало рѣчи. Онъ сообщилъ только намъ, что онъ трудится надъ эпохою Петра Великаго, приготовляетъ рядъ повѣстей изъ этой эпохи, и кстати разсказалъ намъ изъ нея нѣсколько анекдотовъ.

Послѣ ужина всѣ смолки, потому-что Глинка, почувствовавъ вдохновеніе, сѣлъ къ фортепьяно и началъ импровизировать. Кукольникъ стоялъ у фортепьяно, восклицая по временамъ: «дивно!» и, обращаясь къ офицерамъ, шепталъ, прикладывая указательный перстъ къ губамъ: «слушайте, слушайте, преображенцы!»

Въ заключеніе Глинка пропѣлъ свой романсъ:

Въ крови горитъ огонь желанья

страстнымъ, задыхающимся голосомъ, дико поводя глазами на слушателей.

Потомъ онъ повелъ рукою по лбу и волосамъ (это онъ часто дѣлалъ въ минуты волненія), всталъ со стула, изъ-за плеча бросилъ гордый взглядъ на всѣхъ (кто изъ знавшихъ Глинку не помнитъ этого взгляда?), прошелся по комнатѣ, допилъ свой стаканъ, подошелъ ко мнѣ, улыбаясь, ущипнулъ меня и сказалъ:

— Если бъ Иванъ Акимычъ воскресъ и былъ здѣсь, что бы онъ сказалъ? — Михаилъ Ивановичъ заморгалъ и началъ обдергиваться: «Глинка... новый Орфей, продолжай услаждать слухъ гармоніей... Жизнь коротка... мудрый, пользуйся жизнію... Добрый хозяинъ всегда имѣетъ въ запасѣ: бутылку на столѣ — двѣ подъ столомъ.... Разумѣй объ этомъ тотъ, кому вѣдать надлежитъ»... Глинка, засмѣялся.

— Правда, вѣдь такъ? продолжалъ Глинка, смѣясь...

Мы разошлись часу въ пятомъ утра.

Надобно сказать, что при началѣ вечеровъ Кукольника я былъ уже знакомъ со многими литераторами, съ которыми я сошелся на середахъ у Кукольника, на воскресеньяхъ у графа Ѳ. П. Толстаго и у Краевскаго, приступавшаго тогда къ изданію «Литературныхъ Прибавленій» къ «Русскому Инвалиду» и скромно жившаго неподалеку отъ Кукольника, на углу Глухаго и Фонарнаго переулковъ, въ 4-мъ этажѣ.

О знакомствѣ моемъ съ Краевскимъ я разскажу потомъ. Послѣ службы моей въ Департаментѣ Государственнаго Казначейства, я отдыхалъ съ годъ, и наконецъ князь П. А. Ширинскій-Шихматовъ, бывшій тогда директоромъ Департамента Народнаго Просвѣщенія, съ которымъ были знакомы мои родные, опредѣлилъ меня къ себѣ въ департаментъ младшимъ помощникомъ столоначальника.

Когда я въ первый разъ явился къ князю Ширинскому-Шихматову, онъ сидѣлъ чинно въ своемъ кабинетѣ у письменнаго стола въ вицъ-мундирѣ и со звѣздой.

— Милости прошу, сказалъ онъ мнѣ, немного приподнявшись съ своихъ креселъ и указывая на стулъ.

Князь Ширинскій-Шихматовъ говорилъ тихо, медленно, съ разстановками. Въ кабинетѣ его стоялъ письменный столъ, нѣсколько стульевъ и креселъ, а на одной изъ стѣнъ висѣлъ портретъ какого-то монаха. На полномъ лицѣ князя, желтомъ, какъ церковная свѣча, выражалась совершенно монашеская кротость и смиреніе.

— Вы желаете служить въ департаментѣ?... Просьба ваша объ опредѣленіи у меня. Съ будущей недѣли вы можете уже начать службу. Вы поступите младшимъ помощникомъ столоначальника во 2-е отдѣленіе, въ столъ г. Сваррику-Сваррацкому....

Я поклонился.

— Вы, я слышалъ, занимаетесь литературой? спросилъ меня князь послѣ минуты молчанія.

— Немного, отвѣчалъ я сконфузясь.

— Это похвальное занятіе, возразилъ князь: — я также въ молодыхъ лѣтахъ питалъ любовь къ литературѣ и писалъ стихи. Вы можетъ-быть знаете?...

— Какже, ваше сіятельство, поспѣшно отвѣтить я, хотя, признаться, я только слышалъ о сочиненіяхъ князя, но никогда не читалъ ихъ.

Затѣмъ опять послѣдовало молчаніе.

Князь Ширинскій-Шихматовъ приподнялся съ кресла, я всталъ со стула.

— Такъ на будущей недѣлѣ вы пожалуйте въ департаментъ, сказалъ князь. — До свиданія-съ.

Служба рѣшительно не давалась мнѣ, или, лучше сказать, я не могъ подчиниться ей. У меня не оказалось ни малѣйшаго честолюбія. Камеръ-юнкерство уже менѣе стало занимать меня; но мои близкіе всякій разъ, когда производили въ камеръ-юнкеры сына или родственника ихъ знакомыхъ, съ упрекомъ говорили мнѣ:

— N N сдѣланъ камеръ-юнкеромъ. Въ какомъ восторгѣ отъ этого его родители, и какой онъ прекрасный молодой человѣкъ, какъ онъ утѣшаетъ ихъ, какъ отзывается объ немъ начальство! Это примѣрный сынъ!

И за такими рѣчами слѣдовалъ обыкновенно глубокій вздохъ....

Я ѣздилъ въ департаментъ довольно аккуратно, просиживалъ опредѣленное время, но изъ этого ничего не выходило. Столоначальникъ мой, нѣкто Сваррикъ-Сваррацкій, добрѣйшій человѣкъ, смотрѣлъ на меня снисходительно, потому-что я былъ опредѣленъ въ департаментъ княземъ Ширинскимъ-Шихматовымъ. Къ тому же у него былъ отличный старшій помощникъ г-нъ Кисловскій, нынѣшній директоръ канцеляріи министра просвѣщенія.

Я изрѣдка посѣщалъ по праздничнымъ днямъ князя и княгиню Ширинскихъ-Шихматовыхъ. Однажды, при такомъ посѣщеніи, княгиня пригласила меня къ себѣ на танцовальный вечеръ, въ присутствіи князя, который молчалъ, но за-

мѣтно нахмурился при словахъ «танцовальный вечеръ». Княгиня была такъ же богомольна и благочестива, какъ князь, но она находила, что для ея взрослыхъ дочерей необходимо иногда развлеченіе. Кавалеры на этомъ вечерѣ большею частью состояли изъ чиновниковъ департамента, подъ распоряженіемъ экзекутора, который не приказалъ никого изъ нихъ выпускать до 2-хъ часовъ. Въ залѣ, гдѣ танцовали, зажжено было нѣсколько лампъ, издававшихъ красноватый свѣтъ. Стѣны этой залы были также увѣшаны портретами монаховъ, которые, казалось, сурово и съ удивленіемъ смотрѣли на возмутившее ихъ свѣтское увеселеніе. Самъ князь прохаживался, видимо смущенный бренчаньемъ на фортепьяно и прыганьемъ подъ эти звуки. Чиновники чувствовали себя неловко: для угожденія княгинѣ надобно было танцовать, а князь неблагосклонно посматривалъ на своихъ подчиненныхъ танцоровъ. Вечеръ не клеился, и уже не повторялся болѣе. Столоначальникъ мой, Сваррикъ-Сваррацкій, на другой день впрочемъ замѣтилъ мнѣ, что вечеръ у князя былъ очень пріятный. Бѣдный Сваррацкій! Упоминая объ немъ, я не могу удержаться, чтобы не разсказать о послѣднихъ минутахъ его жизни. Онъ получилъ Анну на шею и вслѣдъ затѣмъ взялъ отпускъ, чтобы блеснуть этимъ знакомъ отличія на родинѣ, но простудился и слегъ въ постель. Докторъ департамента, Спасскій, лечившій его, заѣхалъ къ нему отъ раненаго и умиравшаго Пушкина. Сваррацкому было плохо. Онъ приподнялся отъ подушки, схватилъ руку доктора и произнесъ, бросая грустный взглядъ на Анну, лежавшую на столикѣ у его постели:

— Скажите мнѣ, есть ли какая-нибудь надежда, докторъ? Могу ли я выздоровѣть?

— Никакой, отвѣчалъ Спасскій:—да что жъ такое? всѣ мы умремъ. Вонъ и Пушкинъ умираетъ... Слышите ли, Пушкинъ?... Такъ ужъ и намъ съ вами можно умереть.

Сваррацкій со стономъ опустилъ голову на подушку и умеръ въ одинъ день и почти въ одинъ часъ съ Пушкинымъ.

Спасскій по этому случаю замѣтилъ:

— Вишь, счастливецъ! Умереть въ одинъ часъ съ такимъ человѣкомъ, какъ Пушкинъ! Это не всякому удастся.

Сваррацкій нерѣдко просилъ меня навести справки о

чемъ-нибудь въ редакціи «Журнала Просвѣщенія», комнатка которой была на той же лѣстницѣ, гдѣ и департаментъ. Тамъ я встрѣчалъ чиновника небольшаго роста, съ довольно рѣзкой физіономіей, съ густыми черными волосами, тщательно причесанными, какъ тогда носили, à la moujik, и съ большими темносѣрыми глазами, имѣвшими строгое выраженіе.

— Кто это такой? спросилъ я однажды у одного изъ чиновниковъ.

— Это помощникъ редактора, отвѣчалъ мнѣ чиновникъ: — кандидатъ Московскаго университета Краевскій — преученый человѣкъ.

Краевскій имѣлъ уже тогда въ виду взять у Воейкова «Литературныя Прибавленія»; ему нужны были сотрудники; онъ зналъ, что я пишу повѣсти, и потому мы сошлись съ нимъ легко и довольно близко, чему еще болѣе способствовало то, что въ это время мы коротко познакомились въ домѣ Брянскаго, который стали посѣщать почти ежедневно.

Толки объ учености Краевскаго въ департаментѣ основывались, кажется, на компиляціи его о Философіи аббата Ботеня, заказанной ему графомъ Уваровымъ и помѣщавшейся тогда въ «Журналѣ Министерства Просвѣщенія».

Въ Петербургъ Краевскій явился со статьею «Борисъ Годуновъ». Онъ прежде всего познакомился съ Гречемъ, потому вѣроятно и статья эта была напечатана въ «Сынѣ Отечества». Гречъ первое время отзывался о Краевскомъ съ увлеченіемъ. Вскорѣ, я уже не знаю по какимъ причинамъ, Краевскій отвернулся отъ Греча, познакомившись, кажется черезъ П. А. Плетнева, съ княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ, который принялъ его съ распростертыми объятіями и съ свойственнымъ ему добродушіемъ.

Черезъ Краевскаго и я познакомился потомъ съ княземъ Одоевскимъ, какъ переводчикъ «Отелло» Шекспира.

Кстати объ этомъ переводѣ.

Какъ всѣ молодые люди, я былъ страстный охотникъ до театра. Міръ закулисный казался мнѣ какимъ-то фантастическимъ, въ высшей степени привлекательнымъ и недоступнымъ міромъ. По тогдашней моей робости, я не смѣлъ и думать о знакомствѣ съ Каратыгинымъ или Брянскимъ, которые доставляли мнѣ своею игрою на сценѣ неописанное

наслажденіе. Я не пропускалъ ни одного представленія «Разбойниковъ», «Донъ-Карлоса», «Коварства и Любви» и различныхъ нѣмецкихъ драмъ Грильпарцера и другихъ, дававшихся въ то время. Каратыгинъ и Брянскій, особенно первый, поражали меня своимъ талантомъ.

Въ это время я принялся за чтеніе Шекспира. «Гамлета» я прочелъ въ переводѣ Вронченко, еще будучи въ пансіонѣ, но онъ мнѣ не понравился. Года два спустя послѣ выпуска, я снова принялся за него, и уже принудивъ себя прочесть его нѣсколько разъ, я былъ пораженъ глубиною и величіемъ этого произведенія. Увлеченный имъ, я перешелъ отъ него къ другимъ произведеніямъ Шекспира. По-англійски я не зналъ, и потому познакомился съ Шекспиромъ во французскомъ переводѣ.

«Отелло» произвелъ на меня такое же впечатлѣніе, какъ нѣкогда «Notre dame de Paris» Гюго. Я нѣсколько недѣль сряду только и бредилъ Отелло. Моему воображенію представлялось, каковы должны быть — Каратыгинъ въ Отелло и Брянскій въ роли Яго. Желаніе увидѣть эту драму на русской сценѣ преслѣдовало и мучило меня.

Наконецъ я рѣшился переводить ее, пригласивъ къ себѣ въ помощники моего родственника и пріятеля М. А. Гамазова, знавшаго довольно порядочно англійскій языкъ.

Утромъ и вечеромъ я сидѣлъ за моимъ переводомъ, и скоро окончилъ его. М. А. Гамазовъ помогалъ мнѣ, и потомъ еще свѣрилъ переводъ съ англійскимъ.

Я отлично переписалъ его, велѣлъ переплести и рѣшился предложить Брянскому для его бенефиса, наслышавшись, что Брянскій серьёзно понимаетъ Шекспира и любитъ его. Передъ этимъ онъ уже, кажется, давалъ въ свой бенефисъ «Ричарда III», котораго перевелъ для него его пріятель Дидло.

Съ біеніемъ сердца я отправился къ Брянскому. Брянскій прочелъ мой переводъ, и остался имъ доволенъ. Я не скрылъ отъ него, что я перевелъ съ французскаго.

— Да мы на афишѣ выставимъ — съ англійскаго; это необходимо, а то еще подумаютъ, что передѣлка Дюсиса.

Я смутился.

— Какъ же, возразилъ я: — это неловко, вѣдь это обманъ.

— Да я васъ прошу; это для меня, мнѣ это важно. Вы не безпокойтесь, прибавилъ Брянскій, запахивая свой халатъ, надѣтый безъ ничего сверхъ рубашки (это былъ обыкновенный его домашній костюмъ): — этого никто и не замѣтитъ. Вы ужъ какъ хотите, а я выставлю переводъ — съ англійскаго.

Я не противорѣчилъ болѣе.

Черезъ нѣсколько дней потомъ онъ сказалъ мнѣ, что читалъ мой переводъ князю А. А. Шаховскому.

— Онъ мой старый другъ и наставникъ, замѣтилъ Брянскій: — и знатокъ въ нашемъ дѣлѣ. Онъ похвалилъ вашъ переводъ и желаетъ съ вами познакомиться. Я обѣщалъ привести васъ къ нему.

Мы отправились съ Брянскимъ къ Шаховскому, въ назначенный имъ день.

Шаховской жилъ тогда на набережной Фонтанки, неподалеку отъ Калинкина моста.

Я нашелъ въ немъ еще очень живаго старичка. Онъ, пришепетывая, болталъ безъ умолку, и показался мнѣ очень добродушнымъ. Репертуаръ Шаховскаго начиналъ въ это время забываться; пьесы его появлялись на сценѣ изрѣдка, что приводило автора повидимому въ раздраженіе. Онъ никакъ не думалъ, что время его прошло, а приписывалъ это интригамъ противъ него театральной дирекціи. Онъ очень горячился, упрекалъ дирекцію въ невѣжествѣ и съ восхищеніемъ разсказывалъ о томъ времени, когда онъ управлялъ театрами, безпрестанно ссылаясь на Брянскаго и повторяя: «Плявда, братецъ, вѣдь плявда?»

Шаховской похвалилъ мой переводъ, но замѣтилъ, что у меня еще языкъ не совсѣмъ разговорный и встрѣчаются длинные періоды, которые на сценѣ нестерпимы, что впрочемъ все это легко исправить. Затѣмъ разговоръ перешелъ къ Каратыгину. Шаховской, признавая въ немъ талантъ, говорилъ, что онъ попалъ въ дурныя руки, и что его учители его испортили и внушили ему фальшивый взглядъ на драматическое искусство. Надо отдать справедливость Брянскому въ томъ, что онъ всегда молчалъ, когда заходила

рѣчь не въ пользу Каратыгина; за то супруга Брянскаго, считавшая долгомъ разсматривать Каратыгина, какъ соперника своего мужа, и поэтому какъ непримиримаго врага своего, ораторствовала противъ него повсюду съ неслыханнымъ ожесточеніемъ и устраивала безпрестанныя ссоры между двумя артистами.

Мы просидѣли у Шаховскаго часовъ до двѣнадцати. Постороннихъ въ этотъ вечеръ у него не было никого. Чай разливали его дочери отъ Ежовой (которая, кажется, умерла за годъ предъ этимъ), дѣвицы уже не первой молодости, но очень кокетливыя, около которыхъ увивался какой-то юнкеръ. Это было мое первое и послѣднее свиданіе съ Шаховскимъ.

Обстановка «Отелло» занимала меня въ высшей степени. Я былъ совершенно счастливъ, попавъ за кулисы. Для Брянскаго этотъ бенефисъ былъ очень важенъ, потому-что въ роли Десдемоны должна была дебютировать его дочь, Анна Яковлевна, впослѣдствіи вышедшая за Краевскаго. По репетиціямъ я никакъ не могъ судить, хорошо ли пойдетъ пьеса: дебютантка была до крайности застѣнчива; первые сюжеты, особенно Каратыгинъ, небрежно, какъ-то сквозь зубы, произносили свои рѣчи. Репетиціи были безпрестанно прерываемы посторонними разговорами, появленіемъ лицъ не принадлежавшихъ къ пьесѣ и разными, можетъ быть остроумными, но довольно грубыми шуточками между артистами и артистками. Первую репетицію я просидѣлъ молча и робко, какъ человѣкъ, попавшій въ незнакомый ему міръ, который издали казался ему гораздо привлекательнѣе. Я помню, меня смутило только, что Каратыгинъ въ 3-мъ дѣйствіи — вмѣсто: «Крови, Яго, крови!» произнесъ: «Крови, Яго, крови *жажду я!*» Это «жажду я» показалось мнѣ неловкимъ и лишнимъ... Я успокоивалъ себя мыслью, что онъ ошибся, но на генеральной репетиціи это «жажду я» онъ произнесъ еще съ большею торжественностью и эффектомъ.

Послѣ репетиціи я рѣшился замѣтить ему, что въ подлинникѣ и переводѣ моемъ — Отелло говоритъ просто: «Крови, Яго, крови!» и что, по моему мнѣнію, это сильнѣе и проще. Каратыгинъ взглянулъ на меня съ высоты своей, улыбнувшись.

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — ужъ вы предоставьте мнѣ говорить такъ, какъ я нахожу лучше. Эта фраза: «Крови, Яго, крови!» коротка; для того, чтобы придать ей силу, необходимо прибавлять: «жажду я».

И онъ отвернулся отъ меня.

Дѣлать было нечего, — надо было покориться артисту; но (теперь мнѣ смѣшно вспоминать объ этомъ) это *жажду я* меня ужасно безпокоило.

Надо замѣтить, что Каратыгинъ меня зналъ съ дѣтства. Я встрѣчалъ его въ домѣ К*, съ которыми были близки мои родные, и переведя «Отелло», еще до знакомства моего съ Брянскимъ, я пригласилъ къ себѣ на вечеръ Каратыгина, дядю моего В. И. Панаева и Кречетова и прочелъ имъ мой переводъ.

Каратыгинъ замѣтилъ, что хотя Шекспиръ, конечно, большой талантъ, но играть его пьесы безъ значительныхъ передѣлокъ невозможно, и что «Отелло» требуетъ большихъ исправленій и выкидокъ. Дядя мой совершенно согласился съ этимъ. Это возмутило меня, и тогда уже я рѣшился обратиться къ Брянскому.

Кречетовъ былъ въ восторгѣ отъ «Отелло». Онъ, кажется, познакомился съ настоящимъ шекспировскимъ «Отелло» въ первый разъ черезъ мой переводъ. До этого онъ зналъ «Отелло» по Дюсису, хотя и увѣрялъ, что глубоко изучилъ всего Шекспира, и называлъ его не иначе, какъ *великимъ сердцевѣдцемъ;* онъ удостоивалъ его также мѣстоименія *мой* и иногда просто называлъ *Уильямомъ*.

Когда Панаевъ и Каратыгинъ уѣхали, Кречетовъ покачалъ головою и обратился ко мнѣ:

— Эти господа, я вамъ скажу, ровно ничего не понимаютъ, ничего такъ формально! Стоило вамъ приглашать ихъ! Ну, да положимъ вашъ дядюшка... гдѣ жъ ему обнять эту глубину, эту — эту силу, мощь, эту безпредѣльность, эту полноту...

И Кречетовъ размахивалъ руками.

— Онъ изощренъ на этомъ приторномъ, маленькомъ Геснерѣ. А Каратыгинъ-то! Еще считается великимъ артистомъ! Хорошъ, нечего сказать!

Когда рѣчь касалась чего-нибудь театральнаго, Кречетовъ

непремѣнно всякій разъ съ энтузіазмомъ вспоминалъ о Катеринѣ Семеновой, разсказывалъ о своемъ знакомствѣ съ нею, рисовалъ ее въ самыхъ соблазнительныхъ краскахъ, намекалъ, что она была къ нему неравнодушна и соблазнила его своей ножкой. Потомъ глубоко вздыхалъ, и разрывая свой волосъ, бросалъ его, и произносилъ:

— Все это, батюшка —

«Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой!»

Кречетовъ любилъ разсказывать о своей холостой жизни и о своихъ побѣдахъ надъ прекраснымъ поломъ. Онъ посѣщалъ меня непремѣнно разъ въ недѣлю, и всякій разъ передавалъ мнѣ какой-нибудь эпизодъ изъ своихъ любовныхъ приключеній, заканчивая его вздохомъ и повторяя:

«Теперь ужъ я не тотъ!»

Надобно замѣтить, что за годъ до моего выпуска онъ женился на дѣвицѣ Гороховой, которую всегда описывалъ самыми поэтическими красками; говорилъ, что она совершенно удовлетворяетъ его *идеалу* и въ пластическомъ, и въ моральномъ отношеніи, и только нѣсколько смущался тѣмъ, что она ужъ слишкомъ плодовита и рожаетъ каждый годъ. Онъ называлъ ее обыкновенно своею милою нелѣпостью и иногда въ разсказахъ о своей семейной жизни разнѣживался до сентиментализма.

— Гдѣ вы провели канунъ новаго года? спросилъ онъ меня однажды.

— По обыкновенію, у Одоевскаго, отвѣчалъ я.

— А я такъ мирно и тихо провелъ дома: купилъ бутылку доброй малаги, взялъ корзиночку *безе*... и мы вдвоемъ съ моею милою нелѣпостью полакомились и роспили бутылку.

Кречетовъ получалъ тысячъ семь ассигнаціями отъ уроковъ и жилъ безбѣдно. Онъ иногда приглашалъ меня обѣдать на какія-то *протасовскія щи* и на бутылку старой мадеры, до которой онъ былъ большой охотникъ, и однажды познакомилъ меня съ своею супругою, которая, по усиленному настоянію его, пропѣла для меня послѣ обѣда «Соловья».

Кречетовъ былъ въ восхищеніи отъ ея пѣнія и часто повторялъ:

— Мнѣ, батюшка, не нужно ходить въ вашу итальянскую оперу. У меня своя домашняя опера.

Къ числу самыхъ рѣзкихъ заблужденій Кречетова о самомъ себѣ принадлежало убѣжденіе, что онъ человѣкъ очень свѣтскій. Самымъ любимымъ его разсказомъ (Кречетовъ сильно повторялся) былъ разсказъ о томъ, какъ Е. М. Хитрова, родственнику которой онъ давалъ уроки, представляла его графинѣ Фикельмонъ, женѣ австрійскаго посланника, и какъ онъ наговорилъ ей тысячи этихъ свѣтскихъ блестящихъ бездѣлушекъ и нелѣпостей...

Кречетовъ сдѣлался для меня привычкою, необходимостью. Я постоянно прочитывалъ ему всѣ мои новыя сочиненія, онъ держалъ ихъ корректуры (надо отдать справедливость памяти его: онъ былъ превосходнымъ корректоромъ) и вообще принималъ живое участіе въ моихъ литературныхъ дѣлахъ. Возвращая мои корректуры, онъ обыкновенно говорилъ:

— Скоро, кажется, мнѣ и за свои корректуры придется приняться и вытащить что-нибудь хорошенькое изъ-подъ спуда.

Но проходили годы, а изъ-подъ спуда Кречетова ничего не выходило на свѣтъ. Я только разъ видѣлъ на его письменномъ столѣ листъ бумаги, на которомъ было написано начало какого-то монолога:

«Она женщина! Она жена моя! Она спитъ?»

Послѣдовало ли продолженіе этого — неизвѣстно... Да еще разъ Кречетовъ прочелъ мнѣ начало, какъ онъ выражался, *юмористической бездѣлушки*, въ которой роль игралъ какой-то паукъ въ печуркѣ, сплетавшій паутину — намекъ, не помню, на какого-то сочинителя...

Передъ представленіемъ «Отелло», Кречетовъ былъ почти въ такомъ же волненіи, какъ я...

Въ день бенефиса Брянскаго я ходилъ какъ въ чаду и пріѣхалъ въ театръ, замирая отъ страха.

Театръ былъ, къ моему огорченію, не полонъ, несмотря на то, что много было роздано даровыхъ билетовъ...

Я съ нетерпѣніемъ ждалъ поднятія занавѣса.

Онъ поднялся. Растрепанныя и грязныя декораціи, истасканные костюмы, какой-то особенный акцентъ, обличавшій невѣжество многихъ актеровъ, особенно дожа, неловкость и робость дебютантки — все это привело бы меня въ отчаяніе, но эффектный входъ Каратыгина, его красота, его блестящій нарядъ, большія бѣлыя серьги, которыя чрезвычайно шли къ его черному лицу, и страшныя рукоплесканія публики при его появленіи оживили меня.

Пьеса сошла кое-какъ; «жажду я», произнесенное съ сверкающими глазами и съ угрожающимъ жестомъ, произвело взрывъ рукоплесканій. По окончаніи пьесы, я, разумѣется, былъ вызванъ друзьями бенефиціанта, моими пріятелями и въ томъ числѣ Кречетовымъ, который кричалъ и хлопалъ изо всей силы.

«Отелло» давали нѣсколько разъ. Въ третье представленіе я отправился на репетицію. У входа въ театръ я встрѣтилъ Григорьева-меньшаго, очень удачно игравшаго роль мѣщанъ и купцовъ низшаго разряда. Григорьевъ-младшій всегда былъ вполпьяна, что впрочемъ очень шло къ его амплуа.

Онъ остановился, увидѣвъ меня, и произнесъ въ замѣшательствѣ:

— Пожалуйста, вы ужь меня извините. Я тутъ не виноватъ, мнѣ приказано, — что жь дѣлать!

— Въ чемъ? возразилъ я съ удивленіемъ: — какимъ образомъ вы можете быть виноваты передо мною?

— Да меня заставили играть сегодня роль дожа въ «Отелло». Противъ начальства не пойдешь, вы сами знаете.

— И, полноте, что за церемоніи! отвѣчалъ я, пожавъ ему руку.

«Отелло» я напечаталъ отдѣльною книжкою, и такъ-какъ на афишѣ было объявлено «переводъ съ англійскаго», то и на заглавномъ листѣ книжки повторено было то же самое. Я даже имѣлъ слабость, разъ запутавшись во лжи, подтвердить еще эту ложь примѣчаніями и комментаріями, сдѣланными для меня Гамазовымъ, которые я помѣстилъ въ началѣ моего перевода. Я былъ наказанъ за это: ложь моя вскорѣ была обнаружена г. Вронченкою, глубоко любившимъ и понимавшимъ Шекспира, которому русская литература обязана превосходными переводами: «Гамлета» и «Макбета».

Въ то время, когда мой переводъ «Отелло» появился на сценѣ, Краевскій былъ уже редакторомъ «Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду», которыя открылись его статьею: «Мысли о Россіи». Въ этой статьѣ высказалась profession de foi молодаго редактора, состоявшая въ томъ, что Россія не имѣетъ ничего общаго съ западною Европою, что она развивалась и шла инымъ путемъ, чѣмъ Западъ, что она поэтому не подлежитъ общему человѣческому развитію и составляетъ какъ бы *шестую* часть свѣта...

Въ статьѣ не было ничего новаго и оригинальнаго, кромѣ шестой части свѣта. Эти «Мысли о Россіи» обнаруживали только, что Краевскій явился въ Петербургъ подъ вліяніемъ московскихъ славянофиловъ. Статья эта произвела, сколько мнѣ помнится, большое впечатлѣніе на многихъ литераторовъ, съ которыми Краевскій вступилъ уже въ пріятельскія связи: литературный ветеранъ А. Ѳ. Воейковъ и многіе изъ извѣстныхъ въ то время литераторовъ: баронъ Розенъ, Карлгофъ, Якубовичъ, состоявшій при штабѣ жандармовъ Владиславлевъ и другіе отзывались о статьѣ съ величайшимъ уваженіемъ. Для патріотическаго чувства ихъ было лестно открытіе Краевскаго. Если изобрѣтатель шестой части свѣта не пріобрѣлъ популярности Колумба, то покрайней-мѣрѣ многіе изъ упомянутыхъ лицъ стали разсматривать его, какъ мыслителя весьма замѣчательнаго. Даже Кукольникъ, не любившій Краевскаго, который никогда не могъ сойтись съ нимъ, отзывался о «Мысляхъ о Россіи» съ благосклонною снисходительностью: «Статейка эта не дурна, въ ней много дѣльнаго», говорилъ онъ. П. А. Плетневъ и князь В. Ѳ. Одоевскій одобряли первые шаги Краевскаго на журнальномъ поприщѣ. Князь Одоевскій имѣлъ на него въ это время, какъ должно предполагать, сильное вліяніе, потому-что Краевскій завелъ у себя точно такіе же оригинальные столы со шкапиками, какіе были у князя Одоевскаго, и снялъ съ него покрой для своего кабинетнаго костюма во время ученыхъ занятій.

ГЛАВА IV.

Литературныя сборища по утрамъ у Краевскаго. — Баронъ Розенъ, Якубовичъ, Владиславлевъ съ «Утреннею Зарею», Гребенка, Бернетъ, Степановъ, Струйскій и другіе. — Появленіе Бенедиктова. — Чтеніе «Хевери». — Соколовскій. — Воейковъ. — Литературный вечеръ у меня. — Знаменитый обѣдъ, данный Воейковымъ при открытіи новой типографіи, на деньги купца Жукова. — Русская пляска.

Почти всѣ извѣстные тогдашніе литераторы, за исключеніемъ Кукольника и литературныхъ аристократовъ, принадлежавшихъ къ Пушкинской партіи, собирались у новаго редактора «Литературныхъ Прибавленій» разъ въ недѣлю, по утрамъ. Изъ нихъ выдавался болѣе другихъ — баронъ Розенъ, съ которымъ Краевскій сблизился у Брянскаго. Розенъ принималъ дѣятельное участіе, при началѣ изданія, въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» и напечаталъ, между прочимъ, въ этой газетѣ статью о представленіи «Отелло», въ которой отозвался восторженно о талантѣ дебютантки, выполнявшей роль Десдемоны. Баронъ Розенъ, соперникъ и врагъ Кукольника по драматическому искусству, былъ безусловнымъ почитателемъ Брянскаго и не любилъ Каратыгина, вѣроятно потому, что Каратыгинъ не совсѣмъ лестно отзывался объ его драмахъ и считалъ Кукольника великимъ драматургомъ. Кукольникъ же, въ свою очередь, отзывался о Каратыгинѣ, какъ о великомъ, геніальномъ актерѣ.

Баронъ Розенъ былъ увѣренъ въ томъ, что онъ глубокій и единственный въ Россіи знатокъ драматическаго искусства и величайшій драматическій поэтъ. Онъ очень наивно говаривалъ на-распѣвъ и съ рѣзкимъ нѣмецкимъ акцентомъ:

— Изъ всего нѣмецкаго репертуара, безъ сомнѣнія, самая замѣчательная вещь—это «Ифигенія» Гёте. Ее могъ бы перевести одинъ Жуковскій и то только подъ моимъ руководствомъ.

Впослѣдствіи онъ гордился тѣмъ, что когда Гоголь, на вечерѣ у Жуковскаго, въ первый разъ прочелъ своего «Ревизора», онъ одинъ изъ всѣхъ присутствовавшихъ не показалъ автору ни малѣйшаго одобренія и даже ни разу не улыбнулся, и сожалѣлъ о Пушкинѣ, который увлекся этимъ

оскорбительнымъ для искусства фарсомъ и во все время чтенія катался отъ смѣха.

Въ мнѣніи о «Ревизорѣ» два драматическихъ писателя-врага, Кукольникъ и Розенъ, всегда иронически посматривавшіе другъ на друга и ни въ чемъ несходившіеся, сошлись совершенно.

Раздражаемый неуспѣхомъ на сценѣ своихъ драмъ и успѣхомъ Кукольника, баронъ Розенъ горячился, выходилъ изъ себя, доказывалъ, что онъ настоящій драматическій поэтъ, и что Кукольникъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о драматическомъ искусствѣ; что его, Розена, оцѣнитъ потомство, и такъ далѣе.

Такова была любимая тема всѣхъ его разговоровъ. Всѣ въ глаза соглашались съ нимъ и поддакивали ему, а за глаза подсмѣивались надъ нимъ, какъ это обыкновенно водится.

Якубовичъ, писавшій посредственные стишки, довольно звучные, но безъ всякаго содержанія, пользовался однако между журналистами и издателями альманаховъ значительною извѣстностью. Безъ его стишковъ не обходился почему-то ни одинъ журналъ, ни одинъ альманахъ. Надеждинъ разсказывалъ мнѣ впослѣдствіи, что когда онъ былъ издателемъ «Телескопа», факторъ типографіи, въ которой печатался этотъ журналъ, явился къ нему однажды съ просьбою дать ему оригинала на полстранички для замѣщенія пробѣла.

— Какъ быть? у меня нѣтъ ничего такого, отвѣчалъ Надеждинъ.

— Да нѣтъ ли хоть Якубовича *на затычку?* возразилъ факторъ.

Надеждинъ отыскалъ стишки Якубовича, и они пошли на затычку.

Якубовичъ не имѣлъ ни малѣйшаго образованія и отличался рѣдкою наивностью.

Кто-то изъ журналистовъ отозвался не слишкомъ благосклонно объ его стихотвореніяхъ. Якубовичъ съ негодованіемъ жаловался мнѣ на это...

— Я всегда былъ съ нимъ въ самыхъ хорошихъ, пріятельскихъ отношеніяхъ, говорилъ онъ: — я ничего ему дур-

наслажденіе. Я не пропускалъ ни одного представленія «Разбойниковъ», «Донъ-Карлоса», «Коварства и Любви» и различныхъ нѣмецкихъ драмъ Грильпарцера и другихъ, дававшихся въ то время. Каратыгинъ и Брянскій, особенно первый, поражали меня своимъ талантомъ.

Въ это время я принялся за чтеніе Шекспира. «Гамлета» я прочелъ въ переводѣ Вронченко, еще будучи въ пансіонѣ, но онъ мнѣ не понравился. Года два спустя послѣ выпуска, я снова принялся за него, и уже принудивъ себя прочесть его нѣсколько разъ, я былъ пораженъ глубиною и величіемъ этого произведенія. Увлеченный имъ, я перешелъ отъ него къ другимъ произведеніямъ Шекспира. По-англійски я не зналъ, и потому познакомился съ Шекспиромъ во французскомъ переводѣ.

«Отелло» произвелъ на меня такое же впечатлѣніе, какъ нѣкогда «Notre dame de Paris» Гюго. Я нѣсколько недѣль сряду только и бредилъ Отелло. Моему воображенію представлялось, каковы должны быть — Каратыгинъ въ Отелло и Брянскій въ роли Яго. Желаніе увидѣть эту драму на русской сценѣ преслѣдовало и мучило меня.

Наконецъ я рѣшился переводить ее, пригласивъ къ себѣ въ помощники моего родственника и пріятеля М. А. Гамазова, знавшаго довольно порядочно англійскій языкъ.

Утромъ и вечеромъ я сидѣлъ за моимъ переводомъ, и скоро окончилъ его. М. А. Гамазовъ помогалъ мнѣ, и потомъ еще свѣрилъ переводъ съ англійскимъ.

Я отлично переписалъ его, велѣлъ переплести и рѣшился предложить Брянскому для его бенефиса, наслышавшись, что Брянскій серьёзно понимаетъ Шекспира и любитъ его. Передъ этимъ онъ уже, кажется, давалъ въ свой бенефисъ «Ричарда III», котораго перевелъ для него его пріятель Дидло.

Съ біеніемъ сердца я отправился къ Брянскому. Брянскій прочелъ мой переводъ, и остался имъ доволенъ. Я не скрылъ отъ него, что я перевелъ съ французскаго.

— Да мы на афишѣ выставимъ — съ англійскаго; это необходимо, а то еще подумаютъ, что передѣлка Дюсиса.

Я смутился.

— Какъ же, возразилъ я: — это неловко, вѣдь это обманъ.

— Да я васъ прошу; это для меня, мнѣ это важно. Вы не безпокойтесь, прибавилъ Брянскій, запахивая свой халатъ, надѣтый безъ ничего сверхъ рубашки (это былъ обыкновенный его домашній костюмъ): — этого никто и не замѣтитъ. Вы ужъ какъ хотите, а я выставлю переводъ — съ англійскаго.

Я не противорѣчилъ болѣе.

Черезъ нѣсколько дней потомъ онъ сказалъ мнѣ, что читалъ мой переводъ князю А. А. Шаховскому.

— Онъ мой старый другъ и наставникъ, замѣтилъ Брянскій: — и знатокъ въ нашемъ дѣлѣ. Онъ похвалилъ вашъ переводъ и желаетъ съ вами познакомиться. Я обѣщалъ привести васъ къ нему.

Мы отправились съ Брянскимъ къ Шаховскому, въ назначенный имъ день.

Шаховской жилъ тогда на набережной Фонтанки, неподалеку отъ Калинкина моста.

Я нашелъ въ немъ еще очень живаго старичка. Онъ, пришепетывая, болталъ безъ умолку, и показался мнѣ очень добродушнымъ. Репертуаръ Шаховскаго начиналъ въ это время забываться; пьесы его появлялись на сценѣ изрѣдка, что приводило автора повидимому въ раздраженіе. Онъ никакъ не думалъ, что время его прошло, а приписывалъ это интригамъ противъ него театральной дирекціи. Онъ очень горячился, упрекалъ дирекцію въ невѣжествѣ и съ восхищеніемъ разсказывалъ о томъ времени, когда онъ управлялъ театрами, безпрестанно ссылаясь на Брянскаго и повторяя: «Плявда, братецъ, вѣдь плявда?»

Шаховской похвалилъ мой переводъ, но замѣтилъ, что у меня еще языкъ не совсѣмъ разговорный и встрѣчаются длинные періоды, которые на сценѣ нестерпимы, что впрочемъ все это легко исправить. Затѣмъ разговоръ перешелъ къ Каратыгину. Шаховской, признавая въ немъ талантъ, говорилъ, что онъ попалъ въ дурныя руки, и что его учители его испортили и внушили ему фальшивый взглядъ на драматическое искусство. Надо отдать справедливость Брянскому въ томъ, что онъ всегда молчалъ, когда заходила

рѣчь не въ пользу Каратыгина; за то супруга Брянскаго, считавшая долгомъ разсматривать Каратыгина, какъ соперника своего мужа, и поэтому какъ непримиримаго врага своего, ораторствовала противъ него повсюду съ неслыханнымъ ожесточеніемъ и устраивала безпрестанныя ссоры между двумя артистами.

Мы просидѣли у Шаховскаго часовъ до двѣнадцати. Постороннихъ въ этотъ вечеръ у него не было никого. Чай разливали его дочери отъ Ежовой (которая, кажется, умерла за годъ предъ этимъ), дѣвицы уже не первой молодости, но очень кокетливыя, около которыхъ увивался какой-то юнкеръ. Это было мое первое и послѣднее свиданіе съ Шаховскимъ.

Обстановка «Отелло» занимала меня въ высшей степени. Я былъ совершенно счастливъ, попавъ за кулисы. Для Брянскаго этотъ бенефисъ былъ очень важенъ, потому-что въ роли Десдемоны должна была дебютировать его дочь, Анна Яковлевна, впослѣдствіи вышедшая за Краевскаго. По репетиціямъ я никакъ не могъ судить, хорошо ли пойдетъ пьеса: дебютантка была до крайности застѣнчива; первые сюжеты, особенно Каратыгинъ, небрежно, какъ-то сквозь зубы, произносили свои рѣчи. Репетиціи были безпрестанно прерываемы посторонними разговорами, появленіемъ лицъ не принадлежавшихъ къ пьесѣ и разными, можетъ быть остроумными, но довольно грубыми шуточками между артистами и артистками. Первую репетицію я просидѣлъ молча и робко, какъ человѣкъ, попавшій въ незнакомый ему міръ, который издали казался ему гораздо привлекательнѣе. Я помню, меня смутило только, что Каратыгинъ въ 3-мъ дѣйствіи — вмѣсто: «Крови, Яго, крови!» произнесъ: «Кровь, Яго, крови *жажду я!*» Это «жажду я» показалось мнѣ неловкимъ и лишнимъ... Я успокоивалъ себя мыслью, что онъ ошибся, но на генеральной репетиціи это «жажду я» онъ произнесъ еще съ бо́льшею торжественностью и эффектомъ.

Послѣ репетиціи я рѣшился замѣтить ему, что въ подлинникѣ и переводѣ моемъ — Отелло говоритъ просто: «Крови, Яго, крови!» и что, по моему мнѣнію, это сильнѣе и проще. Каратыгинъ взглянулъ на меня съ высоты своей, улыбнувшись.

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — ужъ вы предоставьте мнѣ говорить такъ, какъ я нахожу лучше. Эта фраза: «Крови, Яго, крови!» коротка; для того, чтобы придать ей силу, необходимо прибавлять: «жажду я».

И онъ отвернулся отъ меня.

Дѣлать было нечего, — надо было покориться артисту; но (теперь мнѣ смѣшно вспоминать объ этомъ) это *жажду я* меня ужасно безпокоило.

Надо замѣтить, что Каратыгинъ меня зналъ съ дѣтства. Я встрѣчалъ его въ домѣ К*, съ которыми были близки мои родные, и переведя «Отелло», еще до знакомства моего съ Брянскимъ, я пригласилъ къ себѣ на вечеръ Каратыгина, дядю моего В. И. Панаева и Кречетова и прочелъ имъ мой переводъ.

Каратыгинъ замѣтилъ, что хотя Шекспиръ, конечно, большой талантъ, но играть его пьесы безъ значительныхъ передѣлокъ невозможно, и что «Отелло» требуетъ большихъ исправленій и выкидокъ. Дядя мой совершенно согласился съ этимъ. Это возмутило меня, и тогда уже я рѣшился обратиться къ Брянскому.

Кречетовъ былъ въ восторгѣ отъ «Отелло». Онъ, кажется, познакомился съ настоящимъ шекспировскимъ «Отелло» въ первый разъ черезъ мой переводъ. До этого онъ зналъ «Отелло» по Дюсису, хотя и увѣрялъ, что глубоко изучилъ всего Шекспира, и называлъ его не иначе, какъ *великимъ сердцевѣдцемъ;* онъ удостоивалъ его также мѣстоименія *мой* и иногда просто называлъ *Уильямомъ*.

Когда Панаевъ и Каратыгинъ уѣхали, Кречетовъ покачалъ головою и обратился ко мнѣ:

— Эти господа, я вамъ скажу, ровно ничего не понимаютъ, ничего тамъ формально! Стоило вамъ приглашать ихъ! Ну, да положимъ вашъ дядюшка... гдѣ жъ ему обнять эту глубину, эту — эту силу, мощь, эту безпредѣльность, эту полноту...

И Кречетовъ размахивалъ руками.

— Онъ изощренъ на этомъ приторномъ, маленькомъ Гесперѣ. А Каратыгинъ-то! Еще считается великимъ артистомъ! Хорошъ, нечего сказать!

Когда рѣчь касалась чего-нибудь театральнаго, Кречетовъ

Въ заключеніе поэмы Хеверь, взявъ за руки царя Ахшверуса и своего воспитателя Асадая, произноситъ:

Пойдемте же, пойдемте, какъ друзья,
Какъ добрые и близкіе родные
На сладкій пиръ красотъ и чистоты,
Гдѣ вкругъ столовъ живящей благоты
Кипятъ ключомъ отрады неземныя
И разлиты восторги, какъ моря!
Да! поспѣшимъ на свѣтлый пиръ царя,
. . . . . .
Чтобъ весело окончя здѣшній путь,
Намъ у него въ чертогахъ отдохнуть,
И радостно при свѣтѣ наслажденья
Субботствовать въ объятіяхъ любви...

Становясь на колѣни.

А ты Творецъ,—ты насъ благослови!

(Ахшверусъ и Асадай въ невольномъ благоговѣніи поспѣшно кладутъ къ ея ногамъ свои короны, такъ-что онѣ съ короною Хевери составляютъ треугольникъ....)

Кравскій слушалъ тоже съ глубомысленнымъ вниманіемъ, уставивъ на поэта свои выразительные глаза. Онъ прерывалъ изрѣдка чтеніе отрывистыми похвалами.

— Превосходно, славно! повторялъ онъ:—каждый стихъ пропитанъ библейскимъ духомъ.... Удивительно!

Когда мы возвращались домой, Краевскій сказалъ мнѣ:

— У! это, батюшка, замѣчательный талантъ... Какой стихъ-то, — чудо! Соколовскій весь пропитанъ библейскимъ духомъ. Замѣчательный человѣкъ, замѣчательный....

Я поддакивалъ. Странность стиха Соколовскаго подѣйствовала на меня также сильно и я думалъ, что въ этой странности-то и въ-самомъ-дѣлѣ заключается талантъ.

«Хеверь» вскорѣ послѣ этого была издана. Она, къ удивленію нашему, произвела на всѣхъ тяжелое и непріятное впечатлѣніе, несмотря на то, что многіе заранѣе прокричали о ней, какъ о чудѣ. Едва ли этой «Хевери» разошлось до десяти экземпляровъ.

Одинъ мой знакомый, которому я наговорилъ Богъ-знаетъ что о талантѣ Соколовскаго, взялъ у меня его поэму, пробѣжалъ ее и, возвращая мнѣ, сказалъ:

— Знаете, теперь ужъ никто не будетъ говорить: какую ты порешь дичь или галиматью, а—какую *хеверь* ты порешь.

Соколовскій вдругъ упалъ въ нашихъ глазахъ съ пьедестала, на который мы же неосторожно вознесли его. Неуспѣхъ его «Хевери» совершенно убилъ его духъ; онъ совсѣмъ опустился и все чаще и чаще началъ появляться въ нетрезвомъ видѣ.

Одно лѣто я жилъ съ Краевскимъ на дачѣ въ Лѣсномъ институтѣ. Разъ вечеромъ собрались у насъ кое-кто изъ литераторовъ. Явились между прочими и Соколовскій съ Якубовичемъ. Подали чай и къ чаю маленькій графинчикъ съ ромомъ. Черезъ часъ послѣ этого чая Якубовичъ и Соколовскій оказались вдругъ, къ удивленію нашему, совсѣмъ пьяными.... Чѣмъ и когда они могли напиться? Графинчикъ съ ромомъ оставался почти нетронутымъ. Лакей нашъ объяснилъ намъ потомъ, въ чемъ дѣло. Якубовичъ и Соколовскій достали изъ буфета бутылку коньяку и роспили ее вдвоемъ.

Въ это время я уже былъ записнымъ литераторомъ: писалъ для журнала Краевскаго повѣсти и разбиралъ, по его просьбѣ, разныя литературныя книжки, самъ удивляясь своей критической смѣлости. Я работалъ охотно и безкорыстно, даже и не помышляя о томъ, что трудъ мой стоитъ чего-нибудь. Я вполнѣ удовлетворялся уже однимъ тѣмъ, что видѣлъ его въ печати.

Лѣто, проведенное мною съ Краевскимъ, если не сблизило, то покрайней-мѣрѣ коротко познакомило меня съ нимъ. До этого я, признаюсь, былъ гораздо выгоднѣйшаго мнѣнія о его мыслительныхъ способностяхъ, ученыхъ и историческихъ свѣдѣніяхъ. Исторія считалась тогда его спеціальностью. Многіе разборы историческихъ книгъ въ «Литературномъ Прибавленіи», обратившіе на себя вниманіе и приписывавшіеся перу А. А. Краевскаго, къ удивленію многихъ, оказались принадлежавшими господину Савельеву-Ростиславичу, который часто забѣгалъ къ Краевскому.

Въ теченіе всего лѣта мы вели жизнь чрезвычайно однообразную: вставали около 10 часовъ, пили кофе на балконѣ и потомъ принимались за работу. Я писалъ повѣсти для «Литературныхъ Прибавленій», Краевскій переводилъ, неизвѣстно для чего, какую-то драму Казиміра Делавиня. Въ три часа мы отправлялись обыкновенно гулять, а въ четыре часа

садились обѣдать; а послѣ обѣда я отправлялся на острова, или на Черную рѣчку, или вмѣстѣ съ Краевскимъ къ Плетневу, жившему неподалеку отъ нашей дачи.

Краевскій, какъ я уже замѣтилъ, находился въ очень короткихъ сношеніяхъ съ Плетневымъ, видѣлся съ нимъ въ теченіе лѣта почти ежедневно и нерѣдко сопровождалъ его въ отдаленныхъ прогулкахъ. Петръ Александровичъ былъ тогда неутомимымъ ходокомъ. Онъ выхаживалъ покрайней-мѣрѣ верстъ до 15 утромъ и вечеромъ, справедливо считая это весьма полезнымъ для здоровья. Краевскій, отличавшійся аккуратностью во всемъ и крайнею заботливостью о своемъ здоровьи, началъ не только подражать Плетневу, но даже соперничать съ нимъ относительно ходьбы. Вообще, сколько я помню, Краевскій въ своей молодости морально подчинялся на время всѣмъ, съ которыми онъ сходился и которыхъ принималъ за авторитеты. Онъ воспринималъ ихъ образъ мыслей и подражалъ имъ въ мелочахъ, сохраняя при этомъ строгій и самостоятельный видъ. Иниціативы у него не проявлялось ни въ чемъ ни малѣйшей. Единственными изобрѣтеніями его были кое-какія грамматическія нововведенія и, между прочимъ, знаменитая буква *ж*, которая не принялась однако и была вскорѣ забыта самимъ изобрѣтателемъ.

Соболевскій звалъ въ это время Краевскаго—*Краежскимъ, петербуржскимъ журналистомъ*.

Довольный моими литературными знакомствами и связями, я давно уже мечталъ о томъ, чтобы устроить у себя литературный вечеръ въ большомъ размѣрѣ и пригласить къ себѣ всѣхъ литераторовъ.

При первой возможности я осуществилъ мою мысль: созвалъ почти всѣхъ, за исключеніемъ Булгарина и Греча, накупилъ винъ, освѣтилъ комнаты, даже уставилъ ихъ цвѣтами и заказалъ ужинъ. Я занималъ тогда, вмѣстѣ съ моею матерью, отдѣльный домъ (въ Грязной улицѣ, домъ Диммерта), гдѣ впослѣдствіи жилъ у меня Бѣлинскій.

Часу въ девятомъ вечера комнаты мои были набиты биткомъ. Въ кабинетѣ (я это очень живо помню) расположились Полевой, баронъ Розенъ, Краевскій и Бенедиктовъ... Надобно замѣтить, что передъ этимъ только-что появились разборы стихотвореній Бенедиктова: въ «Телескопѣ»—Бѣлин-

скаго, въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» — Краевскаго (въ то время еще всѣ статьи въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» приписывали самому редактору) и Полевого—въ «Сынѣ Отечества», редакцію котораго онъ принялъ, переселившись въ Петербургъ. Краевскій безусловно восторгался поэтомъ, Полевой почти повторялъ о немъ то, что высказалъ Бѣлинскій въ «Телескопѣ». Петебургскіе чиновники, профессоръ Московскаго университета Шевыревъ и большинство петербургскихъ литераторовъ, начиная съ Жуковскаго, пришли въ совершенный экстазъ отъ стиховъ Бенедиктова. Жуковскій, говорятъ, бѣгалъ съ ними по царскосельскому саду, пораженный новымъ явленіямъ. Одинъ Пушкинъ остался хладнокровнымъ, прочитавъ книжечку Бенедиктова, и на вопросы: какого онъ мнѣнія о новомъ поэтѣ? — отвѣчалъ, что у него есть превосходное сравненіе неба съ опрокинутой чашей; къ этому онъ ничего не прибавилъ болѣе. Но обратимся къ моему литературному вечеру.

Полевой и баронъ Розенъ, заклятые враги, къ моему удивленію, очень мило разговаривали у моего письменнаго стола и объяснялись въ уваженіи и любви другъ къ другу. Краевскій и Бенедиктовъ сидѣли неподалеку отъ стола на диванѣ, въ ту минуту, какъ появился А. Ѳ. Воейковъ. Я пользовался особеннымъ расположеніемъ его за повѣсть мою, напечатанную въ «Телескопѣ».

Воейковъ былъ средняго роста, сутуловатъ, голова его, несмотря на преклонныя лѣта, покрыта была густыми вьющимися черными волосами съ небольшою просѣдью, черты лица его были не дурны и правильны, но черные масляные глаза его, рѣзко и злобно сверкавшіе изъ подлобья, придавали лицу его что-то непріятное, особенно когда онъ старался смягчить ихъ выраженіе. Онъ прихрамывалъ, и потому всегда ходилъ съ палкой. Обыкновенный костюмъ его былъ темно-сѣрый сюртукъ съ голубой ленточкой въ петличкѣ отъ медали 12-го года. Говорилъ онъ немного въ-носъ.

Воейковъ остановился посреди кабинета, обозрѣлъ его кругомъ изъ подлобья и произнесъ, обращаясь ко мнѣ:

— Глазамъ своимъ не вѣрю... Какая роскошь! Съ какимъ вкусомъ все убрано! Неужели это ваша квартира? А я думалъ, судя по отзывамъ о васъ Булгарина (Воейковъ наме-

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY

калъ на разныя выходки противъ меня въ «Пчелѣ»), что вы живете въ какой-нибудь лачужкѣ. Прекрасно! прекрасно! повторилъ онъ, озираясь и крѣпко сжимая мнѣ обѣ руки.

Потомъ, когда я отошелъ отъ него, онъ бросилъ взглядъ изъ подлобья на присутствовавшихъ и, стуча своей палкой, направился прямо къ дивану, на которомъ сидѣли Краевскій съ Бенедиктовымъ.

— Андрей Александрычъ! Владиміръ Григорьичъ! воскликнулъ онъ, переходя взглядомъ отъ одного на другаго. Боже мой! какъ я радъ васъ видѣть!... Съ какимъ удовольствіемъ, Андрей Александрычъ, я прочелъ вашъ прекрасный, доказательный, умный разборъ превосходныхъ стихотвореній Владиміра Григорьича. Дѣльно, дѣльно! умно, умно! Это ужъ не то, Владиміръ Григорьичъ (онъ пожалъ руку Бенедиктова и искоса взглянулъ на Полевого), что другіе дураки объ васъ пишутъ. Вы не смотрите на нихъ, это завистники (и онъ махалъ рукой въ сторону Полевого). Вы великій поэтъ, великій!

Я такъ и обмеръ. Полевой все видѣлъ и слышалъ. Я замѣтилъ, что даже лицо его, при словахъ Воейкова, передернулось. Я боялся, что дѣло дойдетъ до объясненій и непріятностей, однако черезъ десять минутъ Воейковъ обнималъ Полевого, называлъ его почтеннѣйшимъ Николаемъ Алексѣичемъ, и чуть ли не объяснялся ему въ любви, а Николай Алексѣичъ ежился, ухмылялся и корчилъ пріятныя гримасы.

Тогда, по неопытности моей, я удивлялся этому. Такое лицемѣріе казалось въ людяхъ избранныхъ возмутительнымъ. Теперь ужъ я приглядѣлся къ нему.

Кукольникъ явился позже всѣхъ и въ дурномъ расположеніи. Онъ составилъ тотчасъ же свой небольшой кружокъ, подцѣпилъ Якубовича, Гребенку и еще двухъ или трехъ человѣкъ и началъ имъ, по своему обыкновенію, проповѣдывать что-то.

Гребенка слушалъ Кукольника съ внимательностью, моргая глазами и покачивая головой. Когда рѣчь выходила сколько-нибудь изъ обыкновенной житейской колеи и принимала чуть-чуть отвлеченный характеръ, хотя бы рѣчь шла объ искусствѣ, Гребенка совсѣмъ терялся и только моргалъ глазами и покачивалъ головою. Но къ людямъ, трактовав-

шимъ объ отвлеченныхъ предметахъ, онъ питалъ глубочайшее уваженіе, особенно къ критикамъ, — боялся ихъ, ухаживалъ за ними, и угощалъ ихъ на своихъ вечерахъ наливочками и малороссійскимъ саломъ съ необыкновеннымъ добродушіемъ, какъ Демьянъ ухой. Таковы были впослѣдствіи отношенія его къ Бѣлинскому, котораго онъ уважалъ отъ страха.

Якубовичъ былъ не таковъ.

Отвлеченные разговоры не пугали его. Когда кто-нибудь при немъ пускался въ такого рода разговоры, онъ улыбался и шепталъ кому-нибудь изъ своихъ пріятелей: «Ну, понесъ ерунду!»

— Терпѣть не могу, нѣсколько разъ говаривалъ онъ мнѣ: — когда человѣкъ занесется въ какія-то превыспреннія сферы и начнетъ молоть. Все это пустяки; пусть тамъ кричатъ, что онъ уменъ, образованъ... а дайте ему написать какое-нибудь стихотвореніе, попробуйте — и плохенькаго не съумѣетъ написать, ей-Богу!—а я хоть и не пускаюсь въ эти превыспренности, а стихи пишу, кажется, не дурно. Самъ Пушкинъ ихъ хвалитъ и проситъ у меня.

Однако передъ Кукольникомъ онъ пасовалъ:

— Ну, этотъ можетъ врать, что угодно, говорилъ онъ:— покрайней-мѣрѣ поэтъ.

Къ отвлеченнымъ разговорамъ и Гребенка, и Якубовичъ причисляли разговоры о политикѣ.

Литераторовъ 30-хъ годовъ вовсе не интересовали никакія политическія европейскія событія. Никто изъ нихъ никогда и не заглядывалъ въ иностранныя газеты. Они разсуждали такъ, что каждый долженъ заниматься своимъ дѣломъ, не вмѣшиваясь въ чужое.

— Ну, что мнѣ за дѣло, говаривалъ Якубовичъ: — что французы передрались между собой, прогнали одного короля, взяли другаго,—мнѣ отъ этого ни тепло, ни холодно. Нашему брату, литератору, выходъ какого-нибудь «Сѣвернаго Цвѣтка» интереснѣе во сто разъ всѣхъ этихъ политическихъ извѣстій. Да провались Франція хоть сквозь землю. Что̀ мнѣ до этого за дѣло?...

Якубовичъ долго слушалъ Кукольника, потомъ подошелъ ко мнѣ...

— Ну, я вамъ скажу, Кукольникъ такую околесную несетъ, что Боже упаси. Я слушалъ, слушалъ, отошелъ да плюнулъ — ничего не поймешь, а все оттого, что избаловали, захвалили, пятнадцатирублевый лафитъ выставляютъ передъ нимъ — вотъ онъ и заносится. Велите-ка мнѣ дать рюмку водки: что-то подъ ложкой щемитъ.

Изъ не-литераторовъ на моемъ вечерѣ были актеръ Дюръ, мой другъ и товарищъ М. А. Языковъ, неизбѣжный Кречетовъ и нашъ домашній докторъ Яроцкій — молодой человѣкъ изъ семинаристовъ. Яроцкій благоговѣлъ передъ всѣми чиновными отличіями и титлами, замиралъ при видѣ генерала. Всякое новое для него явленіе поражало его и приводило въ остолбенѣніе. Тупыхъ робкихъ натуръ я встрѣчалъ у насъ много, но такой тупости и рабства, какъ у Яроцкаго, найти было нельзя ни въ комъ.

Яроцкій въ первый разъ въ жизни видѣлъ вблизи актера и литераторовъ и съ любопытствомъ разсматривалъ каждаго изъ нихъ, какъ какого-нибудь звѣря... Онъ безпрестанно подходилъ ко мнѣ съ нелѣпѣйшими вопросами.

— Это Дюръ? спрашивалъ онъ у меня исподтишка, указывая на Дюра.

— Да.

— Тотъ самый Дюръ, который играетъ на сценѣ?...

— Тотъ самый.

— Скажите пожалуйста! восклицалъ Яроцкій, пожирая Дюра глазами. — Странно! — ничего въ немъ нѣтъ необыкновеннаго: и ходитъ, и говоритъ, какъ всѣ...

— А вотъ это кто? спрашивалъ меня Яроцкій черезъ нѣсколько времени: — такой пожилой наружности... вотъ направо разговариваетъ съ другимъ...

— Это Плетневъ, отвѣчалъ я.

Яроцкій вытянулъ длинное — а!

— Онъ дѣйствительный статскій совѣтникъ?

— Да.

— Скажите пожалуйста!... И онъ качалъ головою и, смотря на Плетнева съ нѣкоторою робостью, невольно застегивалъ пуговицу своего вицъ-мундира.

Когда у меня умерла дочь, Яроцкій говорилъ въ утѣшеніе моей женѣ:

— Не огорчайтесь! Что же дѣлать! Вотъ на-дняхъ умерла также дочь у N N—и еще на рукахъ его... а дѣйствительный статскій совѣтникъ! Что жъ дѣлать! Смерть не щадитъ и генеральскихъ дѣтей.

Кречетовъ, познакомившійся черезъ меня съ Краевскимъ и еще кой-съ-кѣмъ изъ молодыхъ литераторовъ, которые посматривали на него свысока, отзывался о нихъ очень неблагосклонно.

— Всѣ эти господа—это-это-это... и онъ не прибиралъ слова и махалъ рукой: — они просто не стоятъ ногтя съ мизинца моего умнаго, милаго, добраго Дельвига.

Полевой, котораго онъ очень уважалъ, какъ я уже замѣтилъ, произвелъ на него также непріятное впечатлѣніе.

— Даже не хочется вѣрить, что это Полевой! повторялъ онъ:—это какой-то сидѣлецъ съ гостинодворскими ужимками.

Кречетовъ шатался какъ тѣнь изъ комнаты въ комнату, иногда садился къ какому-нибудь кружку и прислушивался, и, потомъ взявъ подъ руку Языкова, шепталъ ему:

— Какъ все это, мой добрый Михайло Александровичъ, далеко отъ нашего прежняго литературнаго кружка, когда мы, бывало, сходились—Дельвигъ, Подолинскій, я... Сколько, бывало, высказывалось на нашихъ сходкахъ серьёзнаго, дѣльнаго, этакихъ питательныхъ вещей для ума, а отъ этихъ господъ—ни шерсти, ни молока. Въ цѣлый вечеръ ни одного умнаго слова не услыхалъ.

Кречетовъ оживился только за ужиномъ, и послѣ ужина, расхваливая его мнѣ, прибавилъ: что эти господа не стоятъ такого ужина, что они не умѣютъ оцѣнить его, что для этого надобно имѣть тонкій гастрономическій вкусъ и прочее.

Я очень боялся какой-нибудь непріятной исторіи, сводя людей, враждовавшихъ между собою и рѣдко встрѣчавшихся, однако все прошло благополучно.

Воейковъ до такой степени сошелся съ Полевымъ, что сѣлъ рядомъ съ нимъ за ужиномъ.

Онъ говорилъ ему:

— За что намъ ссориться, Николай Алексѣичъ? Прошлое забудемъ; я вѣдь высоко цѣню ваши дарованія, ваши глубокія познанія. Къ тому же, теперь вы нашъ, петербургскій.

И Полевой, съ различными ужимками, отвѣчалъ:

— И я также, Александръ Өедорычъ, душевно преданъ-съ вамъ. Конечно, это все были недоразумѣнія между нами-съ.

И Воейковъ протягивалъ къ Полевому свои объятія и лобызалъ Іудинымъ лобзаньемъ того, про котораго онъ писалъ въ своемъ «Сумасшедшемъ домѣ»:

. . . . . .
Самохвалъ, завистникъ жалкой,
Надувало ремесломъ,
Битый рюриковой палкой
И санскритскимъ батажьёмъ,
Подлъ, какъ рабъ, надутъ, какъ баринъ,
Но, чтобъ разомъ кончить рѣчь:
Благодаренъ, какъ Булгаринъ,
Безкорыстенъ такъ, какъ Гречъ!»

Краевскій дичился Кукольника и искоса посматривалъ на него, несмотря на то, что Кукольникъ пріятно заигрывалъ съ нимъ. Съ Плетневымъ и княземъ Одоевскимъ Кукольникъ обращался съ сухою вѣжливостью. Вообще отъ друзей Пушкина онъ отдалялся, да и они, кажется, не желали сближаться съ нимъ.

Полевой, съ которымъ я познакомился незадолго передъ моимъ литературнымъ вечеромъ, котораго еще съ пансіона привыкъ уважать, подѣйствовалъ на меня непріятно. По «Телеграфскимъ» статьямъ я составилъ въ головѣ идеалъ его. Я воображалъ Полевого человѣкомъ смѣлымъ и гордымъ, горячо и открыто высказывающимъ свои убѣжденія — и увидѣлъ въ немъ какого-то робкаго, вялаго, забитаго господина, съ уклончивыми ужимками, всѣмъ низко кланявшагося, со всѣми соглашавшагося, не имѣвшаго ни малѣйшаго чувства достоинства, даже какъ-то оскорбительно, для почитавшихъ его, унижавшагося передо всѣми.

Онъ наговорилъ мнѣ въ этотъ вечеръ столько любезностей и неумѣстныхъ вѣжливостей, такъ подобострастно смотрѣлъ на меня, такъ лицемѣрно жалъ мнѣ руки, что даже возбудилъ къ себѣ непріятное чувство.

Разъ вечеромъ, когда я сидѣлъ у него въ кабинетѣ (онъ жилъ тогда на Пескахъ, въ домѣ, принадлежавшемъ нѣкогда Д. М. Княжевичу), дѣти его пришли съ нимъ прощаться.

Онъ перекрестилъ ихъ и благословилъ, потомъ всталъ со стула, поклонился мнѣ и сказалъ:

— Извините, Иванъ Иванычъ,—ужъ у меня такая привычка-съ.

Какое странное извиненіе!

Тяжело было смотрѣть на такое страшное паденіе человѣка, такъ смѣло и твердо державшаго свое знамя въ «Телеграфѣ», человѣка, который былъ столько лѣтъ грозою всѣхъ пошляковъ и рутинеровъ, бичомъ всѣхъ предразсудковъ и всего рабскаго и подлаго. Глядя на него, невольно приходили въ голову его слова, вставленныя имъ въ уста шекспировскаго Гамлета:

«За человѣка страшно!»

Я вступилъ въ литературный кругъ, какъ въ какое-нибудь святилище, съ благоговѣйнымъ чувствомъ. Я думалъ, что если не всѣ, то покрайней-мѣрѣ избранные изъ литераторовъ люди возвышенные, необыкновенные, непричастные никакимъ мелкимъ страстишкамъ и слабостямъ обыкновенныхъ смертныхъ—и долженъ былъ горько разочаровываться съ каждымъ днемъ.

Вѣра моя въ мои литературные кумиры поколебалась особенно съ обѣда, который Воейковъ заставилъ дать купца Жукова, при открытіи его типографіи, управленіе которой Воейковъ взялъ на себя.

Воейковъ, истощавшій, по обыкновенію, все свое лицемѣріе и лесть передъ людьми, изъ которыхъ онъ думалъ извлечь для себя какую-нибудь пользу, увѣрявшій ихъ въ своей высокой честности и безкорыстіи, началъ ухаживать съ нѣкотораго времени за купцомъ В. Г. Жуковымъ, дѣла котораго были тогда въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. Отъ «Русскаго Инвалида» Воейковъ получалъ весьма немного. У него были побочныя дѣти отъ женщины, которая исправляла у него должность ключницы или кухарки, на которой онъ женился незадолго передъ своей смертью, и хотя онъ содержалъ ихъ плохо, но ему все-таки недоставало денегъ и онъ часто жаловался на свое стѣсненное положеніе.

Репутація Воейкова между литераторами и людьми близкими къ литературѣ была не блистательная. На него смо-

трѣли почти такъ же, какъ на Булгарина. Изъ литераторовъ одинъ только Владиславлевъ находился съ нимъ въ дружескихъ сношеніяхъ, но и тотъ отзывался о немъ невыгодно и не давалъ ему денегъ взаймы. Владиславлевъ, тщетно уговаривавшій Воейкова не жениться, принужденъ однако былъ присутствовать, по его просьбѣ, на свадьбѣ, какъ свидѣтель, и разсказывалъ о ней много комическаго. Жуковскій, князь Вяземскій и другіе старые пріятели Воейкова, прежде помогавшіе ему, совсѣмъ почти отказались отъ него. Многіе поддерживали съ нимъ связи только изъ боязни попасть въ его «Сумасшедшій домъ».

Потерявшій всякое довѣріе и участіе къ себѣ между прежними своими пріятелями, Воейковъ обратился къ людямъ богатымъ и далекимъ отъ литературы.

Жуковъ попался на его удочку.

Воейковъ и въ глаза, и за глаза прославлялъ Жукова, называлъ его честнѣйшимъ, умнѣйшимъ, просвѣщеннѣйшимъ русскимъ человѣкомъ, твердилъ ему, что онъ частичку изъ своихъ богатствъ долженъ употребить, какъ меценатъ, на пользу литературы и уговорилъ его дать капиталъ на заведеніе типографіи, прибавивъ, что онъ охотно возьмется, несмотря на свои многочисленныя литературныя занятія, управлять этой типографіей и блюсти выгоды Василья Григорьича.

Самолюбіе Жукова не устояло противъ грубой лести Воейкова. Жуковъ далъ ему деньги на первое обзаведеніе и открытіе типографіи. Воейковъ увѣрилъ его при этомъ, что для приданія бо́льшей извѣстности новой типографіи необходимо дать угощеніе въ ней всѣмъ литераторамъ, начиная съ И. А. Крылова и Жуковскаго. И на обѣдъ были выданы деньги Воейкову.

Я получилъ приглашеніе вмѣстѣ съ другими.

Квартиру для типографіи Воейковъ нанялъ въ переулкѣ, близь Сѣнной площади, въ грязномъ домѣ, пользовавшемся самою печальною извѣстностью: во время холеры 1831 года, въ этомъ домѣ была устроена холерная больница и изъ оконъ его взбунтовавшійся народъ выбрасывалъ на улицу докторовъ.

Въ самой большой изъ залъ типографіи былъ накрытъ столъ, *покоемъ*, человѣкъ на полтораста.

Къ четыремъ часамъ литераторы начали съѣзжаться и сходиться. Воейковъ принималъ всѣхъ, какъ хозяинъ, очень довольный тѣмъ, что Крыловъ, Жуковскій и Вяземскій не отказались отъ приглашенія. За исключеніемъ Булгарина, Сенковскаго и Греча—заклятыхъ враговъ Воейкова—на этомъ обѣдѣ присутствовали всѣ до послѣдняго фельетониста, наканунѣ напечатавшаго свою статейку въ первый разъ.

Крыловъ, Жуковскій и Вяземскій были посажены, конечно, во главѣ стола. Около нихъ Плетневъ, князь Одоевскій и Краевскій, который при первомъ появленіи въ залу озаботился, чтобы занять мѣсто какъ можно поближе къ нимъ. Кукольникъ сѣлъ на другой конецъ стола со своими литературными друзьями и посадилъ возлѣ себя Полевого. Остальные разсѣлись, какъ случилось. Воейковъ не садился за столъ. Онъ любезничалъ со своими гостями и угощалъ ихъ. Воейковъ всѣхъ предварительно познакомилъ съ Жуковымъ, и за обѣдомъ оставилъ ему мѣсто около литературныхъ знаменитостей.

За обѣдомъ между прочими присутствовали два какіе-то монаха. Когда всѣ усѣлись за столъ, въ залѣ появились квартальный надзиратель и два жандармскихъ офицера. Явились ли они для поддержанія, въ случаѣ нужды, порядка, или принадлежали къ знакомымъ Жукова и Воейкова и были ими приглашены—это осталось неизвѣстнымъ. Надобно думать, что они явились просто для порядка, потому-что за столъ не садились, а только по временамъ заглядывали въ залу и потомъ исчезали въ другой комнатѣ, гдѣ въ свою очередь угощаемы были будущіе факторъ и наборщики...

Кушаньямъ не было числа, но обѣдъ былъ изъ рукъ вонъ безвкусенъ и плохъ. Вино также не отличалось доброкачественностью, но ужъ зато лилось черезъ край. Между безчисленною, грязною и полупьяною прислугою бѣгали какіе-то ребятишки и также прислуживали гостямъ. Оказалось, что это были побочныя дѣти Воейкова.

Воейковъ привелъ ко мнѣ одного изъ этихъ мальчиковъ и, указывая на него, сказалъ:

— Я знаю, что вы охотникъ до портера, такъ вотъ обратитесь къ моему Федюшѣ. Онъ вамъ принесетъ все, что угодно. Слышишь, Федюша! ты и не отходи отъ этого госпо-

дина (онъ указалъ на меня), стой за его стуломъ и исполняй его приказанія, а теперь сбѣгай, да принеси-ка бутылочку портера, самаго лучшаго.

Вино дѣйствовало; въ концѣ обѣда начались дружескія изліянія, различныя объясненія, объятія, примиренія, увѣренія въ любви и уваженіи. Всѣ, даже самые ожесточенные враги, смотрѣли въ умиленіи другъ на друга съ посоловѣвшими глазами. Полевой увѣрялъ Кукольника въ томъ, что онъ одинъ изъ самыхъ пламенныхъ его приверженцевъ и почитателей его таланта. Кукольникъ кричалъ, что имя Полевого никогда не забудется въ исторіи русской литературы; они при этомъ цѣловали другъ друга и пили брудершафтъ... Все это было довольно гадко.

Шумъ и крики увеличивались, сливаясь въ безобразный и нестройный гулъ. Жуковскій, Крыловъ, Вяземскій, Одоевскій и многіе другіе, съ послѣднимъ блюдомъ, встали изъ-за стола и уѣхали.

— Ну, и хорошо сдѣлали! произнесъ Кукольникъ, махнувъ рукой на удалявшихся. — Мы обойдемся и безъ этихъ аристократовъ. A bas ихъ! Правда, Полевой?

— A bas!... отвѣчалъ, ухмыляясь, Полевой, льстиво глядя въ глаза Кукольнику: — ура, Кукольникъ!

— Ура, Кукольникъ! Ура, Полевой! кричали кругомъ ихъ. Баронъ Розенъ, еле державшійся на ногахъ, расхаживалъ по залѣ, кричалъ, что онъ создастъ настоящую русскую драму, что «Ифигенію» Гёте можетъ перевести одинъ Жуковскій подъ его руководствомъ, натыкался на всѣхъ, обнимался со всѣми и даже плакалъ.

Между-тѣмъ совсѣмъ смерклось, и залу освѣтили двумя или тремя плохо горѣвшими лампами.

Пропитанная спиртнымъ запахомъ и табачнымъ чадомъ зала представляла непріятное зрѣлище. Столы были уже сдвинуты. Пьяныя тѣни шатались и бродили въ этомъ чаду, освѣщенныя тусклымъ и красноватымъ свѣтомъ лампъ, крича, болтая всякій вздоръ и натыкаясь другъ на друга. Полевого и Кукольника начали качать, какимъ-то образомъ даже Розенъ очутился потомъ въ объятіяхъ Кукольника. Кукольникъ кричалъ:

— Ты нѣмецъ, но талантливый нѣмецъ: въ твоей «Осадѣ Пскова» есть дивныя мѣста. Ну, братцы, выпьемте за здоровье Розена! Воейковъ! вели подать вина!

Квартальный и жандармскіе офицеры издалека посматривали на все это съ подозрительнымъ удивленіемъ.

Хромой Воейковъ, стуча своею палкою, явился въ сопровожденіи лакея, который несъ шампанское. Воейковъ началъ обнимать Кукольника и Розена и говорилъ, что онъ счастливъ, что на его праздникѣ совершилось примиреніе двухъ нашихъ первыхъ драматическихъ писателей. Кукольникъ провозгласилъ въ десятый разъ тостъ за процвѣтаніе новой типографіи.

Литературная оргія окончилась пляской.

Полевой и Кукольникъ вдругъ пустились въ присядку. Около нихъ составился кружокъ, рукоплескавшій имъ и кричавшій: «Bravo! bis!»

Что̀ происходило затѣмъ — я не знаю; я не дождался конца пляски. Мнѣ было болѣе всего больно и оскорбительно за Полевого.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, Степановъ принесъ къ Краевскому отличный каррикатурный рисунокъ, на первомъ планѣ котораго были Полевой и Кукольникъ, отхватывающіе присядку.

V.

Альманахъ въ память открытія типографіи.—Э. И. Губеръ.—Вечеръ у Воейкова въ великомъ посту.—Чтеніе «Сумасшедшаго дома». — Нумеръ «Русскаго Инвалида», присланный мнѣ Воейковымъ съ надписью на память. — Юбилей Крылова.—С. Н. Глинка на этомъ юбилеѣ.—Литературно-великосвѣтскія субботы у князя В. Ѳ. Одоевскаго. — Сахаровъ, издатель «Сказаній русскаго народа». — Отецъ Іакинфъ. — Отношенія Одоевскаго къ молодымъ литераторамъ. — С. А. Соболевскій. — Смерть Пушкина и разборъ его бумагъ. — Имя Краевскаго на обертке «Современника», вмѣстѣ съ именами князя Вяземскаго, Жуковскаго и Плетнева.

Присутствовавшіе на обѣдѣ Воейкова при открытіи типографіи, по предложенію, если я не ошибаюсь, Владиславлева, обязались подарить по статьѣ *на зубокъ* новой типографіи. Если бы всѣ они сдержали свое слово, изъ этихъ приноше-

ній составилась бы книжица листовъ во сто. Мысль эта улыбалась Воейкову, но, къ прискорбію его, она не осуществилась: только человѣкъ десять, или пятнадцать, изъ самыхъ молодыхъ литераторовъ, движимыхъ рьяною страстью *печататься* (и въ томъ числѣ, конечно, я), поднесли ему свои стишки и разсказцы, изъ которыхъ составилась тощая и плохая книжечка. Передъ выходомъ ея, Воейковъ пустилъ объ ней прекурьезное объявленіе съ китайскимъ бордюромъ, точь-въ-точь, какъ объявленія о чаѣ. Онъ наименовалъ всѣ статьи своего Альманаха и при этомъ дѣлалъ небольшую, но презабавную характеристику каждаго автора. Я только помню двѣ изъ этихъ характеристикъ—мою и Губера. Напечатавъ заглавіе моего разсказа, онъ замѣтилъ: «сочиненіе И. И. Панаева, автора повѣсти: «Она будетъ счастлива» *), *въ которой въ первый разъ изображена настоящая русская женщина*»; объявляя о стихотвореніяхъ Губера, онъ прибавилъ: «*того самаго Э. И. Губера, который вступилъ въ борьбу съ исполиномъ Германіи—Гёте и побѣдилъ его*». Остальныя характеристики были въ этомъ же родѣ.

Здѣсь кстати надо замѣтить, что Губеръ не задолго передъ этимъ появился съ большимъ эффектомъ на литературномъ поприщѣ, какъ переводчикъ «Фауста». Объ этомъ переводѣ, еще до появленія отрывковъ изъ него, толковали очень много: говорили, что переводъ его — образецъ переводовъ, что болѣе поэтически и болѣе вѣрно невозможно передать «Фауста». Кажется, Губеръ явился съ отрывками изъ своего перевода прежде всего къ Пушкину, и Пушкинъ передѣлалъ нѣкоторые изъ этихъ отрывковъ. Объ этомъ уже узнали впослѣдствіи. Губеръ сначала довольно часто появлялся на литературныхъ утренникахъ Краевскаго, потомъ онъ сблизился съ Брюловымъ, Глинкою и Кукольникомъ... но о Губерѣ я буду еще говорить впослѣдствіи...

Объявленіе Воейкова разсмѣшило всѣхъ. Искренно ли было написано имъ это объявленіе, или это была шуточка, до которыхъ онъ былъ охотникъ? Богъ знаетъ. Злой, умный, ядовитый Воейковъ, какъ критикъ, былъ до крайности пошлъ,

---

*) Повѣсть эта была напечатана въ «Телескопѣ», какъ я упомянулъ выше.

и легко могъ нешутя полагать, что Губеръ побѣдилъ исполина Германіи.

Въ своихъ выходкахъ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» противъ Надеждина, Бѣлинскаго и другихъ онъ явился тупымъ, плоскимъ, отсталымъ старцемъ, огрызавшимся съ безсильною злобою.

Въ Воейковѣ-журналистѣ не было, казалось, ничего общаго съ авторомъ «Сумасшедшаго дома», умно и мѣтко злымъ, какимъ онъ являлся иногда и въ обществѣ.

Однажды, на вечерѣ у Владиславлева, когда зашла рѣчь о «Сумасшедшемъ домѣ», Владиславлевъ спросилъ у него:

— Скажите, Александръ Ѳедорычъ, откуда вы берете эти слова, которыми вы такъ безпощадно бичуете въ вашемъ «Сумасшедшемъ домѣ»?

Воейковъ улыбнулся, и масляные глазки его засверкали.

— Они мнѣ не легко достаются, отвѣчалъ онъ протяжно и въ-носъ: — я вѣдь, почтеннѣйшій, нѣсколько лѣтъ коплю въ себѣ жолчь, и когда она накопится черезъ мѣру, такъ ужь она сама собой какъ-то разливается.

У Владиславлева висѣлъ на стѣнѣ въ его кабинетѣ портретъ масляными красками Греча.

Краевскій спросилъ у Владиславлева, почему онъ повѣсилъ у себя этотъ портретъ Греча: развѣ онъ такъ уважаетъ оригиналъ?

— Ахъ, Андрей Александрычъ, прогнусилъ Воейковъ: — оставьте его: пусть до висѣлицы-то хоть на гвоздикѣ повиситъ.

Однажды Воейковъ пригласилъ къ себѣ на вечеръ. Это было въ великомъ посту. Онъ жилъ гдѣ-то около Шестилавочной, въ небольшомъ отдѣльномъ деревянномъ домикѣ. На этомъ вечерѣ были: Жуковскій, князь Вяземскій, Краевскій, Владиславлевъ, Гребенка и нѣкоторые другіе литераторы.

Воейковъ былъ очень любезенъ съ своими гостями и льстилъ самолюбію каждаго.

Вяземскій потребовалъ, чтобы онъ непремѣнно прочелъ весь свой «Сумасшедшій домъ», не скрывая ничего.

— Ты вѣдь, вѣрно, и меня помѣстилъ въ него, сказалъ

Вяземскій:—прочти обо всѣхъ. Я не разсержусь на тебя, я тебѣ даю слово; другіе, вѣрно, также не разсердятся.

— Что это ты, князь! вскрикнулъ Воейковъ:—съ чего ты это взялъ? Клянусь тебѣ, что о тебѣ нѣтъ ни одной строки. Я тебя такъ люблю, такъ уважаю... Сохрани Боже! какъ это можно!

— Да и Жуковскаго ты, вѣрно, любишь и уважаешь, возразилъ Вяземскій:—однако Жуковскій попалъ же въ «Сумасшедшій домъ».

Жуковскій улыбался. Воейковъ смутился.

— Это прошедшее... это было такъ давно, началъ Воейковъ: — я теперь въ этомъ раскаиваюсь... Это гадко, низко съ моей стороны было трогать такого человѣка, какъ онъ (и Воейковъ указывалъ на Жуковскаго); я торжественно каюсь въ этомъ поступкѣ.

— Ну, полно, полно, отвѣчалъ Жуковскій: — принеси-ка свой «Сумасшедшій домъ» и прочти его намъ, ничего не утаивая...

Всѣ пристали къ Воейкову. Онъ вышелъ и скоро возвратился съ тетрадкою.

— Право, это не стоитъ читать, говорилъ онъ: — вамъ всѣмъ это извѣстно, новаго тутъ ничего нѣтъ.

— Нѣтъ, читайте, читайте! закричали всѣ въ одинъ голосъ...

— Если вы непремѣнно требуете, я повинуюсь—дѣлать нечего.

И Воейковъ неохотно раскрылъ тетрадку.

— Господа! сказалъ Вяземскій: — онъ непремѣнно пропуститъ что-нибудь. Пусть прочтетъ кто-нибудь другой. Дай кому-нибудь изъ насъ тетрадку.

Воейковъ началъ клясться, что пропуститъ нечего, что новаго нѣтъ ничего, — однако тетрадка его была передана Гребенкѣ, который взялся читать.

Во время чтенія Воейковъ стоялъ сзади стула Гребенки и прерывалъ чтеніе, повторяя:

— Видите ли, вѣдь я не солгалъ, тутъ нѣтъ ничего новаго... Право, не стоитъ читать...

— Молчи! молчи! замѣтилъ ему Жуковскій, грозя пальцемъ.

Новаго дѣйствительно ничего не оказалось, за исключеніемъ неизвѣстныхъ для Вяземскаго и Жуковскаго четырехъ страшно-оскорбительныхъ стиховъ на Карлгофа, съ которымъ Воейковъ былъ въ очень пріятельскихъ отношеніяхъ.

— Видишь ли, князь, воскликнулъ Воейковъ по окончаніи чтенія, обращаясь къ Вяземскому:—что я не солгалъ, что о тебѣ нѣтъ ни слова. Я бы отсѣкъ себѣ руку, которая бы написала о тебѣ хоть одну ядовитую строчку. Клянусь тебѣ, клянусь!

Вечеръ этотъ окончился постнымъ ужиномъ. Воейковъ во все время ужина извинялся, что онъ угощаетъ постнымъ.

— Жаль, говорилъ онъ:—что мнѣ пришлось принимать моихъ дорогихъ гостей въ посту... ну, а вы ужъ меня извините, господа, что я свято исполняю христіанскій долгъ. Я вѣдь весь великій постъ ѣмъ постное.

Провожая насъ, Воейковъ говорилъ каждому:

— Благодарю васъ за честь, которую вы сдѣлали старику и не погнушались его приглашеніемъ, я это очень чувствую. Вы доставили мнѣ истинное удовольствіе. Я этого вечера никогда не забуду, и такъ далѣе...

Изъ литераторовъ Воейковъ болѣе всѣхъ ненавидѣлъ Сенковскаго, Греча и Булгарина и всякій разъ выискивалъ съ наслажденіемъ случая, чтобы нанести имъ какую-нибудь непріятность торжественно, передъ лицемъ публики.

Одинъ изъ такихъ случаевъ представился ему при юбилеѣ Крылова.

Мысль о юбилеѣ Крылова возникла, если я не ошибаюсь, на вечерахъ князя Одоевскаго. Объ этой мысли сообщено было графу Уварову, который, какъ министръ просвѣщенія, взялся испросить на этотъ литературный праздникъ высочайшее разрѣшеніе. Сенковскій, Гречъ и Булгаринъ, ненавидѣвшіе Одоевскаго и Вяземскаго, потому только, что иниціатива объ этомъ юбилеѣ принадлежала имъ, отказались отъ участія въ немъ; но когда юбилей, высочайше одобренный, принялъ оффиціальный характеръ, они начали хлопотать о билетахъ для себя; билеты же были всѣ розданы, и они на юбилей не попали.

Воейковъ воспользовался этимъ случаемъ и напечаталъ въ «Инвалидѣ», что на праздникѣ въ честь нашего знаменитаго

баснописца не пожелали принять участія только трое изъ литераторовъ: Сенковскій, Булгаринъ и Гречъ.

За эту невинную выходку Воейковъ просидѣлъ три дня на гауптвахтѣ. Она показалась дерзкою высшему начальству.

Воейковъ очень тщеславился своею смѣлою выходкою (да! въ то время и это считалось смѣлостью!) и разослалъ всѣмъ своимъ пріятелямъ, въ томъ числѣ и мнѣ, тотъ нумеръ «Инвалида», въ которомъ она была напечатана.

У меня до-сихъ-поръ хранится этотъ нумеръ.

На верху, карандашомъ, рукою Воейкова написано:

«Любезнѣйшему Ивану Ивановичу Панаеву на память отъ Ал. Воейкова».

Когда Воейкова выпустили на свободу, онъ, подробно разсказывая мнѣ объ этомъ происшествіи, прибавилъ въ заключеніе:

— Если бы меня предупредили заранѣе, что я просижу за это не три дня, а *три года*,—я все-таки бы напечаталъ это и просидѣлъ бы съ удовольствіемъ три года въ заключеніи, для того только, чтобы опубликовать и опозорить этихъ господъ передъ всѣми...

Юбилей Крылова праздновался въ большой залѣ дома Энгельгардта, гдѣ теперь *Русскій Магазинъ* (нынѣ д. Ольхиной, у Казанскаго моста). Онъ принялъ даже совершенно оффиціальный характеръ. Передъ началомъ обѣда графъ Уваровъ пришпилилъ къ груди баснописца звѣзду ордена св. Станислава, и въ краткихъ, но выразительныхъ словахъ поздравилъ его съ этою высочайшею милостью.

За обѣдомъ говорили рѣчи: Жуковскій, князь Одоевскій отъ лица молодаго поколѣнія литераторовъ, князь Вяземскій прочелъ свое извѣстное стихотвореніе къ «Дѣдушкѣ Крылову». На хорахъ, въ залѣ, присутствовало много любопытныхъ великосвѣтскихъ дамъ. Крыловъ казался очень растроганнымъ.

Къ концу обѣда, послѣ всѣхъ рѣчей, всталъ съ своего мѣста Сергѣй Николаевичъ Глинка. На немъ былъ синій фракъ съ бронзовыми пуговицами и съ огромнымъ Владиміромъ въ петлицѣ, манишка, повязанная сверхъ жилета, и сапоги сверхъ панталонъ. Глаза его имѣли нѣсколько дикое выраженіе. Онъ направлялся съ какою-то торжественностью

къ серединѣ стола, гдѣ сидѣлъ Крыловъ, имѣвшій своимъ сосѣдомъ съ правой стороны министра народнаго просвѣщенія, а съ лѣвой Жуковскаго. Князь Одоевскій и Плетневъ сидѣли напротивъ Крылова и возлѣ нихъ пріютился Краевскій, начинавшій для приданія себѣ вѣса прицѣплять себя къ друзьямъ Пушкина, и такимъ-образомъ выдвигавшійся на видный планъ.

Сергѣй Николаевичъ остановился противъ Крылова, размахнулъ рукой и произнесъ горячо краткую, но не совсѣмъ связную рѣчь, при всеобщихъ улыбочкахъ, и затѣмъ потянулся къ Крылову, который обнялъ его и поцѣловалъ.

Когда пили за здоровье Крылова, энтузіазмъ въ залѣ былъ страшный, и дамы на хорахъ кричали, махали платками и, кажется, бросили съ хоръ нѣсколько букетовъ...

Крыловъ бывалъ иногда на субботахъ князя Одоевскаго, и я въ первый разъ увидалъ тамъ нашего знаменитаго баснописца. Онъ имѣлъ много привлекательности и, несмотря на тучность своего тѣла, казался еще очень живымъ старикомъ. Онъ вообще мастерски разсказывалъ, когда былъ въ хорошемъ расположеніи, и передавалъ съ добродушнымъ юморомъ различные забавные факты о своей безпечности и разсѣянности: о томъ, какъ онъ однажды при представленіи императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, въ Павловскѣ, наклонился, чтобы поцѣловалъ ея руку и вдругъ чихнулъ ей на руку; о томъ, какъ какой-то сочинитель принесъ ему свое сочиненіе и просилъ его совѣтовъ, какъ Крыловъ взялся очень охотно прочесть это сочиненіе и продержалъ его больше года; какъ сочинитель, выведенный изъ терпѣнья, вошелъ къ нему разъ утромъ въ спальню и увидѣлъ его спящаго, а свое сочиненіе плавающимъ въ какомъ-то сосудѣ, стоявшемъ у постели; какъ Крыловъ потерялъ жилетъ съ самого себя, и прочее. Анекдоты эти извѣстны почти всѣмъ.

Всякій разъ, когда Крыловъ бывалъ у Одоевскаго, за ужиномъ являлся для него поросенокъ подъ сметаной, до котораго онъ былъ величайшій охотникъ, и передъ нимъ ставилась бутылка кваса.

На вечерахъ Одоевскаго бывали также довольно часто Пушкинъ, на котораго молодые литераторы съ благоговѣніемъ выглядывали издалека, потому-что онъ всегда сидѣлъ въ кругу

свѣтскихъ людей и дамъ, и князь Вяземскій, появлявшійся обыкновенно часа въ два ночи.

Извѣстно, что желаніе Одоевскаго сблизить, посредствомъ своихъ вечеровъ, великосвѣтское общество съ русской литературой не осуществилось. Я уже намекнулъ объ этомъ, говоря о Бѣлинскомъ.

Большинство нашихъ такъ-называемыхъ свѣтскихъ людей того времени отличалось крайней пустотою и отсутствіемъ всякаго образованія, потому-что болтанье на французскомъ языкѣ, болѣе или менѣе удачное усвоеніе внѣшнихъ формъ пошлаго европейскаго дендизма и чтеніе романовъ Поль-де-Кока нельзя же назвать образованіемъ. Исключеній было немного, и къ самымъ блистательнымъ исключеніямъ принадлежалъ графъ Матвѣй Юрьевичъ Вьельгорскій—человѣкъ съ тонкою артистическою натурою и съ большою начитанностью. Остальные не принимали и не могли принимать ни малѣйшаго участія ни въ развитіи отечественной литературы, ни въ какихъ человѣческихъ интересахъ, а знали о существованіи русской литературы только по Пушкину и по другимъ, которые принадлежали къ ихъ обществу. Они полагали, что вся русская литература заключается въ Жуковскомъ, Крыловѣ (басни котораго они учили въ дѣтствѣ), Пушкинѣ, князѣ Одоевскомъ, князѣ Вяземскомъ и графѣ Соллогубѣ, который всѣмъ своимъ свѣтскимъ пріятелямъ читалъ тогда своего «Сережу», еще не появившагося въ печати. Чтобы получить литературную извѣстность въ великосвѣтскомъ кругу, необходимо было попасть въ салонъ г-жи Карамзиной—вдовы исторіографа. Тамъ выдавались дипломы на литературные таланты. Это былъ уже настоящій великосвѣтскій литературный салонъ съ строгимъ выборомъ, и Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина, къ которой всѣ извѣстные наши поэты считали долгомъ писать посланія.

Духъ касты, аристократическій духъ внесенъ былъ такимъ образомъ и въ «республику слова». Аристократическіе литераторы держали себя съ недоступною гордостью и вдалекѣ отъ остальныхъ своихъ собратій, изрѣдка относясь къ нимъ только съ вельможескою покровительственностью. Пушкинъ, правда, былъ очень ласковъ и вѣжливъ со всѣми, какъ я уже замѣтилъ, но эта утонченная вѣжливость была быть-

можетъ признакомъ закоренѣлаго аристократизма. Его, говорятъ, приводило въ бѣшенство, когда какія-нибудь высшія лица принимали его, какъ литератора, а не какъ потомка Аннибала, предъ кѣмъ...

«..... громада кораблей вспылала
И палъ впервые Наваринъ!»

Князь Одоевскій, напротивъ, принималъ каждаго литератора и ученаго съ искреннимъ уваженіемъ, и протягивалъ дружно руку всѣмъ выступающимъ на литературное поприще, безъ различія сословій и званій. Одоевскій желалъ все обобщать, всѣхъ сближать, и радушно открылъ двери свои для всѣхъ литераторовъ. Онъ хотѣлъ показать своимъ свѣтскимъ пріятелямъ, что кромѣ избранниковъ, посѣщающихъ салонъ Карамзиной, въ Россіи существуетъ еще цѣлый классъ людей, занимающихся литературой. Одинъ изъ всѣхъ литераторовъ-аристократовъ онъ не стыдился званія литератора, не боялся открыто смѣшиваться съ литературною толпою, и за свою донъ-кихотскую страсть къ литературѣ терпѣливо сносилъ насмѣшки своихъ свѣтскихъ пріятелей, которымъ не было никакого дѣла до литературы и которые вовсе не хотѣли сближаться съ людьми не своего общества... Свѣтскіе люди на вечерахъ Одоевскаго окружали обыкновенно хозяйку дома, которая разливала чай въ салонѣ, а литераторы были биткомъ набиты въ тѣсномъ кабинетѣ хозяина, заставленномъ столами различныхъ формъ и заваленномъ книгами, боясь заглянуть въ салонъ. Цѣлая бездна раздѣляла этотъ салонъ отъ кабинета.

Но для того, чтобы достичь вожделѣннаго кабинета, бѣднымъ литераторамъ надобно было проходить черезъ роковой салонъ — и это было для нихъ истинною пыткою. Неловко кланяясь хозяйкѣ дома, они, какъ-то скорчившись, съежившись и притаивъ дыханіе, торопились достичь кабинета, преслѣдуемые лорнетами и разными, не совсѣмъ пріятными для ихъ самолюбія взглядами и улыбочками.

Особенное вниманіе великосвѣтскихъ госпожъ и господъ обращалъ на себя издатель «Сказаній русскаго народа» И. П. Сахаровъ, появлявшійся всегда на вечерахъ князя Одоевскаго въ длиннополомъ гороховомъ сюртукѣ. Сахаровъ, впро-

чемъ, русскій человѣкъ, себѣ-на-умѣ, хитро посматривалъ на все изъ-подъ навѣса своихъ густыхъ бѣлокурыхъ бровей, и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми имъ улыбочками. Онъ даже, кажется, нарочно облекался въ свой гороховый сюртукъ, отправляясь на вечера Одоевскаго...

— Пусть ихъ таращатъ на меня глаза, говорилъ онъ:— мнѣ наплевать, меня не испугаютъ.

Книга Сахарова «Сказанія русскаго народа», только-что появившаяся въ то время, обратила на себя всеобщее вниманіе въ литературѣ, и черезъ эту книгу Сахаровъ скоро сблизился со всѣми литераторами и сталъ особенно ухаживать за журналистами. Онъ довольно часто появлялся у Краевскаго....

Кромѣ Сахарова, привлекалъ къ себѣ любопытство великосвѣтскихъ гостей князя Одоевскаго—отецъ Іакинфъ Бичуринъ, изрѣдка появлявшійся на субботахъ. Онъ обыкновенно снималъ въ кабинетѣ Одоевскаго свою верхнюю одежду, оставался въ подрясникѣ, имѣвшемъ видъ длиннаго семинарскаго сюртука, и начиналъ ораторствовать о Китаѣ, превознося до небесъ все китайское.

Онъ до того окитаился, вслѣдствіе своего долгаго пребыванія въ этой странѣ, что даже наружностью сталъ походить на китайца: глаза его какъ-то съузились и поднялись кверху.

Когда Іакинфъ заговаривалъ о своемъ Китаѣ, многіе свѣтскіе господа изъ салона княгини приходили слушать его.

Отецъ Іакинфъ говорилъ грубо, рѣзко напиралъ на букву *о* и не стѣснялся въ своихъ выраженіяхъ.

Какой-то свѣтскій франтъ перебилъ его однажды вопросомъ:

— А что, хороши женщины въ Китаѣ?

Іакинфъ осмотрѣлъ его съ любопытствомъ съ ногъ до головы, и потомъ, отворотясь, отвѣчалъ хладнокровно:

— Нѣтъ, мальчики лучше.

Однажды Іакинфъ проповѣдывалъ о томъ, что медицина въ Китаѣ доведена до высочайшаго совершенства и что многія весьма серьезныя болѣзни, отъ которыхъ становятся въ

тупикъ европейскіе врачи, вылечиваются тамъ очень легко и быстро.

— Какія же, напримѣръ? спросила княгиня Одоевская.

— Да вотъ хоть бы кровавый поносъ, отвѣчалъ онъ...

Когда я въ первый разъ былъ у Одоевскаго, онъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Его привлекательная, симпатическая наружность, таинственный тонъ, съ которымъ говорилъ онъ обо всемъ на свѣтѣ, безпокойство въ движеніяхъ человѣка, озабоченнаго чѣмъ-то серьезнымъ, выраженіе лица постоянно задумчивое, размышляющее, — все это не могло не подѣйствовать на меня. Прибавьте къ этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленнаго необыкновенными столами съ этажерками и съ таинственными ящичками и углубленіями; книги на стѣнахъ, на столахъ, на диванахъ, на полу, на окнахъ — и притомъ въ старинныхъ пергаментныхъ переплетахъ съ писанными ярлычками на задкахъ; портретъ Бетховена съ длинными сѣдыми волосами и въ красномъ галстукѣ; различные черепа, какія-то необыкновенной формы стклянки и химическія реторты. Меня поразилъ даже самый костюмъ Одоевскаго: черный шелковый, вострый колпакъ на головѣ и такой же, длинный до пятъ сюртукъ — дѣлали его похожимъ на какого-нибудь средневѣковаго астролога или алхимика.

Я почувствовалъ внутреннюю лихорадку, когда онъ заговорилъ со мною. Такъ точно дѣйствовалъ Одоевскій и на моего пріятеля Дирина, о которомъ я говорилъ выше.

Диринъ благоговѣйно любилъ Одоевскаго, но одна мысль объ его учености приводила его въ трепетъ.

— Меня такъ и тянетъ къ этому человѣку, говаривалъ мнѣ Диринъ: — въ немъ столько симпатическаго!... Но когда онъ о чемъ-нибудь заговоритъ со мною, я вдругъ робѣю, чувствую внутреннюю дрожь, и языкъ прилипаетъ у меня къ гортани... Меня это мучитъ, онъ долженъ считать меня ужаснѣйшимъ дуракомъ!

Диринъ и въ могилу унесъ отроческій, раболѣпный страхъ къ глубокой учености Одоевскаго.

У меня этотъ страхъ прошелъ скоро.

Я имѣлъ случай не разъ убѣдиться, что подъ этимъ таинственнымъ астрологическимъ костюмомъ билось самое про-

стое, самое откровенное и чистое сердце, и что всѣ эти ученые аксессуары, такъ пугавшіе новичковъ, не были нисколько страшны.

Этотъ человѣкъ, приводившій насъ съ Диринымъ въ трепетъ своею ученостью, нерѣдко принималъ за людей серьезныхъ и дѣльныхъ самыхъ пустыхъ людей, и самыхъ пошлыхъ шарлатановъ за ученыхъ, довѣрялся имъ, распинался за нихъ, выдвигалъ ихъ впередъ, и потомъ, когда ихъ неблагодарность и невѣжество обнаруживались, онъ печально покачивалъ головой и говорилъ: «Ну, что жъ дѣлать! Ошибся...» и черезъ день впадалъ въ такую же ошибку.

Я мало встрѣчалъ людей, которые бы могли сравниться съ Одоевскимъ въ добродушіи и довѣрчивости. Никто болѣе его не ошибался въ людяхъ, и никто, конечно, болѣе его не былъ обманутъ—я увѣренъ въ этомъ. Писатель фантастическихъ повѣстей, онъ до-сихъ-поръ смотритъ на все съ фантастической точки зрѣнія, и прогрессъ человѣчества воображаетъ въ томъ, что черезъ тысячу лѣтъ люди будутъ строить, вмѣсто мраморныхъ и кирпичныхъ, стеклянные дворцы. (См. его повѣсти).

Никто болѣе Одоевскаго не принимаетъ серьезно самыя пустыя вещи и никто болѣе его не задумывается надъ тѣмъ, что не заслуживаетъ не только думы, даже вниманія. Къ этому еще примѣшивается у него слабость казаться во всемъ оригинальнымъ. Ни у кого въ мірѣ нѣтъ такихъ фантастическихъ обѣдовъ, какъ у Одоевскаго: у него пулярка начиняется бузиной или ромашкой; соусы перегоняются въ химической ретортѣ и составляются изъ несвязныхъ смѣшеній; у него все варится, жарится, солится и маринуется ученымъ образомъ.

Въ старые годы канунъ новыхъ годовъ мы часто встрѣчали, и очень весело, у Одоевскаго: разъ, не помню, на какой именно годъ, къ нему собралось болѣе, чѣмъ обыкновенно, и въ числѣ другихъ былъ С. А. Соболевскій, одинъ изъ самыхъ старыхъ и короткихъ знакомыхъ Одоевскаго.

Соболевскій, тотъ самый, котораго я увидѣлъ въ первый разъ у Смирдина, съ Пушкинымъ, и съ которымъ я познакомился впослѣдствіи, запугавшій великосвѣтскихъ людей своими мѣткими эпиграммами и донельзя безвастѣнчивыми мане-

рами, пріобрѣлъ себѣ между многими изъ нихъ репутацію необыкновенно умнаго и образованнаго человѣка. Житейскаго ума, хитрости и ловкости въ Соболевскомъ дѣйствительно много; что же касается до образованія... то оно не блистательно; но онъ умѣетъ при случаѣ пустить пыль въ глаза, бросить слово свысока, а при случаѣ отмолчаться и отдѣлаться иронической улыбкой. Соболевскій принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, у которыхъ въ поминѣ нѣтъ того, что называется обыкновенно сердцемъ, и если у него есть нервы, то они должны быть такъ крѣпки, какъ вязига. Это самые счастливые изъ людей. Имъ обыкновенно все удается въ жизни.

Для людей мягкосердыхъ и нервическихъ такого рода господа нестерпимы.

Передъ ужиномъ Одоевскій предупредилъ всѣхъ, что у него будутъ какія-то удивительныя сосиски, приготовленныя, разумѣется, совершенно особымъ способомъ. Онъ просилъ гостей своихъ обратить вниманіе на это блюдо.

Любопытство насчетъ сосисокъ возбуждено было сильно. Ужинъ открылся именно этими сосисками. Всѣ разрѣзывали ихъ и разсматривали со вниманіемъ и, поднося ко рту, предвкушали заранѣе особую пріятность, но разжевавъ, всѣ вдругъ замерли, полуоткрыли ротъ и не знали, что дѣлать. Сосиски— увы! не удались, и такъ отзывались саломъ, что всѣмъ захотѣлось выплюнуть.

Соболевскій выплюнулъ свою сосиску безъ церемоніи и, торжественно протягивая руку съ тарелкой, на которой лежала сосиска, обратился къ хозяину дома и закричалъ во все горло, иронически улыбаясь и посматривая на всѣхъ:

— Одоевскій! пожертвуй это блюдо въ дѣтскіе пріюты, находящіеся подъ начальствомъ княгини.

У Одоевскаго, какъ вообще у всѣхъ людей нервическихъ, не было esprit de repartie: онъ совершенно смутился и пробормоталъ что-то.

Одоевскій, въ двадцать лѣтъ, вмѣстѣ съ В. Кюхельбекеромъ, былъ редакторомъ журнала. Онъ обѣщалъ сдѣлаться серьезнымъ литературнымъ дѣятелемъ, но послѣ прекращенія «Мнемозины» и переѣзда его въ Петербургъ, его литературная энергія ослабѣваетъ. Онъ упадаетъ духомъ. Многіе изъ

родныхъ и друзей его сосланы... Ударъ 14-го декабря отозвался на всю Россію: всѣ сжались и присмирѣли. Въ Петербургѣ Одоевскій продолжаетъ заниматься литературой, но не болѣе, какъ диллетантъ. Главною цѣлью дѣлается служба. Убѣжденія и надежды его юности поколеблены. Но служба не можетъ наполнять его—и онъ безпокойно хватается за все для удовлетворенія своей врожденной любознательности: онъ занимается немножко положительными науками и въ то же время увлекается средневѣковыми мистическими бреднями, возится съ ретортами въ своемъ химическомъ кабинетѣ и пишетъ фантастическія повѣсти, изобрѣтаетъ и заказываетъ какіе-то неслыханные музыкальные инструменты, и, подъ именемъ доктора Пуфа, сочиняетъ непостижимыя уму блюда и невѣроятные соусы; изучаетъ Лафатера и Галля, сочиняетъ дѣтскія сказки подъ именемъ «Дѣдушки Иринея», и вдается въ бюрократизмъ. Литераторъ, химикъ, музыкантъ, чиновникъ, черепословъ, поваръ, чернокнижникъ, — онъ совсѣмъ путается и теряется въ хаосѣ этихъ разнообразныхъ занятій. Поддерживая связи съ учеными и литераторами, онъ съ какимъ-нибудь профессоромъ физики или съ математикомъ заводитъ рѣчь о поэзіи и совѣтуетъ ему прочесть какую-нибудь поэму; съ Бѣлинскимъ, не терпѣвшимъ и преслѣдовавшимъ все мистическое, онъ серьёзно толкуетъ о неразгаданномъ, таинственномъ мірѣ духовъ, о видѣніяхъ, и насильно навязываетъ ему какую-то книгу о магнетизмѣ, увѣряя его, что онъ непремѣнно долженъ прочесть ее.

Преслѣдуя пошлый бюрократическій формализмъ, онъ вводитъ его, какъ предсѣдатель, въ общество посѣщенія бѣдныхъ и въ то же время увѣряетъ, что хочетъ писать романъ, въ которомъ будетъ осмѣивать этотъ формализмъ.

Не имѣя никакихъ придворныхъ способностей, онъ дѣлается придворнымъ, и это стоитъ ему страшныхъ усилій.

Одинъ разъ я заѣхалъ къ нему часу въ восьмомъ вечера. Въ ту минуту, когда я вошелъ въ его кабинетъ, онъ стоялъ у стола въ вицъ-мундирѣ, въ бѣломъ галстухѣ и въ орденахъ, и держалъ въ рукѣ кусочекъ сахара, на который княгиня капала что-то. Сахаръ почернѣлъ.

— Что это вы дѣлаете, княгиня? спросилъ я, улыбаясь: — вы отравляете князя.

— Я всегда принимаю нѣсколько капель опіума, отвѣчалъ за нее князь:—отъ этого я становлюсь бодрѣе. Я долженъ ѣхать на вечеръ къ великой княгинѣ.

Во время коронаціи, въ качествѣ каммергера, Одоевскій долженъ былъ подносить блюды императору и императрицѣ и потомъ пятиться назадъ съ лицомъ, обращеннымъ къ августѣйшимъ особамъ. Продѣлка эта не легка, Одоевскій очень серьезно занятъ былъ этимъ нѣсколько дней, и все учился пятиться.

Попавъ въ чиновническую и придворную колею, Одоевскій незамѣтно всасывалъ въ себя честолюбіе и чинолюбіе и началъ гоняться за различными знаками отличія; но онъ говорилъ искренно и чуть не со слезами на глазахъ, что имѣя много недостатковъ, онъ только совершенно чуждъ одного—мелкаго честолюбія и благодаритъ за это Бога!

Онъ утѣшаетъ себя надеждою, что еще не совсѣмъ бросилъ литературу, что онъ напишетъ еще что-нибудь, что у него много разныхъ плановъ и что для осуществленія ихъ ему надо только на время удалиться отъ своихъ служебныхъ занятій.

Онъ потерялъ всякое сознаніе о самомъ себѣ, и потому ставилъ себя безпрестанно въ комическія положенія.

Въ послѣднее время онъ увѣрилъ себя, что онъ обладаетъ удивительнымъ даромъ изобрѣтенія.

Года три тому назадъ, я встрѣтился съ нимъ въ Гостиномъ дворѣ и пошелъ вмѣстѣ съ нимъ.

— Ахъ, я совсѣмъ забылъ... вдругъ началъ онъ:—вамъ ничего не стоитъ вернуться нѣсколько шаговъ назадъ. Я вамъ покажу мое новое изобрѣтеніе.

Мы вернулись.

Онъ привелъ меня въ лавочку, гдѣ продаютъ фуражки и разныя дорожныя вещи. У входа ея висѣлъ клеенчатый лакейскій плащъ.

— Вотъ—смотрите! Не правда ли, это превосходная вещь!...

— Что такое?

— Клеенчатый плащъ... вѣдь это мое изобрѣтеніе. Я первый выдумалъ это.

Эти плащи въ употребленіи давнымъ-давно, но у меня недостало духу оспаривать Одоевскаго и разочаровывать его.

Съ годъ назадъ тому, онъ очень серьезно и таинственно отвелъ меня въ сторону.

— Въ настоящее время возникъ у насъ въ литературѣ очень серьёзный вопросъ, сказалъ онъ мнѣ: — о *кухаркахъ*. Я по этому случаю написалъ статейку и пришлю ее вамъ. Это очень серьезная вещь, очень! Я развиваю этотъ вопросъ, и говорю о кухаркахъ въ Сардиніи. Я на мѣстѣ убѣдился, какъ эта часть тамъ превосходно устроена.

Да! я теперь уже не боюсь учености и глубины князя Одоевскаго; вѣроятно и Диринъ пересталъ бы бояться его, еслибы былъ живъ; но до-сихъ-поръ я питаю самое симпатическое чувство къ этому человѣку, который изъ всѣхъ литераторовъ-аристократовъ принималъ дѣйствительное и искреннее участіе во всѣхъ своихъ бѣдныхъ собратахъ по литературѣ и обращался съ ними истинно *по-человѣчески* и безъ всякихъ заднихъ мыслей. Въ нашемъ обществѣ и это заслуга, даже большая заслуга!

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ Одоевскій чуть-было еще разъ не сдѣлался журналистомъ. Его настроивалъ на это Краевскій, хотѣвшій издавать журналъ вмѣстѣ съ нимъ. Программа этого журнала, вмѣстѣ съ ручательствомъ за благонамѣренность редакторовъ, представлены были на высочайшее воззрѣніе графомъ Уваровымъ. Въ это время государь, сломавшій себѣ ключицу, находился въ Чембарахъ въ весьма дурномъ расположеніи духа. Онъ написалъ на представленіи Уварова о новомъ журналѣ: «И безъ того много».

Съ этой минуты уже никакія просьбы о новыхъ журналахъ не принимались, и существовавшіе журналы стали перепродаваться за значительныя суммы. Нѣкоторые изъ немногихъ, имѣвшихъ привилегіи на изданіе журналовъ и кое-какъ издававшіе ихъ — ловко воспользовались этимъ и перепродавали ихъ, дѣлая такимъ образомъ очень хорошія спекуляціи.

Краевскій въ это время еще крѣпко держался за Одоевскаго. Онъ вообще такъ и льнулъ къ пушкинской партіи и хотѣлъ втереться къ самому Пушкину. Не знаю, удалось ли бы ему это: внезапная смерть Пушкина разстроила его планы, но онъ покрайней-мѣрѣ былъ утѣшенъ тѣмъ, что протерся-таки хоть ко гробу Пушкина и вмѣстѣ съ друзьями поэта

и жандармами, тайкомъ, ночью, выносилъ этотъ гробъ изъ квартиры.

Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербургъ отъ апатіи. Весь Петербургъ всполошился. Въ городѣ сдѣлалось необыкновенное движеніе. На Мойкѣ, у Пѣвческаго моста (Пушкинъ жилъ тогда въ первомъ этажѣ стариннаго дома княгини Волконской), не было ни прохода, ни проѣзда. Толпы народа и экипажи съ утра до ночи осаждали домъ; извощиковъ нанимали, просто говоря: «къ Пушкину», и извощики везли прямо туда. Всѣ классы петербургскаго народонаселенія, даже люди безграмотные, считали какъ бы своимъ долгомъ поклониться тѣлу поэта. Это было уже похоже на народную манифестацію, на очнувшееся вдругъ общественное мнѣніе. Университетская и литературная молодежь рѣшила нести гробъ на рукахъ до церкви; стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, перечитывались и выучивались наизусть всѣми.

Диринъ былъ страшно пораженъ смертью Пушкина. Онъ первый увѣдомилъ меня о ней, потому-что во все время страданій Пушкина онъ забѣгалъ справляться объ его состояніи разъ десять въ день. Мы рѣшили рано утромъ, въ день выноса тѣла, явиться на квартиру поэта и присоединиться къ тѣмъ, которые будутъ нести гробъ.

Наканунѣ, вечеромъ, я сообщилъ объ этомъ Краевскому.

— Ну что жъ? доброе дѣло, отвѣчалъ онъ отрывисто и сухо по своему обыкновенію.

Зналъ ли онъ о томъ, что нашимъ желаніямъ не придется осуществиться, или распоряженіе о выносѣ сдѣлано было еще позже?

Въ 8 часовъ утра мы подъѣзжали къ дому, гдѣ жилъ Пушкинъ. Къ удивленію нашему, около дома не было ни одного человѣка. Мы сошли съ дрожекъ и вошли на дворъ. Подъѣздъ былъ запертъ. Дворникъ объявилъ намъ, что ужъ тѣло въ церкви. Мы отправились къ церкви.

Вся Конюшенная площадь была усыпана народомъ. Въ церковь пускали только по билетамъ, а у насъ билетовъ не было. Квартальные такъ и сновали въ толпѣ. Жандармы верхомъ окружали площадь. Мы съ Диринымъ потолкались въ толпѣ и печально отправились домой.

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, какъ тѣло, по высочайшему повелѣнію, отвезено было А. И. Тургеневымъ въ Святогорскій Успенскій монастырь (въ 4 верстахъ отъ с. Михайловскаго),—Краевскій объявилъ, что ему поручено разобрать книги и бумаги въ кабинетѣ Пушкина, что онъ пригласилъ къ себѣ въ помощники Сахарова и еще кого-то, не помню...

— Не хотите ли вы помочь намъ? прибавилъ онъ.

Я, конечно, не отказался отъ такого предложенія.

Нечего разсказывать, съ какимъ ощущеніемъ я входилъ въ кабинетъ Пушкина. Мы провозились цѣлый вечеръ. Я, между прочимъ, нашелъ подъ столомъ, на полу, записку Мегниса, бывшаго въ то время секретаремъ англійскаго посольства въ Петербургѣ. — Пушкинъ просилъ его быть своимъ секундантомъ, и Мегнисъ, въ своей запискѣ, отказывалъ Пушкину въ этой просьбѣ, замѣчая, что, по его положенію, онъ не можетъ вмѣшиваться въ такого рода дѣла. Записку эту я передалъ Краевскому, который хотѣлъ отдать ее Жуковскому.—Мегнисъ былъ правъ. — Но съ какой точки зрѣнія Пушкинъ адресовался къ нему? Съ такого рода просьбами относятся, обыкновенно, только къ самымъ близкимъ людямъ.

Во время нашихъ занятій, на порогѣ дверей кабинета появился высокій, сѣдой лакей.

Онъ, вздыхая и покачивая головою, завелъ съ нами рѣчь:

— Не думалъ я, чтобы мнѣ, старику, пришлось отвозить тѣло Александра Сергѣича! (онъ сопровождалъ А. И. Тургенева). —Я помню, какъ онъ родился, я на рукахъ его нàшивалъ...

И потомъ старикъ разсказалъ намъ нѣкоторыя подробности о томъ, какъ они везли тѣло, въ какомъ мѣстѣ Святогорскаго кладбища погребено оно, и прочее.

Краевскій, кажется, посвятилъ разбору библіотеки Пушкина нѣсколько вечеровъ, но я помогалъ ему только одинъ вечеръ...

Когда испрошено былъ высочайшее разрѣшеніе на продолженіе изданія «Современника» въ пользу дѣтей Пушкина, къ удивленію многихъ, на оберткѣ, между именами издателей, друзей Пушкина: Жуковскаго, князя Вяземскаго, Плетнева, появилось имя *А. А. Краевскаго*. Положимъ, что Жуковскій и Вяземскій или по недосугу, или по лѣни и непривычкѣ

къ дѣлу не стали бы заниматься изданіемъ, что они давали только свои имена для блеска; но развѣ Плетневъ не могъ сладить одинъ съ этимъ изданіемъ?

Но Краевскій въ это время такъ разстилался переду Плетневымъ и ухаживалъ за нимъ, обнаруживалъ такое усердіе и преданность передъ друзьями покойнаго поэта, такъ совался имъ на глаза со своими услугами, что они наконецъ изъ благодарности удостоили его чести принять въ соиздатели.

Краевскій сіялъ въ это время.

Онъ, казалось, даже выросъ... покрайней-мѣрѣ на вершокъ. И немудрено. Напечатать свое темное имя рядомъ съ именами Жуковскаго и Вяземскаго почти все равно, что попасть изъ капраловъ въ генералы.

Андрей Александровичъ дѣйствительно съ-этихъ-поръ началъ походить на литературнаго генерала.

ГЛАВА VI.

Вечера у графа Ѳ. П. Толстова. — Кукольниковская партія. — Вечеръ у Гребенки.—Шевченко. — Сотрудникъ Сенковскаго и М. А. Языковъ.—Серапіоновы литературные вечера во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ.—А. А. Комаровъ, П. В. Анненковъ и капитанъ Клюге фонъ-Клугенау.—Знакомство мое съ Н. А. Майковымъ.—14-лѣтній Аполлонъ Майковъ.—И. А. Гончаровъ и Г. Дудышкинъ.—Кукольникъ въ кругу офицеровъ.—Пріѣзды А. В. Кольцова въ Петербургъ.—Мое сближеніе съ нимъ. — Разговоры о Бѣлинскомъ. — Впечатлѣнія, произведенныя на меня «Литературными мечтаніями» Бѣлинскаго.

Петербургскіе литераторы въ тридцатыхъ годахъ сходились обыкновенно по средамъ и по воскресеньямъ у П. А. Плетнева, по воскресеньямъ же у графа Ѳ. П. Толстова и по субботамъ у князя Одоевскаго. — У Плетнева сбирались только самые короткіе пріятели его (Краевскій былъ въ числѣ ихъ)—и изрѣдка появлялись Пушкинъ, Вяземскій и Соболевскій; о вечерахъ князя Одоевскаго я уже говорилъ; общество графа Ѳ. П. Толстова имѣло свой особенный колоритъ. Оно состояло изъ молодыхъ художниковъ, подававшихъ, по мнѣнію гг. академиковъ, большія надежды, изъ литераторовъ партіи Кукольника и изъ какихъ-то молодыхъ и пожилыхъ люби-

телей литературы и искусствъ, захлебывавшихся при появленіи Брюлова и Кукольника, и, для удовольствія хозяина дома, готовыхъ на все,—даже протанцовать, за неимѣніемъ лучшихъ кавалеровъ (у Толстова часто устраивали танцы). Брюловъ бывалъ на этихъ воскресеньяхъ рѣдко, а Кукольникъ не пропускалъ почти ни одного воскресенья...

Каменскій, кавказскій герой, о которомъ я уже упоминалъ, женился на дочери графа Ѳ. П. Толстова и жилъ въ это время вмѣстѣ съ нимъ. Каменскій устроилъ себѣ очень эффектный кабинетъ съ ярко-пунцовыми занавѣсами и портьерами и съ ярко-пунцовою мебелью. Онъ писалъ въ красныхъ, широкихъ шальварахъ и въ красныхъ туфляхъ, на розовой бумагѣ свои: «Іакова Моле», «Концы міра», «Фультоновъ», «Танцы смерти» и замышлялъ «Игнатія Лойолу». Пріятель Брюлова и Кукольника—творцовъ «Послѣдняго дня Помпеи», «Руки Всевышняго», «Роксоланы» и прочее — не могъ же онъ брать для своихъ сочиненій какіе-нибудь ничтожные предметы изъ вседневной жизни... Кукольникъ преслѣдовалъ мелкое, по его мнѣнію, направленіе литературы, данное Пушкинымъ, все проповѣдывалъ о колоссальныхъ созданіяхъ; онъ полагалъ, что ему по плечу были только героическія личности. Брюловъ писалъ колоссальныя картины. Каменскій все также бредилъ колоссами, и съ ироническою улыбкою поглядывалъ на тѣхъ, которые брали предметомъ для своихъ разсказовъ современную и обыденную жизнь.

Домъ графа Толстова имѣлъ въ это время такъ много привлекательнаго для молодыхъ людей съ артистическими наклонностями, все преувеличивающихъ и все раскрашивающихъ пылкимъ воображеніемъ. Направо—изящный кабинетъ зятя, молодаго литератора, безпрестанно переходившаго отъ чуднаго міра своей фантазіи, отъ своихъ колоссальныхъ героевъ къ очаровательной дѣйствительности — къ своей молодой и прелестной женѣ, которая, наклонившись къ его плечу, улыбалась ему съ безконечною любовью; налѣво—кабинетъ тестя, старца, исполненнаго благодушія, уже знаменитаго артиста, талантъ котораго привѣтствовалъ самъ олимпіецъ Гёте *),

*) Графъ Толстой, послѣ выпуска коллекціи своихъ медалей къ войнѣ 1812-го года, получилъ письмо отъ Гёте, въ которомъ великій германскій поэтъ въ очень лестныхъ фразахъ отзывается о талантѣ русскаго художника.

друга Брюлова и Кукольника, отрывавшагося отъ своего рѣзца и своего карандаша только для того, чтобы любоваться счастіемъ своей дочери, не уступавшей въ красотѣ лучшимъ античнымъ произведеніямъ... Кругомъ ихъ молодежь, исполненная артистическихъ и литературныхъ талантовъ, кипящая надеждами, съ утра до вечера толкующая о святынѣ искусства. Никакихъ претензій, никакого стѣсненія, совершенное равенство, полная свобода для всѣхъ, которые переступали за этотъ счастливый порогъ, почти патріархальная простота, искренность и радушіе хозяевъ дома... Какая заманчивая картина! Кто бы изъ посѣщавшихъ тогда домъ графа Ѳ. П. Толстова могъ подумать, что этотъ прелестный артистическій колоритъ дома и это семейное счастье—только одинъ миражъ?

Къ числу замѣчательныхъ ораторовъ литературно-артистическихъ вечеровъ графа Толстова, за исключеніемъ царившаго на нихъ Кукольника, — принадлежали: зять хозяина дома — жаркій поклонникъ Кукольника, повторявшій съ размахиваніемъ рукъ и съ сверкавшими глазами его фразы о святынѣ искусства, и, тогда еще ученикъ академіи, Рамазановъ, нынѣ извѣстный скульпторъ, рабски преданный Брюлову и также трактовавшій объ искусствѣ очень фразисто и съ тѣмъ внѣшнимъ энтузіазмомъ, который такъ непріятно дѣйствуетъ на слуховые органы. Господа эти ораторствовали, конечно, въ отсутствіе своихъ патроновъ; при нихъ они только изрѣдка вмѣшивались въ разговоръ. Графъ Толстой говорилъ мало; съ скромностью и благодушіемъ онъ только слушалъ другихъ, соглашался со всѣми и всѣмъ привѣтливо улыбался. Кукольникъ обращался съ нимъ почтительно и осыпалъ его преувеличенными похвалами, отзывавшимися лестью.

У графа Толстова есть довольно большой альбомъ рисунковъ для сочиненнаго имъ балета и очерки къ «Душенькѣ» Богдановича.

Кукольникъ говорилъ, что это геніальныя вещи, что трудно создать что-нибудь поэтичнѣе и выше, что очерки къ Данту препрославленнаго въ Европѣ Ретиса — дрянь, сравнительно съ очерками Толстова къ «Душенькѣ», и тому подобное.

Гости Толстова почти всѣ были такого же мнѣнія о трудахъ почтеннаго хозяина.

Каменскій благоговѣлъ передъ талантомъ своего тестя.

— У насъ ничего не понимаютъ въ дѣлѣ искусства, кричалъ онъ съ негодованіемъ.

— Какое-то отвратительное, постыдное равнодушіе во всѣхъ: — кто, напримѣръ, цѣнитъ этого геніальнаго старика? (Онъ указывалъ головою на Толстова). Будь онъ англичанинъ или французъ, его осыпали бы золотомъ съ ногъ до головы, — а здѣсь всѣ его труды пропадаютъ, не принося ему ни гроша... Это просто срамъ! Будь у насъ умный, сколько-нибудь понимающій въ искусствѣ директоръ театровъ, да онъ ухватился бы какъ за кладъ за рисунки графа для балета. Дай ему поставить этотъ балетъ на сцену—онъ принесетъ дирекціи сотни тысячъ!

Графъ Толстой, въ свою очередь, упрекалъ публику въ равнодушіи къ отечественной литературѣ, потому-что сочиненія Каменскаго начали плохо сбываться и не производили уже никакого впечатлѣнія къ удивленію Владиславлева, который смотрѣлъ на Каменскаго, какъ на одну изъ надеждъ русской литературы и на поддержку своей «Утренней Зари».

Я часто бывалъ на вечерахъ Толстова. Радушіе хозяевъ, простота и безцеремонность, царствовавшія на этихъ вечерахъ — вначалѣ очень нравились мнѣ. Любители бильярда цѣлый вечеръ не выходили изъ кабинета графа, въ которомъ стоялъ большой бильярдъ. Тутъ постоянно можно было найти что-то такое сдѣлавшаго съ байроновымъ «Донъ-Жуаномъ» — г-на Любича-Романовича, съ Анной на шеѣ и съ постоянно-пріятною для всѣхъ улыбкою. При появленіи всякаго входившаго въ кабинетъ, г. Любичъ отскакивалъ отъ бильярда, обязательно протягивалъ ему свою руку и крѣпко жалъ ее. Въ залѣ собирались любители танцевъ и составлялись кадрили. Самъ хозяинъ дома и братъ его графъ К. П. Толстой—превеселый старичокъ — подавали въ этомъ примѣръ молодежи. Графъ Ѳ. П. Толстой тщательно выдѣлывалъ фигуры кадрили въ своемъ обыкновенномъ домашнемъ костюмѣ: въ бархатной курткѣ, въ вышитыхъ туфляхъ и въ шерстяныхъ чулкахъ. Въ кабинетѣ у Каменскаго шли горячіе толки о литературѣ и вообще объ изящныхъ искусствахъ. Онъ передавалъ планы замышляемыхъ имъ твореній, или разсказывалъ о томъ, что созидаетъ Кукольникъ, что замышляетъ Брюловъ, какую они

выпивку задали наканунѣ, и прочее. Всякій могъ свободно удовлетворить своимъ наклонностямъ: играть въ бильярдъ, танцовать, ораторствовать о святынѣ искусства, или выслушивать планы повѣстей Каменскаго. Марья Ѳедоровна Каменская была одушевительницею и царицею этихъ вечеровъ, которые оканчивались скромными, обыкновенными домашними ужинами съ простымъ, столовымъ медомъ.

Графъ Ѳ. П. Толстой велъ жизнь чрезвычайно скромную; ни въ немъ самомъ, ни въ его домѣ не было и тѣни какихъ-нибудь аристократическихъ привычекъ и замашекъ. Онъ рѣдко выходилъ изъ дому и всегда почти сидѣлъ съ карандашомъ или съ рѣзцомъ въ своемъ кабинетѣ.

Онъ принадлежалъ къ артистамъ стараго поколѣнія. Новое поколѣніе артистовъ, развивавшееся подъ вліяніемъ Брюлова—человѣка съ дикими и неудержимыми страстями, пустилось въ эффекты, во фразы: кричало о величіи артиста, о святынѣ искусства, отпускало бородки и бороды, волосы до плечъ и облекалось въ какіе-то эксцентрическіе костюмы для отличія себя отъ простыхъ смертныхъ, и, въ довершеніе всего, по примѣру своего учителя, разнуздывало свои страсти и пило мертвую.

По мнѣнію тогдашнихъ молодыхъ артистовъ, къ нимъ нельзя было прилагать ту узкую и пошлую мѣрку, которая прилагается обыкновенно ко всѣмъ обыкновеннымъ людямъ. Артистъ, какъ существо исключительное, высшее, могъ безнаказанно вырывать серьги изъ ушей жены своей вмѣстѣ съ тѣломъ, предаваться самому грязному разврату и пьянству. Обвинять его въ безнравственности могли только пошлые, разсудочные люди съ мелкими потребностями, непонимающіе широкихъ титаническихъ натуръ артистовъ и ихъ волканическихъ страстей.

Это безумное возвеличеніе самого себя въ качествѣ живописца, скульптора, музыканта, литератора, ученаго; это отдѣленіе себя отъ остальныхъ людей, которые получаютъ презрительное названіе *толпы*, или *черни;* это обожествленіе своего ума, своихъ знаній или своего таланта; это самопоставленіе себя на пьедесталъ—самое смѣшное и вмѣстѣ съ тѣмъ печальное явленіе. Въ Европѣ оно ведетъ къ доктри-

нерству, у насъ просто — къ пьянству; оттого всѣ наши широкія артистическія натуры кончаютъ тѣмъ, что спиваются.

Кромѣ положенныхъ еженедѣльныхъ артистически-литературныхъ, великосвѣтско-литературныхъ и просто-литературныхъ вечеровъ, литераторы изрѣдка сходились другъ у друга и дѣлали вечера. Самымъ гостепріимнымъ изъ литераторовъ того времени былъ Е. П. Гребенка, постоянно сзывавшій къ себѣ своихъ литературныхъ пріятелей, при полученіи изъ Малороссіи сала, варенья или наливокъ. Гребенка въ это время былъ еще холостой, жилъ на Петербургской сторонѣ въ казенной квартирѣ 2-го кадетскаго корпуса, гдѣ онъ былъ учителемъ.

Однажды онъ пригласилъ меня къ себѣ вмѣстѣ съ моимъ другомъ М. А. Языковымъ, который пользовался уже тогда большою извѣстностью между всѣми литераторами, съ которыми я былъ близокъ, какъ пріятный и веселый собесѣдникъ, острякъ и каламбуристъ. Многіе принимали Языкова за литератора и сотрудника Краевскаго.

— Вы чѣмъ именно занимаетесь? спрашивали его:—какая ваша спеціальность?

— Да такъ, отвѣчалъ, обыкновенно улыбаясь, Языковъ:— больше *по смѣсямъ* прохаживаюсь.

Въ этотъ разъ у Гребенки сошлось многочисленное общество и между прочими Шевченко, который начиналъ уже пользоваться большою популярностью между своими соотечественниками; товарищи Гребенки по службѣ—А. А. Комаровъ и Прокоповичъ, товарищъ Гоголя по Нѣжинскому лицею и пріятель его. Прокоповичъ и Комаровъ оба очень любили литературу и писывали стишки. Съ Комаровымъ я былъ знакомъ съ дѣтства, и впослѣдствіи, по пріѣздѣ въ Петербургъ Бѣлинскаго, сблизился съ нимъ еще болѣе. О Комаровѣ и о вліяніи на него Бѣлинскаго я еще буду имѣть случай говорить впослѣдствіи. На вечерѣ у Гребенки некому было проповѣдывать ни о святынѣ искусства, ни о какихъ возвышенныхъ предметахъ; такъ просто болтали о вседневныхъ и литературныхъ новостяхъ и приключеніяхъ.

Въ началѣ вечера Гребенка познакомилъ меня съ какимъ-то господиномъ, бывшимъ въ это время (это было чуть ли не въ 1837 году) однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ

«Библіотеки для Чтенія». Фамилію этого господина я не припомню. Онъ имѣлъ очень почтенный и глубокомысленный видъ и, вмѣсто бѣлья, шерстяную красную фуфайку, которая виднѣлась изъ-подъ галстука и высовывалась изъ-за рукавовъ.

Языковъ обращалъ на себя всеобщее вниманіе своими забавными разсказами и многихъ смѣшилъ до упада...

За ужиномъ ему пришлось сидѣть рядомъ съ сотрудникомъ «Библіотеки для Чтенія» въ шерстяной фуфайкѣ. Сотрудникъ изъявлялъ не только величайшее уваженіе къ Языкову, но обнаруживалъ передъ нимъ какую-то робость, какъ передъ авторитетомъ.

— Позвольте спросить, отнесся онъ къ Языкову: — я имѣю честь говорить съ нашимъ знаменитымъ поэтомъ Николаемъ Михайловичемъ Языковымъ?

— Такъ точно, отвѣчалъ Языковъ, скромно потупя глаза и нимало не задумавшись.

— Очень лестно и пріятно познакомиться, сказалъ сотрудникъ, протягивая ему свою руку.

Языковъ, нисколько не смущаясь, пожалъ ее.

— Не подарите ли вы насъ какимъ-либо новымъ произведеніемъ? продолжалъ сотрудникъ.

— Да, у меня есть много набросаннаго, отвѣчалъ Языковъ съ чувствомъ достоинства: — но все это надо привести въ порядокъ. Я все собираюсь, и все откладываю.

Этотъ разговоръ былъ подслушанъ многими, и къ Языкову стали обращаться съ разными вопросами, какъ къ поэту, его однофамильцу. Языковъ выдерживалъ свою роль довольно удачно. Нѣкоторые смѣшливые выскочили изъ-за стола...

Сотрудникъ «Библіотеки для Чтенія», послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, крякнулъ и снова отнесся къ Языкову:

— Смѣю ли обратиться къ вамъ, Николай Михайловичъ, началъ онъ: — съ покорнѣйшею просьбою. Я сотрудникъ «Библіотеки для Чтенія», и еслибы вы удостоили украсить нашъ журналъ какимъ-либо, хотя небольшимъ произведеніемъ, вы сдѣлали бы истинное удовольствіе Осипу Ивановичу Сенковскому, глубоко уважающему вашъ талантъ.

Языковъ наклонилъ голову, въ знакъ благодарности за лестное мнѣніе о немъ Сенковскаго, и отвѣчалъ, что въ

настоящую минуту онъ ничего обѣщать не можетъ, но что современемъ, можетъ-быть, когда что-нибудь обработаетъ, и такъ далѣе...

— И самая надежда на полученіе отъ васъ чего-нибудь будетъ льстить намъ, отвѣчалъ сотрудникъ.

Въ эту минуту многіе не выдержали и покатились со смѣху; но ужинъ кончился, и громъ отодвигаемыхъ стульевъ заглушилъ этотъ смѣхъ.

Гдѣ теперь этотъ сотрудникъ? Вспоминаетъ ли онъ о своей встрѣчѣ съ знаменитымъ поэтомъ Языковымъ? И кто знаетъ, можетъ-быть въ какомъ-нибудь повременномъ изданіи появится его статейка, подъ названіемъ: «Воспоминаніе о поэтѣ Языковѣ». Вотъ будетъ кладъ-то для нашихъ почтенныхъ библіографовъ и для г. Геннади, такъ неудачно редактировавшаго послѣднее изданіе Пушкина и заставившаго воскликнуть Соболевскаго:

„О, жертва бѣдная двухъ адовыхъ исчадій,
Тебя убилъ Дантесъ и издаетъ Геннадій!“

Послѣ ужина всѣ оживились еще болѣе. Гребенка началъ напѣвать малороссійскія пѣсни, а Шевченко подплясывалъ подъ свои родные звуки.

Въ описываемое мною время, кромѣ литературныхъ собраній, о которыхъ я говорилъ, были еще извѣстныя немногимъ литературныя небольшія сходки любителей литературы, еще не рѣшавшихся печататься и, такъ-сказать, домашнимъ образомъ занимавшихся литературой. Къ такимъ собраніямъ принадлежали вечера въ квартирахъ у А. А. Комарова и кадетскаго капитана Клюге фонъ-Клугенау. Они назывались *серапіоновскими вечерами* (Гофманъ у насъ былъ тогда въ большомъ ходу). На этихъ вечерахъ серапіоны читали по очереди свои сочиненія. Къ числу серапіоновъ принадлежалъ и П. В. Анненковъ, пробовавшій тогда свои литературныя силы и впослѣдствіи получившій въ литературѣ извѣстность не столько какъ повѣствователь и литературный критикъ, сколько какъ другъ И. С. Тургенева.

Въ домѣ у Николая Аполлоновича Майкова, бросившаго мечъ для кисти и палитры, сходились также, еще тогда темные, любители искусствъ и литературы, изъ которыхъ нѣко-

торыхъ ожидала громкая литературная извѣстность. Тринадцати или четырнадцатилѣтній сынъ Майкова, Аполлонъ, обнаруживалъ уже тогда значительный литературный талантъ. Изъ его стихотвореній, изъ опытовъ брата его Валеріана и изъ трудовъ друзей дома Майкова и любителей литературы, между прочимъ И. А. Гончарова,—составлялись цѣлыя книжки, которыя отлично переписывались, переплетались и показывались гостямъ Майкова.

И. А. Гончаровъ, безъ сомнѣнія, много способствовалъ развитію эстетическаго вкуса въ Аполлонѣ Майковѣ. Если я не ошибаюсь, въ числу сотрудниковъ майковскаго рукописнаго альманаха, кажется, принадлежалъ и Дудышкинъ, нынѣ (1861 г.) соиздатель Краевскаго по «Отечественнымъ Запискамъ».

Я усердно посѣщалъ всѣ литературные вечера и сборища, которые уже начинали прискучивать мнѣ. Сходясь съ литераторами, я думалъ, что я неберусь между ними страшной премудрости. Ожиданія мои были обмануты. Я убѣдился только въ томъ, что для сохраненія иллюзій о какомъ бы то ни было предметѣ, надо любоваться имъ издалека, и что за литературными кулисами также не хорошо, какъ и за театральными. Я уже смотрѣлъ на литераторовъ какъ на обыкновенныхъ смертныхъ, и совсѣмъ пересталъ трепетать передъ литературными авторитетами. На Кукольника я даже началъ посматривать нѣсколько съ юмористической точки зрѣнія. Онъ въ это время сталъ безпрестанно появляться въ различныхъ *кафе* и ресторанахъ, окружаемый толпами любознательныхъ офицеровъ различныхъ полковъ.

Разъ вечеромъ я засталъ его у Доминика предсѣдательствовавшимъ за круглымъ столомъ, за которымъ сидѣли разные офицеры. Передъ поэтомъ стояла бутылка пива и бутылка портера. Онъ мѣшалъ пиво съ портеромъ и ораторствовалъ.

Въ это время онъ былъ проникнутъ любовью — конечно идеальною — къ одной значительной дамѣ (объ этомъ онъ намекалъ) и писалъ свою поэму «Марію Стюартъ». Вѣроятно въ Маріи Стюартъ онъ изображалъ ее, а въ Риччіо— самого себя, хотя уже онъ вовсе не походилъ на Риччіо: онъ значительно постарѣлъ, обрюзгъ, и лицо его приняло непріятный отекъ.

Онъ разсказывалъ офицерамъ о своемъ идеалѣ:

— Она ходитъ по Лѣтнему саду, говорилъ онъ восторженнымъ тономъ: — вдоль и поперегъ, и я хожу вдоль и поперегъ. Что ни взглядъ — то стихотвореніе. Двѣнадцать стихотвореній въ одно утро вынесъ.

И поэтъ вслѣдъ затѣмъ выпилъ стаканъ пива и остановился.

Одинъ изъ офицеровъ толкнулъ другаго и произнесъ въ благоговѣйномъ изумленіи:

— Слышишь ли—двѣнадцать въ одно утро!

— А-а-а! воскликнулъ Кукольникъ, глядя на меня, щурясь и прикладывая руку къ бровямъ: — это ты! Я сначала и не узналъ тебя, — мы съ тобой теперь видимся рѣдко. Ты — Краевскій...

Кукольникъ произнесъ послѣднія слова такимъ тономъ, какъ бы хотѣлъ сказать: «Ты пропащій человѣкъ!» и махнулъ рукой.

Я говорилъ уже, что съ Краевскимъ онъ никакъ не могъ сойтись. Краевскій не признавалъ въ немъ таланта, во-первыхъ потому, что Сенковскій, Гречъ и Булгаринъ кричали о его геніи, а во-вторыхъ потому, что вся пушкинская партія была очень равнодушна къ поэзіи творца «Руки», «Роксоланы» и прочаго.

Въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» появлялись о Кукольникѣ неблагосклонные отзывы. Онъ зналъ, что я принимаю участіе въ газетѣ ему враждебной—и вотъ что означало восклицаніе: «ты—Краевскій!»

— Ну, садись съ нами! продолжалъ Кукольникъ:—я еще, по старой памяти, все люблю тебя. Здѣсь ты видишь все людей, горячо любящихъ искусство (онъ указалъ на офицеровъ), и тѣхъ, которые ему служатъ вѣрою и правдою. Оттого они и Кукольника любятъ—и потомъ онъ прибавилъ, улыбнувшись:

— А твой Краевскій ничего не понимаетъ.

Кукольникъ говорилъ безъ умолку, но не совсѣмъ связно. Офицеры слушали его съ тѣмъ простодушнымъ благоговѣніемъ, съ которымъ я нѣкогда слушалъ его. Они переглядывались другъ съ другомъ и, кажется, впивали въ себя каждое его слово.

Я помню только, что къ концу ужина онъ завелъ рѣчь

о Шекспирѣ, замѣтивъ, что у него на Шекспира свое оригинальное воззрѣніе, какъ и на все; что Шекспиръ—геній и Шекспиръ—дрянь, и что онъ умѣетъ соединить эти, повидимому, двѣ несоединимыя вещи...

Фразы «о святынѣ искусства» хотя еще не совсѣмъ огадились мнѣ, но съ каждымъ днемъ уже теряли для меня значеніе и дѣлались приторными; литературные авторитеты теряли свое prestige. Я началъ притомъ смутно понимать, что въ литературѣ господствуютъ устарѣлые взгляды и рабское поклоненіе передъ старинными литературными кумирами, какое-то пошлое лицемѣріе передъ ними. Мнѣ хотѣлось чего-нибудь новаго,—чего собственно я хорошенько не понималъ, правды—какой правды? я тоже не отдавалъ себѣ отчета. Но это неопредѣленное желаніе начало пробуждаться во мнѣ послѣ двухъ или трехлѣтняго пребыванія моего въ литературномъ кругу, еще до изданія Краевскимъ «Литературныхъ Прибавленій». Отъ кого же было услышать это новое слово, эту желанную правду? Полевой, на котораго еще съ ожиданіемъ и надеждою смотрѣло новое поколѣніе, видимо ослабѣвалъ: онъ не понялъ Гоголя, и встрѣтилъ этотъ могучій талантъ даже съ недоброжелательствомъ, да и Полевой принужденъ былъ скоро замолкнуть...

Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашелъ въ кондитерскую Вольфа, въ которой получались всѣ русскія газеты и журналы. Я подошелъ къ столу, на которомъ они были разложены, и мнѣ прежде всего попался на глаза послѣдній нумеръ «Молвы». Въ этомъ нумерѣ было продолженіе статьи, подъ заглавіемъ: «Литературныя Мечтанія—Элегія въ прозѣ». Это оригинальное названіе заинтересовало меня: я взялъ нѣсколько предшествовавшихъ нумеровъ и принялся читать.

Начало этой статьи привело меня въ такой восторгъ, что я охотно бы тотчасъ поскакалъ въ Москву, если бы это было можно, познакомиться съ авторомъ ея и прочесть поскорѣе ея продолженіе.

Новый, смѣлый, свѣжій духъ ея такъ и охватилъ меня.

«Не оно ли», подумалъ я,—«это новое слово, котораго я жаждалъ, не это ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать?»

Я выбѣжалъ изъ кондитерской, сѣлъ на перваго попавшагося мнѣ извощикъ и отправился къ Языкову.

Я вбѣжалъ къ нему и закричалъ:

— Ну, братъ, у насъ появился такой критикъ, передъ которымъ Полевой—ничто. Я сейчасъ только пробѣжалъ начало его статьи—это чудо, чудо!...

— Неужто? возразилъ Языковъ:—да кто такой? Гдѣ напечатана эта статья?...

Я перевелъ духъ, бросился на диванъ и, немного успокоясь, разсказалъ ему, въ чемъ дѣло.

Мы съ Языковымъ, какъ люди, всѣмъ дѣтски увлекавшіеся, тотчасъ же отправились въ книжную лавку, достали нумера «Молвы», и я прочелъ ему начало статьи Бѣлинскаго.

Языковъ пришелъ въ такой же восторгъ, какъ я, и впослѣдствіи, когда мы прочли всю статью, имя Бѣлинскаго уже стало дорого намъ.

Какъ ничтожны и жалки казались мнѣ, послѣ этой горячей и смѣлой статьи, пошлыя, рутинныя критическія статейки о литературѣ, появлявшіяся въ московскихъ и петербургскихъ журналахъ!

Въ статьѣ Бѣлинскаго, я это очень хорошо помню, я останавливался въ особенности на слѣдующихъ строкахъ:

«У насъ еще и по сію пору царствуетъ въ литературѣ какое-то жалкое *дѣтское* благоговѣніе къ авторитетамъ: мы и въ литературѣ высоко чтимъ табель о рангахъ и *боимся говорить вслухъ правду о высокихъ персонахъ*. Говоря о знаменитомъ писателѣ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: *сказать о немъ рѣзкую правду, у насъ святотатство!*» (Соч. Бѣлин. Томъ I, стр. 38).

«Знаете ли, что̀ наиболѣе вредило, вредитъ и, какъ кажется, еще *долго будетъ вредить* (какія пророческія слова!) распространенію на Руси основательныхъ понятій о литературѣ?... Литературное идолопоклонство! Дѣти, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленнымъ богамъ нашего многолюднаго Олимпа, и нимало не заботимся о томъ, чтобы сиравляться почаще съ метриками, дабы узнать, точно ли небеснаго происхожденія предметы нашего обожанія. Что дѣ-

лать! Слѣпой фанатизмъ всегда бываетъ удѣломъ младенчествующихъ обществъ» (стр. 57).

Эти строки были мнѣ особенно по сердцу, потому-что послѣ моего дѣтскаго увлеченія Кукольникомъ, послѣ смѣшнаго и рабскаго преклоненія предъ нимъ, какъ передъ авторитетомъ, я чувствовалъ озлобленіе противъ всѣхъ авторитетовъ, даже противъ моего кумира Марлинскаго. Я съ какимъ-то наслажденіемъ любовался, какъ Бѣлинскій безпощадно разбивалъ его.

И какъ понятна ненависть, которую питали къ Бѣлинскому тогдашнія литературныя знаменитости и посредственности, лицемѣрившія передъ старыми авторитетами изъ боязни за самихъ себя, за собственную литературную участь.

«Чего остается ожидать для себя, — говорилъ Бѣлинскій, — напримѣръ, г. Иванчину-Писареву, г. Воейкову, или кн. Шаликову, когда они слышатъ, что Карамзинъ не художникъ, не геній и другія подобныя безбожныя мнѣнія?» (стр. 58).

Это же самое явленіе повторяется, къ сожалѣнію, и въ наши дни. Осмѣльтесь сказать, что Пушкинъ не міровой геній, что его время уже проходитъ, что онъ не можетъ удовлетворять потребностямъ новаго поколѣнія, — литературныя знаменитости нашего времени возстанутъ на васъ съ такимъ же ожесточеніемъ, съ какимъ нѣкогда возставали противъ Бѣлинскаго литературныя знаменитости его времени; и теперь раздадутся тѣ же крики, и васъ станутъ обвинять въ невѣжествѣ, въ безвкусіи, въ безбожіи, въ святотатствѣ, какъ нѣкогда обвиняли Бѣлинскаго.

Но объ этомъ лучше молчать.

Гоголь встрѣченъ былъ молодымъ поколѣніемъ съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ Бѣлинскій.

Новый міръ открылся для меня, когда я прочелъ «Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча» и «Миргородъ». Его «Вечера на Хуторѣ», привѣтствованные Пушкинымъ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» Воейкова, признаюсь, не произвели на меня большаго впечатлѣнія... но о Гоголѣ и о переворотѣ, который онъ произвелъ въ литературѣ, мнѣ еще придется говорить много разъ.

Послѣ «Литературныхъ Мечтаній» и статьи о Бенедик-

ловѣ, которая надѣлала большаго шума, я уже не пропускалъ ни одной статейки Бѣлинскаго.

О личности Бѣлинскаго начали носиться между петербургскими литераторами какіе-то сбивчивые, противорѣчивые и неблагопріятные слухи. Его смѣлость и рѣзкость дѣйствовали непріятно на литераторовъ. Они видѣли, что на нихъ идетъ нешуточная гроза. Мнѣ ужасно хотѣлось узнать, что за человѣкъ Бѣлинскій, и я очень обрадовался, узнавъ о пріѣздѣ въ Петербургъ А. В. Кольцова. Я зналъ, что Кольцовъ близокъ съ Бѣлинскимъ. Кольцовъ пріѣхалъ въ Петербургъ уже послѣ напечатанія въ «Телескопѣ» моей повѣсти «Она будетъ счастлива». Краткій отзывъ Бѣлинскаго объ этой повѣсти польстилъ въ высшей степени моему самолюбію. Быть замѣченнымъ въ литературѣ въ первый разъ — и кѣмъ же еще, этимъ неумолимымъ и безпощаднымъ Бѣлинскимъ! Такой чести я ужъ никакъ не ждалъ. Говоря, что съ нѣкотораго времени его великодушные непріятели приписываютъ ему всѣ значительныя статьи въ «Телескопѣ», Бѣлинскій прибавлялъ, что ему между-прочимъ приписана повѣсть «Она будетъ счастлива», «обнаруживающая въ неизвѣстномъ авторѣ неподдѣльный талантъ, живое чувство и умѣнье владѣть языкомъ...» (Соч. Бѣлин. Т. I, стр. 271).

Я хотѣлъ отправиться отыскивать Кольцова, но въ одно утро, очень скоро послѣ своего пріѣзда, онъ явился ко мнѣ самъ. Портретъ Кольцова, приложенный къ его сочиненіямъ, очень вѣрно передаетъ его черты; художникъ не умѣлъ только схватить тонкаго и умнаго выраженія глазъ его. Кольцовъ былъ небольшаго роста и казался довольно крѣпкаго сложенія. Одѣтъ онъ былъ даже съ нѣкоторою претензіею на щегольство: на манишкѣ его сверкали пуговицы съ камешками, сверхъ жилета красовалась цѣпь отъ часовъ, онъ былъ напомаженъ и даже раздушенъ. Впослѣдствіи за эти духи ему жестоко доставалось отъ Бѣлинскаго. «Охота вамъ прыскаться и душиться какою-то гадостью, — говорилъ онъ, — отъ васъ какимъ-то бергамотомъ или гвоздичкой нахнетъ. Это нехорошо. Если мнѣ не вѣрите — спросите у него (и Бѣлинскій указывалъ на меня), онъ франтъ, онъ ужъ, батюшка, авторитетъ въ этомъ дѣлѣ».

Разговоръ мой съ Кольцовымъ начался прямо съ Бѣлин-

скаго. Онъ привезъ мнѣ поклонъ отъ него. Кольцовъ, человѣкъ проницательный и осторожный, умѣвшій, какъ я узналъ впослѣдствіи, сдерживать себя и таившій передъ петербургскими литераторами свои убѣжденія, замѣтивъ мой энтузіазмъ къ Бѣлинскому, заговорилъ со мною довольно откровенно.

— Да-съ, Иванъ Иванычъ, Бѣлинскій единственный человѣкъ у насъ въ настоящее время, владѣющій эстетическимъ вкусомъ и понимающій искусство. Его немногіе цѣнятъ, особенно изъ вашихъ петербургскихъ литераторовъ, — это очень жаль-съ. И какой свѣтлый умъ у этого человѣка! Какое горячее, благородное сердце! Я обязанъ всѣмъ-съ ему; онъ меня поставилъ на настоящую мою дорогу; безъ его совѣтовъ я не рѣшаюсь теперь печатать моихъ мараній: онъ мнѣ говоритъ всегда, что̀ нужно выкинуть, что̀ исправить, что̀ вовсе бросить. Ужъ онъ такъ добръ ко мнѣ, такое участіе принимаетъ во мнѣ!

Кольцовъ разсказалъ мнѣ нѣкоторыя подробности о жизни Бѣлинскаго. Онъ былъ въ восторгѣ отъ московскаго кружка Бѣлинскаго и говорилъ:

— Пріѣзжайте въ Москву-съ. Вы увидите, тамъ люди больше по васъ, и Бѣлинскій будетъ очень радъ вамъ. Онъ заочно полюбилъ васъ.

До знакомства моего съ Бѣлинскимъ, Кольцовъ пріѣзжалъ раза два или три въ Петербургъ, и въ одинъ изъ пріѣздовъ привезъ мнѣ первое письмо отъ Бѣлинскаго.

Кольцовъ считалъ долгомъ дѣлать визиты ко всѣмъ литераторамъ, изъ которыхъ многіе посматривали на него съ высоты своего величія, съ покровительствомъ, какъ на талантливаго мужичка.

Но этотъ мужичокъ, усвоившій себѣ кое-какія изъ убѣжденій и взглядовъ московскаго кружка Бѣлинскаго и прочитавшій всѣ пьесы Шекспира въ русскомъ переводѣ (Шекспиръ произвелъ на него глубокое впечатлѣніе; онъ говорилъ о немъ съ энтузіазмомъ, особенно о «Гамлетѣ», котораго, по его словамъ, объяснилъ ему еще болѣе Мочаловъ на сценѣ), этотъ необразованный мужичокъ понималъ гораздо болѣе и смотрѣлъ на литературу гораздо глубже многихъ изъ такъ-называемыхъ образованныхъ литераторовъ и своихъ покровителей. Съ каждымъ пріѣздомъ своимъ онъ становился

со мною откровеннѣе. Онъ передавалъ мнѣ впечатлѣнія, которыя производили на него разные петербургскіе литераторы и литературныя знаменитости, и характеризовалъ каждаго изъ нихъ. Эти характеристики были исполнены ума, тонкости и наблюдательности; я былъ пораженъ, выслушивая ихъ.

— Эти господа, прибавилъ Кольцовъ въ заключеніе, съ лукавою улыбкою:—несмотря на ихъ внимательность ко мнѣ и ласки, за которыя я имъ очень благодаренъ, смотрятъ на меня, какъ на совершеннаго невѣжду, ничего несмыслящаго, и презабавно хвастаютъ передо мной своими знаньями, хотятъ пустить пыль мнѣ въ глаза. Я слушаю ихъ разиня ротъ, и они остаются мною очень довольными, а между-тѣмъ я вѣдь ихъ вижу насквозь-съ.

— Ну, Алексѣй Васильичъ, сказалъ я ему: — вѣдь и я, грѣшный человѣкъ, посматривалъ на васъ тоже немножко свысока. Простите меня.

Кольцовъ улыбнулся.

— Да вѣдь на меня, Иванъ Иванычъ, возразилъ онъ:— человѣка необразованнаго, иначе и не могутъ смотрѣть образованные люди: я это очень хорошо понимаю; но вы вѣдь меня не принимаете за дурачка, а они на меня совсѣмъ какъ на дурачка смотрятъ: вотъ хоть бы Евгеній Павлычъ Гребенка... А вѣдь я не глупѣе же его. Впрочемъ, я это такъ только замѣтилъ: всѣ здѣшніе литераторы и Евгеній Павлычъ — люди очень добрые и почтенные... Вотъ хоть бы князь Одоевскій, онъ такой привѣтливый, ужъ онъ такъ меня обласкалъ, а впрочемъ московскій кружокъ — то-есть я разумѣю именно кружокъ Бѣлинскаго — все-таки нельзя сравнить съ здѣшними: вотъ вы поѣдете въ Москву, сами убѣдитесь въ этомъ. Я откровенно вамъ скажу, только и отдыхаю тамъ отъ разныхъ своихъ заботъ и непріятностей... У этихъ людей есть чему поучиться.

Почти всякій свой пріѣздъ въ Петербургъ Кольцовъ созывалъ къ себѣ литераторовъ на угощеніе, и между-прочимъ потчивалъ ихъ какой-то соленой рыбой, которую онъ привозилъ изъ Воронежа.

Но я узналъ еще ближе Кольцова впослѣдствіи, когда переѣхалъ въ Петербургъ Бѣлинскій.

ГЛАВА VII.

Запрещеніе «Телескопа». — «Библіотека для чтенія», Сенковскій и геніи имъ созданные.—Возвращеніе больнаго Надеждина изъ Усть-Сысольска.—Мое сближеніе съ нимъ.—Надеждинъ, какъ собесѣдникъ.—Отвѣтъ Надеждина на вопросъ: почему теперь нѣтъ хорошихъ стиховъ? — Отношенія Надеждина къ разнымъ издателямъ.—Два слова о Н. И. Гречѣ. — Гоголь у Прокоповича.—Башуцкій и его вечера.—Приготовленія къ изданію «Отечественныхъ Записокъ».—Разговоръ мой съ Краевскимъ по этому поводу.—Объявленіе объ изданіи «Отечественныхъ Записокъ».

Причина внезапнаго конца «Телескопа», который начиналъ пріобрѣтать еще болѣе значенія съ появленія въ немъ Бѣлинскаго, извѣстна всѣмъ. Прекращеніе этого журнала надѣлало большаго шуму, возбудило различные толки и заставило прочесть статью Чаадаева — виновницу прекращенія — даже тѣхъ, которые отъ роду не читали такихъ серьезныхъ статей. Того нумера «Телескопа», въ которомъ она появилась, скоро достать уже было невозможно: его расхватали, и статья Чаадаева стала расходиться во множествѣ рукописныхъ экземпляровъ. Кажется, всѣ строгія, запретительныя мѣры относительно литературы — никогда не дѣйствовали во вредъ ей. Запрещеніе журнала все еще возбуждало въ публикѣ сочувствіе и участіе къ журналисту, подвергшемуся опалѣ; а статья, вслѣдствіе которой запрещался журналъ, пріобрѣтала популярность не только между всѣми грамотными и читающими людьми, но даже и между полуграмотными, которые придавали ей Богъ-знаетъ какія невѣжественныя толкованія. «Телескопъ» не долго пережилъ «Телеграфъ». Издатель «Телескопа» возбуждалъ большой энтузіазмъ между московскою университетскою молодежью своими лекціями. Объ его удивительномъ дарѣ слова и многообразныхъ свѣдѣніяхъ доходили слухи и до Петербурга; но его критическія статьи въ «Телескопѣ», подъ псевдонимомъ Недоумки, несмотря не много дѣльнаго, высказавшагося въ нихъ, не нравились въ Петербургѣ по своему тону, отзывавшемуся нѣсколько бурсою.

Какъ бы то ни было, «Телеграфъ» и «Телескопъ» были любимыми журналами петербургской читающей молодежи. Несмотря на свой огромный успѣхъ и блестящія имена на

оберткѣ, «Библіотека для Чтенія» не пользовалась никакимъ кредитомъ между молодежью и тѣми литераторами, которые смотрѣли на литературу серьезно. Бѣлинскій справедливо замѣчалъ о ней: «Библіотека» журналъ провинціальный: вотъ причина ея силы» (см. Соч. Бѣлинскаго, томъ 2, стр. 21). Направленіе, заключавшееся въ томъ только, чтобы во что бы то ни стало забавлять и подшучивать надо всѣмъ безъ разбора, производство Кукольника въ Гёте, неудачная попытка своихъ домашнихъ журнальныхъ прислужниковъ, въ родѣ г. Тимофѣева, производить въ рангъ замѣчательныхъ талантовъ, вообще всѣ мистификаціи и шуточки Сенковскаго оскорбляли всѣхъ, имѣвшихъ уваженіе къ отечественной литературѣ.

Съ Сенковскимъ я познакомился уже незадолго до его смерти. Въ это время онъ былъ уже разслабленъ нравственно и физически, и понисывалъ фельетоны въ «Весельчакъ» и «Сынъ Отечества» Старчевскаго. Дѣла Сенковскаго были въ это время разстроены; отъ прежней роскоши, съ которою онъ, говорятъ, жилъ, не оставалось почти и слѣда... Сенковскій умеръ во-время. Если бы онъ прожилъ еще нѣсколько лѣтъ, ему пришлось бы играть печальную роль при Старчевскомъ. Изъ самовластнаго начальника онъ превратился бы въ подчиненнаго и даже можетъ-быть принужденъ бы былъ пользоваться благодѣяніемъ того, кому онъ нѣкогда самъ благодѣтельствовалъ. Еще лучше было бы умереть Сенковскому нѣсколькими годами ранѣе: тогда бы онъ не пережилъ своей громкой извѣстности.

Съ Тимофѣевымъ я встрѣчался нѣсколько разъ. О немъ ходили странные слухи: живя на дачѣ въ Парголовѣ одно лѣто, онъ вырылъ, говорятъ, какую-то пещеру и въ ней читалъ и писалъ, возбуждая къ себѣ любопытство дачницъ, которыя прозвали его парголовскимъ пустынникомъ. Тимофѣевъ былъ высокъ ростомъ, красивъ и немного туповатъ на видъ. Онъ говорилъ неестественно тихо и какъ-то вдохновенно закатывалъ глаза подъ-лобъ. Онъ не въ шутку вообразилъ, что онъ поэтъ, добродушно повѣривъ мистификаціи Сенковскаго. Болѣе я ничего не могу сказать о Тимофѣевѣ.

О Сенковскомъ, его редакторствѣ и объ его странныхъ отношеніяхъ къ сотрудникамъ вѣроятно много любопытнаго можетъ передать Е. Ѳ. Корпъ, который года полтора, вмѣстѣ

съ Грановскимъ (до отъѣзда Грановскаго заграницу), трудился для «Библіотеки для Чтенія». Я слыхалъ отъ Грановскаго множество пресмѣшныхъ разсказовъ о Сенковскомъ; въ нихъ вполнѣ охарактеризовалась не совсѣмъ достойная уваженія личность человѣка, игравшаго нѣсколько лѣтъ такую шумную роль въ русской литературѣ.

Но я заговорилъ не о немъ, а о «Телескопѣ» и о Надеждинѣ. Перейдемъ же къ нему. Въ 1837 году Надеждинъ возвратился изъ мѣста своего изгнанія, Усть-Сысольска, въ Петербургъ, разслабленный и безъ ногъ. Онъ остановился въ гостинницѣ Демута. Здѣсь перебывали у него всѣ петербургскіе литераторы, за исключеніемъ нѣкоторыхъ аристократовъ. Кромѣ литераторовъ, я часто встрѣчалъ у Надеждина его друзей К—ей, конногвардейскаго полка Галахова (бывшаго потомъ оберъ-полиціймейстеромъ) и другихъ лицъ—извѣстныхъ, или начинавшихъ дѣлаться извѣстными въ чиновномъ мірѣ. Кто представилъ меня Надеждину — я не помню, но Надеждинъ увлекъ меня съ перваго раза. Меня такъ и тянуло къ нему. Онъ также обнаруживалъ ко мнѣ нѣкоторое влеченіе. Я ѣздилъ къ нему почти всякій день.

Я былъ въ то время довольно веселымъ разсказчикомъ, начиналъ подмѣчать комическую сторону нашей жизни, и пародировалъ довольно удачно нѣсколькихъ лицъ, извѣстныхъ въ литературѣ и въ обществѣ. Надеждинъ отъ моихъ разсказовъ катался обыкновенно со смѣху, и этимъ ободрительнымъ смѣхомъ еще болѣе подстрекалъ меня.

Его обширныя свѣдѣнія, изумительная память, даръ слова— все это не могло на меня не подѣйствовать. Это былъ первый литераторъ, удовлетворивній моему идеалу о литераторахъ. Я полагалъ во время оно, что всякій литераторъ непремѣнно долженъ обладать ученостью или покрайней-мѣрѣ обширнымъ образованіемъ. Если бы кто-нибудь сказалъ мнѣ тогда, что можно быть весьма недурнымъ поэтомъ, или довольно даровитымъ разсказчикомъ, не имѣя не только образованія, но даже ума, я ни за что не повѣрилъ бы этому. А сколько такихъ нехитрыхъ господъ изъ литераторовъ случалось мнѣ встрѣчать потомъ въ теченіе тридцатилѣтняго моего литературнаго поприща:—нѣкоторые изъ нихъ пользовались значительнымъ успѣхомъ въ публикѣ, и творенія ихъ подвергались

даже тонкимъ анализамъ, глубокомысленнымъ критикамъ, очень лестнымъ для авторовъ, по тонкости и глубинѣ, но совершенно непонятнымъ для нихъ.

Надеждинъ, по своимъ обширнымъ свѣдѣніямъ и по уму, стоялъ въ главѣ тогдашнихъ литераторовъ. Наружность Надеждина была мало привлекательна. Черты болѣзненнаго, осунувшагося и побагровѣвшаго лица его были рѣзки; у него былъ длинный красный носъ, ротъ почти до ушей, раскрывавшійся совсѣмъ не только при смѣхѣ, даже при улыбкѣ, и обнаруживавшій не только зубы, даже десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голосъ крикливъ. Въ минуты одушевленія онъ издавалъ какіе-то звуки, похожіе на рычаніе, и дикія восклицанія, въ родѣ: а-га-га-га! Но, несмотря на все это, онъ имѣлъ въ себѣ много симпатическаго. Такова сила ума, смягчающая даже самое безобразіе и придающая одушевленіе и пріятность самымъ грубымъ и непріятнымъ чертамъ. Если бы этотъ умъ и знанія соединились въ Надеждинѣ съ твердостью воли, — онъ, вѣроятно, оставилъ бы по себѣ прочную память или въ лѣтописяхъ Московскаго университета, или въ исторіи русской литературы. Къ сожалѣнію, при своемъ замѣчательномъ умѣ и при своихъ блестящихъ способностяхъ, онъ всю жизнь вертѣлся, какъ флюгеръ, по прихоти случайностей: безъ сожалѣнія покидалъ свое ученое поприще для литературныхъ занятій и литературныя занятія для служебной дѣятельности — и нигдѣ не оставлялъ по себѣ глубокаго слѣда. Въ наукѣ, въ литературѣ, на служебной аренѣ—онъ вездѣ обнаружилъ большія способности, но не сдѣлался серьёзнымъ ученымъ, и не имѣлъ вліянія ни въ литературномъ, ни въ чиновничьемъ мірѣ. Надеждинъ былъ человѣкъ вполнѣ просвѣщенный и свободномыслящій, но не имѣвшій никакихъ твердыхъ убѣжденій, которыя заставляютъ человѣка идти непоколебимо по прямому, избранному имъ пути, преодолѣвая всѣ препятствія и не отклоняясь ни на одинъ шагъ въ сторону.

Какъ бы то ни было, онъ, какъ я уже замѣтилъ, всегда вносилъ въ бесѣду мысль и одушевленіе. Въ немъ былъ своего рода юморъ, не совсѣмъ тонкій, но иногда довольно злой; какъ въ человѣкѣ (я не говорю въ писателѣ), въ немъ не было ни малѣйшей сухости и педантизма. Онъ не пугалъ

своими знаніями, какъ это дѣлаютъ многіе ученые, не хвасталъ своей эрудиціей, хоть при случаѣ любилъ блеснуть ею, и былъ почти постоянно одушевленъ веселостью — несмотря на разстройство своего здоровья. Въ этой веселости было что-то добродушное, искреннее, возбуждавшее веселость въ другихъ, хотя искренность и добродушіе не были его отличительными качествами...

Всѣ его недостатки, истекавшіе изъ слабости его характера, очень видимы были для всѣхъ его пріятелей: они обсуживались за глаза строго, возбуждали даже негодованіе; но когда пріятели сходились съ нимъ лицомъ къ лицу — они искренно забывали все, и все прощали ему.

Онъ имѣлъ даръ привлекать къ себѣ всевозможнаго рода людей — не однихъ литераторовъ... Люди свѣтскіе, купцы, значительные чиновники—сойдясь съ нимъ случайно, привязывались къ нему.

У Надеждина былъ наемный человѣкъ *Иванъ*. Онъ началъ служить при немъ съ начала изданія «Телескопа».

Когда Надеждинъ отправлялся въ ссылку, онъ призвалъ Ивана для того, чтобы разсчитаться и проститься съ нимъ. Онъ никакъ не предполагалъ, чтобы тотъ рѣшился ѣхать съ нимъ Богъ знаетъ куда и на неопредѣленное время; но Иванъ рѣшительно объявилъ, что хоть бы онъ поѣхалъ на край свѣта, онъ не оставитъ его.

Надо замѣтить, что Надеждинъ обращался съ Иваномъ не совсѣмъ гуманно; какъ всѣ больные, онъ былъ иногда несносно капризенъ и придирчивъ, — и несмотря на это, Иванъ остался при немъ до послѣдней минуты. Послѣдніе годы, когда Надеждина разбилъ параличъ, Иванъ не оставлялъ его ни на шагъ, и ухаживалъ за нимъ, какъ добрая нянька за ребенкомъ.

Недаромъ же возбуждалъ Надеждинъ такую сильную привязанность къ себѣ.

Въ двѣ недѣли я сблизился съ нимъ такъ, какъ-будто былъ вѣкъ знакомъ съ нимъ. При моемъ появленіи онъ обыкновенно улыбался, разѣвалъ ротъ, обнаруживая десны, протягивалъ ко мнѣ свои длинныя руки и восклицалъ:

— А-га-га-га! Вотъ и онъ! Вотъ и онъ! Ну, что новаго въ литературѣ?

Надеждина интересовали всякія литературныя сплетни.

Я передавалъ ему все, что̀ зналъ: о жалобахъ Якубовича на Карлгофа, о Воейковскомъ обѣдѣ въ холерной больницѣ, и прочее, и прочее. Надеждинъ хохоталъ отъ всей души. Онъ собиралъ тогда статейки для «Одесскаго Альманаха» и просилъ меня дать что-нибудь. Я написалъ для него разсказъ, подъ заглавіемъ: «Какъ добры люди!». Этотъ разсказъ былъ до такой степени пошлъ и плохъ, что мнѣ даже смѣшно вспоминать о немъ. Я и тогда впрочемъ чувствовалъ, что онъ плоховатъ, и замѣтилъ это Надеждину, который вскрикнулъ:

— Э, ничего! Сойдетъ съ рукъ! А давно ли вы видѣли нашего Лукьяна? прибавилъ онъ (Якубовича звали Лукьяномъ).—Мнѣ онъ нуженъ... Вѣдь и у него надо взять стишковъ на *затычку*...

И Надеждинъ, говоря это, осклаблялся и издавалъ звуки, похожіе на смѣхъ.

— Лукьянъ славный малый, добрый, продолжалъ онъ:— безъ его стиховъ намъ нельзя обойтись... И ему вѣдь ничего не стоитъ налупить по заказу три-четыре стихотворенія, только слово скажи.

Кстати о стихахъ.

Надеждинъ (это было уже гораздо позже) разсказывалъ мнѣ, что на обѣдѣ у А. М. Княжевича, съ которымъ онъ былъ очень близокъ, онъ встрѣтился съ однимъ штатскимъ генераломъ, занимавшимся нѣкогда литературою, враждебно смотрѣвшимъ на новѣйшую литературу и притомъ, кажется, неблаговолившимъ къ Надеждину, какъ къ бывшему издателю «Телескопа», за его либеральный образъ мыслей.

— Ну, почтеннѣйшій, воскликнулъ Надеждинъ: — чудо изъ чудесъ! Какъ бы вы думали!—я удостоился благоволенія его превосходительства, онъ даже прижалъ меня къ своей звѣздоносной груди и напечатлѣлъ поцѣлуй на моихъ губахъ,—теперь вы должны имѣть ко мнѣ больше уваженія.

— Чѣмъ же вы его такъ разнѣжили? спросилъ я.

— А вотъ какъ: за обѣдомъ рѣчь зашла о литературѣ. Генералы все толковали о томъ, отчего теперь нѣтъ торжественныхъ хорошихъ стиховъ, какіе писывались въ ихъ время, и никакъ не могли добиться, отчего?... Его превосхо-

дительство, который, какъ вамъ извѣстно, прежде неблагосклонно посматривалъ на меня, вдругъ обратился ко мнѣ съ улыбкою: «Не объясните ли вы намъ этого,—вы, который были журналистомъ?»

— Почему же? Охотно, ваше превосходительство, отвѣчалъ я: — по моему мнѣнію, оттого, что нынче большею частью пишутъ *не-дворяне*. Этимъ только и можно объяснить упадокъ нашего стихотворства!...—Генералъ при этомъ пришелъ въ совершенный экстазъ — и вотъ почему я удостоился его превосходительныхъ объятій и поцѣлуя. Онъ потомъ все покачивалъ печально головою и говорилъ: «Вы совершенно справедливы; именно такъ, другой причины нѣтъ, а это очень жаль!» — Такъ вотъ видите, почтеннѣйшій, каковъ я? Умѣю вѣдь себя вести съ генералами?...

Дней черезъ пять я встрѣтилъ этого генерала. Онъ зналъ меня съ дѣтства и поэтому говорилъ мнѣ *ты*.

— Ты знаешь Надеждина? спросилъ онъ меня.

— Очень хорошо.

— Онъ, кажется, прекрасный и очень благонамѣренный человѣкъ, замѣтилъ генералъ чувствительнымъ и мягкимъ тономъ...

Слова Надеждина генералъ принялъ серьёзно.

Вотъ наивность-то!...

Я не могу себѣ объяснить нерасположенія Надеждина къ Бѣлинскому. Надеждинъ не любилъ говорить о немъ, и на вопросы о Бѣлинскомъ отвѣчалъ обыкновенно нехотя и представлялъ его какимъ-то циникомъ, о чемъ я еще упомяну въ статьѣ моей о Бѣлинскомъ. Въ то же время Надеждинъ ужъ слишкомъ яркими красками и даже не безъ энтузіазма описывалъ мнѣ нѣкоторыхъ изъ друзей его. По его описанію, я воображалъ найти въ одномъ изъ нихъ что-то похожее на Рафаэля или на Іоанна Богослова.

Впослѣдствіи я убѣдился, что въ этихъ характеристикахъ Надеждина было гораздо болѣе его собственной фантазіи, чѣмъ правды.

По возвращеніи Надеждина, не только петербургскіе журналисты, но даже и издатели альманаховъ — бросились къ нему съ просьбами о статьяхъ... Онъ прежде всѣхъ удовлетворилъ Владиславлева. Владиславлевъ боялся ума и учености

Надеждина; Надеждинъ въ свою очередь... не то, чтобы боялся Владиславлева, но оказывалъ ему особое вниманіе и ласку по мѣсту его служенія *). Вслѣдствіе этого они были въ очень короткихъ отношеніяхъ. Краевскій обращался съ Надеждинымъ довольно фамильярно, какъ и слѣдуетъ ученому съ ученымъ, но, кажется, не любилъ его и вѣроятно побаивался, сознавая, что Надеждинъ все-таки ученѣе его.

Надеждинъ, напротивъ, обнаруживалъ къ нему расположеніе, и даже очень любилъ говорить о немъ, называя его просто Андреемъ... Если кто-нибудь при немъ не совсѣмъ хорошо отзывался о Краевскомъ, Надеждинъ обыкновенно восклицалъ:

— Полноте нападать на моего Андрея, онъ славный малый, — вы не шутите съ нимъ: онъ изобрѣлъ у насъ шестую часть свѣта!

По натурѣ своей Надеждинъ былъ очень лѣнивъ; но свои журнальныя статьи онъ писалъ съ необыкновенною быстротою и легкостью, почти безъ помарокъ. Рукописи его отличались большою оригинальностью: онъ писалъ обыкновенно на бумагѣ очень длиннаго формата и довольно узко обрѣзанной. Почеркъ у него былъ довольно четкій, но русскія буквы принимали подъ его перомъ какую-то старинную форму, нѣсколько похожую на готическую.

Усть-Сысольскъ значительно охладилъ его литературную дѣятельность. Онъ, послѣ своего пріѣзда оттуда, началъ смотрѣть на литературу, какъ на дѣло, отошедшее для него на второй планъ. Онъ рѣшился всего себя посвятить служебной дѣятельности, и мечты о служебной карьерѣ занимали его уже гораздо болѣе.

Знакомство съ Надеждинымъ, который рѣзко отличался отъ всѣхъ петербургскихъ литераторовъ, возбудило во мнѣ еще большее желаніе познакомиться съ московскими литераторами. Москва начала очень занимать меня. На московскую литературу я смотрѣлъ всегда съ большимъ уваженіемъ. Направленіе ея выражалось «Телеграфомъ», «Телескопомъ», «Молвою» и наконецъ «Московскимъ Наблюдателемъ», редакцію котораго только-что принялъ на себя Бѣлинскій;

---

*) Въ III-мъ Отдѣленіи Собств. Его Императорскаго Величества Канцеляріи.

тогда выступили въ Москвѣ на литературное поприще молодые люди, только-что вышедшіе изъ Московскаго университета,— съ горячею любовью къ дѣлу, съ благородными убѣжденіями, съ талантами... Это было самое блестящее время московской литературной дѣятельности. Къ Петербургу съ его «Библіотекою» и «Сѣверною Пчелою» я получилъ уже совершенное охлажденіе; петербургскіе литераторы также не возбуждали во мнѣ никакого интереса. Я уже былъ знакомъ со всѣми ими, не исключая даже Николая Иваныча Греча, который всегда обращался со мною съ большою благосклонностью, хотя и изъявилъ сожалѣніе моему дядѣ, что я связываюсь въ литературѣ съ людьми неблагонамѣренными, которые заразятъ меня своими вредными идеями. Да, это справедливо: чтобы сохранить чистоту нравовъ и благонамѣренность, я долженъ былъ поддерживать только связи съ Н. И. Гречемъ и Ѳ. В. Булгаринымъ. Теперь я вижу это ясно, но поздно...

Изъ находившихся въ ту минуту въ Петербургѣ литераторовъ я не былъ знакомъ только съ Гоголемъ, который съ перваго своего шага сталъ почти впереди всѣхъ, и потому обратилъ на себя всеобщее вниманіе. Мнѣ очень захотѣлось взглянуть на автора «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ» и «Тараса Бульбы», съ которыми я носился и перечитывалъ всѣмъ моимъ знакомымъ, начиная съ Кречетова.

Кречетова поразилъ, или, вѣрнѣе сказать, ошеломилъ «Бульба». Онъ во время моего чтенія безпрестанно вскакивалъ съ своего мѣста и восклицалъ:

— Да это choeuf-d'oeuvre... это сила... это мощь... это... это... это...

— Ахъ, да не перебивайте, Василій Иванычъ! кричали ему другіе слушатели...

Но Кречетовъ не выдерживалъ, и перебивалъ чтеніе безпрестанно, засовывалъ свои пальцы въ волосы и раздиралъ свои волоски съ какимъ-то ожесточеніемъ.

Когда чтеніе кончилось, онъ схватилъ себя за голову и произнесъ:

— Это, батюшка, такое явленіе, это, это, это... самъ старикъ Вальтеръ-Скоттъ подписалъ бы охотно подъ этимъ Бульбою свое имя... У-у-у! это ужъ талантъ изъ ряду вонъ...

Какая полновѣсность, сочность въ каждомъ словѣ... Этотъ Гоголь... да это чортъ знаетъ что такое! — такъ и брызжетъ умомъ и талантомъ...

Кречетовъ долго послѣ этого чтенія не могъ успокоиться.

Случай скоро представился мнѣ увидѣть Гоголя. Черезъ А. А. Комарова я познакомился съ Прокоповичемъ, учителемъ словесности въ кадетскихъ корпусахъ, стихотворцемъ, большимъ чудакомъ и — главное — добрѣйшимъ человѣкомъ. Прокоповичъ въ одинъ годъ съ Гоголемъ кончилъ курсъ въ Нѣжинскомъ лицеѣ. Пріятель Гоголя еще со школьной скамьи, Прокоповичъ, горячо любившій литературу, послѣ первыхъ произведеній Гоголя, присоединилъ къ своей школьной дружбѣ къ нему благоговѣйную привязанность, какъ къ писателю. Гоголь, повидимому, также любилъ его; когда онъ былъ въ отсутствіи — въ Малороссіи, или заграницей, онъ всегда дѣлалъ Прокоповичу различныя порученія, и возвращаясь въ Петербургъ — останавливался у него.

Прокоповичъ, узнавъ черезъ А. А. Комарова мое желаніе посмотрѣть на Гоголя, пригласилъ меня въ тотъ день, когда Гоголь обѣщалъ у него обѣдать.

Наружность Гоголя не произвела на меня пріятнаго впечатлѣнія. Съ перваго взгляда на него, меня всего болѣе поразилъ его носъ, сухощавый, длинный и острый, какъ клювъ хищной птицы. Онъ былъ одѣтъ съ нѣкоторою претензіею на щегольство, волосы были завиты и клокъ напереди поднятъ довольно высоко, въ формѣ букли, какъ носили тогда. Вглядываясь въ него, я все разочаровывался болѣе и болѣе, потому-что заранѣе составилъ себѣ идеалъ автора «Миргорода», и Гоголь нисколько не подходилъ къ этому идеалу. Мнѣ даже не понравились глаза его—небольшіе, проницательные и умные, но какъ-то хитро и непривѣтливо смотрѣвшіе. Онъ занятъ былъ передъ обѣдомъ приготовленіемъ макаронъ по-итальянски (это было уже послѣ второй поѣздки его за границу), и безпрестанно выходилъ на кухню смотрѣть за ихъ приготовленіемъ. За обѣдомъ онъ говорилъ мало и ѣлъ много. Разговоръ его не былъ интересенъ, онъ касался самыхъ обыкновенныхъ и вседневныхъ вещей; о ли-

тературѣ почти не было рѣчи, только не помню, къ чему онъ замѣтилъ, что безъ всякаго сомнѣнія первый поэтъ послѣ Пушкина—Языковъ, и что онъ не только не уступаетъ самому Пушкину, но даже превосходитъ его иногда по силѣ, громкости и звучности стиха. Меня еще непріятно поразило то, что въ обращеніи двухъ друзей и товарищей не было простоты: сквозь любовь Прокоповича къ Гоголю невольно проглядывало подобострастіе, которое обнаруживаютъ всегда низшіе къ друзьямъ высшаго ранга; Гоголь, въ свою очередь, посматривалъ тоже какъ-будто немножко свысока. Тотчасъ послѣ обѣда мы всѣ разошлись, и когда я уходилъ, Прокоповичъ замѣтилъ мнѣ, что Гоголь сегодня былъ не въ духѣ.

Я слышалъ, что когда Гоголь бывалъ въ духѣ—онъ разсказывалъ различные анекдоты съ необыкновеннымъ мастерствомъ и юморомъ; но послѣ изданія «Миргорода» и громаднаго успѣха этой книги,—онъ принялъ уже тонъ болѣе серьёзный и строгій и рѣдко бывалъ въ хорошемъ расположеніи... Иногда только онъ обнаруживалъ свой юморъ передъ людьми высшаго общества, съ которыми началъ сближаться. До этого и обращеніе его съ Прокоповичемъ было гораздо проще и искреннѣе, такъ покрайней-мѣрѣ увѣряютъ тѣ, которые были знакомы съ нимъ съ самаго пріѣзда его въ Петербургъ...

Говоря о литераторахъ и литературныхъ вечерахъ, я забылъ сказать объ А. П. Башуцкомъ. Дѣятельность Башуцкаго была изумительна: онъ занимался службой, литературой, составлялъ различные промышленные проэкты—и въ то же время выѣзжалъ въ свѣтъ и былъ одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ и краснорѣчивыхъ собесѣдниковъ. Онъ затѣвалъ все въ роскошныхъ широкихъ размѣрахъ, разсчитывалъ на десятки и сотни тысячъ, но его литературныя и другія затѣи никогда почти не удавались и не приносили ему ничего, кромѣ убытка. Онъ издалъ «Панораму Петербурга», заказалъ гравюры для этого изданія въ Лондонѣ, но корабль съ его гравюрами погибъ въ морѣ; онъ началъ издавать «Газету Общеполезныхъ Свѣдѣній», но отъ этихъ свѣдѣній подписчики не только не получили никакой пользы, но потерпѣли убытокъ, потому-что она прекратилась на первыхъ нумерахъ.

Аккуратность Башуцкаго и внѣшній порядокъ въ его кабинетѣ были изумительные: картоны и ящики съ различными надписями, письменный столъ съ безчисленными кипами бумагъ подъ красивыми пресъ-папье... и все это такъ изящно и такъ мастерски разложено и разставлено. Въ комнатахъ его каждая самая незначительная вещица поставлена была такъ, что производила эффектъ. Самъ хозяинъ всегда былъ одѣтъ съ удивительною аккуратностью; ни на галстукѣ ни на манишкѣ ни малѣйшей складочки, точно какъ-будто на немъ было все подклеено; парикъ прекрасно расчесанъ и распомаженъ; говорилъ Башуцкій съ большимъ искусствомъ; плавный разговоръ его такъ и лился и журчалъ; въ разговорѣ его можно было слышать — гдѣ запятая, гдѣ тире, гдѣ точка съ запятой и т. д... У него было пять-шесть разсказовъ, и въ числѣ ихъ знаменитый разсказъ о смерти Милорадовича, при которомъ онъ былъ адъютантомъ, 14-го декабря. Этотъ разсказъ онъ при мнѣ повторялъ разъ десять, не измѣняя въ немъ ни іоты, и всегда производилъ имъ величайшій эффектъ на тѣхъ, которые имѣли удовольствіе первый разъ слушать его. Когда Башуцкій развивалъ свои проэкты разныхъ коммерческихъ предпріятій (а они рождались у него чуть не ежедневно), его слушатели, пораженные его логикою, но особенно краснорѣчіемъ, готовы были отдать на эти предпріятія послѣдній грошъ. Такъ убѣдителенъ и заманчивъ былъ ораторъ. Для начатія самыхъ исполинскихъ предпріятій, по мнѣнію Башуцкаго, требовались самыя ничтожныя суммы. Положивъ, напримѣръ, тысячъ пять на предпріятіе Башуцкаго, вы могли, по его словамъ, въ нѣсколько лѣтъ сдѣлаться милліонеромъ. Все это было такъ ясно, такъ просто, какъ дважды два четыре. Глядя на самого Башуцкаго и на его обстановку, и слушая его рѣчи, можно было принять его за человѣка самаго положительнаго, самаго практическаго, а между-тѣмъ трудно было найти человѣка болѣе его увлекавшагося. Это милый фантазеръ, облекавшій свои фантазіи въ нарядныя фразы, которыми онъ сначала только любуется, не вѣря имъ, но которыми потомъ онъ самъ увлекается до такой степени, что принимаетъ ихъ серьёзно. Это не утопистъ, а просто балансеръ, балансировавшій не надъ пучиною морскою, а надъ грязной и мелкой лужей, въ которой никакъ нельзя утопиться,

но, упавши, можно очень больно ушибиться и загрязниться...

Къ Башуцкому сходились по пятницамъ. Общество на этихъ пятницахъ было немногочисленное и притомъ случайное... На нихъ появлялись впрочемъ изрѣдка и знаменитости — Кукольникъ и Каратыгинъ. Однимъ изъ постоянныхъ посѣтителей пятницъ Башуцкаго былъ Владиміръ Строевъ, который извѣстенъ въ литературѣ только тѣмъ, что Воейковъ удостоилъ его почему-то помѣстить въ свой «Сумасшедшій домъ» вмѣстѣ съ литературными знаменитостями, назвавъ его *лѣвымъ глазомъ Греча съ бѣльмомъ*. На этихъ пятницахъ можно было безъ удивленія встрѣтить кого угодно: Краевскаго и Греча, Булгарина и Воейкова, Сенковскаго и Бѣлинскаго... Башуцкій былъ эклектикъ. У него появлялся даже и Кречетовъ, очень любившій его и въ особенности его ужины съ доброю бутылкою мадеры.

О литературной дѣятельности Башуцкаго, которая развернулась въ началѣ сороковыхъ годовъ, о его изданіяхъ, о знакомствѣ съ Бѣлинскимъ — обо всемъ этомъ я буду говорить въ свое время...

Теперь я приступаю къ очень любопытному времени въ нашей литературѣ — къ покупкѣ Краевскимъ знаменитыхъ «Отечественныхъ Записокъ» Свиньина.

Успѣхъ «Библіотеки для Чтенія» не могъ не подѣйствовать на редактора «Литературныхъ Прибавленій» къ «Русскому Инвалиду». Пять тысячъ подписчиковъ *) — какая пріятная цифра! О роскоши, съ которою жилъ редакторъ «Библіотеки», носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи... Литераторы съ завистливымъ удивленіемъ разсказывали о великолѣпномъ кабинетѣ Сенковскаго, о его лѣстницѣ, уставленной цвѣтами и тропическими растеніями... и всѣмъ этимъ остроумный профессоръ восточныхъ языковъ, пожаловавшій самъ себя въ бароны, былъ обязанъ — *журналу*. Слѣдовательно большой журналъ — хорошее коммерческое предпріятіе. Чему была обязана своимъ успѣхомъ «Библіотека

---

*) Извѣстно, что «Библіотека для Чтенія» въ первый годъ существованія своего имѣла *пять* тысячъ подписчиковъ — цифра, до которой не достигалъ еще ни одинъ изъ русскихъ журналовъ того времени.

для Чтенія?»—громкому объявленію съ безчисленными именами. Ну, что жь, развѣ нельзя пустить такое же объявленіе и набрать именъ еще болѣе? Толщина книжекъ «Библіотеки» также не мало способствовала ея успѣху. И это дѣло немудреное... можно пустить книжки еще потолще. Многіе приписывали успѣхъ «Библіотеки» талантливому балагурству, остроумію и беззастѣнчивости ея редактора, являвшагося подъ различными псевдонимами. Прекрасно. Допустимъ и это, но къ шуточкамъ и балагурству Сенковскаго начинали уже охладѣвать; ученые и литераторы становились во враждебное положеніе къ редактору «Библіотеки» за его восточное самоуправство съ ихъ сочиненіями, слѣдовательно новый журнальный органъ долженъ быть принятъ ими благосклонно. Но для начатія журнала необходимы деньги — затрудненіе было только въ этомъ, потому-что Свиньинъ, будучи въ это время въ стѣсненномъ положеніи, очень охотно уступалъ свой журналъ, который терялъ подписчиковъ съ каждымъ годомъ.

Краевскій, получившій уже нѣкоторую извѣстность, какъ редакторъ «Литературныхъ Прибавленій къ Инвалиду», вступилъ съ Свиньинымъ въ переговоры въ половинѣ 1838 года, и между-тѣмъ составилъ нѣчто въ родѣ небольшаго акціонернаго общества изъ нѣсколькихъ своихъ пріятелей и пріятелей этихъ пріятелей. Къ числу ихъ, сколько я помню, принадлежали слѣдующія лица: князь В. Ѳ. Одоевскій и другъ его А. В. Всеволожскій, Н. П. Мундтъ и Владиславлевъ. Всѣ они обязались внести, кажется, по 3,000 рублей ассигнаціями—и я также... Я впрочемъ не внесъ денегъ, — Краевскій и не требовалъ ихъ съ меня, потому вѣроятно, что нашелъ достаточною для начала сумму, внесенную другими. Такимъ-образомъ «Отечественныя Записки» начались съ весьма незначительнымъ капиталомъ.

— Кто же у васъ будетъ заниматься критическимъ отдѣломъ? спросилъ я однажды у Краевскаго:—вѣдь критическій отдѣлъ въ журналѣ самая важная вещь.

— Я еще не знаю, отвѣчалъ Краевскій и прибавилъ глухо, но съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ: — у меня есть одинъ человѣкъ на примѣтѣ...

Разговоръ этотъ происходилъ въ домѣ Брянскаго.

— Да вотъ вамъ человѣкъ для этого — Бѣлинскій, продолжалъ я: — чего же лучше? Если бъ онъ рѣшился только переселиться въ Петербургъ, это было бы отлично.

— Покорно васъ благодарю, сказалъ Краевскій рѣзко и сухо:—я не имѣю никакого желанія связываться съ этимъ крикуномъ-мальчишкой...

Онъ видимо не желалъ продолженія этого разговора и завелъ рѣчь съ кѣмъ-то другимъ, отвернувшись отъ меня.

Краевскій заключилъ условіе съ Свиньинымъ, обязавшись за право пользованія его «Отечественными Записками» — платить ему ежегодно 5,000 р. ассигн., а послѣ смерти Свиньина—вдовѣ его. Черезъ годъ, кажется, Свиньинъ умеръ. Краевскій вошелъ съ просьбою къ министру народнаго просвѣщенія о передачѣ ему права изданія и утвержденія его редакторомъ. На всеподданнѣйшее представленіе объ этомъ министра послѣдовало Высочайшее соизволеніе, на основаніи котораго Краевскій прекратилъ выдачу вдовѣ Свиньиной. Въ условіи между Свиньинымъ и Краевскимъ сказано было, что въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній, или неисполненія условія со стороны Краевскаго, онъ, Свиньинъ, и его наслѣдники прибѣгаютъ къ посредству третейскаго суда. Третейскій судъ, съ общаго согласія договаривающихся, состоялъ изъ Л. В. Дубельта, В. И. Панаева и П. А. Плетнева. Вдова Свиньина прибѣгла къ нимъ; судьи обратились къ Краевскому. Краевскій отвѣчалъ, что такъ-какъ право на изданіе «Отечественныхъ Записокъ» Высочайше утверждено за нимъ, то, вслѣдствіе этого, условіе его съ покойнымъ Свиньинымъ уничтожилось само собою и вдова его не должна уже имѣть никакихъ претензій на него, Краевскаго. Тогда третейскій судъ прибѣгнулъ къ великодушію Краевскаго и хотѣлъ смягчить его сердце бѣдственнымъ положеніемъ вдовы Свиньиной. Успѣлъ ли онъ въ этомъ—я не знаю...

Объявленіе объ изданіи «Отечественныхъ Записокъ» подъ новою редакціею было не безъ эффекта. Для этого объявленія набрано было чуть ли не до ста именъ различныхъ петербургскихъ и московскихъ ученыхъ и литераторовъ...

Какое же знамя поднялъ Краевскій? Представителемъ какого направленія выступалъ возобновленный журналъ?

Редакторъ самъ ясно не сознавалъ этого; неопровержимыя доказательства этого обнаружатся впослѣдствіи, когда я буду говорить о Краевскомъ, какъ о редакторѣ «Отечественныхъ Записокъ».

Краевскій началъ свое коммерческое предпріятіе на *авось*, какъ большая часть русскихъ людей начинаютъ свои предпріятія.

Впослѣдствіи онъ утверждалъ (въ объявленіяхъ объ «Отечественныхъ Запискахъ»), что цѣль журнала его—истина въ наукѣ, истина въ искусствѣ, истина въ жизни...

Какъ бы то ни было... Краевскій не спалъ ночи и проводилъ ихъ за корректурой въ типографіи, передъ выходомъ первой книжки. О ней уже ходили заранѣе различные — доброжелательные и враждебные слухи. Я ожидалъ ее съ нетерпѣніемъ, потому-что для этой книжки и я скропалъ какую-то статейку о французской литературѣ...

1-го января 1839 года — книжка явилась. Это была впрочемъ не книжка, а книжища вдвое — если не болѣе — толще «Библіотеки для Чтенія».

Всѣ любители литературы съ любопытствомъ бросились смотрѣть на нее—и вотъ:

«Громада двинулась и разсѣкаетъ волны»...

ГЛАВА VIII.

Начало «Отечественныхъ Записокъ». — Графъ Соллогубъ и «Исторія двухъ калошъ».—Лермонтовъ и его отношенія къ Краевскому. — Стихотвореніе его: «Есть рѣчи...». — Впечатлѣніе, произведенное на Лермонтова появленіемъ его «Казначейши» въ «Современникѣ» Плетнева. — Пріѣздъ въ Петербургъ Межевича и пріемъ, сдѣланный ему Краевскимъ. — Отъѣздъ въ Москву. — Эпилогъ къ первой части.

Первая книжка «Отечественныхъ Записокъ» произвела сильный эффектъ, слѣдовавшія книжки также. «Отечественныя Записки» подняли шумъ въ литературныхъ кружкахъ и съ одобреніемъ были встрѣчены публикою. И не мудрено. Въ этихъ книжкахъ явились: Лермонтовъ съ своею «Беллою» и нѣсколькими стихотвореніями, Кольцовъ съ своими «Пѣснями», графъ Соллогубъ съ своими «Калошами», князь Одоевскій съ «Княжною Зизи» и прочее.

Вообще «Отечественныя Записки» возобновились кстати. «Библіотека для Чтенія» начинала уже прискучивать публикѣ повтореніемъ своихъ остротъ и шуточекъ; она оскорбляла многихъ своимъ глумленіемъ надъ литературою; ея критическій авторитетъ совершенно поколебался послѣ возвеличенія Кукольника, Тимоѳеева и нѣкоторыхъ другихъ, послѣ неблагосклонныхъ отзывовъ о Гоголѣ и пріятельскаго заигрыванья съ Булгаринымъ, послѣ неприличныхъ и неумѣстныхъ выходокъ противъ передовыхъ людей европейской науки... Большая часть извѣстныхъ русскихъ литераторовъ начинала отзываться съ неудовольствіемъ о деспотическомъ обращеніи редактора «Библіотеки» съ ихъ произведеніями, которыя появлялись въ журналѣ Сенковскаго въ совершенно изуродованномъ видѣ, съ сокращеніями, передѣлками или прибавленіями самого редактора, навязавшаго авторамъ такія воззрѣнія и мысли, которыя они не могли раздѣлять. Шутка въ «Библіотекѣ» переходила всѣ границы. Это была уже *шутка для шутки,* желаніе смѣшить публику во что бы то ни стало и

на чей бы счетъ ни было. Она посягала на нее и на всѣхъ безъ разбора, и изобличала въ редакторѣ журнала полное отсутствіе всякихъ серьёзныхъ убѣжденій, возбуждая уже не смѣхъ, а негодованіе...

Потребность новаго журнала съ направленіемъ болѣе дѣльнымъ, который обнаруживалъ бы большое уваженіе къ литераторамъ и публикѣ, чувствовалась всѣми — и въ такую-то благопріятную минуту появился Краевскій съ своими «Отечественными Записками».

Немудрено, что онѣ встрѣчены были симпатично и литераторами, и публикою. Всѣ замѣчательные литературные дѣятели охотно присоединились къ нимъ. Въ возобновленныхъ «Отечественныхъ Запискахъ» допѣвали свои лебединыя пѣсни лучшіе изъ нашихъ беллетристовъ и блистательно начали свои дебюты молодые люди, только-что выступавшіе на литературное поприще.

Краевскій послѣ смерти Пушкина добился до того, что имя его появилось на оберткѣ «Современника», рядомъ съ именами друзей поэта—съ Жуковскимъ, Вяземскимъ и Плетневымъ. Аристократическая литературная партія, прекратившая всѣ сношенія съ Булгаринымъ и Сенковскимъ, протежировала Краевскаго и хотѣла сдѣлать «Отечественныя Записки» своимъ органомъ. Краевскій заискивалъ въ то же время въ московскихъ ученыхъ и литераторахъ, пользовавшихся авторитетомъ въ возникавшей тогда славянской партіи, просилъ ихъ совѣтовъ, сотрудничества и разсыпался передъ ними въ комплиментахъ. Онъ невольно возбуждалъ къ себѣ въ ученыхъ и литераторахъ участіе своею скромностью, аккуратностью и благонамѣренностью. Съ благороднымъ ожесточеніемъ онъ говорилъ о Булгаринѣ, скорбѣлъ о паденіи Полевого, оскорблялся до глубины души шутовскими выходками Сенковскаго и твердилъ только о томъ, что необходимъ новый органъ въ журналистикѣ, въ которомъ бы сгруппировались всѣ талантливые, серьёзные, честные и благонамѣренные ученые и литературные дѣятели. Онъ достигъ этого. «Отечественныя Записки» были встрѣчены одобрительно и привѣтливо всѣми тогдашними литературными знаменитостями, московскими и петербургскими; вся талантливая молодежь съ жаромъ принялась сотрудничать въ нихъ. Только Сенков-

скій, Булгаринъ, Кукольникъ и ихъ партія смотрѣли враждебно на новый журналъ. Сенковскій прикидывался, что онъ не знаетъ даже о его существованіи; Булгаринъ открылъ свою войну противъ него, придравшись къ *доуенъ-даге* (такъ было неудачно переведено въ 1 № «Отечественныхъ Записокъ» слово doyen d'age). Война эта упорно продолжалась около пятнадцати лѣтъ и возобновлялась съ особеннымъ ожесточеніемъ осенью, при подпискѣ, нисколько, разумѣется, не вредя «Отечественнымъ Запискамъ», потому-что число подписчиковъ ихъ возрастало съ каждымъ годомъ.

Краевскій, довольный своимъ успѣхомъ, упрочившій свои связи со всѣми литературными знаменитостями, гордый враждою къ нему Булгарина и Сенковскаго, ставшій во главѣ журнала, принявшаго литературно-аристократическій оттѣнокъ, былъ очень доволенъ собою. Это самодовольство выражалось тою серьёзностью и самостоятельностью, тѣмъ строгимъ ученымъ видомъ, который онъ тогда принялъ на себя, уже не оставляя его потомъ.

Въ это время Бѣлинскій и его молодые друзья, участвовавшіе въ «Телескопѣ» и «Молвѣ», начали издавать «Московскій Наблюдатель». Краевскій никакъ не предвидѣлъ, что этимъ молодымъ, горячимъ людямъ суждено будетъ играть замѣчательную роль въ исторіи русской литературы, что имя Бѣлинскаго сдѣлается историческимъ именемъ и что ему суждено будетъ поддержать и придать нравственную силу и значеніе «Отечественнымъ Запискамъ». Литературные авторитеты и знаменитости или не удостоивали замѣчать въ то время Бѣлинскаго, или отзывались о немъ презрительно, какъ о вздорномъ и нагломъ крикунѣ, не имѣвшемъ ни foi, ни loi и осмѣливавшемся нападать на безсмертныя имена, на неприкосновенные доселѣ авторитеты. Сближаться съ Бѣлинскимъ—значило компрометировать себя во мнѣніи авторитетовъ, передъ которыми усердно преклонялся Краевскій. Но не изъ боязни компрометировать себя передъ ними, а совершенно искренне и добродушно онъ презиралъ Бѣлинскаго и его молодыхъ друзей, и клеймилъ ихъ именемъ *мальчишекъ-крикуновъ*, считая неприличнымъ для собственнаго достоинства связываться съ ними.

Онъ сознавалъ, что для журнала необходимъ критикъ,

что безъ дѣльной критики журналъ не можетъ существовать, что время литературныхъ сборниковъ прошло... Но откуда же взять критика? Эта мысль озабочивала его сильно. Онъ отвергъ мое предложеніе о Бѣлинскомъ; выборъ его уже былъ сдѣланъ, онъ только хранилъ его втайнѣ. Удаченъ ли былъ этотъ выборъ,—увидимъ впослѣдствіи...

Критическій дебютъ «Отечественныхъ Записокъ» былъ очень неудаченъ; но статья подъ заглавіемъ: «Русская литература въ 1843 году» — плохая компиляція, безъ всякаго взгляда, наполненная общими мѣстами — скрылась за прекрасными стихотвореніями, повѣстями, въ особенности за «Исторіей двухъ калошъ» графа Соллогуба, которая и литературой, и публикой принята была съ восторгомъ. Имя Соллогуба, дебютировавшаго въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» разсказомъ «Сережа», послѣ «Исторіи двухъ калошъ», стало пользоваться громкою извѣстностью и не въ однихъ аристократическихъ салонахъ, гдѣ читалъ ее авторъ... Повѣсть эта возбудила большую симпатію къ автору во всѣхъ классахъ читающей публики и во всѣхъ литературныхъ кружкахъ. Бѣлинскій былъ отъ нея въ восторгѣ.— «Соллогубъ своими «Калошами» растрогалъ меня до слезъ!» говорилъ онъ мнѣ впослѣдствіи.

Ободренный блистательнымъ успѣхомъ, Соллогубъ съ жаромъ принялся писать новую повѣсть, и сталъ изрѣдка появляться между литераторами; но онъ чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко въ этомъ новомъ для него обществѣ. Онъ разыгрывалъ между ними великосвѣтскаго человѣка и какъ бы нѣсколько женировался званіемъ литератора.

Я замѣчаю это не въ упрекъ графу Соллогубу. Это былъ недостатокъ, общій всѣмъ тогдашнимъ литераторамъ-аристократамъ, за исключеніемъ, какъ я уже говорилъ, Одоевскаго. Графъ Соллогубъ имѣлъ сначала непреодолимую наклонность къ литературѣ, но серьёзному развитію этой наклонности мѣшали его великосвѣтскіе взгляды и привычки, и онъ потомъ уже занимался ею слегка, какъ дилетантъ...

Появленіе всякаго новаго замѣчательнаго таланта въ русской литературѣ было праздникомъ для Соллогуба. Въ Соллогубѣ не было ни малѣйшей тѣни той литературной зависти или того непріятнаго ощущенія при чужомъ успѣхѣ,

которыя, къ сожалѣнію, нерѣдко встрѣчались въ очень талантливыхъ артистахъ и литераторахъ... Онъ былъ увлеченъ «Бѣдными людьми» Достоевскаго и приставалъ ко всѣмъ намъ: — «Да кто такой этотъ Достоевскій? Бога-ради, покажите его, познакомьте меня съ нимъ!» Онъ ходилъ какъ помѣшанный на другой день послѣ прочтенія комедіи Островскаго: «Свои люди — сочтемся», прокричалъ объ этой комедіи во всѣхъ салонахъ и устроилъ у себя вечеръ для чтенія ея; но обо всемъ этомъ и о литературныхъ вечерахъ Соллогуба я буду говорить подробно во 2-й части моихъ «Воспоминаній».

Наклонность къ такъ-называемой великосвѣтскости, которой были подвержены нѣкоторые литературные дѣятели 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годовъ, дѣйствовала на нихъ и на ихъ произведенія весьма неблаготворно. Этой наклонности были подвержены даже такіе могучіе таланты, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ.

Лермонтовъ хотѣлъ слыть во что бы то ни стало и прежде всего за свѣтскаго человѣка, и оскорблялся точно также, какъ Пушкинъ, если кто-нибудь разсматривалъ его, какъ литератора. Несмотря на сознаніе, что причина гибели Пушкина была между прочимъ наклонность его къ великосвѣтскости (сознаніе это ясно выражено Лермонтовымъ въ его заключительныхъ стихахъ «На смерть Пушкина»), — несмотря на то, что Лермонтову хотѣлось иногда бросать въ свѣтскихъ людей желѣзный стихъ —

«Облитый горечью и злостью»...

онъ никакъ не могъ отрѣшиться отъ свѣтскихъ предразсудковъ, и высшій свѣтъ дѣйствовалъ на него обаятельно, несмотря на его глубокій умъ и огромный поэтическій талантъ.

Лермонтовъ сдѣлался извѣстенъ публикѣ своимъ стихотвореніемъ «На смерть Пушкина»; но еще и до этого, когда былъ онъ въ Юнкерской школѣ, носились слухи объ его замѣчательномъ поэтическомъ талантѣ, и его поэма «Демонъ» ходила уже по рукамъ въ рукописи.

Литературная критика обратила на него вниманіе послѣ появленія его повѣсти о купцѣ Калашниковѣ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», издававшихся подъ редакціею Краевскаго.

Я въ первый разъ увидѣлъ Лермонтова на вечерахъ князя Одоевскаго.

Наружность Лермонтова была очень замѣчательна.

Онъ былъ небольшаго роста, плотнаго сложенія, имѣлъ большую голову, крупныя черты лица, широкій и большой лобъ, глубокіе, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившіе въ смущеніе того, на кого онъ смотрѣлъ долго. Лермонтовъ зналъ силу своихъ глазъ и любилъ смущать и мучить людей робкихъ и нервическихъ своимъ долгимъ и пронзительнымъ взглядомъ. Однажды онъ встрѣтилъ у Краевскаго моего пріятеля М. А. Языкова... Языковъ сидѣлъ противъ Лермонтова. Они не были знакомы другъ съ другомъ. Лермонтовъ нѣсколько минутъ не спускалъ съ него глазъ. Языковъ почувствовалъ сильное нервное раздраженіе и вышелъ въ другую комнату, не будучи въ состояніи вынести этого взгляда. Онъ и до-сихъ-поръ не забылъ его.

Я много слышалъ о Лермонтовѣ отъ его школьныхъ и полковыхъ товарищей. По ихъ словамъ, онъ былъ любимъ очень немногими, только тѣми, съ которыми былъ близокъ, но и съ своими онъ не былъ сообщителенъ. У него была страсть отыскивать въ каждомъ своемъ знакомомъ какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость,—и отыскавъ ее, онъ упорно и постоянно преслѣдовалъ такого человѣка, подтрунивалъ надъ нимъ и выводилъ его изъ терпѣнія. Когда онъ достигалъ этого, онъ былъ очень доволенъ.

— Странно, говорилъ мнѣ одинъ изъ его товарищей:— въ сущности онъ былъ, если хотите, добрый малый: покутить, повеселиться, — во всемъ этомъ онъ не отставалъ отъ товарищей; но у него не было ни малѣйшаго добродушія, и ему непремѣнно нужна была жертва, — безъ этого онъ не могъ быть покоенъ, и, выбравъ ее, онъ ужъ безпощадно преслѣдовалъ ее. Онъ непремѣнно долженъ былъ кончить такъ трагически: не Мартыновъ, такъ кто-нибудь другой убилъ бы его.

Лермонтовъ по своимъ связямъ и знакомствамъ принадлежалъ къ высшему обществу, и былъ знакомъ только съ литераторами, принадлежавшими къ этому свѣту, съ литературными авторитетами и знаменитостями. Я въ первый разъ увидѣлъ его у Одоевскаго и потомъ довольно часто встрѣ-

чался съ нимъ у Краевскаго. Гдѣ и какъ онъ сошелся съ Краевскимъ—этого я не знаю; но онъ былъ съ нимъ довольно коротокъ и даже говорилъ ему *ты*.

Лермонтовъ обыкновенно заѣзжалъ къ Краевскому по утрамъ (это было въ первые годы «Отечественныхъ Записокъ» въ 1839, 40 и 41 годахъ) и привозилъ ему свои новыя стихотворенія. Онъ съ шумомъ вбѣгалъ въ его кабинетъ, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которыхъ были аккуратно разставлены и разложены книги, журналы и газеты, подходилъ къ столу, за которымъ, глубокомысленно погруженный въ курректуры, сидѣлъ редакторъ въ томъ алхимическомъ костюмѣ, о которомъ я упоминалъ, и покрой котораго былъ снятъ имъ у Одоевскаго, разбрасывалъ *эти* корректуры и бумаги по полу и производилъ страшную кутерьму на столѣ и въ комнатѣ. Однажды онъ даже опрокинулъ ученаго редактора со стула и заставилъ его барахтаться на полу въ корректурахъ. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности къ порядку и аккуратности, такія шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но онъ поневолѣ переносилъ это отъ великаго таланта, съ которымъ былъ на *ты*, и полуморщась, полуулыбаясь, говорилъ:

— Ну, полно, полно... перестань, братецъ, перестань...

Краевскій походилъ въ такія минуты на гётевскаго Вагнера, а Лермонтовъ на маленькаго бѣсенка, котораго Мефистофель подсылалъ къ Вагнеру, чтобы смущать его глубокомысліе.

Когда ученый приходилъ въ себя, поправлялъ свои волосы и отряхалъ свои одежды, поэтъ пускался въ разсказы о своихъ свѣтскихъ похожденіяхъ, прочитывалъ свои новые стихи и уѣзжалъ. Посѣщенія его всегда были очень непродолжительны.

Заговоривъ о Лермонтовѣ, я выскажу здѣсь кстати все, что помню о немъ, и читатель вѣрно проститъ меня за нарушеніе хронологическаго порядка.

Разъ утромъ Лермонтовъ пріѣхалъ къ Краевскому въ то время, когда я былъ у него. Онъ привезъ ему свое стихотвореніе:

„Есть рѣчи значенье
Темно, иль ничтожно...“

прочелъ его и спросилъ:

— Ну, что, годится?...

— Еще бы! дивная вещь, отвѣчалъ Краевскій: — превосходно! но тутъ есть въ одномъ стихѣ маленькій грамматическій промахъ, неправильность...

— Что такое? спросилъ съ безпокойствомъ Лермонтовъ.

„Изъ *пламя* и свѣта
Рожденное слово...“

— Это неправильно, не такъ, возразилъ Краевскій: — по настоящему, по грамматикѣ надо сказать: изъ *пламени* и свѣта...

— Да если этотъ пламень не укладывается въ стихъ? Это вздоръ, ничего, — вѣдь поэты позволяютъ себѣ разныя эпотическія вольности — и у Пушкина ихъ много... Однако... (Лермонтовъ на минуту задумался)... дай-ка я попробую передѣлать этотъ стихъ.

Онъ взялъ листокъ со стихами, подошелъ къ высокому фантастическому столу Краевскаго съ выемкой, обмакнулъ перо и задумался...

Такъ прошло минутъ пять. Мы молчали.

Наконецъ Лермонтовъ бросилъ съ досадой перо и сказалъ:

— Нѣтъ, ничего нейдетъ въ голову. Печатай такъ, какъ есть. Сойдетъ съ рукъ...

Въ другой разъ я засталъ Лермонтова у Краевскаго въ сильномъ волненіи. Онъ былъ взбѣшенъ за напечатаніе, безъ его спроса, «Казначейши» въ «Современникѣ», издававшемся Плетневымъ. Онъ держалъ тоненькую розовую книжечку «Современника» въ рукѣ и покушался было разодрать ее, но Краевскій не допустилъ его до этого.

— Это чортъ знаетъ что такое! позволительно ли дѣлать такія вещи! говорилъ Лермонтовъ, размахивая книжечкою. — Это ни на что не похоже!

Онъ подсѣлъ къ столу, взялъ толстый красный карандашъ и на оберткѣ «Современника», гдѣ была напечатана его «Казначейша», набросалъ какую-то каррикатуру.

Вѣроятно, этотъ нумеръ «Современника» сохраняется у Краевскаго въ воспоминаніе о поэтѣ.

Я также встрѣтился у Краевскаго съ Лермонтовымъ въ день его дуэли съ сыномъ г. Баранта, находившимся тогда при французскомъ посольствѣ въ Петербургѣ... Лермонтовъ пріѣхалъ послѣ дуэли прямо къ Краевскому и показывалъ намъ свою царапину на рукѣ. Они дрались на шпагахъ. Лермонтовъ въ это утро былъ необыкновенно веселъ и разговорчивъ. Если я не ошибаюсь, тутъ былъ и Бѣлинскій.

Бѣлинскій встрѣчался у Краевскаго съ Лермонтовымъ. Бѣлинскій пробовалъ было не разъ заводить съ нимъ серьёзный разговоръ, но изъ этого никогда ничего не выходило. Лермонтовъ всякій разъ отдѣлывался шуткой или просто прерывалъ его, а Бѣлинскій приходилъ въ смущеніе.

— Сомнѣваться въ томъ, что Лермонтовъ уменъ, говорилъ Бѣлинскій:—было бы довольно странно; но я ни разу не слыхалъ отъ него ни одного дѣльнаго и умнаго слова. Онъ, кажется, нарочно щеголяетъ свѣтскою пустотою.

И дѣйствительно, Лермонтовъ какъ-будто щеголялъ ею, примѣшивая къ ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитыя шуточки и улыбочки, желаніе показать презрѣніе къ жизни, а иногда даже и задорливость бретера. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если онъ не изобразилъ въ Печоринѣ самого себя, то покрайней-мѣрѣ— идеалъ, сильно тревожившій его въ то время и на который онъ очень желалъ походить.

Когда онъ сидѣлъ въ ордонансгаузѣ послѣ дуэли съ Барантомъ, Бѣлинскій навѣстилъ его; онъ провелъ съ нимъ часа четыре, глазъ на глазъ, и отъ него прямо пришелъ ко мнѣ.

Я взглянулъ на Бѣлинскаго и тотчасъ увидѣлъ, что онъ въ необыкновенно пріятномъ настроеніи духа. Бѣлинскій, какъ я замѣтилъ уже, не могъ скрывать своихъ ощущеній и впечатлѣній и никогда не драпировался. Я не встрѣчалъ человѣка естественнѣе, проще и откровеннѣе его. Въ этомъ отношеніи онъ былъ совершенный контрастъ Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? спросилъ Бѣлинскій.

— Откуда?

— Я былъ въ ордонансгаузѣ у Лермонтова, и попалъ очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, въ пер-

вый разъ я видѣлъ этого человѣка настоящимъ человѣкомъ!!.. Вы знаете мою свѣтскость и ловкость: я взошелъ къ нему и сконфузился, по обыкновенію. Думаю себѣ: ну, зачѣмъ меня принесла къ нему нелегкая? Мы едва знакомы, общихъ интересовъ у насъ никакихъ, я буду его женировать, онъ меня... Что еще связываетъ насъ немного, — такъ это любовь къ искусству, но онъ не подается на такіе разговоры... Я, признаюсь, досадовалъ на себя и рѣшился пробыть у него не больше четверти часа. Первыя минуты мнѣ было неловко, но потомъ у насъ завязался какъ-то разговоръ объ англійской литературѣ и Вальтеръ-Скоттѣ... «Я не люблю Вальтеръ-Скотта, — сказалъ мнѣ Лермонтовъ, — въ немъ мало поэзіи. Онъ сухъ.» И онъ началъ развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрѣлъ на него—и не вѣрилъ ни глазамъ, ни ушамъ своимъ. Лицо́ его приняло натуральное выраженіе, онъ былъ въ эту минуту самимъ собою... Въ словахъ его было столько истины, глубины и простоты! Я въ первый разъ видѣлъ настоящаго Лермонтова, какимъ я всегда желалъ его видѣть. И онъ перешелъ отъ Вальтеръ-Скотта къ Куперу и говорилъ о немъ съ жаромъ, доказывалъ, что въ Куперѣ несравненно болѣе поэзіи, чѣмъ въ Вальтеръ-Скоттѣ, и доказывалъ это съ тонкостью, съ умомъ—и что удивило меня—даже съ увлеченіемъ. Боже мой! Сколько эстетическаго чутья въ этомъ человѣкѣ! Какая нѣжная и тонкая поэтическая душа въ немъ!.. Не даромъ же меня такъ тянуло къ нему. Мнѣ наконецъ удалось-таки его видѣть въ настоящемъ свѣтѣ. А вѣдь чудакъ. Онъ, я думаю, раскаявается, что допустилъ себя хотя на минуту быть самимъ собою,—я увѣренъ въ этомъ...

Въ матеріалахъ для біографіи, во 2-й части Сочиненій Лермонтова, Дудышкинъ говоритъ:

«Въ 1840 году, когда Лермонтовъ сидѣлъ уже подъ арестомъ за дуэль, онъ познакомился съ Бѣлинскимъ. Бѣлинскій навѣстилъ его, и съ тѣхъ поръ *дружескія отношенія ихъ не прерывались*».

Это несправедливо. Бѣлинскій послѣ возвращенія Лермонтова съ Кавказа, зимою 1841 года, нѣсколько разъ видѣлся съ нимъ у Краевскаго и у Одоевскаго, но между ними не только не было никакихъ дружескихъ отношеній, а и серьёзный разговоръ уже не возобновлялся болѣе.

Странные и забавные отзывы слышатся до-сихъ-поръ о Лермонтовѣ. «Что касается его таланта — объ этомъ и говорить нечего, но онъ былъ пустой человѣкъ, и, притомъ, не добраго сердца».

И вслѣдъ затѣмъ приводятся, обыкновенно, доказательства этого — различные анекдоты о немъ во время пребыванія его въ Юнкерской школѣ и Гусарскомъ полку.

Какъ же соединить эти два понятія о Лермонтовѣ-человѣкѣ и о Лермонтовѣ-писателѣ.

Какъ писатель, онъ поражаетъ прежде всего умомъ смѣлымъ, тонкимъ и пытливымъ: его міросозерцаніе уже гораздо шире и глубже Пушкина — въ этомъ почти всѣ согласны. Онъ далъ намъ такія произведенія, которыя обнаруживали въ немъ громадные задатки для будущаго. Онъ не могъ обмануть надеждъ, возбужденныхъ имъ, и если бы не смерть, такъ рано прекратившая его дѣятельность, онъ, можетъ быть, занялъ бы первое мѣсто въ исторіи русской литературы... Отчего же большинству своихъ знакомыхъ онъ казался пустымъ и чуть не дюжиннымъ человѣкомъ, да еще съ злымъ сердцемъ? Съ перваго раза это кажется страннымъ.

Но это большинство его знакомыхъ состояло или изъ людей свѣтскихъ, смотрящихъ на все съ легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрѣнія, или изъ тѣхъ мелкоплавающихъ мудрецовъ-моралистовъ, которые схватываютъ только одни внѣшнія явленія и по этимъ внѣшнимъ явленіямъ и поступкамъ произносятъ о человѣкѣ рѣшительные и окончательные приговоры.

Лермонтовъ былъ неизмѣримо выше среды, окружавшей его, и не могъ серьёзно относиться къ такого рода людямъ. Ему, кажется, были особенно досадны послѣдніе — эти тупые мудрецы, важничающіе своею дѣльностью и разсудочностью и невидящіе далѣе своего носа. Есть какое-то наслажденіе (это очень понятно) казаться самымъ пустымъ человѣкомъ даже мальчишкой и школьникомъ, передъ такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, дѣйствительнымъ наслажденіемъ. Онъ не отыскивалъ людей равныхъ себѣ по уму и по мысли внѣ своего круга. Натура его была слишкомъ горда для этого, онъ былъ весь глубоко сосредоточенъ въ самомъ себѣ и не нуждался въ посторонней опорѣ.

Конечно, отчасти предразсудки среды, въ которой Лермонтовъ выросъ и воспитывался, отчасти увлеченія молодости и истекавшее отсюда его желаніе эффектно драпироваться въ байроновскій плащъ, непріятно дѣйствовали на многихъ, дѣйствительно серьёзныхъ людей, и придавали иногда Лермонтову непріятный, неестественный колоритъ. Но можно ли строго судить за это Лермонтова? Онъ умеръ еще такъ молодъ. Смерть вдругъ прекратила его дѣятельность въ то время, когда въ немъ совершалась страшная внутренняя борьба съ самимъ собою, изъ которой онъ вѣроятно вышелъ бы побѣдителемъ и вынесъ бы простоту въ обращеніи съ людьми, твердыя и прочныя убѣжденія...

Появленіе Лермонтова въ первыхъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ», безъ сомнѣнія, много способствовало успѣху журнала; но безъ критики, какъ бы не былъ блистателенъ его беллетристическій отдѣлъ, онъ не могъ идти. Это сознавалъ Краевскій и потому тайно принималъ мѣры обезпечить себя относительно этого предмета.

Въ началѣ 1839 года, я, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, прожилъ у Краевскаго нѣсколько дней... Разъ утромъ, это было, если я не ошибаюсь, въ концѣ февраля мѣсяца, въ квартирѣ Краевскаго послышался сильный звонокъ... Краевскій вышелъ въ залу, чтобы посмотрѣть, кто звонитъ. Онъ заглянулъ въ переднюю, и вдругъ бросился туда и въ одно мгновеніе очутился въ объятіяхъ человѣка, только-что освободившагося отъ шубы, съ радостнымъ крикомъ:

— Василій Степанычъ! Любезнѣйшій Василій Степановичъ! наконецъ-то!

Это былъ Межевичъ, давно ожидаемый критикъ, выписанный Краевскимъ изъ Москвы... Межевичъ былъ старый московскій знакомый Краевскаго. Онъ былъ, кажется, учителемъ въ томъ пансіонѣ, который содержала мать Краевскаго. Межевичъ печаталъ въ «Телескопѣ» какія-то статейки по части теоріи словесности, очень нравившіяся многимъ. Краевскій, вѣроятно, заключилъ по этимъ статейкамъ, что Межевичъ долженъ имѣть критическое дарованіе.

Они вошли въ залу рука объ руку.

Краевскій представилъ насъ другъ другу.

Межевичъ былъ небольшаго роста, бѣлокуръ, съ незна-

чительными чертами, съ мутными подслѣповатыми глазами и въ очкахъ, которые онъ поправлялъ безпрестанно. Въ манерахъ его было что-то нерѣшительное и даже робкое, говорилъ онъ не совсѣмъ складно даже о самыхъ обыкновенныхъ предметахъ. Въ его движеніяхъ, словахъ, взглядахъ была такая неувѣренность въ самомъ себѣ, которая даже возбуждала состраданіе. Межевичъ имѣлъ сердце мягкое, расплывавшееся, характеръ совершенно слабый и мелкій. Онъ чувствовалъ боязнь къ уму, къ убѣжденіямъ, ко всякой моральной силѣ, и впослѣдствіи почти тайкомъ ускользнулъ изъ редакціи «Отечественныхъ Записокъ», сошелся съ Булгаринымъ, началъ писать статейки въ «Пчелу», вдался въ мелкую литературу и сталъ во главѣ ея въ «Репертуарѣ», и наконецъ добился редакторства «Полицейскихъ Вѣдомостей»... Въ этомъ послѣднемъ пріютѣ онъ нравственно упадалъ съ каждымъ днемъ, сдружился съ Смирновскимъ (сочинявшимъ безграмотныя статьи лакейскимъ слогомъ) и дошелъ до гимновъ кондитеру Излеру, который открылъ увеселительное заведеніе на «Минеральныхъ водахъ».

Вотъ каковъ былъ выборъ Краевскаго, вотъ кому ввѣрилъ онъ критическій отдѣлъ своего журнала, вотъ кого предпочелъ онъ Бѣлинскому!

Я былъ свидѣтелемъ приготовленія Межевича къ критическимъ дебютамъ въ «Отечественныхъ Запискахъ».

Мы писали съ нимъ въ одной комнатѣ, на квартирѣ Краевскаго: онъ — разборъ какой-то книжки, я — конецъ повѣсти «Дочь чиновнаго человѣка» для 4 № «Отечественныхъ Записокъ».

Межевичу, кажется, не легко доставались его критическія статейки: онъ морщился, грызъ перо, поправлялъ очки, прохаживался въ размышленіи по комнатѣ, выжималъ послѣ этого изъ себя нѣсколько строчекъ, и снова начиналъ мучиться.

На процедуру его писанія было смотрѣть тяжело.

Надежды, возложенныя Краевскимъ на Межевича, должны были рухнуть очень скоро. Но я не буду забѣгать впередъ.

Петербургская литература и журналистика, по мѣрѣ того, какъ я сближался съ нею, теряла для меня ту прелесть, въ которой она представлялась мнѣ нѣкогда издалека. Я уже смотрѣлъ на литературныхъ дѣятелей, какъ на простыхъ смертныхъ; я видѣлъ, толкаясь за литературными кулисами,

какія мелкія человѣческія страстишки: самолюбіе, корыстолюбіе, зависть, двигали тѣми, которыхъ я считалъ за полубоговъ... Статьи Бѣлинскаго въ «Телескопѣ», въ «Молвѣ», повѣсти Гоголя въ его «Миргородѣ», стихотворенія Лермонтова начинали нѣсколько расширять мой горизонтъ, они повѣяли на меня свѣжею, новою жизнію, заставляли биться сердце мое предчувствіемъ чего-то лучшаго. Статьи Бѣлинскаго начинали будить во мнѣ чувство человѣческаго достоинства и колебать мою тупую вѣру въ литературные авторитеты и мой раболѣпный страхъ передъ ними. Я уже иногда задумывался надъ такими явленіями, которыя прежде не возбуждали во мнѣ ни малѣйшей думы; начиналъ вглядываться въ лица, окружавшія меня; сомнѣніе нѣсколько начинало тревожить меня и мнѣ уже какъ-то не хотѣлось принимать на вѣру и безусловно разные жизненные факты, которымъ я привыкъ подчиняться съ дѣтства, вслѣдствіе домашней и школьной рутины. Но всѣ эти признаки пробуждающагося сознанія еще проявлялись во мнѣ очень блѣдно и слабо.

Мысль, что искусство должно служить самому себѣ, что оно составляетъ отдѣльный, независимый свой міръ, что чѣмъ художникъ является безучастнѣе въ своихъ произведеніяхъ, или чѣмъ объективнѣе, какъ выражались тогда, тѣмъ онъ выше—эта мысль была самою рельефною и господствующею въ литературѣ тридцатыхъ годовъ. Пушкинъ развивалъ ее въ своихъ звучныхъ, гармоническихъ стихахъ и довелъ ее до вопіющаго эгоизма въ своемъ стихотвореніи: «Поэтъ и Чернь», которое всѣ мы декламировали съ восторгомъ и считали чуть ли не лучшимъ изъ его лирическихъ стихотвореній. Всѣ замѣчательные литературные дѣятели тогдашняго времени вслѣдъ за Пушкинымъ и кипѣвшая около нихъ молодежь — были ревностными, горячими защитниками искусства для искусства.

Въ послѣдніе годы жизни Пушкина, и еще рѣзче послѣ его смерти, Кукольникъ, принадлежавшій также къ поклонникамъ этой теоріи, проповѣдывалъ еще о томъ, что истинное искусство не должно обращать вниманія на обыденную, современную, пошлую жизнь, что оно должно парить высоко и изображать только героическія, историческія и артистическія личности. Отсюда народились длинныя и скучнѣйшія драмы съ художниками, холодныя внутри, какъ ледъ, но съ

клокочущими на поверхности страстями, огромныхъ размѣровъ картины, съ эффектными освѣщеніями, — и чѣмъ длиннѣе и скучнѣе была драма, чѣмъ больше холстъ, на которомъ была написана картина, тѣмъ болѣе удивлялись поэту или художнику. Любимыми темами не только для драмъ, но и для повѣстей сдѣлались артисты. Кукольникъ въ своихъ пяти-актныхъ драмахъ, Полевой въ своихъ многотомныхъ романахъ представляли различныхъ артистовъ и художниковъ въ апоѳеозѣ. Кукольникъ кромѣ того еще пустилъ въ ходъ патріотическія драмы съ трескучими фразами, въ которыхъ нѣмцевъ выбрасывали изъ оконъ, при дикихъ крикахъ и рукоплесканіяхъ райка, и развивалъ этими произведеніями нелѣпую самоувѣренность, которая впослѣдствіи стоила намъ такъ дорого, что русскіе могутъ весь міръ закидать однѣми шапками. Полевой соперничалъ съ нимъ въ такомъ патріотизмѣ и еще придавалъ ему пошлый, сантиментальный колоритъ. Оба они наперерывъ другъ у друга пожинали сценическіе лавры.. Все это было однако до такой степени лицемѣрно и фальшиво, что не могло долго держаться...

Петербургская журналистика представляла также не совсѣмъ привлекательное зрѣлище. Полевой являлся уже совершенно безцвѣтнымъ и выдохшимся въ «Сынѣ Отечества», съ появленіемъ каждаго нумера теряя свой нравственный кредитъ... Сенковскій, для котораго искусство существовало только какъ средство забавлять публику, въ концѣ тридцатыхъ годовъ началъ повторяться. Его шуточки и остроты теряли привлекательность новости. О Булгаринѣ и другихъ журналистахъ говорить нечего. Фразы Кукольника и его поклонниковъ о *святынѣ искусства* не производили уже никакого впечатлѣнія. Второстепенные петербургскіе литераторы писали такъ только, по рутинѣ и для собственнаго удовольствія, подражая первостепеннымъ и не заботясь ни о какихъ вопросахъ и теоріяхъ, даже о теоріи искусства для искусства.

Тоска и апатія невольно овладѣвала въ такой средѣ... Ни живаго слова, ни живаго звука при литературныхъ сходкахъ, или однѣ и тѣ же фразы объ искусствѣ, которыя всѣмъ прискучили и повторялись уже вяло, или литературныя сплетни, выводившія литераторовъ изъ апатіи и оживлявшія на минуту.

Все это значительно охладило меня къ петербургской ли-

тературѣ, даже имя Пушкина уже не такъ электризовало меня, какъ прежде. Его *русскія сказки* и *Анджело* непріятно подѣйствовали на всѣхъ его многочисленныхъ и восторженныхъ поклонниковъ; его «Современникъ» былъ довольно холодно принятъ и въ литературѣ, и въ публикѣ *). Большинство говорило, что поэту не слѣдовало пускаться въ журналистику, что это не его дѣло. Начинали поговаривать, но еще робко, что Пушкинъ старѣетъ, останавливается, что его принципы и воззрѣнія обнаруживаютъ недоброжелательство къ новому движенію, къ новымъ идеямъ, которыя проникали къ намъ изъ Европы, медленно, но все-таки проникали, возбуждая горячее сочувствіе въ молодомъ поколѣніи... И несмотря на то, что въ художественномъ отношеніи Пушкинъ достигалъ совершенства съ каждымъ новымъ своимъ произведеніемъ, молодое поколѣніе начинало замѣтно охлаждаться къ поэту, и только неожиданная и трагическая смерть его возвратила ему общее горячее сочувствіе...

Въ обществѣ неопредѣленно и смутно уже чувствовалась потребность новаго слова, и обнаруживалось желаніе, чтобы литература снизошла съ своихъ художественныхъ высотъ къ дѣйствительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участіе въ общественныхъ интересахъ. Художники и герои съ реторическими фразами всѣмъ страшно прискучили. Намъ хотѣлось видѣть человѣка, а въ особенности *русскаго человѣка*. И въ эту минуту вдругъ является Гоголь, огромный талантъ котораго первый угадываетъ Пушкинъ своимъ художественнымъ чутьемъ и котораго уже совсѣмъ не понимаетъ Полевой, на котораго еще все смотрѣли въ то время какъ на передоваго человѣка.

«Ревизоръ» Гоголя имѣлъ успѣхъ колоссальный, но въ первыя минуты этого успѣха никто даже изъ самыхъ жаркихъ поклонниковъ Гоголя не понималъ вполнѣ значенія этого произведенія и не предчувствовалъ, какой огромный переворотъ долженъ совершить авторъ этой комедіи. Кукольникъ послѣ представленія «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая таланта въ Гоголѣ, замѣчалъ: «а все-таки это фарсъ, недостойный искусства».

---

*) Одна только статья Гоголя въ № 1 «Современника», «о движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 году», надѣлала большаго шуму въ литературѣ и произвела очень благопріятное впечатлѣніе на публику.

Вслѣдъ за Гоголемъ появляется Лермонтовъ. Бѣлинскій своими рѣзкими и смѣлыми критическими статьями возбуждаетъ негодованіе литературныхъ аристократовъ и всѣхъ отсталыхъ и отживающихъ литераторовъ, и возбуждаетъ горячую симпатію въ новомъ поколѣніи...

Новый, свѣжій духъ повѣялъ въ литературѣ...

Кольцовъ, какъ я уже говорилъ, возбудилъ во мнѣ непреодолимое желаніе познакомиться съ Бѣлинскимъ, съ которымъ я уже былъ въ перепискѣ, и съ его друзьями...

Случай къ этому скоро представился... По нѣкоторымъ домашнимъ обстоятельствамъ, я долженъ былъ уѣхать на время изъ Петербурга...

Я написалъ письмо къ Бѣлинскому, что скоро надѣюсь его видѣть... и съ трепетнымъ наслажденіемъ приготовлялся къ минутѣ этого свиданія...

Я выѣхалъ изъ Петербурга 9-го апрѣля 1839 года.

Въ Москвѣ, кромѣ Бѣлинскаго, ожидало меня знакомство съ Грановскимъ, Аксаковыми, Хомяковымъ, Кудрявцевымъ, Коршемъ (Е. Ѳ.), Катковымъ, Бакунинымъ, Боткинымъ (В. П.), Клюшниковымъ (печатавшимъ свои стихотворенія подъ буквою —Ѳ— въ «Наблюдателѣ» Бѣлинскаго и потомъ въ «Отечественныхъ Запискахъ»)... Я вступалъ въ новую среду, не имѣвшую ничего общаго съ описанною мною... Этой средѣ я обязанъ всѣмъ. Въ ней начала пробуждаться и развиваться моя мысль, въ ней я получилъ полное сознаніе чувства человѣческаго достоинства и пріобрѣлъ тѣ убѣжденія, которыя осмыслили мою жизнь... До знакомства моего съ Бѣлинскимъ и его друзьями я толкался безсмысленно и безсознательно въ литературѣ и обществѣ... Имъ, кромѣ моего развитія, я обязанъ самыми лучшими, самыми счастливыми минутами въ моей жизни.

Но о нихъ я буду говорить во второй части моихъ «Литературныхъ Воспоминаній».

Я подхожу къ времени уже слишкомъ близкому къ намъ, и потому продолжать мои «Воспоминанія» въ послѣдовательномъ порядкѣ—не нахожу возможнымъ. Изъ второй части я представлю впрочемъ нѣсколько отрывковъ о Грановскомъ, Бѣлинскомъ, Гоголѣ, Аксаковѣ и Загоскинѣ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

отъ 1839 до 1847 года.

ГЛАВА I.

Москва.—Знакомство съ кружкомъ Бѣлинскаго.—Семейство С. Т. Аксакова.—Бѣлинскій и Константинъ Аксаковъ.— Обѣды и вечера у Аксаковыхъ. — И. Е. Великопольскій. — Балъ, данный имъ на Прѣсненскихъ прудахъ, и иллюминація.—М. Н. Загоскинъ.—Обѣдъ у него.—Моя поѣздка съ нимъ на Воробьевы горы.—Мочаловъ въ «Гамлетѣ» и «Отелло».—Странное предложеніе Погодина.—Вечера у Мельгунова.—Стихи Хомякова и отрывокъ изъ письма ко мнѣ Краевскаго по ихъ поводу. — Павловъ и Хомяковъ, разсуждающіе о Милькѣевѣ. — Чтеніе «Тоски по родинѣ» у Аксаковыхъ.—Моя статейка о Москвѣ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду».—Разговоръ мой съ К. С. Аксаковымъ на берегу Москвы-рѣки у Драгомиловскаго моста.

. . . . . .

. . . Всякій разъ, когда я выѣзжалъ изъ Петербурга — мнѣ становилось легче. Я родился и провелъ большую часть моей жизни въ Петербургѣ, но никогда не чувствовалъ къ нему особенной привязанности... Въ Москвѣ я бывалъ нѣсколько разъ ненадолго, проѣздомъ. Москва всегда нравилась мнѣ своею картинностью и оригинальностью. Въ этотъ разъ она еще привлекала меня къ себѣ разсказами Кольцова о кружкѣ Бѣлинскаго...

Когда я подъѣзжалъ къ Москвѣ, 13-го апрѣля 1839 года, сердце мое билось сильно и радостно при мысли, что я черезъ нѣсколько часовъ увижу Бѣлинскаго...

Я сошелся съ Бѣлинскимъ и его друзьями въ тотъ моментъ, когда они на пути своего развитія, запутавшись въ гегелевскихъ опредѣленіяхъ и формахъ, отыскивали примиренія во всемъ — и въ литературѣ, и въ жизни, примиренія во что бы то ни стало, и съ такими вещами, съ которыми нѣтъ возможности примиряться; когда знаменитый принципъ

искусства для искусства» — возведенъ былъ ими въ вѣчный законъ, а отрицающіе или непризнававшіе его предавались строгой опалѣ, какъ люди тупоумные, лишенные эстетическаго чувства...

Я уже говорилъ о моемъ первомъ свиданіи съ Бѣлинскимъ... Черезъ нѣсколько времени послѣ этого, я познакомился съ нѣкоторыми изъ его друзей у В. П. Боткина съ которымъ, къ сожалѣнію, Бѣлинскій былъ въ то время въ размолвкѣ . . . . . .

. . . . . Домъ Боткиныхъ расположенъ на одномъ изъ самыхъ живописныхъ мѣстъ Москвы. Изъ флигеля, выходившаго въ садъ, въ которомъ жилъ тогда Боткинъ, изъ-за кустовъ зелени открывалась часть Замоскворѣчья. Садъ былъ расположенъ на горѣ, въ серединѣ его бесѣдка, вся окруженная фруктовыми деревьями...

Въ этой-то бесѣдкѣ, въ половинѣ мая, въ теплый, солнечный день, я встрѣтилъ въ первый разъ М. Н. Каткова, только-что окончившаго курсъ въ университетѣ, но еще студентомъ сблизившагося съ Бѣлинскимъ и его друзьями, которые видѣли въ немъ замѣчательное литературное дарованіе и большое расположеніе къ философскимъ занятіямъ, —Ѳ— (И. П. Клюшникова) и Бакунина. Бакунинъ былъ въ своемъ кружкѣ пропагандистомъ нѣмецкой философіи вообще и Гегеля въ особенности. Умъ въ высшей степени спекулятивный, способный проникать во всѣ философскія тонкости и отвлеченія, Бакунинъ владѣлъ при этомъ удивительною памятью и діалектическимъ даромъ. Передъ силой его діалектики всѣ склонялись невольно. Вооруженный ею, онъ самовластно дѣйствовалъ на свой кружокъ и безусловно парилъ надъ нимъ. Его атлетическая наружность, большая львиная голова съ густыми и вьющимися волосами, взглядъ смѣлый, пытливый и въ то же время безпокойный—все это еще болѣе придавало ему значеніе и вѣсу. Онъ съ какимъ-то ожесточеніемъ бросался на каждое новое лицо—и сейчасъ же посвящалъ его въ философскія таинства. Въ этомъ было что-то комическое, потому-что онъ не разбиралъ, приготовлено или нѣтъ это лицо къ воспринятію проповѣдуемыхъ имъ отвлеченностей. Вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ, онъ пришелъ ко мнѣ и

цѣлое утро толковалъ мнѣ, кажется, *о примиреніи* и *о прекраснодушіи* на совершенно непонятномъ для меня философскомъ языкѣ. Утро было жаркое, потъ лился съ меня градомъ, я усиливался понять хоть что-нибудь, но къ моему отчаянію, не понималъ ничего, стыдясь впрочемъ признаться въ этомъ. Бѣлинскій, уже освоившійся съ философской терминологіей, схватывалъ на-лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакунинымъ, и развивалъ ихъ впослѣдствіи плодотворною силою своего ума, въ своихъ критическихъ статьяхъ. Всѣ принадлежавшіе къ кружку были въ то время свѣжи, молоды, полны энергіи, любознательности, всѣ съ жаждою наслажденія погружались или пробовали погружаться въ философскія отвлеченности,—одинъ разбиралъ не безъ труда Гегелеву логику, другой—читалъ не безъ усилія его эстетику, третій — изучалъ его феноменологію духа,—всѣ сходились почти ежедневно и сообщали другъ другу свои открытія, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Надъ этимъ кружкомъ невидимо парила еще тѣнь Станкевича. Каждый благоговѣйно вспоминалъ о немъ; у Бѣлинскаго слезы дрожали на глазахъ, когда онъ разсказывалъ мнѣ о немъ и знакомилъ меня съ его нѣжною, тонкою, симпатическою личностью... «Станкевичъ былъ душою, жизнью нашего кружка,—прибавлялъ онъ въ заключеніе,—теперь ужъ не то... Самое цвѣтущее время нашего кружка прошло! Онъ своею личностью одушевлялъ и поддерживалъ насъ. Бакунинъ, какъ ни уменъ, но онъ не можетъ замѣнить Станкевича».

Вліяніе Станкевича на Бѣлинскаго было глубоко и сильно. Бѣлинскій всегда сознавался въ этомъ.—Первыя критическія статьи его, гдѣ выражался его взглядъ на искусство и на жизнь вообще, писаны безъ всякаго сомнѣнія подъ вліяніемъ Станкевича. «Въ письмахъ Станкевича, — говоритъ Анненковъ,—можно найти намеки на всѣ вопросы, занимавшіе потомъ Бѣлинскаго и болѣе или менѣе приближенные имъ къ разрѣшенію»... Станкевичъ своей кроткой примиряющей натурой нѣсколько смягчалъ и сдерживалъ кипучую натуру Бѣлинскаго и поощрялъ его къ изученію языковъ, особенно нѣмецкаго. Онъ предугадывалъ въ Бѣлинскомъ сильнаго литературнаго бойца и хотѣлъ расширить его міросозерцаніе, но очень, повидимому, боялся его, какъ онъ полагалъ, *излишней*

энергіи... «Будь чѣмъ хочешь—хоть журналистомъ, хоть альманашникомъ (писалъ онъ къ нему въ 1836 году)—все будетъ хорошо, *только будь посмирнѣе*».

Развитію Бѣлинскаго способствовало, кромѣ Станкевича и Бакунина, семейство послѣдняго, въ которомъ Станкевичъ и Бѣлинскій были приняты дружески. Это замѣчательное семейство, состоявшее изъ нѣсколькихъ сестеръ и братьевъ, принадлежало къ исключительнымъ, небывалымъ явленіямъ русской жизни. Оно имѣло полу-философскій, полу-мистическій нѣмецкій колоритъ, судя по разсказамъ Бѣлинскаго и его друзей. Одна изъ сестеръ Бакунина, подъ вліяніемъ мистическаго экстаза, доходила, говорятъ, иногда даже до видѣній. Бакунинъ имѣлъ, конечно, неограниченное вліяніе на своихъ сестеръ и братьевъ.

На Бѣлинскаго, никогда не бывавшаго ни въ какомъ женскомъ обществѣ, такое семейство должно было произвести съ самаго начала сильное впечатлѣніе. Въ сестрахъ Бакунина его поразилъ прежде всего ихъ пытливый взглядъ на жизнь, ихъ стремленіе доискиваться разрѣшенія самыхъ отвлеченныхъ вопросовъ и то нервическое раздраженіе, происходившее отъ мистическаго настроенія, которое онъ принималъ за поэзію.

Бѣлинскій впрочемъ, кажется, не долго находился подъ этимъ обаяніемъ. Онъ увлекался безпрестанно, но тотчасъ же отрывался, хотя не безъ боли, отъ своихъ увлеченій. Въ то время, когда я съ нимъ сошелся, онъ говорилъ о семействѣ Бакунина съ большимъ уваженіемъ и съ большою симпатіею, но уже ясно видѣлъ то болѣзненное направленіе, которому отдались сёстры Бакунина.

«Слава Богу, я теперь отрезвился, — говорилъ онъ мнѣ (это было послѣ его послѣдняго пріѣзда изъ деревни Бакунина), отдѣлался отъ прекраснодушія и мистическихъ бредней, начинаю дышать легче и свободнѣе и вижу все яснѣе».

Бѣлинскій и не подозрѣвалъ въ эту минуту, какимъ болѣзненнымъ направленіемъ былъ одержимъ онъ самъ и какой туманъ застилалъ глаза его.

Къ числу друзей Бѣлинскаго принадлежалъ въ это время и Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ.

Я не былъ знакомъ съ семействомъ Аксаковыхъ, но между нами существовала нѣкоторая связь. Сергѣй Тимоѳеичъ Акса-

ковъ воспитывался въ Казанскомъ университетѣ вмѣстѣ съ моимъ отцомъ и дядею, съ которыми онъ былъ очень близокъ, особенно съ послѣднимъ... (Онъ часто вспоминаетъ о нихъ, разсказывая о своей гимназической и университетской жизни). Я зналъ это, и черезъ два дня послѣ пріѣзда моего счелъ долгомъ отрекомендоваться Сергѣю Тимоѳеичу. Я отправился къ нему также четверней на выносъ, какъ и къ Бѣлинскому.

Сергѣй Тимоѳеичъ Аксаковъ и сынъ его, Константинъ, приняли меня съ необыкновеннымъ радушіемъ. Сергѣй Тимоѳеичъ былъ большой хлѣбосолъ и гордился этою московскою добродѣтелью. Аксаковы жили тогда въ большомъ отдѣльномъ, деревянномъ домѣ, на Смоленскомъ рынкѣ. Для многочисленнаго семейства Аксакова требовалась многочисленная прислуга. Домъ его былъ биткомъ набитъ дворнею. Это была уже не городская жизнь въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ теперь, а патріархальная, широкая, помѣщичья жизнь, перенесенная въ городъ. Такую жизнь можно еще, я думаю, и до-сихъ-поръ видѣть въ Москвѣ. Домъ Аксакова и снаружи и внутри, по устройству и расположенію, совершенно походилъ на деревенскіе барскіе дома; при немъ были: обширный дворъ, людскія, садъ и даже бани въ саду. Константинъ Аксаковъ помѣщался на верху, въ мезонинѣ.

Сергѣю Тимоѳеичу Аксакову было въ это время съ небольшимъ 50 лѣтъ. Онъ былъ высокъ ростомъ, крѣпкаго сложенія и не обнаруживалъ еще ни малѣйшихъ признаковъ старости. Выраженіе лица его было необыкновенно симпатично, онъ говорилъ всегда звучно и сильно, но голосъ его превращался въ голосъ Стентора, когда онъ декламировалъ стихи, а декламировать онъ былъ величайшій охотникъ. Любимымъ занятіемъ его было уженье, и онъ очень часто съ ночи отправлялся удить въ окрестности Москвы. По вечерамъ онъ любилъ играть въ карты. Между прочими партнерами его были тогда И. Е. Великопольскій и Н. Ф. Павловъ. Тогда еще Сергѣй Тимофеичъ не пользовался тою блестящею литературною извѣстностью, которую онъ пріобрѣлъ впослѣдствіи...

Я съ перваго взгляда привязался къ Сергѣю Тимоѳеичу Аксакову, и скоро сошелся съ Константиномъ Аксаковымъ. Я былъ у Аксаковыхъ почти всякій день и, кромѣ того, часто встрѣчался съ Константиномъ Аксаковымъ у Бѣлинскаго.

Бѣлинскій былъ нѣкогда довольно коротокъ въ домѣ Аксаковыхъ, но передъ моимъ пріѣздомъ въ Москву между нимъ и этимъ семействомъ произошло какое-то недоразумѣніе, размолвка. Бѣлинскій говорилъ мнѣ, что его не совсѣмъ жалуетъ г-жа Аксакова и не очень пріятно смотритъ на его дружбу съ Константиномъ. Константинъ Аксаковъ отстаивалъ однако Бѣлинскаго долго отъ нападковъ своей матушки. Бѣлинскій въ это время заходилъ только къ Константину Аксакову, въ мезонинъ, и очень рѣдко спускался внизъ...

Константинъ Аксаковъ былъ такого же атлетическаго сложенія, какъ и отецъ, только пониже ростомъ. Его открытое, широкое, некрасивое, нѣсколько татарское лицо имѣло междутѣмъ что-то привлекательное; въ его нѣсколько неуклюжихъ движеніяхъ, въ его манерѣ говорить (онъ говорилъ о любимыхъ своихъ предметахъ на-распѣвъ), во всей его фигурѣ выражалась честность, прямота, твердость и благородство; въ его маленькихъ глазахъ сверкало то безконечное добродушіе, то ничѣмъ непреодолимое упорство... Его привязанность къ Москвѣ доходила до фанатизма; впослѣдствіи его любовь къ великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей въ узкій эгоизмъ. Онъ любилъ не человѣка, а исключительно русскаго человѣка, да и то такого только, который родился на Москвѣ-рѣкѣ или на Клязьмѣ. Русскихъ, имѣвшихъ несчастіе родиться на берегу Финскаго залива, онъ уже не признавалъ русскими.

Въ ту минуту, когда я познакомился съ нимъ, онъ еще впрочемъ не дошелъ до этого забавнаго отрицанія и до этой нелѣпой исключительности. Славянофилизмъ только еще зарождался тогда, и Константинъ Аксаковъ стоялъ на полдорогѣ между Бѣлинскимъ и Хомяковымъ, съ каждымъ днемъ впрочемъ болѣе наклоняясь къ послѣднему; между «Московскимъ Наблюдателемъ» Бѣлинскаго, въ которомъ онъ принималъ участіе, и между «Москвитяниномъ» Шевырева и Погодина, на который онъ начиналъ смотрѣть съ участіемъ...

Единственною нитью, соединявшею Константина Аксакова съ Бѣлинскимъ и его друзьями, была философія Гегеля, которая имѣла большое вліяніе на Аксакова, и общій взглядъ ихъ на искусство, съ точки зрѣнія этой философіи. Впослѣдствіи, когда уже не исключительно одно искусство, а и

общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партіи, Константинъ Аксаковъ совершенно и окончательно разошелся съ Бѣлинскимъ. Они очутились въ двухъ враждебныхъ лагеряхъ...

Если бы я пріѣхалъ въ Москву пятью годами позже,— нѣтъ никакого сомнѣнія, что Константинъ Аксаковъ не допустилъ бы меня до себя; но въ томъ, еще неопредѣленномъ и неустановившемся положеніи, въ какомъ онъ находился въ 1839 году, онъ искренно протянулъ мнѣ дружескую руку, несмотря на то, что я былъ рожденъ на берегу Финскаго залива. Онъ впрочемъ и тогда говорилъ мнѣ съ негодованіемъ о Петербургѣ и старался при всякомъ случаѣ возбуждать во мнѣ энтузіазмъ къ Москвѣ. Онъ останавливалъ меня передъ Иваномъ Великимъ, передъ Васильемъ Блаженнымъ, передъ царь-пушкою, передъ колоколомъ—и глазки его сверкали— онъ сжималъ мою руку своей толстой и широкой рукой... «Вотъ Русь-то, вотъ она настоящая Русь-то!» вскрикивалъ онъ пѣвучимъ голосомъ. Онъ возилъ меня въ Симоновъ и Донской монастыри, и когда я обнаруживалъ мой восторгъ отъ Москвы, восхищался ея живописностью и ея старинными церквами, — Константинъ Аксаковъ схватывалъ мою руку, жалъ мнѣ ее такъ, что я только изъ деликатности не вскрикивалъ, даже обнималъ меня и восклицалъ:

— Да! вы *нашъ*, москвичъ по сердцу!

Домъ Аксаковыхъ съ утра до вечера былъ полонъ гостями. Въ столовой ежедневно накрывался длинный и широкій семейный столъ покрайней-мѣрѣ на 20 кувертовъ. Хозяева были такъ просты въ обращеніи со всѣми посѣщавшими ихъ, такъ безцеремонны и радушны, что къ нимъ нельзя было не привязаться. Я, покрайней-мѣрѣ, полюбилъ ихъ всей душою. Между отцомъ и сыномъ существовала тогда самая нѣжнѣйшая привязанность, обратившаяся впослѣдствіи въ несокрушимую дружбу, когда отецъ подъ вліяніемъ сына постепенно принималъ его убѣжденія, со всѣми ихъ крайностями. Старикъ-Аксаковъ въ послѣдніе годы отпустилъ бороду и ходилъ въ русскомъ кафтанѣ съ косою рубашкою, какимъ онъ изображенъ въ «Портретной Галлереѣ» г-на Мюнстера. Портретъ этотъ очень удаченъ.

Константинъ Аксаковъ въ житейскомъ, практическомъ

смыслѣ оставался до сорока слишкомъ лѣтъ, то-есть до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Внѣ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятій, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ.

Бѣлинскій горячо любилъ Константина Аксакова. «Благороднѣйшій, честнѣйшій юноша — говорилъ онъ о немъ, но въ головѣ его какая-то узкость, китаизмъ, несмотря на глубокость духа, а въ характерѣ неподвижность и упрямство.»

Бѣлинскій предчувствовалъ, что они должны разойтись скоро.

. . . . . .

Въ домѣ у Аксаковыхъ я познакомился съ Н. Ф. Павловымъ, его супругою, Каролиною Карловною, урожденною Янишъ, съ М. Н. Загоскинымъ, который былъ тогда директоромъ московскихъ театровъ, и съ И. Е. Великопольскимъ...

Великопольскій имѣлъ тогда собственный домъ на Прѣсненскихъ прудахъ. Однажды онъ давалъ въ этомъ домѣ по какому-то случаю, а можетъ быть—безъ всякаго случая, балъ и пригласилъ къ себѣ всѣхъ старыхъ и новыхъ знакомыхъ и, въ томъ числѣ, меня и Бѣлинскаго. Съ Бѣлинскимъ онъ познакомился черезъ Аксаковыхъ и, зная стѣсненное положеніе Бѣлинскаго, нерѣдко помогалъ ему. Бѣлинскій намекаетъ объ этомъ въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ, напечатанныхъ мною въ «Воспоминаніяхъ» моихъ о немъ. Великопольскій, человѣкъ съ добрымъ и довѣрчивымъ сердцемъ, всю жизнь былъ увлекаемъ двумя пагубными страстями: къ картамъ и къ литературѣ; ни въ литературѣ, ни въ картахъ ему не везло. За одну изъ его драмъ цензоръ Ольдекопъ былъ отставленъ отъ должности, и благородный авторъ тотчасъ же предложилъ ему ежегодно выдавать его цензорское жалованье. Уволенный цензоръ отказался, кажется, отъ великодушнаго предложенія. Эту драму Великопольскій, въ началѣ сороковыхъ годовъ, чи-

талъ намъ въ «Отелѣ Демута». На этомъ чтеніи присутствовалъ, между прочими, и С. Т. Аксаковъ, находившійся въ то время въ Петербургѣ. Передъ чтеніемъ — слушателямъ данъ былъ роскошный обѣдъ... Чтеніе началось въ 7 часовъ и продолжалось до полуночи. Насыщенные слушатели дремали и отъ времени до времени вздрагивали. Съ лица С. Т. Аксакова, сидѣвшаго противъ самого автора, лился потъ градомъ, онъ безпрестанно вытиралъ свой лобъ и съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ упирался о спинку стула, который трещалъ при этомъ напорѣ. Когда чтеніе кончилось и Сергѣй Тимоѳеичъ всталъ со стула,—стулъ совсѣмъ развалился. Въ карты Великопольскаго объигрывалъ даже Пушкинъ, котораго всѣ объигрывали, и потому вѣроятно великій поэтъ питалъ къ Великопольскому какую-то ироническую нѣжность. Въ собраніи сочиненій Пушкина находится посланіе поэта къ Великопольскому...

Часу въ девятомъ, я отправился на балъ къ Великопольскому, вмѣстѣ съ К. С. Аксаковымъ и Бѣлинскимъ... Домъ его былъ набитъ биткомъ гостями, оркестръ гремѣлъ, танцы были во всемъ разгарѣ. Лакеи безпрестанно разносили разныя прохладительныя, конфекты и фрукты. Толпы любопытныхъ собрались у дома. Садъ на Прѣсненскихъ прудахъ былъ также наполненъ гуляющими. Бѣлинскій, К. Аксаковъ и я недолго оставались въ комнатахъ, гдѣ была нестерпимая духота. Мы пошли гулять на Прѣсненскіе пруды. Когда стемнѣло, къ изумленію нашему, часть Прѣсненскихъ прудовъ была иллюминована и импровизировалось народное гулянье. Около подъѣзда дома, на дворѣ, толпы густѣли; многіе господа, незнакомые хозяину праздника, входили безцеремонно въ домъ и угощались. Хозяинъ дома появлялся на крыльцо, разговаривалъ привѣтливо съ стоявшими тутъ и отдалъ приказаніе угощать всѣхъ лимонадомъ, оршадомъ и конфектами. Подносы появлялись даже на Прѣсненскихъ прудахъ. Изъ толпы явился какой-то поэтъ и продекламировалъ стихи въ честь великодушнаго хозяина. Все это было чрезвычайно оригинально.

— Вотъ какіе праздники даютъ у насъ въ Москвѣ! воскликнулъ К. Аксаковъ, съ торжественнымъ, сіяющимъ лицомъ обращаясь ко мнѣ:—гдѣ вы увидите что-нибудь подобное?... Не выражается ли въ этомъ широкая, размашистая

славянская натура? (и Аксаковъ при этомъ размахнулъ рукою).—Какъ не любить нашу Москву, Иванъ Ивановичъ,— не правда ли?..

Къ числу самыхъ короткихъ людей дома Аксаковыхъ принадлежалъ М. Н. Загоскинъ. Я рѣдко встрѣчалъ такихъ простосердечныхъ и добродушныхъ людей. Загоскинъ весь и всегда постоянно былъ на распашку. Его безхитростный, простой патріотизмъ часто доходилъ до комизма. Когда онъ бывалъ въ расположеніи духа, онъ говорилъ безъ умолку и разсыпалъ въ своемъ разговорѣ циническія пословицы, поговорки и выраженія, самъ восхищаясь ими и смѣясь отъ всей души. Его круглое, румяное лицо, вся его фигура, маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная, какъ-то невольно располагали къ нему... Все въ немъ было искренно до наивности. Онъ выработалъ себѣ свой взглядъ на жизнь, взглядъ нехитрый, основанный на преданіяхъ, на рутинѣ, и вполнѣ удовлетворялся имъ, отстаивая его съ презабавною горячностью. Если кто-нибудь не соглашался съ его убѣжденіемъ и оспаривалъ его, онъ выходилъ изъ себя, черные глаза его сверкали изъ-подъ очковъ и наливались кровью, онъ топалъ ножками, размахивалъ руками и отпускалъ такія словца, которыя можно только слышать на улицѣ... Новыхъ идей, проповѣдываемыхъ молодежью, онъ терпѣть не могъ. «Повѣрь мнѣ, милый, все это чепуха,—говорилъ онъ К. Аксакову,—завиральныя идеи, взятыя изъ вашей нѣмецкой философіи, которая, по-моему, и выѣденнаго яица не стоитъ... Русскій человѣкъ и безъ нѣмцевъ обойдется. То, что русскому человѣку здорово,—нѣмцу смерть. Чортъ съ нимъ, съ этимъ европеизмомъ, чтобъ ему провалиться сквозь землю! Тебя, Константинъ, я люблю за то, что ты привязанъ къ матушкѣ святой Руси. Эта привязанность вкоренилась въ тебя потому, что ты воспитывался въ честномъ, хорошемъ, русскомъ дворянскомъ семействѣ,— ну, а ужъ твои пріятели... Этихъ бы господъ я...» Загоскинъ останавливался, сжималъ руку въ кулакъ и принималъ энергическое выраженіе...

Закоскинъ разумѣлъ подъ пріятелями Аксакова въ особенности Бѣлинскаго, котораго онъ сильно недолюбливалъ. Ненависть его ко всему иностранному была забавна... «Пьютъ лафиты, — говорилъ онъ, — да разные іоганисберги и шато

д'икемы и хвастаютъ этимъ, а не знаютъ, что у насъ есть свое родное, крымское, которое ни въ чемъ не уступитъ ихъ д'икемамъ и лафитамъ».

Однажды Загоскинъ пригласилъ меня обѣдать. За обѣдомъ онъ усердно угощалъ меня краснымъ виномъ. «Каково винцо-то?—проговорилъ онъ, — букетъ-то какой!» Вино мнѣ дѣйствительно показалось недурнымъ и я похвалилъ его... «Ну, а какое это вино?» спросилъ онъ, устремляя на меня проницательный взглядъ и улыбаясь. — Я не знаю... отвѣчалъ я,—лафитъ, кажется?... «Ахъ, вы европейцы!—вскрикнулъ Загоскинъ,—лафитъ! лафитъ!... Нѣтъ, милый, я съ Депре съ вашимъ не имѣю знакомства... Это вино чисто-крымское, изъ винограда, созрѣвшаго на русской почвѣ... Чѣмъ оно хуже вашего лафита?... Да и Депре-то вашъ вѣдь надуваетъ, я думаю, васъ, онъ продаетъ вамъ въ три-дорога то же крымское, выдавая вамъ его за какой-нибудь шато-ла-розъ, а вы смакуете, да восхищаетесь, какой лафитъ! 15 р. бутылка!—а мнѣ эта бутылка стоитъ 3 р. 50 к.! Пора намъ стряхнуть съ себя иностранную дурь!...»

Загоскинъ не зналъ иностранныхъ языковъ; но когда онъ сдѣлался директоромъ московскихъ театровъ, онъ почелъ необходимымъ учиться по-французски и учился безъ учителя. Онъ просто выучилъ наизусть почти весь лексиконъ Ольдекона (память у него была удивительная) и говорилъ по-французски презабавно, большею частью безъ артиклей. Когда одна придворная дама, въ театрѣ, въ царской ложѣ, спросила у него бинокль, Загоскинъ началъ отыскивать его по столамъ и стульямъ и метаться изъ угла въ уголъ (онъ былъ очень разсѣянъ) и потомъ, подойдя къ дамѣ, сказалъ: «Убліе, прянсесъ».

Несмотря на мою близость къ Бѣлинскому, Загоскинъ обнаруживалъ ко мнѣ большую внимательность и расположеніе, вѣроятно потому, что онъ встрѣтилъ меня въ домѣ С. Т. Аксакова, съ которымъ онъ былъ очень друженъ.

— Мы его сдѣлаемъ москвичемъ, говорилъ Загоскинъ Аксакову, ударяя меня по плечу.—Ему надо показать Москву во всей красотѣ. Я свезу его на Воробьевы горы.

Загоскинъ пригласилъ С. Т. Аксакова и меня обѣдать къ себѣ. Онъ жилъ въ Петровскомъ паркѣ, на собственной

дачѣ. Тотчасъ послѣ обѣда былъ поданъ кабріолетъ и, къ удивленію моему, съ англійской закладкой.

— Ѣдемъ, ѣдемъ! пора! говорилъ мнѣ Загоскинъ. — Эй, человѣкъ, шляпу, пальто!... да не забылъ ли я чего?

Онъ хватался за свои карманы, шарилъ на столѣ, не отдавая себѣ въ разсѣянности отчета, чего онъ ищетъ...

— Табакерка-то со мною ли? спрашивалъ онъ у лакея...— Здѣсь, здѣсь! кричалъ онъ, ощупавъ ее въ карманѣ.

Наконецъ мы вышли на крыльцо. С. Т. Аксаковъ провожалъ насъ. Загоскинъ сѣлъ въ кабріолетъ и взялъ возжи.

— Садитесь, садитесь скорѣй! говорилъ онъ мнѣ. — Я сѣлъ. Лошадь поднялась на дыбы и рванулась.

— Не погуби, Михаилъ Николаевичъ, молодаго-то человѣка. Ты мнѣ за него отвѣчаешь! кричалъ намъ вслѣдъ, смѣясь, Сергѣй Тимоѳеичъ.

— Ничего, ничего, милый, кричалъ Загоскинъ:—я доставлю тебѣ его въ цѣлости. Будь покоенъ!

Отъ Петровскаго парка до Воробьевыхъ горъ пространство огромное. Надобно проѣхать черезъ всю Москву. До Тріумфальныхъ воротъ мы проѣхали благополучно; но путешествіе наше по Москвѣ было сопряжено съ опасностями на каждомъ шагу. Загоскинъ при каждой церкви опускалъ возжи, снималъ шляпу и крестился; лошадь начинала нести. Я замиралъ отъ страха, стыдился обнаружить его, но наконецъ не выдержалъ.

— Позвольте, я буду править, сказалъ я Загоскину.

— Ничего, милый, не бойтесь... Это лошадь смирная, она ужъ знаетъ мои привычки.

Когда мы выѣхали изъ Москвы—я отдохнулъ нѣсколько. Въѣзжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назадъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! не оглядывайтесь, вскрикнулъ Загоскинъ:—мы сейчасъ доѣдемъ до того мѣста, съ котораго надо смотрѣть на Москву...

Минутъ черезъ десять мы остановились. Загоскинъ попросилъ попавшагося намъ на встрѣчу мужика подержать лошадь, а самъ повелъ меня къ дереву, одиноко стоявшему на горѣ...

— Ложитесь подъ это дерево, сказалъ онъ мнѣ:—и смотрите теперь, смотрите!—Отсюда лучшій видъ...

Я повиновался и началъ смотрѣть. Дѣйствительно кар-

тина была великолѣпная. Вся разметавшаяся Москва, съ своими безчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда—озаренная вечернимъ солнцемъ. Загоскинъ легъ возлѣ меня, протеръ свои очки и долго смотрѣлъ на свой родной городъ, съ умиленіемъ, доходившимъ до слезъ...

— Ну, что... что скажете, милый, произнесъ онъ взволнованнымъ голосомъ: — какова наша Бѣлокаменная-то съ золотыми маковками? Вѣдь нигдѣ въ свѣтѣ нѣтъ такого вида. Шевыревъ говоритъ, что Римъ походитъ немного на Москву,— можетъ быть, но это все не то!... Смотри, смотри!... Ну, Бога ради, какъ же настоящему-то русскому человѣку не любить Москвы?... Иванъ-то Великій какъ высится... Господи!... Вонъ вправо-то Симоновъ монастырь, вонъ глава Донскаго монастыря влѣво.

Загоскинъ снялъ очки, вытеръ слезы, навернувшіяся у него на глазахъ, схватилъ меня за руку и сказалъ:

— Ну, что, бьется ли твое русское сердце при этой картинѣ?

Въ экстазѣ онъ началъ говорить мнѣ «ты».

Чудный, лѣтній вечеръ, энтузіазмъ Загоскина, великолѣпная картина, которая была передъ моими глазами, заунывная русская пѣсня, раздавшаяся подъ горою, — все это сильно подѣйствовало на меня.

— Благодарю васъ, сказалъ я Загоскину: — это лучшій вечеръ въ моей жизни. Я его никогда не забуду.

Загоскинъ обнялъ меня, поцѣловалъ и сказалъ:

— Ты настоящій русскій, ты нашъ, — только ты пожалуйста не увлекайся этими завиральными идеями, которыя начинаютъ быть въ ходу. Бѣлинскій вашъ—малый умный, да сердца-то у него нѣтъ, русскаго сердца...

И онъ тыкалъ себя пальцемъ въ лѣвый бокъ...

Съ этого вечера Загоскинъ сдѣлался ко мнѣ еще благосклоннѣе. Онъ непремѣнно требовалъ, чтобы я въ театръ иначе не ѣздилъ, какъ въ его ложу, и очень хлопоталъ о томъ, чтобы показать мнѣ Мочалова во всемъ блескѣ его таланта...

— Не знаю только, удастся ли, говорилъ онъ: — надо пообождать немного. Въ эту минуту онъ никуда не годится, запилъ, каналья!

С. Т. Аксаковъ при всякомъ свиданіи съ Загоскинымъ спрашивалъ: «ну, что Мочаловъ?...», получалъ неудовлетворительный отвѣтъ и приходилъ въ бѣшенство...

— Погибъ, кажется, окончательно этотъ великій талантъ! восклицалъ онъ, ударяя кулакомъ по столу: — что съ нимъ дѣлать?

Сергѣй Тимоѳеичъ разсказалъ мнѣ при этомъ, что онъ долго возился съ нимъ и напрасно употреблялъ всевозможныя усилія для того, чтобы пробудить самолюбіе въ Мочаловѣ и оторвать его отъ грязной, невѣжественной жизни. Мочалову было неловко и дико въ обществѣ образованныхъ людей... Онъ давалъ имъ слово остепениться, благодарилъ Аксакова за участіе, проклиналъ собственную свою слабость, нѣсколько дней велъ себя прилично, но потомъ вдругъ незамѣтно исчезалъ, отдавался самому отчаянному кутежу съ разными молодыми купчиками, напивался, буянилъ и кричалъ: «на колѣни передо мною!» я геній! я Мочаловъ!»

— Теперь я ужъ махнулъ рукой на него, прибавилъ Аксаковъ: — едва ли вамъ удастся видѣть его въ настоящемъ свѣтѣ, а впрочемъ — кто его знаетъ?... У него вдругъ, неожиданно, еще до-сихъ-поръ вырываются истинно-вдохновенныя минуты, особенно въ «Гамлетѣ».

— Ну, милый, я тебѣ привезъ пріятную новость, заговорилъ однажды Загоскинъ, входя въ кабинетъ С. Т. Аксакова: — говорятъ, Мочаловъ приходитъ въ себя... Мы дадимъ для него «Отелло» и «Гамлета» (онъ указалъ на меня)... Только крѣпко боюсь я за него. Едва ли онъ надеженъ...

— Богъ дастъ, ничего, замѣтилъ Сергѣй Тимоѳеичъ: — въ цѣломъ не выдержитъ, такъ можетъ быть минутами будетъ хорошъ...

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого на афишѣ появился «Гамлетъ» съ Мочаловымъ. Сергѣй Тимоѳеичъ ждалъ этого спектакля съ большимъ волненіемъ, между страхомъ и надеждою...

Я вмѣстѣ съ нимъ сидѣлъ въ директорской ложѣ. Загоскина не было при началѣ спектакля... Передъ поднятіемъ занавѣса, Сергѣй Тимоѳеичъ произнесъ съ безпокойствомъ: «посмотримъ, что-то будетъ!»

По окончаніи перваго акта, Сергѣй Тимоѳеичъ посмотрѣлъ на меня грустно и, покачавъ головою, произнесъ: «нѣтъ — изъ рукъ вонъ плохъ». Во время втораго акта, въ сценахъ, гдѣ появлялся Гамлетъ, Аксаковъ уже едва сдерживалъ свое огорченіе и негодованіе... Онъ съ безпокойствомъ поворачивался на своемъ стулѣ и шепталъ: «онъ совсѣмъ погибъ... его просто надо прогнать со сцены». Когда занавѣсъ спустился, Сергѣй Тимоѳеичъ вышелъ изъ ложи, совсѣмъ встревоженный, и наткнулся въ комнатѣ передъ ложею съ Загоскинымъ, который только-что пріѣхалъ.

— Какая гадость, сказалъ онъ, обращаясь къ Загоскину и задыхаясь отъ досады: — вѣдь смотрѣть, братецъ, нѣтъ никакой возможности...

— На кого? На Шекспира? перебилъ Загоскинъ разсѣянно и приглаживая у зеркала свои волосы... — То-то, милый, продолжалъ онъ, вы всѣ кричите: Шекспиръ! Шекспиръ! Геній, геній! и считаете святотатствомъ, если изъ него слово выкинешь; а его надо непремѣнно сокращать, я это всегда говорилъ...

Аксаковъ вышелъ изъ терпѣнія, схватилъ Загоскина за отвороты фрака и началъ трясти его...

— Какой Шекспиръ! Ну, какой Шекспиръ!... Что ты бредишь? Не на Шекспира, а на Мочалова нѣтъ возможности смотрѣть... Понимаешь?...

— А—а! протянулъ Загоскинъ.—Ну, да я предчувствовалъ, что онъ играть не можетъ.

— Зачѣмъ же ты заставилъ его играть? Вѣдь на него жалко и стыдно смотрѣть. Это не Гамлетъ, а пародія на Гамлета!...

Загоскинъ вспыхнулъ.

— Да вѣдь ты же приставилъ ко мнѣ: «скоро ли покажешь ты намъ Мочалова? Да когда жь велишь дать «Гамлета»?... Ну вотъ я и велѣлъ дать, а ты на меня же накидываешься.

Послѣ сцены съ матерью, въ третьемъ актѣ, Сергѣй Тимоѳеичъ не выдержалъ, махнулъ рукой и уѣхалъ...

Я тоже едва усидѣлъ до конца: ни одного вдохновеннаго проблеска, ни одного слова, вырвавшагося изъ сердца; неумѣстныя вскрикиванія, неловкость движеній, нестерпи-

мая безтактность въ игрѣ... «Гдѣ же этотъ талантъ, о которомъ кричали всѣ москвичи? Гдѣ же этотъ Гамлетъ-Мочаловъ, отъ котораго Бѣлинскій приходилъ въ такой энтузіазмъ?...»

Я вышелъ изъ театра усталый, съ непріятнымъ, тяжелымъ впечатлѣніемъ.

Черезъ недѣлю послѣ этого давали «Отелло».

Въ «Отелло» Мочаловъ былъ такъ же плохъ, какъ и въ «Гамлетѣ», только въ сценѣ втораго акта, когда Десдемона встрѣчаетъ его на островѣ Кипрѣ, Мочаловъ обнаружилъ такую искреннюю нѣжность, такую безконечность любви къ своей супругѣ, что по этой сценѣ можно было догадываться, какимъ бываетъ онъ въ лучшія, вдохновенныя свои минуты на сценѣ. Голосъ его поразилъ меня своею симпатическою мягкостью, выраженіе лица — глубокимъ и истиннымъ чувствомъ...

Но мнѣ такъ и не удалось видѣть Мочалова въ настоящемъ его свѣтѣ. . . . . .

— У меня завтра вечеромъ, сказалъ мнѣ Сергѣй Тимоѳеичъ:—Загоскинъ читаетъ свой новый романъ «Тоску на родинѣ». Пріѣзжайте, если хотите послушать. Онъ васъ полюбилъ и хочетъ непремѣнно, чтобы вы были въ числѣ слушателей...

Чтеніе началось со 2-й части; содержаніе первой авторъ разсказалъ намъ.

Я сидѣлъ возлѣ С. Т. Аксакова.

Подъ текучій и гладкій слогъ Загоскина я было забылся на минуту... Вдругъ этотъ пріятно-усыпляющій слогъ превратился въ живой языкъ, повѣявшій свѣжестью и благоуханіемъ: описывалась малороссійская ночь. Я невольно встрепенулся... Мѣсто дѣйствія романа въ Испаніи,—какъ же тутъ попала малороссійская ночь!... Я не разобралъ вдругъ, но крикнулъ невольно:

— Какъ хорошо это!

Сергѣй Тимоѳеичъ дернулъ меня съ улыбкою за рукавъ:

— Что это вы, шепнулъ онъ мнѣ: — вѣдь это онъ приводитъ иронически отрывокъ изъ Гоголя, замѣчая, что если ужъ такъ описываются малороссійскія ночи, — то какъ же описать испанскія?...

Послѣ описанія какого-то испанскаго города, Сергѣй Тимоѳеичъ перебилъ чтеніе и спросилъ у Загоскина:

— Да какъ же ты это такъ хорошо и подробно описываешь наружность испанскихъ городовъ, никогда не бывавъ въ Испаніи?

Загоскинъ положилъ рукопись на столъ, взглянулъ на Аксакова черезъ очки, наклонилъ немного голову и отвѣчалъ очень серьёзно:

— А на что же у меня, милый, лукутинскія-то табакерки съ испанскими видами?...

И, пріостановя на минуту чтеніе, онъ началъ доказывать, что лукутинскія издѣлія — верхъ совершенства, что у иностранцевъ и отдѣлка и рисунки на подобныхъ издѣліяхъ хуже, и что если русскій человѣкъ захочетъ, то онъ всегда заткнетъ за поясъ и нѣмца, и француза, и англичанина...

.... Дни летѣли для меня въ Москвѣ весело, разнообразно и съ быстротою неимовѣрною. Мысль о томъ, что я долженъ мѣсяца черезъ два оставить Москву (мнѣ необходимо было ѣхать по дѣламъ въ Казанскую губернію), приводила меня въ безпокойство.

— Если бы можно, я никогда не разстался бы съ Москвою! говорилъ я Константину Аксакову...

— Да переѣзжайте совсѣмъ къ намъ, возражалъ Аксаковъ:—у васъ нѣтъ ничего общаго съ Петербургомъ.

Мы говорили вполголоса. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ, у окна (это происходило въ гостиной Аксаковыхъ), стоялъ Сергѣй Тимоѳеичъ съ М. П. Погодинымъ, съ которымъ я еще не былъ знакомъ.

— Вотъ, Михаилъ Петровичъ, сказалъ Константинъ Аксаковъ, подводя меня къ нему: — петербургскій литераторъ, который въ восторгѣ отъ нашей Москвы.

Аксаковъ взглянулъ на меня съ любовью и представилъ насъ другъ-другу.

Погодинъ протянулъ мнѣ руку.

— Очень радъ съ вами познакомиться... А ваши «Отечественныя Записки», сказалъ онъ черезъ минуту, обращаясь ко мнѣ: — прекрасный журналъ, судя по вышедшимъ нумерамъ. Я охотно отдалъ бы ему мой «Москвитянинъ».

Право, напишите-ка ему объ этомъ... Мы не расходимся, кажется, во взглядахъ.

Первые номера «Отечественныхъ Записокъ» вообще одобряли всѣ извѣстные московскіе литераторы. У постели тогда больнаго Н. А. Мельгунова (съ которымъ познакомилъ меня, кажется, Н. Ф. Павловъ) довольно часто собирались по вечерамъ: Шевыревъ, Хомяковъ, Павловъ, Константинъ Аксаковъ и другіе... Шевыревъ и Хомяковъ также очень хвалили журналъ Краевскаго. Здѣсь я услышалъ въ первый разъ изъ устъ самого автора стихотвореніе:

„Гордись,—тебѣ льстецы сказали...“ и т. д.

которое производило въ Москвѣ фуроръ еще до появленія въ печати.

Кстати объ этомъ стихотвореніи. Оно въ іюнѣ 1839 г. было послано Николаемъ Филипповичемъ Павловымъ къ Краевскому, для напечатанія въ «Отечественныхъ Запискахъ»...

Осенью, по возвращеніи моемъ изъ Казани въ Москву, я получилъ письмо Краевскаго (отъ 10-го октября), въ которомъ онъ между прочимъ писалъ мнѣ:

.... «Какова оказія! Пожалуйста, сообщите все слѣдующее *аккуратно* Николаю Филипповичу (Павлову)... Начинаю ab ovo. Онъ лѣтомъ прислалъ мнѣ стихотвореніе Хомякова: «Гордись, тебѣ льстецы сказали». Я, какъ разсчетливый человѣкъ, отложилъ напечатаніе его до осени. Насталъ сентябрь; я представляю это стихотвореніе въ цензуру. Цензоръ и цензурный комитетъ вычеркиваютъ стихъ: «Скажи имъ таинство свободы». Замѣнить этого стиха я ничѣмъ не осмѣлился, и потому написалъ къ Николаю Филипповичу, чтобъ спросилъ на сей казусъ рѣшеніе самого Хомякова. Пока я жду, вдругъ, ровно недѣля тому назадъ, является въ 210 № «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей» (академическихъ) это же стихотвореніе Хомякова подъ названіемъ: *Отчизна*, безъ подписи имени автора и со стихомъ, у меня вычеркнутымъ, но только безъ тѣхъ шести стиховъ, которыми Хомяковъ замѣнилъ находящіеся въ срединѣ два стиха:

А твой завѣтъ, твое признанье,
Твой Богомъ избранный удѣлъ...

и которые въ доставленной мнѣ рукописи написаны рукою Николая Филипповича. Это изумило меня! Я тотчасъ же пишу письмо къ князю Дондукову (тогдашній попечитель Санктпетербургскаго округа и предсѣдатель цензурнаго комитета) и прошу позволенія напечатать стихи Хомякова въ томъ видѣ, какъ они ко мнѣ присланы и съ примѣчаніемъ; онъ позволилъ (они помѣщены въ 10-й книжкѣ); но на другой же день въ 231 № «Санктпербургскихъ Вѣдомостей» помѣщена *поправка*, въ которой сказано, что «Отчизна» написана Хомяковымъ... «Инвалидъ» и даже «Губернскія Санктпетербургскія Вѣдомости» перепечатали это стихотвореніе прежде «Отечественныхъ Записокъ». Что все это значитъ? Не растолкуетъ ли Николай Филипповичъ?

«Если же подобная штука сдѣлана *безъ воли Хомякова*, то надобно, чтобы онъ написалъ самъ къ Дондукову письмо, въ которомъ жаловался на подобное своеволіе; иначе ни одна статья наша не будетъ безопасна отъ такого грабительства. Я этого дѣла здѣсь розыскать не могу, ибо не имѣю сношеній ни съ Очкиными, ни съ какою этою...»

Я передалъ все это Павлову; но какимъ образомъ разъяснилась эта *штука*, по выраженію Краевскаго,—я не помню.

Однажды, часу въ первомъ въ исходѣ, мы возвращались отъ Мельгунова пѣшкомъ домой по бульварамъ: Павловъ, Хомяковъ, я и еще, не помню, кто-то. Разговоръ между Павловымъ и Хомяковымъ былъ необыкновенно одушевленъ. Предметомъ его былъ нѣкто *Милькѣевъ*, издавшій не задолго передъ тѣмъ, подъ протекціею Павлова и Хомякова, небольшое собраніе своихъ стихотвореній, которыя теперь никому неизвѣстны, кромѣ записныхъ библіографовъ. Павловъ и Хомяковъ были тогда въ восторгѣ отъ громкихъ стиховъ Милькѣева и считали его одною изъ самыхъ блестящихъ надеждъ русской литературы. Каролина Карловна Павлова, уже извѣстная тогда своимъ поэтическимъ даромъ и альбомомъ, въ которомъ ей написалъ что-то самъ Гёте, — удостоила Милькѣева даже посланіемъ. Милькѣеву, кажется, было въ это время двадцать-два или двадцать-три года. Это былъ талантъ-самородокъ, какъ выражались тогда; онъ не имѣлъ почти никакого образованія и вовсе не зналъ иностранныхъ

языковъ. Николай Филипповичъ Павловъ, какъ человѣкъ свѣтскій, доказывалъ, что Милькѣева необходимо заставить учиться по-французски, что французскій языкъ доставитъ ему возможность сблизиться съ порядочнымъ обществомъ, которое будетъ способствовать къ его развитію... Хомяковъ горячо возражалъ противъ этого, говоря, что ни французскій языкъ, ни общество не могутъ принести ему равно никакой пользы, напротивъ — вредъ: что его надо принудить заняться серьёзно нѣмецкимъ языкомъ, что знакомство съ нѣмецкой литературой и философіей расширитъ его міросозерцаніе. Споръ былъ горячій; спорящіе не хотѣли уступать другъ другу и разстались, не рѣшивъ участь этого генія-самородка... Черезъ полгода послѣ этого къ Милькѣеву совершенно охладѣли, и онъ вскорѣ умеръ... и, если я не ошибаюсь, въ крайней бѣдности.

Когда я разсказывалъ объ этомъ спорѣ за Милькѣева Бѣлинскому, Бѣлинскій смѣялся отъ души.

— Вотъ чудаки-то! воскликнулъ онъ и потомъ прибавилъ грустно: — вмѣсто того, чтобы спорить о немъ и издавать его стихотворенія, неимѣющія ничего, кромѣ риторическихъ фразъ, лучше бы просто помогли бѣдняку. Они ему сдѣлали большой вредъ... Онъ по ихъ милости возмечталъ о себѣ Богъ-знаетъ что! Да если бы онъ имѣлъ и дѣйствительный поэтическій талантъ, такъ и тогда бы онъ умеръ съ голоду, потому-что за стихи не платятъ. Павловъ хочетъ сдѣлать его свѣтскимъ человѣкомъ, Хомяковъ — мыслителемъ, а ему прежде всего нуженъ кусокъ насущнаго хлѣба и средства, чтобы добыть его.

Послѣ поѣздки моей съ Загоскинымъ на Воробьевы горы, я написалъ восторженную, то-есть исполненную риторики статейку о Москвѣ, съ восклицательными и вопросительными знаками, безчисленными точками и со всевозможными эпиграфами о Москвѣ изъ Дмитріева, Грибоѣдова, Пушкина и другихъ. Она была напечатана въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» Краевскаго. Статейка эта впрочемъ была искренняя, несмотря на риторическія фразы, и ею я пріобрѣлъ себѣ еще бо́льшее расположеніе семейства Аксаковыхъ.

Константинъ Аксаковъ былъ очень доволенъ ею, обнималъ меня и крѣпко жалъ мнѣ руки.

Вечеромъ въ тотъ день, когда онъ прочелъ ее, мы отправились съ нимъ бродить по Москвѣ и, утомленные, расположились наконецъ отдохнуть на береговомъ скатѣ Москвы-рѣки, въ виду Драгомиловскаго моста.

Константинъ Аксаковъ былъ въ очень пріятномъ расположеніи духа. Мы лежали на травѣ безъ сюртуковъ. Дневной жаръ начиналъ спадать понемногу. Легкій вечерній вѣтерокъ пріятно освѣжалъ насъ... Закатъ былъ великолѣпный, картина передъ нашими глазами живописная.

— Есть ли на свѣтѣ другой городъ, сказалъ мнѣ Константинъ Аксаковъ:—въ которомъ бы можно было расположиться такъ просто и свободно, какъ мы теперь? Далеко ли мы отъ центра города, а между-тѣмъ мы здѣсь какъ-будто въ деревнѣ. Посмотрите, какъ красиво разбросаны эти домишки въ зелени на горѣ... Въ Москвѣ вы найдете множество уединенныхъ и живописныхъ уголковъ, даже въ нѣсколькихъ шагахъ отъ центра города... Вотъ вѣдь чѣмъ хороша Москва! Я не понимаю, какъ можно жить въ вашемъ холодномъ, гранитномъ Петербургѣ, вытянутомъ въ струнку?... Нѣтъ, оставайтесь у насъ; у васъ русское сердце, а русское сердце легко можетъ биться только здѣсь, среди этого простора, среди этихъ историческихъ памятниковъ, передъ которыми благоговѣйно останавливаешься здѣсь на каждомъ шагу... Какъ не любить Москву!... Сколько жертвъ принесла она для Россіи!...

Аксаковъ постепенно одушевлялся и, заговоря объ этихъ жертвахъ, вскочилъ съ земли; глазки его сверкали, рука сжималась въ кулакъ, голосъ иногда прерывался отъ волненія.

— Пора намъ сознать нашу національность, а сознать ее можно только здѣсь; пора сблизиться намъ съ нашимъ народомъ, а для этого надо сбросить съ себя эти глупыя, кургузыя нѣмецкія платья, которыя раздѣляютъ насъ съ народомъ (и при этомъ Аксаковъ наклонился къ землѣ, поднялъ свой сюртукъ и презрительно отбросилъ его отъ себя). Петръ, отрывая насъ отъ нашей національности, заставлялъ брить бороды; мы должны теперь отпустить ихъ, возвращаясь къ ней... Такъ-то, Иванъ Иванычъ! сказалъ Аксаковъ въ заключеніе, кладя свою широкую ладонь на плечо мое, когда я

приподнялся съ травы: — бросьте Петербургъ, переселитесь къ намъ... Мы славно заживемъ здѣсь. Не шутя, подумайте объ этомъ.

Онъ натянулъ на себя нѣмецкій сюртукъ, который какъ-то неловко сидѣлъ на его коренастой фигурѣ, и мы отправились домой, когда уже солнце совсѣмъ сѣло...

Лѣтъ черезъ пять послѣ этого, Константинъ Аксаковъ надѣлалъ въ Москвѣ большаго шума, появясь въ смазныхъ сапогахъ, красной рубашкѣ и въ мурмолкѣ.

На одномъ балѣ (это было въ сороковыхъ годахъ) онъ подошелъ, говорятъ, къ извѣстной тогда въ Москвѣ по своей красотѣ К*.

— Сбросьте это нѣмецкое платье, сказалъ онъ ей: — что вамъ за охота носить его? Подайте примѣръ всѣмъ нашимъ дамамъ, надѣньте нашъ сарафанъ. Какъ онъ пойдетъ къ вашему прекрасному лицу!...

Въ то время, когда онъ съ жаромъ говорилъ ей это, къ ней подошелъ тогдашній московскій военный губернаторъ князь Щербатовъ. Она замѣтила ему, что Аксаковъ уговариваетъ ее постоянно носить сарафанъ.

Князь Щербатовъ улыбнулся...

— Тогда и намъ надо будетъ нарядиться въ кафтаны? возразилъ онъ не безъ ироніи, взглянувъ на Аксакова.

— Да! сказалъ Константинъ Аксаковъ торжественнымъ голосомъ, сверкнувъ глазами и сжавъ кулакъ: — и почему же не такъ?... Скоро наступитъ время, когда всѣ мы надѣнемъ кафтаны!

Князь Щербатовъ, при такомъ энтузіазмѣ, поспѣшилъ удалиться.

— Что такое у Щербатова произошло съ Аксаковымъ? спросилъ кто-то у Чаадаева, бывшаго свидѣтелемъ этой сцены.

— Право, я не знаю хорошенько, отвѣчалъ Чаадаевъ, слегка улыбаясь: — кажется, Константинъ Сергѣичъ уговаривалъ военнаго губернатора надѣть сарафанъ... что-то въ родѣ этого.

ГЛАВА II.

Кетчеръ. — Нѣсколько словъ о кружкахъ, къ которымъ принадлежалъ онъ. — М. С. Щепкинъ и его семейство. — Поѣздка въ Химки къ нему на дачу. — Гоголь у Аксаковыхъ.—Чтеніе I-й главы «Мертвыхъ душъ».—Представленіе «Ревизора» въ присутствіи автора. — Н. Ф. и К. К. Павловы. — Кетчеръ и Павловъ.

Кружокъ Бѣлинскаго былъ между-прочимъ въ очень короткихъ и близкихъ сношеніяхъ съ М. С. Щепкинымъ и его семействомъ. Я былъ знакомъ съ Михайломъ Семенычемъ еще до пріѣзда моего въ Москву, и тотчасъ по пріѣздѣ познакомился съ его семействомъ.

У Щепкиныхъ часто сходились Катковъ, Бѣлинскій, братья Боткины и Кетчеръ, переводчикъ Шекспира. Кетчеръ былъ домашнимъ человѣкомъ въ домѣ Щепкина. Онъ впрочемъ имѣлъ свойство дѣлаться домашнимъ человѣкомъ всюду, куда ни появлялся. Съ безцеременнымъ участіемъ онъ входилъ тотчасъ же во всѣ семейныя дѣла... Кетчеръ пользовался между всѣми своими близкими и въ кружкѣ Бѣлинскаго репутаціей необыкновенно прямаго, честнаго человѣка, готоваго хоть на плаху за друзей своихъ.

Наружность Кетчера не имѣла большой привлекательности; но простота его манеръ, доходящая до грубости, безцеремонность обращенія со всѣми, впадающая въ нѣкоторый цинизмъ, рѣзкая, непрошенная правда, которую онъ бросаетъ въ лицо и другу и недругу, крикливый голосъ, заглушающій всѣ голоса, руки вѣчно движущіяся и разсѣкающія воздухъ, какъ крылья вѣтряной мельницы, добродушный, но оглушающій хохотъ на каждомъ шагу, вырывающійся изъ огромнаго рта, — все это вмѣстѣ, можетъ-быть, непріятно дѣйствуетъ иногда на людей нервическихъ, но какъ-то располагаетъ къ нему невольно и внушаетъ довѣренность. Пріятели Кетчера, подшучивая надъ нимъ, увѣряли, что онъ только въ мѣсяцъ

разъ умывался и не имѣетъ въ заводѣ ни гребня, ни щетки, потому-что никогда не чешетъ головы. Впрочемъ гребень и не нуженъ ему, потому-что волосы его, всегда подстриженные коротко, образуютъ на его головѣ щетинную шапку.

Хотя Кетчеръ былъ пріятелемъ Бѣлинскаго и его друзей, но онъ собственно не принадлежалъ къ ихъ кружку...

За нѣсколько лѣтъ до этого, онъ сошелся съ Герценомъ, когда еще тотъ былъ студентомъ Московскаго университета, и съ его друзьями и товарищами по университету Огаревымъ и Сатинымъ.

.... Они образовали свой кружокъ, главою котораго сдѣлался Герценъ. Съ рѣдкими способностями, съ пытливымъ умомъ, жаждавшимъ знанія и не останавливавшимся ни передъ какими преградами преданій, взрощенный на французской литературѣ XVIII вѣка, блестящій, пылкій и остроумный, Герценъ обратилъ скоро на себя вниманіе всей блестящей Москвы... Среди юношескаго разгула за бутылками шампанскаго, разливаемаго Кетчеромъ съ криками и хохотомъ (Герценъ и Огаревъ не имѣли недостатка въ средствахъ), они горячо разсуждали о разныхъ общественныхъ, историческихъ и политическихъ вопросахъ. Они принадлежали въ то время къ числу немногихъ у насъ, постоянно слѣдившихъ за политическими движеніями.

Герценъ познакомился съ Бѣлинскимъ, статьи котораго начинали уже обращать на себя вниманіе; но они не могли сойтись въ то время, какъ сошлись впослѣдствіи.

Бѣлинскій и его кружокъ, занятый исключительно философскими отвлеченностями и категоріями, весь погруженный въ Гегеля, чуждый политическихъ современныхъ вопросовъ и движенія, даже не замѣчавшій ихъ на высотахъ своего міросозерцанія, не очень благосклонно поглядывалъ на кружокъ, образовавшійся подъ вліяніемъ Герцена, который не увлекался нѣмецкой философіей и имѣлъ направленіе болѣе практическое. Герценъ и Бѣлинскій поговорили другъ съ другомъ, и разошлись, конечно, съ полнымъ уваженіемъ другъ къ другу, но съ убѣжденіемъ, что имъ вмѣстѣ дѣлать нечего.

Бѣлинскій сожалѣлъ Герцена, Герценъ еще болѣе скорбѣлъ о Бѣлинскомъ... Вскорѣ впрочемъ судьба разбросала Герцена

и его друзей по разнымъ угламъ Россіи. Кетчеръ одинъ остался въ Москвѣ. . . . . .

Бѣлинскій любилъ Кетчера, но замѣчалъ иногда, что онъ тяжело дѣйствуетъ на его нервы. Онъ называлъ его *несноснымъ крикуномъ* — въ глаза. «Всѣ они прекрасные люди, — говорилъ Бѣлинскій о кружкѣ Герцена, — но ихъ привычки и вино, которое льется на ихъ сходкахъ, — все это не по моей натурѣ. Изъ нихъ только одинъ Герценъ — человѣкъ необыкновенно замѣчательный, блестящій и остроумный».

.... Какимъ образомъ и гдѣ я познакомился съ Кетчеромъ, я хорошенько не помню. Мнѣ теперь кажется, что я знакомъ съ нимъ съ самаго рожденія. Знаю только то, что черезъ пять минутъ послѣ нашего знакомства мы были уже на *ты*, и Кетчеръ обращался въ первый день знакомства со мною такъ же безцеремонно, какъ съ тѣми, съ которыми онъ былъ знакомъ нѣсколько лѣтъ... Я какъ теперь вижу его передъ собою, съ бутылкою шампанскаго въ рукѣ, наливающаго мнѣ стаканъ съ дикимъ хохотомъ и кричащаго: «Ну, пей же, братецъ, пей!»

Въ іюнѣ мѣсяцѣ Щепкинъ съ семействомъ переѣхалъ на дачу близъ *Химокъ* (первая станція отъ Москвы), и мы отправились къ нему съ Бѣлинскимъ и Кетчеромъ. Кетчеръ явился ко мнѣ въ черномъ плащѣ и безъ воротника, подбитомъ краснымъ стаметомъ, какъ дьяволъ въ «Робертѣ», и съ корзиною, изъ которой торчала солома.

— Что это за корзинка? спросилъ я его.

Кетчеръ захохоталъ во все горло.

— Ахъ ты свистунъ! закричалъ онъ: — кто-жъ объ этомъ спрашиваетъ? Натурально, это дорожный запасъ. У насъ, братъ, безъ этого никуда не ѣздятъ; тутъ двѣ бутылки моихъ и двѣ твоихъ, — понимаешь теперь?...

Всю дорогу Кетчеръ кричалъ безъ умолку, доказывая преимущества Москвы передъ Петербургомъ во всѣхъ отношеніяхъ, и между прочимъ немилосердно ругалъ петербургскихъ журналистовъ...

День былъ душный. Страшно парило. Потъ лилъ съ насъ градомъ; я и Бѣлинскій задыхались отъ шоссейной пыли и не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Но на Кетчера ничто не дѣйствовало... Онъ все кричалъ, хохоталъ и раз-

махивалъ руками... Когда мы подъѣзжали къ дому, гдѣ жили Щепкины, и котораго не видно съ большой дороги, Кетчеръ пребольно ударилъ меня по плечу.

— Вотъ и Химки!... Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у васъ въ Петербургѣ?... Ваши дачи—вѣдь это карточные домики на тинѣ и болотѣ, — а это, смотри— какая роскошь!...

Передъ нами на холму былъ старый деревянный, довольно большой помѣщичій домъ, съ прудомъ спереди и съ пустымъ садомъ назади, изъ-за котораго поднималась зеленая глава церкви. Прудъ былъ въ цвѣту. Поверхность его была покрыта круглыми листами, дорожки сада заросли, садъ разросшійся на свободѣ начиналъ глохнуть... Мѣсто дѣйствительно было прекрасное. За садомъ гладкое, необозримое поле, засѣянное хлѣбомъ...

Когда мы свернули съ большой дороги и спустились въ оврагъ, кругомъ густо заросшій деревьями, на насъ такъ и пахнуло свѣжестью и запахомъ травы. Поднимаясь на гору, мы увидѣли маленькую, круглую фигурку Щепкина, въ лѣтнемъ костюмѣ и въ соломенной шляпѣ съ большими полями. Кетчеръ при этомъ всталъ въ коляскѣ, замахалъ руками и началъ издавать какіе-то крикливые звуки съ хохотомъ...

Все это я помню живо, съ мельчайшими подробностями, хоть 22 года прошло съ тѣхъ поръ!...

Михайло Семенычъ встрѣтилъ насъ съ распростертыми объятіями, и мы съ какимъ-то наслажденіемъ прикладывались къ его мягкимъ и полнымъ щекамъ, дрожавшимъ при малѣйшемъ движеніи...

Щепкину было тогда около 50 лѣтъ, и, несмотря на свою тучность, онъ былъ еще очень бодръ и живъ.

Многочисленное семейство его едва помѣщалось въ этомъ большомъ деревенскомъ домѣ. Кромѣ четырехъ его сыновей, изъ которыхъ старшій, Дмитрій, былъ уже на службѣ, а двое (Николай и Петръ) студентами университета, у него жили два молодыхъ человѣка Б—вы, сироты, дѣти его сценическаго пріятеля, и двѣ пожилыя дѣвицы — сёстры его, такія же маленькія и толстенькія, какъ онъ, съ мужскими манерами, не вынуждавшія изо рту чубуковъ и немилосердно истреблявшія Жуковъ табакъ... Старшая дочь Щепкина,

болѣзненная и слабая, почти не выходила изъ своей комнаты; вторая, имѣвшая южный типъ своей матери (женщины очень кроткой и симпатичной), уже дебютировала съ успѣхомъ на московской и на разныхъ провинціальныхъ сценахъ... Она не задолго передъ этимъ ѣздила съ отцомъ въ Казань, гдѣ произвела большой эффектъ. У нея въ это время было множество поклонниковъ и, между прочимъ, одинъ изъ самыхъ юныхъ пріятелей Бѣлинскаго, принадлежавшій къ его кружку. Не задолго до этого, кажется, и самъ Бѣлинскій былъ не совсѣмъ равнодушенъ къ ней. Меньшая дочь Щепкина была еще ребенкомъ.

Въ комнатахъ былъ порядочный хаосъ, точно какъ-будто семейство перебралось сюда только наканунѣ. Въ большой комнатѣ въ срединѣ дома, изъ которой былъ выходъ черезъ балконъ въ садъ, былъ накрытъ длинный столъ... Въ этой же комнатѣ лежалъ на полу огромный пуховикъ, на которомъ сидѣла одна изъ сестеръ Щепкина съ длиннымъ чубукомъ во рту.

Кетчеръ прежде всего позаботился, чтобы шампанское поставили на ледъ. Онъ расхаживалъ по всѣмъ комнатамъ, хохоталъ, кричалъ и отпускалъ дамамъ дешевыя остроты, которыми самъ былъ всѣхъ довольнѣе.

Между посторонними мы нашли здѣсь М. Н. Каткова, который былъ отчего-то въ нѣсколько трагическомъ настроеніи: складывалъ руки по-наполеоновски, потуплялъ задумчиво голову и потомъ разсѣянно поднималъ ее, щуря свои маленькіе глазки, ходилъ въ отдаленіи отъ другихъ, нахмуря брови, и бѣсился на Кетчера, который безпрестанно приставалъ къ нему съ шуточками, сопровождавшимися хохотомъ.

До обѣда хозяинъ дома, его сыновья и Катковъ отправились купаться на прудъ. Мы смотрѣли на нихъ съ берега. Щепкинъ-отецъ, великій мастеръ плавать, представлялъ намъ разные фокусы на водѣ и между прочимъ островъ: онъ весь скрывался въ водѣ, обнаруживая только одинъ круглый и полный животъ свой.

За обѣдомъ Щепкинъ, съ свойственнымъ ему мастерствомъ, разсказывалъ намъ разные анекдоты и случаи изъ своей жизни, между прочимъ, и *Сороку-Ворожу*, которую впослѣдствіи, со словъ его, такъ хорошо изложилъ Герценъ.

Кетчеръ разливалъ шампанское и кричалъ: «да ну, пейте же, пейте!» самъ подавая примѣръ всѣмъ. Онъ ходилъ кругомъ стола съ бутылкою, какъ-то страшно размахивалъ ею, строго слѣдя за непьющими и останавливался передъ недопитымъ бокаломъ съ криками: «это что такое? сейчасъ допивать! эвіе вы дряни! сколько васъ тутъ, а четырехъ бутылокъ не могутъ выпить!»

Всякій разъ, когда Кетчеръ проходилъ мимо Бѣлинскаго, тотъ хмурилъ брови и безпокойно взглядывалъ на него, но Кетчеръ, смотря на него съ сожалѣніемъ и качая головою, говорилъ:

— Не бойся, не бойся, не налью... Ужъ я тебя не трогаю, чортъ съ тобой!

Бѣлинскій однажды (это онъ самъ мнѣ разсказывалъ, говоря о Кетчерѣ) серьёзно поссорился съ Кетчеромъ, принуждавшимъ его пить, и взялъ съ него слово, чтобы онъ никогда не приставалъ къ нему съ виномъ. Съ-тѣхъ-поръ Кетчеръ постоянно обходилъ его съ бутылкой, отпуская, впрочемъ, каждый разъ насчетъ его какія-нибудь остроты.

Въ это время Щепкинъ былъ въ полномъ разгарѣ своего таланта. Онъ производилъ тогда фуроръ въ роли «городничаго»... Вліяніе его на молодыхъ людей, вступавшихъ на сцену, было велико и благодѣтельно: онъ внушалъ имъ серьёзную любовь къ искусству, и своими совѣтами и замѣчаніями объ игрѣ ихъ много способствовалъ ихъ развитію. Щепкина цѣнили и любили всѣ литераторы, и всѣ были близки съ нимъ. Шевыревъ отзывался о немъ и его талантѣ съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и Бѣлинскій... Блестящіе разсказы Щепкина, исполненные малороссійскаго юмора, его наружное добродушіе, вкрадчивость и мягкость въ обращеніи со всѣми, его пламенная любовь къ искусству, о которой онъ твердилъ всѣмъ безпрестанно; толки о его семейныхъ добродѣтеляхъ, о томъ, что онъ, несмотря на свои незначительныя средства и огромное семейство, содержитъ еще на свой счетъ сиротъ—дѣтей своего товарища и т. д.,—все это, независимо отъ его таланта, дѣлало для тогдашней молодежи Щепкина лицомъ въ высшей степени интереснымъ и симпатичнымъ... Темные слухи, робко выходившіе откуда-то о томъ, что Щепкинъ будто бы интриганъ и человѣкъ умѣющій ловко

и льстиво поддѣлываться къ начальству и къ сильнымъ міра сего, были съ негодованіемъ заглушаемы... Для меня Щепкинъ казался идеаломъ артиста и человѣка. Я даже чувствовалъ къ нему въ родѣ сыновней нѣжности.

Послѣ «Ревизора» любовь Щепкина къ Гоголю превратилась въ благоговѣйное чувство. Когда онъ говорилъ о немъ, или читалъ отрывки изъ его писемъ къ нему, лицо его сіяло и на глазахъ показывались слезы — предвѣстники тѣхъ старческихъ слезъ, отъ разслабленія глазныхъ нервъ, которыя льются у него теперь такъ обильно, кстати и некстати. Онъ передавалъ каждое самое простое и незамѣчательное слово Гоголя съ несказаннымъ умиленіемъ и, улыбаясь сквозь слезы, восклицалъ: «Каковъ! каковъ!» И въ эти минуты голосъ и щеки его дрожали...

Послѣ обѣда, когда мы съ старшимъ сыномъ Щепкина, погулявъ по саду, возвратились въ домъ, я замѣтилъ во всѣхъ какое-то безпокойство... Катковъ былъ блѣденъ, какъ смерть, и дышалъ неровно; около него ухаживалъ Кетчеръ съ участіемъ и съ хохотомъ; Бѣлинскій, также нѣсколько измѣнившійся въ лицѣ, тревожно прохаживался по комнатѣ.

Мнѣ стало неловко. Я понялъ, что тутъ происходитъ какая-то маленькая драма. Бѣлинскій вышелъ со мною въ другую комнату...

— Пройдемтесь по саду, сказалъ онъ мнѣ.

Мы пошли въ садъ. Бѣлинскій молчалъ.

— Что такое съ Катковымъ? спросилъ я.

— Съ нимъ было дурно, отвѣчалъ Бѣлинскій:—онъ еще совершенный ребенокъ и любитъ мелодраматическія сцены...

Бѣлинскій остановился на этомъ. Я, разумѣется, не распрашивалъ его болѣе и заговорилъ о другомъ...

Передъ отъѣздомъ нашимъ, Михайло Семенычъ объявилъ мнѣ, что онъ на-дняхъ будетъ обѣдать у Сергѣя Тимофеича съ Гоголемъ (который только-что пріѣхалъ въ Москву), и съ таинственнымъ тономъ прибавилъ умиленнымъ и дрожащимъ голосомъ:

— Вѣдь онъ, кажется, намѣренъ прочесть тамъ что-то новенькое!...

Дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней послѣ этого, Сергѣй Тимоѳеичъ пригласилъ меня обѣдать, сказавъ, что у него

будетъ Гоголь и что онъ обѣщалъ прочесть первую главу «Мертвыхъ душъ».

Я ожидалъ этого дня съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ и забрался къ Аксаковымъ часа за полтора до обѣда. Щепкинъ явился, кажется, еще раньше меня...

Въ исходѣ четвертаго прибылъ Гоголь... Онъ встрѣтился со мною, какъ со старымъ знакомымъ, и сказалъ, пожавъ мнѣ руку:

— А, и вы здѣсь... Какимъ образомъ?

Нечего говорить, съ какимъ восторгомъ онъ былъ принятъ. Константинъ Аксаковъ, видѣвшій въ немъ русскаго Гомера, внушилъ къ нему энтузіазмъ во всемъ семействѣ. Для Аксакова-отца сочиненія Гоголя были откровеніемъ. Они вывели его изъ рутины старой литературной школы (онъ принадлежалъ къ самымъ записнымъ литераторамъ-рутинерамъ) и пробудилъ въ немъ новыя, свѣжія силы для будущей дѣятельности. Безъ Гоголя, Аксаковъ едва ли бы написалъ «Семейство Багровыхъ».

День этотъ былъ праздникомъ для Константина Аксакова... Съ какою любовью онъ слѣдилъ за каждымъ взглядомъ, за каждымъ движеніемъ, за каждымъ словомъ Гоголя, какъ онъ переглядывался съ Щепкинымъ, какъ крѣпко жалъ мнѣ руки, повторяя:

— Вотъ онъ, нашъ Гоголь! Вотъ онъ!

Гоголь говорилъ мало, вяло и будто нехотя. Онъ казался задумчивъ и грустенъ. Онъ не могъ не видѣть поклоненія и благоговѣнія, окружавшаго его, и принималъ все это, какъ должное, стараясь прикрыть удовольствіе, доставляемое его самолюбію, наружнымъ равнодушіемъ. Въ его манерѣ вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело дѣйствовавшее на всѣхъ, которые смотрѣли на него не какъ на генія, а просто какъ на человѣка...

Чувство глубокаго, безпредѣльнаго уваженія семейства Аксаковыхъ къ таланту Гоголя проявлялось во внѣшнихъ знакахъ, съ ребяческой, наивной искренностью, доходившей до комизма. Передъ его приборомъ, за обѣдомъ, стояло не простое, а розовое стекло; съ него начинали подавать кушанье; ему подносили любимыя имъ макароны для пробы, которыя

онъ несовсѣмъ одобрилъ и сталъ самъ мѣшать и посыпать сыромъ.

Послѣ обѣда онъ развалился на диванѣ въ кабинетѣ Сергѣя Тимоѳеича, и черезъ нѣсколько минутъ сталъ опускать голову и закрывать глаза — въ самомъ ли дѣлѣ начиналъ дремать, или притворялся дремлющимъ... Въ комнатѣ мгновенно все смолкло... Щепкинъ, Аксаковы и я вышли на цыпочкахъ. Константинъ Аксаковъ, едва переводя дыханіе, ходилъ кругомъ кабинета, какъ часовой, и при чьемъ-нибудь малѣйшемъ движеніи или словѣ, повторялъ шопотомъ и махая руками:

— Тсс! тсс! Николай Васильичъ засыпаетъ!...

Объ обѣщанномъ чтеніи Гоголь передъ обѣдомъ не говорилъ ни слова; спросить его, сдержитъ ли онъ свое обѣщаніе, никто не рѣшался... Покуда Гоголь дремалъ, у всѣхъ только былъ въ головѣ одинъ вопросъ: прочтетъ ли онъ что-нибудь и что прочтетъ? У всѣхъ бились сердца, какъ они всегда бьются въ ожиданіи необыкновеннаго событія...

Наконецъ Гоголь зѣвнулъ громко.

Константинъ Аксаковъ при этомъ заглянулъ въ щелку двери и видя, что онъ открылъ глаза, вошелъ въ кабинетъ. Мы всѣ послѣдовали за нимъ.

— Кажется, я вздремнулъ немного? спросилъ Гоголь, зѣвая и посматривая на насъ...

Дамы, узнавъ, что онъ проснулся, вызывали Константина Аксакова и шопотомъ спрашивали: будетъ ли чтеніе? Константинъ Аксаковъ пожималъ плечами и говорилъ, что ему ничего неизвѣстно.

Всѣ томились отъ этой неизвѣстности, и Сергѣй Тимоѳеичъ первый рѣшился вывести всѣхъ изъ такого непріятнаго положенія.

— А вы, кажется, Николай Васильевичъ, дали намъ обѣщаніе... вы не забыли его? спросилъ онъ осторожно...

Гоголя подернуло нѣсколько.

— Какое обѣщаніе?... Ахъ, да! Но я сегодня, право, не имѣю расположенія къ чтенію и буду читать дурно; вы меня лучше ужъ избавьте отъ этого...

При этихъ словахъ мы всѣ пріуныли; но Сергѣй Тимоѳеичъ не потерялъ духа и съ большою тонкостью и ловкостью

сталъ упрашивать его... Гоголь отговаривался болѣе получаса, перемѣняя безпрестанно разговоръ. Потомъ потянулся и сказалъ:

— Ну такъ и быть, я пожалуй что-нибудь прочту вамъ... Не знаю только, что прочесть?... И приподнялся съ дивана.

У встрепенувшагося Щепкина задрожали щеки; Константинъ Аксаковъ весь просіялъ, будто озаренный солнцемъ; повсюду пронесся шопотъ: «Гоголь будетъ читать».

Гоголь всталъ съ дивана, взглянувъ на меня не совсѣмъ пріятнымъ и пытливымъ глазомъ (онъ не любилъ, какъ я узналъ послѣ, присутствія мало знакомыхъ ему лицъ при его чтеніяхъ) и направилъ шаги въ гостиную. Всѣ послѣдовали за нимъ. Въ гостиной дамы уже давно ожидали его.

Онъ нехотя подошелъ къ большому овальному столу передъ диваномъ, сѣлъ на диванъ, бросилъ бѣглый взглядъ на всѣхъ, опять началъ увѣрять, что онъ не знаетъ, что прочесть, что у него нѣтъ ничего обдѣланнаго и оконченнаго... и вдругъ рыгнулъ разъ, другой, третій...

Дамы переглянулись между собою, мы не смѣли обнаружить при этомъ никакого удивленія и только смотрѣли на него въ тупомъ недоумѣніи.

— Что это у меня? точно отрыжка? сказалъ Гоголь, и остановился. Хозяинъ и хозяйка дома даже нѣсколько смутились... Имъ, вѣроятно, пришло въ голову, что обѣдъ ихъ не понравился Гоголю, что онъ разстроилъ желудокъ... и проч.

Гоголь продолжалъ:

— Вчерашній обѣдъ засѣлъ въ горлѣ: эти грибки да ботвинья! Ѣшь, ѣшь, просто чортъ знаетъ, чего не ѣшь...

И заикалъ снова, вынувъ рукопись изъ задняго кармана и кладя ее передъ собою... «Прочитать еще «Сѣверную Пчелу», что тамъ такое?...» говорилъ онъ, уже слѣдя глазами свою рукопись.

Тутъ только мы догадались, что эта икота и эти слова были началомъ чтенія драматическаго отрывка, напечатаннаго впослѣдствіи подъ именемъ «Тяжбы». Лица всѣхъ озарились смѣхомъ, но громко смѣяться никто не смѣлъ... Всѣ только посматривали другъ на друга, какъ бы говоря: «Каково?

каково читаетъ?» Щепкинъ заморгалъ глазами, полными слезъ.

Чтеніе отрывка продолжалось не болѣе получаса. Восторгъ былъ всеобщій; онъ подѣйствовалъ на автора.

— Теперь я вамъ прочту, сказалъ онъ: — первую главу моихъ «Мертвыхъ душъ», хоть она еще не обдѣлана...

Всѣ литературные кружки передъ этимъ уже были сильно заинтересованы слухами о «Мертвыхъ душахъ». Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всѣхъ читалъ начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведеніе геніальное... Любопытство къ «Мертвымъ душамъ» возбуждено было не только въ литературѣ, но и въ обществѣ.

Нечего говорить, какъ предложеніе Гоголя было принято его поклонниками...

Гоголь читалъ неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своихъ произведеніе считаются Островскій и Писемскій: Островскій читаетъ безъ всякихъ драматическихъ эффектовъ, съ величайшею простотою, придавая между тѣмъ должный оттѣнокъ каждому лицу; Писемскій читаетъ, какъ актеръ,—онъ, такъ сказать, разъигрываетъ свою пьесу въ чтеніи... Въ чтеніи Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами чтеній. Онъ читалъ драматичнѣе Островскаго и съ гораздо большею простотою, чѣмъ Писемскій...

Когда онъ окончилъ чтеніе первой главы и остановился, нѣсколько утомленный, обведя глазами своихъ слушателей, его авторское самолюбіе должно было удовлетвориться вполнѣ... На лицахъ всѣхъ ясно выражалось глубокое впечатлѣніе, произведенное его чтеніемъ. Всѣ были и потрясены, и удивлены. Гоголь открывалъ для его слушателей тотъ міръ, который всѣмъ намъ такъ знакомъ и близокъ, но который до него никто не умѣлъ воспроизвести съ такою безпощадною наблюдательностью, съ такою изумительною вѣрностью и съ такою художественною силою... И какой языкъ-то! языкъ-то! Какая сила, свѣжесть, поэзія!... У насъ даже мурашки пробѣгали по тѣлу отъ удовольствія.

Послѣ чтенія Сергѣй Тимоѳеичъ Аксаковъ въ волненіи прохаживался по комнатѣ, подходилъ къ Гоголю, жалъ его

руки и значительно посматривалъ на всѣхъ насъ... «Геніально, геніально!» повторялъ онъ.

Глаза Константина Аксакова сверкали; онъ ударилъ кулакомъ о столъ и говорилъ:

— Гомерическая сила! гомерическая!

Дамы восторгались, ахали, разсыпались въ восклицаніяхъ.

Гоголь еще болѣе выросъ послѣ этого чтенія въ глазахъ всѣхъ...

На другой день мы съ Константиномъ Аксаковымъ отправились къ Бѣлинскому...

Аксаковъ передалъ ему о вчерашнемъ чтеніи со всѣмъ энтузіазмомъ; онъ говорилъ, что послѣ первой главы «Мертвыхъ душъ» нельзя уже сомнѣваться въ томъ, что Гоголь геній и что онъ подаритъ русскую литературу колоссальнымъ произведеніемъ, въ которомъ отразится вся Русь.

Бѣлинскій слушалъ Аксакова съ жадностью и смотрѣлъ на насъ съ завистью.

— Чортъ васъ возьми, счастливцы! сказалъ онъ: — я не знаю, чего бы я не далъ, чтобы выслушать теперь эту главу...

Бѣлинскій въ это время еще не былъ лично знакомъ съ Гоголемъ. (Онъ познакомился съ нимъ впослѣдствіи, въ Петербургѣ, у Прокоповича). Послѣ выхода «Миргорода», Бѣлинскій пораженъ былъ художественной силой Гоголя, особенно выразившейся въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» и «Невскомъ проспектѣ». Отъ «Ревизора» онъ былъ внѣ себя.

Глубокое значеніе этой комедіи онъ понялъ одинъ изъ первыхъ. Пушкинъ былъ восхищенъ удивительнымъ комизмомъ автора...

Замѣчательно, что когда впослѣдствіи Бѣлинскій началъ разъяснять великое общественное значеніе произведеній Гоголя, Гоголь пришелъ въ ужасъ отъ этихъ разъясненій и объявилъ, что вовсе не имѣлъ въ виду того, что приписываютъ ему *нѣкоторые* критики.

Гоголь, другъ Жуковскаго и другихъ литературныхъ авторитетовъ, смотрѣвшихъ на Бѣлинскаго очень неблагосклонно, между прочимъ боялся, кажется, что энтузіазмъ къ нему молодаго, непризнаваемаго ими критика можетъ нѣсколько окомпрометировать его въ глазахъ ихъ...

Сергѣй Тимоѳеичъ Аксаковъ уговорилъ Загоскина (который не слишкомъ жаловалъ Гоголя) дать «Ревизора» на московской сценѣ, по случаю пребыванія Гоголя въ Москвѣ...

Спектакль этотъ данъ былъ сюрпризомъ для автора: Щепкинъ и всѣ актеры, наперерывъ другъ передъ другомъ, старались отличиться передъ авторомъ. Большой московскій театръ, рѣдко посѣщаемый публикою лѣтомъ, былъ въ этотъ разъ полонъ. Всѣ московскія литературныя и другія знаменитости были здѣсь въ полномъ сборѣ: въ первыхъ рядахъ креселъ и въ ложахъ бельэтажа. Бѣлинскій, Бакунинъ и ихъ друзья, еще не принадлежавшіе тогда къ знаменитостямъ, помѣщались въ заднихъ рядахъ. Всѣ искали глазами автора, всѣ спрашивали: гдѣ онъ? Но его не было видно. Только въ концѣ втораго дѣйствія его открылъ Н. Ф. Павловъ, скрывавшимся въ углу бенуара г-жи Ч**...

По окончаніи третьяго акта раздались громкіе крики: «Автора! автора!» Громче всѣхъ кричалъ и хлопалъ Константинъ Аксаковъ. Онъ рѣшительно выходилъ изъ себя.

— Константинъ Сергѣичъ!... Полноте!... поберегите себя!... восклицалъ Николай Филипповичъ Павловъ, подходя къ нему, смѣясь и поправляя свое жабо...

— Оставьте меня въ покоѣ, отвѣчалъ сурово Константинъ Аксаковъ, и продолжалъ хлопать еще яростнѣе.

— За что же сердиться? Я желаю вамъ добра... Вотъ, продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — Константинъ Сергѣичъ на меня сердится за то, что я уговариваю его умѣрить свой энтузіазмъ, который можетъ повредить его здоровью... Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это вредно для здоровья такъ выходить изъ себя? Правда? а?...

Гоголь при этихъ неистовыхъ крикахъ (я слѣдилъ за нимъ) все спускался ниже и ниже на своемъ стулѣ и почти выползъ изъ ложи, чтобы не быть замѣченнымъ.

Занавѣсъ поднялся.

Актеръ вышелъ и объявилъ: «что автора нѣтъ въ театрѣ».

Гоголь дѣйствительно уѣхалъ послѣ третьяго дѣйствія, къ огорченію артистовъ, употреблявшихъ всѣ Богомъ данныя имъ способности для того, чтобы заслужить похвалу автора.

На публику этотъ отъѣздъ произвелъ также непріятное

впечатлѣніе; даже Константинъ Аксаковъ былъ недоволенъ этимъ.

— Нѣтъ, вашъ Гоголь ужъ слишкомъ важничаетъ, говорилъ ему Николай Филипповичъ: — вы его избаловали... Не правда ли? а?... Согласитесь, что онъ поступилъ неприлично и относительно публики, и относительно артистовъ?... а? Правду вѣдь я говорю?

— Да, это онъ сдѣлалъ напрасно, замѣтилъ К. Аксаковъ съ огорченіемъ...

Николай Филипповичъ Павловъ сидѣлъ въ первомъ ряду, въ желтыхъ перчаткахъ, въ лакированныхъ сапогахъ, отъ время до время вынималъ изъ кармана золотую табакерку и съ какою-то особенною граціею понюхивалъ табакъ. Въ антрактахъ онъ прогуливался по театральной залѣ, заговаривая со всѣми знаменитостями. Если бы я не имѣлъ удовольствія знать лично автора «Трехъ повѣстей», я принялъ бы его навѣрно за какого-нибудь знатнаго московскаго барина, по его наружной изящности и важнымъ манерамъ.

Бѣлинскій, робкій, неловкій, не имѣвшій никакихъ манеръ,—въ поношенномъ сюртукѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, — былъ просто жалокъ, когда онъ стоялъ рядомъ съ Павловымъ, благосклонно съ нимъ разговаривавшимъ и подносившимъ ему свою золотую табакерку (Бѣлинскій нюхалъ табакъ).

Время, о которомъ я говорю, было впрочемъ самымъ цвѣтущимъ временемъ Н. Ф. Павлова, не задолго передъ этимъ вступившаго въ брачный союзъ съ извѣстною московскою поэтессою, дѣвицею Янишъ, которая, кромѣ своего таланта, владѣла еще тысячью душами крестьянъ и домомъ на Срѣтенскомъ бульварѣ, съ парадной лѣстницей и швейцаромъ...

Павловъ побѣдилъ ее своими «Тремя повѣстями», которыя произвели фуроръ при своемъ появленіи, — и она отдала свое поэтическое сердце и свою руку счастливому повѣствователю.

Когда Николай Филипповичъ представилъ меня своей супругѣ, я ощутилъ невольно нѣкоторую робость...

Передо мною явилась высокая, худощавая дама, *вида строгаго и величественнаго*, какъ лэди Локлевенъ Вальтеръ-

Скотта. Въ ея позѣ, въ ея взглядѣ было что-то царственно-театральное. Она остановилась между двумя мраморными коллонами, съ чувствомъ достоинства слегка наклонила голову на мой поклонъ и потомъ протянула мнѣ свою руку съ величіемъ царицы... Мнѣ казалось, что мнѣ слѣдовало въ эту минуту стать на колѣни, чтобы поцѣловать ее,—однако я просто пожалъ ее.

Черезъ пять минутъ я узналъ отъ г-жи Павловой, что она пользовалась большимъ вниманіемъ Алекс. Гумбольдта и Гёте, и что послѣдній написалъ ей нѣсколько строкъ въ альбомъ... Затѣмъ былъ принесенъ альбомъ съ этими драгоцѣнными строками... Черезъ четверть часа Каролина Карловна продекломировала мнѣ нѣсколько стихотвореній, переведенныхъ ею съ нѣмецкаго и англійскаго.

Когда я короче познакомился съ Каролиной Карловной, я замѣтилъ, что манеры ея, несмотря на ихъ театральное величіе, отзывались иногда не совсѣмъ пріятною грубоватостью.

Однажды Н. Ф. Павловъ, въ гостиной дома Аксаковыхъ, стоялъ передъ зеркаломъ и натягивалъ желтыя перчатки. Онъ хотѣлъ отправиться куда-то. Супруги его не было... Она пріѣхала послѣ и вошла въ гостиную въ ту минуту, когда онъ охорашивался у зеркала... Она значительно мигнула г-жѣ Аксаковой, приставила палецъ ко рту и, на цыпочкахъ пробравшись къ супругу, изо всей силы ударила его въ спину.

Николай Филипповичъ вскрикнулъ во все горло, покорчиваясь, обернулся назадъ, взглянулъ на свою супругу и сказалъ:

— А я думалъ, что это меня какой-нибудь солдатъ ударилъ въ спину...

Каролина Карловна пріѣзжала въ Москву изрѣдка. Она жила на дачѣ по владимірской дорогѣ, и К. Аксаковъ раза два возилъ меня къ ней... Я помню, что въ одинъ изъ этихъ пріѣздовъ мы сидѣли втроемъ на балконѣ дачи и забавлялись шуточными переводами нѣкоторыхъ стихотвореній Виктора Гюго, между прочимъ:

„Ce siècle avait deux ans. Rome remplacé Sparte“... и т. д.

Я помню два первые стиха нашего подстрочнаго перевода:

„Сей вѣкъ о двухъ годахъ. Римъ Спарту замѣнилъ,
Подъ Бонапартомъ ужъ Наполеонъ сквозилъ...“

Каролина Карловна находила это очень забавнымъ и торжественно декламировала, распростирая въ воздухѣ правую руку.

Нѣсколько лѣтъ послѣ этого, въ одинъ изъ пріѣздовъ моихъ въ Москву, она жила на той самой дачѣ въ Соколовѣ по петербургской дорогѣ, которую занималъ впослѣдствіи Герценъ. Въ день ея рожденья (кажется, въ іюлѣ) я вмѣстѣ съ Сатинымъ приглашенъ былъ къ Николаю Филипповичу обѣдать.

Мы пріѣхали къ четыремъ часамъ.

У подъѣзда и на крыльцѣ насъ встрѣтили лакеи въ лѣтнихъ платьяхъ, съ гербовыми пуговицами... Чей гербъ былъ на этихъ пуговицахъ: Николая Филипповича или Каролины Карловны, или два ихъ соединенные герба, — я не знаю.

Николай Филипповичъ повелъ насъ въ небольшую комнату, гдѣ находилось уже нѣсколько гостей. На столѣ передъ диваномъ стояла большая открытая шкатулка, обитая внутри малиновымъ бархатомъ. Это былъ дамскій дорожный несессеръ съ вызолоченными вещицами, поднесенный Николаемъ Филипповичемъ супругѣ и поставленный здѣсь, вѣроятно, на удивленіе гостей.

Хозяинъ дома, до появленія хозяйки, занималъ насъ разсказами... Николай Филипповичъ Павловъ есть живое доказательство понятливости, ловкости и сметливости русскаго человѣка. Его назначали въ актеры и онъ получилъ первое образованіе въ театральной московской школѣ. Можно представить себѣ, что это было за образованіе; притомъ сценическаго таланта у него не оказалось ни малѣйшаго; но его бойкій умъ, переимчивость, смѣлость, его замѣчательныя способности обратили на него вниманіе Кокошкина. Павловъ выучился довольно порядочно по-французски и даже началъ говорить очень недурно на этомъ языкѣ... Онъ, кажется, занимался также и англійскимъ языкомъ, доказательствомъ чего служитъ его переводъ «Венеціанскаго Купца» Шек-

спира. Въ домѣ Кокошкина, куда съѣзжалась вся аристократическая Москва, онъ пріобрѣлъ знакомства, получилъ внѣшнюю полировку, превратился наконецъ въ совершеннаго московскаго джентльмена — и оставилъ сцену. Кокошкинъ опредѣлилъ его на службу...

Павловъ вышелъ въ отставку и обратился къ литературѣ... Имя его пріобрѣло громкую извѣстность «Тремя повѣстями». Либеральное направленіе этихъ повѣстей обратило на автора вниманіе правительства. Говорятъ, будто даже самъ императоръ удостоилъ ихъ прочтенія, и строго осудивъ ихъ неблагонамѣренное направленіе, замѣтилъ, чтобы посовѣтовать талантливому автору избѣгать впредь такого рода сюжетовъ, что онъ можетъ заняться, напримѣръ, описаніемъ кавказской природы или чѣмъ-нибудь подобнымъ... Этимъ повѣстямъ Павловъ обязанъ, какъ я уже замѣтилъ, и бракомъ своимъ съ дѣвицею Янишъ...

У Павлова была всегда страсть къ картамъ, которая развилась въ немъ сильнѣе при расширеніи его средствъ: говорятъ, что онъ проигрывалъ и выигрывалъ въ вечеръ по 10 и по 15 тысячъ, и разстроилъ состояніе жены своей, отъ которой имѣлъ полную довѣренность на управленіе ея имѣніемъ. Отсюда начались между супругами весьма непріятныя домашнія сцены, окончившіяся, какъ извѣстно, разрывомъ и большою непріятностью для Павлова. Это подало поводъ Соболевскому, отъявленному врагу его, написать слѣдующіе куплеты:

«Ахъ, куда ни взглянешь,
Все любви—могила!...
Мужа М-lle Янишъ
Въ яму посадила.

Молитъ эта дама,
Молитъ все о мужѣ:
Будь ему та яма
Уже, хуже, туже...» и т. д.

Говорятъ, что извѣстное четверостишіе Соболевскаго:

«Не въ ту силу, что ты жалокъ,
Не даю тебѣ я палокъ,
Но въ ту силу, что мнѣ жалки
Щегольскія мои палки» —

было написано имъ также на Павлова. Откуда истекала нена-

висть Соболевскаго къ Павлову — я не знаю; но извѣстно, что Соболевскій всегда носилъ съ собою афишку, въ которой былъ возвѣщаемъ бенефисъ какихъ-то трехъ посредственныхъ актеровъ и въ томъ числѣ Павлова. «Это я такъ берегу на всякій случай, — говорилъ Соболевскій, если Павловъ забывается, я обыкновенно вынимаю на этотъ случай эту бумажку и издалека молча показываю ее ему». Павловъ, сдѣлавшійся литераторомъ и свѣтскимъ человѣкомъ, страшно боялся, чтобы ему напоминали о его прежнемъ поприщѣ... Впрочемъ, Павловъ пользовался вообще репутаціей очень либеральнаго и неподкупнаго человѣка, — покрайней-мѣрѣ въ кругу извѣстныхъ московскихъ литераторовъ. Онъ былъ очень хорошъ съ Аксаковымъ, Хомяковымъ и Шевыревымъ, хотя имѣлъ совершенно западное воззрѣніе и не раздѣлялъ нисколько ихъ славянофилизма.

Въ то время (это было въ концѣ 40-хъ годовъ), когда мы съ Сатинымъ приглашены были въ Соколово праздновать рожденіе Каролины Карловны, семейныя отношенія супруговъ уже начинали колебаться. Г-жа Павлова взяла слово съ своего мужа не брать въ руки картъ. Онъ держалъ это слово: самъ точно не бралъ ихъ въ руки, но просилъ играть за себя другихъ... Супруга не подозрѣвала этой хитрости, и колебавшееся домашнее спокойствіе кое-какъ еще поддерживалось... Я сказалъ, что мы пріѣхали въ Соколово въ четыре часа и что хозяинъ дома занималъ насъ болѣе часа своими разсказами, въ ожиданіи супруги. Аппетитъ уже начиналъ безпокоить насъ, но въ четверть шестаго растворились двери — и Каролина Карловна, накрахмаленная и нарядная, появилась съ большою торжественностью.

Она удостоила обратить на меня особенное вниманіе и предложила мнѣ руку, чтобы пройтиться по саду.

Николай Филипповичъ съ остальными гостями послѣдовали за нами. Едва сдѣлали мы нѣсколько шаговъ, какъ Каролина Карловна объявила мнѣ, что она пишетъ большую поэму, подъ названіемъ «Кадриль», и начала мнѣ декламировать изъ нея отрывки наизусть, съ паѳосомъ и съ драматическими жестами. Мы обошли всѣ аллеи довольно большаго сада, а декламаціи не предвидѣлось и конца.

Николай Филипповичъ рѣшился воскликнуть:

— Что же, Каролина Карловна, мы будемъ сегодня обѣдать? Ужъ шесть часовъ.

— Ну, прикажите подавать, отвѣчала она, — и продолжала декламацію.

Наконецъ мы подошли къ столу. Въ эту минуту въ столовой появились маменька и папенька Каролины Карловны, старичокъ и старушка очень пріятной наружности. Они очень скромно усѣлись за столъ, съ подобострастною любовью и уваженіемъ посматривая иногда на свою талантливую дочь, передъ авторитетомъ которой они преклонялись безусловно. Отецъ Каролины Карловны имѣлъ слабость къ живописи и малевалъ какія-то картины; мать вязала чулки и исполняла обязанность ключницы...

Дочь царила въ домѣ и хлопотала только о томъ, чтобы придать ему аристократическую наружность и нѣкотораго рода живописность. Она, говорятъ, даже осматривала туалетъ маменьки и папеньки передъ ихъ выходомъ къ гостямъ...

Маменька была одѣта съ нѣмецкою аккуратностью и щепетильностью, въ отлично-сплоенномъ чепчикѣ и въ искусно гофрированномъ воротничкѣ около шеи. Папенька въ лѣтнемъ пальто цвѣта небѣленаго батиста. Длинные, серебряные его волосы, съ тщательнымъ проборомъ на серединѣ головы, спускались до плечъ. Эти двѣ фигуры были точно сняты съ какой-нибудь фламандской картины.

За обѣдомъ болѣе всѣхъ говорила, конечно, сама хозяйка дома. Предметомъ ея разговора была литература и описаніе геніальныхъ способностей ея сына...

Каролина Карловна выражала большое неудовольствіе на Бѣлинскаго, который неуважительно отзывался о поэтическомъ талантѣ Хомякова въ «Отечественныхъ Запискахъ», замѣчала, что каждый стихъ Хомякова звенитъ, какъ золото, и въ доказательство продекламировала нѣсколько стихотвореній его. Затѣмъ она перешла къ своему собственному таланту... Въ ту пору только-что появились въ «Отеч. Запискахъ» стихотворныя пародіи, и г-жа Павлова объявила, что недавно, гуляя по саду, она также вздумала импровизировать пародію — и надѣется, что эта шутка не хуже петербургскихъ пародій.

— Я вамъ прочту ее, сказала она.

Она положила салфетку на столъ и, принявъ торжественный видъ, начала декламировать...

Николая Филипповича подергивало... Г-нъ и г-жа Янишъ съ благоговѣйнымъ восторгомъ слѣдили за дочерью.

Николай Филипповичъ впрочемъ самъ въ это время былъ еще въ восторгѣ отъ стиховъ своей супруги и нерѣдко при ней читалъ намъ наизусть ея стихи, причемъ она обыкновенно величественно улыбалась и значительно поглядывала на насъ...

Кетчеръ былъ довольно близокъ съ Павловымъ, но не любилъ бывать въ его домѣ, потому-что не чувствовалъ расположенія къ его супругѣ. Г-жа Павлова не могла также питать къ нему особенной симпатіи. Своей фигурой, своими жестами, своими криками, своимъ хохотомъ, своею непрошенною рѣзкою правдою и вообще своею циническою безцеремонностью — Кетчеръ былъ неудобенъ для дома съ такой великосвѣтской обстановкой... Въ его присутствіи нарушалась щегольская чопорность и оскорблялась искусственность этого дома.

Что касается до меня, то я очень любилъ быть вмѣстѣ съ Кетчеромъ у Павловыхъ...

Контрастъ между нимъ и хозяевами дома со всею ихъ обстановкой былъ очень забавенъ. Къ тому же, надо сказать правду, безъ Кетчера у Павловыхъ была тоска нестерпимая, потому-что ужъ все въ этомъ домѣ было какъ-то слишкомъ умно, чинно, прилично и разсчитано...

ГЛАВА III.

Воззрѣнія Бѣлинскаго и его кружка въ 1839 году.—Встрѣча Бѣлинскаго съ студентомъ Кавелинымъ. — Мои письма къ Краевскому о Бѣлинскомъ. — Отрывки изъ письма ко мнѣ Краевскаго.—Мой отъѣздъ изъ Москвы въ деревню.—Возвращеніе въ Москву.—Еще письмо Краевскаго.—Вечера у Бакунина.—Статья Бѣлинскаго по поводу книжки о «Бородинской годовщинѣ». — Негодованіе Бѣлинскаго противъ Менцеля.—Отъѣздъ мой съ Бѣлинскимъ изъ Москвы.

. . . . . .

Къ Бѣлинскому я заходилъ каждое утро...

Онъ очень хандрилъ и жаловался на боль въ груди... Обстоятельства его были въ это время печальныя. Степановъ, издатель «Московскаго Наблюдателя», платилъ ему помѣсячно (да и то неаккуратно) какія-то ничтожныя деньги за редакцію. Бѣлинскій сначала былъ увлеченъ мыслію стать во главѣ журнала, сотрудниками котораго должны были сдѣлаться всѣ его молодые и талантливые друзья... Онъ твердо былъ убѣжденъ, что при ихъ содѣйствіи, соединенномъ съ его кипучей, энергической дѣятельностью, — успѣхъ журнала будетъ несомнѣненъ... «Я покажу, чѣмъ долженъ быть журналъ въ наше время», писалъ онъ ко мнѣ... Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходѣ третьей книжки всѣ средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о томъ, что журналъ переходитъ подъ редакцію Бѣлинскаго; непрактичность и издателя, и редактора, пустившихъ очень небольшое число объявленій о преобразованіи журнала, въ которыхъ притомъ глухо и неопредѣленно сказано было о переходѣ «Наблюдателя» отъ Андросова (бывшаго редактора) подъ новую редакцію. Впрочемъ, и это можетъ-быть не зависѣло ни отъ издателя, ни отъ редактора. И наконецъ то примирительное направленіе первыхъ книжекъ возобновленнаго «Наблюдателя»,—направленіе, которому публика никакъ не могла симпатизировать.

Сотрудники видѣли, что дѣло не ладится и охладѣли къ журналу. Бѣлинскій былъ недоволенъ составомъ первыхъ книжекъ и совершенно упалъ духомъ. Между нимъ и нѣкоторыми изъ его друзей произошли недоразумѣнія; съ однимъ изъ нихъ, Боткинымъ, какъ я говорилъ уже, Бѣлинскій въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ совсѣмъ не видался; Константинъ Аксаковъ начиналъ съ нимъ расходиться, потому-что уже слишкомъ клонился къ славянофилизму...

При такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, Бѣлинскій задолжалъ въ лавочку. Въ домъ ему не хотѣли ничего отпускать. Обѣдъ его, при которомъ я не разъ присутствовалъ, былъ и безъ того неприхотливъ: онъ состоялъ изъ дурно-свареннаго супа, который Бѣлинскій густо посыпалъ перцемъ, и куска говядины изъ этого супа... Конечно, Бѣлинскій не могъ умереть съ голода,—близкіе люди не допустили бы его до этого; но жить благодѣяніями—и еще при сознаніи своей силы и таланта, при увѣренности, что онъ могъ пріобрѣтать достаточно своими трудами, — не легко. Всякій дрянной фельетонистъ, съ нѣкоторымъ практическимъ тактомъ, былъ гораздо обезпеченнѣе Бѣлинскаго, жилъ только однимъ своимъ ремесломъ... При своихъ внутреннихъ силахъ и энергіи, онъ былъ безсильнымъ ребенкомъ въ жизни, какъ многіе впрочемъ умные люди, принадлежавшіе къ его поколѣнію,—и вслѣдствіе этого легко и за ничтожную плату отдавался въ руки спекуляторовъ, ужасаясь мысли умереть съ голоду или жить благодѣяніями, что еще хуже...

Черезъ нѣсколько времени послѣ пріѣзда моего въ Москву, Бѣлинскій уже объявилъ мнѣ, что «Наблюдатель» продолжаться не можетъ. Неуспѣхъ его онъ приписывалъ разнымъ причинамъ; но онъ въ это время еще не подозрѣвалъ, что въ самомъ направленіи, которое онъ хотѣлъ придать журналу, заключалась невозможность его успѣха.

Увлекшись толкованіями Бакунина о гегелевской философіи и знаменитою формулою, извлеченною изъ этой философіи, что «все дѣйствительное разумно»,—Бѣлинскій проповѣдывалъ о примиреніи въ жизни и искусствѣ, усиливаясь во что бы то ни стало, противъ своей натуры, сдѣлаться консерваторомъ, и съ ожесточеніемъ ратовалъ за *искусство для искусства*. Онъ дошелъ до того (крайности были въ его натурѣ), что

всякій общественный протестъ противъ стараго порядка казался ему преступленіемъ, насиліемъ; французская революція — дѣломъ нѣсколькихъ экзальтированныхъ людей, безумцевъ, осмѣлившихся посягнуть на разрушеніе государственнаго порядка, и смиренно преклонялся передъ всякимъ произволомъ, исходившимъ свыше... Онъ съ презрѣніемъ отзывался о французскихъ энциклопедистахъ XVIII столѣтія, о критикахъ, не признававшихъ теоріи «искусство для искусства», о писателяхъ, заявлявшихъ необходимость общественныхъ реформъ и стремившихся къ новой жизни, къ общественному обновленію. Онъ съ особеннымъ негодованіемъ и ожесточеніемъ отзывался о Жоржъ-Зандъ. Искусство составляло для него какой-то высшій, отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, занимавшійся только вѣчными истинами и не имѣвшій никакой связи съ нашими житейскими дрязгами и мелочами, съ тѣмъ міромъ, въ которомъ мы вращаемся. Истинными художниками почиталъ онъ только тѣхъ, которые творили *безсознательно*. Къ такимъ причислялись Гомеръ, Шекспиръ, Вальтеръ-Скоттъ и Гёте. Гёте назывался не иначе, какъ олимпійцемъ. Шиллеръ не подходилъ къ этому воззрѣнію, и Бѣлинскій, сначала восторгавшійся имъ, охлаждался къ нему по мѣрѣ проникновенія своей новой теоріей. Въ Шиллерѣ не находилъ онъ того спокойствія, которое было непремѣннымъ условіемъ свободнаго творчества, того объективнаго, безстрастнаго взгляда, который проявлялся въ произведеніяхъ олимпійца Гёте, за исключеніемъ, впрочемъ, 2-й части «Фауста», которая всегда казалась Бѣлинскому сухой и мертвой символистикой. Пушкинъ, къ великому впрочемъ сожалѣнію Бѣлинскаго и его друзей, также не совсѣмъ подходилъ подъ его теорію,—въ немъ не отыскивался элементъ примиренія, и потому стихотворенія Клюшникова (—Θ—), въ которыхъ ясно выражался этотъ элементъ, были признаны Бѣлинскимъ и его кружкомъ, хотя уступающими Пушкину по обработкѣ и формѣ, но несравненно болѣе глубокими по мысли. Свѣтлый взглядъ Бѣлинскаго затуманивался болѣе и болѣе; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теоріей; Бѣлинскій незамѣтно запутывался въ ея сѣтяхъ, которыя еще скрѣплялъ Бакунинъ. Его свободной, въ высшей степени гуманной природѣ тяжело, неловко, тѣсно и душно было такое рабское подчиненіе фило-

софскимъ категоріямъ, формуламъ и опредѣленіямъ, въ которыхъ еще тревожно путался самъ Бакунинъ.

Къ этому присоединялись еще — неудача «Наблюдателя», долги, размолвка съ нѣкоторыми пріятелями. Я засталъ Бѣлинскаго въ напряженномъ лихорадочномъ состояніи, которое я не могъ не замѣтить, но приписывалъ тогда только его стѣсненному положенію.

Черезъ нѣсколько времени послѣ моего пріѣзда въ Москву, Бакунинъ уѣхалъ, кажется, въ деревню... Съ Бакунинымъ Бѣлинскій не видѣлся (онъ снова сошелся съ нимъ уже послѣ возвращенія моего изъ Казани). Его навѣщали только Ключниковъ, Катковъ и Кудрявцевъ, который былъ еще студентомъ. Онъ, какъ я буду говорить въ моихъ «Воспоминаніяхъ» о немъ, полюбилъ Кудрявцева за его эстетическій вкусъ, за его, какъ онъ выражался, тонкую, нѣжную натуру. Они часто толковали о современныхъ литературныхъ дѣятеляхъ и перечитывали лучшія, по ихъ мнѣнію, произведенія русскихъ поэтовъ. Къ числу таковыхъ они причислили такъ-называемые патріотическіе стихи Пушкина («Бородинская годовщина», «Клеветникамъ Россіи», «Чернь», «Поэту», «Пророкъ» и другіе). Бѣлинскій съ увлеченіемъ отзывался объ этихъ стихотвореніяхъ и часто читалъ ихъ наизусть, прибавляя обыкновенно въ заключеніе:

— Вотъ гдѣ Пушкинъ является истиннымъ, великимъ художникомъ!

...Однажды вечеромъ я возвращался откуда-то съ Бѣлинскимъ домой. На Арбатской площади попался намъ на встрѣчу молодой человѣкъ небольшаго роста, полный, румяный, очень пріятной наружности, съ вьющимися темными волосами, въ очкахъ. На немъ былъ студентскій сюртукъ.

Увидѣвъ Бѣлинскаго, студентъ съ юношескимъ, неудержимымъ увлеченіемъ бросился къ Бѣлинскому, схватилъ съ жаромъ его руку и воскликнулъ, запыхавшись:

— Виссаріонъ Григорьичъ! Какъ я радъ васъ видѣть, Виссаріонъ Григорьичъ!

— Ахъ, здравствуйте! отвѣчалъ сухо Бѣлинскій, видимо смущенный такимъ внезапнымъ нападеніемъ на него, и взглянулъ на студента холодно и рѣзко, какъ бы спрашивая: «что вамъ отъ меня нужно?»

Студента, кажется, покоробило отъ этого взгляда; онъ произнесъ еще нѣсколько словъ и удалился, смущенный.

Мнѣ стало жаль его...

— Кто это такой? спросилъ я: — и отчего вы съ нимъ обошлись такъ холодно?...

— Это бывшій мой ученикъ, отвѣчалъ Бѣлинскій: — Кавелинъ, — мальчикъ очень умный, горячій, съ большими способностями, подающій большія надежды; но я терпѣть не могу, когда мальчишки пристаютъ ко мнѣ, — ну, о чемъ мнѣ толковать съ ними? Что̀ я могу имѣть съ ними общаго?

Студентъ этотъ былъ тотъ самый Кавелинъ, который черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого получилъ блестящую извѣстность на каѳедрѣ Московскаго университета и присоединился къ кружку Бѣлинскаго. Кавелинъ припомнилъ разъ Бѣлинскому объ этой встрѣчѣ, и оба они очень смѣялись...

Въ этотъ вечеръ Бѣлинскій былъ не въ духѣ, обнаруживалъ особенное раздраженіе и жаловался на боль въ груди...

Когда я зашелъ къ нему, онъ бросился въ кресло, совершенно ослабленный и тяжело дыша. Нѣсколько минутъ онъ не говорилъ ничего. Наконецъ, блѣдный, съ страдающимъ лицомъ, онъ обратился ко мнѣ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — мнѣ, во что̀ бы ни стало, надобно вонъ изъ Москвы... Мнѣ эта жизнь надоѣла и Москва опротивѣла мнѣ. Что, какъ вы думаете, можно будетъ какъ-нибудь уломать жида-Краевскаго?

Надобно сказать, что Бѣлинскій въ первые же дни нашего знакомства, сообщая мнѣ о погибели «Наблюдателя», объявилъ, что онъ не прочь былъ бы переѣхать въ Петербургъ и принять на себя критическій отдѣлъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Я не скрылъ отъ него, какъ Краевскій отзывается о немъ.

— Онъ вполнѣ надѣется, прибавилъ я: — что Межевичъ оживитъ его журналъ своей критикой, и я оставилъ ихъ въ самомъ пріятномъ и дружескомъ расположеніи.

Бѣлинскій горько улыбнулся.

— Ну, нечего сказать, хорошъ вашъ Краевскій!... Да вѣдь этотъ Межевичъ — безталаннѣйшій смертный, совершенная тупица... Межевичъ ничего не можетъ сдѣлать, ему понадобится непремѣнно другой человѣкъ; а вы между-тѣмъ на-

мекните ему, что я не прочь... разумѣется, за хорошее вознагражденіе; напишите, что у меня есть статья о Менцелѣ— расхвалите ее, разумѣется, какъ можно больше и что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана, — ну, да это все равно. Сблизьте меня какъ-нибудь съ нимъ, да обдѣлайте это дѣло половчѣе... Не говорите ему о моей нищетѣ; онъ, пользуясь этимъ, еще, пожалуй, прижметъ меня.

Въ письмахъ къ Краевскому я говорилъ всякій разъ что-нибудь о Бѣлинскомъ и его кружкѣ... Краевскій, между-тѣмъ, завелъ переписку съ Катковымъ, который черезъ меня обѣщалъ ему статью для журнала. Уже въ первыхъ письмахъ Краевскаго ко мнѣ замѣтно было, что безсиліе и неспособность Межевича начинали тревожить его, и я не сомнѣвался, что только чувство собственнаго достоинства мѣшаетъ ему обратиться прямо къ Бѣлинскому. Воспользовавшись этимъ, я написалъ Краевскому прямо, что Бѣлинскій предлагаетъ ему свое сотрудничество, что недурно было бы, если онъ перепечатаетъ въ своихъ изданіяхъ превосходную статью Бѣлинскаго о «Сынѣ Отечества» Полевого, что у Бѣлинскаго есть статья о *Менцелѣ*, которая производитъ въ Москвѣ фуроръ, и которую онъ не прочь былъ бы прислать въ «Отечественныя Записки»...

Въ отвѣтъ на это я получилъ отъ него письмо (отъ 20-го іюня). Онъ писалъ между прочимъ слѣдующее:

«Статья о «Сынѣ Отечества» перепечатается (если она ѣдка) въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» изъ «Наблюдателя» подъ такимъ названіемъ: Справедливое сужденіе «Московскаго Наблюдателя» о «Сынѣ Отечества», въ pendant къ справедливому сужденію «Сына Отечества» объ «Отечественныхъ Запискахъ», перепечатанному въ «Пчелѣ».

«Прошу Бѣлинскаго статью о Менцелѣ, *и душевно радъ его будущему сотрудничеству. Поклонъ ему отъ меня низкій* и вопросъ: «какъ устроится это сотрудничество? по какимъ частямъ?» и проч.

Я тотчасъ же отправился съ этимъ письмомъ къ Бѣлинскому. На Бѣлинскаго оно произвело очень благопріятное впечатлѣніе. Онъ повеселѣлъ. Краевскій почувствовалъ необходимость прибѣгнуть къ *крикуну-мальчишкѣ* для поддержанія

своего журнала. Бѣлинскому открывалась возможность оставить Москву и расплатиться съ своими долгами. Перемѣна жизни улыбалась ему.

Въ письмѣ Краевскаго была, между прочимъ, слѣдующая приписка:

«Ради Бога, скажите Каткову, что̀ это онъ со мною дѣлаетъ? Не шлетъ до-сихъ-поръ окончанія своей статьи! Я ужь писалъ къ нему объ этомъ, — а онъ все медлитъ. О, Москва, Москва!..»

Послѣднее восклицаніе очень понравилось Бѣлинскому...

— Это правда, замѣтилъ онъ: — всѣ мы, москвичи, — прекрасные и умные люди, но все дѣлаемъ какъ-то спустя рукава. Въ насъ недостаетъ бездѣлицы — настоящаго практическаго смысла и настоящей дѣятельности... На словахъ мы герои, а чуть до дѣла...

Бѣлинскій не докончилъ фразы, махнулъ рукой и повторилъ, смѣясь: «О, Москва! Москва!»...

Передъ отъѣздомъ моимъ въ Казань, въ іюлѣ мѣсяцѣ, дѣло о переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ было рѣшено. Онъ принялъ условія Краевскаго: Краевскій долженъ былъ ему выслать къ осени впередъ незначительную сумму на уплату долговъ и на отъѣздъ, и обязался платить ему три тысячи пятьсотъ рублей ассигнаціями въ годъ (1000 р. сер.), съ тѣмъ, чтобы Бѣлинскій принялъ на себя весь критическій и библіографическій отдѣлъ «Отечественныхъ Записокъ». Мы рѣшили ѣхать въ Петербургъ вмѣстѣ, послѣ возвращенія моего изъ Казани въ Москву.

. . . . . .

Я вернулся въ Москву въ началѣ октября.

10-го октября я получилъ письмо отъ Краевскаго. Вотъ отрывки изъ него:

«Христа-ради, хлопочите сами, подбейте Павлова и Погодина, чтобъ вырвать у Гоголя статью для «Отечественныхъ Записокъ». Кстати. Я объявилъ было въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» о пріѣздѣ Гоголя въ Москву; но Плетневъ сказалъ мнѣ, что получилъ отъ него письмо съ просьбою — никому не объявлять, что онъ въ Москвѣ... Жуковскій сказывалъ мнѣ, что Гоголь черезъ мѣсяцъ будетъ въ Петербургѣ. Его статья необходима; надобно употребить всѣ средства, чтобъ получить ее. Не пишу къ нему самъ, потому-что эти вещи

не дѣлаются черезъ письма, особенно съ нимъ. *Растолкуйте ему необходимость поддерживать «Отечественныя Записки» всѣми силами.* Если же онъ сдѣлался равнодушенъ къ судьбамъ «россійской словесности», чего я не ожидаю, то *покажите ему впереди за статью хорошія деньги, въ которыхъ онъ вѣрно нуждается.* Если жь ничто не возьметъ, то надо дожидаться пріѣзда его сюда и здѣсь напасть на него соединенными силами...»

«..... Виссаріону Григорьичу низкій поклонъ и благодареніе за статьи его. Въ статьѣ о «Бородинской годовщинѣ» Никитенко выкинулъ два мѣста: что дѣлать! Онъ не любитъ Европы и не хочетъ признавать, чтобы въ ней было что-нибудь порядочное. Прочее все осталось такъ, какъ было, кромѣ отзыва о Жуковскомъ, *который я посмягчилъ.* Статья о книгѣ доктора Ратье также *измѣнена мною,* потому-что одинъ изъ здѣшнихъ дѣльныхъ врачей доставилъ мнѣ о ней статью: вѣдь мы съ Виссаріономъ Григорьичемъ въ этомъ дѣлѣ профаны, надо вѣрить тому, кто лучше знаетъ.

«Утѣшьте Виссаріона Григорьича: *браниться можно* обиняками, какъ увидитъ онъ изъ статьи «Ѳитабуки», въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» *). Въ статьѣ его для «Литературныхъ Прибавленій» не дѣлано было ни мною, ни Межевичемъ никакихъ прибавленій, — все это дѣлалъ бичъ журналовъ — ценсоръ Л — ръ, а въ разборѣ «Стихотвореній Леонова» (Каткова) — Никитенко.

«Убѣдите, Бога-ради, Каткова отыскать большое письмо, которое я посылалъ къ нему еще въ сентябрѣ, и котораго, какъ видно изъ его писемъ, онъ не получалъ. Что же это такое, Господи Боже мой! Времени мало, урвешься написать, — да и то пропадетъ! Я адресовалъ его на имя Боткина, какъ самъ же Катковъ просилъ: отчего же оно пропало? Скоро буду къ нему еще писать и ужь адресую на имя Галахова. Авось будетъ вѣрнѣе!

«Поблагодарите Бакунина за его премилую статью о музыкѣ Латера на серьёзную пѣсню Пушкина...

---

*) Статья эта противъ Греча была написана, кажется, Краевскимъ, по-крайней-мѣрѣ онъ очень гордился ею и часто ссылался на нее, какъ на образецъ остроумной полемики.

«Присылайте скорѣе стиховъ Аксакова, Павловой, Клюшникова и другихъ. У меня нѣтъ стиховъ. Лермонтовъ отдалъ бабамъ читать своего «Демона», изъ котораго хотѣлъ напечатать отрывки, и бабы чортъ знаетъ куда дѣли его; а у него ужь разумѣется нѣтъ черноваго; таковъ мальчикъ уродился!...

...«Жду васъ и Виссаріона Григорьича. Ради Бога, пріѣзжайте скорѣе...»

Далѣе въ письмѣ рѣчь о какомъ-то новомъ доносѣ Булгарина.

Изъ этого письма видно, что между Краевскимъ и кружкомъ Бѣлинскаго начались уже дѣятельныя сношенія...

По возвращеніи моемъ въ Москву, я, къ великому удовольствію, увидѣлъ, что всѣ недоразумѣнія между Бѣлинскимъ, Бакунинымъ и отчасти Катковымъ прекратились, и что они находятся въ полномъ мирѣ и согласіи.

Бѣлинскаго я засталъ въ очень хорошемъ расположеніи духа... Бливость отъѣзда изъ Москвы и предстоящая перемѣна жизни оживляла его. Изъ всѣхъ друзей его, только одинъ Константинъ Аксаковъ смотрѣлъ на Бѣлинскаго съ грустью, сожалѣніемъ и отчасти съ досадою. Онъ не понималъ, какъ москвичъ можетъ равнодушно оставлять Москву...

Друзья сходились большею частію по вечерамъ у Бакунина... Разговоръ былъ всегда одушевленный, горячій. Предметомъ его были толки объ искусствѣ съ точки зрѣнія Гегеля: съ этой точки строго разбирали Пушкина и другихъ современныхъ поэтовъ. Лермонтовъ съ своимъ демоническимъ и байроническимъ направленіемъ никакъ не покорялся этому новому воззрѣнію. Бѣлинскаго это ужасно мучило... Онъ видѣлъ, что начинающій поэтъ обнаруживаетъ громадныя поэтическія силы; каждое новое его стихотвореніе въ «Отеч. Записк.» приводило Бѣлинскаго въ экстазъ, — а между-тѣмъ въ этихъ стихотвореніяхъ примиренія не было и тѣни! Лермонтова оправдывали впрочемъ тѣмъ, что онъ молодъ, что онъ только-что начинаетъ, нѣсколько успокоивались тѣмъ, что онъ владѣетъ всѣми данными для того, чтобы сдѣлаться современемъ полнымъ, великимъ художникомъ и достигнуть вѣнца творчества — художественнаго спокойствія и объективности... Клюшниковъ, самъ имѣвшій въ себѣ частичку демонизма, очень симпатизировалъ таланту Лермонтова, и довольно остроумно

посмѣивался надъ нѣкоторыми толками о поэтѣ; Катковъ и К. Аксаковъ прочитывали свои переводы изъ Гейне, Фрейлихграта и изъ другихъ новѣйшихъ нѣмецкихъ поэтовъ. Катковъ обыкновенно декламировалъ съ большимъ эффектомъ, принимая живописныя позы, складывая руки на-крестъ, подкатывая глаза подъ лобъ...

Я никогда не забуду этихъ вечеровъ...

Сколько молодости, свѣжести силъ, усилій ума потрачено на разрѣшеніе вопросовъ, которые теперь, черезъ 20 слишкомъ лѣтъ, кажутся смѣшными! Сколько напраснаго кипѣнія крови, сколько увлеченій и заблужденій!... Но все это не пропало даромъ. До истины люди добираются не вдругъ. Этотъ кружокъ займетъ важное мѣсто въ исторіи русскаго развитія... Изъ него вышли и выработались самые горячіе и благородные дѣятели на поприщѣ науки и литературы.

Я всей душою привязался къ Бѣлинскому и его друзьямъ. Пробужденная ими, моя мысль начала обнаруживать нѣкоторую дѣятельность подъ ихъ вліяніемъ...

Черезъ нѣсколько дней послѣ моего возвращенія въ Москву, Бѣлинскій принесъ мнѣ прочесть свою рецензію на книгу Ѳ. Н. Глинки: «Бородинская годовщина», которую онъ отослалъ для напечатанія въ «Отечественныя Записки».

— Послушайте-ка, сказалъ онъ мнѣ: — кажется, мнѣ еще до-сихъ-поръ не удавалось ничего написать такъ горячо, такъ рѣшительно высказать наши убѣжденія. Я читалъ эту статейку Мишелю (Бакунину) и онъ пришелъ отъ нея въ восторгъ, — ну, а мнѣніе его чего-нибудь да стоитъ! Да что мнѣ говорить, я самъ чувствую, что она вытанцовалась...

И Бѣлинскій началъ мнѣ читать ее съ такимъ волненіемъ и жаромъ, съ какимъ онъ никогда ничего не читалъ ни прежде, ни послѣ.

Лихорадочное увлеченіе, съ которымъ читалъ Бѣлинскій, языкъ этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженнаго паѳоса, произвелъ во мнѣ нервное раздраженіе... Бѣлинскій самъ былъ явно раздраженъ нервически.

— Удивительно! превосходно! повторялъ я во время чтенія и по окончанія его: — но я вамъ замѣчу одно...

— Я знаю, что, — не договаривайте, перебилъ меня съ жаромъ Бѣлинскій: — меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ,

скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни думали...

Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи.

— Да! это мои убѣжденія, продолжалъ онъ, разгорячаясь болѣе и болѣе... Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого? Я только дорожу мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости. Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... они знаютъ это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ, — вы вѣдь еще меня мало знаете...

Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли.

— Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ!... Мнѣ легче умереть съ голода — я и безъ того рискую эдакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себѣ...

Разговоръ этотъ со всѣми подробностями живо врѣзался въ мою память. Бѣлинскій какъ-будто теперь передо мною... Онъ бросился на стулъ, запыхавшись... и, отдохнувъ немного, продолжалъ съ ожесточеніемъ:

— Эта статья рѣзка, я знаю; но у меня въ головѣ рядъ статей еще больше рѣзкихъ... Ужъ какъ же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмѣливается судить объ искусствѣ, ничего не смысля въ немъ! . . . . . .

...По мѣрѣ приближенія нашего отъѣзда въ Петербургъ, Бѣлинскій становился все оживленнѣе и веселѣе.

— Теперь ужь я не вашъ! говорилъ онъ, смѣясь, своимъ друзьямъ. — Я петербуржецъ... А вы — москвичи, провинціалы; да, ваша Москва — провинція, что вы ни говорите и какъ ни гордитесь ею...

Бѣлинскій глубоко благоговѣлъ передъ реформою Петра I и оправдывалъ ее во всѣхъ ея крайностяхъ. Петербургъ поэтому еще особенно привлекалъ его...

Кетчеръ кричалъ противъ Петербурга изо всей силы; К. Аксаковъ, ударяя себя въ грудь, восклицалъ, что Москва

выстрадала за Русь, что она искупительница Россіи, что она ея центръ, что святыня Руси хранится въ Москвѣ, а Петербургъ...

— Ничего, перебилъ Бѣлинскій: — придетъ время и Петербургу, — онъ еще молодъ... Петербургъ имѣетъ уже одно важное значеніе, что это — *окно, прорубленное Петромъ въ Европу.*

К. Аксаковъ при этомъ выходилъ изъ себя. Хотя еще онъ не питалъ той непримиримой ненависти къ Петру, которая развилась въ немъ впослѣдствіи..

...День нашего отъѣзда въ Петербургъ, наконецъ, наступилъ. Насъ провожали до Черной Грязи Бакунинъ, Кетчеръ и Катковъ.

Кетчеръ явился на наши проводы въ своемъ красномъ плащѣ, съ неизбѣжнымъ хохотомъ и еще болѣе неизбѣжной корзинкой, изъ которой торчала солома...

Мы вѣроятно долго пробыли бы на станціи, потому-что Кетчеръ по своему обыкновенію расходился, кричалъ, потрясая бутылкой, подшучивалъ надъ Бѣлинскимъ, подавалъ ему совѣты, какъ забрать въ руки Краевскаго — и все это сопровождалъ хохотомъ. Бѣлинскій, нетерпѣвшій шумныхъ и длинныхъ проводовъ, торопился ѣхать. Онъ былъ молчаливъ и грустенъ. Видно, что отрываться отъ своего кружка ему было нелегко... Бакунинъ обнаруживалъ сильное нетерпѣніе...

— Ужь поѣзжайте лучше скорѣй, друзья, повторялъ онъ, качая головою. — Проводы эти всегда ужасно тяжелы.

— Къ чему торопиться? вздоръ! кричалъ Кетчеръ: — да вы не допили еще своихъ стакановъ. — Но Бѣлинскій рѣшительно всталъ. Наша дорожная карета давно уже ожидала насъ у подъѣзда.

— Ну, прощайте, господа, сказалъ онъ: — не забывайте меня...

Всѣ бросились обнимать Бѣлинскаго. Бакунинъ гладилъ его по затылку и по головѣ и, смотря на него съ нѣжностью, говорилъ: «ну, я радъ за тебя, Виссаріонъ... Намъ съ тобой тяжело разставаться, голубчикъ, очень тяжело, ты это знаешь, но вѣдь тебѣ въ Москвѣ оставаться не-для-чего...»

Катковъ энергически сжималъ Бѣлинскаго въ своихъ объятіяхъ и крѣпко нѣсколько разъ поцѣловалъ его.

Кетчеръ поднесъ ему стаканъ съ шампанскимъ.

— Ну, Виссаріонъ, чокнемся, сказалъ онъ. — Теперь ты *долженъ* выпить.

Бѣлинскій выпилъ стаканъ безъ противорѣчія.

— Молодецъ! закричалъ Кетчеръ, цѣлуя его: — ну, теперь прощай, да, смотри же, не поддавайся Краевскому...

Когда карета двинулась и мы высунулись въ окно, — Бакунинъ съ нѣжною грустью смотрѣлъ на насъ, махая своимъ платкомъ, Кетчеръ кричалъ что-то и размахивалъ фуражкой, Катковъ стоялъ неподвижно со сложенными на-крестъ руками, съ надвинутыми на глаза бровями, провожая насъ глубокимъ и задумчивымъ взглядомъ...

ГЛАВА IV.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

ГЛАВА V.

Грановскій и московскій кружокъ.

Теперь, оставляя на время хронологическій порядокъ, котораго я насколько могъ придерживался въ моихъ «Воспоминаніяхъ», я хочу остановиться на Грановскомъ и по этому поводу поговорить вообще о московскомъ кружкѣ. Я не имѣю претензіи представить полный образъ этого человѣка, разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ эту замѣчательную личность: указывать на значеніе Грановскаго, какъ профессора, разбирать его историческіе труды и т. д. Я очень хорошо знаю, что

это мнѣ не по силамъ. Я просто и откровенно выскажу о немъ то, что знаю. Если въ этомъ слабомъ очеркѣ найдется хоть одна незамѣченная и новая черта, которая пригодится для его будущей біографіи — я буду доволенъ и этимъ...

Когда я возвратился изъ Казани въ Москву, Грановскій незадолго до меня пріѣхалъ въ Москву изъ-за границы, гдѣ онъ пробылъ три года (съ 1836 — 1839). Онъ тотчасъ же сошелся съ Бѣлинскимъ и съ его друзьями. Они были близки ему уже по Станкевичу, съ которымъ онъ познакомился за границей и къ которому привязался всей силой души.

Первая новость, встрѣтившая меня въ кружкѣ Бѣлинскаго, это былъ пріѣздъ Грановскаго...

— Нашего полку прибыло, сказалъ мнѣ Бѣлинскій: — Грановскій здѣсь. Какой гуманный, симпатичный человѣкъ! Я почти не встрѣчалъ въ жизни человѣка, кромѣ Станкевича, который бы съ первой минуты такъ располагалъ къ себѣ, какъ онъ... Не даромъ Станкевичъ такъ любилъ его и такъ горячо писалъ намъ о немъ въ своихъ письмахъ. Дѣйствительно, это человѣкъ съ избранной натурой...

Люди самыхъ противуположныхъ мнѣній сходились въ мнѣніи о Грановскомъ. На вечерѣ у Мельгунова, Шевыревъ, Хомяковъ и Погодинъ отзывались о немъ почти точно такъ же, какъ Бѣлинскій.

Пріѣздъ его вообще произвелъ большой эффектъ въ московскихъ ученыхъ и литературныхъ кружкахъ.

— Я сказалъ Грановскому, что вы здѣсь, замѣтилъ мнѣ Бѣлинскій: — онъ желалъ съ вами познакомиться и хочетъ зайти къ вамъ. Предупредите-ка его.

Любопытство мое насчетъ Грановскаго было возбуждено сильно, и я на другой же день отправился къ нему, не засталъ его дома и оставилъ карточку.

Онъ жилъ тогда на казенной квартирѣ, въ домѣ бывшаго московскаго благороднаго пансіона, на Тверской.

Грановскій отплатилъ мнѣ визитъ въ тотъ же день. Я жилъ наискосокъ отъ него—въ гостинницѣ Копа...

Грановскому было тогда лѣтъ около тридцати.

Черты лица его были крупны и неправильны: носъ и губы толстыя,—лицо это не имѣло той вульгарной, внѣшней красоты, которая поражаетъ съ перваго раза; но его большіе,

глубокіе, темные глаза съ меланхолическимъ оттѣнкомъ, съ надвинутыми, густыми и широкими бровями, его открытый лобъ, почти черные волосы, зачесанные назадъ и доходившіе до плечъ, его грустная, добродушная, кроткая улыбка,—все это вмѣстѣ поражало той внутренней красотой, въ которую чѣмъ болѣе вглядываешься, тѣмъ болѣе она кажется привлекательною... Въ его движеніяхъ, взглядахъ, голосѣ, манерѣ говорить (онъ нѣсколько пришепетывалъ, что нисколько не портило его) было что-то неотразимо-симпатичное. Всѣ женщины были отъ него въ восторгѣ; всѣ мужчины, даже враждебные его убѣжденіямъ, не могли не питать къ нему личной симпатіи.

Всегда нѣсколько робѣвшій передъ авторитетами, я сначала смутился-было передъ новымъ возникавшимъ авторитетомъ молодаго профессора; но онъ такъ мило и просто обошелся со мною, что послѣ первыхъ объясненій я почувствовалъ себя совершенно легко и свободно.

Предметомъ нашего разговора былъ нашъ общій знакомый, пріятель его и Станкевича, Я. М. Невѣровъ...

Послѣ этого я встрѣчался съ Грановскимъ на вечерахъ у Бакунина.

Грановскій впрочемъ не часто посѣщалъ въ это время кружокъ Бѣлинскаго. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ симпатизировалъ людямъ, но не могъ никакъ симпатизировать ихъ тогдашнимъ убѣжденіямъ. Грановскаго интересовали болѣе человѣческія дѣла, чѣмъ философскія отвлеченія.

Онъ, какъ прекрасно выразился кто-то, «думалъ исторіей, учился исторіей и исторіей впослѣдствіи дѣлалъ пропаганду». Съ его свѣтлымъ воззрѣніемъ на современную гражданственность, основаннымъ на историческомъ знаніи и изученіи, тѣ убѣжденія, до какихъ дошли Бакунинъ и Бѣлинскій, опираясь на отвлеченныя, философскія толкованія, должны были казаться ему дикими...

Грановскій впрочемъ не высказывался. Онъ, вѣроятно, угадывалъ, что убѣжденія эти — только минутное заблужденіе. Онъ видѣлъ экзальтацію Бѣлинскаго... и не хотѣлъ даже слегка касаться его больной стороны.

Къ тому же, Грановскій, мягкій по своей натурѣ, надѣленный большимъ тактомъ въ обращеніи съ людьми, любящій

и снисходительный, понималъ можетъ-быть, что ему не совсѣмъ выгодно,—несмотря на то, что истина была на его сторонѣ,—вступать въ споры съ такимъ яростнымъ бойцомъ, каковъ былъ Бѣлинскій и съ такимъ несокрушимымъ діалектикомъ, каковъ былъ Бакунинъ.

Такимъ-образомъ, Грановскій разстался съ Бѣлинскимъ, уѣзжавшимъ въ Петербургъ, безъ всякихъ объясненій. Ихъ короткія, дружескія отношенія начались уже послѣ...

Мѣсяца черезъ три послѣ отъѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ, Грановскій познакомился съ Герценомъ, въ проѣздъ сего послѣдняго изъ Вятки въ Петербургъ.

Черезъ два года (въ 1842 г.), когда Герценъ побывалъ въ Петербургѣ и второй разъ возвращался на житье въ Москву, онъ уже сблизился съ Грановскимъ тѣсно и глубоко...

Грановскій дѣлался звеномъ соединенія многаго и многихъ. Его симпатическая личность, дѣйствовавшая всегда благотворно и примирительно, начинала имѣть сильное вліяніе на его друзей.

Кто-то удачно сравнилъ Грановскаго съ тѣми благодушными проповѣдниками времени реформаціи, которыхъ боялись самые суровые судьи, и которыхъ примирительная улыбка оставляла по себѣ въ этихъ суровыхъ судьяхъ невольное угрызеніе совѣсти...

Грановскій и Герценъ привязались другъ къ другу сильно, несмотря на несходство своихъ характеровъ... Грановскій съ своей кроткой и мягкой натурой робко отступалъ передъ суровой логикой Герцена и передъ тѣмъ, что Герценъ называлъ «безстрастной объективностью природы»... Отсюда впослѣдствіи должна была произойти между ними неизбѣжная размолвка.

Но какъ глубока была привязанность Грановскаго къ Герцену и Огареву, доказываютъ слѣдующія слова его:

«На дружбу мою къ нему ушли лучшія силы моей души»—говорилъ онъ.—«Въ ней есть *доля страсти*, заставлявшая меня плакать въ 1846 г. и обвинять себя въ безсиліи разорвать связь, которая повидимому не могла продолжаться. Почти съ отчаяніемъ замѣтилъ я, что онъ прикрѣпленъ къ душѣ моей такими нитками, которыхъ нельзя перерѣзать, не захвативъ живаго мяса»...

Въ первые годы знакомства Грановскаго съ Герценомъ, между ними существовала впрочемъ полнѣйшая гармонія... Въ общихъ убѣжденіяхъ они всегда сходились; до глубокихъ же внутреннихъ вопросовъ касались или слегка, или вовсе не касались; къ тому же, Герценъ въ то время еще не доходилъ до безпощадной крайности своихъ воззрѣній и до того жолчнаго сарказма, который проявился у него потомъ...

...Герценъ глубоко уважалъ Бѣлинскаго, видѣлъ, какимъ мощнымъ полемическимъ талантомъ владѣетъ онъ, сколько энергіи въ душѣ его... Въ статьѣ моей о Бѣлинскомъ я буду говорить о первомъ посѣщеніи Бѣлинскаго Герценомъ въ январѣ 1840 года... Объясненіе между ними послѣдовало тотчасъ, иначе и быть не могло. Герценъ высказалъ Бѣлинскому, что онъ идетъ по ложной и опасной дорогѣ... Бѣлинскій былъ уязвленъ глубоко, онъ почувствовалъ, что въ жосткихъ словахъ было много правды, но еще упорно отстаивалъ свой образъ мыслей, нѣсколько успокоивая себя тѣмъ, что взгляды Герцена узки, что его міросозерцаніе не просвѣтлено гегелевской философіей и т. д.

Вскорѣ послѣ этого Бѣлинскій впадаетъ въ тоску и апатію—предвѣстницу внутренняго переворота. Онъ борется съ собою до конца 1841 года, но во второй пріѣздъ друга въ Петербургъ, въ 1842 году, онъ крѣпко жметъ ему руку, обнимаетъ его и, улыбаясь, говоритъ ему: «ты побѣдилъ!»

Съ этой минуты Бѣлинскій воскресаетъ духомъ, онъ дышетъ легче и свободнѣе, онъ уже не насилуетъ своей натуры. Онъ вспоминаетъ о своемъ прошедшемъ съ болью и негодованіемъ... Кружокъ Бѣлинскаго расширяется и пріобрѣтаетъ бо̀льшее значеніе и силу... Къ нему присоединяются, кромѣ молодыхъ профессоровъ Московскаго университета, вернувшихся изъ заграницы, всѣ передовые тогдашніе люди въ литературѣ...

Е. Коршъ, съ которымъ Грановскій до отъѣзда своего заграницу дружно работалъ вмѣстѣ для «Библіотеки для Чтенія» Сенковскаго, около этого времени поселяется въ Москвѣ. Съ Коршемъ до кончины своей Грановскій остается въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ...

Е. Коршъ, уступавшій многимъ относительно литературной дѣятельности, былъ однимъ изъ самыхъ пріятныхъ собе-

сѣдниковъ кружка. Его отсутствіе чувствовалось даже при Герценѣ. Коршъ, съ своимъ мѣткимъ умомъ, быстро подмѣчалъ смѣшныя стороны всѣхъ друзей, даже не исключая Грановскаго и Герцена, и очень ѣдко острилъ надъ всѣми, еще *пришпиливая*, по чьему-то удачному выраженію, свои остроты заиканьемъ, которое придавало большую оригинальность его разговору, его замѣчаніямъ и шуточкамъ.

Присутствіе Грановскаго все сливало въ какую-то гармонію, на все накладывало тонкій, поэтическій колоритъ, смягчало рѣзкости, примиряло диссонансы и даже смиряло Кетчера, котораго перекричать и смирить никто не могъ...

Пріятели собирались часто то у Бакунина, то у Кавелина, то у Герцена (всего чаще) и у Грановскаго, который только-что женился.

Жена Грановскаго была очень молода; въ ней была, по вѣрному выраженію одного изъ друзей Грановскаго; та отроческая непорочность, даже апатія, которая нерѣдко встрѣчается у молодыхъ бѣлокурыхъ дѣвушекъ германскаго племени.

Любовь Грановскаго къ ней была тихая, кроткая, больше глубокая и нѣжная, чѣмъ страстная. Трогательное спокойствіе царило въ ихъ молодомъ домѣ. Какъ-то легко и пріятно было видѣть возлѣ Грановскаго, погруженнаго въ свои занятія, его молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. У нихъ не было дѣтей и они походили болѣе на брата и сестру...

На сходкахъ друзей быстро обмѣнивались мысли и знанія, среди остротъ, шутокъ, неистовыхъ и неизмѣнныхъ криковъ Кетчера: «эй вы! что жъ вы бокалы-то свои забываете?.. Допивайте!»... Друзья сообщали другъ другу новости, все прочитанное и узнанное ими, спорили; вырабатываемое каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ...

Грановскій между-тѣмъ пріобрѣталъ все большую извѣстность на своей каѳедрѣ, возбуждая къ себѣ любовь и энтузіазмъ своихъ слушателей...

Весною 1843 года онъ открылъ публичный курсъ «Средневѣковой исторіи Франціи и Англіи». Вся блестящая Москва съѣхалась на эти лекціи, какъ-будто сговорившись заранѣе, дамы занимали половину аудиторіи. Грановскій, серьёзно и смѣло для того времени, проводилъ свои воззрѣнія. Успѣхъ этихъ лекцій былъ колоссальный. По окончаніи по-

слѣдней лекціи, энтузіазмъ выразился, какъ обыкновенно, хлопаньями, криками, пожатіями руки профессора и чуть не бросаніемъ на воздухъ чепцовъ со стороны барынь... Всѣ тѣснились около профессора, изъявляя ему свой восторгъ, свое участіе... Грановскій былъ глубоко тронутъ. Ему даже не дали досказать заключительныхъ, благодарственныхъ словъ. На крыльцѣ его ожидали студенты и вынесли его на рукахъ на улицу.

Популярность Грановскаго въ Москвѣ упрочилась этими лекціями... Шевыревъ, вообще не питавшій къ Грановскому большаго расположенія, послѣ этого не могъ скрывать болѣе свою зависть и злобу,—онъ сталъ тайно интриговать противъ Грановскаго въ университетѣ и открыто, вмѣстѣ съ своимъ другомъ Погодинымъ, нападать на него въ «Москвитянинѣ». Нападки эти были нелѣпы и грубы... Грановскаго обвиняли въ *западничествѣ*, а на языкѣ этихъ господъ быть западникомъ значило быть почти врагомъ отечества.

Дѣло дошло до того, что Грановскій, на одной изъ своихъ лекцій, во время вторыхъ своихъ публичныхъ чтеній въ 1844 г., адресовался открыто къ славянофиламъ:

«Да отчего же я долженъ питать ненависть къ западу?—спросилъ онъ у нихъ.—И добросовѣстно ли было бы съ моей стороны, ненавидя западъ, взяться за преподаваніе его исторіи?...»

Публика и студенты были, конечно, на сторонѣ Грановскаго. Благороднѣйшіе изъ славянофиловъ (К. Аксаковъ, Хомяковъ, Кирѣевскіе) видѣли, какъ аляповато и неловко нападаютъ на Грановскаго ихъ собраты по убѣжденіямъ, и старались, по окончаніи втораго курса публичныхъ лекцій Грановскаго, сдѣлать попытку къ примиренію. Они изъявили желаніе принять участіе въ обѣдѣ, который давался въ честь Грановскаго, и уговорили Шевырева и Погодина присутствовать на этомъ обѣдѣ.

....Я пріѣхалъ въ Москву наканунѣ этого обѣда, и былъ на послѣдней лекціи Грановскаго.

Грановскій не имѣлъ на каѳедрѣ блестящаго ораторскаго таланта, поражающаго съ перваго раза; но въ манерѣ изложенія его было столько простоты, увлекательности, пластич-

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ности и внутренняго сосредоточеннаго жара, который выражался въ его прекрасныхъ и грустныхъ глазахъ; въ его тихомъ голосѣ было столько симпатіи, что, смотря на него и слушая его, я не удивлялся тому всеобщему энтузіазму, который производилъ онъ своими лекціями...

Послѣ шумныхъ изъявленій восторга, рукоплесканій и криковъ, всѣ отправились прямо въ домъ, гдѣ приготовленъ былъ обѣдъ въ честь профессора. Распорядителями этого обѣда со стороны западниковъ былъ Герценъ, со стороны славянофиловъ К. С. Аксаковъ, или Хомяковъ, — я хорошенько не помню.

Столъ былъ накрытъ покоемъ. На почетномъ мѣстѣ, въ серединѣ стола, сидѣлъ Грановскій, возлѣ него Шевыревъ. Мнѣ досталось мѣсто противъ нихъ. За обѣдъ сѣли въ три часа.

Въ половинѣ обѣда начались тосты. Первый тостъ былъ за Грановскаго, сопровождавшійся громкими единодушными криками западниковъ и славянофиловъ. Грановскій благодарилъ и предложилъ тостъ за Шевырева. Третій тостъ былъ за университетъ.

Послѣ этого поднялся Константинъ Аксаковъ. Съ энергически-сжатымъ кулакомъ и сверкающими глазами, громкимъ, торжественнымъ голосомъ, ударивъ кулакомъ по столу, онъ произнесъ:

— Милостивые государи! я предлагаю вамъ тостъ за Москву!

Тостъ этотъ былъ принятъ всѣми съ энтузіазмомъ... и въ эту самую минуту раздался звонъ колоколовъ, призывавшихъ къ вечернѣ.

Шевыревъ, воспользовавшись этимъ, произнесъ своимъ пѣвучимъ и тоненькимъ голосомъ:

— Слышите ли, господа, московскіе колокола отвѣтствуютъ на этотъ тостъ!...

Эта эффектная выходка съ одной стороны возбудила улыбку, съ другой — восторгъ. Константинъ Аксаковъ подошелъ къ Шевыреву, и они бросились въ объятія другъ друга...

Затѣмъ Константинъ Аксаковъ произнесъ съ необыкно-

веннымъ паѳосомъ извѣстные стихи свои къ Москвѣ, начинающіеся такъ:

„Столица древняя, родная,
Тебя ль не вѣдаетъ страна?
Тебя назвать — и Русь святая
Съ тобою вмѣстѣ названа“... и т. д.

Послѣ этихъ стиховъ, Шевыревъ въ свою очередь подошелъ къ Аксакову и началъ прижимать его къ груди своей...

Когда шумъ и славянофильскіе восторги смолкли, кто-то изъ западниковъ сказалъ:

— Милостивые государи! я предлагаю тостъ за всю Русь, не исключая и Петербурга..

Г. Шевыревъ вдругъ измѣнился въ лицѣ при этихъ словахъ...

— Позвольте, я прошу слова! воскликнулъ онъ, вскакивая съ своего стула...

Всѣ смолкли и обратились къ нему. Онъ началъ:

«Милостивые государи! позвольте замѣтить, что тостъ, предложенный намъ сейчасъ — безполезенъ, ибо уже въ тостѣ за Москву, который былъ принятъ всѣми безъ исключенія съ такимъ единодушнымъ энтузіазмомъ, заключался тостъ всей Россіи. Москва — ея сердце, мм. гг., ея представительница. Москва, какъ справедливо замѣтилъ Константинъ Сергѣичъ Аксаковъ въ превосходной статьѣ своей, помѣщенной въ № «Московскихъ Вѣдомостей» (нумеръ я забылъ), поминала ежедневно на перекличкѣ всѣ русскіе города.» И пошелъ, и пошелъ...

Когда краснорѣчивый ораторъ Москвы кончилъ, я обратился къ нему:

— Позвольте вамъ сказать, что Москва не поминала на своей перекличкѣ Петербурга, — по очень естественной причинѣ, что Петербургъ не существовалъ тогда. За что же вы хотите исключить Петербургъ изъ общаго тоста?

— Я съ большимъ удовольствіемъ выпью за ваше здоровье, Панаевъ, отвѣчалъ мнѣ Шевыревъ, протягивая свой бокалъ и чокаясь съ моимъ бокаломъ...

— За Петербургъ! за Петербургъ! кричали юные западники и даже Кетчеръ крикнулъ громче всѣхъ: «за Петербургъ!» — только въ контру Шевыреву, потому-что Кетчеръ

не терпѣлъ Петербурга такъ же, какъ и Шевыревъ, хотя и смѣялся надъ славянофилизмомъ...

Западники обнаружили сильное желаніе развернуться, но Грановскій смягчилъ ихъ своимъ кроткимъ и умоляющимъ взглядомъ, да и сами они поняли, что Грановскому было бы крайне непріятно, если бы они пиршество, данное въ честь его, превратили въ два враждебные лагеря.

Обѣдъ кончился. Ужъ многіе встали съ своихъ мѣстъ. Тосты впрочемъ продолжались. Славянофилы обнимались съ западниками. Зала гудѣла отъ говора, отъ времени до времени раздавался хохотъ Кетчера и его крики.

Шумъ еще увеличился, когда всѣ встали изъ-за стола и смѣшались...

К. Аксаковъ, съ которымъ я не видался болѣе четырехъ лѣтъ (онъ жилъ съ семействомъ въ своей подмосковной), встрѣтилъ меня на этомъ обѣдѣ съ явною холодностью и избѣгалъ разговора.

Я спросилъ его: какая причина этому?...

— Лично противъ васъ я ничего не имѣю, откровенно отвѣчалъ мнѣ Аксаковъ, пожимая мою руку: — но, прибавилъ онъ съ добродушною суровостью: — къ вамъ, какъ къ петербургскому литератору, я не могу питать никакой симпатіи. Вашъ Петербургъ извращаетъ людей... Что̀ сдѣлали вы съ Бѣлинскимъ? Можно ли было ждать, чтобы послѣ нашихъ дружескихъ отношеній онъ позволилъ себѣ противъ меня такія выходки!...

Какія выходки — я не зналъ; но я возразилъ Аксакову, что Бѣлинскій возставалъ не лично противъ него, а вообще противъ всей его партіи, противъ «Москвитянина» въ особенности, который зацѣплялъ его очень неделикатно.

Но Аксаковъ горячился и отзывался о Бѣлинскомъ съ желчью.

Примиреніе на этомъ обѣдѣ славянофиловъ съ западниками со стороны большинства было, можетъ, искренно, но непродолжительно. Полемика между двумя этими партіями сдѣлалась еще ожесточеннѣе прежняго.

Надъ этимъ минутнымъ и неудавшимся примиреніемъ очень справедливо подсмѣивался Бѣлинскій.

— Дѣти дѣти! говорилъ онъ о Грановскомъ и Кетчерѣ: —

имъ только бы придраться къ какому-нибудь случаю, чтобы лишній разъ выпить и поболтать... Какое это примиреніе? И неужели Грановскій серьёзно вѣритъ въ него? Быть не можетъ!... Сколько ни пей и ни чокайся, это не послужитъ ни къ чему, если нѣтъ въ людяхъ никакой точки соприкосновенія, никакой возможности къ уступкѣ съ той или съ другой стороны. Для меня эти лобызанія въ пьяномъ видѣ—противны и гадки...

Бѣлинскій изъяснялся еще рѣзче въ своихъ письмахъ къ московскимъ друзьямъ по поводу этого мнимаго примиренія.

Примирительный обѣдъ такъ раздражилъ его, что послѣ него онъ сталъ писать въ «Отечественныхъ Запискахъ» противъ славянофиловъ еще злѣе.

Грановскому сначала это было непріятно. По мягкости своего характера, онъ, кажется, полагалъ, что *дурной миръ лучше доброй ссоры*, и даже старался иногда оправдывать передъ своими друзьями Шевырева, своего непримиримаго врага...

Но когда появились безсильные и гадкіе стихи Языкова, подъ заглавіемъ: «Не наши», въ которыхъ прежній поэтъ разгула и свободы, *сдѣлавшійся*, какъ выразился кто-то очень удачно, *славянофиломъ по родству* (Хомяковъ былъ женатъ на его сестрѣ), намекалъ на Чаадаева—какъ на отступника, на Грановскаго — какъ на лжеучителя, губящаго юношество, на Герцена—какъ на лакея, щеголяющаго западной ливреей, на всѣхъ раздѣляющихъ ихъ идеи — какъ на измѣнниковъ отечества,—при такой выходкѣ, даже миролюбивый и кроткій Грановскій вышелъ изъ себя.

— Нѣтъ, господа, говорилъ онъ: — я каюсь въ своемъ глупомъ заблужденіи. Бѣлинскій тысячу разъ правъ. Примиреніе съ господами, дѣйствующими противъ насъ такими средствами, глупо и нелѣпо.

Впрочемъ благороднѣйшій и честнѣйшій изъ славянофиловъ, К. Аксаковъ, съ негодованіемъ, какъ извѣстно, протестовалъ противъ стихотворной выходки болѣзненнаго поэта, пережившаго свой талантъ.

Ссоры съ славянофилами, обнаруживавшіяся жолчной полемикой въ журналахъ («Москвитянинѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ») и оканчивавшіяся всегда торжествомъ западной

партіи, которой явно сочувствовала читающая публика,—были всетаки не по сердцу Грановскому. Многихъ изъ славянофиловъ Грановскій и уважалъ, и любилъ. Онъ отзывался постоянно съ увлеченіемъ о благородствѣ и честности К. Аксакова и братьевъ Кирѣевскихъ и отдавалъ полную справедливость блестящимъ способностямъ и остроумію Хомякова.

Все примиряющее, нѣжное свойство души Грановскаго, ровность и пріятность его обращенія со всѣми,—его *вкрадчивость*, сказалъ бы я, если бы съ этимъ словомъ не соединялась мысль о хитрости, несовмѣстной съ его характеромъ,—все это вмѣстѣ постепенно привлекало къ нему различные слои московскаго общества и способствовало къ распространенію его популярности... За Грановскимъ всѣ гонялись, всѣ искали его знакомства, его вниманія, всѣ дорожили его мнѣніемъ и впослѣдствіи на связи съ нимъ основывали свою извѣстность. Такое исканіе его, такое вниманіе къ нему отвлекло его отъ занятій, не давало ему времени сосредоточиваться для нихъ; но Грановскій, по мягкости своей, не могъ отказаться отъ общественныхъ связей, отъ своего расширявшагося знакомства. Онъ нерѣдко даже исчезалъ на нѣсколько дней изъ своего кружка, и на насмѣшливые упреки своихъ друзей пожималъ плечами и, улыбаясь, отвѣчалъ:

— Ну, что жъ дѣлать?... Если я вижу, что огорчу людей своимъ отказомъ,—у меня недостаетъ духу отказываться.

Г-жа Павлова, одно время, со свойственною ей бойкостью завладѣла-было совсѣмъ Грановскимъ недѣли на двѣ... Она перечитала ему всѣ свои поэмы и стихотворенія, и Грановскій, очень хорошо умѣвшій отличать громкія стихотворныя фразы отъ истинной поэзіи, надѣленный большимъ эстетическимъ вкусомъ, увлекся-было реторикой Павловой и началъ черезъ мѣру восхвалять ея стихи. Пріятели подсмѣивались надъ нимъ, особенно Бѣлинскій. Грановскій самъ чувствовалъ, что онъ неправъ.

— Ну, если въ ея стихахъ нѣтъ поэзіи, возражалъ онъ: — покрайней-мѣрѣ нельзя же отказать ей въ томъ, что у нея стихъ необыкновенно звучный...

— Да кто же не пишетъ теперь звучныхъ стиховъ? перебили его.

— Вотъ и онъ! прибавилъ Бакунинъ, указывая на меня, и прочелъ мое шуточное стихотвореніе:

„Она все думала, что мысль и вдохновенье
Достались ей въ удѣлъ;
Что рождена она для пѣснопѣнья,
Для высшихъ дѣлъ;
Что ей и стихъ, и смѣлое созвучье
Въ ущербъ другимъ даны;
Что нѣтъ ея созданій въ мірѣ лучше...“ и т. д.

Грановскому очень понравились эти стишки и онъ послѣ этого никогда уже не вступалъ въ споръ о поэтическомъ талантѣ г-жи Павловой.

Грановскій любилъ общество молодыхъ, умныхъ и развитыхъ женщинъ, и съ нѣкоторыми изъ такихъ онъ былъ въ самыхъ интимныхъ отношеніяхъ, къ которымъ никогда не примѣшивалъ ни малѣйшей доли страсти; но кружокъ друзей на распашку, за хорошимъ обѣдомъ или ужиномъ, онъ всетаки предпочиталъ утонченнымъ дамскимъ бесѣдамъ; ему пріятно было вниманіе къ нему московскаго общества; но онъ дорожилъ гораздо болѣе тѣмъ энтузіазмомъ, который возбуждалъ въ своихъ слушателяхъ и вообще во всей развитой молодежи. Онъ очень ясно видѣлъ, что она привѣтствуетъ въ немъ, какъ удачно замѣтилъ одинъ изъ друзей его, «рвущуюся къ свободѣ мысль запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее»...

Съ каждымъ пріѣздомъ моимъ въ Москву и съ каждымъ пріѣздомъ Грановскаго въ Петербургъ, я привязывался къ нему сильнѣе. Грановскій видѣлъ это и не разъ обнаруживалъ мнѣ свою симпатію.

Еще болѣе сблизился я съ нимъ лѣтомъ 1845 г., въ Москвѣ. Жена моя была очень дружна съ женою Грановскаго. Она была почти всякій день у Грановскихъ, я довольно часто обѣдывалъ у нихъ. Жили они тогда на Садовой, въ домѣ Мюльгаузена (тестя Грановскаго). Мы только-что вернулись изъ нашей заграничной поѣздки и я передавалъ Грановскому и всѣмъ нашимъ общимъ пріятелямъ парижскія похожденія различныхъ нашихъ соотечественниковъ и нѣкоторыхъ людей, очень близкихъ намъ. Я очень смѣшилъ всѣхъ этими разсказами. Грановскому особенно нравился мой раз-

сказъ о забавныхъ похожденіяхъ нѣкоего капитана К... (человѣка впрочемъ добраго и честнаго), окончившихся процессомъ въ исправительной полиціи.

Герценъ, лѣтомъ 1845 года, переѣхалъ на дачу въ Соколово... Соколово—старинное барское село, нѣкогда принадлежавшее Румянцовымъ, находится въ 20-ти верстахъ не доѣзжая Москвы по петербургской дорогѣ... Мѣсто, гдѣ расположенъ соколовскій паркъ, очень живописно. Въ этомъ паркѣ выстроено нѣсколько домовъ и домиковъ. Въ одномъ изъ большихъ домовъ жилъ самъ помѣщикъ Д*, другіе онъ отдавалъ въ наймы на лѣто.

Герценъ занялъ домъ, стоящій въ паркѣ на горѣ, надъ небольшою, извивающеюся рѣчкою. Влѣво, въ полуверстѣ отъ дома, гдѣ кончался паркъ, стояла бесѣдка, въ густой зелени, носившая названіе Belle-vue, изъ которой открывался отличный видъ въ даль; вправо разстилались луга и хлѣбная степь...

Грановскій, Коршъ, Боткинъ, Кетчеръ и другіе ѣздили туда почти каждую субботу и оставались тамъ до понедѣльника. Въ одну изъ субботъ я присоединился къ нимъ.

— Насчетъ питій, кричалъ Кетчеръ: — не безпокойтесь, я ужъ распоряжусь; надо взять съ собой покрайней-мѣрѣ дюжину шампанскаго, да и другихъ винъ. У нихъ тамъ, по моему разсчету, должно быть вино на исходѣ. Надо впрочемъ справиться у Депре (при этомъ какъ-то строго вздернулъ брови), когда въ послѣдній разъ брали у него; но во всякомъ случаѣ ящикъ шампанскаго взять необходимо...

Жена Грановскаго уже нѣсколько дней передъ этимъ гостила въ Соколовѣ, вмѣстѣ съ М. Ѳ. Коршъ (сестрой Корша).

Часовъ въ 8 вечера мы выѣхали изъ Москвы. Кетчеръ уложилъ огромный запасъ вина намъ подъ ноги, такъ что мы не знали, куда дѣвать наши ноги; самъ онъ усѣлся на козлы съ ямщикомъ, въ своемъ мефистофельскомъ плащѣ на красной подкладкѣ, и хохоталъ надъ нами всю дорогу, забавляясь тѣмъ, какъ мы корчили ноги.

Когда мы пріѣхали въ Соколово и вышли, чтобы подняться пѣшкомъ на гору, уже начинало темнѣть... Кетчеръ шелъ впереди, указывая намъ дорогу, размахивая палкой и

оглашая дуброву своимъ зычнымъ голосомъ и гомерическимъ смѣхомъ.

Герценъ выбѣжалъ на этотъ голосъ и смѣхъ намъ навстрѣчу. Вслѣдъ за нимъ появились дамы—жена Герцена и жена Грановскаго.

— Ну, что вы подѣлываете, какъ вы поживаете? кричалъ Кетчеръ:—ха, ха, ха! Ждали ли вы такихъ дорогихъ гостей? Ха, ха, ха!... — А есть ли у тебя вино? Чѣмъ ты будешь поить насъ? Ха, ха, ха!

Онъ подбоченился и остановился передъ Герценомъ.

— У меня есть еще небольшой запасъ; но зная, что вы всѣ пріѣдете, отвѣчалъ онъ: — я сегодня послалъ къ Депре.

— Ну, а зачѣмъ же ты не написалъ ко мнѣ? Для чего напрасно мучить и посылать человѣка?...

Кетчеръ имѣлъ обыкновеніе обращаться съ своими совершеннолѣтними друзьями, какъ гувернеръ съ дѣтьми. Онъ началъ серьёзно ворчать на Герцена и сопровождалъ это ворчанье сильной мимикой.

— Вино будетъ, замѣтилъ Герценъ.—Что же тебѣ еще?

— Не въ томъ сила, возразилъ упорно Кетчеръ:—я ужъ позаботился объ этомъ, мы привезли вина съ собой, — дѣло въ томъ, что вѣдь ты свистунъ, братецъ, не умѣешь ничѣмъ заранѣе распорядиться...

И вслѣдъ затѣмъ онъ снова залился добродушнѣйшимъ хохотомъ. . . . . .

.... Время, проведенное мною въ Соколовѣ, я никогда не забуду. Оно принадлежитъ къ самымъ лучшимъ моимъ воспоминаніемъ. Чудные дни, великолѣпные теплые вечера, этотъ паркъ при закатѣ солнца и въ лунныя ночи, наши прогулки, наши обѣды на широкой лужайкѣ передъ домомъ, послѣобѣденное far-niente на верхнемъ балконѣ, встрѣча утреннихъ зорь, всегда оживленная бесѣда, иногда горячіе споры, никогда не доходившіе до непріятнаго раздраженія, увлекательная рѣчь Грановскаго, блестящее остроуміе Герцена, колкія замѣтки Корша, — все это вмѣстѣ было такъ хорошо, такъ полно жизни и поэзіи! Въ этомъ поэтическомъ чаду, вѣроятно, никому не приходило въ голову, что это послѣдніе пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каж-

дый изъ насъ стоитъ уже на той чертѣ, за которой ожидаютъ его разочарованія, разногласія съ друзьями, неизбѣжныя охлажденія, слѣдующія за этимъ, разъединеніе, долгія, непредвидѣнныя разлуки и близкія преждевременныя могилы...

А лѣто 1845 г. въ Соколовѣ дѣйствительно было закатомъ молодости этого кружка, лучшими представителями котораго были Бѣлинскій, Герценъ и Грановскій,—но закатомъ великолѣпнымъ, блестящимъ, ярко и картинно озарившимъ всѣхъ друзей своими послѣдними лучами...

Утромъ, послѣ чая, Герценъ шелъ обыкновенно въ свой кабинетъ работать и всѣ разсыпались въ паркѣ... Кто лежалъ съ книгой подъ деревомъ, кто гулялъ, кто велъ тихую бесѣду съ пріятелемъ на берегу рѣки, кто отправлялся купаться; Кетчеръ, обыкновенно съ огромной палкой и съ котомкой, уходилъ въ лѣсъ за грибами. Передъ обѣдомъ всѣ сходились. Герценъ являлся послѣ своихъ занятій еще живѣе и веселѣе обыкновеннаго; обѣдъ былъ шумный, вино не сходило со стола до ночи. Кетчеръ ликовалъ,—онъ былъ въ своей сферѣ, откупоривая съ шумомъ бутылку за бутылкой. Эти хлопанья, среди самыхъ непрерываемыхъ, одушевленныхъ и пылкихъ рѣчей, нерѣдко продолжались до самаго разсвѣта. Всѣ кипѣли молодою жизнью. Никто не думалъ о снѣ, никому не хотѣлось разстаться другъ съ другомъ, даже дамы не спали....

Послѣ одной изъ такихъ ночей, незадолго до разсвѣта, я, нѣсколько утомленный, отправился спать. Я спалъ вмѣстѣ съ Кетчеромъ въ отдѣльномъ небольшомъ домикѣ... Хочу отворить дверь,—дверь заперта; я стучусь... нѣтъ отвѣта, только внутри дома раздается хохотъ Кетчера и женскіе голоса... Я подхожу къ окну — и вижу Елизавету Богдановну (жену Грановскаго) и Марью Каспаровну (дѣвицу, жившую у Герцена). Онѣ сговорились съ Кетчеромъ подшутить надо мной и не пускать меня до разсвѣта. Дѣлать нечего. Я воротился въ Belle-vue, гдѣ еще продолжался шумный, веселый разговоръ до солнечнаго восхода... Вина было выпито страшное количество, но оно какъ-будто не дѣйствовало на насъ; только солнце уличило насъ въ неумѣренной попойкѣ, освѣтивъ наши блѣдныя и зеленоватыя лица...

Часовъ около десяти на другой день Герценъ пришелъ будить насъ ..

— Ну, Панаевъ, сказалъ онъ: — бѣда! Намъ сегодня, кажется, вовсе придется не обѣдать.

— Отчего? спросилъ я.

— Весь запасъ истощился, и даже капли водки не осталось.

Рюмка водки передъ обѣдомъ была для меня и для него необходимостью...

— Что же дѣлать? объ этомъ надо серьёзно подумать, продолжалъ Герценъ. — Я послалъ въ Москву человѣка, да не знаю, успѣетъ ли онъ вернуться къ обѣду... Ахъ, вотъ блестящая мысль!... Я возьму у Наташи спирту, на которомъ приготовляютъ кофе, и мы впустимъ туда нѣсколько воды. Это можетъ съ успѣхомъ замѣнить водку.

Дѣйствительно, такъ было сдѣлано. Эта импровизированная водка до того понравилась мнѣ и Герцену, что мы долго потомъ употребляли вмѣсто водки спиртъ, подвергаясь остроумнымъ замѣчаніямъ Корша и другихъ пріятелей...

Для полнаго комплекта недоставало въ это лѣто только Огарева, который былъ за границей. Отсутствіе его особенно чувствовалось Грановскимъ и Герценомъ, которые были къ нему сильно привязаны...

Весною 1846 года Грановскій читалъ третій и послѣдній курсъ своихъ публичныхъ лекцій. Опять вся Москва собралась къ его каѳедрѣ. Я не слышалъ этихъ лекцій, но всѣ наши друзья говорили, что лекціи эти не были такъ удачны, какъ первыя, что Грановскій обнаруживалъ какое-то утомленіе, что-то какъ-будто тревожило его и лишало одушевленія.

Послѣ одной изъ этихъ лекцій, Грановскій узналъ о пріѣздѣ Огарева и Сатина.

Вмѣстѣ съ Герценомъ они бросились къ Яру.

Свиданіе послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки было горячо...

Теперь кружокъ былъ въ полномъ сборѣ.

Тутъ же сговорились, чтобы лѣто провести неразлучно и непремѣнно опять въ Соколовѣ, которое я называлъ почему-то всегда *Соколовкой*. Герценъ постоянно подсмѣивался надъ этимъ.

— Настоящій баринъ, говорилъ онъ про меня, смѣясь: — онъ все употребляетъ уменьшительныя: Прохоръ у него — Прошка, Соколово — Соколовка.

Герценъ занялъ прежній домъ, Грановскій — небольшой

флигель въ этомъ же паркѣ, Огаревъ помѣстился на антресоляхъ, Кетчеръ — въ маленькомъ домикѣ, въ глубинѣ парка...

Всѣ мечтали о томъ, какъ будетъ хорошо и весело. Надежды однако не сбылись... Послѣ переселенія на дачу у Герцена умеръ отецъ. — Хлопоты и дѣла отвлекли его на время отъ друзей...

Я пріѣхалъ въ Москву, когда Герценъ кончилъ свои дѣла, и отправился вмѣстѣ съ нимъ въ Соколово...

Разъ вечеромъ, когда мы всѣ сидѣли на верхнемъ балконѣ дома, занимаемаго Герценомъ, между нимъ и Грановскимъ зашла рѣчь о тѣхъ теоретическихъ вопросахъ, до которыхъ они вовсе не касались, или касались только слегка, какъ бы боясь серьёзно затронуть ихъ... Слово-за-слово, спорящіе разгорячились; Грановскому споръ этотъ повидимому былъ очень непріятенъ, онъ старался прекратить его, но Герценъ упорно продолжалъ его. Наконецъ Грановскій, мѣняясь въ лицѣ, сухо сказалъ:

— Довольно, — что бы ты ни говорилъ, ты никогда не убѣдишь меня и не заставишь принять твоихъ взглядовъ. Есть черта, за которую я не хотѣлъ бы переходить. Мы дошли до этой черты.

Герценъ взглянулъ на Огарева грустно-иронически. Огаревъ печально покачалъ головою.

Послѣдовало неловкое молчаніе; потомъ разговоръ возобновился объ обыкновенныхъ вещахъ.

Я въ первый разъ видѣлъ Грановскаго въ раздраженномъ состояніи и до этого не подозрѣвалъ, чтобы между нимъ и Герценомъ могло существовать разногласіе, близкое къ охлажденію ихъ отношеній...

Весь этотъ вечеръ и Грановскій, и Герценъ были грустны и чувствовали неловкость... Даже крики и хохотъ Кетчера, который они всегда сносили терпѣливо, кажется, безпокоилъ ихъ.

На другой день, за обѣдомъ, Грановскій очень хвалилъ одну изъ статей Герцена, напечатанную въ «Отечественныхъ Запискахъ».

— Да что жъ тебѣ нравится, возразилъ съ ироническою улыбкою Герценъ: — *стиль*, что ли? Вѣдь ты не согласенъ съ моимъ взглядомъ...

Грановскій вспыхнулъ.

— Твои статьи, возразилъ онъ: — будятъ, толкаютъ, — вотъ чѣмъ онѣ хороши... Разумѣется, односторонности твоихъ воззрѣній и теорій поддаваться нельзя...

— Такъ если мои теоріи — пустяки, для чего же будить и тревожить людей изъ-за пустяковъ?

Споръ снова закипѣлъ, въ него вмѣшался Огаревъ, который былъ на сторонѣ Герцена, а кончился тѣмъ, что Грановскій сказалъ, поблѣднѣвъ и дрожащимъ голосомъ:

— Вы меня, господа, очень одолжите, если въ разговорѣ со мною не будете касаться такихъ предметовъ. Можно говорить о чемъ-нибудь болѣе пріятномъ и полезномъ...

Жена Герцена круто перемѣнила разговоръ...

Коршъ черезъ нѣсколько дней послѣ этого замѣтилъ Герцену и Огареву, что, будучи уже въ совершеннолѣтіи и зрѣлости, мечтать о какомъ-то идеальномъ тождествѣ между друзьями невозможно.

Грановскій и Герценъ сходились попрежнему; въ ихъ наружныхъ отношеніяхъ ничего не перемѣнилось; но если не холодность, то какая-то осторожность уже замѣтна была въ обращеніи ихъ другъ съ другомъ.

Они такъ и разстались.

Послѣ отъѣзда Герцена, представителемъ московскаго кружка остался Грановскій. Около него группируются всѣ остальные. Авторитетъ его доходитъ въ это время до своей высшей ступени.

Грановскій дѣлается кумиромъ кружка, можетъ-быть даже и самъ не замѣчая этого при началѣ. Его вліяніе растетъ какъ-будто противъ его воли, потому-что онъ вовсе не хлопочетъ объ этомъ и не только не старается поддержать его, напротивъ, дѣлаетъ все, чтобы поколебать его, какъ мы увидимъ впослѣдствіи. Если Грановскій обращаетъ вниманіе на какого-нибудь молодаго человѣка и замѣчаетъ о его талантѣ, отзывается съ похвалою о его научныхъ свѣдѣніяхъ, — этотъ молодой человѣкъ однимъ словомъ Грановскаго тотчасъ же выдвигается изъ толпы; петербургскіе журналисты начинаютъ гоняться за нимъ, предлагаютъ ему хорошія деньги за его статьи; стараются переманивать его другъ отъ друга и проч. Грановскій, по своей добротѣ и снисходительности, нерѣдко ошибался въ людяхъ, и на его рекомендаціи не всегда можно

было положиться. Онъ поднялъ было на минуту Ордынскаго, объявивъ его человѣкомъ чрезвычайно даровитымъ и знатокомъ греческаго міра. Ордынскій вдругъ явился сотрудникомъ въ лучшихъ журналахъ; но его несостоятельность и тупость обнаружились скоро, — и Грановскій тотчасъ же сознается въ своей ошибкѣ и еще смѣется надъ собою...

Сдѣлавшись авторитетомъ и сознавая это, Грановскій носилъ этотъ авторитетъ такъ легко, такъ незамѣтно, что его нельзя было отличить отъ простыхъ смертныхъ... Онъ никого не тяготилъ своимъ авторитетомъ, никому не навязывалъ его. Онъ оставался тѣмъ же гуманнымъ, мягкимъ, симпатическимъ Грановскимъ, которымъ былъ и до этого.

Онъ самъ скорѣе тяготился пріобрѣтеннымъ имъ значеніемъ и тѣми обязанностями, которыя это значеніе налагало на него. У него недоставало необходимой для представителя кружка силы, энергіи и потому, въ скоромъ времени, московскій кружокъ мельчаетъ, блѣднѣетъ, выдыхается. Въ средѣ его начинаютъ появляться новые люди, конечно, прекрасные, но ограниченные и малоспособные. — Коршъ переѣзжаетъ въ Петербургъ, Огаревъ живетъ въ деревнѣ... Все какъ-то расклеивается.

Послѣ 1848 года всѣ избранные передовые люди, подавленные страданіемъ, упадаютъ духомъ — и Грановскій можетъ-быть болѣе, нежели другіе... Онъ ищетъ развлеченія, забвенія разныхъ непріятностей — въ картахъ. Слабость къ картамъ развивается у него до страсти. Онъ ведетъ большую игру, вовсе несообразную со своими ограниченными средствами, путается въ своихъ дѣлахъ, занимаетъ деньги, заводитъ связи съ людьми, неимѣющими съ ними ничего общаго, нимало не заботясь о томъ, что это вредитъ его авторитету, какъ профессора и какъ представителя кружка. Студенты начинаютъ роптать на него, хотя любятъ его по прежнему; друзья изподтишка покачиваютъ головами и вздыхаютъ, замѣчая, что карты губятъ его...

Въ это время возвращается изъ-за границы Н. Г. Фроловъ, послѣ смерти первой жены своей, урожденной Галаховой, — женщины, по всеобщему сознанію всѣхъ знавшихъ ее, чрезвычайно замѣчательной. Грановскій познакомился съ Фроловыми за границей и былъ очень близокъ съ ними *).

*) См. подробности объ этомъ въ книгѣ Анненкова о «Станкевичѣ».

Отношенія Грановскаго къ Фролову и связи, скрѣплявшія ихъ все болѣе и болѣе послѣ возвращенія Фролова въ отечество, заставили Грановскаго быть нѣсколько пристрастнымъ къ нему и придавать ему значеніе, котораго онъ не имѣлъ. Закоренѣлые кружковые доктринеры искренно, или по разсчету, подчинялись во всемъ безусловно Грановскому, смотрѣли, разумѣется, его глазами на Фролова, не позволяя имѣть о немъ никому самостоятельнаго мнѣнія, въ противномъ случаѣ грозя кружковой опалой. Маленькій и кругленькій Фроловъ вдругъ поднялся и выросъ, въ качествѣ друга Грановскаго...

Я здѣсь, кстати, передамъ тѣ впечатлѣнія, которыя оставилъ во мнѣ Фроловъ. Вѣрны они или нѣтъ — пусть судятъ объ этомъ люди, которые близко знали его и смотрѣли на него безпристрастно и независимо отъ его связи съ Грановскимъ. Только эта связь заставляетъ меня остановиться передъ нимъ на минуту.

Фроловъ занималъ середину между людьми, которыхъ обыкновенно клеймятъ названіемъ *дюжинныхъ людей*, и людьми, выдающимися изъ толпы по своимъ способностямъ...

Уже онъ не могъ быть вполнѣ дюжиннымъ человѣкомъ, потому-что самолюбіе дюжинныхъ людей удовлетворяется обыкновенно мелочами и пустяками, а самолюбіе Фролова, которое постоянно грызло и терзало его, заключалось въ томъ, чтобы сдѣлаться серьёзнымъ человѣкомъ и пріобрѣсти во что бы то ни стало ученую извѣстность. Онъ воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ и выпущенъ былъ оттуда въ Семеновскій полкъ. Четыре года исполнялъ онъ съ безукоризненною отчетливостью всѣ служебныя обязанности, но недостатокъ высшаго образованія не давалъ покоя его самолюбію. Онъ завелъ знакомство съ разными петербургскими профессорами, спрашивалъ у нихъ совѣтовъ, особенно дорожилъ совѣтами профессора Никитенки, и рѣшился выйдти въ отставку и отправиться въ Дерптъ. Изъ Дерпта онъ уѣхалъ въ Германію и женился на Е. П. Галаховой... Онъ не зналъ, на чемъ остановиться, не имѣя ни къ какой наукѣ положительнаго, истиннаго призванія, и потому слушалъ въ Берлинѣ всевозможные курсы: исторіи, философіи, права, естественныхъ наукъ и путался въ этой обширной программѣ. Наконецъ, послѣ долгихъ странствованій и исканій, онъ остановился на Гумбольдтѣ и Риттерѣ

и ихъ послѣдователяхъ, въ намѣреніи перенести на русскую почву столь мало извѣстную у насъ науку землевѣдѣнія.

Возвратясь въ 1847 году въ Россію, онъ вывезъ изъ-за границы начало труда своего объ Александрѣ Гумбольдтѣ — переводъ I части «Космоса», модели памятниковъ жены своей и картины и рисунки того мѣста кладбища, гдѣ она покоится...

Я познакомился съ Фроловымъ въ концѣ 1844 года, въ Парижѣ; онъ посѣщалъ усердно лекціи въ Сорбоннѣ, тщательно записывалъ ихъ, по вечерамъ писалъ что-то, рылся въ своихъ бумагахъ, обнаруживалъ какую-то ученую кропотливость и среди шумной парижской жизни велъ жизнь монашескую, упорно подавляя въ себѣ страсти, которыя иногда, противъ воли его, прорывались въ его взглядахъ и въ выраженіи лица его. Въ немъ дѣйствительно было что-то монашеское... Сходясь съ людьми, онъ имѣлъ поползновеніе тотчасъ закрадываться въ ихъ внутренній міръ и управлять ихъ совѣстью, подобно католическимъ аббатикамъ; но это рѣдко удавалось ему, потому-что ему недоставало ихъ ядовитой хитрости и тонкости.

Въ Петербургѣ онъ обратился ко мнѣ, какъ уже къ близкому знакомому, съ рукописью о Гумбольдтѣ, для напечатанія ея въ «Современникѣ». Мы рѣшились печатать ее, хотя конца ея не предвидѣлось. Вліяніе Грановскаго на насъ въ этомъ случаѣ было сильно. Грановскій отзывался о статьѣ съ большою похвалою. До этого (то-есть до пріѣзда его въ Россію) было уже напечатано въ «Современникѣ» изслѣдованіе Фролова о Женевской тюрьмѣ, доставленное намъ Грановскимъ.

Первая статья о Гумбольдтѣ не произвела благопріятнаго впечатлѣнія на публику. Фроловъ не совладѣлъ съ своимъ предметомъ, путался, повторялся и еще болѣе затемнялъ изложеніе неумѣньемъ владѣть русской фразой.

Я замѣтилъ ему, что его языкъ надо поправлять... Это было непріятно ему, но онъ согласился, съ тѣмъ, чтобы поправки эти дѣлались въ его присутствіи.

Часа три сряду мы сидѣли надъ мелкоисписанною, нечеткою рукописью — и я едва успѣлъ привести въ порядокъ первыя пять страницъ. Фроловъ даже никакъ не могъ справиться съ знаками препинанія. Точекъ у него вовсе не было; вся рукопись испещрена была точками съ запятыми. Поправки мои ему не нравились, онъ упорно защищалъ свои безконечные

періоды. Потъ лился съ меня градомъ. Это была невыносимая пытка.

Поправки эти и то, что вторая, полуисправленная статья напечатана была безъ *шпоновъ* (то-есть тѣснѣе обыкновеннаго, строчка къ строчкѣ) — оскорбили его самолюбіе. Онъ надулся на насъ.

Друзья Грановскаго и Фролова вмѣняли намъ отсутствіе этихъ проклятыхъ шпоновъ въ великое преступленіе, обвиняли насъ въ томъ, что мы сдѣлали это изъ барышничества, изъ жадности къ деньгамъ, чтобы менѣе заплатить за статью, не принимая въ соображеніе, что разсчетъ уменьшился на какіе нибудь 10 р., которые обогатить насъ не могли, и что мы изъ угожденія кружку бросали сотни рублей не только безполезно, даже можетъ-быть ко вреду журнала, ибо статьи о Гумбольдтѣ оставались въ журналѣ неразрѣзанными...

Фроловъ такъ и не окончилъ эти статьи, углубившись въ переводъ «Космоса», доказавшій только окончательно совершенное неумѣнье переводчика владѣть отечественнымъ языкомъ. Едва ли у кого-нибудь изъ самыхъ любознательныхъ читателей достало терпѣнія пересилить половину первой части знаменитаго творенія Гумбольдта въ переводѣ Фролова.

Поселившись въ Москвѣ, Фроловъ скоро женился на больной сестрѣ Станкевича, которая умерла черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ брака. Средства его послѣ этого значительно расширились и онъ могъ независимѣе предаваться своимъ кропотливымъ трудамъ, продолжать свою труженическую жизнь. Съ Грановскимъ онъ сближался тѣснѣе и тѣснѣе.

Лѣтомъ 1850 года онъ переѣхалъ на дачу, вмѣстѣ съ Грановскими, въ Архангельское князя Юсупова. Они заняли одинъ изъ большихъ флигелей, выдававшихся къ Москвѣ-рѣкѣ. Грановскіе помѣстились въ нижнемъ этажѣ, Фроловъ — наверху...

Я пріѣхалъ въ Москву вскорѣ послѣ ихъ переѣзда и остановился, по обыкновенію, у Боткина. Грановскій и Фроловъ, бывшіе въ это время по дѣламъ въ Москвѣ (Фроловъ строилъ для себя домъ), просили меня и Боткина переселиться къ нимъ въ Архангельское, недѣли хоть на двѣ, говоря, что у нихъ очень обширное помѣщеніе. Фроловъ былъ со мною любезенъ. Онъ забылъ, повидимому, о шпонахъ.

— У насъ вамъ будетъ хорошо, право хорошо, говорилъ онъ, обращаясь ко мнѣ и Боткину и смотря на насъ съ двусмысленною улыбочкою, смѣсь добродушія съ дурно скрываемымъ самодовольствомъ.

Фроловъ постоянно обращался къ намъ съ такою улыбочкою. Переложенная на слова, она какъ-будто говорила: «вы люди хорошіе, добрые, но вѣтренные, пустые; несмотря на это, я, человѣкъ дѣльный и серьёзный, удостоиваю васъ своимъ расположеніемъ. Вы мнѣ нравитесь...»

— Вамъ будетъ покойно, продолжалъ Фроловъ, кладя мнѣ руку на плечо: — мы помѣстимъ васъ вмѣстѣ съ Васильемъ Петровичемъ, у васъ будетъ отдѣльная комната... Мы постараемся доставить вамъ всевозможныя развлеченія, вы не соскучитесь... Какія прогулки у насъ, какое купанье!

Мы охотно приняли это приглашеніе и сговорились ѣхать вмѣстѣ съ Грановскимъ, въ его тарантасѣ, на другой день вечеромъ...

Вечеръ этотъ для меня незабвененъ.

Мы усѣлись втроемъ въ тарантасѣ и отправились въ Архангельское, часовъ около восьми.

Это было въ половинѣ іюня.

Когда мы выѣхали на проселочную дорогу, ведущую къ Архангельскому, и городъ съ пылью и духотою остался далеко за нами, а насъ охватилъ свѣжій и душистый воздухъ полей и деревенскій просторъ,—намъ сдѣлалось необыкновенно легко и пріятно...

Грановскій и безъ того въ этотъ день былъ въ очень хорошемъ расположеніи духа:—лицо его было какъ-то особенно свѣтло и привѣтливо, и его задумчивые, грустные глаза смотрѣли веселѣе, какъ-будто какая-то тяжесть спадала съ него.

У него была потребность высказаться, и онъ разговорился съ нами о себѣ, съ такою увлекательною горячностью и откровенностью, съ такимъ безконечнымъ добродушіемъ, съ такою задушевною простотою, къ которымъ способны только люди съ высшими, избранными натурами, небоящіеся открыто сознаваться въ своихъ недостаткахъ и слабостяхъ.

Онъ завелъ рѣчь о своей страсти къ картамъ.

— Вы и вообразить не можете, господа, сказалъ онъ

намъ:—до чего доводила меня эта безумная страсть и въ какое ужасное положеніе она ставила меня!..

И онъ разсказалъ намъ, какъ, увлекаясь постепенно и проигрывая, онъ увеличивалъ игру, съ каждымъ днемъ путаясь болѣе и болѣе; съ какимъ трудомъ доставалъ деньги для уплаты; какъ наконецъ онъ задолжалъ такую сумму, которую непремѣнно надо было выплатить черезъ недѣлю, а достать ее въ такой короткій срокъ не предвидѣлось никакой возможности; какъ честь его висѣла на волоскѣ; какія страшныя и мучительныя безсонныя ночи проводилъ онъ; какъ, узнавъ его безвыходное положеніе, къ нему обратились извѣстные московскіе шуллера съ предложеніемъ ему денегъ, съ тѣмъ, чтобы онъ вступилъ въ ихъ сообщество. Имъ нужно было безукоризненное, честное имя, чистая репутація для прикрытія ихъ мошенничества, плутней и грабежа. Грановскій тутъ-то только увидѣлъ ясно, до какого страшнаго паденія довела его безумная страсть, надъ какою пропастью остановился онъ... Шуллера, конечно, уѣхали отъ Грановскаго смущенные, понявъ всю глупость и необдуманность своего поступка, а Грановскаго спасъ одинъ изъ его пріятелей, доставъ нужную ему сумму.

— Ужъ теперь кончено, господа, прибавилъ онъ въ заключеніе своего разсказа: — урокъ, полученный мною, былъ слишкомъ жестокъ и я даю вамъ слово, что не буду брать этихъ проклятыхъ картъ въ руки...

Потомъ онъ началъ разсказывать намъ съ одушевленіемъ о замышляемыхъ имъ трудахъ, о тѣхъ историческихъ вопросахъ, которые занимали его въ ту минуту... Глаза его горѣли. Лицо было одушевлено. Мы радовались, видя его нравственное обновленіе... Съ этого незабвеннаго вечера я полюбилъ его еще болѣе...

Подъѣзжая къ Архангельскому, Грановскій замѣтилъ Боткину, почему онъ не попробуетъ себя въ повѣствовательномъ родѣ... что по складу своего ума, онъ могъ бы написать не дурную психологическую повѣсть... Мысль эта понравилась Боткину...

— А въ-самомъ-дѣлѣ, развѣ попробовать? сказалъ онъ въ раздумьи и покачивая головою: — сюжетъ-то трудно выдумать; что бы такое придумать?... Сюжетъ—это ужасно трудная вещь!

И Боткинъ началъ импровизировать сюжетъ, сначала довольно серьёзно, но такъ-какъ изъ этой импровизаціи ничего не выходило, то онъ обратилъ ее въ шутку, и мы отъ души смѣялись надъ его вымысломъ, до-тѣхъ-поръ, покуда въѣхали въ густую аллею великолѣпнаго Архангельскаго парка.

У крыльца дома ожидали насъ жена Грановскаго съ своей сестрой, Фроловъ и Ник. Щепкинъ съ женою, нанимавшіе также дачу въ Архангельскомъ...

На насъ съ Боткинымъ посыпались отчасти колкія, отчасти добродушныя замѣчанія Фролова, сопровождаемыя улыбками и дружескимъ трепаньемъ по плечу...

Всѣ мы передъ ужиномъ прошлись немного по парку къ большому дому...

Архангельское и въ вечернемъ сумракѣ поразило меня своимъ великолѣпіемъ, изяществомъ и широтою своихъ размѣровъ... Боткинъ кстати началъ припоминать стихи Пушкина объ Архангельскомъ, изъ посланія его къ Юсупову.

Ложась спать, мы съ Боткинымъ мечтали о томъ, что проведемъ нѣсколько пріятнѣйшихъ дней въ Архангельскомъ.

Боткинъ былъ въ самомъ тихомъ и пріятномъ настроеніи, которое часто у него расплывалось до сантиментальности. Онъ, сидя на постели, покачивая мѣрно и тихо головою, съ сладкимъ выраженіемъ лица хвалилъ Фролова...

— Милый человѣкъ, милый! повторялъ онъ:—у него прекрасное сердце... конечно, онъ не орелъ... между нами Грановскій вѣдь пристрастенъ къ нему... Вѣдь у Фролова въ головѣ путаница, туманъ, — но человѣкъ онъ милый, милый, добрый...

Мечты наши о пріятныхъ дняхъ, предстоящихъ намъ въ Архангельскомъ, осуществились не вполнѣ. Къ концу нашего пребыванія, гармонія, царствовавшая между нами и нашими гостепріимными хозяевами, была нѣсколько нарушена; но объ этомъ послѣ.

Первые дни нашего пребыванія прошли весело и незамѣтно, въ разговорахъ, прогулкахъ, въ катаньяхъ на лодкѣ по Москвѣ-рѣкѣ, въ осмотрѣ достопримѣчательностей Архангельскаго. Послѣднее Грановскаго мало занимало, но Фроловъ былъ нашимъ усерднымъ чичероне: онъ водилъ насъ въ домъ, въ театръ, посвященный Гонзаго, указывалъ намъ на каждую

картину и статую, казавшіяся ему замѣчательными; причемъ Боткинъ замѣчалъ иногда раздраженнымъ голосомъ:

— Что это вы-съ? Съ чего вы взяли, что это хорошая вещь? Это дрянь, просто дрянь... Это все плохія копіи. Все, что было здѣсь замѣчательнаго, вывезено отсюда въ Петербургъ еще отцомъ Юсупова... а это дрянь, дрянь!

Фроловъ останавливалъ насъ даже передъ старыми и развѣсистыми дубами и липами въ паркѣ и замѣчалъ, что такія деревья можно найти только въ одномъ Царскосельскомъ паркѣ (по пріѣздѣ въ Петербургъ онъ поселился въ Царскомъ-Селѣ и изучилъ его парки съ подробностью).

День нашъ начинался часовъ въ девять—кофеемъ, чаемъ и различными закусками, разставленными на длинномъ столѣ въ большой столовой, внизу, которая примыкала къ теплицѣ, уставленной большими померанцовыми, апельсинными и лавровыми деревьями. Грановскій, пившій декохтъ, вставалъ ранѣе насъ и послѣ декохта около часу прохаживался по великолѣпной широкой липовой аллеѣ, которая вела отъ флигеля къ большому дому, пробѣгая «Journal des Debats», «Independance» и «Allgemeine Zeitung»... Затѣмъ, когда онъ оканчивалъ свою прогулку, мы отправлялись къ чаю, гдѣ всѣ уже были въ сборѣ, кромѣ Фролова. Фроловъ являлся немного позже, съ заспанными глазками, цѣловалъ ручки дамамъ, всѣхъ дружно привѣтствовалъ, потомъ пилъ и кушалъ съ усердіемъ и, накушавшись, что называется вплотную, отправлялся къ себѣ наверхъ заниматься... Разъ съ Боткинымъ мы не выдержали, посмотрѣли въ щель двери и увидѣли Фролова преспокойно и пресладко спавшимъ... Съ-тѣхъ-поръ, когда Фроловъ говорилъ, что онъ идетъ *заниматься*, мы съ Боткинымъ безъ невольной улыбки не могли взглядывать другъ на друга. — Послѣ чая съ завтракомъ, Грановскій уходилъ въ свой кабинетъ и до самаго обѣда не отходилъ отъ своей конторки. Его занималъ въ это время, если я не ошибаюсь, его курсъ исторіи для учебныхъ заведеній. Въ 4 часа садились за столъ, а послѣ обѣда предавались различнымъ развлеченіямъ и бесѣдѣ.

Наше мирное деревенское времяпровожденіе нарушено было прежде всего пріѣздомъ Сатина и Кетчера съ ящикомъ шампанскаго, затѣмъ пріѣздомъ въ Архангельское молодаго

Юсупова съ своими пріятелями и послѣдовавшими затѣмъ празднествами...

Я и Боткинъ были довольно коротко знакомы съ Юсуповымъ. Юсуповъ, узнавъ о нашемъ пребываніи въ Архангельскомъ, тотчасъ пригласилъ насъ къ себѣ. Съ Юсуповымъ пріѣхали въ Архангельское также близко знакомые мнѣ Г* и В*. Мы провели у Юсупова вечеръ и слѣдующіе затѣмъ три дня. На второй день у Юсупова былъ обѣдъ. Юсуповъ, зная, что Грановскій нанимаетъ дачу у него въ Архангельскомъ, не сдѣлавъ предварительнаго визита Грановскому, вздумалъ пригласить его на обѣдъ, не сказавъ ни мнѣ, ни Боткину ни слова объ этомъ. Грановскій улыбнулся этому приглашенію и оставилъ его безъ вниманія. Мы, ничего не подозрѣвая, очень безпечно и спокойно явились къ утреннему чаю Грановскаго... Черезъ нѣсколько минутъ мы стали замѣчать, что на насъ посматриваютъ очень недоброжелательно, отвѣчаютъ на наши вопросы нехотя и вообще обращаются съ нами съ холодною сдержанностью. Болѣе всѣхъ обнаружилъ къ намъ холодность Н. Щепкинъ, едва удостоивавшій смотрѣть на насъ, и Фроловъ. Въ самомъ Грановскомъ мы еще не замѣтили впрочемъ никакой перемѣны: онъ обращался къ намъ со всегдашнею своею привѣтливостью и улыбался намъ такъ же симпатически.

Мнѣ и въ голову не приходила причина перемѣны къ намъ остальныхъ. Я никакъ не могъ придумать, что бы это значило... Когда мы ложились спать, Боткинъ, провѣдавъ обо всемъ, уже объяснилъ мнѣ, въ чемъ дѣло.

Фроловъ предположилъ, что Грановскій былъ приглашенъ Юсуповымъ по совѣту моему и Боткина, что мы этимъ окомпрометировали и унизили достоинство Грановскаго... Ко всему этому примѣшивались еще кое-какія сплетни.

Меня очень огорчило это. Я такъ высоко цѣнилъ Грановскаго, такъ искренно любилъ его, такъ дорожилъ его пріязнью ко мнѣ, что всякое недоразумѣніе между нимъ и мною было тяжело мнѣ. До остальныхъ мнѣ не было дѣла.

Утромъ, при встрѣчѣ съ Грановскимъ, я тотчасъ же объяснился съ нимъ. Я былъ сильно взволнованъ и невольно высказалъ по этому поводу со всею горячностью мои чувства къ нему. Грановскій обнялъ меня и поцѣловалъ.

— Клянусь тебѣ, сказалъ онъ мнѣ: — что ни въ тебѣ,

ни въ Боткинѣ я не сомнѣвался, я былъ увѣренъ, что вы не могли поступить такъ безтактно. Я противъ васъ ничего не имѣю и люблю васъ всей душою. Фроловъ по дружбѣ ко мнѣ принялъ все это слишкомъ горячо и въ горячности заподозрилъ васъ. Согласись, однако, что это приглашеніе было странно: съ какой стати я пошелъ бы обѣдать къ незнакомому мнѣ человѣку, по его приглашенію. Онъ могъ бы сначала сдѣлать мнѣ визитъ, если бы желалъ видѣть меня у себя... Объ этомъ, впрочемъ, не стоитъ толковать, и я очень благодаренъ тебѣ за твое прямое объясненіе.

Но Фроловъ и Щепкинъ уходились еще не такъ скоро...

...Мы провели у Грановскаго еще дня два, не такъ уже пріятно, какъ прежде, и уѣхали въ Москву.

Съ-тѣхъ-поръ я не видѣлъ Фролова. Фроловъ женился послѣ этого въ третій разъ на родственницѣ Грановскаго и продолжалъ вести свою однообразную, труженическую жизнь, занявшись въ послѣднее время изданіемъ «Магазина Землевѣдѣнія и Путешествій». Онъ умеръ въ одинъ годъ съ Грановскимъ, нѣсколькими мѣсяцами ранѣе его, въ черниговскомъ имѣніи своей послѣдней жены...

Еще за нѣсколько времени до поѣздки моей въ Архангельское, я обѣдалъ съ Грановскимъ въ Троицкомъ трактирѣ. Грановскій былъ въ этотъ день въ хорошемъ настроеніи.

Зашла рѣчь о Фроловѣ. Я замѣтилъ, что у него какая-то путаница въ головѣ.

Грановскій улыбнулся.

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — повѣрь мнѣ, что Фроловъ очень умный человѣкъ и душа у него прекрасная, но у него нѣтъ никакого діалектическаго дара: когда онъ говоритъ со мною объ отвлеченныхъ предметахъ, — въ ту минуту, когда онъ говоритъ, я ничего не могу понять; но послѣ, когда я остаюсь одинъ и вспоминаю его разговоръ, я понимаю, что онъ хотѣлъ сказать мнѣ...

...Грановскій принималъ горячее участіе въ успѣхахъ русской литературы, радовался развитію нашей журналистики и постоянно твердилъ о необходимости поддерживать лучшіе ея органы. Къ «Современнику» онъ питалъ болѣе симпатіи, чѣмъ къ «Отечественнымъ Запискамъ»; съ Краевскимъ онъ не могъ имѣть ничего общаго, но, несмотря на это, считалъ какъ бы

своею обязанностью посылать ему изрѣдка свои статьи... Враждебныя отношенія этихъ двухъ журналовъ безпокоили его, онъ умолялъ насъ не вступать въ полемику съ «Отечественными Записками».

— Бросьте, ради Бога, ваши личныя отношенія, говорилъ онъ намъ не разъ: — дѣло не въ Краевскомъ, но существованіе и процвѣтаніе его журнала необходимо такъ же, какъ существованіе и процвѣтаніе вашего.

Въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ въ Петербургъ, онъ остановился у Корша и пригласилъ на вечеръ между прочими своими знакомыми и Краевскаго.

За ужиномъ онъ всталъ и, обращаясь въ особенности къ Краевскому и ко мнѣ, предложилъ тостъ за процвѣтаніе «Отечественныхъ Записокъ» и «Современника» и за возстановленіе между ними полнаго согласія.

«Желательно было бы, сказалъ онъ: — чтобы между «Отечественными Записками» и «Современникомъ» не существовало никакихъ враждебныхъ отношеній — и о чемъ враждовать имъ? Они идутъ къ одной цѣли, дѣйствуютъ въ одинаковомъ направленіи. Вы, господа (онъ обратился къ Краевскому и ко мнѣ), должны оставить ваши личныя непріятности и отношенія и соединиться во имя общаго дѣла. Мы всѣ отъ души пьемъ за процвѣтаніе «Отечественныхъ Записокъ» и «Современника!»

Краевскій, съ насупившимися бровями, проговорилъ что-то глухо. Я протянулъ ему свой бокалъ и сказалъ, что искренно желаю успѣха «Отечественнымъ Запискамъ» — и что даже лично противъ него не имѣю ничего. — «Насъ призываетъ, какъ замѣтилъ Грановскій, прибавилъ я въ заключеніе: — дѣло общее; забудемте наши личныя, мелочныя отношенія и дадимъ себѣ слово прекратить навсегда личную полемику!»

Краевскій чокнулся съ моимъ бокаломъ и также глухо произнесъ:

— Что жь, я не прочь съ своей стороны, если вы...

И затѣмъ онъ подсѣлъ ко мнѣ и началъ говорить съ ожесточеніемъ о «Письмахъ иногороднаго подписчика», печатавшихся тогда въ «Современникѣ», увѣряя, что эти письма и породили полемику между нами и что онъ, Краевскій, ни-

какого шутовства, *гаерства*, никакой *сенковщины* выносить не можетъ, что *онъ* ратуетъ за науку, за искусство и проч.

На другой день Кавелинъ давалъ обѣдъ въ честь Грановскаго. Краевскій, поздоровавшись со всѣми, взглянулъ на меня и отвернулся...

Примиреніе не удалось...

Съ-этихъ-поръ, при встрѣчахъ, мы придерживаемся этой методы, то-есть отворачиваемся другъ отъ друга.

Грубость Краевскаго была очень досадна Грановскому: самолюбіе его было нѣсколько оскорблено его благородною и неудачною попыткою; но онъ очень смѣялся, когда я разсказалъ ему, что Краевскій считаетъ гаерствомъ фельетоны Дружинина и что онъ увѣряетъ, что онъ такъ уважаетъ искусство и науку, что никакого *шутовства* не можетъ переносить въ литературѣ.

Въ Грановскомъ не было тѣни педантизма закоренѣлыхъ ученыхъ, — онъ впрочемъ и не принадлежалъ къ такъ-называемымъ *ученымъ* въ строгомъ смыслѣ; онъ былъ однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и изящныхъ диллетантовъ науки. Онъ не изгонялъ остроумной шутки изъ области литературы, не презиралъ и не преслѣдовалъ ее, какъ это дѣлаютъ тупоумные мудрецы; напротивъ, остроумная пародія, ловкая и забавная шутка очень нравились ему и заставляли его смѣяться отъ всей души.

Кузьма Прутковъ, котораго онъ прочитывалъ у меня еще въ корректурахъ, забавлялъ его цѣлый вечеръ; онъ зналъ наизусть нѣкоторые изъ его лучшихъ афоризмовъ и любилъ повторять ихъ... Чувство такта и мѣры въ оцѣнкѣ литературныхъ явленій никогда не покидало его. Ему очень нравились, напримѣръ, «Записки Багрова», С. Т. Аксакова; но когда Аксаковъ возведенъ былъ въ литературные патріархи, Грановскій смѣялся надъ этимъ... Черезъ два года послѣ выхода «Воспоминаній» Аксакова (это было на вечерѣ у Арапетова), Грановскій довольно рѣзко остановилъ П. В. Анненкова, придававшаго преувеличенное значеніе Аксакову.

— Въ томъ, сказалъ онъ: — что Аксаковъ въ послѣднее время обнаружилъ замѣчательный талантъ — объ этомъ никто не споритъ, но для чего вы хотите дѣлать изъ него кумиръ? Конечно, «Воспоминанія» Аксакова выше «Записокъ» Жиха-

рева. Аксаковъ прекрасно владѣетъ языкомъ — это безспорно, но вы ставите его, господа, на такую недосягаемую высоту, которая вредитъ ему...

Бесѣда Грановскаго, всегда исполненная тонкаго ума, внутренней теплоты, чувства гуманности, симпатіи ко всѣмъ живымъ явленіямъ современности, неимѣвшая въ себѣ ничего блестящаго, но освѣщенная тихимъ, ровнымъ поэтическимъ колоритомъ, производила всегда отрадное впечатлѣніе на его слушателей, возбуждала ихъ привязанность и укрѣпляла въ нихъ сочувствіе къ нему... Но иногда Грановскій, затронутый за живое, являлся въ иномъ, болѣе яркомъ свѣтѣ, въ немъ проявлялась необыкновенная сила, въ глазахъ загоралась энергія, рѣчь его лилась быстрымъ потокомъ и даже принимала несвойственный ему жолчный и ироническій колоритъ.

Такимъ, впрочемъ, я видѣлъ его всего одинъ разъ, на квартирѣ у Корша, въ Петербургѣ. Это было въ послѣдній пріѣздъ его въ Петербургъ.

Надобно сказать, что Коршъ, несмотря на свой колкій умъ, быстро схватывавшій въ другихъ все странное и смѣшное, имѣлъ какое-то пристрастіе къ Москвѣ и ко всему московскому. Не раздѣляя вовсе славянофильскихъ воззрѣній, надъ которыми онъ постоянно тѣшился, Коршъ жилъ и дышалъ только воспоминаніями о Москвѣ. Въ Петербургѣ ему было нехорошо, неловко, скучно. Онъ безпрестанно рвался въ Москвѣ и стоналъ по ней. Этою слабою своею стороною онъ даже немного надоѣдалъ своимъ пріятелямъ...

Коршъ имѣлъ въ Петербургѣ положеніе довольно порядочное (онъ былъ тогда при редакціи «Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» и завѣдывалъ журналомъ съ-тѣхъ-поръ, какъ Надеждинъ былъ разбитъ параличемъ); положеніе его, послѣ смерти Надеждина, должно было значительно улучшиться, но, несмотря на это, Коршъ рвался въ Москву и охотно готовъ былъ бросить вѣрныя петербургскія на какія-то московскія надежды и фантазіи. Это бѣсило Грановскаго, который очень любилъ Корша и принималъ глубокое участіе въ многочисленномъ его семействѣ.

Я заѣхалъ къ Коршу нечаянно и нашелъ у него довольно большое собраніе, обычный хвостъ кружковыхъ петербургскихъ доктринеровъ, всюду таскавшійся за Грановскимъ во время

пріѣздовъ его. Всѣ сидѣли за длиннымъ чайнымъ столомъ. У Корша самоваръ почти никогда не сходилъ со стола...

Стоны Корша о Москвѣ и его толки о томъ, что жить можно пріятно и независимо только въ Москвѣ, что только въ Москвѣ умъ, знаніе, радушіе и всевозможныя добродѣтели, раздражали Грановскаго. Онъ одушевился и началъ оспаривать мнѣніе Корша. Начала рѣчи его я не засталъ...

Когда я взошелъ въ комнату и взглянулъ на Грановскаго, я какъ-будто увидѣлъ передъ собою новаго человѣка, или покрайней-мѣрѣ совсѣмъ преображеннаго. Внутренній пылъ ярко отражался въ его благородныхъ, прекрасныхъ чертахъ, въ которыхъ мелькала грустная, но ѣдкая иронія; даже въ голосѣ его была несвойственная ему энергія. Я никогда не слышалъ, чтобъ рѣчь его лилась такъ звонко, горячо и свободно (Грановскій говорилъ обыкновенно тихо и запинался въ разговорѣ и на каѳедрѣ). Я никогда не видалъ его такимъ прекраснымъ и такимъ вдохновеннымъ, какъ въ эту минуту.

Изрѣдка и вяло прерываемый Коршемъ, онъ говорилъ часа два сряду. Каждое его слово въ этотъ вечеръ надобно было стенографировать. Онъ доказывалъ, что Москва отживаетъ то великое и неоспоримое значеніе, которое она имѣла нѣкогда для Россіи, что, напротивъ, значеніе для Россіи Петербурга, въ ущербъ Москвѣ, обнаруживается съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе, и что Петербургу предназначено играть со временемъ большую роль въ судьбахъ нашего отечества; что русскій человѣкъ, развитый и мыслящій, еще нѣсколько свободнѣе можетъ жить изъ всей Россіи въ одномъ только Петербургѣ...

— Если бы не моя привязанность къ Московскому университету, говорилъ онъ: — я ни одной минуты не остался бы жить въ Москвѣ, — и что такое для меня, для тебя и для всѣхъ насъ Москва, безъ людей дорогихъ нашему сердцу, кровныхъ намъ по убѣжденію, по мысли? Москва дорога мнѣ по однимъ воспоминаніямъ объ этихъ людяхъ... Съ этой барской, пошлой, тупоумной Москвой, представителемъ которой является англійскій клубъ; съ этой апатичной, лѣнивой Москвой, которая только съ просонья важничаетъ и, какъ старая баба, хвалится своимъ древнимъ родомъ, своими прежними заслугами, толкуетъ по старой памяти о своемъ умственномъ превосход-

ствѣ, нелѣпо хвастаетъ какою-то будто бы независимостью, которую пріобрѣла она, — съ этой Москвою я не могу, не хочу и не долженъ имѣть ничего общаго... И какая независимость въ Москвѣ? Москва, какъ всѣ русскіе провинціальные города, подчинена произволу и прихоти начальствующихъ лицъ. Хороша независимость при Закревскомъ, передъ которымъ всѣ трепещутъ и который распоряжается всѣми нами, какъ турецкій паша! Всякій произволъ и гнетъ, конечно, тяжелъ, но прямо идущій отъ барина, онъ всетаки болѣе сносенъ, чѣмъ произволъ холопа, всегда разбивающаго себѣ лобъ отъ излишняго усердія... Мѣдному холопскому лбу ничего не дѣлается, но каково другимъ, подчиненнымъ этому мѣдному лбу!... Въ Москвѣ могутъ жить хорошо теперь только люди остановившіеся, обезпеченные, отживающіе. Человѣку съ свѣжими силами, съ неостывшей энергіей, съ жаждою дѣятельности — въ Москвѣ дѣлать нечего. Такого человѣка не можетъ удовлетворить одно только безплодное возвращеніе къ своему прошедшему, эгоистическое наслажденіе своими воспоминаніями; ему некогда праздно оглядываться назадъ, онъ стремится впередъ и впередъ... Ему должно казаться нестерпимымъ это бездѣятельное, тупое самодовольствіе, въ которое погружена Москва. Такое самодовольствіе есть несомнѣнный признакъ отсталости и дряхлости...

Грановскій никогда такъ сильно и рѣзко не высказывалъ своихъ убѣжденій относительно Москвы. Коршъ былъ пораженъ и смущенъ его словами, которыя однако не убѣдили его, а только раздражили, — во весь этотъ вечеръ онъ былъ самъ не свой и не отпустилъ ни одной колкости или остроты...

Могло ли мнѣ прійти въ голову, что я не услышу болѣе Грановскаго, что ужинъ, который накрывали, былъ для нѣкоторыхъ изъ насъ послѣднею, прощальною нашею трапезою съ Грановскимъ передъ вѣчной разлукой?...

Вино какъ-то не пилось, Грановскій былъ въ волненіи послѣ своего разговора, Коршъ не въ духѣ; всѣ чувствовали невольно какую-то безотчетную грусть.

На другой день, съ первымъ поѣздомъ желѣзной дороги, Грановскій уѣхалъ въ Москву...

Это было въ концѣ февраля 1855 года (если я не ошибаюсь), а 4-го октября этого же года Грановскаго не стало...

Больная жена его, дни которой давно уже были сочтены, имѣла несчастіе пережить его, но не надолго...

Въ теченіе пятнадцати лѣтъ (съ 1839 по 1855 г.) Грановскій боролся на каѳедрѣ съ различными препятствіями, съ величайшимъ трудомъ проводя независимую мысль, одушевлявшую его. Онъ носилъ въ душѣ глубокій протестъ противъ обветшалыхъ идей и, несмотря на то, что этотъ протестъ выражался въ его лекціяхъ и въ его статьяхъ въ свойственныхъ его характеру формахъ, деликатныхъ и мягкихъ, — вліяніе его на молодое поколѣніе было очень сильно.

Въ минуты безвыходнаго отчаянія, Грановскій говорилъ: «Благо Бѣлинскому, умершему во-время!» — «Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде и чѣмъ стали теперь!»

Падая духомъ, охладѣвая къ своимъ трудамъ и обязанностямъ, онъ хотѣлъ заглушать свои внутреннія страданія, какъ мы видѣли, бурной жизнью игрока; но его чистая, благородная натура спасала его... и онъ, измученный, разбитый, надломленный, возвращался снова къ своему долгу, говоря: «вѣдь еще кое-что можно дѣлать»...

Но эта борьба, но эти страданія, доводившія его до отчаянія и паденія, сокрушили его и безъ того непрочное здоровье и ускорили его кончину. Еще будучи въ Берлинѣ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ, онъ жаловался впрочемъ на боль въ груди *).

Горькая насмѣшка судьбы!... Грановскій умираетъ именно въ ту самую минуту, когда надежда на лучшее будущеее вдругъ одушевила всѣхъ и возбудила въ немъ умственную дѣятельность и энергію. По увѣренію друзей его, никогда онъ не порывался такъ трудиться на общую пользу и въ особенности на пользу образованія, какъ послѣдній (1855) годъ своей жизни. — Возвратясь осенью въ Москву, изъ деревни вдовы Фроловой, онъ съ горячностью взялся за мысль о періодическомъ изданіи *«Литературно-Историческаго Сборника»*, въ которомъ, кромѣ историческихъ изслѣдованій, должны были помѣщаться статьи литературныя и политическія... Грановскій замышлялъ рядъ статей о своей наукѣ, подъ названіемъ

---

*) Это видно изъ писемъ къ Грановскому Станкевича, помѣщенныхъ въ книгѣ Анненкова о «Станкевичѣ».

Историческихъ писемъ. Программа сборника была готова, и онъ хотѣлъ ѣхать въ Петербургъ, чтобы исходатайствовать разрѣшеніе этого изданія... И смерть вдругъ останавливаетъ его порывы.

Отъ Грановскаго осталось немного: историческія монографіи, писанныя имъ на ученыя степени, очерки и характеристики, журнальныя критическія статейки и рецензіи. Все это имѣетъ болѣе литературнаго, чѣмъ строго ученаго достоинства. Грановскій, конечно, мастерски владѣлъ языкомъ, и фраза его отличается простотою, ясностью, сжатостью и изящностью, но по однимъ сочиненіямъ Грановскаго, не представляющимъ ничего особеннаго, никакъ нельзя объяснить, почему имя его пріобрѣло такое значеніе, почему возбуждалъ онъ такой энтузіазмъ при жизни и отчего такая благоговѣйная любовь сохраняется нѣкоторыми къ его памяти?

Объяснить это для тѣхъ, которые не знали Грановскаго, почти невозможно. Только тѣ, кто слушали его лекціи, видѣли его въ дружескомъ кружкѣ, пользовались его совѣтами, бесѣдовали съ нимъ, могутъ засвидѣтельствовать, что вліяніе его было дѣйствительно велико, что личность его была въ высшей степени симпатична и обаятельна и что его значеніе не преувеличено его друзьями, какъ это теперь предполагаютъ многіе...

Въ одномъ изъ своихъ сочиненій Грановскій говоритъ, что въ переходныя эпохи всегда особенно выдаются два типа:

1) «Люди съ гордой и самонадѣянной силой, идущіе смѣло впередъ, не спотыкаясь о развалины прошедшаго, съ чуткимъ слухомъ и зоркимъ окомъ. Сердца̀ ихъ не отзываются на звуки былаго. За ними всегда остается право побѣды.

2) «Люди, въ которыхъ воплощается вся красота и достоинство отходящаго времени. Они лучшіе его представители и доблестные защитники».

Грановскій стоялъ примирителемъ между тѣми и другими, относясь къ нимъ, какъ историкъ, съ одинаковымъ безпристрастіемъ.

ГЛАВА VI.

Бѣлинскій въ Петербургѣ.—Пріѣздъ Бакунина.—Его посѣщеніе.—Переѣздъ Бѣлинскаго отъ меня на Петербургскую сторону.—Пріѣздъ Каткова, остановившагося у меня.—Наши занятія и гулянья.—Переводъ нашъ «Путеводителя въ пустынѣ», Купера.—Ссора Каткова съ Бакунинымъ у Бѣлинскаго.—Толки о дуэли.—Книгопродавецъ Поляковъ.—Отъѣздъ Бакунина и Каткова за границу.—К. Аксаковъ въ Петербургѣ—проѣздомъ за границу.—Полтора года страдальческой жизни Кетчера въ Петербургѣ.

Бѣлинскій, какъ уже извѣстно моимъ читателямъ, остановился у меня на квартирѣ. Черезъ часъ послѣ нашего пріѣзда мы были у Краевскаго.

Краевскій, казалось, былъ очень доволенъ нашимъ пріѣздомъ. Бѣлинскій передалъ ему о томъ, какія капитальныя статьи онъ замышляетъ для «Отечественныхъ Записокъ». Краевскій одобрялъ планы Бѣлинскаго, не безъ удовольствія улыбаясь, причемъ иногда пускался въ кое-какія разсужденія о литературѣ собственно для того, чтобы зарекомендовать себя Бѣлинскому . . . . . .
. . . . . .

Бѣлинскій тотчасъ принялся за свою вторую большую статью о «Бородинской годовщинѣ», появившуюся въ декабрской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, и вслѣдъ затѣмъ за «Менцеля»...

Пріѣздъ Бакунина въ Петербургъ, зимою 1840 года, очень обрадовалъ Бѣлинскаго. Бакунинъ заходилъ къ намъ почти всякій день. Онъ былъ въ это время проникнутъ ультраконсервативными воззрѣніями и теоріями по Гегелю: малѣйшимъ и незамѣтнѣйшимъ явленіямъ и словамъ онъ придавалъ значеніе и торжественность...

Бѣлинскій слушалъ его съ жадностью... Они вмѣстѣ воз-

водили эти явленьица въ мировыя событія и съ восторгомъ декламировали:

„О чемъ шумите вы, народные витіи?
Зачѣмъ анаѳемой грозите вы Россіи?..»
.... Иль мало насъ?
Иль отъ Перми до Тавриды,
Отъ потрясеннаго Кремля,
До стѣнъ недвижнаго Китая,
Стальной щетиной сверкая,
Не встанетъ Русская земля?“...

Бакунинъ оставался въ Петербургѣ, все время въ такомъ настроеніи, до весны 1840 года. Бѣлинскій переѣхалъ отъ меня ранней весною на Большой проспектъ Петербургской стороны, въ видахъ экономіи, и съ любовью занялся устройствомъ своего новаго помѣщенія. Я переѣхалъ почти въ то же время къ Пяти-Угламъ, въ домъ Пшеницыной, который впослѣдствіи Катковъ прозвалъ «кораблемъ Пшеницына».

Въ апрѣлѣ я получилъ отъ Каткова письмо, въ которомъ онъ увѣдомлялъ меня, что намѣренъ ѣхать за границу и передъ этимъ прожить нѣсколько времени въ Петербургѣ; я приглашалъ его остановиться у меня. Передъ этимъ Катковъ прислалъ намъ свой переводъ Шекспировой «Ромео и Юліи», который былъ проданъ нами книгопродавцу Полякову, бывшему тогда издателемъ «Пантеона». Деньги должны были быть заплаченными по напечатаніи перевода.

Катковъ былъ уже дѣятельнымъ сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ». Нѣсколько статей его было напечатано въ библіографіи; онъ готовилъ нѣсколько большихъ критическихъ статей и между-прочимъ статью о Сарѣ Толстой, отъ которой былъ тогда въ восторгѣ весь кружокъ.

Когда я вспомню о Катковѣ, онъ до-сихъ-поръ представляется мнѣ почему-то не иначе, какъ съ прищуреными глазами, со сложенными на груди руками, декламирующій стихотвореніе Фрейлихграта и повторяющій съ легкимъ завываніемъ:

„Capitano, Capitano!...“

Катковъ былъ тогда очень молодъ и у него появлялись престранныя фантазіи. Разъ какъ-то захотѣлось ему идти непремѣнно въ погребокъ и провести тамъ вечеръ, какъ это

дѣлывалъ въ Берлинѣ знаменитый Гофманъ, которымъ всѣ мы сильно увлекались въ то время.

Катковъ предложилъ это мнѣ.

— Да вѣдь здѣсь нѣтъ такихъ погребковъ, какъ въ Германіи, возразилъ я: — здѣсь берутъ только вино въ погребкахъ, а не распиваютъ его тамъ... Если вы хотите, я пошлю за виномъ и можемъ выпить его дома...

— Нѣтъ, я хочу непремѣнно пить въ погребкѣ.

— Да коли это здѣсь не водится?

— Отчего не водится? Это вздоръ! Если не водится, такъ мы введемъ это въ обычай... Я знаю, почему вамъ не хочется: вы боитесь унизить этимъ свое достоинство.—И, разгорячась болѣе и болѣе, Катковъ началъ нападать по этому поводу на различные дворянскіе предразсудки и нелѣпыя приличія, которыми я, по его мнѣнію, былъ зараженъ.

— Такъ вы рѣшительно не хотите идти со мною? спросилъ онъ въ заключеніе, складывая торжественно руки и щуря глазки.

— Рѣшительно нѣтъ.

— Ну, такъ пойду одинъ.

Катковъ взялся-было уже за шляпу, но потомъ отложилъ свое намѣреніе.

Дня два послѣ этого онъ дулся на меня.

Въ другой разъ мы отправились съ нимъ, съ Бѣлинскимъ, съ Бакунинымъ, съ Языковымъ (М. А.) и еще, не помню, съ кѣмъ-то изъ нашихъ пріятелей на биржу ѣсть устрицы, до которыхъ Бѣлинскій былъ страстный охотникъ.

Всѣ запивали устрицы портеромъ, но Катковъ потребовалъ какого-то крѣпчайшаго вина, увѣряя, что устрицы обыкновенно пьютъ съ этимъ виномъ—и одинъ выпилъ всю бутылку.

Когда мы окончили нашъ завтракъ и вышли на улицу, вино мгновенно обнаружило свое дѣйствіе надъ Катковымъ: онъ, ни слова не говоря намъ, пустился бѣжать отъ насъ. Мы уговаривали его остановиться, хотѣли удержать его, но онъ вырвался отъ насъ и скоро исчезъ.

Всѣ остальные съ биржи зашли ко мнѣ. Прошло часа три, мы сѣли уже за чай, но Катковъ не являлся. Это уже начинало безпокоить насъ, тѣмъ болѣе, что горничная моей

жены сказала намъ, что видѣла его на Семеновскомъ мосту, что онъ стоялъ со сложенными руками посрединѣ моста, что всѣ экипажи объѣзжали его и что около него собралась даже толпа...

Каткова мы такъ и не видѣли въ этотъ вечеръ.

На другой день Языковъ, жившій съ своею сестрою, передалъ намъ, что Катковъ заходилъ къ нему и звонилъ такъ сильно, что оборвалъ звонокъ и перепугалъ сестру его.

— Неужели? вскрикнулъ, вспыхивая, смущенный Катковъ: — а я, клянусь вамъ, и не помню, заходилъ ли я къ вамъ. Бога ради, извините меня!

Такія вспышки веселья и разгула проявлялись въ немъ впрочемъ рѣдко; бо̀льшую часть времени онъ проводилъ въ постоянномъ усиленномъ трудѣ, который, кромѣ его внутренней потребности, былъ необходимъ ему потому, что этимъ трудомъ онъ долженъ былъ содержать не только себя, но свою старушку-мать и брата, который тогда приготовлялся къ университету.

Средства къ существованію Каткова основывались въ это время единственно на сотрудничествѣ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Краевскій платилъ ему съ трудомъ за его критическія статьи по 100 рублей ассигнаціями за листъ, если я не ошибаюсь. Положеніе его въ первые три года изданія «Отечественныхъ Записокъ» было затруднительно: журналъ не окупался, долгъ возрасталъ. Многіе изъ московскихъ друзей Бѣлинскаго работали для «Отечественныхъ Записокъ» даромъ, стараясь поддерживать журналъ, въ которомъ участвовалъ онъ. Бѣлинскій привлекъ въ «Отечественныя Записки», вмѣстѣ съ собою, всю талантливую и горячую московскую молодежь. Онъ одушевлялъ, оживлялъ и подстрекалъ всѣхъ къ труду.

Незадолго до пріѣзда Каткова въ Петербургъ, я прочелъ только-что изданный во французскомъ переводѣ романъ Купера: «Путеводитель въ пустынѣ» (Le Lac Ontario). Романъ этотъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе, и я разсказалъ содержаніе его Бѣлинскому.

— Его надобно непремѣнно перевести для «Отечественныхъ Записокъ», сказалъ Бѣлинскій: — и скорѣй, чтобы кто-нибудь не перебилъ.

Каткову «Путеводитель въ пустынѣ» также очень нравился, и Бѣлинскій упросилъ насъ переводить его вмѣстѣ. Катковъ взялъ на себя переводъ двухъ первыхъ, а я двухъ послѣднихъ частей; Катковъ переводилъ съ англійскаго, а я съ французскаго. Краевскій объявилъ намъ, что за переводъ деньгами онъ платить не можетъ, а отпечатаетъ намъ 200 отдѣльныхъ экземпляровъ, которые мы можемъ продать въ свою пользу. Мы согласились на это условіе и принялись за трудъ съ жаромъ. Цѣлые вечера за однимъ столомъ, на *кораблѣ Пшеницынѣ*, мы просиживали надъ этимъ переводомъ.

Черезъ мѣсяцъ по отпечатаніи его въ журналѣ, мнѣ были доставлены 200 условленныхъ экземпляровъ, которыми мы могли впрочемъ распоряжаться не прежде полугода.

Юнгмейстеръ только-что открылъ тогда книжный магазинъ, и я продалъ ему наши экземпляры за 700 рублей ассигнаціями, то есть по 3 рубля 50 копѣекъ за экземпляръ. Юнгмейстеръ говорилъ мнѣ впослѣдствіи, что онъ бросилъ эти деньги даромъ, потому-что продалъ только *2 экземпляра!* Съ годъ тому назадъ мнѣ понадобился нашъ переводъ... Я не могъ отыскать его однако ни въ одной книжной лавкѣ (не исключая и лавки Юнгмейстера), даже не нашелъ его на Толкучемъ. Куда же дѣвался этотъ бѣдный «Путеводитель»? или Юнгмейстеръ сжегъ его?...

Передъ начатіемъ этого перевода весь нашъ кружокъ былъ въ сильномъ волненіи, и вотъ по какой причинѣ. Черезъ два мѣсяца послѣ переѣзда Бѣлинскаго на новую квартиру, въ одно утро у него сошлись Катковъ и Бакунинъ. По обыкновенію, начались разсужденія о разныхъ философскихъ вопросахъ. Катковъ вступилъ въ споръ съ Бакунинымъ; спорящіе никогда, кажется, не питали другъ къ другу особеннаго расположенія, и потому споръ съ самаго начала принялъ жолчный и колкій оттѣнокъ, доведшій спорящихъ до того, что они потребовали удовлетворенія другъ у друга.

Катковъ сообщилъ мнѣ объ этомъ и просилъ меня быть его секундантомъ. Я согласился. Нѣсколько дней Катковъ былъ торжественно-мраченъ. Бѣлинскій сначала встревожился этимъ происшествіемъ... Наконецъ, по долгомъ размышленіи и послѣ многихъ переговоровъ, рѣшено было отложить дуэль до Берлина, чтобы не подвергнуться строгости отечественныхъ

законовъ и не воспрепятствовать рѣшенной обоими ими поѣздкѣ за границу.

Бакунинъ уѣхалъ нѣсколькими мѣсяцами ранѣе Каткова.

Катковъ поневолѣ откладывалъ свою поѣздку, потому-что разсчитывалъ на деньги, слѣдуемыя ему отъ книгопродавца Полякова за переводъ «Ромео и Юліи». Онъ полагалъ, что съ этими деньгами, съ прибавкою къ нимъ незначительной суммы (не болѣе впрочемъ 100 рублей ассигнаціями), бывшей у него, онъ можетъ доѣхать до Берлина и прожить еще тамъ нѣсколько времени до новыхъ рессурсовъ, имѣвшихся у него въ-виду. Но книгопродавецъ Поляковъ, ухмыляясь, изгибаясь и извиваясь передъ Катковымъ, каждый день клялся ему, что онъ заплатитъ *завтра*. Такимъ-образомъ прошло болѣе мѣсяца. Катковъ вышелъ изъ терпѣнія и взялъ билетъ на пароходъ... Онъ объявилъ объ этомъ Полякову и сказалъ, что долѣе терпѣть не намѣренъ...

— Будьте увѣрены-съ, отвѣчалъ Поляковъ:—клянусь вамъ всѣмъ священнымъ-съ; вы можете назвать меня подлецомъ-съ въ глаза, если завтра въ 10 часовъ утра я не доставлю вамъ всей суммы сполна-съ, новенькими-съ, ассигнація къ ассигнаціи-съ, на подборъ-съ, ей-Богу-съ!

Это было наканунѣ отъѣзда Каткова. Мы прождали Полякова до часу и отправились къ нему въ лавку. Катковъ былъ внѣ себя...

Поляковъ хотѣлъ было скрыться отъ насъ, но мы поймали его за фалду. Онъ чуть было не бросился въ ноги Каткову и со всѣми возможными клятвами увѣрялъ, что ужъ завтра въ 10 часовъ утра (то-есть въ день самаго отъѣзда) онъ непремѣнно расплатится...

— Пароходъ отходитъ въ часъ изъ Петербурга въ Кронштадтъ... Смотрите же, говорили мы:—мы васъ опубликуемъ, опозоримъ!...

— Сохрани Боже-съ! стоналъ Поляковъ. — Какъ это можно-съ! Я не допущу себя до этого срама-съ... Помилуйте, кто самъ себѣ врагъ-съ...

— Что мнѣ дѣлать? сказалъ Катковъ: — вѣдь этотъ мошенникъ опять надуетъ меня.

Я имѣлъ наивность думать, что въ этотъ разъ Поляковъ наконецъ сдержитъ свое обѣщаніе и успокоивалъ Каткова...

Но Поляковъ не явился; въ 11 часовъ мы въ совершенной ярости вбѣжали въ его лавку. Въ лавкѣ его не оказалось... Дома его поймать было невозможно. Наша ярость пала на его прикащиковъ, которымъ впрочемъ это было нипочемъ. Они уже были пріучены къ подобнымъ сценамъ.

И Катковъ долженъ былъ уѣхать за границу со ста рублями ассигнаціями.

Мы провожали его до Кронштадта...

— Бога ради, спасайте же меня, сказалъ онъ, обнимая насъ при прощаньи:—высылайте мнѣ скорѣй деньги въ Берлинъ... Я могу умереть съ голода, если вы меня забудете.

Какъ ни тревожило, однако, Каткова его безденежье, онъ былъ веселъ и счастливъ мыслію, что черезъ нѣсколько дней будетъ въ Западной Европѣ, которая такъ давно манила его къ себѣ, что онъ вступитъ въ самое святилище науки, въ этотъ берлинскій университетъ, о которомъ онъ такъ давно мечталъ. Онъ предавался разнымъ упоительнымъ фантазіямъ, со всѣмъ увлеченіемъ и безпечностью молодости, забывая свое стѣсненное положеніе и предстоящую ему въ Берлинѣ дуэль, считая ее неизбѣжной.

Черезъ нѣсколько дней послѣ отъѣзда его, Поляковъ заплатилъ деньги и мы тотчасъ же отослали ихъ къ Каткову въ Берлинъ, съ прибавкою денегъ отъ Краевскаго...

Я забылъ сказать, что еще за годъ до этого, весною 1840 года, останавливался на нѣсколько дней въ Петербургѣ, проѣздомъ заграницу, Константинъ Аксаковъ.

Онъ на другой же день послѣ своего пріѣзда пришелъ ко мнѣ.

Послѣ объятій и крѣпкихъ рукопожатій, я спросилъ его:

— Надолго ли вы къ намъ, Константинъ Сергѣичъ?

— Нѣтъ, нѣтъ... отвѣчалъ онъ:—зачѣмъ мнѣ оставаться здѣсь?.. Вы знаете, что мнѣ противенъ вашъ Петербургъ... Я послѣзавтра уѣзжаю за границу. Мнѣ просто душно здѣсь. Вашъ Петербургъ... точно огромная казарма, вытянутая въ струнку. Этотъ гранитъ, эти мосты съ цѣпями, этотъ безпрестанный барабанный бой—все это производитъ подавляющее, гнетущее впечатлѣніе... Лица какія-то не русскія... Болоты, нѣмцы и чухны кругомъ. Нѣтъ, сохрани Боже оставаться здѣсь долго!

Когда мы вышли вмѣстѣ съ Аксаковымъ на улицу, онъ съ недоброжелательствомъ началъ посматривать на все: на дома, на людей, встрѣчавшихся намъ; его раздражалъ громъ отъ экипажей, движеніе на улицахъ... И какъ-будто для того, чтобы забыться и отвлечь свое вниманіе отъ всего этого, онъ началъ смотрѣть вверхъ, на небо.

Небо было ясно, одна только небольшая тучка пробѣгала по синевѣ...

Аксаковъ схватилъ меня за руку, остановился и началъ съ жаромъ декламировать:

«Послѣдняя туча разсѣянной бури,
Одна ты несешься по ясной лазури» и т. д.

Онъ продекламировалъ мнѣ все стихотвореніе, не замѣчая ничего и никого, а около насъ уже образовалась толпа съ ироническими улыбками.

Когда я обратилъ на это вниманіе Аксакова,—Аксаковъ печально покачалъ головою.

— Я забылся, сказалъ онъ:—я думалъ, что я въ Москвѣ. У насъ нисколько не кажется страннымъ, если человѣку вздумается прочесть стихотвореніе, идя по улицѣ. А у васъ, вѣрно, это не принято, оттого эти господа и обступили насъ. Въ Москвѣ широта, просторъ, свобода во всемъ, а здѣсь...

И онъ продолжалъ на эту тему, прибавивъ въ заключеніе:

— Бога ради, извините меня, можетъ-быть я *скомпрометировалъ* васъ?...

Аксаковъ думалъ пробыть съ годъ за-границей, но пробылъ въ Германіи, кажется, не болѣе четырехъ мѣсяцевъ, страдая тоской по Москвѣ и порываясь къ родному очагу, безъ котораго жизнь была для него невозможна.

Европа не произвела на него пріятнаго впечатлѣнія; онъ возвратился въ Москву еще болѣе яростнымъ москвичемъ, чѣмъ былъ до своей поѣздки, и скоро сдѣлался ожесточеннымъ противникомъ запада и однимъ изъ самыхъ фанатическихъ представителей славянофилизма.

Ходило множество забавныхъ разсказовъ изъ-заграничной жизни Аксакова. Я помню одинъ, справедливость котораго подтверждалъ онъ самъ.

На углу одной изъ берлинскихъ улицъ, Аксаковъ замѣтилъ дѣвочку лѣтъ 17-ти, продававшую что-то. Дѣвушка эта ему понравилась. Она всякій день являлась на свое привычное мѣсто и онъ нѣсколько разъ въ день проходилъ мимо нея, не рѣшаясь однако заговорить съ нею...

Однажды (дней черезъ девять послѣ того, какъ онъ въ первый разъ замѣтилъ ее) онъ рѣшился заговорить съ нею...

Послѣ нѣсколькихъ несвязныхъ словъ, произнесенныхъ дрожащимъ голосомъ, онъ спросилъ ее, знаетъ ли она Шиллера, читала ли она его?

Дѣвушка очень удивилась этому вопросу.

— Нѣтъ, отвѣчала она:—я не знаю, о чемъ вы говорите; а неугодно ли вамъ что-нибудь купить у меня?

Аксаковъ купилъ какую-то бездѣлушку и началъ толковать ей, что Шиллеръ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ германскихъ поэтовъ, и въ доказательство съ жаромъ прочелъ ей нѣсколько стихотвореній.

Дѣвушка выслушала его болѣе съ изумленіемъ, чѣмъ съ сочувствіемъ.

Аксаковъ явился къ ней на другой день и принесъ ей въ подарокъ экземпляръ полныхъ сочиненій Шиллера.

— Вотъ вамъ, сказалъ онъ:—читайте его... Это принесетъ вамъ пользу. Вы увидите, что, независимо отъ таланта, личность Шиллера самая чистая, самая идеальная, самая благородная...

— Благодарю васъ, произнесла дѣвушка, дѣлая книксенъ:—а позвольте спросить, сколько стоютъ эти книжки?

— Четыре талера.

— Ахъ Боже мой, сколько! наивно воскликнула дѣвушка.— Благодарю васъ... Но ужъ если вы такъ добры, такъ лучше бы вы мнѣ, вмѣсто книжекъ, деньгами дали.

Аксаковъ поблѣднѣлъ, убѣжалъ отъ нея съ ужасомъ, и съ-тѣхъ-поръ избѣгалъ даже проходить мимо того угла, гдѣ она вела свою торговлю . . . . . .

. . . . . .

Ненависть къ Петербургу, какъ читатель уже видѣлъ, питали не одни московскіе славянофилы, а и москвичи-западники, какъ напримѣръ Коршъ и Кетчеръ.

Надобно было посмотрѣть на бѣднаго Кетчера, когда онъ

вздумалъ-было переселиться въ Петербургъ, по совѣту своего брата, на службу въ медицинскій департаментъ! Кетчеру была необходима жизнь на-распашку, въ какомъ-нибудь маленькомъ деревянномъ флигелькѣ съ садикомъ, или покрайней-мѣрѣ съ палисадникомъ, въ которомъ бы онъ могъ копаться запросто въ халатѣ, садить огурцы и подсолнечники; вести небольшое хозяйство, имѣть небольшіе запасы,—для этого требовались различные чуланчики, небольшой отдѣльный погребъ и тому подобное...

Въ Москвѣ онъ легко пользовался всѣми этими удобствами, сохранялъ кислую капусту до осени и угощалъ середи лѣта друзей своихъ жирными селянками; по утрамъ онъ безпрестанно переходилъ отъ своихъ грядъ съ огурцами къ переводу Шекспира, и отъ Шекспира снова къ огурцамъ; послѣ ранняго обѣда отправлялся куда-нибудь за городъ къ пріятелямъ и собиралъ дорогой еще иногда грибы, проходя черезъ какой-нибудь лѣсокъ; а вечеромъ кричалъ и хохоталъ на вольномъ воздухѣ, разливая шампанское... Послѣ такой привольной, размашистой жизни онъ вдругъ очутился въ тѣсной квартирѣ огромнаго петербургскаго дома, покрайней-мѣрѣ съ 4000 обитателей, на самомъ верху: грязная лѣстница, ни одного чуланчика, ни одной травки на вымощенномъ дворѣ,—все какъ-то узко, тѣсно... и пріятели—люди небогатые и разсчетливые, у которыхъ шампанское не появляется всякій день... Ни голосу, ни движеніямъ, ни размашистымъ привычкамъ нѣтъ никакого простора.

Кетчеръ изнемогалъ въ такой жизни, стоналъ по Москвѣ и гремѣлъ проклятіями противъ Петербурга. По его словамъ, въ Петербургѣ ничего даже нельзя было достать порядочнаго, и говядина хуже московской, и вино скверное, подмѣшанное, и шампанское поддѣльное, и сигары никуда негодныя.

Бѣлинскій, который, напротивъ, симпатизировалъ съ петербургской жизнью, часто подсмѣивался надъ Кетчеромъ и любилъ представлять московскую жизнь въ каррикатурѣ. Кетчеръ выходилъ изъ себя, защищая Москву, и поднималъ такой крикъ, что Бѣлинскій затыкалъ обыкновенно уши и умолялъ Кетчера замолчать.

— Вѣдь тебя не перекричишь. Богъ съ тобой, я со всѣмъ согласенъ, говорилъ Бѣлинскій, улыбаясь.

Кетчеръ никакъ не могъ примириться съ петербургской жизнью; тоска по Москвѣ увеличивалась въ немъ съ каждымъ днемъ... и при первой возможности онъ переселился въ Москву. Еще до-сихъ-поръ съ ужасомъ вспоминаетъ онъ о своей петербургской жизни, и нешутя увѣряетъ всѣхъ, что въ Петербургѣ ни за какія деньги не достанешь ни говядины порядочной, ни настоящихъ гаванскихъ сигаръ, ни настоящаго шампанскаго...

ГЛАВА VII.

Нашъ петербургскій кружокъ.—Субботы у меня. — Увлеченіе Бѣлинскаго Леру и Жоржъ-Зандомъ. — Revue Independante. — Неловкое положеніе Краевскаго, вслѣдствіе новаго направленія Бѣлинскаго. Женитьба Бѣлинскаго. — Кречетовъ. — Ударъ паралича. — Некрасовъ. — Знакомство съ нимъ и съ Григоровичемъ.—Появленіе Тургенева. — Два слова объ эксплуататорахъ и объ эксплуатируемыхъ.

Послѣ отъѣзда Бакунина и Каткова, Бѣлинскій, найдя неудобнымъ жить вдалекѣ отъ редакціи, переѣхалъ съ Петербургской стороны къ Аничкину мосту въ домъ Лопатина, куда я тоже переселился и гдѣ нанялъ себѣ квартиру Краевскій, послѣ смерти жены своей.

Около Бѣлинскаго въ Петербургѣ составлялся мало-помалу небольшой кружокъ изъ людей, высоко цѣнившихъ его какъ писателя и глубоко уважавшихъ его какъ человѣка; къ этому кружку принадлежали, между прочими: П. В. Анненковъ, К. Д. Кавелинъ (переѣхавшій въ Петербургъ), А. А. Камаровъ, М. А. Языковъ, И. И. Масловъ, Н. Н. Тютчевъ и другіе; вскорѣ къ нимъ присоединились Н. А. Некрасовъ и И. С. Тургеневъ, и позже Ѳ. М. Достоевскій и И. А. Гончаровъ... Изъ Москвы часто пріѣзжали: В. П. Боткинъ, Герценъ и Огаревъ. Пріѣзды эти были праздникомъ для Бѣлинскаго и для всѣхъ насъ. Герценъ съ каждымъ пріѣздомъ своимъ все тѣснѣе сближался съ Бѣлинскимъ...

Бѣлинскій съ свойственною ему энергіею началъ дѣйствовать въ новомъ направленіи. Но прошедшее все еще давило его какъ кошемаръ.

— Жизнь моя не должна быть долга, говорилъ онъ мнѣ:—во мнѣ зародышъ чахотки,—я это очень хорошо знаю; но я охотно отдалъ бы нѣсколько лѣтъ жизни, если бы могъ искупить этимъ мое безуміе, до тла истребить воспоминаніе объ этой эпохѣ и уничтожить всѣ нелѣпыя статьи мои, относящіяся къ ней.

Въ то самое время, когда въ Бѣлинскомъ совершался внутренній переворотъ подъ вліяніемъ Герцена, въ Парижѣ появился подъ редакціею Леру, Жоржъ Занда и Віардо «Revue Independante». Я принялся читать его съ жадностью и, увлеченный статьями Леру, переводилъ ихъ отрывками Бѣлинскому. Передъ этимъ Бѣлинскій прочелъ всѣ романы Занда, которые были переведены (я перевелъ нарочно для него конецъ «Спиридіола»), и прежнее негодованіе его къ Жоржъ-Зандъ, такъ рѣзко выразившееся въ статьѣ о Менцелѣ, замѣнилось въ немъ пламеннѣйшимъ энтузіазмомъ къ ней. Всѣ прежніе его литературные авторитеты и кумиры—Гёте, Вальтеръ-Скоттъ, Шиллеръ, Гофманъ — поблѣднѣли передъ нею... Онъ только и говорилъ о Жоржъ-Зандъ и Леру. Увлеченіе его было такъ сильно, что онъ рѣшился учиться по-французски, чтобы читать ихъ въ подлинникѣ. Къ гегеліанизму онъ вообще охладѣлъ немного: отъ гегеліанцевъ правой стороны онъ отвернулся съ негодованіемъ и жолчью, но обнаруживалъ большое сочувствіе къ гегеліанцамъ лѣвой стороны.

Покуда Бѣлинскій освоивался понемногу, и не безъ труда, съ французскимъ языкомъ (къ изученію языковъ онъ вообще не обнаруживалъ способностей), я началъ составлять для него описаніе одной исторической эпохи, чрезвычайно интересовавшей всѣхъ насъ.

Бѣлинскій и многіе наши пріятели, незнавшіе французскаго языка или мало знакомые съ подробностями этой эпохи, сходились у меня каждую субботу, и я прочитывалъ имъ то, что успѣвалъ переводить въ теченіе недѣли.

Для Бѣлинскаго открывался новый міръ, который до-сихъ-поръ представлялся ему смутно по разсказамъ... Онъ слѣдилъ за чтеніемъ съ лихорадочнымъ любопытствомъ; потрясенный до глубины, онъ прерывалъ чтеніе восторженными восклицаніями, безпрестанно вскакивалъ со стула въ волненіи и повторялъ нѣсколько разъ:

— Да! всему виною мое проклятое невѣжество. Если бы я зналъ все это прежде, я не написалъ бы этихъ безобразныхъ статей, которыя составляютъ несчастіе моей жизни, лежатъ на мнѣ неизгладимымъ пятномъ!

Ко мнѣ въ эту зиму (1841 г.) Бѣлинскій обнаруживалъ большую симпатію, чѣмъ когда-нибудь, и въ увлеченіи своемъ приписывалъ мнѣ такія достоинства и способности, которыхъ я никогда не ощущалъ въ себѣ...

Я считалъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ, видя, что способствовалъ моимъ переводомъ просвѣтленію мыслей Бѣлинскаго и расширенію его кругозора. Я гордился тѣмъ, что возбуждалъ его благородный энтузіазмъ, доставлялъ ему минуты высокаго наслажденія и пробуждалъ въ немъ и въ другихъ слушателяхъ гражданское чувство...

Всѣ мои слушатели ждали субботы, какъ праздника, и слѣдили за моимъ чтеніемъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

Чтеніе оканчивалось обыкновенно жаркими спорами... Надобно было видѣть въ эти минуты Бѣлинскаго! Вся его благородная, пламенная натура проявлялась тутъ во всемъ блескѣ, во всей ея красотѣ, со всею своею безконечною искренностью, со всей своей страшной энергіей.

Масловъ, каждую субботу, послѣ чтенія, давалъ намъ клятвы, что онъ выучится французскому языку.

Бѣлинскій укорялъ его въ лѣности и распущенности.

— Если бы у меня было столько свободнаго времени, какъ у васъ, говорилъ онъ: — я, при всей моей тупости къ языкамъ, давно бы ужъ выучился по-французски. Какъ вамъ не стыдно... Я замученъ работой, да и тутъ нахожу время заниматься... и начинаю понемногу смекать по-французски... Черезъ полгода, я даю вамъ слово, я буду читать свободно и понимать все безъ труда, а вы...

И тутъ, постепенно одушевляясь, Бѣлинскій разражался противъ нашей апатіи, равнодушія ко всему, безпечности, противъ отсутствія въ насъ всякой любознательности, и все это приписывалъ нашей славянской породѣ.

— Прежде намъ была нужна палка Петра Великаго, говорилъ онъ: — чтобы дать намъ хоть подобіе человѣческое; теперь намъ надо пройти сквозь терроръ, чтобы сдѣлаться людьми въ полномъ и благородномъ значеніи этого слова.

Нашего брата, славянина, не скоро пробудишь къ сознанію. Извѣстное дѣло—покуда громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится...

Внутренняя ломка, начавшаяся въ Бѣлинскомъ послѣ его сближенія съ Герценомъ (нѣтъ сомнѣнія, впрочемъ, что она произошла бы и безъ вліянія Герцена—Герценъ только ускорилъ ее), страданія Бѣлинскаго, его борьба съ самимъ собою, предшествовавшая радикальному перевороту въ его воззрѣніи, была, конечно, видима только его близкимъ.

Краевскій ничего не подозрѣвалъ. Онъ еще повторялъ фразы Бѣлинскаго изъ его статей о «Бородинской годовщинѣ» и «Менцелѣ», когда уже въ «Отечественныхъ Запискахъ» начали появляться рецензіи въ совершенно противоположномъ направленіи. Когда онъ замѣтилъ перемѣну направленія въ своемъ журналѣ, это сначала крайне удивило его. Дѣлать, впрочемъ, было ничего. Въ области мысли онъ не былъ такъ силенъ, какъ въ области денежныхъ разсчетовъ, и долженъ былъ покориться безусловно Бѣлинскому; ему такъ же легко было промѣнять свой прежній образъ мыслей на новый, какъ выпить стаканъ воды... Къ тому же, новое направленіе, можетъ-быть, еще обѣщало усиленіе подписки.

Въ началѣ и половинѣ сороковыхъ годовъ мало обращали вниманія на русскую литературу. Статьи Бѣлинскаго о «Бородинской годовщинѣ» прошли совершенно незамѣченными; а если бы онѣ и были замѣчены, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что Бѣлинскому было бы сдѣлано внушеніе не вмѣшиваться впредь въ дѣла, не касающіяся литературы. Исключительною областью литературы, по мнѣнію многихъ, была природа, любовь, невыходящая, разумѣется, изъ законныхъ формъ; мораль ея должна была заключаться въ строгомъ наказаніи порока и въ награжденіи добродѣтели. Къ этому, дозволялось ей воспѣвать славу русскаго оружія и подвиги полководцевъ... Всѣ литераторы, хоть на одну черту выходившіе изъ этой программы, считались людьми неблагонамѣренными... Надеждинъ, чтобы загладить свои телескопскія прегрѣшенія, долженъ былъ сдѣлаться усерднымъ чиновникомъ, возвратившись изъ Усть-Сысольска; Полевой искупалъ свой «Телеграфъ» — «Парашами-Сибирячками» и усиливался поддѣлываться подъ тонъ Булгарина, считавшагося

между журналистами и литераторами образцомъ благонамѣренности.

Необходима была глубокая вѣра въ свои убѣжденія, соединенная съ величайшимъ литературнымъ тактомъ, чтобы проводить въ то время смѣлую, независимую мысль сквозь тупую цензуру, вооруженную, впрочемъ, очень острыми ножницами. Бѣлинскій, убѣдившись въ своемъ настоящемъ призваніи и проникнувшись горячей вѣрой въ свои новыя убѣжденія, пріобрѣлъ удивительную способность газировать свою мысль и проводить ее незамѣтно отъ цензора, несмотря на его строгоій цензурный надзоръ...

Но все это стоило Бѣлинскому страшныхъ усилій и притомъ не всегда удавалось сдерживать свою энергическую, кипучую натуру, тайкомъ проводить мысль, удовлетворяться иногда только одними намеками на нее; для него это была невыносимая пытка. Онъ страдалъ, выбивался изъ силъ и горько жаловался. Съ каждымъ днемъ онъ убѣждался болѣе и болѣе, что никакое человѣческое свободное развитіе невозможно съ тѣми принципами, которыхъ онъ былъ такимъ жаркимъ защитникомъ.

— Я не понимаю, какъ я могъ доходить до такого безумія, повторялъ онъ.

Всѣ мы болѣе или менѣе, когда туманъ, застилавшій наши глаза, началъ разсѣяваться, начинали порываться къ лучшему будущему, усматривали яснѣе нашъ идеалъ, стали понимать несоотвѣтственность стараго порядка и чувствовать его тягость.

На эту тему разыгрывались тогда всѣ разговоры людей, считавшихъ себя передовыми и современными; имъ, разумѣется, подражали остальные, терпіеся около нихъ.

Мой наставникъ Василій Иванычъ Кречетовъ, съ которымъ я познакомилъ читателя въ первой части моихъ «Воспоминаній», наслушавшись Бѣлинскаго и другихъ моихъ пріятелей и начитавшись «Revue Independante», которое онъ бралъ у меня, началъ также стремиться къ идеалу и жаловаться на то, что человѣку мыслящему нельзя жить въ *этомъ растлѣнномъ и разлагающемся обществѣ*, какъ онъ выражался. Несмотря на это, онъ продолжалъ кушать, какъ всегда, съ большимъ аппетитомъ; съ прежнею любовью глядѣлъ на сочный кусокъ

ростбифа и съ прежнею пріятностью, покрякивая, выпивалъ за обѣдомъ до капли бутылку добраго *шери* (какъ онъ называлъ хересъ).

Когда онъ увидѣлъ у меня въ первый разъ Бѣлинскаго, Бѣлинскій чувствовалъ себя нездоровымъ, посматривалъ мрачно и говорилъ мало... Кречетовъ затрогивалъ разные вопросы, на которые Бѣлинскій отвѣчалъ лаконически и сухо. Желая блеснуть передъ Бѣлинскимъ своею ученостью, онъ цитировалъ Горація, замѣчая, что онъ всего его знаетъ наизусть, разсуждалъ о романтизмѣ, произнося русское *нашъ*, какъ *энъ* французскій, и не возбудилъ ничего въ Бѣлинскомъ, кромѣ улыбки...

— Ну, батюшка, сказалъ онъ мнѣ:—кажется, нѣтъ ничего особеннаго въ вашемъ хваленомъ Бѣлинскомъ...

Но когда онъ увидѣлъ Бѣлинскаго въ одушевленіи и услышалъ его въ спорѣ,—онъ сжалъ значительно нижнюю губу и произнесъ:

— О, да, да! Въ немъ видна эта, эта — эта сила, эта мощь... Голова, умная голова!

Съ-тѣхъ-поръ онъ питалъ къ Бѣлинскому уваженіе, смѣшанное съ страхомъ, разумѣется, скрывая это и хорохорясь передъ нимъ, но не любилъ его, потому-что Бѣлинскій никогда не обращался къ нему серьёзно...

Кречетовъ заходилъ ко мнѣ по-прежнему довольно часто... Я началъ замѣчать съ нѣкотораго времени, что онъ какъ-будто не въ своей тарелкѣ, ѣстъ меньше, сидитъ повѣся голову, тяжело вздыхаетъ. Сначала я приписывалъ это уменьшенію его средствъ и спросилъ: какъ идутъ его уроки?... На уроки онъ не жаловался; напротивъ, у него прибавились новые ученики; да и когда, бывало, онъ нуждался въ деньгахъ, онъ бралъ у меня на опредѣленный срокъ нѣсколько рублей и возвращалъ мнѣ ихъ день въ день, минута въ минуту. Онъ былъ необыкновенно честенъ въ этомъ отношеніи. Разъ какъ-то я взглянулъ на него попристальнѣе. Меня поразили пурпуровый цвѣтъ его мясистыхъ щокъ и краснота глазъ, тѣмъ болѣе, что онъ былъ въ совершенно трезвомъ состояніи.

— Да что съ вами, Василій Ивановичъ, вы не очень здоровы? спросилъ я его: — вы какъ-то грустны въ послѣднее время и у васъ цвѣтъ лица такой странный...

Кречетовъ печально, безнадежно махнулъ рукой.

— Физически я здоровъ... у меня желѣзная натура, но морально я точно разстроенъ... Вѣрите ли, что вотъ ужъ больше двухъ недѣль меня гнететъ эдакая, эдакая... непроходимая тоска... Мѣста нигдѣ не нахожу.

— Да отчего же?

— Смѣшной вопросъ! возразилъ Кречетовъ:—мнѣ, какъ и всякому мыслящему человѣку, нестерпимо, невыносимо жить среди этого дикаго, пошлаго общественнаго устройства... Я чувствую, что нельзя дышать въ этой душной, смрадной атмосферѣ...

И Кречетовъ пыхтѣлъ и отдувался...

Черезъ день послѣ этого, возвращаясь съ урока, онъ зашелъ на Сѣнную, купилъ добрую часть телятины, взялъ кулекъ и хотѣлъ отправиться домой... Вдругъ почувствовалъ, что правая его рука, державшая кулекъ, слабѣетъ и правая нога не повинуется... Онъ успѣлъ только вскрикнуть въ испугѣ:

— Извощикъ!

И упалъ безъ чувствъ на мостовую.

Его привезли домой замертво.

У Кречетова былъ просто сильный приливъ въ головѣ. Не будь онъ знакомъ съ нами, онъ, вѣроятно, не приписалъ бы своей тоски такой отдаленной и отвлеченной причинѣ; а догадавшись о настоящей, пустилъ бы себѣ кровь, избавился бы отъ удара и преспокойно продолжалъ бы наслаждаться жизнью за кускомъ сочнаго бифстекса, орошаемаго шери...

Вотъ до какихъ гибельныхъ послѣдствій доводитъ иногда сближеніе съ людьми современными и передовыми!

Кречетовъ впрочемъ имѣлъ желѣзную натуру. Черезъ два мѣсяца онъ оправился и прожилъ послѣ этого лѣтъ десять, правда, ковыляя и съ покривившимся ртомъ, но продолжая за обѣдами своихъ старыхъ знакомыхъ по-прежнему, и даже болѣе прежняго, наслаждаться жирными телятинами, сочными ростбифами и бифстексами, добрымъ, золотистымъ шери и т. д., и повторяя заученую фразу:

«Въ этомъ... растлѣнномъ обществѣ жить нѣтъ возможности человѣку мыслящему!...»

Въ началѣ 40-хъ годовъ, къ числу сотрудниковъ «Отече-

ственныхъ Записокъ» присоединился Некрасовъ; нѣкоторыя его рецензіи обратили на него вниманіе Бѣлинскаго и онъ познакомился съ нимъ. До этого Некрасовъ имѣлъ прямыя сношенія съ Краевскимъ. Я въ первый разъ встрѣтилъ Некрасова въ половинѣ 30-хъ годовъ у одного моего пріятеля. Ему было тогда лѣтъ 17, онъ только-что издалъ небольшую книжечку своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: «Мечты и звуки», которую онъ впослѣдствіи скупалъ и истреблялъ. Мы возобновили знакомство съ нимъ черезъ семь лѣтъ. Онъ, какъ и всѣ мы, очень увлекался въ это время Жоржъ-Зандомъ. Онъ былъ знакомъ съ нею только по русскимъ переводамъ. Я звалъ его къ себѣ и обѣщалъ прочесть ему отрывки, переведенные мною изъ «Спиридіола». Некрасовъ вскорѣ послѣ этого зашелъ ко мнѣ утромъ и я тотчасъ же приступилъ къ исполненію своего обѣщанія...

Съ-этихъ-поръ мы видѣлись чаще и чаще. Онъ съ каждымъ днемъ болѣе сходился съ Бѣлинскимъ, разсказывалъ намъ свои горькія литературныя похожденія, свои разсчеты съ редакторами различныхъ журналовъ, и принесъ однажды Бѣлинскому свое стихотвореніе «На дорогѣ».

Некрасовъ произвелъ на Бѣлинскаго съ самаго начала очень пріятное впечатлѣніе. Онъ полюбилъ его за его рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испыталъ такъ рано, добиваясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ смѣлый, практическій взглядъ не по лѣтамъ, который вынесъ онъ изъ своей труженической и страдальческой жизни и которому Бѣлинскій всегда мучительно завидовалъ.

Некрасовъ пускался передъ этимъ въ изданіе разныхъ мелкихъ литературныхъ сборниковъ, которые постоянно приносили ему небольшой барышъ... Но у него уже развивались въ головѣ болѣе обширныя литературныя предпріятія, которыя онъ сообщалъ Бѣлинскому.

Слушая его, Бѣлинскій дивился его сообразительности и смѣтливости и восклицалъ обыкновенно:

— Некрасовъ пойдетъ далеко... Это не то, что мы... Онъ наживетъ себѣ капиталецъ!

Ни въ одномъ изъ своихъ пріятелей Бѣлинскій не находилъ ни малѣйшаго практическаго элемента и, преувеличивая

его въ Некрасовѣ, онъ смотрѣлъ на него съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ.

Литературная дѣятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особеннаго. Бѣлинскій полагалъ, что Некрасовъ навсегда останется не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотрудникомъ; но когда онъ прочелъ ему свое стихотвореніе «На дорогѣ», у Бѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:

— Да знаете ли вы, что вы поэтъ—и поэтъ истинный?

Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвысился въ глазахъ его... Его стихотвореніе въ «Родинѣ» привело Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ выучилъ его наизусть и послалъ его въ Москву, къ своимъ пріятелямъ... У Бѣлинскаго были эпохи, какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекался кѣмъ-нибудь изъ своихъ друзей... Въ эту эпоху онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и говорилъ о немъ.

Некрасовъ съ-этихъ-поръ сдѣлался постояннымъ членомъ нашего кружка.

Черезъ Некрасова я познакомился съ Григоровичемъ. Григоровичъ былъ сотрудникомъ мелкихъ изданій Некрасова, и для одного изъ такихъ изданій онъ сочинилъ плохой разсказъ, подъ названіемъ «Штука полотна».

Однажды я встрѣтилъ Некрасова на Невскомъ проспектѣ. Онъ шелъ съ какимъ-то стройнымъ и высокимъ молодымъ человѣкомъ, очень пріятной наружности. Я присоединился къ нимъ.

Какимъ-то образомъ у насъ зашла рѣчь объ изданіи, въ которомъ была помѣщена знаменитая «Штука полотна»... Я подшучивалъ надъ этимъ изданіемъ. Некрасовъ смѣялся вмѣстѣ со мною и прибавлялъ свои шутки.

— Но ужь нелѣпѣе всего въ этой книжкѣ, замѣтилъ я:— «Штука полотна»...

— Рекомендую вамъ автора этой «Штуки», сказалъ Некрасовъ, указывая на молодаго человѣка пріятной наружности.—Это г. Григоровичъ...

Я еще не успѣлъ смутиться, какъ Григоровичъ протянулъ мнѣ руку и сказалъ, улыбаясь:

— Бога ради, не конфузьтесь... Я самъ объ этой «Штукѣ»

совершенно такого же мнѣнія, какъ вы... Ужъ нелѣпѣе и пошлѣе, конечно, быть ничего не можетъ... Очень радъ съ вами познакомиться.

Около этого же времени, можетъ-быть нѣсколько ранѣе, я сошелся съ И. С. Тургеневымъ.

О Тургеневѣ я много слышалъ отъ Грановскаго и другихъ, познакомившихся съ нимъ за границей. Тургеневъ скоро и близко сошелся съ Бѣлинскимъ и со всѣмъ нашимъ кружкомъ. Всѣ, начиная съ Бѣлинскаго, очень полюбили его. Тургеневъ началъ свое литературное поприще элегіями и поэмами, которыя всѣмъ намъ тогда очень нравились, не исключая и Бѣлинскаго.

«Отечественныя Записки» пріобрѣли въ Тургеневѣ замѣчательнаго сотрудника; кружокъ нашъ—блестящаго и образованнаго собесѣдника, хорошо знакомаго съ иностранными литературами, слегка посвященнаго въ тайны нѣмецкой философіи и мастерскаго разсказчика, увлекающагося иногда черезчуръ своей прихотливой фантазіей...

. . . . . .

Бѣлинскій очень горячо любилъ всѣхъ своихъ петербургскихъ пріятелей; они благоговѣли передъ нимъ, смотрѣли на него, какъ на своего учителя, слушали его не переводя дыханіе и принимали на вѣру каждую его строчку, каждое его слово. Каждый изъ нихъ готовъ былъ за него въ огонь и въ воду; но изъ нихъ не было ни одного, который бы могъ вступать съ нимъ въ состязаніе относительно теоретическихъ вопросовъ, а для кипучей, дѣятельной натуры Бѣлинскаго обмѣнъ мыслей, споръ, состязаніе съ бойцомъ равной силы были потребностью... И потому Бѣлинскій часто скучалъ въ своемъ кружкѣ, и чтобы сколько-нибудь удовлетворить свою потребность, за отсутствіемъ живого слова, писалъ длинныя посланія къ своимъ московскимъ друзьямъ о разныхъ вопросахъ, тревожившихъ его... И когда кто-нибудь изъ нихъ, особенно Герценъ или Грановскій пріѣзжали въ Петербургъ, онъ, какъ говорится, отводилъ съ ними душу. — Появленіе Тургенева оживило его. Въ немъ онъ могъ найти до нѣкоторой степени удовлетвореніе своей потребности и потому онъ сильно привязался къ нему. Впрочемъ Бѣлинскій никогда ни на кого изъ своихъ петербургскихъ друзей не смотрѣлъ съ высоты

своего авторитета, и никому изъ нихъ не далъ ни разу почувствовать своего превосходства; напротивъ, онъ отыскивалъ въ каждомъ лучшія его стороны, даже преувеличивалъ ихъ.

Онъ высоко цѣнилъ въ Языковѣ кротость его характера, нѣжность сердца, безконечную преданность его друзьямъ и отсутствіе эгоизма, доходившее до пренебреженія собственныхъ выгодъ; въ Анненковѣ онъ восхищался разумнымъ эгоизмомъ, умѣньемъ отыскивать себѣ наслажденіе и удовлетвореніе во всемъ... и въ природѣ, и въ искусствѣ, и даже во всѣхъ мелочахъ жизни... «Это одинъ изъ самыхъ счастливѣйшихъ людей, какихъ я встрѣчалъ въ жизни,—говорилъ про него Бѣлинскій,—здоровая, цѣльная натура, неиспорченная этой рефлексіей, которая была развита въ нашемъ московскомъ кружкѣ до болѣзненности. На Кавелина онъ смотрѣлъ съ любовью, какъ на благороднаго, пылкаго, безъ мѣры увлекающагося и довѣрчиваго юношу, и замѣчалъ иногда съ улыбкою: «Одно только бѣда, что вѣдь онъ до старости останется такимъ!»

Кавелинъ, только-что переселившійся тогда въ Петербургъ, поселился на одной квартирѣ съ Н. Н. Тютчевымъ и Кульчицкимъ.

Въ этой квартирѣ Бѣлинскій, до своей женитьбы, обыкновенно отдыхалъ отъ своихъ занятій. Двѣ недѣли въ мѣсяцъ онъ почти не выпускалъ пера изъ рукъ и не отходилъ отъ своего стола; другія двѣ недѣли предавался развлеченію. Развлеченіе это большею частью состояло въ преферансѣ, по 3 коп., до котораго Бѣлинскій былъ страстный охотникъ... Чаще всего мы собирались вечеромъ на преферансъ въ квартирѣ трехъ пріятелей. Кульчицкій, очень добрый малый (умершій за два года до смерти Бѣлинскаго въ чахоткѣ), извѣстенъ былъ кое-какими журнальными статейками и шуточнымъ трактатомъ о преферансѣ. Онъ былъ искренно привязанъ къ Бѣлинскому и всѣми силами старался угождать ему. Онъ приготовлялъ обыкновенно карточный столъ за полчаса до нашего прихода, самъ тщательно вычищалъ зеленое сукно, такъ что на немъ не было ни пылинки, клалъ на него четыре превосходно заостренныхъ мѣлка и колоду картъ.

Когда мы съ Бѣлинскимъ входили, Кульчицкій торжественно обращался къ Бѣлинскому, подводилъ его къ столу и восклицалъ:

— Какъ вы находите это зеленое поле?... Не правда ли, это радуетъ сердце?

Бѣлинскій пріятно улыбался — и мы, по требованію его, не медля приступали къ дѣлу.

Бѣлинскій привязывалъ къ себѣ не только людей мыслящихъ, вполнѣ понимавшихъ его и разумно ему сочувствовавшихъ, но и людей самыхъ не хитрыхъ, не имѣвшихъ никакого понятія объ отвлеченныхъ предметахъ. Незадолго до этого къ нему привязался нѣкто князь Козловскій, человѣкъ очень слабый духомъ, но Геркулесъ по физической силѣ: онъ ломалъ кочерги, свертывалъ въ трубку цѣлковые и тому подобное... Князь Козловскій ухаживалъ за Бѣлинскимъ, во время пребыванія своего въ Петербургѣ, какъ нянька за ребенкомъ, и всякій день на столѣ Бѣлинскаго появлялись какіе-нибудь сюрпризы: то окорокъ ветчины, то какая-нибудь необыкновенная колбаса, то бутылка бургонскаго.

Князь Козловскій отправился потомъ въ Крымъ вмѣстѣ съ княземъ А. Н. Голицынымъ, который и умеръ на его рукахъ. Голицынъ завѣщалъ ему кое-какія вещи—и Козловскій, возвратившись въ Петербургъ, всѣ ихъ раздарилъ Бѣлинскому и его друзьямъ...

Послѣ женитьбы своей, Бѣлинскій рѣдко выходилъ изъ дому; его болѣзнь, развиваясь постепенно, стала сильно тревожить его; онъ сознавалъ вполнѣ безнадежность своего положенія, какъ это видно изъ письма его, которое читатель найдетъ далѣе; строгость цензуры по временамъ дѣлалась невыносима, отношенія его къ Краевскому съ каждымъ днемъ тяжелѣе... Краевскій сдѣлалъ какую-то ничтожную прибавку къ его платѣ послѣ его женитьбы, все еще ссылаясь на свое стѣсненное положеніе и на долги.

— Боже мой! если бы я могъ освободиться отъ этого человѣка, говорилъ намъ Бѣлинскій:—я былъ бы, мнѣ кажется, счастливѣйшимъ смертнымъ. Ходить мнѣ къ нему, любезничать, улыбаться въ ту минуту, когда дрожишь отъ злобы и негодованія,—это подлое лицемѣріе невыносимо для меня. А между-тѣмъ, что мнѣ дѣлать?... Гдѣ выходъ изъ этого положенія?... Если бы только вы могли вообразить, съ какимъ ощущеніемъ я всякій разъ иду къ нему за своими собственными, трудовыми, въ потѣ лица выработанными деньгами!

Съ Краевскимъ Бѣлинскій и всѣ мы видѣлись рѣдко. Онъ усиливалъ себя быть съ нами любезнымъ, но внутренно, вѣроятно, мало питалъ къ намъ расположенія и долженъ былъ чувствовать неловкость въ нашемъ присутствіи, сознавая, что мы видимъ его насквозь. Еще лучше всѣхъ изъ насъ онъ былъ съ Боткинымъ, на котораго иногда находили пароксизмы нѣжности даже и относительно Краевскаго. Краевскій всѣхъ насъ въ душѣ своей считалъ *мальчишками*, покрайней-мѣрѣ это презрительное слово, говорятъ, вырывалось у него въ минуты гнѣва противъ насъ...

И мы были дѣйствительно мальчишками, и первымъ мальчишкой изъ насъ былъ Бѣлинскій. Не сознавая того, что Краевскій держится одною только духовною силою его и его кружка, — что безъ этой поддержки, безъ этой силы, онъ, даже при пособіи своихъ друзей —ва и Межевича (да къ тому же, Межевичъ переѣзжалъ отъ него въ это время, тайкомъ, къ Булгарину), не могъ бы продержаться годъ съ своимъ журналомъ,—Бѣлинскій и всѣ мы съ чего-то вообразили, наоборотъ, что мы зависимъ отъ Краевскаго, что намъ нѣтъ безъ него спасенія и наперерывъ другъ передъ другомъ, за ничтожную плату, а нѣкоторые совсѣмъ безкорыстно, употребляли всѣ Богомъ данныя намъ способности для обогащенія Краевскаго. Какъ всѣ духовно-малолѣтніе, не находя въ себѣ самихъ достаточной самостоятельности, мы создали себѣ кумиръ; украшали его своими приношеніями и жертвами, кланялись ему, заискивали его вниманія, даже робѣли передъ нимъ, и если осмѣливались роптать на него, то изподтишка.

Какъ же винить кумира за то, что онъ съумѣлъ ловко пользоваться положеніемъ, въ которое его поставили неопытные въ дѣлахъ житейскихъ юноши, связавшіе себя добровольно по рукамъ и по ногамъ и отдавшіе себя въ его полное распоряженіе?

Всѣ кумиры, и гораздо позначительнѣе, обыкновенно поступаютъ такъ...

Если бы Бѣлинскій и всѣ друзья его, выносившіе «Отечественныя Записки» на своихъ плечахъ, въ одинъ прекрасный день, вдругъ одушевились энергіей, въ полномъ сознаніи своихъ силъ пришли къ Краевскому, какъ власть имѣющіе, и сказали бы ему:

«Милостивый государь! До-сихъ-поръ мы, по нашей молодости и неопытности, подчинялись вашей грубой силѣ, которую мы сами же развили въ васъ нашимъ добровольнымъ подчиненіемъ вамъ и отреченіемъ отъ собственной воли. Теперь мы сознали, что вы собственно ничего, что вы не имѣете самостоятельной духовной силы, а держитесь на поприщѣ журналистики только Бѣлинскимъ и его кружкомъ. Силу, данную вамъ имъ, вы употребляли до-сихъ-поръ исключительно только для своей личной выгоды... Мы чувствуемъ теперь, что можемъ обойтись и безъ васъ и начать жить самостоятельною жизнью... Вотъ вамъ ваши «Отечественныя Записки»—управляйтесь съ ними, какъ хотите...»

Что бы отвѣчалъ Краевскій на такую геройскую, неожиданную выходку?

Онъ, какъ всякій человѣкъ въ крайнемъ положеніи, струхнулъ бы, сталъ бы клясться, божиться, что онъ никогда никого не думалъ притѣснять, что онъ всегда считалъ Бѣлинскаго своимъ спасителемъ, предлагалъ бы ему различныя уступки и, въ случаѣ упорства Бѣлинскаго, вѣроятно принялъ бы его въ половинную долю, какъ это онъ сдѣлалъ потомъ съ Дудышкинымъ.

Бѣлинскій, конечно, растрогался бы этимъ и согласился, не разсчитавъ того, что вся матеріальная часть журнала осталась бы всетаки на рукахъ Краевскаго — и онъ могъ, какъ человѣкъ ловкій и практическій, выводить Бѣлинскому къ концу года какіе угодно счеты. Всетаки положеніе Бѣлинскаго при этомъ значительно улучшилось бы.

Но ни Бѣлинскому и никому изъ насъ не приходило это въ голову, да если бы и пришло кому-нибудь, то не могло бы осуществиться, потому-что вообще въ насъ, русскихъ людяхъ, не только не было тогда, но и до-сихъ-поръ нѣтъ ни малѣйшаго единодушія, никакого esprit de corps, потому-что мы до-сихъ-поръ только герои на словахъ, а трусы на дѣлѣ, потому-что намъ, въ нашей апатіи, легче подчиняться кому-то ни было и сносить по рутинѣ эту подчиненность, чѣмъ вооружиться на минуту энергіей для пріобрѣтенія себѣ на цѣлую жизнь независимости и самостоятельности.

Если бы Бѣлинскому и пришла мысль открыто возстать противъ Краевскаго, то онъ навѣрно бы встрѣтилъ противо-

рѣчіе въ своихъ друзьяхъ и не успѣлъ бы согласить ихъ на свой подвигъ...

Вотъ отчего разнаго рода Краевскіе торжествуютъ въ семъ мірѣ и преспокойно забираютъ жаръ чужими руками, еще прикидываясь подъ-часъ либералами и толкуя о гуманизмѣ!

ГЛАВА VIII.

Бѣлинскій внѣ своего кружка. — Военный исторіографъ. — Обѣдъ у Башуцкаго и чтеніе его.—Обѣды и вечера А. С. Комарова.—Лажечниковъ и его неудачное исканіе мѣста директора московскихъ театровъ. — Смерть Воейкова и Полевого.—Отношенія тогдашнихъ литераторовъ къ «Отечественнымъ Запискамъ».— Нѣсколько словъ о Губерѣ.

Бѣлинскій рѣдко и неохотно выходилъ изъ своего кружка *по усильнымъ* просьбамъ приглашавшихъ его. Онъ бывалъ у Одоевскаго, на вечерѣ у Михайловскаго-Данилевскаго, одинъ разъ у Башуцкаго, иногда у Струговщикова, да въ годъ разъ посѣщалъ обыкновенно Гребенку, когда тотъ пріѣзжалъ звать его на малороссійское сало и наливки. Здѣсь онъ встрѣчался съ литературными знаменитостями — съ Кукольникомъ и съ другими... Но онъ не желалъ сблизиться съ ними. Кукольникъ смотрѣлъ на него искоса, съ любопытствомъ, съ высоты своего уже шатавшагося величія и замѣчалъ: «тамъ у *нихъ* (подъ этимъ Кукольникъ разумѣлъ Краевскаго), говорятъ, появился какой-то Бѣлинскій; онъ поретъ имъ объэктивную дичь, приправленную конкретностями, а они думаютъ, что это высшая философія и слушаютъ его, развѣся уши». Бѣлинскій съ своими старыми пріятелями: Надеждинымъ и Полевымъ не возобновлялъ сношеній въ Петербургѣ... На петербургскихъ литераторовъ вообще онъ мало обращалъ вниманія; онъ зналъ, что они не терпятъ его и боятся. Это впрочемъ было пріятно его самолюбію. — «Этого семинариста (хотя Бѣлинскій вовсе не былъ семинаристомъ) раздражать нельзя, — говорилъ про Бѣлинскаго одинъ знаменитый военный историкъ, — съ нимъ надо вести себя тонко и, напротивъ, стараться смягчать его».

Онъ искалъ случая познакомиться съ Бѣлинскимъ, и познакомившись, тотчасъ пригласилъ его къ себѣ на вечеръ.

Бѣлинскому было это тяжело, но онъ не имѣлъ духу отказаться.

Скрѣпя сердце, онъ отправился на приглашеніе историка и, нехотя улыбаясь, обратился ко мнѣ:

— Шутите со мной! я нынче, батюшка, къ генераламъ на вечера ѣзжу.

Вотъ что передалъ мнѣ Бѣлинскій объ этомъ вечерѣ.

«— Я, разумѣется, входя уже на лѣстницу къ нему, почувствовалъ робость, хоть я очень хорошо сознавалъ, что робѣть передъ нимъ было бы смѣшно, и что передъ нимъ собственно я бы не сробѣлъ, да мнѣ пришло въ голову, что у него дочь, да еще, кажется, фрейлина, родственницы разныя — свѣтскія дамы... потомъ толпа лакеевъ въ передней, которые такъ всѣ и вытаращили на меня глаза... Я чувствовалъ, что я поблѣднѣлъ, когда лакей отворилъ передо мною дверь въ залу. Не успѣлъ я сдѣлать шага впередъ, какъ передъ самымъ носомъ моимъ очутился его превосходительство съ распростертыми объятіями...

«— Я, говоритъ, не знаю, какъ и благодарить васъ, Виссаріонъ Григорьичъ, за то, что вы удостоили меня посѣщеніемъ. Повѣрьте, что я глубоко цѣню ваше вниманіе ко мнѣ... И пошелъ, и пошелъ...

«Я сконфузился и пробормоталъ что-то. Онъ схватилъ меня за руку и потащилъ въ гостиную, гдѣ сидѣло нѣсколько незнакомыхъ мнѣ человѣкъ; оказалось, что это были какіе-то фельетонисты и критики... Между ними сидѣла его дочь, прехорошенькая, лѣтъ семнадцати.

«— Надя! Надя! кричалъ онъ ей:—предчувствуешь ли ты, кого я веду за собой?

«Надя вскочила со стула, подошла къ намъ и посмотрѣла на меня.

«У меня такъ и забилось сердце. Я весь вспыхнулъ и, чувствуя мучительную неловкость, поклонился ей.

«— Это моя дочь, рекомендую, говорилъ генералъ:—глубочайшая почитательница всѣхъ вашихъ сочиненій (я былъ убѣжденъ, что она первый разъ слышитъ мое имя и никогда не читала ни одной моей строчки, — отъ этого я пришелъ въ большое смущеніе)...

«— Вѣдь это Виссаріонъ Григорьичъ Бѣлинскій, продол-

жалъ онъ, обращаясь къ дочери:—кланяйся ему, да пониже, благодари его за честь, которую онъ намъ сдѣлалъ. Покажи ему, что мы умѣемъ цѣнить такихъ людей, какъ онъ. Виссаріонъ Григорьичъ нашъ первый современный критикъ.

«Надя, кажется, улыбалась мнѣ и кивала привѣтливо головкой, — хорошенько впрочемъ я не видѣлъ. Въ глазахъ у меня былъ туманъ, я совсѣмъ задыхался, кровь такъ и била мнѣ въ голову.

«Наконецъ я усѣлся на стулъ и только хотѣлъ-было вздохнуть полегче, какъ хозяинъ дома закричалъ дочери:

«— Ну что жъ ты... Подай Виссаріону Григорьичу трубку, сама набей ее и закури...

«— Нѣтъ... что это... помилуйте... не безпокойтесь, пробормоталъ я, вскакивая со стула и едва держась на ногахъ...

«Но Надя выпорхнула изъ комнаты, какъ птица, и черезъ минуту явилась передо мною съ чубукомъ и съ зажженой бумажкой...

Я дрожащей рукой схватилъ чубукъ и началъ тянуть изо всѣхъ силъ, несмотря на то, что никогда не курю; но она держала зажженную бумажку надъ трубкой, и отказаться отъ куренья я полагалъ невѣжливымъ.

«Я никогда не ужинаю,—ужинъ, вы знаете, вреденъ мнѣ; а тутъ я долженъ былъ ѣсть поневолѣ, потому-что и самъ онъ и Надя накладывали мнѣ блюда. Вино для меня ядъ, а я и вино принужденъ былъ пить, потому-что онъ и Надя его протягивали ко мнѣ свои руки и чокались съ моимъ бокаломъ...

«И вино-то еще прескверное!... Фу!

Бѣлинскій отдувался.

«Я еще до-сихъ-поръ не могу придти въ себя отъ этого вечера...» заключилъ онъ.

Когда Бѣлинскій ушелъ послѣ ужина (это разсказывалъ мнѣ впослѣдствіи одинъ изъ присутствовавшихъ на этомъ вечерѣ), хозяинъ дома, въ присутствіи дочери, обратился къ остальнымъ гостямъ своимъ, допивавшимъ вино, и произнесъ, вздыхая:

— Вотъ, господа, каково мое положеніе (надо замѣтить, что къ ночи генералъ былъ всегда навеселѣ). Я долженъ принимать къ себѣ, ласкать этого наглаго крикуна, этого

семинариста, который ни стать, ни сѣсть не умѣетъ въ порядочномъ домѣ, изъ одного только, чтобъ онъ не обругалъ меня публично... Вѣдь, согласитесь, въ моемъ чинѣ... я генералъ-лейтенантъ, съ моимъ именемъ, съ моими связями быть обруганнымъ—это вѣдь невозможно перенести... Если бы не это, я и на порогъ своего дома не пустилъ бы его...

Историкъ имѣлъ обыкновеніе отзываться такимъ образомъ о каждомъ своемъ гостѣ, тотчасъ по уходѣ его. Бѣлинскій узналъ это впослѣдствіи и, разумѣется, уже болѣе никогда не появлялся къ нему, несмотря на всѣ мольбы Михайловскаго-Данилевскаго и любезныя угрозы прислать за нимъ свою Надю.

Бѣлинскій не только между такими генералами, но вообще въ кругу людей мало знакомыхъ ему, которыхъ онъ изрѣдка встрѣчалъ у своихъ пріятелей, терялся, робѣлъ, чувствовалъ себя неловкимъ, скучалъ; но если разговоръ касался вопросовъ, задиравшихъ его за живое, и кто-нибудь изъ присутствовавшихъ дотрогивался неловко до его убѣжденій, Бѣлинскій вспыхивалъ, разгорячался, выходилъ изъ себя и приводилъ въ ужасъ своими рѣзкими и крайними выходками тѣхъ, которые мало знали его...

Литературныхъ вечеровъ и чтеній онъ не терпѣлъ...

Однажды А. П. Башуцкій, съ которымъ Бѣлинскій познакомился у меня, напалъ на него съ убѣдительною просьбою, чтобъ онъ выслушалъ нѣсколько отрывковъ изъ его романа «Мѣщанинъ», увѣряя, что онъ болѣе всего дорожитъ его мнѣніемъ и вѣруетъ безусловно въ его эстетическій вкусъ.— Въ сущности, едва ли это было правда. Башуцкій принадлежалъ къ литераторамъ старой школы, со всѣми съ ними находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ, не исключая и Булгарина, и не могъ питать расположенія къ воззрѣніямъ Бѣлинскаго; но ему надобно было смягчить неумолимаго критика, литературнаго бульдога, передъ выходомъ своего романа.

Башуцкій пригласилъ Бѣлинскаго, меня и Языкова обѣдать къ себѣ. Бѣлинскій долго и упорно отговаривался недосугомъ, нездоровьемъ; но любезность Башуцкаго и наши просьбы побѣдили его.

Передъ обѣдомъ я заѣхалъ за нимъ. Онъ одѣвался нехотя и ворчалъ на меня...

— А ну, какъ онъ вздумаетъ хватить весь романъ? спросилъ меня Бѣлинскій, когда мы остановились передъ дверью, чтобы позвонить:—меня морозъ подираетъ по кожѣ при этой мысли...

Я успокоивалъ его, что это невозможно.

Обѣдъ былъ прекрасный. Послѣ обѣда мы отправились въ кабинетъ хозяина; онъ помѣстилъ насъ на покойныхъ креслахъ, кресло Бѣлинскаго поставилъ противъ себя, досталъ огромную рукопись и, послѣ нѣсколькихъ оговорокъ, началъ чтеніе съ первой главы. Бѣлинскій взглянулъ на меня и на Языкова съ ужасомъ.

Чтенія самыхъ прекрасныхъ произведеній послѣ обѣда, когда совершается пищевареніе, особенно неудобны для авторовъ. Башуцкій не разсчелъ этого. Мы съ Языковымъ заснули на половинѣ первой главы... Когда я проснулся и взглянулъ на часы, было уже девять часовъ.

— Извините меня, Александръ Павловичъ, прервалъ я автора:—я долженъ ѣхать, я далъ слово... Мнѣ очень жаль, что я лишаю себя удовольствія, и т. д.

Бѣлинскій злобно взглянулъ на меня.

Я уѣхалъ.

На другой день, зайдя къ Бѣлинскому, я засталъ его въ самомъ мрачномъ расположеніи.

— Вы поступили со мной самымъ постыднымъ образомъ, сказалъ онъ мнѣ. — Знаете ли, что я до четырехъ часовъ долженъ былъ высидѣть у Башуцкаго, не вставая съ мѣста. Онъ прочелъ мнѣ всю первую часть своего романа. Каково мнѣ было, вы можете себѣ представить!... Сегодня я боленъ, у меня грудь разболѣлась, въ головѣ чортъ-знаетъ что... Такъ не поступаютъ пріятели. Но ужъ въ другой разъ такой шутки вамъ неудастся сыграть со мной... Я далъ себѣ клятву не поддаваться впередъ на такія приглашенія и не слушать васъ ни въ чемъ...

Бѣлинскій однако не выдерживалъ своей клятвы. Одинъ изъ товарищей моихъ по пансіону, А. С. Комаровъ, родственникъ того А. А. Комарова, который почти принадлежалъ къ нашему кружку, познакомившійся съ Бѣлинскимъ черезъ насъ, безпрестанно надоѣдалъ ему своими приглашеніями то на обѣдъ, то на вечеръ.

А. С. Комаровъ, считавшій своею спеціальностью естественныя науки, получалъ всевозможные иностранные журналы и книги литературныя, политическія и ученыя, выучивалъ наизусть либеральные стишки и декламировалъ ихъ на дебаркадерахъ желѣзныхъ дорогъ и на гуляньяхъ, бѣгалъ по знакомымъ съ политическими новостями, хвасталъ тѣмъ, что онъ все, что дѣлается въ Европѣ, узнаётъ первый, сообщалъ въ русскіе журналы разныя ученыя извѣстія, перевирая ихъ, приставалъ ко всѣмъ съ своимъ либерализмомъ, вмѣшивался некстати во всѣ разговоры политическіе, ученые и литературные, кормилъ плохими обѣдами и поилъ прескверным виномъ, клянясь, что это самое дорогое вино. Въ головѣ этого господина была страшная путаница; его пустота и легкомысліе превосходили всѣ границы.

Онъ увивался около Бѣлинскаго, ухаживалъ за нимъ, доставлялъ ему нужныя книги, для того только, чтобы онъ терпѣлъ его и удостоивалъ его иногда посѣщеніемъ. Это доставляло ему возможность хвастать потомъ, что онъ другъ съ Бѣлинскимъ, и что Бѣлинскій безъ него обходиться не можетъ.

Онъ завелъ у себя обѣды по вторникамъ... Попробовалъ одинъ обѣдъ Бѣлинскій и объявилъ Комарову наотрѣзъ, что онъ никогда обѣдать у него не будетъ, потому-что у него провизія не свѣжая и вино прекислое, что онъ человѣкъ больной и желудокъ его не можетъ переносить такой скверной пищи.

— Знаете ли, что у Языкова, говорилъ онъ:—желудокъ переваривает все на свѣтѣ, а послѣ одного изъ вашихъ обѣдовъ онъ долженъ былъ приставлять себѣ піявки къ желудку.

Комаровъ всякій разъ клялся, что въ слѣдующій вторникъ у него будетъ тончайшій обѣдъ и самое дорогое вино отъ Рауля, и всякій разъ былъ уличаемъ въ хвастовствѣ.

Отъ обѣдовъ его Бѣлинскій рѣшительно отказался, но по вечерамъ онъ изрѣдка приходилъ къ нему, когда зналъ, что всѣ мы должны собраться у него, по его настоятельнымъ просьбамъ и мольбамъ, отъ которыхъ мы не умѣли отдѣлываться.

Въ одинъ изъ такихъ вторниковъ, часовъ въ 9 вечера, я зашелъ къ Комарову... Заспанный, старый и небритый лакей снялъ съ меня шубу...

— Да есть ли у васъ кто-нибудь? спросилъ я лакея.

— Никого, кромѣ Бѣлинскаго.

Я вошелъ въ кабинетъ хозяина. Лампа ярко горѣла на столѣ, заваленномъ книгами и журналами. Бѣлинскій лежалъ на диванѣ, лицомъ къ его спинкѣ, просматривалъ «Revue Independante»; хозяинъ дома сидѣлъ у окна и печально глядѣлъ въ него, хотя въ окнѣ зги не было видно. Тишина была мертвая.

— Что̀ это значитъ? спросилъ я.

Комаровъ завертѣлся и заболталъ что-то.

Бѣлинскій обернулся на мой голосъ...

— А! наконецъ-то! произнесъ онъ.—Вы, господа, пренесносные люди, вѣчно собираетесь по-аристократически въ десятомъ часу, а я имѣлъ глупость придти сюда спозаранку... Вы удивляетесь, что застали насъ въ такомъ положеніи? Да помилуйте, онъ мнѣ такъ надоѣлъ (и Бѣлинскій указалъ на хозяина дома), что я ужъ долженъ былъ просить его оставить меня въ покоѣ. Только-что я вошелъ, онъ не далъ мнѣ еще опомниться и, какъ безумный, бросился на меня и началъ мнѣ читать что-то изъ «Revue Independante».—Я и безъ васъ умѣю читать, сказалъ я ему, взялъ книгу и легъ на диванъ, а онъ подсѣлъ ко мнѣ и смотритъ мнѣ прямо въ глаза, чего я терпѣть не могу. Ну, я и попросилъ его оставить меня въ покоѣ...

Комаровъ заюлилъ и завертѣлся около насъ и началъ болтать какой-то вздоръ; между-тѣмъ собрались наши пріятели, и вечеръ прошелъ очень живо. Бѣлинскій не позволялъ вмѣшиваться хозяину дома въ разговоры и ушелъ передъ ужиномъ, не внимая мольбамъ его остаться закусить чего-нибудь.

— Прощайте, господа, сказалъ Бѣлинскій: — мнѣ очень жаль васъ, что вы добровольно хотите отравлять себя.

Комаровъ снова заюлилъ, и когда Бѣлинскій ушелъ, онъ произнесъ съ насильственнымъ смѣхомъ: «А Бѣлинскій большой чудакъ!» — и началъ наливать намъ въ стаканы какое-то темно-синее вино, увѣряя, что это лучшій лафитъ...

По мѣрѣ того, какъ Бѣлинскій возбуждалъ къ себѣ все бо̀льшую любовь и уваженіе новаго поколѣнія литературнаго и нелитературнаго, старое литературное поколѣніе смотрѣло на него все съ бо̀льшимъ ожесточеніемъ и безсильною злобою. Одинъ изъ всѣхъ старыхъ литературныхъ авторитетовъ— И. И. Лажечниковъ искренно дорожилъ его мнѣніемъ, и каждый пріѣздъ свой въ Петербургъ посѣщалъ его.

И. И. Лажечниковъ принадлежитъ къ тѣмъ живымъ избраннымъ и рѣдкимъ натурамъ, которыя никогда не старѣются духовно и потому чувствуютъ всегда большую наклонность къ молодымъ поколѣніямъ. За это ихъ не очень жалуютъ ихъ сверстники и вообще всѣ отсталые люди, идеалъ которыхъ не въ будущемъ, а въ прошедшемъ. Лажечниковъ едва ли не единственный изъ литераторовъ своего времени, за исключеніемъ князя Одоевскаго, искренно и безъ всякой задней мысли, съ полнымъ сочувствіемъ всегда протягивавшій руку всѣмъ замѣчательнымъ дѣятелямъ послѣдующихъ литературныхъ поколѣній. Онъ располагаетъ къ себѣ съ перваго взгляда своею кротостью, мягкостью, благодушіемъ... Онъ настоящій поэтъ, увлекающійся, безпечный, исполненный фантазій, чуждый всякаго практическаго такта, не уживающійся съ дѣйствительностью и не входящій съ нею ни въ какія сдѣлки. Онъ занималъ довольно значительную административную должность; но служба никогда не везетъ такимъ людямъ, и Лажечниковъ вышелъ въ отставку, разстроивъ свои дѣла и наживъ себѣ бездну непріятностей и хлопотъ. Для того, чтобы увеличить свой пенсіонъ, онъ принужденъ былъ въ послѣднее время принять на себя должность цензора; но въ этой должности, въ безпрестанной борьбѣ между своею обязанностью и своими убѣжденіями, онъ былъ истиннымъ страдальцемъ. Дослужившись до пенсіона, онъ тотчасъ же оставилъ цензорство и говорилъ, что это счастливый день въ его жизни... Благодушіе Лажечникова часто доходило до дѣтской довѣрчивости къ людямъ, до трогательной наивности.

Когда умеръ Загоскинъ, Лажечникова, который искалъ въ это время мѣста, одинъ изъ его знакомыхъ, человѣкъ очень серьёзный, но съ нѣкоторымъ расположеніемъ къ юмору, увѣрилъ, что вакантное мѣсто директора московскихъ театровъ принадлежитъ ему по праву, что Загоскинъ былъ сдѣланъ

директоромъ именно за то, что написалъ «Юрія Милославскаго» и «Рославлева».

— Кому же, прибавилъ юмористъ: — какъ не вамъ, автору «Послѣдняго Новика» и «Ледянаго Дома», принадлежитъ его мѣсто?...

— Да къ кому же мнѣ адресоваться? спросилъ его Лажечниковъ.

— Отправляйтесь прямо къ директору канцеляріи министра Двора... Вы не знакомы съ нимъ лично, но это ничего: васъ знаетъ вся Россія, къ тому же, директоръ былъ самъ литераторомъ, онъ любитъ литературу, и я увѣренъ, что онъ приметъ васъ отлично и все устроитъ вамъ съ радостью... Ему только стоитъ сказать слово министру Двора...

Я слышалъ этотъ разсказъ изъ устъ самого Лажечникова.

«Я по наивности принялъ это серьёзно, — говорилъ мнѣ Лажечниковъ, — и отправился къ директору.

«Меня ввели въ комнату, гдѣ уже было нѣсколько просителей, замѣтивъ, что надо обождать, что генералъ занятъ. Мы ждали директора съ полчаса... Наконецъ его превосходительство входитъ; переговоривъ съ нѣсколькими просителями, онъ обратился наконецъ ко мнѣ:

«— Ваша фамилія? спросилъ онъ меня.

«— Лажечниковъ.

«— Вы авторъ «Ледянаго Дома»?

«— Точно такъ, ваше превосходительство.

«— Не угодно ли пожаловать ко мнѣ въ кабинетъ?...

«Мы вошли туда...

«— Милости прошу, сказалъ директоръ: — не угодно ли вамъ сѣсть?

И самъ сѣлъ къ своему столу.

«— Что вамъ угодно? спросилъ онъ.

«Сухой, вѣжливый тонъ свысока нѣсколько смутилъ меня. «Кажется, я сдѣлалъ величайшую глупость», подумалъ я; однако ретироваться было уже поздно, и я не безъ смущенія объявилъ ему, что желалъ бы получить мѣсто Загоскина.

«Когда я произнесъ это, я видѣлъ, что лицо его превосходительства подернулось ироніей; я пришелъ отъ этого

еще въ бо́льшее смущеніе, и, если бы можно было, убѣжалъ бы отъ него безъ оглядки, не дождавшись никакого отвѣта...

«— Какъ... я не дослышалъ... Что такое? Какое мѣсто? произнесъ директоръ, устремляя на меня рѣзкій взглядъ.

«Я, проклиная внутренно свою довѣрчивость, повторилъ глухо: «мѣсто директора московскихъ театровъ».

«Его превосходительство такъ улыбнулся, что я не знаю, чего бы я не далъ въ эту минуту, только бы не видать этой улыбки.

«— Какое же вы имѣете право претендовать на это мѣсто?

«Я не совсѣмъ связно отвѣчалъ ему, что такъ-какъ Загоскинъ, вѣроятно, получилъ это мѣсто вслѣдствіе своей литературной извѣстности, то я полагалъ, что, пользуясь также нѣкоторою литературною извѣстностью, могу надѣяться...

«Но директоръ прервалъ меня съ явною досадою...

«— Напрасно вы думаете, что Загоскинъ имѣлъ это мѣсто вслѣдствіе того, что сочинялъ романы... Покойный Михайла Николаевичъ былъ лично извѣстенъ Государю Императору,— вотъ почему онъ былъ директоромъ. На такомъ мѣстѣ самое важное — это *счетная часть*, тутъ литература совсѣмъ ненужна, она даже можетъ вредить, потому-что господа литераторы вообще плохіе счетчики. На это мѣсто, вѣроятно, прочутъ человѣка опытнаго, знающаго хорошо администрацію, притомъ человѣка заслуженнаго и въ чинахъ...

«Я сидѣлъ какъ на иголкахъ. При этихъ словахъ я вскочилъ со своего стула и началъ неловко извиняться и оправдываться въ томъ, что обезпокоилъ его превосходительство.

«— Ничего, ничего, проговорилъ онъ: — я сожалѣю, что не могу быть вамъ полезнымъ, но я вамъ долженъ сказать откровенно, что вамъ никакъ нельзя было претендовать на такое мѣсто...

«Я не знаю, какъ я вышелъ отъ директора...

«— Ну, нечего сказать, славную штуку сыграли вы со мной, сказалъ я моему знакомому, посовѣтовавшему мнѣ отправиться къ директору, — и передалъ ему, какой пріемъ былъ сдѣланъ мнѣ.

«— Скажите! отвѣчалъ онъ добродушно: — а я вѣдь, право, думалъ, что онъ, какъ литераторъ, приметъ васъ,

нашего перваго романиста, съ распростертыми объятіями и готовъ будетъ все сдѣлать для васъ. Вотъ какъ иногда ошибаешься въ людяхъ! Ну, кто бы могъ это предвидѣть? Ахъ, какъ жаль, какъ жаль!... Да я и представить себѣ не могу, кого же они назначатъ на это мѣсто? Я всетаки убѣжденъ, что оно, по всѣмъ правамъ, принадлежитъ вамъ.»

Лажечниковъ не столько досадовалъ на директора канцеляріи и на господина, посовѣтовавшаго ему идти къ нему, сколько на самого себя: самъ подсмѣивался надъ своею довѣрчивостью и наивностью...

. . . . . .

Немногіе, даже изъ замѣчательныхъ людей, сберегаютъ до старости то живое начало, ту смѣлость духа, тѣ благородныя стремленія, которыя одушевляли ихъ и давали имъ силу въ молодости. На такихъ старичковъ, благословляющихъ, а не клянущихъ новыя поколѣнія, смотрѣть легко и отрадно. Они одушевляютъ юность на подвиги и вселяютъ въ нее ту вѣру, безъ которой мертвы дѣла.

Но зато ничего не можетъ быть жалче и печальнѣе, когда видишь человѣка, разбитаго жизнью, безсильнаго пережившаго самого себя, старающагося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему нѣкогда по праву, — человѣка, прикидывающагося молодцомъ, когда уже ноги дрожатъ и измѣняютъ ему на каждомъ шагу, и съ злобною завистью отрицающаго дѣйствительную силу, проявляющуюся въ новомъ поколѣніи... Такое зрѣлище представлялъ, къ сожалѣнію, въ послѣдніе годы своей жизни нѣкогда сильный литературный боецъ, подъ вліяніемъ котораго воспиталось почти все наше поколѣніе. Я говорю о Полевомъ.

Если бы онъ, послѣ роковаго произвола, обрушившагося надъ нимъ, присмирѣлъ поневолѣ и продолжалъ бы честно и смиренно трудиться съ единственною цѣлью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнаннымъ въ исторіи русской литературы. Но Полевой съ испугу поспѣшилъ употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которыхъ никто отъ него не требовалъ, безпрестанно унижалъ безъ нужды свое литературное и человѣческое достоинство, протягивая свою руку людямъ отсталымъ,

пошлымъ защитникамъ тѣхъ принциповъ, противъ которыхъ онъ нѣкогда ратовалъ, отъявленнымъ негодяямъ, и что всего хуже — съ завистливою ненавистью обратился къ новому поколѣнію. Я рѣдко бывалъ у Полевого, онъ зналъ мою дружбу съ Бѣлинскимъ и потому былъ очень остороженъ при мнѣ, но, несмотря на это, не могъ скрывать своего недоброжелательства къ нему. Онъ не могъ простить Бѣлинскому того, что тотъ пользовался любовью и уваженіемъ молодежи въ той же степени, если не болѣе, какими пользовался нѣкогда онъ... Ему хотѣлось показать, что Бѣлинскій пріобрѣлъ значеніе не по праву, что онъ не имѣетъ для критика достаточнаго образованія, не владѣетъ тактомъ и мѣрой, «хотя безспорно отличается большою бойкостью пера»...

— Да и на нынѣшнюю молодежь-съ, прибавлялъ онъ: — угодить ей-Богу не такъ трудно... Она нетребовательна-съ... Это не то, что молодежь нашего времени-съ...

Я не спорилъ съ Полевымъ. Это было бы напрасно. Полевой, кажется, успокоивалъ свое уязвленное, больное самолюбіе такими невинными парадоксами до конца жизни.

Хотя онъ совершенно потерялъ въ послѣдніе годы свое литературное значеніе и популярность, но смерть его на мгновеніе примирила всѣхъ съ нимъ. Полевой, восхвалявшій романы частнаго пристава Штевена, писавшій «Парашей-Сибирячекъ» и другія тому подобныя произведенія, былъ забытъ. Въ простомъ деревянномъ гробѣ, выкрашенномъ желтою краскою (онъ завѣщалъ похоронить себя какъ можно проще), передъ нами лежалъ прежній Полевой, тотъ энергическій редакторъ «Московскаго Телеграфа», которому мы были такъ много обязаны нашимъ развитіемъ.

Полевого отпѣвали въ церкви Николы Морскаго. Церковь была набита биткомъ. Всѣ почти литераторы присутствовали на его похоронахъ. Гробъ его студенты несли до кладбища на рукахъ. Полевой, впрочемъ, скоро послѣ похоронъ былъ забытъ, какъ забываются всѣ люди, имѣющіе несчастіе умирать еще заживо.

Передъ этимъ уже многіе литературные дѣятели прежняго времени, о которыхъ упоминалъ я въ 1-й части моихъ «Воспоминаній», окончили свое земное поприще... Умерли Свиньинъ и Воейковъ, къ удовольствію Краевскаго. Ихъ смерть сдѣлала

его собственникомъ «Литературныхъ Прибавленій» и «Отечественныхъ Записокъ». Краевскій былъ счастливъ на журнальныя вакансіи, какъ Скалозубъ...

Воейковъ, говорятъ, за четверть часа до смерти такъ же хитрилъ и лицемѣрилъ, какъ всю жизнь. За нимъ ухаживала въ послѣднія минуты какая-то дѣвушка. Онъ безпрестанно просилъ пить, и всякій разъ, когда она подносила ему питье, онъ щипалъ ее и схватывалъ за волосы. Чтобы избѣжать этого, дѣвушка поставила передъ нимъ стаканъ на столъ и уже не подходила близко къ постели... Воейковъ началъ стонать, кряхтѣть, охать, жаловаться на свое безпомощное положеніе, клялся, что не можетъ поворотить ни рукой, ни ногой и слабымъ, умоляющимъ голосомъ обратился къ дѣвушкѣ, прося, чтобы она Христа-ради поднесла ему стаканъ къ губамъ. Но лишь только она исполнила его желаніе, онъ приподнялся съ постели, снова съ ожесточеніемъ схватилъ ее за волосы и упалъ, ослабѣвшій отъ этого усилія, на постель.

Черезъ четверть часа послѣ этого, онъ снова и сильнѣе прежняго началъ стонать, охать и звать къ себѣ дѣвушку, говоря, что онъ умираетъ. Она не повѣрила. Онъ прохрипѣлъ и остался недвижимъ. Въ этотъ разъ это было уже не лицемѣріе, а дѣйствительная смерть; но дѣвушка еще долго не рѣшалась подойти къ постели умершаго, все думая, что Воейковъ притворяется умирающимъ.

Послѣ смерти Полевого, какъ поддерживавшаго «Сынъ Отечества», въ нашей журналистикѣ осталось только два видныхъ органа: «Библіотека для Чтенія» Сенковскаго, выдыхавшаяся и терявшая съ каждымъ годомъ подписчиковъ, и «Отечественныя Записки» Бѣлинскаго, успѣхъ которыхъ возрасталъ съ каждымъ годомъ... Всѣ талантливые люди изъ новаго поколѣнія, появлявшіеся въ Москвѣ и Петербургѣ, тотчасъ присоединялись къ «Отечественнымъ Запискамъ». Булгаринъ въ своихъ субботнихъ фельетонахъ тщетно употреблялъ всевозможныя усилія, чтобы поддержать «Библіотеку для Чтенія» и убить «Отечественныя Записки»; но онъ самъ, не замѣчая, съ каждымъ годомъ утрачивалъ свой авторитетъ, потому-что поколѣніе, вѣровавшее въ него, старѣло, теряло вѣсъ и сходило со сцены. Его протекціи и рекомендаціи потеряли всякую силу. Каменскій выхлопоталъ дозволеніе возобновить журналъ С. Н. Глинки

«Русскій Вѣстникъ»; Булгаринъ принялъ Каменскаго и будущій его журналъ подъ свою протекцію, кричалъ изъ всѣхъ силъ: подписывайтесь, подписывайтесь на «Русскій Вѣстникъ»!... Я отвѣчаю, что журналъ будетъ превосходный» и т. д. Но по выходѣ первой книжки «Русскаго Вѣстника», журналъ этотъ долженъ былъ прекратиться за неимѣніемъ подписчиковъ.

Только одни мелкіе петербургскіе литераторы, всю жизнь пробавлявшіеся рутиной и фразой, были добродушно убѣждены въ томъ, что царству Сенковскаго и Булгарина не будетъ конца, и что куда же Бѣлинскому тягаться съ такими геніями!... Изъ литературныхъ авторитетовъ, одинъ Кукольникъ былъ открыто на сторонѣ Сенковскаго и Булгарина; отживавшіе литераторы-аристократы держали себя совершенно въ сторонѣ: они не терпѣли Сенковскаго, презирали Бѣлинскаго, но изрѣдка, почувствовавъ желаніе видѣть въ печати свои стишки, отсылали ихъ въ «Отечественныя Записки», потому-что имя Краевскаго, нѣкогда красовавшееся рядомъ съ ихъ именами на оберткѣ «Современника», было не безъизвѣстно имъ, и къ тому же собственно Краевскій никогда не оскорблялъ ихъ самолюбія. Нѣкоторые изъ молодыхъ петербургскихъ литераторовъ, пользовавшихся нѣкоторымъ, довольно сомнительнымъ, впрочемъ, успѣхомъ, колебались между «Библіотекой для Чтенія» и «Отечественными Записками», не имѣя особеннаго влеченія ни къ одному изъ этихъ журналовъ. Къ числу таковыхъ принадлежалъ Э. И. Губеръ, человѣкъ очень добрый и мягкій, владѣвшій до нѣкоторой степени стихотворнымъ даромъ, но, къ сожалѣнію, имѣвшій претензію на какую-то философію, полученную имъ въ наслѣдство отъ своего наставника.

Философія эта нисколько не служила къ просвѣтлѣнію взгляда Губера на жизнь и искусство, а напротивъ затемняла его голову и придавала ему мрачный характеръ, что-то таинственное, очень нравившееся, впрочемъ, дамамъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, принадлежащія къ высшему кругу, приняли Губера подъ свое покровительство и, подъ ихъ вліяніемъ, нашъ философъ вздумалъ писать фельетоны въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», издававшихся тогда А. Н. Очкинымъ. Эти фельетоны, излагаемые весьма туманно, состояли изъ великосвѣтскихъ сплетенъ. Они имѣли успѣхъ въ своемъ маленькомъ кружкѣ,

очень волновали его, но въ публикѣ проходили совершенно незамѣченными...

Графъ В. А. Соллогубъ, лучшій изъ нашихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, вовсе не раздѣляя убѣжденій Бѣлинскаго, печаталъ однако свои повѣсти въ «Отечественныхъ Запискахъ», во-первыхъ, по старому своему знакомству съ Краевскимъ, а во-вторыхъ, потому, что «Отечественныя Записки» пріобрѣтали все бо̀льшій успѣхъ въ публикѣ; а извѣстно, что молодые люди вообще, и въ особенности свѣтскіе, всегда увлекаются успѣхомъ, даже иногда и не сочувствуя ему.

II.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

ВОСПОМИНАНІЯ О БѢЛИНСКОМЪ.

Въ 1838 году А. В. Кольцовъ, съ которымъ я былъ знакомъ очень близко, просилъ меня отъ имени Бѣлинскаго участвовать въ «Наблюдателѣ», который тогда только-что перешелъ подъ его редакцію. По этому поводу я написалъ письмо къ Бѣлинскому съ предложеніемъ своихъ услугъ, и между нами завязалась переписка.

Вотъ его письма ко мнѣ:

I.

Москва. 1838 г. Апрѣля 26.

«Любезнѣйшій Иванъ Ивановичъ, не могу вамъ выразить того удовольствія, которое доставило мнѣ ваше милое письмо. Я давно знаю васъ, давно полюбилъ васъ: во всемъ, что ни писали вы, видна такая прекрасная, такая человѣческая душа. Вы *одинъ* доказали мнѣ, что можно быть человѣкомъ и петербургскимъ литераторомъ. Я не старался узнать, каковы вы на самомъ-то дѣлѣ (какъ говорятъ опытные люди, раздѣляющіе жизнь на идеальную и реальную): я слишкомъ вѣрю моему чувству, чтобы имѣть нужду наводить справки для его оправданія. Вѣря моему чувству, я былъ увѣренъ, что и вы любите меня, точно также, какъ былъ увѣренъ, что меня терпѣть не могутъ разные петербургскіе поэты, прозаики—знакомые и незнакомые со мною, и даже журналисты, переписывавшіеся со мною — но, Вашу руку—я жму ее, какъ руку друга! Вы не обманулись, оставивши въ сторонѣ и пустыя приличія, и ложный стыдъ.

«Благодарю, сердечно благодарю васъ за ваше предложеніе — быть мнѣ полезнымъ по журналу. Эта помощь важна для меня. Теперь мнѣ во что бы то ни стало, хоть изъ кожи вылѣзть, а надо постараться не ударить лицомъ въ грязь, и показать, чѣмъ долженъ быть журналъ въ наше время, показать это издателямъ изящныхъ афишъ и издателямъ толстыхъ журналовъ съ афишкою на придачу; но молчаніе—скоро увидите сами и, надѣюсь, заочно погладите по головкѣ. Горе вашей петербургской братьи, горе всѣмъ этимъ маленькимъ геніямъ, которые, послѣ смерти Пушкина, напоминаютъ собою слова Гамлета: «отчего маленькіе человѣчки становятся великими, когда великіе переводятся?» И такъ, помогите по мѣрѣ возможности, а то васъ тамъ разрываютъ по частямъ, по клочкамъ, литературные воронья, собиратели чужихъ трудовъ. Литература наша теперь хромаетъ, какъ никогда не хромала: самъ Полевой, этотъ богатырь журналистики, самъ онъ только портитъ дѣло и добросовѣстно вредитъ ему хуже Сенковскаго.

Первый № «Наблюдателя» позамедлился отъ разныхъ обстоятельствъ, которыя только могли встрѣтиться при первомъ №; но онъ выйдетъ въ Москвѣ, когда вы будете читать мое письмо; второй уже печатается, третій начнется печатаніемъ завтра.

Прощайте и пишите ко мнѣ чаще, а я не останусь у васъ въ долгу.

Письма адресуйте на мое имя— въ домъ Межеваго института (Константиновскаго).

Добрый А. В. Кольцовъ вамъ кланяется.

«*Вашъ В. Бѣлинскій.*»

II.

Москва, 1838 г. Августа 10.

«Любезнѣйшій Иванъ Ивановичъ! Долго ждалъ я вашего письма, но мое долгое ожиданіе было съ избыткомъ вознаграждено: ваше письмо показало мнѣ, что я пріобрѣлъ еще спутника на пути жизни къ одной цѣли. Я не умѣю понимать ни любви, ни дружбы иначе, какъ на взаимномъ пониманіи истины и стремленіи къ ней. Увѣренъ, что когда съ вами увидимся, то возможность осуществится, и стремленіе къ дружбѣ сдѣлается дружбою. Не нужно больше словъ — пусть все развивается само собою, изъ времени и обстоятельствъ. Для зерна нужна земля, чтобъ сдѣлаться деревомъ; для дружбы, какъ и для всякаго чувства,— возможность дружбы. Я сказалъ, что я разумѣю подъ возможностью: для насъ эта возможность уже слишкомъ ясна—остальное довершитъ время.

Вы пишете, что желали бы видѣть меня издателемъ журнала съ 3,000 подписчиковъ, а я бы охотно помирился и на половинѣ: «*Телеграфъ*» никогда не имѣлъ больше, а между-тѣмъ его вліяніе было велико. «Библіотека для Чтенія» издается человѣкомъ умнымъ и способнымъ, и издается имъ для большинства, и потому очень понятенъ ея

успѣхъ. Журналъ съ такимъ направленіемъ, которое я могу дать, всегда будетъ для аристократіи читающей публики, а не для толпы и никогда не можетъ имѣть подобнаго успѣха. Но я не знаю, почему бы мнѣ не имѣть 1,500 или около 2,000 подписчиковъ. Но видите ли: для этого нужно объявить программу передъ новымъ годомъ а не въ мартѣ или маѣ, и программу *новаго* журнала съ *новымъ* названіемъ, потому-что воскресить репутацію стараго, и еще такого, какъ «Наблюдатель», также трудно, какъ возстановить потерянную репутацію женщины. Сверхъ того, въ Москвѣ издавать журналъ не то, что въ Петербургѣ: въ нашей цензурѣ (московской) царствуетъ совершенный произволъ: вымарываютъ большею частію *либеральныя* мысли, подобныя слѣдующимъ: 2×2=4, зимою холодно, а лѣтомъ жарко, въ недѣлѣ 7 дней, а въ году 12 мѣсяцевъ. Но это бы еще ничего—пусть маранютъ, лишь бы не задерживали. VI № могъ бы выйдти назадъ тому двѣ недѣли, но 5 листовъ пролежали больше недѣли въ кабинетѣ Г*. Сн.... и самъ могъ бы вычеркнуть все, что ему угодно, но онъ хочетъ казаться предъ издателями добросовѣстнымъ, а передъ начальствомъ исправнымъ, а мы должны терпѣть. Въ 6 № я помѣстилъ переводную статью: «Языческая и христіанская литература XVIII вѣка, Авзоній и св. Паулинъ»: языческой и христіанской, и святаго цензоръ намъ не пропускаетъ: каково вамъ покажется? Вы знаете, что владѣлецъ «Наблюдателя»—Н. С. Степановъ; у него есть всѣ средства, сверхъ того—хорошая своя типографія. Если бы ему позволили объявить себя издателемъ, какъ Смирдину, начать журналъ съ новаго года и въ 12 книжкахъ, какъ «Библіотека для Чтенія» и «Сынъ Отечества»,—то дѣло бы пошло на ладъ. Эти три обстоятельства: объявленіе имени издателя, который по своимъ средствамъ можетъ имѣть право на кредитъ публики, новый планъ журнала и настоящее время для его начала—могли бы дать содержаніе для программы и изъ стараго журнала сдѣлать *новый*. Конечно, если бы къ этому еще позволили перемѣнить его названіе—это было бы еще лучше, но на это плоха надежда. Еще лучше, если бы ко всему этому *мнѣ* позволили выставить свое имя, какъ редактора, потому-что В. П. Андросовъ охотно бы отказался отъ журнала и всѣхъ правъ на него. Но зачѣмъ говорить о невозможномъ. Покрайней-мѣрѣ мы хотимъ попробовать первыхъ трехъ перемѣнъ—имени Степанова, 12 книжекъ и начала съ новаго года. Надо сперва прибѣгнуть къ графу С*. Пока объ этомъ не говорите рѣшительно никому. Я увѣренъ, когда придетъ время, и если вы что можете тутъ сдѣлать чрезъ свои связи и знакомства, то сдѣлаете все.

Ваши *вкусо-вводители* точно люди добросовѣстные и благонамѣренные—*они немножко и дерутъ, за то ужъ въ ротъ хмѣльнаго не берутъ*. Шевыревъ—это Вагнеръ. Онъ на лекціи объявилъ, что *любитъ букву*... Хочу написать исторію русской литературы для нѣмцевъ — пошлю въ Германію къ Аксакову, онъ переведетъ и напечатаетъ. То-то раззадорю нашъ народъ. Ужъ дамъ же я знать суфлеру Кенига!

Я понялъ, о какомъ великомъ драматическомъ геніи пишете вы ко мнѣ: этого генія я разгадалъ еще въ 1834 г. У меня очень вѣренъ

инстинктъ въ литературныхъ явленіяхъ; издалека узнаю птицу по полету и рѣдко ошибусь...

Совершенно согласенъ съ вами насчетъ философскихъ терминовъ, что дѣлать—погорячились. Говорите мнѣ правду смѣло, только этимъ вы можете доказать мнѣ свое дружеское расположеніе. Первая ваша правда мнѣ понравилась, но оговорки были напрасны. Кланяйтесь отъ меня Николаю Ивановичу Надеждину. Радъ, что вамъ понравился Аксаковъ. Это душа чистая, дѣвственная, и человѣкъ съ дарованіемъ. Когда вы пріѣдете въ Москву, то увидите, что въ ней и еще есть юноши. Какъ жаль, что Бакунинъ живетъ въ деревнѣ! Какъ мнѣ хотѣлось познакомить васъ съ нимъ! Но я познакомлю васъ съ В. Боткинымъ, котораго музыкальныя статейки, вѣроятно, вамъ понравились. Онъ же перевелъ «Донъ-Жуана» Гофмана и передѣлалъ статью «Моцартъ». Еще я познакомлю васъ съ Клюшниковымъ—очень интересный человѣкъ. Элегія въ IV № «Опять оно, опять былое»—его. Стихотвореніе Красова «Не гляди поэту въ очи» не относится ни къ Пушкину и ни къ кому, а его дума относится къ Жуковскому. Понравилась ли вамъ повѣсть въ 1 №? Она принадлежитъ Кудрявцеву, автору «Катеньки Пылаевой» и «Антонины». Это человѣкъ съ истиннымъ поэтическимъ дарованіемъ и чудеснѣйшею душою. И съ нимъ я познакомлю васъ. Онъ далъ мнѣ еще прекрасную повѣсть «Флейта». Странно, что вы прочли еще только два № «Наблюдателя», когда ихъ вышло уже пять. Романъ Степанова разругаю, потому-что это мерзость безнравственная—ядъ провинціальной молодежи, которая все читаетъ жадно. Если бы это было только плохое литературное произведеніе, а не гнусное въ нравственномъ смыслѣ, то я уважалъ бы пословицу — de mortuis aut bene, aut nihil. Благодарю васъ за обѣщаніе *разнаго товара*—жду его съ нетерпѣніемъ—нельзя ли поскорѣе. Харьковскій профессоръ Кронбергъ изъявилъ свое согласіе на участіе. Въ 6 № его статья «Письма»; статья очень невинная, но ужаснувшая нашего цензора. Читали ли вы въ 5 № статью «О музыкѣ»? Такихъ статей немного въ европейскихъ, не только русскихъ журналахъ. Серебрянскій—другъ Кольцова, который и доставилъ мнѣ статью. Представьте себѣ, что этотъ даровитый юноша (Серебрянскій) умираетъ отъ изнурительной лихорадки. Очень радъ, что вамъ понравилась моя статья о Гамлетѣ. Въ 3 № самая лучшая: я самъ ею доволенъ, хотя она и искажена: Былугинъ (цензоръ) вымарывалъ слово *святой* и *блаженство*, а на концѣ отрѣзалъ цѣлые поллиста. Напишите, какъ вамъ понравилась моя статья объ «Уголино». Жаль Полевого, но вольно жь ему на старости изъ ума выжить. Что тамъ за гадость такую онъ издаетъ. «Библіотека для Чтенія» во сто разъ лучше: для большинства это превосходный журналъ. Нѣтъ ли слуховъ о Гоголѣ? Какъ я смѣялся, прочтя въ прибавленіяхъ, что Гоголь, *скрѣпя сердце*, рисуетъ своихъ оригиналовъ. *Во время оно* я и самъ тоже вралъ... Скажите мнѣ, что за человѣкъ *Струговщиковъ?* У него есть талантъ, онъ хорошо переводитъ Гёте, покрайней-мѣрѣ, получше во сто разъ Губера, который просто искажаетъ «Фауста». И не мудрено: онъ понимаетъ Вагнера—какъ классика, а Фауста—какъ романтика. Я хочу растолковать ему, что онъ

вретъ. Если вы знакомы съ Струговщиковымъ, то попросите у него чего-нибудь для меня: я съ благодарностью (разумѣется *невещественною*) помѣстилъ бы. Увѣдомьте меня, что за человѣкъ Бернетъ? у него есть талантъ, который можетъ погибнуть, если онъ не возьмется за умъ заблаговременно. Я желалъ бы съ нимъ познакомиться. Обѣщался мнѣ Ѳ. Кони отдать для цензуры Корсакову двѣ статьи, но что-то о нихъ ни духу, ни слуху. Не знаете ли вы чего-нибудь объ этомъ? Прощайте! Жду отъ васъ скораго отвѣта, и съ нетерпѣніемъ ожидаю васъ самихъ въ Москву. Я и самъ собираюсь въ Питеръ, и весною думаю непремѣнно побывать, если будутъ средства.

Вашъ В. Бѣлинскій.»

III.

Москва. 1839. Февраля 18 дня.

«Я такъ много виноватъ передъ вами, любезнѣйшій Иванъ Ивановичъ, что нельзя и оправдываться. Впрочемъ, въ моемъ столѣ еще и теперь лежитъ письмо къ вамъ отъ ноября 10 прошедшаго года, но— увы! недоконченное. Право, не до писемъ было. Въ письмѣ къ вамъ мнѣ хотѣлось бы означить опредѣлительно мое журнальное состояніе, но это было невозможнѣе, чѣмъ означить погоду. И теперь пишу къ вамъ коротко, но зато опредѣленно. Вотъ въ чемъ дѣло: *я не могу издавать «Наблюдателя»*. Далеко бы завело меня объясненіе причинъ, и потому вмѣсто всѣхъ этихъ объясненій снова повторяю вамъ—*я не могу издавать «Наблюдателя» и нахожу себя принужденнымъ нынѣ отказаться отъ него* *). Но между-тѣмъ—мнѣ надо чѣмъ-нибудь жить, чтобъ не умереть съ голоду—въ Москвѣ нечѣмъ мнѣ жить — въ ней, кромѣ любви, дружбы, добросовѣстности, нищеты и подобныхъ тому непитательныхъ блюдъ, ничего не готовится. Мнѣ надо ѣхать въ Питеръ и чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Прибѣгаю къ вашему ко мнѣ расположенію, къ вашей ко мнѣ дружбѣ—похлопочите объ устроеніи моей судьбы. Краевскій заваленъ теперь дѣломъ —два журнала на рукахъ—думаю, что сотрудникъ, который въ состояніи ежемѣсячно поставлять около десяти листовъ оригинальнаго писанья или маранья—будетъ ему не малою подмогою. Я бы желалъ взять на себя разборъ всѣхъ книгъ чисто литературныхъ и даже нѣкоторыхъ другихъ, — въ такомъ случаѣ, въ каждую книжку «Отечественныхъ Записокъ» я бы аккуратно поставлялъ отъ двухъ до пяти листовъ. Критика своимъ чередомъ,—смѣсь тоже.—Коротко и ясно: почемъ съ листа? Но главное вотъ въ чемъ: безъ 2000 р. мнѣ нельзя даже и пѣшкомъ пройти заставу: около этой суммы на мнѣ самаго важнаго долгу, а сверхъ того, я хожу какъ нищій въ рубищѣ. Кромѣ Краевскаго, поговорите и съ другими, сами отъ себя или черезъ кого-нибудь:

*) Причины эти объясняются строгостью тогдашней цензуры и кромѣ того размолвкой между Бѣлинскимъ и нѣкоторыми его московскими друзьями, что читатели увидятъ далѣе.

я продаю себя всѣмъ и каждому отъ Сенковскаго до (тьфу ты гадость какая!) Булгарина,—кто больше дастъ, не стѣсняя при томъ моего образа мыслей, выраженія, словомъ, *моей литературной совѣсти*, которая для меня такъ дорога, что во всемъ Петербургѣ нѣтъ и приблизительной суммы для ея купли. Если дѣло дойдетъ до того, что мнѣ скажутъ: независимость и самобытность убѣжденій или голодная смерть — у меня достанетъ силы скорѣе издохнуть какъ собакѣ, нежели живому отдаться на позорное съѣденіе псамъ... Что дѣлать—я такъ созданъ.

Не замедлите отвѣтомъ. Жду съ нетерпѣніемъ. Вашъ В. Бѣлинскій.

Кромѣ того въ «Отечественныхъ Запискахъ» я готовъ взять на себя даже и черновую работу, корректуру и тому подобное, если только за все это будетъ платиться соразмѣрно трудамъ. Денегъ! денегъ! А работать я могу, если только мнѣ дадутъ *мою* работу. И такъ, скорѣй отвѣтъ. Главное, чтобы при вашемъ письмѣ получилъ (если кто пожелаетъ взять меня въ работники) *подробныя условія*.

Еще разъ,—не замедлите отвѣтомъ и—прощайте!»

IV.

Москва. 1839 г. февраля 25.

«Я остаюсь въ Москвѣ, любезнѣйшій Иванъ Ивановичъ, и потому прошу васъ оставить хлопоты обо мнѣ и извинить меня за ложную тревогу. Различныя затрудненія до такой степени взбѣсили меня, что я твердо рѣшился перебраться въ Питеръ; но дѣло кое-какъ передѣлалось—и я опять москвичъ. Пока не могу много писать къ вамъ: я еще болѣнъ отъ этихъ передрягъ. Пожмите отъ меня руку г. Струговщикову... Не умѣю благодарить его за присланныя элегіи Гёте: нѣсколько времени я обжирался ими: какъ въ волнахъ океана жизни, купался я въ этихъ гекзаметрахъ. Прошу у г. Струговщикова извиненія въ томъ, что я имѣлъ глупость двѣ элегіи помѣстить въ 11 № за прошлый годъ, который только на-дняхъ явится, хотя уже является четвертый мѣсяцъ. Переводъ «Прометея»—чудо! Прошу и умоляю г. Струговщикова не оставить меня и впередъ своими трудами.

Равнымъ образомъ, прошу васъ засвидѣтельствовать мое уваженіе г. Владиславлеву. Очень благодаренъ ему за его милый подарокъ. Не отвѣчалъ ему на письмо по двумъ причинамъ: не до того было, а сверхъ того, я и не знаю имени и отчества г. Владиславлева. Попросите его засвидѣтельствовать мое почтеніе М. М. Попову, моему бывшему учителю, который во время оно много сдѣлалъ для меня, и живая память о которомъ никогда не изгладится изъ моего сердца.

Представьте себѣ—какое горе: у меня украдена ученикомъ Межеваго Института, нѣкіимъ М., тетрадь стиховъ Красова, и попала въ руки Сенковскаго, который и распоряжается ею, какъ своею собственностью. Нельзя ли объ этомъ намекнуть въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ».

Не стыдно ли К. воскурять ѳиміамы такимъ людямъ, какъ Каменскій, Гр. и т. п.? Статья Губера о философіи обличаетъ въ своемъ

авторѣ ограниченнѣйшаго человѣка, у котораго въ головѣ только посвистываетъ. Какая прекрасная повѣсть «Исторія двухъ калошъ» Гр. Соллогуба. Чудо! прелесть! Сколько душевной теплоты, сколько простоты, вездѣ мысль!

Бью вамъ челомъ—нижайше кланяюсь, любезнѣйшій Ив. Ив., пока хоть чего-нибудь, а хорошаго и отличнаго, когда будетъ у васъ досугъ. Право, если вы для 7 № не дадите своей повѣсти—я разссорюсь съ вами.

Кланяйтесь отъ меня Савельеву и скажите ему, чтобы онъ уже не хлопоталъ. До будущаго 1840 года — я москвичъ, а тамъ — что Богъ дастъ. Прощайте!

Вашъ В. Бѣлинскій.»

.... Я пріѣхалъ въ Москву 13 апрѣля 1839 г.—и на другой же день отправился къ Бѣлинскому.

Вся умная и читающая молодежь была въ это время увлечена его статьями.

Видѣть этого человѣка и говорить съ нимъ казалось для меня счастіемъ.

Надо сказать, что я уже начиналъ сознавать тогда безобразіе среды, въ которой взросъ, дикихъ обычаевъ и предразсудковъ, которые всосалъ въ себя съ дѣтства, но идеалъ лучшей и болѣе человѣческой жизни очень смутно представлялся мнѣ—и я еще никакъ не могъ оторваться отъ разныхъ пошлыхъ, дворянскихъ привычекъ, хотя по временамъ ощущалъ отъ нихъ уже нѣкоторую неловкость.

Двадцать лѣтъ тому назадъ, въ Москвѣ всѣ имѣвшіе средства дворяне ѣздили обыкновенно въ каретахъ четвернею на выносъ. Мнѣ подтвердили, когда я отправлялся въ Москву, что безъ четверни на выносъ я не могу показать носа ни въ одинъ порядочный домъ—и тотчасъ же по пріѣздѣ въ Москву я завелъ себѣ четверню на выносъ.

На этой-то четвернѣ, о которой мнѣ и до-сихъ-поръ еще вспоминать стыдно, я отправился къ Бѣлинскому.

Онъ жилъ въ какомъ-то узенькомъ и глухомъ переулкѣ, недалеко, кажется, отъ Никитскаго бульвара, въ деревянномъ одно-этажномъ домикѣ, вросшемъ въ землю, окна котораго были почти наравнѣ съ кирпичнымъ узкимъ тротуаромъ.

Когда моя четверня на выносъ подкатила къ воротамъ этого домика, домикъ весь заходилъ ходенемъ, и въ глухомъ и тихомъ переулкѣ раздался такой оглушающій громъ отъ экипажа, что Бѣлинскій вскочилъ съ дивана и бросился къ окну съ досадою, даже со злобой, какъ онъ мнѣ, смѣясь, говорилъ потомъ.

Такого грома не раздавалось въ этомъ переулкѣ съ самаго его существованія (это тоже слова Бѣлинскаго).

Я вышелъ изъ кареты, покраснѣвъ до ушей. Въ эту минуту я мучительно почувствовалъ неприличіе моей четверни и грома, произведеннаго моею каретою, но уже было поздно.

Совершенно сконфуженный, съ замирающимъ сердцемъ я вошелъ на дворъ, поросшій травою, и робко постучался въ низенькую дверь.

Дверь отворилась и передо мною въ дверяхъ стоялъ человѣкъ средняго роста, лѣтъ около 30 на видъ, худощавый, блѣдный, съ неправильными, но строгими и умными чертами лица, съ тупымъ носомъ, съ большими сѣрыми, выразительными глазами, съ густыми бѣлокурыми, но не очень свѣтлыми волосами, падавшими на лобъ, въ длинномъ сюртукѣ, застегнутомъ на-криво.

Въ выраженіи лица и во всѣхъ его движеніяхъ было что-то нервическое и безпокойное.

Я сейчасъ догадался, что передо мною самъ Бѣлинскій.

— Кого вамъ угодно? спросилъ онъ немного сердитымъ голосомъ, робко взглянувъ на меня.

— Виссаріона Григорьича. Я такой-то. (Я назвалъ свою фамилію).

Голосъ мой дрожалъ.

— Пожалуйте сюда... я очень радъ... произнесъ онъ довольно сухо и съ замѣшательствомъ, и изъ темной, маленькой передней повелъ меня въ небольшую комнатку, всю заваленную бумагами и книгами. Мебель этой комнатки состояла изъ небольшаго дивана съ износившимся чехломъ, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной подъ красное дерево, и двухъ рѣшетчатыхъ такихъ же стульевъ.

— Пожалуйста садитесь,—онъ указалъ мнѣ на диванъ:—давно ли вы въ Москвѣ?

— Я только вчера пріѣхалъ.

Затѣмъ послѣдовало нѣсколько минутъ неловкаго молчанія. Бѣлинскій какъ-то жался на своемъ стулѣ. Я преодолѣлъ свою робость и заговорилъ съ нимъ о нашемъ общемъ знакомомъ поэтѣ Кольцовѣ.

Бѣлинскій очень любилъ Кольцова.

— Ваши петербургскіе литераторы, замѣтилъ онъ мнѣ между прочимъ съ улыбкою:—принимали Кольцова съ высоты своего величія и съ тономъ покровительства, а онъ нарочно прикинулся передъ ними смиреннымъ и дѣлалъ видъ, что преклоняется передъ ихъ авторитетами; но онъ видѣлъ ихъ насквозь, а имъ и въ голову не приходило, что онъ надъ ними изподтишка подсмѣивается.

Я просидѣлъ у него съ полчаса; о перепискѣ нашей въ этотъ разъ не было ни слова; я боялся помѣшать его занятіямъ; къ тому же его постоянное, нервическое, безпокойное выраженіе лица приводило меня въ большое смущеніе и разговоръ нашъ шелъ вяло.

Я всталъ съ дивана, въ надеждѣ, что Бѣлинскій удержитъ меня, но онъ не удерживалъ. Мнѣ показалось даже, что онъ былъ доволенъ тѣмъ, что я отправляюсь.

Онъ проводилъ меня до дверей, сказавъ, что непремѣнно зайдетъ ко мнѣ на-дняхъ.

Я вышелъ за ворота и пошелъ пѣшкомъ. Мнѣ стыдно уже было садиться въ мою карету, запряженную четвернею, и я приказалъ ей слѣдовать за мною.

— Только пожалуйста безъ шума и безъ грома, сказалъ я кучеру, который посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

Черезъ два дня послѣ этого Бѣлинскій зашелъ ко мнѣ утромъ и просидѣлъ довольно долго. Въ этотъ разъ и онъ, и я чувствовали себя какъ-то свободнѣе. Онъ распрашивалъ меня о разныхъ петербургскихъ литераторахъ и журналистахъ и повидимому слушалъ мой, нѣсколько юмористическій, разсказъ о многихъ изъ нихъ не безъ удовольствія.

Впослѣдствіи онъ признавался мнѣ, что я произвелъ на него, въ первое мое свиданіе съ нимъ, очень неблагопріятное впечатлѣніе, чему, конечно, не мало способствовала моя карета, запряженная четверкою, и что онъ рѣшился заплатить мнѣ визитъ и покончить этимъ.

— Но во второй разъ, говорилъ онъ мнѣ: — вы показались мнѣ гораздо лучше, такъ-что я даже забылъ о вашей четвернѣ и о каретѣ. Я даже нашелъ, что въ васъ много добродушія, а нѣкоторые ваши разсказы очень смѣшили меня и я рѣшился продолжать мое знакомство съ вами.

Съ-этихъ-поръ мы видѣлись все чаще и чаще.

Я переѣхалъ на Арбатъ, въ сѣренькій деревянный домикъ Тона (недалеко отъ Арбатскихъ воротъ), еще доселѣ существующій. Бѣлинскій нанялъ квартиру на дворѣ, наискосокъ этого дома. Онъ приходилъ ко мнѣ запросто обѣдать и съ каждымъ разомъ становился со мною безцеремоннѣе. Я нѣсколько разъ въ день забѣгалъ къ нему.

Съ нѣкоторыми изъ своихъ пріятелей—именно съ Боткинымъ и Катковымъ, онъ былъ въ эту минуту въ размолвкѣ, такъ-что когда они являлись ко мнѣ въ одну дверь, онъ выходилъ въ другую.

Въ это время всего чаще посѣщалъ его студентъ Московскаго университета, авторъ только-что напечатанной въ «Московскомъ Наблюдателѣ» повѣсти «Флейта», впослѣдствіи одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ профессоровъ этого университета—А. Н. Кудрявцевъ.

Бѣлинскій очень любилъ автора «Флейты» и отзывался съ большимъ уваженіемъ объ его эстетическомъ вкусѣ.

— Кудрявцевъ надѣленъ самымъ тонкимъ чутьемъ для изящнаго, говаривалъ Бѣлинскій:—и если ему что-нибудь нравится, такъ это дѣйствительно должна быть хорошая вещь...

Обстоятельства Бѣлинскаго въ эту минуту были очень плохи. Дѣла издателя «Наблюдателя», Степанова, шли худо, онъ платилъ Бѣлинскому за его труды самыя ничтожныя деньги, да и то въ неопредѣленные сроки. Мелочные долги очень тревожили его. Послѣ переѣзда на новую квартиру, у него всего оставалось 30 рублей ассигнаціями. Усиленная борьба съ тяжелыми обстоятельствами утомляла его, надежда на продолженіе «Наблюдателя», за который онъ принялся съ такимъ жаромъ, исчезала.

Въ эту минуту вся журнальная дѣятельность сосредоточилась въ Петербургѣ, гдѣ возникъ еще новый толстый журналъ.

— Я охотно переѣхалъ бы въ Петербургъ, говорилъ онъ, повторяя то, что уже писалъ ко мнѣ: — и взялъ бы на себя весь критическій отдѣлъ журнала, если бы могъ получать 3000 р. ассигнаціями. Неужели же я не стою этой платы? А здѣсь я рѣшительно не могу оставаться, мнѣ просто здѣсь грозитъ голодная смерть...

Безкорыстнѣе и честнѣе Бѣлинскаго я не встрѣчалъ ни одного человѣка въ литературѣ въ послѣдніе двадцать лѣтъ. Когда рѣчь заходила о платѣ за трудъ, онъ приходилъ въ крайнее смущеніе, весь вспыхивалъ и сейчасъ же соглашался на всякія предложенія, самыя невыгодныя для себя.

— Какъ же вамъ не стыдно было соглашаться на такія условія? съ упрекомъ говорили ему его пріятели.

— Что дѣлать? возражалъ онъ съ улыбкою:—подлая трусость одолѣваетъ, когда рѣчь коснется до денегъ. Я всегда иду съ рѣшительностію, молодцомъ, опредѣлю себѣ цифру и думаю: нѣтъ, ужъ менѣе этого я ни за что не возьму, а какъ дойдетъ до дѣла, такъ и сробѣю. Такая ужъ гадкая натуришка!

Съ деньгами онъ обращался какъ ребенокъ: онъ то экономничалъ, лишая себя необходимаго, то вдругъ прорывался и позволялъ себѣ неслыханныя роскоши при своемъ положеніи. Увлеченіе—было его натурою и онъ увлекался даже мелочами.

Однажды утромъ, во время пребыванія моего на Арбатѣ въ домѣ Тона, я подошелъ къ окну.

Въ эту минуту проходили мимо четыре человѣка съ лотками на головахъ. На лоткахъ были уложены горшки съ великолѣпными цвѣтами.

«Это, вѣрно, несутъ въ домъ къ какому-нибудь богатому господину», подумалъ я.

Черезъ минуту я, разумѣется, забылъ объ этихъ цвѣтахъ, а черезъ полчаса пошелъ къ Бѣлинскому.

Я остолбенѣлъ, войдя въ его комнату. Эта пустая комната, съ штукатурными стѣнами, вымазанными охрой, приняла роскошный видъ: она вся была уставлена рододендронами, розами, гвоздиками всевозможныхъ цвѣтовъ, разливавшими благоуханіе.

Бѣлинскій, наклонившись, поливалъ горшокъ съ розаномъ. Когда онъ приподнялся и увидѣлъ меня, онъ весь вспыхнулъ.

— Ну, что, какова у меня оранжерея? сказалъ онъ, смѣясь.

— Чудесная! отвѣчалъ я. — Я видѣлъ, какъ эти цвѣты проносили мимо меня и, признаюсь, никакъ не ожидалъ, чтобы ихъ несли къ вамъ.

— У меня, батюшка, страсть къ цвѣтамъ. Я зашелъ сегодня утромъ въ цвѣточный рядъ и соблазнился. Послѣдніе тридцать рублей отдалъ... Завтра ужъ мнѣ формально ѣсть нечего будетъ...

И, несмотря на это, Бѣлинскій въ это утро былъ веселѣе и одушевленнѣе обыкновеннаго и, говоря, безпрестанно обращался къ своимъ цвѣтамъ, отрывалъ сухіе листья, очищалъ землю въ горшкахъ и прочее.

Черезъ нѣсколько недѣль я получилъ письмо изъ Петербурга. Одинъ изъ тамошнихъ журналистовъ, совершеннымъ сюрпризомъ для насъ обоихъ, вдругъ дѣлалъ Бѣлинскому предложеніе переселиться въ Петербургъ и заняться редакціею его журнала. И я, и Бѣлинскій очень хорошо знали, что журналистъ этотъ не питалъ къ нему особеннаго расположенія. Я предлагалъ этому журналисту сотрудничество Бѣлинскаго послѣ третьяго его письма ко мнѣ, но журналистъ, пріобрѣвшій себѣ тогда критика въ лицѣ Межевича, рѣшительно отказался отъ предложеній Бѣлинскаго.

Дѣло, видно, однако не обошлось безъ Бѣлинскаго.

Бѣлинскій, которому дѣйствительно грозила въ эту минуту голодная смерть, не колебался ни на минуту и принялъ предложенія журналиста, хотя они не имѣли ничего заманчиваго.

Я долженъ былъ ѣхать къ себѣ въ деревню на раздѣлъ имѣнія и мы сговорились такъ, чтобы на возвратномъ пути изъ деревни отправиться въ Петербургъ вмѣстѣ. Въ деревнѣ я получилъ отъ Бѣлинскаго слѣдующее письмо:

V.

Москва. 1839. Августа 19 дня.

«Ну, Иванъ Ивановичъ, наконецъ-то дождался я отъ васъ вѣсточки; ваше молчаніе заставило-было меня живо безпокоиться насчетъ и вашего переѣзда черезъ Волгу, и вашихъ новыхъ отношеній къ дѣлящимся (чего добраго—думалъ *я*—пожалуй зарѣжутъ). По сему резону вы выходите *не благодѣтельный помѣщикъ*, какъ изволите величать себя, а развѣ *злокачественный дворянинъ* и *разбойникъ*, какъ рѣзко выразился Иванъ Ивановичъ объ Иванѣ Никифоровичѣ. Вотъ Авдотья Яковлевна—дѣло другое: она очень похожа на благодѣтельную помѣщицу: попробуйте отдать деревню въ полное ея распоряженіе—и увидите, что чрезъ полгода, благодаря ея добротѣ и благодѣтельности, *благодарные* ваши крестьяне—сіи брадатые Меналки, Даметы, а наипаче Титиры—сдѣлаются сами господами, а господа сдѣлаются ихъ крестьянами.

Записка ваша ко мнѣ отличается удивительною пустотою содержанія. Однакожъ спасибо вамъ и за нее. Радъ, что вы обѣщаете пріѣхать къ концу сентября, но боюсь, чтобы вашъ пріѣздъ—какъ это часто бываетъ въ семъ непрочномъ мірѣ—не отодвинулся до конца октября. Знаю, что вы рветесь оттуда всей душой, да боюсь, что дѣла задержатъ. Пожалуйста, *почтеннѣйшій*, пріѣзжайте скорѣе: право, я жду васъ съ нетерпѣніемъ. Признаюсь, почему-то и съ Москвою мнѣ ужъ поскорѣе хотѣлось бы раздѣлаться.

Послѣ вашего отъѣзда со мной произошла бездна перемѣнъ и разныхъ разностей. Во-первыхъ, я былъ болѣнъ... *Убѣдительное* письмо ваше къ Николаю Филиповичу не произвело никакого эффекта, потому, вѣроятно, что нужда убѣдительнѣе краснорѣчія. Но мнѣ досадно только, что онъ не давалъ никакого отвѣта. Около трехъ недѣль я и надѣялся, и отчаявался (самое гнусное состояніе); наконецъ заболѣлъ и увидѣлъ необходимость не выходить изъ дому, но вдругъ почему-то рѣшился выйти въ послѣдній разъ, повидаться съ Б... Иду — вдругъ ѣдетъ навстрѣчу Николай Филиповичъ.—А, подумалъ я, вотъ зачѣмъ тянуло меня изъ дому!—вскакиваетъ съ дрожекъ и начинаетъ на тротуарѣ бесѣду. О томъ о семъ, между-прочимъ и о васъ—имѣю ли я отъ васъ извѣстія, наконецъ—къ дѣлу, Щепкинъ (М. С.) долженъ ему 115 р., такъ онъ предлагалъ мнѣ поделикатнѣе попросить ихъ у него себѣ. Въ моемъ положеніи и это было благодѣяніемъ Божіимъ; а Николай Фили-

повичъ увѣрялъ, что у него нѣтъ ни копѣйки, и что самъ нуждается. Тотчасъ я увидѣлся на университетскихъ экзаменахъ съ Барсовымъ и попросилъ его передать Михайлѣ Семеновичу *о семъ*. На другой день спокойно жду денегъ, но не тутъ-то было. К. Аксаковъ далъ 10 р., а то бы лекарства не на что было взять, а еще нужны были пьявки и другія подобныя мерзости, требующія денегъ. Я-было и носъ повѣсилъ, но вдругъ является И. Е. Великопольскій, освѣдомляется о здоровьи и проситъ меня быть съ нимъ безъ церемоній и сказать, нужны ли мнѣ деньги? Я попросилъ 50 р., но онъ заставилъ меня взять 100. Вотъ такъ благодѣтельный помѣщикъ! На другой день, передъ самымъ отъѣздомъ своимъ въ деревню, опять навѣстилъ меня. Отъ Щепкина я получилъ деньги, когда уже выздоровѣлъ.

Я помирился съ Боткинымъ и Катковымъ. Между нами все опять попрежнему, какъ-будто ничего не было. Да, все по-прежнему, кромѣ прежнихъ пошлостей. Сперва я сошелся съ Боткинымъ, и безъ всякихъ объясненій, прекрасно-душныхъ и экстатическихъ выходокъ и порывовъ, но благоразумно, хладнокровно, хотя и тепло, а слѣд. и *дѣйствительно*. Теп[illegible] вижу ясно, что ссора была необходима, какъ бываетъ необходима гроза для очищенія воздуха: эта ссора уничтожила бездну пошлаго въ нашихъ отношеніяхъ. Причины ссоры, нѣсколько вамъ извѣстныя, были только предлогомъ, а истинныя и внутреннія причины только теперь обозначились и стали ясны. Боткинъ много былъ виноватъ передо мною, но и я въ этомъ случаѣ не уступлю ему. Надо быть безпристрастнымъ и справедливымъ. Впрочемъ — странно: я, который не находилъ удовлетворительнаго мщенія Боткину, я теперь не могу себѣ ясно представить, за что я на него такъ неистовствовалъ. Вообще въ нашей ссорѣ много семейнаго, только для насъ понятнаго. Боткинъ — чудесный человѣкъ — теперь я могу это сказать, потому-что говорю безъ пылу, въ которомъ если много пламени, зато много и дыму, и чаду, но съ теплотою и благоразумно. К. имѣетъ одинъ недостатокъ — онъ очень молодъ, а кромѣ этого, онъ одинъ изъ лучшихъ людей, какихъ только встрѣчалъ я въ жизни. Я радъ безъ памяти, что наши дрязги кончились, и что вы-таки увидите *насъ*, такъ какъ хотѣли и думали увидѣть насъ, когда отправлялись изъ Питера въ Москву.

Константинъ Аксаковъ со мной какъ нельзя лучше. Его участіе ко мнѣ иногда трогаетъ меня до слезъ. Невозможно быть расположеннѣе и деликатнѣе, какъ онъ со мною. Славный, чудный человѣкъ! Но молодъ такъ, что даже К. годится ему въ дѣдушки. Въ немъ есть все — и сила, и энергія, и глубокость духа, но въ немъ есть одинъ недостатокъ, который меня глубоко огорчаетъ. Это — не прекраснодушіе, которое пройдетъ съ лѣтами, но какой-то *китайскій* элементъ, который примѣшался къ прекраснымъ элементамъ его духа. Коли онъ во что засядетъ, такъ, во-первыхъ, засядетъ по уши, а во-вторыхъ — во сто лѣтъ не вытащите вы его и за уши изъ того ощущеньица, или того понятьица, которое отъ праздности забредетъ въ его впрочемъ необыкновенно умную голову. Вотъ и теперь сидитъ онъ въ глубокой мысли, что Гёте (далеко кулику до Петрова дня!) выше Шекспира. Но пока онъ сидѣлъ да по-

сиживалъ въ этой мысли, если только нелѣпость можно назвать мыслію, случилось происшествіе, отъ котораго на лицѣ Аксакова совершилось страшное aplatissement, *ибо* это происшествіе накормило его грязью, какъ говорятъ безмозглые персіяне. Грязь эту раздѣлили съ нимъ Бакунинъ и Боткинъ.

Еще давно, прошлою осенью, узнавши нѣчто изъ содержанія 2-й ч. «Фауста», я, съ свойственною мнѣ откровенностью и громогласностью, провозгласилъ, что оная 2-я ч. не поэзія, а сухая, мертвая, гнилая символистика и аллегорика. Сперва на меня смотрѣли, какъ на богохульника, а потомъ какъ на безумца, который вретъ, что ему взбредется въ праздную голову. *Новое* поколѣніе гегелистовъ основывало журналъ въ pendant къ берлинскому «Jahrbücher», основанному Гегелемъ — «Gallische Jahrbücher», и въ этомъ журналѣ появилась статья нѣкоего *гегелиста* Фишера о Гёте, въ которой онъ доказываетъ, что 2-я ч. «Фауста» мертвая, пошлая символистика, а не поэзія, но что 1-я ч. — великое произведеніе, хотя и въ ней есть непонятныя, я потому и непоэтическія мѣста, ибо (это же самое говорилъ и *я*) поэзія доступна непосредственному эстетическому чувству и отнюдь не требуется для уразумѣнія художественныхъ произведеній посвященія въ таинства философіи, и что все непонятное въ ней принадлежитъ къ области символизма и аллегоріи. Фишеръ разбираетъ всѣ разборы «Фауста» и нещадно издѣвается надъ ними; достается отъ него и *первому* поколѣнію гегелистовъ, которые, говоритъ, ослѣпленные яркимъ свѣтомъ Гегелевой философіи, пустились сгорача все подводить подъ нее и во 2-й ч. «Фауста» особенно мнили видѣть полное осуществленіе системы Гегеля въ сферѣ искусства. Больше всѣхъ срѣзался Марбахъ, который, въ своей дѣйствительно прекрасной *популярной* книгѣ, напоролъ о 2-й ч. «Фауста» такой дичи, что Боткинъ, прекрасно переведшій изъ нея большой отрывокъ, ничего не понялъ, и когда хотѣлъ помѣстить этотъ отрывокъ въ «Наблюдателѣ», то принужденъ былъ вычеркнуть большую часть того, что сказано тамъ о 2 ч. «Фауста», которую Марбахъ называетъ «Книгою съ семью печатями» для непосвященныхъ. Каково срѣзались ребята-то? И каковъ я молодецъ! Не правда ли, что необыкновенно умный человѣкъ... А?... Какъ вы думаете?... (спросите и Авдотью Яковлевну, какъ она о семъ разумѣетъ— я думаю, дивится моей скромности).

Въ этомъ же «Gallische Jahrbücher» есть статья о Данте, въ которой доказывается, что сей мужъ совсѣмъ не поэтъ, а его «Divina Comedia» — просто символистика. Я то же и давно думалъ и говорилъ, ну, и послѣ этого вы еще не станете на колѣни передъ моимъ эстетическимъ геніемъ?...

Вотъ какимъ длиннымъ письмомъ заплатилъ я за вашу записку. Получилъ я письмо на ваше имя и прилагаю его при семъ. Также прилагаю и письмо Андрея Александровича—ко мнѣ—оно очень интересно. Пожалуйста пишите ко мнѣ.

Константину (Аксакову) еще не отдавалъ вашего письма, не видался съ нимъ. А какъ онъ будетъ радъ ему—какъ дитя! Да, славное дитя Константинъ; жаль только, что движенія въ немъ маловато. Я и

теперь почти каждый день разсчитываюсь съ какимъ-нибудь своимъ прежнимъ убѣжденіемъ и постукиваю его, а прежде такъ у меня—что ни день, то новое убѣжденіе. Вотъ ужъ не въ моей натурѣ засѣсть въ какое-нибудь узенькое опредѣленьице и блаженствовать въ немъ. Кстати, послѣ статей о 2-й ч. «Фауста» и Данте, я сталъ еще упрямѣе, и теперь мнѣ пусть лучше и не говорятъ о драмахъ Шиллера: я давно уже узналъ, что онѣ слабоваты. Пушкинъ меня съ ума сводитъ. Какой великій геній, какая поэтическая натура! Да, онъ не могъ по своей натурѣ написать ничего въ родѣ 2-й ч. «Фауста». Я обѣщалъ Владиславлеву въ альманахъ статью о «Каменномъ гостѣ» въ формѣ письма къ другу. Хочется попытаться на нѣчто похожее на философскую критику à la Ретшеръ. У меня теперь три бога искусства, отъ которыхъ я почти каждый день неистовствую и свирѣпствую: Гомеръ, Шекспиръ и Пушкинъ...

Поблагодарите отъ меня Авдотью Яковлевну за память обо мнѣ и ударьте ей за меня низко челомъ.

Прощайте! Въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» перепечатана моя статья о Полевомъ, а новая еще не напечатана.

Вашъ В. Бѣлинскій.»

Бѣлинскій не измѣнилъ своего намѣренія. Я возвратился въ Москву въ октябрѣ—и въ концѣ октября 1839 г. мы были уже въ Петербургѣ. Онъ остановился у меня...

Всегда слабое здоровье его въ это время начинало разстраиваться. Онъ иногда жаловался на грудную боль и одышку.

Я жилъ въ это время на Грязной улицѣ близъ Семеновскихъ казармъ, въ деревянномъ двух-этажномъ домѣ архитектора Диммерта. Бѣлинскій расположился въ совершенно отдѣльной комнатѣ.

Въ этой-то комнатѣ совершилось, мѣсяцевъ пять спустя послѣ нашего пріѣзда, примиреніе Бѣлинскаго съ однимъ изъ его знакомыхъ—объ умѣ, блестящемъ образованіи и остроуміи котораго онъ всегда отзывался съ энтузіазмомъ.

Размолвка ихъ произошла въ Москвѣ. Бѣлинскій имѣлъ въ это время совершенно отвлеченное, умозрительное направленіе. Герценъ болѣе общественное. Они крѣпко поспорили и поссорились. Бѣлинскій уѣхалъ изъ Москвы, не видѣвшись съ нимъ.

Разъ, часу въ шестомъ вечера, это было, если я не ошибаюсь, въ мартѣ 1840 года, человѣкъ докладываетъ Бѣлинскому о пріѣздѣ къ нему Герцена.

Бѣлинскій вспыхнулъ и соскочилъ съ дивана при этомъ имени...

— Вотъ вы увидите наконецъ его! Это человѣкъ замѣчательный и блестящій. Заходите ко мнѣ немного погодя. Я васъ съ нимъ познакомлю.

Черезъ полчаса я спустился въ комнату Бѣлинскаго.

Когда я вошелъ, разговоръ между Бѣлинскимъ и Герценомъ былъ еще нѣсколько натянутъ. Бѣлинскій представилъ насъ другъ другу.

Герценъ окинулъ меня быстрымъ взглядомъ, вѣжливо улыбнулся, пожалъ мнѣ руку и обратился къ Бѣлинскому.

Я нѣсколько минутъ съ любопытствомъ разсматривалъ его. Герценъ

былъ человѣкъ довольно полный, лѣтъ двадцати-восьми, средняго роста, съ темными волосами, подстриженными подъ гребенку. Черты лица его были пріятны и правильны, лицо одушевлено необыкновеннымъ блескомъ и живостію карихъ остроумныхъ глазъ и какимъ-то особенно тонкимъ юмористическимъ выраженіемъ у оконечностей губъ... На немъ былъ фракъ съ гербовыми пуговицами.

Я не остался долго въ комнатѣ, не желая мѣшать имъ.

Черезъ часъ Бѣлинскій пришелъ ко мнѣ наверхъ.

— Ну, мы объяснились и снова, кажется, сошлись, сказалъ мнѣ Бѣлинскій, отдуваясь и падая на диванъ (это свиданіе, видно, сильно на него подѣйствовало). — Я разсказалъ Герцену извѣстное вамъ происшествіе со мною у К. — объ этомъ господинѣ, который отказался отъ знакомства со мною, потому-что я авторъ... знаете... я не могу называть эту статью по имени—и какъ я за это пожалъ руку этому господину... Герценъ выслушалъ это и бросился ко мнѣ. Мы обнялись и забыли все прошлое. Слава Богу!... У меня какъ гора съ плечь свалилась...

Петербургъ сначала произвелъ на него очень хорошее впечатлѣніе.

— Вотъ это европейскій городъ! говорилъ онъ:—то-есть, покрайней-мѣрѣ такой, какимъ я воображаю себѣ европейскіе города!... Потомъ онъ сталъ жаловаться на климатъ, но браня его, всегда прибавлялъ:

— Ну, а во всякомъ случаѣ все ужъ лучше жить въ Петербургѣ, чѣмъ въ Москвѣ.

Пріѣздъ Бѣлинскаго въ Петербургъ надѣлалъ большаго шуму въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ.

Всѣ отживавшіе петербургскіе литераторы и журналисты ненавидѣли его и въ то же время страшно боялись.

Однажды мы шли съ Бѣлинскимъ по Невскому проспекту. Вдругъ кто-то дернулъ меня сзади за пальто. Я обернулся.

Передо мною стоялъ редакторъ извѣстной газеты, авторъ различныхъ нравоописательныхъ статеекъ и романовъ, доканчивавшій свое литературное поприще площадными выходками противъ всего живого, талантливаго и новаго, восхваленіемъ разныхъ магазиновъ и лавочекъ и нескончаемыми толками о чистотѣ русскаго языка...

— Извините, почтеннѣйшій, извините, пробормоталъ онъ мнѣ: — это я васъ дернулъ... Скажите пожалуйста, кто это съ вами идетъ?

— Бѣлинскій, отвѣчалъ я.

— А! а!... И онъ началъ осматривать Бѣлинскаго съ несказаннымъ любопытствомъ съ ногъ до головы. — Такъ это бульдогъ-то, котораго выписали изъ Москвы, чтобы травить насъ?...

Я передалъ эти слова Бѣлинскому. Это очень забавляло его и онъ потомъ часто повторялъ, что Булгаринъ называетъ его бульдогомъ.

Къ числу петербургскихъ журналистовъ этого времени принадлежалъ бывшій издатель «Московскаго Телеграфа», съ которымъ Бѣлинскій находился одно время въ Москвѣ въ очень близкихъ сношеніяхъ.

Бѣлинскій, какъ это видно и изъ писемъ его ко мнѣ, любилъ его и высоко цѣнилъ его прежнюю московскую журнальную дѣятельность, которая уже не имѣла ничего общаго съ петербургскою.

— Этотъ человѣкъ самъ предвидѣлъ свое паденіе, разсказывалъ мнѣ Бѣлинскій съ грустью. — Когда онъ уѣзжалъ изъ Москвы, я проводилъ его до заставы. У заставы мы обнялись и простились... «Желаю вамъ успѣховъ и счастія въ Петербургѣ», сказалъ я. — Онъ какъ-то уныло улыбнулся. — «Благодарю васъ, — отвѣчалъ онъ, — нѣтъ-съ, ужь какіе успѣхи! Но если я буду дѣйствовать не такъ, какъ слѣдуетъ (онъ употребилъ болѣе ясное и рѣзкое выраженіе), то не вините меня, а пожалѣйте-съ... Я человѣкъ обремененный семействомъ...»

Въ Петербургѣ Бѣлинскій не видался съ нимъ. Полевой избѣгалъ его потому, что послѣ совершенной перемѣны въ своихъ убѣжденіяхъ, ему, кажется, неловко было взглянуть прямо въ глаза Бѣлинскому...

— Бѣлинскій — прекраснѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ! сказалъ мнѣ однажды Полевой, когда я нарочно завелъ съ нимъ рѣчь о Бѣлинскомъ: — горячая голова, энтузіастъ, но теперь намъ сходиться не для чего-съ. Я здѣсь ужъ совсѣмъ не тотъ-съ. Я вотъ долженъ хвалить романы какого-нибудь Штевена, а вѣдь эти романы галиматья-съ.

— Да кто же васъ заставляетъ хвалить ихъ? спросилъ я съ удивленіемъ.

— Нельзя-съ, помилуйте, вѣдь онъ частный приставъ.

— Что жь такое? Что вамъ за дѣло до этого?

— Какъ что за дѣло-съ! Разбери я его какъ слѣдуетъ,—онъ, пожалуй, подкинетъ ко мнѣ въ сарай какую-нибудь вещь, да и обвинитъ меня въ кражѣ. Меня и поведутъ по улицамъ на веревкѣ-съ, а вѣдь я отецъ семейства!

У меня сжалось сердце при этомъ страшномъ признаніи. И это говорилъ тотъ человѣкъ, который нѣкогда энергически преслѣдовалъ всякую подлость, проповѣдывалъ о свободѣ духа, о человѣческомъ достоинствѣ!

Литературныя петербургскія знаменитости смотрѣли на Бѣлинскаго съ высоты своего величія. Онѣ не удостоивали замѣчать его, или отзывались о немъ, какъ о нагломъ, недоучившемся студентѣ, который осмѣливается посягать на вѣковыя славы. Одинъ Пушкинъ, кажется, втайнѣ сознавалъ, что этотъ недоучившійся студентъ долженъ будетъ занять нѣкогда почетное мѣсто въ исторіи русской литературы... Онъ просилъ Щепкина передать Бѣлинскому первыя книжки только-что начатаго имъ «Современника», зная, что Щепкинъ находился въ близкихъ сношеніяхъ съ Бѣлинскимъ.

— Только, пожалуйста, чтобы это осталось между нами, прибавилъ Пушкинъ.

Онъ боялся, чтобы объ этомъ не узнали его друзья—литературныя знаменитости...

Бѣлинскій жилъ въ Петербургѣ исключительно въ небольшомъ кружкѣ молодыхъ литераторовъ, изъ которыхъ многіе въ настоящую минуту достигли также степени литературныхъ знаменитостей и, можетъ-быть, уже относятся къ новому поколѣнію литературныхъ дѣятелей съ тою же гордостью и неприступностью, съ какой относились къ Бѣлинскому литературныя знаменитости его времени...

На этотъ небольшой кружокъ молодыхъ литераторовъ Бѣлинскій имѣлъ

неотразимое вліяніе. Его любили и вмѣстѣ боялись, несмотря на его кроткую, нѣжную и увлекающуюся натуру,—боялись, потому-что Бѣлинскій безпощадно высказывалъ правду въ глаза своимъ друзьямъ и жестоко преслѣдовалъ насмѣшкою различныя ихъ слабости. Взаимное самовосхваленіе, лесть и лицемѣріе были ненавистны ему.

— Все это признаки растлѣннаго старчества, говорилъ онъ:—не дай Богъ дожить до этого!...

Вотъ записка его ко мнѣ, въ которой выражается вся горячая, благородная, любящая душа Бѣлинскаго:

VI.

Декабря 5, 1842 г.

«Ну, Панаевъ, вижу, что у васъ есть чутье кое-на-что—сейчасъ я прочелъ «Мельхіора» и мнѣ все слышатся ваши слова: эта женщина постигла таинство любви. Да, любовь есть таинство,—благо тому, кто постигъ его; и не найдя его осуществленія для себя, онъ всетаки владѣетъ таинствомъ. Для меня, Панаевъ, свѣтлою минутою жизни будетъ та минута, когда я вполнѣ удостовѣрюсь, что вы *наконецъ* уже владѣете въ своемъ духѣ этимъ таинствомъ, а не предчувствуете его только. Мы, Панаевъ, счастливцы—очи наши узрѣли спасеніе наше и мы отпущены съ миромъ владыкою—мы дождались пророковъ нашихъ—и узнали ихъ, мы дождались знаменій,—и поняли, и уразумѣли ихъ. Вамъ странны покажутся эти строки — ни съ того, ни съ сего присланныя къ вамъ; но я въ экстазѣ, въ сумасшествіи, а Жоржъ-Зандъ называетъ сумасшествіемъ именно тѣ минуты благоразумія, когда человѣкъ никого не поразитъ и не оскорбитъ странностью — это она говоритъ о Мельхіорѣ. Какъ часто мы бываемъ благоразумными Мельхіорами, и благо намъ въ рѣдкія минуты нашего безумія. О многомъ хотѣлось бы мнѣ сказать вамъ, но языкъ коснѣетъ. Я люблю васъ, Панаевъ, люблю горячо — я знаю это по минутамъ неукротимой ненависти къ вамъ. Кто далъ мнѣ право на это—не знаю; не знаю даже, дано ли это право. Мнѣ кажется, вы ошибаетесь, думая, что все придетъ само собою, даромъ, безъ борьбы, и потому не боретесь, истребляя плевелы изъ души своей, вырывая ихъ съ кровью. Это еще не заслуга, Панаевъ, встать въ одно прекрасное утро человѣкомъ истиннымъ и увидѣть, что безъ натяжекъ и фразерства можно быть такимъ. Даровое непрочно, да и невозможно, оно обманчиво. Надо положить на себя эпитимью и постъ, и вериги, надо говорить себѣ: этого мнѣ хочется, но это не хорошо, такъ не быть же этому. Пусть васъ тянетъ къ *этому*, а вы всетаки не идите къ нему; пусть будете вы въ апатіи и тоскѣ—все лучше, чѣмъ въ удовлетвореніи своей суетности и пустоты.

Но я чувствую, что я нешутя безумствую. Можетъ-быть приду къ вамъ обѣдать, а не говорить: говорить надо, когда заговорится само собою, а не назначать часы для этого. Спѣшу къ вамъ послать это маранье, пока охолодѣвшее чувство не заставитъ его изорвать...»

Кружокъ, въ которомъ жилъ Бѣлинскій, былъ тѣсно сплоченъ и сохранился во всей чистотѣ до самой его смерти. Онъ поддерживался силою его духа и убѣжденій.

Послѣ его смерти всѣ какъ-то разбрелись и спутались, но память объ этомъ кружкѣ, вѣрно, до-сихъ-поръ дорога каждому изъ тѣхъ, которые принадлежали къ нему...

Бѣлинскій рѣдко выходилъ изъ этого кружка и показывался въ литературный свѣтъ.

Этотъ свѣтъ изрѣдка открывался для него только въ одномъ домѣ, куда стекались разъ въ недѣлю всевозможныя извѣстности — ученыя, военныя, литературныя, духовныя, великосвѣтскія. Большой гармоніи и одушевленія въ этомъ обществѣ не могло существовать, усиліе хозяина дома сближать литературу съ великосвѣтскимъ обществомъ не удавалось. Для великосвѣтскаго общества, никогда не принимавшаго живаго участія въ отечественной литературѣ, вся тогдашняя литература заключалась только въ пяти или шести литературныхъ авторитетахъ, посѣщавшихъ салоны. На остальныхъ литераторовъ и ученыхъ—людей по большей части не свѣтскихъ, застѣнчивыхъ, это общество посматривало съ нѣсколько оскорбительнымъ любопытствомъ сквозь стеклышки и лорнеты, какъ на звѣрей, спрашивая съ удивленіемъ хозяина дома: «Откуда *это? Что это?*» Литературные авторитеты не желали сближаться съ этими остальными и удостоивали ихъ только изрѣдка своего благосклоннаго вниманія или одобренія. Они какъ-будто боялись показать, что имѣютъ что-нибудь общее съ литераторами. Слово литераторъ было для нихъ какъ-будто обидное слово: они хотѣли слыть прежде всего людьми свѣтскими, только иногда удостоивающими заниматься литературою.

Положеніе записныхъ ученыхъ и литераторовъ было очень неловко въ этомъ великосвѣтскомъ литературномъ салонѣ. Они обыкновенно съ робостію, съ замирающимъ дыханіемъ пробирались черезъ салонъ, преслѣдуемые дамскими лорнетами и мужскими стеклышками, въ кабинетъ радушнаго хозяина и тамъ уже, забравшись куда-нибудь въ уголокъ, вздыхали полною грудью.

Нужно ли было сближать литературу съ великосвѣтскостью — это вопросъ, въ разсмотрѣніе котораго я входить здѣсь не буду...

Но, упоминая объ этихъ собраніяхъ, я долженъ сказать, что всѣхъ человѣчнѣе, всѣхъ лучше—являлся на нихъ самъ хозяинъ дома, принимавшій съ одинаковымъ радушіемъ, теплотою и искренностью, безъ различія, каждаго своего гостя — какого-нибудь важнаго, значительнаго господина съ украшеніями на фракѣ и бѣднаго, робкаго, никому еще неизвѣстнаго литератора. Это черта, особенно для того времени, заслуживающая вниманія.

Бѣлинскій долго не рѣшался появиться въ этомъ салонѣ, несмотря на то, что чувствовалъ большое расположеніе къ его хозяину, доказательствомъ чего было то, что онъ высказывался предъ нимъ вполнѣ, иногда даже съ такою энергіею, которая приводила хозяина салона въ большое смущеніе...

— Отчего вы не хотите бывать у меня? Я сердитъ на васъ, говорилъ онъ Бѣлинскому.

— Сказать вамъ правду—отчего? отвѣчалъ, улыбаясь, Бѣлинскій:— я человѣкъ простой, неловкій, робкій, отъ роду небывавшій ни въ какихъ салонахъ... У васъ же тамъ бываютъ дамы, аристократки, а я и въ обыкновенномъ-то дамскомъ обществѣ вести себя не умѣю... Нѣтъ, ужъ избавьте меня отъ этого! Вѣдь вамъ же будетъ нехорошо, если я сдѣлаю какую-нибудь неловкость или неприличіе по-вашему.

Но, несмотря на это, хозяинъ салона непремѣнно хотѣлъ, чтобы Бѣлинскій былъ въ числѣ его гостей.

Канунъ новаго года праздновался имъ всегда съ необыкновенною торжественностью. Онъ особенно упрашивалъ Бѣлинскаго пріѣхать къ нему въ этотъ вечеръ (наканунѣ 184*) и кромѣ того взялъ съ меня слово, чтобы я непремѣнно уговорилъ его и привезъ съ собой.

Мнѣ не совсѣмъ легко было исполнить это порученіе. Я уговаривалъ Бѣлинскаго болѣе часа. Наконецъ онъ началъ колебаться.

— Ну, да пожалуй, чортъ съ вами... я поѣду! сказалъ онъ, безпокойно прохаживаясь по комнатѣ.—Что же мнѣ надѣть? прибавилъ онъ сердито, обращаясь ко мнѣ.

— Надѣньте сюртукъ, вѣдь дамъ не будетъ.

Онъ одѣвался долго, кряхтѣлъ, кашлялъ, увѣрялъ, что больше чѣмъ когда-нибудь чувствуетъ одышку, что не утерпитъ—непремѣнно съѣстъ чего-нибудь и отъ этого ему будетъ еще хуже.

Когда мы садились съ сани, онъ занесъ ногу и сказалъ:

— Кажется, я дѣлаю ужаснѣйшую, непростительную глупость!... Знакомыхъ у меня тамъ почти никого нѣтъ... Ну что я буду дѣлать?

Когда мы всходили на лѣстницу, онъ, поднявшись на нѣсколько ступенекъ, остановился и произнесъ:

— Ужь не воротиться ли мнѣ? Это было бы самое благоразумное...

— Нѣтъ, я не отпущу васъ ни за что, отвѣчалъ я рѣшительно.

— Ну, ужъ нечего дѣлать... Идемте... да не бѣгите такъ скоро по лѣстницѣ. Вѣдь вы такъ здоровы, что на васъ смотрѣть противно, вамъ нипочемъ всходить на какую угодно высоту, а я, и тихо-то идя, задыхаюсь по этимъ проклятымъ петербургскимъ лѣстницамъ.

Бѣлинскій часто подсмѣивался надъ моимъ здоровьемъ.

— Что у васъ за желудокъ!... Камни перевариваетъ!... восклицалъ онъ.—Человѣкъ болѣнъ никогда не бываетъ! говорилъ онъ, указывая на меня кому-нибудь изъ нашихъ пріятелей:—какъ вамъ это нравится? Вѣдь родятся же на свѣтъ такіе счастливчики! Да погодите, и на васъ придетъ чередъ. Разомъ крякнете...

Былъ часъ двѣнадцатый, когда мы появились въ салонѣ. Перешагнувъ за его дверь, Бѣлинскій поблѣднѣлъ и закусилъ губу, но отсутствіе дамъ, радушіе и привѣтливость хозяина успокоили его. Онъ примирился съ своимъ положеніемъ, однако скучалъ и почти не отходилъ отъ меня.

Въ этотъ вечеръ были тутъ всѣ литературные знаменитости и авторитеты старые и молодые, которыхъ онъ видѣлъ такъ близко въ первый разъ въ жизни: Крыловъ, Жуковскій, князь Вяземскій, Лермонтовъ и другіе.

Послѣ ужина, Крыловъ и Жуковскій расположились на диванѣ, а нѣкоторые около нихъ, образовавъ отдѣльный кружокъ.

Мы сидѣли позади этого кружка. На Бѣлинскаго никто изъ нихъ не обращалъ никакого вниманія, а нѣкоторые едва ли даже знали о его существованіи, хотя въ это время, какъ я уже замѣтилъ, вся читающая русская молодежь съ жадностью поглощала все, что выходило изъ-подъ пера его, и имя его (появившееся только однажды въ журналѣ подъ какой-то еще не совсѣмъ удавшейся статьей) съ восторгомъ уже повторялось въ самыхъ отдаленныхъ концахъ Россіи.

Здѣсь кстати я приведу одно изъ доказательствъ этого. Въ 1845 году я ѣхалъ изъ Нижняго въ Казань въ почтовой каретѣ. Сосѣдомъ моимъ былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, съ бородой, одѣтый въ длинный сюртукъ, покрывавшій высокіе сапоги. Это былъ сибирскій купецъ, умный, любознательный и усердный чтецъ всѣхъ русскихъ журналовъ. Онъ, вовсе не подозрѣвая, что я нѣсколько причастенъ къ литературѣ, завелъ со мною рѣчь о журналахъ...

— Какой же изъ журналовъ въ большомъ ходу у васъ? спросилъ я его.

Онъ назвалъ мнѣ тотъ журналъ, въ которомъ участвовалъ Бѣлинскій.

— Почему же? возразилъ я.

— Какъ почему? Очень понятно, потому-что въ немъ участвуетъ Бѣлинскій. Его статьи у насъ читаются всѣми съ жадностью.

— Да какимъ же образомъ вы отличаете его статьи? Вѣдь онъ никогда не подписываетъ своего имени.

— Птица видна, сударь, по полету, говоритъ пословица. Онъ хоть и не печатаетъ своего имени, а имя его у насъ знаютъ всѣ грамотные люди.

По возвращеніи въ Петербургъ, я, разумѣется, передалъ Бѣлинскому мой разговоръ съ сибирскимъ купцомъ.

На Бѣлинскаго это очень пріятно подѣйствовало.

— Вотъ каковъ я! сказалъ онъ, улыбаясь: — вы не шутите теперь со мной!...

Обратимся однако къ салону.

Я сказалъ, что Бѣлинскій сидѣлъ рядомъ со мною, никѣмъ незамѣчаемый, сзади кружка литературныхъ знаменитостей; онъ прислушивался къ ихъ разговору. Возлѣ него стоялъ небольшой столикъ на одной ножкѣ съ нѣсколькими бутылками вина. Въ разсѣяніи, онъ облокотился на столикъ, столикъ опрокинулся, бутылки разбились, вино полилось къ ногамъ знаменитостей и ко всему этому Бѣлинскій потерялъ равновѣсіе и упалъ на полъ.

Стукъ отъ паденія этого, ручьи вина, — произвели большую суматоху... Всѣ вскочили со стульевъ, обратившись назадъ.

Бѣлинскій съ трудомъ поднялся. Вся кровь его прихлынула къ головѣ, съ минуту онъ былъ какъ въ безпамятствѣ; хозяинъ дома испуганный бросился къ нему съ участіемъ, повелъ его въ свой кабинетъ, предлагалъ ему воду, различные нюхательные спирты...

Бѣлинскій мало-по-малу пришелъ въ себя, улыбнулся и сказалъ:

— Вотъ видите ли, я предупреждалъ васъ, что надѣлаю у васъ какихъ-нибудь неприличій,—такъ и случилось. Вините не меня, а самого себя.

Паденіе Бѣлинскаго со стула было причиною того, что имя его стало переходить изъ устъ въ уста.

Многіе великосвѣтскіе господа, въ первый разъ услыхавшіе это имя, спрашивали не безъ любопытства:

— А чѣмъ же этотъ господинъ замѣчателенъ? Что онъ такое пишетъ?

Несмотря на такой неудачный дебютъ въ великосвѣтскомъ и литературномъ обществѣ, Бѣлинскій не разъ послѣ того посѣщалъ этотъ салонъ, для того только, впрочемъ, чтобы доставить удовольствіе его радушному хозяину, а онъ былъ убѣжденъ, что этимъ онъ точно доставляетъ ему удовольствіе.

Вообще Бѣлинскій не терпѣлъ разнороднаго, малознакомаго и большаго общества. Онъ даже, бывало, при появленіи въ нашемъ обычномъ кружкѣ какого-нибудь незнакомаго лица, измѣнялся мгновенно, впадалъ въ дурное расположеніе духа и переставалъ говорить.

Онъ искренно былъ привязанъ ко всѣмъ безъ исключенія, составлявшимъ этотъ тѣсный кружокъ, но иногда вдругъ почему-то особенно увлекался на время однимъ кѣмъ-нибудь и обнаруживалъ къ нему необыкновенную нѣжность. Онъ, впрочемъ, всегда прямо и откровенно сознавалъ потомъ свои заблужденія и самъ добродушно смѣялся вмѣстѣ съ нами надъ своими крайностями и увлеченіями.

Онъ только никогда не могъ слышать равнодушно о нѣкоторыхъ статьяхъ своихъ, явившихся въ концѣ 1839 и въ началѣ 1840 года въ «Отечественныхъ Запискахъ». Однажды онъ зашелъ ко мнѣ утромъ спросить—обѣдаю ли я дома (это было, если я не ошибаюсь, года черезъ три послѣ напечатанія этихъ статей). На столѣ въ кабинетѣ моемъ случайно лежала та книжка, въ которой была напечатана его статья: «Менцель». открытая именно на этой статьѣ.

Бѣлинскій пришелъ ко мнѣ въ очень хорошемъ расположеніи духа, но, подойдя къ столу и взглянувъ на книжку, онъ вдругъ измѣнился въ лицѣ, схватилъ книжку и бросилъ ее на полъ.

— Что это, вы нарочно хотите поддразнивать меня, подсовывая мнѣ на глаза эту статью? Вы знаете, что я не могу безъ негодованія вспоминать о моихъ статьяхъ этого времени. Сдѣлайте одолженіе, я прошу васъ не дѣлать со мною такихъ вещей.

Онъ задыхался и почти упалъ на диванъ.

Я увѣрялъ, что не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія съ умысломъ подсовывать ему эту статью, что мнѣ и въ голову не могло придти ничего подобнаго; но онъ, несмотря на это увѣреніе, не скоро успокоился и не приходилъ ко мнѣ обѣдать въ этотъ день.

Вообще малѣйшая, самая ничтожная вещь могла приводить его иногда въ бѣшенство—это было уже отчасти слѣдствіемъ роковой болѣзни, развивавшейся въ немъ сильнѣе и сильнѣе.

Во время отдыховъ, иногда по вечерамъ онъ любилъ играть въ преферансъ съ пріятелями по самой маленькой цѣнѣ и игралъ всегда съ увлеченіемъ и очень дурно.

Разъ (это было у меня, наканунѣ Свѣтлаго Праздника) онъ часа три сряду не выпускалъ изъ рукъ картъ и наставилъ страшное количество ремизовъ. Утомленный во время сдачи, онъ вышелъ въ другую комнату, чтобы пройтиться немного. Въ это время Тургеневъ (котораго онъ очень любилъ) нарочно подобралъ ему такую игру на восемь въ червяхъ, что онъ долженъ былъ остаться непремѣнно безъ четырехъ... Бѣлинскій возвратился, схватилъ карты, взглянулъ и весь просіялъ... Онъ объявилъ 8 въ червяхъ и остался, какъ и слѣдовало, безъ 4. Онъ съ бѣшенствомъ бросилъ карты и вскрикнулъ, задыхаясь:

— Такія вещи могутъ случаться только со мною.

Тургеневу стало жаль его—и онъ признался ему, что хотѣлъ подшутить надъ нимъ.

Бѣлинскій сначала не повѣрилъ, но когда всѣ подтвердили ему то же,— онъ съ невыразимымъ упрекомъ посмотрѣлъ на Тургенева и произнесъ, поблѣднѣвъ, какъ полотно:

— Лучше бы ужъ вы мнѣ этого не говорили. Прошу васъ впередъ не позволять себѣ такихъ шутокъ!

Когда болѣзненные припадки затихали или не слишкомъ безпокоили его, онъ становился какъ-то особенно ясенъ и свѣтелъ: его кроткая, прямая, деликатная натура вся такъ и отражалась въ его глазахъ. Въ эти минуты онъ любилъ подшучивать надъ слабостями нѣкоторыхъ своихъ друзей — напримѣръ, на падкость къ аристократіи, на маленькое хвастовство, тщеславіе и прочее.

Но (объ этомъ я уже замѣтилъ и не могу не подтвердить еще разъ) для того, чтобы имѣть о Бѣлинскомъ полное, понятіе, видѣть его во всемъ блескѣ, надобно было навести разговоръ на тѣ общественные предметы и вопросы, которые живо его затрогивали, и раздражить его противорѣчіемъ; затронутый, онъ вдругъ выросталъ, слова его лились потокомъ, вся фигура дышала внутренней энергіей и силой, голосъ по временамъ задыхался, всѣ мускулы лица приходили въ напряженіе... Онъ нападалъ на своего противника, съ силой человѣка власть имѣющаго, мимоходомъ игралъ имъ, какъ соломенкой, издѣвался, ставилъ его въ комическое положеніе и между-тѣмъ продолжалъ развивать свою мысль съ энергіей поразительной. Въ такія минуты этотъ обыкновенно застѣнчивый, робкій и неловкій человѣкъ былъ неузнаваемъ.

Надобно было взглянуть на него также въ тѣ минуты, когда онъ писалъ что-нибудь, въ чемъ принималъ живое, горячее участіе... Лицо и глаза его горѣли, перо съ необыкновенною быстротою бѣгало по бумагѣ, онъ тяжело дышалъ и безпрестанно отбрасывалъ въ сторону исписанный полулистъ. Онъ обыкновенно писалъ только на одной сторонѣ полулиста, чтобы не останавливаться въ ожиданіи покуда просохнутъ чернила...

Сколько разъ заставалъ я его въ такія минуты и смотрѣлъ на него незамѣчаемый имъ; если же онъ оборачивался и взглядывалъ на меня, прежде нежели я уходилъ, онъ безъ церемоніи говорилъ мнѣ:

— Извините меня, Панаевъ... Видите, я занятъ...

Онъ откладывалъ на минуту перо и прикладывалъ руку къ головѣ. Я какъ теперь вижу его въ этомъ положеніи.

Одинъ разъ я засталъ его ходящимъ по комнатѣ въ волненіи и съ усиліемъ махающимъ правою рукою.

— Что это съ вами? спросилъ я его.

— Рука отекла отъ писанія... Я часовъ 8 сряду писалъ, не вставая. Говорятъ, я самъ виноватъ, потому-что откладываю писанье свое до послѣднихъ дней мѣсяца. Можетъ-быть это отчасти и правда, но взгляните, Бога ради, сколько книгъ мнѣ присылаютъ... и какія еще книги—посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальныя книжонки! И я долженъ непремѣнно хоть по нѣскольку словъ написать о каждой изъ этихъ книжонокъ!...

Онъ остановился на минуту, тяжело вздохнулъ и продолжалъ:

— Да и если бы знали вы, какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же—все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ; не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамъ — все искусство да искусство!... Ну какой я литературный критикъ! Я рожденъ памфлетистомъ — и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло на душѣ, отчего сердце болитъ!

Ничѣмъ неудержимый, смѣлый, безпощадный и неумолимый боецъ на бумагѣ, жестоко и ядовито терзавшій всѣ мелкія самолюбьица щекотливыхъ свѣтскихъ и модныхъ писателей, съ внѣшнимъ блескомъ и съ внутреннею пустотою, онъ избѣгалъ встрѣчи съ ними и при своей врожденной робости и отсутствіи свѣтскости терялся обыкновенно при этихъ встрѣчахъ; но на крайне безвастѣнчивый вопросъ одного изъ великосвѣтскихъ писателей онъ отвѣчалъ однажды очень ловко.

Бѣлинскій обѣдалъ у меня дня черезъ два послѣ напечатанія его критической статьи на одно изъ литературныхъ произведеній, произведшее большой шумъ въ публикѣ послѣ своего великолѣпнаго появленія. Критика Бѣлинскаго была написана необыкновенно тонко и ловко, и тѣмъ сильнѣе чувствовалась ея ядовитость. Мы сѣли обѣдать ранѣе обыкновеннаго. Въ началѣ обѣда вдругъ раздался рѣзкій звонокъ и вслѣдъ за тѣмъ громкій голосъ: «дома?» самого автора этого произведенія. Бѣлинскій измѣнился въ лицѣ и приподнялся на стулѣ.

— Я уйду, прошепталъ онъ.

Жена моя уговорила его, однако, остаться.

Авторъ вошелъ, переваливаясь и волоча ноги.

— Здравствуйте-съ, сказалъ онъ, протянувъ руку моей женѣ, потомъ мнѣ и кивнувъ головою Бѣлинскому, который отвѣчалъ ему на это также легкимъ кивкомъ, закусивъ нижнюю губу, что выражало у него всегда неудовольствіе.

— Я не мѣшаю вамъ, продолжалъ небрежно авторъ: — дайте мнѣ послѣдній номеръ «Отечественныхъ Записокъ». Тамъ, говорятъ, меня ужасно отдѣлали. Мнѣ хочется пробѣжать эту статью...

Ему подали «Отечественныя Записки» и онъ пошелъ въ другую комнату.

Когда мы окончили обѣдъ, авторъ вдругъ прямо подошелъ къ Бѣлинскому.

— Что это *вы* надавали мнѣ оплеухъ? спросилъ онъ, полуулыбаясь. Бѣлинскій поблѣднѣлъ.

— Если вы называете это оплеухами, отвѣчалъ онъ смѣло и глядя ему прямо въ глаза: — то должны покрайней-мѣрѣ сознаться, что для этого я надѣлъ на руку бархатную перчатку.

Авторъ расхохотался и уже продолжалъ разговоръ съ Бѣлинскимъ съ большимъ вниманіемъ и привѣтливостью.

Къ числу общихъ нашихъ пріятелей, котораго мы посѣщали довольно часто и у котораго обыкновенно обѣдалъ Бѣлинскій по воскресеньямъ, принадлежалъ А. А. Комаровъ, преподававшій русскую словесность въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. А. А. Комаровъ глубоко уважалъ Бѣлинскаго и былъ преданъ всею душою. Онъ былъ между-прочимъ большой гастрономъ и съ особенною любовью и мастерски приготовлялъ саладъ. Бѣлинскій всегда былъ очень доволенъ его обѣдами и, похваливая ихъ хозяину дома, не упускалъ случая ввернуть словцо объ его двоюродномъ братѣ, который имѣлъ слабость также приглашать къ себѣ на обѣды, но кормилъ до крайности дурно.

— У Ал. Ал., говорилъ Бѣлинскій:—не испортишь желудка. Это не то, что у его двоюроднаго братца. Тотъ отравитель! На что желудки— у нихъ (онъ указывалъ на меня и на Языкова, также очень близкаго ему человѣка), булыжники перевариваютъ, а послѣ обѣда вашего братца и они приставляютъ иногда піявки къ желудкамъ.

А. А. Комаровъ былъ очень хорошъ съ покойнымъ Прокоповичемъ и черезъ него сошелся очень близко съ Гоголемъ. Первое время своей извѣстности Гоголь обыкновенно, пріѣзжая въ Петербургъ, останавливался у Прокоповича и часто бывалъ у Комарова. Здѣсь встрѣчался съ нимъ Бѣлинскій.

Бѣлинскій былъ въ энтузіазмѣ отъ Гоголя, какъ писателя—это всѣмъ извѣстно, но какъ съ человѣкомъ, онъ никогда не могъ сойтись съ нимъ близко. Гоголь былъ слишкомъ сосредоточенъ въ самомъ себѣ и къ тому же, по мѣрѣ своей извѣстности, начиналъ пріобрѣтать постепенно неприступность авторитета, все болѣе и болѣе сближаясь съ другими литературными и свѣтскими авторитетами. Открытый и искренній по натурѣ Бѣлинскій не терпѣлъ никакой напыщенности, натянутости и признавался, что ему всегда бывало немного тяжеловато въ присутствіи Гоголя.

Малороссійскіе устные разсказы Гоголя и его чтеніе (извѣстно, что онъ былъ удивительный чтецъ и превосходный разскащикъ) производили на Бѣлинскаго сильное впечатлѣніе...

Въ то время Гоголь еще нерѣдко позволялъ себѣ одушевляться въ кругу своихъ старыхъ несвѣтскихъ товарищей и пріятелей и, приготовляя самъ въ ихъ кухнѣ итальянскія макароны, до которыхъ былъ величайшій охотникъ, тѣшилъ ихъ своими разсказами.

Упомянувъ о неприступности Гоголя и его странномъ обращеніи съ его старыми пріятелями, я кстати позволю себѣ сдѣлать здѣсь небольшое отступленіе и разскажу объ одномъ вечерѣ (это уже было года два или три послѣ смерти Бѣлинскаго) у А. А. Комарова, на которомъ присутствовалъ Гоголь. Гоголь изъявилъ желаніе А. А. Комарову пріѣхать

къ нему и просилъ его пригласить къ себѣ нѣсколько извѣстныхъ *новыхъ* литераторовъ, съ которыми онъ не былъ знакомъ. А. А. пригласилъ между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также былъ въ числѣ приглашенныхъ, хотя былъ давно уже знакомъ съ Гоголемъ. Я познакомился съ нимъ лѣтомъ 1839 года въ Москвѣ, въ домѣ Сергѣя Тимоѳеевича Аксакова. Въ день моего знакомства съ нимъ, онъ обѣдалъ у Аксаковыхъ и въ первый разъ читалъ первую главу своихъ «Мертвыхъ Душъ». Мы собрались къ А. А. Комарову часу въ девятомъ вечера. Радушный хозяинъ приготовилъ роскошный ужинъ для знаменитаго гостя и ожидалъ его съ величайшимъ нетерпѣніемъ. Онъ благоговѣлъ передъ его талантомъ. Мы всѣ также раздѣляли его нетерпѣніе. Въ ожиданіи Гоголя не пили чай до десяти часовъ, но Гоголь не показывался, и мы сѣли къ чайному столу безъ него.

Гоголь пріѣхалъ въ половинѣ одиннадцатаго, отказался отъ чая, говоря, что онъ его никогда не пьетъ, взглянулъ бѣгло на всѣхъ, подалъ руку знакомымъ, отправился въ другую комнату и разлегся на диванѣ. Онъ говорилъ мало, вяло, нехотя, распространяя вокругъ себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяинъ представилъ ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь нѣсколько оживился, говорилъ съ каждымъ изъ нихъ объ ихъ произведеніяхъ, хотя было очень замѣтно, что не читалъ ихъ. Потомъ онъ заговорилъ о себѣ и всѣмъ намъ далъ почувствовать, что его знаменитыя «Письма» писаны имъ были въ болѣзненномъ состояніи, что ихъ не слѣдовало издавать, что онъ очень сожалѣетъ, что они изданы. Онъ какъ-будто оправдывался передъ нами.

Отъ ужина, къ величайшему огорченію хозяина дома, онъ также отказался. Вина не хотѣлъ пить никакого, хотя тутъ были всевозможныя вина.

— Чѣмъ же васъ угощать, Николай Васильичъ? сказалъ наконецъ въ отчаяніи хозяинъ дома.

— Ничѣмъ, отвѣчалъ Гоголь, потирая свою бородку: — впрочемъ, пожалуй, дайте мнѣ рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось въ домѣ. Было уже между-тѣмъ около часа, погреба всѣ заперты... Однако хозяинъ разослалъ людей для отысканія малаги.

Но Гоголь, изъявивъ свое желаніе, черезъ четверть часа объявилъ, что онъ чувствуетъ себя не очень здоровымъ и поѣдетъ домой.

— Сейчасъ подадутъ малагу, сказалъ хозяинъ дома: — погодите немного.

— Нѣтъ, ужъ мнѣ не хочется, да къ тому же поздно...

Хозяинъ дома однако умолилъ его подождать малаги. Черезъ полчаса бутылка была принесена. Онъ налилъ себѣ полрюмочки, отвѣдалъ, взялъ шляпу и уѣхалъ, несмотря ни на какія просьбы.

Не знаю, какъ другимъ, — мнѣ стало какъ-то легче дышать послѣ его отъѣзда...

Но обратимся къ Бѣлинскому.

Бѣлинскій ходилъ къ немногимъ, искреннимъ пріятелямъ, чтобы отдыхать отъ работы и отводить душу въ спорахъ и толкахъ о томъ, что

его сильно тревожило; но онъ больше любилъ домашній уголъ и устроивалъ его всегда, по мѣрѣ средствъ своихъ, съ нѣкоторымъ комфортомъ. Чистота и порядокъ въ его кабинетѣ были всегда удивительные: полы какъ зеркало, на письменномъ столѣ всѣ вещи разложены въ порядкѣ, на окнахъ занавѣсы, на подоконникахъ цвѣты, на стѣнахъ портреты различныхъ знаменитостей и друзей, и между прочими портретъ Станкевича и нѣсколько старинныхъ гравюръ, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ. Онъ самъ отыскивалъ ихъ на Толкучемъ рынкѣ и хвасталъ мнѣ своими находками. (Всѣ эти вещи хранятся теперь у нашего пріятеля. М. А. Языкова). Библіотеку свою, состоявшую большею частью изъ русскихъ книгъ, онъ умножалъ съ каждымъ годомъ и въ послѣднее время, когда уже свободно читалъ по-французски, началъ пріобрѣтать и французскія книги... Если кто-нибудь, бывало, оставитъ слѣды ногъ на его паркетѣ, насоритъ у него сигарочнымъ пепломъ. или плюнетъ на полъ, Бѣлинскій непремѣнно нахмурится и начнетъ ворчать. Въ его кабинетѣ нигдѣ не видно было ни соринки...

Въ первое время моего знакомства съ Бѣлинскимъ въ Москвѣ, еще когда стѣны его комнаты были голы и комната совсѣмъ пуста, эта страсть его къ чистотѣ тотчасъ же бросилась мнѣ въ глаза и нѣсколько удивила.

До моего знакомства съ Бѣлинскимъ, я все разспрашивалъ о немъ у Н. И. Надеждина, который больной лежалъ тогда (въ 1838 г.) въ гостинницѣ Демута, только-что вернувшись изъ Усть-Сысольска.

Надеждинъ, который былъ вообще словоохотливъ, какъ-будто избѣгалъ почему-то всякій разъ разговора о Бѣлинскомъ. Когда я разъ спросилъ объ его образѣ жизни, объ его привычкахъ,—Надеждинъ засмѣялся во весь ротъ, обнаруживъ, по обыкновенію, свои десны, и сказалъ:

— Малый онъ съ талантомъ, съ убѣжденіемъ, но въ жизни ужаснѣйшій циникъ. Когда онъ работалъ у меня въ «Телескопѣ», я нанялъ ему небольшую, но миленькую и чистенькую квартиру съ мебелью, еще съ цвѣтами на окнахъ!... Онъ не прожилъ въ ней и недѣли—не могъ—и переселился куда-то на Трубу, въ непроходимую грязь...

Когда я сошелся съ Бѣлинскимъ, я однажды спросилъ его:

— Что, вы всегда были такой охотникъ до чистоты, какъ теперь?

— Что̀ это за вопросъ? перебилъ Бѣлинскій.

Я ему передалъ слова Надеждина. Бѣлинскій расхохотался.

— Неужели онъ вамъ говорилъ это? вскрикнулъ онъ, весь вспыхнувъ.—Я клянусь вамъ, что ни о какой подобной квартирѣ я отъ роду не слыхивалъ,—еще съ цвѣточками! Хорошъ господинъ! Вы теперь меня видите и знаете: ну, похожъ ли я на циника?

Бѣлинскій впослѣдствіи, когда средства его немного увеличились, все понемногу прибавлялъ что-нибудь къ украшенію своей квартиры, всякій разъ показывалъ мнѣ свои пріобрѣтенія и совѣтывался со мною, какъ и куда поставить какую вещь... и этотъ *циникъ* прежде, чѣмъ садился за работу, самъ всякій разъ смахивалъ пыль со всѣхъ своихъ вещей въ кабинетѣ.

Къ нему часто сходились по вечерамъ его пріятели и онъ всегда встрѣчалъ ихъ радушно и съ шутками, если былъ въ хорошемъ распо-

ложеніи духа, т.-е. свободенъ отъ работы и не страдалъ своими обычными припадками. Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно зажигалъ нѣсколько свѣчей въ своемъ кабинетѣ. Свѣтъ и тепло поддерживали всегда еще болѣе хорошее расположеніе его духа...

Его небольшая квартира и Аничкова моста въ домѣ Лопатина, въ которой онъ прожилъ, кажется, съ 1842 по 1845 годъ, отличалась, сравнительно съ другими его квартирами, веселостью и уютностью. Эта квартира и ему нравилась болѣе прежнихъ. Съ нею сопряжено много литературныхъ воспоминаній. Здѣсь Гончаровъ нѣсколько вечеровъ сряду читалъ Бѣлинскому свою «Обыкновенную Исторію». Бѣлинскій былъ въ восторгѣ отъ новаго таланта, выступавшаго такъ блистательно, и все подсмѣивался по этому поводу надъ нашимъ добрымъ пріятелемъ М. А. Языковымъ. Надобно сказать, что Гончаровъ, зная близкія сношенія Языкова съ Бѣлинскимъ, передалъ рукопись «Обыкновенной Исторіи» Языкову для передачи Бѣлинскому, съ тѣмъ однако, чтобы Языковъ прочелъ предварительно и рѣшилъ, стоитъ ли передавать ее. Языковъ съ годъ держалъ ее у себя, развернулъ ее однажды (по собственному признанію), прочелъ нѣсколько страничекъ, которыя ему почему-то не понравились, и забылъ о ней. Потомъ онъ сказалъ о ней Некрасову, прибавивъ:—«кажется, плоховато, не стоитъ печатать». Но Некрасовъ взялъ эту рукопись у Языкова, прочелъ изъ нея нѣсколько страницъ, и тотчасъ, замѣтивъ, что это произведеніе выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, передалъ ее Бѣлинскому, который уже просилъ автора, чтобы онъ прочелъ самъ.

Бѣлинскій, все съ болѣе и болѣе возраставшимъ участіемъ и любопытствомъ, слушалъ чтеніе Гончарова и по временамъ привскакивалъ на своемъ стулѣ съ сверкающими глазами въ тѣхъ мѣстахъ, которыя ему особенно нравились. Въ минуты роздыховъ, онъ всякій разъ обращался, смѣясь, къ Языкову и говорилъ:

— Ну что, Языковъ, вѣдь плохое произведеніе — не стоитъ его печатать?...

На этой же квартирѣ появился у него авторъ «Бѣдныхъ Людей», еще до печати этого произведенія.

Надобно сказать, что первый узнавшій о существованіи «Бѣдныхъ Людей» былъ Григоровичъ. Достоевскій былъ его товарищемъ по Инженерному училищу.

Онъ сообщилъ свою рукопись Григоровичу, Григоровичъ передалъ ее Некрасову. Они прочли ее вмѣстѣ и передали Бѣлинскому, какъ необыкновенно замѣчательное произведеніе.

Бѣлинскій принялъ ее не совсѣмъ довѣрчиво. Нѣсколько дней онъ, кажется, не принимался за нее.

Онъ въ первый разъ взялся за нее ложась спать, думая прочесть немного; но съ первой же страницы рукопись заинтересовала его... Онъ увлекался ею болѣе и болѣе, не спалъ всю ночь и прочелъ ее разомъ, не отрываясь.

Утромъ Некрасовъ засталъ Бѣлинскаго уже въ восторженномъ, лихорадочномъ состояніи.

Въ такомъ положеніи онъ обыкновенно ходилъ по комнатѣ въ безпокойствѣ, въ нетерпѣніи, весь взволнованный. Въ эти минуты ему непремѣнно нуженъ былъ близкій человѣкъ, которому бы онъ могъ передать переполнявшія его впечатлѣнія...

Нечего говорить, какъ Бѣлинскій обрадовался Некрасову.

— Давайте мнѣ Достоевскаго! были первыя слова его.

Потомъ онъ, задыхаясь, передалъ ему свои впечатлѣнія, говорилъ, что «Бѣдные Люди» обнаруживаютъ громадный, великій талантъ, что авторъ ихъ пойдетъ далѣе Гоголя, и прочее. «Бѣдные Люди», конечно, замѣчательное произведеніе и заслуживало вполнѣ того успѣха, которымъ оно пользовалось, но всетаки увлеченіе Бѣлинскаго относительно его доходило до крайности.

Когда къ нему привезли Достоевскаго, онъ встрѣтилъ его съ нѣжною, почти отцовскою любовью, и тотчасъ же высказался передъ нимъ *весь*, передалъ ему вполнѣ свой энтузіазмъ.

Открытѣе, искреннѣе и прямѣе Бѣлинскаго я не зналъ никого.

Онъ самъ признавался не разъ:

— Что дѣлать? Я не умѣю говорить въ-половину, не умѣю хитрить— это не въ моей натурѣ...

Вообще открытіе всякаго новаго таланта было для него праздникомъ.

Страсть Бѣлинскаго, не имѣя другаго выхода, вся сосредоточилась на литературѣ. Онъ съ какою-то жадностью бросался на каждую вновь выходящую книжку журнала и дрожащей рукой разрѣзывалъ свои статьи, чтобы пробѣжать ихъ и посмотрѣть, до какой степени сохранился смыслъ ихъ въ печати. Въ эти минуты лицо его то вспыхивало, то блѣднѣло; отъ отбрасывалъ отъ себя книжку въ отчаяніи, или успокоивался и приходилъ въ хорошее расположеніе духа, если не встрѣчалъ значительныхъ перемѣнъ и искаженій.

Здоровье его между-тѣмъ было плохо. Друзья уже давно совѣтовали ему оставить журнальную работу, гибельную въ его положеніи. Онъ колебался, возражая: «а чѣмъ же я буду жить и содержать семейство?» Наконецъ одно обстоятельство, справедливо разсердившее Бѣлинскаго, придало ему рѣшимость. Весною 1846 года онъ отказался отъ срочной работы въ «Отечественныхъ Запискахъ» и отправился въ Москву, а въ началѣ іюня—на югъ Россіи вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ.

Проводы Бѣлинскаго были необыкновенно веселы и шумны. Они начались небольшимъ завтракомъ въ квартирѣ Щепкина. Я въ это время также былъ въ Москвѣ. Всѣ московскіе друзья Бѣлинскаго присутствовали тутъ; между прочими—Грановскій, Е. Ѳ. Коршъ, Кетчеръ и Герценъ, примиреніе котораго съ Бѣлинскимъ совершилось на моей квартирѣ въ 1840 г. Бѣлинскій былъ въ это время съ Герценомъ уже въ самыхъ близкихъ, дружескихъ сношеніяхъ. Они совершенно сошлись въ своихъ убѣжденіяхъ и Бѣлинскій всею силою души привязался къ нему. Они сдѣлались другъ для друга необходимыми людьми.

Герценъ, несмотря на перенесенные имъ перевороты и страданія, сохранялъ веселость и живость необыкновенную. Въ этотъ разъ онъ гово-

рилъ во время завтрака неумолкаемо, съ свойственнымъ ему блескомъ и остроуміемъ—и его звонкій, пріятный голосъ покрывалъ всѣ голоса.

Тарантасъ Щепкина уже былъ готовъ, экипажи провожавшихъ также. Наступила минута отъѣзда.

Герценъ все продолжалъ говорить съ неистощимою увлекательностью.

— Ѣдемъ, Михайло Семенычъ, пора! сказалъ Бѣлинскій, всегда нетерпѣливый въ такихъ случаяхъ.

— Позвольте, господа, перебилъ Коршъ: — какъ же мы поѣдемъ по городу съ Герценомъ? Съ нимъ по городу нельзя ѣхать.

— Отчего же? спросили всѣ съ недоумѣніемъ.

— Да вѣдь съ *колокольчиками* запрещено ѣздить по городу.

Всѣ расхохотались и двинулись къ экипажамъ.

Мы взяли съ собою провизіи и запасъ вина.

Обѣдать мы рѣшились на первой станціи—и тамъ уже окончательно проститься съ отъѣзжающими.

День былъ ясный и теплый; поѣздка наша была необыкновенно пріятна. Всегда неистощимый остроуміемъ, Герценъ въ этотъ день былъ еще блестящѣе обыкновеннаго.

Мы не выходили на станцію, а расположились близъ какой-то избы на открытомъ пригоркѣ. Мѣстоположеніе было незавидное, однако это не смущало насъ. Мы развязали наши припасы, достали вино и разставили все это на землю. За неимѣніемъ стола, Герценъ досталъ какую-то доску и на ней безъ церемоніи началъ рѣзать ветчину, что привело въ величайшее смущеніе Корша, который всегда былъ очень брезгливъ. Онъ ни за что потомъ не хотѣлъ дотронуться до этой ветчины.

Всѣ разсѣлись и разлеглись на землѣ или на бревнахъ, какъ попало... Кто тащилъ къ себѣ ветчину, кто рѣзалъ пирогъ, кто развертывалъ жаркое, завернутое въ бумагу. Кетчеръ кричалъ громче всѣхъ, хохоталъ безъ всякой причины и, по своему обыкновенію, все возился съ шампанскими бутылками.

— За здоровье отъѣзжающихъ! завопилъ Кетчеръ, наливъ всѣмъ въ стаканы шампанскаго и поднявъ свой бокалъ.

И при этомъ захохоталъ неизвѣстно почему.

Сигналъ былъ поданъ—и попойка началась. Кетчеръ все кричалъ и лилъ вино въ стаканы. Герценъ уже лежалъ вверхъ животомъ и черезъ него кто-то прыгалъ.

Бѣлинскаго, который не пилъ ничего и не любилъ пьяныхъ, все это начинало нѣсколько утомлять. Онъ терялъ свое веселое расположеніе духа и обнаруживалъ нетерпѣніе...

— Пора, пора, Михайло Семенычъ! повторялъ онъ.

Наконецъ тарантасъ поданъ. Всѣ переобнялись и перецѣловались съ отъѣзжающими...

— Дай Богъ тебѣ воротиться здоровому! кричали со всѣхъ сторонъ Бѣлинскому.

Онъ улыбнулся... Прощайте! прощайте! сказалъ онъ нетерпѣливо, махнувъ рукой.

Тарантасъ двинулся, колокольчикъ задребезжалъ. Мы всѣ провожали

его глазами... Бѣлинскій выглянулъ изъ тарантаса въ послѣдній разъ, кивнулъ намъ головой... и черезъ нѣсколько минутъ осталось на дорогѣ только облако пыли.

— У насъ, господа, осталось еще нѣсколько бутылокъ! закричалъ Кетчеръ, торжественно потрясая бутылкой въ воздухѣ.

Мы оставались однако послѣ отъѣзда Бѣлинскаго не долго. На возвратномъ пути Кетчеръ воевалъ немилосердно и поссорился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, жившимъ у Щепкина и провожавшимъ его.

Поѣздка на югъ Россіи не произвела никакого благотворнаго впечатлѣнія на здоровье Бѣлинскаго.

Онъ возвратился въ Петербургъ осенью 1846 года, чрезвычайно обрадованный неожиданнымъ для него извѣстіемъ о «Современникѣ», къ изданію котораго мы уже начинали приготовляться.

Всѣ эти приготовленія, толки о новомъ изданіи, мысль, что онъ, освободясь отъ непріятной ему зависимости, будетъ теперь свободно дѣйствовать съ людьми, къ которымъ онъ питалъ полную симпатію, которые глубоко уважали и любили его; наконецъ довольно забавная полемика, возникшая тогда между нами и «Отечественными Записками»,— все это поддерживало его нервы, оживляло и занимало его.

Онъ принялся съ жаромъ за статью о Русской литературѣ для «Современника» (см. 1 № «Совр.» 1847) и написалъ другую статью, полную негодованія (№ 2 «Совр.» 1847 г.), о знаменитыхъ письмахъ Гоголя, появленіе которыхъ глубоко оскорбило его.

Силы однако начинали измѣнять ему,— онъ это мучительно чувствовалъ; докторъ совѣтовалъ ему ѣхать за границу, мысль эта также улыбалась ему, всѣ друзья утверждали его въ этой мысли и надѣялись, что эта поѣздка принесетъ ему пользу и покрайней-мѣрѣ поддержитъ его хоть на нѣсколько времени. Средства нашлись и весною 1847 года онъ отправился на пароходѣ.

Въ это время находились за границею П. В. Анненковъ, къ которому Бѣлинскій чувствовалъ большую привязанность, и Тургеневъ; они, вѣроятно, могутъ сообщить много любопытнаго о пребываніи его тамъ и о впечатлѣніи, которое произвела на него Европа.

Изъ-за границы Бѣлинскій возвратился въ концѣ августа и остановился не надолго въ небольшой квартирѣ на Знаменской улицѣ... Первое время онъ казался гораздо свѣжѣе и бодрѣе и возбудилъ было во всѣхъ друзьяхъ своихъ надежду, что здоровье его поправится. Онъ самъ, кажется, впрочемъ слабо, питался нѣкоторое время этой надеждой. Черезъ мѣсяцъ онъ отыскалъ себѣ квартиру на Лиговкѣ въ домѣ Галченкова.

Квартира эта, довольно просторная и удобная, на обширномъ дворѣ этого дома, во второмъ этажѣ деревяннаго флигеля, передъ которымъ росло нѣсколько деревьевъ, производила какое-то грустное впечатлѣніе. Деревья у самыхъ оконъ придавали мрачность комнатамъ, заслоняя свѣтъ...

Наступила глухая осень, съ безразсвѣтными петербургскими днями, съ мокрымъ снѣгомъ, падавшимъ хлопьями на грязь, съ сыростью, проникающею до костей. Вмѣстѣ съ этимъ, у Бѣлинскаго возобновилось снова

удушье, еще въ болѣе сильной степени, сравнительно съ прежнимъ; кашель начиналъ опять страшно мучить его днемъ и ночью, отчего кровь безпрестанно приливала у него къ головѣ. По вечерамъ чаще и чаще обнаруживалось лихорадочное состояніе, жаръ... Силы его гаснули замѣтно съ каждымъ днемъ.

Осень и зима 1847 года тянулись для него мучительно. Вмѣстѣ съ физическими силами падали силы его духа. Онъ выходилъ изъ дому рѣдко; дома, когда у него собирались его пріятели, онъ мало одушевлялся и часто повторялъ, что ужь ему остается жить не долго, что смерть близится. Говорятъ, что чахоточные никогда почти не сознаютъ своей болѣзни, опасности своего положенія и постоянно разсчитываютъ на жизнь. Бѣлинскій очень хорошо зналъ, что у него чахотка и никогда не разсчитывалъ на жизнь и не утѣшалъ себя никакими мечтами на будущее.

Его болѣзненныя страданія развились страшно въ послѣднее время отъ петербургскаго климата, отъ разныхъ огорченій, непріятностей и отъ тяжелыхъ и смутныхъ предчувствій чего-то недобраго. Стали носиться какіе-то неблагопріятные для него слухи, все какъ-то душнѣе и мрачнѣе становилось кругомъ его, статьи его разсматривались все строже и строже. Онъ получилъ два весьма непріятныя письма, написанныя впрочемъ съ большою деликатностью, отъ одного изъ своихъ прежнихъ наставниковъ, котораго онъ очень любилъ и уважалъ. Ему надобно было, по поводу ихъ, ѣхать объясняться, но онъ уже въ это время не выходилъ изъ дому...

Нѣкоторые господа, мнѣніемъ которыхъ Бѣлинскій дорожилъ нѣкогда, начинали поговаривать, что онъ исписался, что онъ повторяетъ зады, что его статьи длинны, вялы и скучны.

Это доходило и до него, и глубоко огорчало его.

Къ веснѣ болѣзнь начала дѣйствовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изрѣдка только горя лихорадочнымъ огнемъ, грудь впала, онъ еле-передвигалъ ноги и начиналъ дышать страшно. Даже присутствіе друзей уже было ему въ тягость.

Я разъ зашелъ къ нему утромъ, это было или въ послѣднихъ числахъ апрѣля, или въ первыхъ мая. На дворъ, подъ деревья вынесли диванъ— и Бѣлинскаго вывели подышать чистымъ воздухомъ.

Я засталъ его уже на дворѣ.

Онъ сидѣлъ на диванѣ, опустя голову и тяжело дыша.

Увидѣвъ меня, онъ грустно покачалъ головою и протянулъ мнѣ руку, всю покрытую холоднымъ потомъ.

Черезъ минуту онъ приподнялъ голову, взглянулъ на меня и сказалъ:

— Плохо мнѣ, плохо, Панаевъ!

Я началъ было нѣсколько словъ въ утѣшеніе, но онъ перебилъ меня:

— Полноте говорить вздоръ.

И снова молча и тяжело дыша опустилъ голову.

Я не могу высказать, какъ мнѣ было тяжело въ эту минуту...

Я начиналъ заговаривать съ нимъ о разныхъ вещахъ, но все какъ-то неловко, да и Бѣлинскаго, кажется, уже ничто не интересовало... «Все кончено!—думалъ я...—черезъ нѣсколько дней, а можетъ быть и черезъ нѣсколько часовъ не станетъ этого человѣка!»

А солнце свѣтило такъ ярко; былъ такой чудесный весенній день, листочки на деревьяхъ начинали развертываться и воробьи чиликали и летали около умирающаго...

Бѣлинскій умеръ черезъ нѣсколько дней послѣ этого. У Языкова (М. А.) хранится портретъ карандашомъ, какъ онъ былъ за нѣсколько дней до смерти: исхудалый, съ горящими, лихорадочными глазами, съ всклокоченными волосами, обросшій бородой.

Портретъ этотъ сдѣланъ женой Языкова... Лицо умирающаго такъ поразило ее и такъ врѣзалось ей въ память, что она тотчасъ по пріѣздѣ домой набросала его на бумагу...

Въ минуту смерти его я не присутствовалъ, но тѣ, которые были тутъ, разсказывали мнѣ, что Бѣлинскій, лежавшій уже въ жару безъ силъ и безъ памяти на постели, вдругъ, къ изумленію ихъ, вскочилъ съ сверкавшими глазами, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, проговорилъ невнятно, но съ энергіею, какія-то слова и началъ падать. Его поддержали, уложили въ постель—и черезъ четверть часа его уже не стало...

Немногіе петербургскіе друзья провожали тѣло его до Волкова кладбища. Къ нимъ присоединились три или четыре *неизвѣстныхъ*, вдругъ Богъ знаетъ откуда взявшіеся. Они оставались до самаго конца печальной церемоніи на кладбищѣ и слѣдили за всѣмъ съ величайшимъ любопытствомъ, хотя слѣдить было ровно незачѣмъ. Бѣлинскаго отпѣли и опустили въ могилу, какъ и всякаго другаго, и огорченные друзья его бросили молча по христіанскому обычаю горсть земли въ его могилу, въ которой уже начинала проступать вода...

Я не имѣлъ ни малѣйшей претензіи на изображеніе личности Бѣлинскаго. Для такого труда надо большія силы, да еще и время для этого не настало. Этой небольшой статейкой я хотѣлъ только вызвать болѣе интересныя воспоминанія о немъ людей, которые были также близки къ нему, какъ я. Я буду вполнѣ счастливъ, если мои отрывочныя воспоминанія напомнятъ хоть сколько-нибудь образъ этого человѣка его друзьямъ и прочтутся не безъ интереса тѣми, которые не знали его, но которымъ дорога его память.

ПО ПОВОДУ

ПОХОРОНЪ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

Слишкомъ тринадцать лѣтъ назадъ тому, 29-го мая 1848 года, по Лиговкѣ къ Волкову кладбищу тянулась бѣдная и печальная процессія, не обращавшая на себя особеннаго вниманія встрѣчныхъ. За гробомъ шло человѣкъ двадцать пріятелей умершаго, а за ними, какъ это обыкновенно водится на всякаго рода похоронахъ, тащились двѣ извощичьи четверомѣстныя колымаги, запряженныя клячами... Это были литературныя похороны, не почтенныя впрочемъ ни одной литературной и ученой знаменитостью. Даже ни одна редакція журнала (за исключеніемъ редакціи «Отечественныхъ Записокъ» и только-что возникшаго «Современника») не сочла необходимымъ отдать послѣдній долгъ своему собрату, который честно всю жизнь отстаивалъ независимость слова и мысли, всю жизнь энергически боролся съ невѣжествомъ и ложью... Изъ числа двадцати, провожавшихъ этотъ гробъ, собственно литераторовъ было, можетъ-быть, не болѣе пяти-шести человѣкъ, — остальные принадлежали къ людямъ простымъ, не пользовавшимся никакою извѣстностью, но близкимъ покойному.... Ни одного посторонняго человѣка добровольно не было на этихъ похоронахъ, только два или три какіе-то неизвѣстные появлялись и на пути къ кладбищу, и въ церкви при отпѣваніи, и на могилѣ при опусканіи гроба. Чего хотѣли они, чѣмъ могли возбудить ихъ любопытство эти бѣдныя похороны?...

Когда покойника отпѣли, друзья снесли гробъ его на своихъ плечахъ до могилы, которая уже до половины была наполнена водою, опустили гробъ въ воду, бросили въ него, по обычаю, горсть земли и разошлись молча, не произнеся ни единаго слова надъ этимъ дорогимъ для нихъ гробомъ.

Послѣ возвращенія съ кладбища начались разсужденія о памятникѣ, о необходимости обезпечить семейство покойнаго, и такъ далѣе,—открылась подписка.... Всѣ говорили такъ горячо, у всѣхъ голоса дрожали,

у всѣхъ были слезы на глазахъ! Казалось, въ эту минуту всѣ готовы были пожертвовать для этого половиной своего состоянія, или отдать половину своихъ трудовыхъ денегъ.... И во всемъ этомъ было столько искренности!

Но мы обыкновенно вспыхиваемъ такъ же легко и быстро, какъ легко и быстро охлаждаемся (здѣсь я разумѣю ужь не однихъ друзей покойнаго, а вообще всѣхъ русскихъ людей)...

Мы, друзья его, еще не успѣли сносить обувь, въ которой шли за его гробомъ (я былъ также изъ числа двадцати), человѣка, поддерживавшаго между нами разумную связь и осмыслившаго наше существованіе, какъ нашъ энтузіазмъ къ его памяти уже совершенно остылъ и мы потеряли даже слѣдъ къ его могилѣ....

Шли годы. Сбившись съ прямаго пути, погружаясь болѣе и болѣе въ изящную пустоту жизни, путаясь въ частныхъ и личныхъ мелочахъ, поддерживая однако втихомолку свои авторитетики дружбою съ Бѣлинскимъ, имя котораго мы не рѣшались произносить громко, — мы и не замѣтили, какъ подошло къ намъ новое литературное поколѣніе съ горячею вѣрою въ будущее, которую мы давно утратили, съ твердыми убѣжденіями и съ смѣлымъ словомъ. Оно во всеуслышаніе произнесло имя Бѣлинскаго, которое въ теченіе слишкомъ семи лѣтъ не упоминалось въ литературѣ.

При этомъ, мы, немного смущенные и даже нѣсколько оскорбленные тѣмъ, что насъ предупредили люди посторонніе, также закричали: «Да, Бѣлинскій! Бѣлинскій!» и начали объяснять наши дружескія связи съ покойнымъ, намекать на нашу близость съ нимъ, чувствуя, что только этими намеками мы еще можемъ нѣсколько поддержать себя въ общественномъ мнѣніи. Затѣмъ множество почтенныхъ господъ профессоровъ и академиковъ,—которые при жизни Бѣлинскаго едва подозрѣвали о его существованіи, или, зная его, избѣгали съ нимъ встрѣчи, приходили въ ужасъ отъ его статей и въ угоду тогдашнимъ литературнымъ знаменитостямъ отзывались о немъ съ презрѣніемъ, — стали теперь упоминать о немъ съ весьма лестною для памяти покойнаго похвалою и даже какъ-будто съ нѣкоторымъ чувствомъ. Эти господа, вооружась именемъ Бѣлинскаго (бѣдный Бѣлинскій!), его авторитетомъ пробовали было преслѣдовать молодое, ненавистное для нихъ, поколѣніе.... «Куда вы идете?» кричали они: «что вы дѣлаете? Никогда Бѣлинскій не допустилъ бы того и того»; или: «если бы Бѣлинскій всталъ изъ гроба, онъ бы отвергнулъ съ негодованіемъ то и то» — и такъ далѣе.

Бѣлинскій пошелъ снова въ ходъ. Онъ пріобрѣлъ такихъ друзей и поклонниковъ черезъ десять лѣтъ послѣ своей смерти, отъ которыхъ бѣжалъ бы со страхомъ и негодованіемъ при жизни... Сочиненія его начали печататься въ Москвѣ и разошлись въ такомъ количествѣ, что можетъ-быть скоро потребуется второе изданіе; имя его начало безпрестанно появляться во всѣхъ газетахъ и журналахъ; новая редакція «Сѣверной Пчелы» сочла долгомъ объявить, что она вовсе не раздѣляетъ мнѣнія о Бѣлинскомъ прежней редакціи и питаетъ къ нему большое уваженіе, какъ къ критику... Одинъ изъ талантливѣйшихъ нашихъ

писателей на своихъ изящныхъ лекціяхъ о литературѣ, читанныхъ для самаго избраннаго великосвѣтскаго общества, въ присутствіи старыхъ литературныхъ знаменитостей, совершилъ изумительный подвигъ, поставивъ имя Бѣлинскаго на ряду съ именами Пушкина и Гоголя!!.. Объ этомъ говорилъ нѣкогда весь городъ...

Даже могила Бѣлинскаго была отыскана, и, къ изумленію друзей его, на этой могилѣ оказалась плита и камень съ надписью: «Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій, скончался 26 мая 1848 года». Два года тому назадъ жена и дочь Бѣлинскаго, проѣздомъ черезъ Петербургъ, нашли на его могилѣ свѣжіе вѣнки и цвѣты.... Кѣмъ положенъ этотъ камень? Кто украшаетъ эту могилу цвѣтами?...

Покрайней-мѣрѣ, мы, друзья Бѣлинскаго, не можемъ дать на это отвѣта....

Черезъ тринадцать лѣтъ, насъ привелъ къ его могилѣ Добролюбовъ. Сколько совершилось въ эти 13 лѣтъ—отъ смерти Бѣлинскаго до смерти Добролюбова! И какая разница между поколѣніемъ Бѣлинскаго и новымъ поколѣніемъ, современнымъ Добролюбову!

Бѣлинскій выступилъ на литературное поприще болѣе смѣлымъ и рьянымъ, чѣмъ приготовленнымъ къ дѣлу бойцомъ. Энергическій, талантливый, пылкій, увлекающійся, путающійся въ философскихъ теоріяхъ, которыя передавались ему его друзьями, онъ долго боролся съ собою: то съ ожесточеніемъ разбивалъ авторитеты, то съ торжественностью возносилъ ихъ до небесъ и пѣлъ имъ почти гимны. Онъ мучительно отыскивалъ истину, терзался отъ своихъ внутреннихъ противорѣчій, безпрестанно увлекался, сбивался съ пути и приходилъ въ отчаяніе.... Только года за четыре до своей смерти, онъ высвободился отъ всѣхъ постороннихъ вліяній и сталъ на болѣе твердую почву. Бѣлинскій съ начала тридцатыхъ до конца сороковыхъ годовъ подвизался на литературномъ поприщѣ: въ «Молвѣ», въ «Телескопѣ», въ «Московскомъ Наблюдателѣ», въ «Отечественныхъ Запискахъ» и въ «Современникѣ»...

Съ самаго вступленія на литературное поприще онъ является окруженный друзьями, которые развиваютъ его, поддерживаютъ его и распространяютъ его извѣстность; онъ вскорѣ самъ дѣлается представителемъ кружка.... Бѣлинскій высказываетъ все, что дано ему было высказать, и сходитъ въ могилу, конечно, преждевременно, но почти уже совершивъ свое назначеніе. Онъ былъ полнымъ отголоскомъ своего поколѣнія, серьёзно начинавшаго сознавать грубость и пошлость среды, его окружавшей, того поколѣнія, которое ощутило дѣйствительную потребность лучшей, высшей жизни и стремилось къ ней съ юношескою горячностью, страстно, тревожно, но ощупью, — то расплываясь въ романтизмѣ, то ища точки опоры въ нѣмецкой философіи, то увлекаясь соціальными идеями Леру и Жоржъ-Занда; того поколѣнія, которое произвело «Лишнихъ Людей», Лаврецкихъ, Пасынковыхъ, Рудиныхъ и иныхъ; того поколѣнія, которое было исполнено благородныхъ, но не совсѣмъ опредѣленныхъ порываній, стремленій и увлеченій,—*безконечныхъ увлеченій* и вспышекъ; которое иногда впадало въ ложный, искусственный лиризмъ и нерѣдко смѣшивало фразы съ дѣломъ....

Литературная дѣятельность Добролюбова, явившаяся черезъ десять лѣтъ послѣ Бѣлинскаго,—эта дѣятельность, едва успѣвшая проявиться, тѣмъ не менѣе однако указываетъ очень рѣзко на то, какъ ушло впередъ новое поколѣніе отъ поколѣнія Бѣлинскаго....

Добролюбовъ окончилъ курсъ въ бывшемъ Педагогическомъ институтѣ въ 1857 году. Онъ началъ принимать участіе въ критическихъ отдѣлахъ журналовъ еще будучи въ институтѣ, и одна изъ его библіографическихъ статей, относящихся къ этому времени, напечатанная въ «Современникѣ», обратила на себя всеобщее вниманіе своимъ здравымъ взглядомъ и ѣдкою ироніею. Статья эта надѣлала шумъ. Она была прочтена всѣми. «Какая умная и ловкая статья!» восклицали люди, никогда не обращающіе никакого вниманія на литературу.... «Скажите, кто писалъ эту статью?» слышались безпрестанные вопросы.

Умъ и блестящія способности Добролюбова не могли не обратить на него особеннаго вниманія лучшихъ изъ его профессоровъ; и я помню, что на вечерѣ у князя Щ*, который былъ въ то время попечителемъ Петербургскаго округа, цѣлый вечеръ шли толки о Добролюбовѣ и о томъ, какія блестящія надежды подаетъ онъ.

— Жаль только одно, замѣтилъ кто-то:—онъ навѣрно не вступитъ въ службу... Журналисты тотчасъ запутаютъ его въ свои сѣти, и онъ весь отдастся литературѣ...

Многіе ученые присоединились къ этому голосу и съ своей стороны изъявили также сожалѣніе.

Вышло дѣйствительно такъ. Добролюбовъ по выходѣ изъ института весь отдался литературѣ. Да и могло ли быть иначе?... У него была глубокая, истинная, непреодолимая потребность высказаться посредствомъ литературы; онъ глубоко чувствовалъ и сознавалъ свое призваніе. Журналистамъ нечего было ловить его въ свои сѣти, заманивать его: онъ самъ твердо и сознательно вошелъ въ литературу, какъ власть имѣющій. И съ перваго же раза занялъ въ ней видное мѣсто.

Не уступая нисколько Бѣлинскому въ литературномъ талантѣ, Добролюбовъ имѣлъ уже преимущество передъ нимъ въ томъ, что получилъ основаніе несравненно болѣе прочное и твердое; онъ съ перваго шагу сталъ на прямой путь, вполнѣ сознавая, куда онъ ведетъ, и пошелъ по немъ ровнымъ и твердымъ шагомъ, не уклоняясь въ стороны, не увлекаясь, не впадая въ юношескій паѳосъ, не подчиняясь и не кланяясь литературнымъ авторитетамъ и не дѣлая имъ ни малѣйшихъ уступокъ. Никто такъ глубоко и вѣрно, просто и здраво не смотрѣлъ на явленія русской жизни и на послѣднія произведенія русской литературы; никто такъ горячо не сочувствовалъ нашимъ насущнымъ общественнымъ потребностямъ... Въ его статьяхъ проглядывала та мощь, та внутренняя, сосредоточенная сила, которая обнаруживала въ немъ будущаго великаго двигателя; его статьи были проникнуты глубокою любовью къ человѣку, самымъ горячимъ участіемъ къ нашимъ низшимъ братьямъ и самымъ искреннимъ и здравымъ патріотизмомъ.... Онѣ, несмотря на срочность и быстроту журнальной работы, развивались стройно, съ изумительною логическою послѣдовательностью, съ какимъ-то внѣшнимъ спо-

койствіемъ, подъ которымъ однако слышалось біеніе горячаго, любящаго сердца и изъ-подъ котораго проглядывалъ горькій юморъ человѣка, оскорбляемаго всякою ложью, лицемѣріемъ и пошлостью... Въ статьяхъ его не было и тѣни той внѣшней горячности, которая выражается обыкновенно въ такъ-называемыхъ *лирическихъ выходкахъ и отступленіяхъ*, которыя нашимъ поколѣніемъ цѣнились нѣкогда очень высоко, но въ настоящее время уже потеряли всякое значеніе и сдѣлались болѣе смѣшными, чѣмъ трогательными. Такія статьи, какъ *Темное Царство* и *Забитые Люди*, я думаю, достаточно подтверждаютъ сказанное. Въ одномъ изъ некрологовъ Добролюбова очень справедливо сказано, что его девизомъ и предсмертнымъ завѣщаніемъ своимъ близкимъ собратамъ по труду было: «меньше словъ и больше дѣла».

Дѣятельность Добролюбова была коротка (всего только четыре съ половиною года), но она была изумительно плодотворна.... Имя его не забудетъ исторія русской литературы!

Добролюбовъ вступилъ на литературное поприще одинокій, безъ всякихъ руководителей и покровителей (его гордой и сильной душѣ противно было меценатство), весь сосредоточенный въ самомъ себѣ въ 22 года и, при всей мягкости своихъ манеръ, если не холодный по наружности, то, покрайней-мѣрѣ, очень осторожный и сдержанный... Онъ едва очистилъ себѣ дорогу и проложилъ себѣ самостоятельный путь для дѣйствія, какъ смерть вдругъ прерываетъ его — на недоговоренномъ словѣ... но, несмотря на это, онъ оставляетъ по себѣ въ русской критикѣ почти такой же глубокій слѣдъ, какой оставилъ Бѣлинскій послѣ 14-лѣтней неутомимой дѣятельности.... Чего нельзя было ожидать отъ такой духовной силы!

Да! сила его дѣйствительно была велика. Это былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ характеровъ по стойкости, твердости и благородству изъ всѣхъ литературныхъ дѣятелей послѣдняго двадцатипятилѣтія.... Слово и дѣло никогда не противорѣчило въ немъ, и никогда въ своихъ поступкахъ онъ не допускалъ ни малѣйшаго, самаго невиннаго уклоненія отъ своихъ убѣжденій. Другаго, болѣе строгаго къ самому себѣ человѣка въ его лѣта трудно встрѣтить....

На многихъ изъ нашего поколѣнія,—людей впрочемъ очень замѣчательныхъ и даровитыхъ, — Добролюбовъ своею сдержанностью, сосредоточенностью и наружнымъ спокойствіемъ, которыя нерѣдко смѣшиваются съ холодностью и безсердечіемъ, производилъ не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе. Извѣстно, что наше поколѣніе попреимуществу обладало восторженностью, лиризмомъ и увлеченіемъ, и безпрестанно слова и фразы принимало за дѣло. Если какой-нибудь малоизвѣстный намъ господинъ говорилъ, напримѣръ, при насъ, сверкая глазами и ударяя себя въ грудь, что онъ ставитъ выше всего на свѣтѣ человѣческое достоинство и готовъ жизнію пожертвовать за личную независимость, или что-нибудь въ родѣ этого,—мы тотчасъ же бросались къ нему въ объятія, прижимали его, съ слезой въ глазу, къ нашему бьющемуся сердцу и восторженно, немного нараспѣвъ, восклицали: «Вы нашъ! О, вы нашъ!» и закрѣпляли союзъ съ нимъ прекраснымъ обѣдомъ съ шам-

панскимъ и *брудершафтомъ*. Если появлялся молодой человѣкъ съ нѣкоторымъ талантомъ и притомъ съ изящными манерами (что соединяется весьма рѣдко въ одномъ лицѣ), мы немедля приближали его къ себѣ, кричали всѣмъ встрѣчнымъ: «какой талантъ появился! Чудо! чудо! Какая художественная сила, какой художественный тактъ!» и такъ далѣе,—давали ему утонченные обѣды, предлагали въ честь его тосты, и валялись съ нимъ по диванамъ цѣлые вечера, толкуя —

О Шиллерѣ, о славѣ, о любви....

А молодой человѣкъ съ нѣкоторымъ талантомъ (который срѣзывался обыкновенно на второмъ произведеніи) говорилъ про насъ: «Что за люди! Какъ они глубоко понимаютъ искусство! Какимъ благороднымъ энтузіазмомъ бьются сердца ихъ!»

Всякая бездѣлица приводила насъ въ восторженное состояніе, погружала въ лирическій экстазъ. Мы все привыкли страшно преувеличивать, на старости лѣтъ пускались даже въ романтизмъ, начали вздыхать и разнѣживаться, не хуже нашихъ сантиментальныхъ дѣдовъ временъ «Бѣдной Лизы», и, какъ институтки, стали симпатизировать только тѣмъ, которые, подобно намъ, свой внутренній жаръ, или, вѣрнѣе, отсутствіе всякаго внутренняго жара, обнаруживали восторженными внѣшними знаками и фразами.

Все это, конечно, было бы довольно забавно, если бы не было такъ грустно, особенно при мысли, что мы принадлежали нѣкогда къ кружку Бѣлинскаго, называли себя его учениками и, слѣдовательно, были нѣкогда на сторонѣ здравыхъ и свѣжихъ убѣжденій!

Замѣчая при томъ, что новое поколѣніе начинаетъ довольно зло подсмѣиваться надъ нашею изнѣженностью, разслабленностью, надъ нашими романтическими выходками и лирическими возгласами, что оно начинаетъ слишкомъ уже выдвигаться впередъ, во вредъ намъ, и прокладываетъ себѣ новый, болѣе строгій и болѣе прочный путь,—мы, или покрайней-мѣрѣ нѣкоторые изъ насъ, ожесточились противъ новаго поколѣнія вообще и въ особенности противъ самыхъ яркихъ его представителей. Наше негодованіе должно было прежде всего, конечно, пасть на Добролюбова. Мы всѣ, или, пожалуй, нѣкоторые изъ насъ, за давностію лѣтъ, или по дѣйствительнымъ заслугамъ, оказаннымъ нами нѣкогда въ *дни нашей свѣжести*, — пріобрѣли авторитеты и кое-какіе авторитетики. Намъ, безъ сомнѣнія, было бы очень пріятно, если бы одинъ изъ представителей молодого поколѣнія обнаружилъ передъ нами такое благоговѣніе, какое мы обнаруживали въ нашей молодости передъ тогдашними авторитетами, и хоть для виду совѣтовался бы съ нами, выслушивалъ бы наши замѣчанія, и такъ далѣе. А Добролюбовъ не только не оказывалъ намъ никакого вниманія, даже просто не хотѣлъ замѣчать насъ, не изъявлялъ желанія быть намъ представленнымъ и отзывался о нашихъ твореніяхъ такъ, какъ о самыхъ обыкновенныхъ, безъавторитетныхъ произведеніяхъ. Скажите, не оскорбительно ли это? Положимъ, что учитель нашъ Бѣлинскій громилъ также авторитеты, но вѣдь авторитеты тогдашняго времени держали себя совершенно не-

доступно относительно молодаго поколѣнія... Тѣ изъ нихъ, которые знали о существованіи Бѣлинскаго, смотрѣли на него, какъ орлы на червя,— а мы — такъ ли вели себя *мы* относительно новаго поколѣнія?... Боже мой! да не мы ли *первые* протянули къ нему свои объятія, не мы ли первые встрѣтили его и привѣтствовали съ лирическимъ восторгомъ, и — что же?...

Но тутъ мы, — или, что все равно, нѣкоторые изъ насъ, — рѣшили, что новое поколѣніе, несмотря на свой дѣйствительно замѣчательный умъ и свѣдѣнія, поколѣніе сухое, холодное, черствое, безсердечное, все отрицающее, вдавшееся въ ужасную доктрину — въ *нигилизмъ!*... Нигилисты! Если мы не рѣшились заклеймить этимъ страшнымъ именемъ все поколѣніе, то покрайней-мѣрѣ увѣрили себя, что Добролюбовъ принадлежалъ къ нигилистамъ изъ нигилистовъ.

— Господа! (я обращаюсь къ тѣмъ, которые хотя одну минуту почему бы то ни было могли впасть въ такое странное заблужденіе) прочтите внимательно все, что написано Добролюбовымъ, отъ первой библіографической статейки его въ «Современникѣ» 1857 г. до «Забитыхъ Людей» включительно (чтеніе это не утомитъ васъ), и сознайтесь, что тотъ, кто написалъ это, имѣлъ сердце горячее, любящее, благородное, проникнутое искреннею любовью къ человѣчеству, несокрушимой вѣрой въ его совершенствованіе, — сердце, мучительно страдавшее отъ всякой лжи, неправды и гнета... Будьте откровенны, сознайтесь, — вы до-сихъ-поръ не читали ни одной статьи его, а такъ только аристократически перелистывали нѣкоторыя изъ нихъ, и составили о Добролюбовѣ понятія по отрывочнымъ слухамъ и толкамъ. Я увѣренъ, что, серьёзно перечитавъ его, вы искренно раскаетесь въ вашемъ опрометчивомъ объ немъ мнѣніи (у васъ сердце доброе, врожденное чувство справедливости еще не заглушено въ васъ), примиритесь съ нимъ внутренно, можетъ-быть даже почувствуете симпатію къ его памяти и пойдете поклониться его праху... Оно же и кстати: рядомъ съ нимъ лежитъ вашъ другъ и учитель — Бѣлинскій, на могилѣ котораго вы такъ давно не были!...

.... Я увидѣлъ въ первый разъ Добролюбова въ 1855 г., но познакомился съ нимъ уже позже, когда онъ сдѣлался постояннымъ членомъ редакціи «Современника», передъ окончаніемъ своего курса. Мнѣ всегда казалось, что въ немъ духовная сила преобладала надъ физической, что его мощный духъ заключенъ былъ въ слишкомъ слабомъ тѣлѣ. Онъ всегда имѣлъ видъ болѣзненный, нѣсколько утомленный. Неизлечимая хроническая болѣзнь, сокрушившая его, начинала, кажется, уже тогда зарождаться въ немъ. Усиленный трудъ въ институтѣ, усиленный трудъ послѣ выпуска, обращающійся обыкновенно въ потребность у всѣхъ людей, слишкомъ жаждущихъ знанія и слишкомъ стремящихся къ совершенствованію, тяжкая борьба съ гнетущею средою, — все это вмѣстѣ развивало въ немъ болѣзнь и быстро вело его къ ранней могилѣ...

Послѣ четырехлѣтней неутомимой и лихорадочной журнальной дѣятельности, онъ почувствовалъ истощеніе силъ и, по совѣту докторовъ, отправился за границу. За границей онъ пробылъ болѣе года, и возвратился въ Петербургъ въ половинѣ сентября этого года.

— Что, какъ вы находите меня? Поправился ли я? спросилъ онъ меня при первой нашей встрѣчѣ.

— Да, очень, отвѣчалъ я.

А между-тѣмъ на блѣдномъ и вытянувшемся лицѣ его, обросшемъ бородою, выражалось крайнее истощеніе силъ, предвѣщавшее близящуюся смерть.

Изъ-за границы онъ привезъ много книгъ, изъ чего можно было замѣтить, что онъ приготовлялся къ труду, еще болѣе усидчивому и серьёзному.

За мѣсяцъ до смерти онъ сказалъ своему брату-гимназисту: «Мнѣ теперь надо сильно работать, чтобы раздѣлаться съ моими долгами». Надобно замѣтить, что Добролюбовъ въ послѣднее время много помогалъ своему семейству, и опредѣлилъ двухъ братьевъ своихъ въ 3-ю Петербургскую гимназію. Отецъ его, выстроившій передъ своею смертью трехъэтажный домъ въ Нижнемъ-Новгородѣ (о которомъ, по поводу смерти Добролюбова, упомянуто было въ одной газетѣ), очень запуталъ дѣла свои, именно по случаю этой постройки, и оставилъ послѣ себя долги.

Здоровье Добролюбова послѣ возвращенія его изъ-за границы съ каждымъ днемъ становилось хуже. Борясь съ физическими и нравственными муками, подавляемый самыми тяжелыми и безотрадными впечатлѣніями, онъ принялся однако за свой обычный журнальный трудъ, и уже съ смертью въ груди, ослабѣвшей рукой дописывалъ послѣднія строки своей статьи по поводу г. Достоевскаго: «Забитые Люди». Доктора объявили въ это время его близкимъ, что никакой, самый малѣйшій трудъ невозможенъ для него, что ему необходимо совершенное спокойствіе физическое и нравственное (возможно ли было для него послѣднее— доказываетъ его раздирающій душу дневникъ) и что дни его уже сочтены.

Добролюбовъ однажды утромъ кое-какъ добрелъ до Некрасова и уже не могъ возвратиться домой. Онъ пробылъ у Некрасова недѣли двѣ, и за недѣлю до смерти пожелалъ, чтобы его перенесли домой.

Съ этой минуты онъ не вставалъ съ постели и ослабѣвалъ съ каждымъ часомъ; страданія его усиливались: онъ не спалъ ночи напролетъ, метался, просилъ безпрестанно, чтобы его переворачивали и перекладывали — въ послѣдніе дни онъ не могъ пошевельнуться самъ и говорилъ едва слышно; это была мучительная и долгая агонія. Онъ сознавалъ близость и неизбѣжность смерти.

Добролюбовъ скончался 17-го ноября.

Друзья покойнаго объявили въ газетахъ о его смерти и о выносѣ его тѣла, и въ то же время озаботились, чтобы Добролюбовъ былъ положенъ рядомъ съ Бѣлинскимъ.

На похороны, 20-го ноября, сошлось человѣкъ до двухъ сотъ, въ числѣ которыхъ были профессоры университета, журналисты и извѣстные литераторы, за исключеніемъ весьма немногихъ. Гробъ несенъ былъ на рукахъ отъ квартиры покойнаго (на Литейной улицѣ) до самаго Волкова кладбища.

Надъ гробомъ Добролюбова и надъ его могилой произнесено было нѣсколько горькихъ и задушевныхъ словъ его друзьями и посторонними лицами и прочтены были отрывки изъ его дневника...

Какая разница между похоронами Бѣлинскаго и Добролюбова!

Отрывки изъ дневника Добролюбова яснѣе и краснорѣчивѣе всякихъ словъ объясняютъ, что люди съ такимъ энергическимъ стремленіемъ къ добру и правдѣ, какимъ былъ движимъ Добролюбовъ, должны чувствовать вдвое сильнѣе тѣ страшныя пытки и страданія, которыя суждено испытывать вообще всѣмъ мыслящимъ людямъ. Ни Бѣлинскій, ни Добролюбовъ вслѣдствіе этого не могли жить долго. Бѣлинскій умеръ тридцати-пяти лѣтъ, Добролюбовъ двадцати-шести!

Да и вообще, какъ извѣстно, всѣмъ даровитымъ русскимъ людямъ не живется что-то...

Церковный обрядъ былъ конченъ, слова и рѣчи смолкли, послѣдняя горсть земли брошена въ могилу, всѣ разошлись тоскливо, съ тяжелою думою...

Смерть соединила Добролюбова съ Бѣлинскимъ. Возлѣ благороднѣйшаго литературнаго дѣятеля нашего поколѣнія легъ благороднѣйшій и талантливѣйшій литературный дѣятель новаго поколѣнія. Бѣлинскій дождался достойнаго гостя...

Новое поколѣніе будетъ, конечно, благодарнѣе и памятливѣе нашего— и не заростетъ тропа къ этимъ могиламъ.

Миръ вашему праху, наши братья по мысли и убѣжденію!.....

МАРТЫНОВЪ.

Мартынова не стало! Къ этому прибавлять нечего. О томъ, что потеря эта незамѣнима для русской сцены, что театръ нашъ лишился своего лучшаго украшенія; артиста, которымъ онъ по справедливости гордился; что съ его смертью должны сойти со сцены многія изъ замѣчательныхъ произведеній, и безъ того скуднаго нашего драматическаго репертуара... и такъ далѣе—повторять этого мы не станемъ. Все это, по поводу печальнаго извѣстія о неожиданной кончинѣ Мартынова, высказано прежде насъ въ газетныхъ фельетонахъ.

Мартыновъ умеръ на сорокъ-пятомъ году, въ полномъ разцвѣтѣ своего таланта, который, несмотря на всѣ внѣшнія преграды и препятствія, шелъ постоянно впередъ и широко развился въ послѣдніе годы, обнаруживъ такую силу, которую, не преувеличивая, можно было назвать геніальной.

Нѣтъ сомнѣнія, что Мартыновъ не остановился бы на той высотѣ, до которой уже онъ достигъ. Такого рода творческія натуры, къ какимъ принадлежала натура Мартынова, не скоро успокоиваются на лаврахъ, Рукоплесканія, восторженные крики, вѣнки и различныя сценическія оваціи погружаютъ обыкновенно въ тупое самодовольствіе и пошлое величіе посредственные таланты. Избранныя натуры не удовлетворяются своими успѣхами, какъ бы эти успѣхи ни были огромны, и постоянно стремятся впередъ, подъ вліяніемъ своего тревожнаго генія.

По силѣ и творчеству на русской сценѣ, съ самаго начала ея существованія до сей минуты, не было ни одного актера, подобнаго Мартынову. Были на ней замѣчательные таланты, если вѣрить нашимъ дѣдамъ и отцамъ, но при тогдашнемъ, совершенно младенческомъ состояніи искусства,—хорошій декламаторъ съ звучнымъ и громкимъ голосомъ и съ видной фигурой долженъ былъ считаться великимъ актеромъ. Мы застали Каратыгина въ самое брестящее его время. Каратыгинъ былъ дѣйствительно замѣчательный талантъ, но онъ явился въ неблагопріятное время

для своего развитія — въ переходное время отъ старой классической трагедіи къ новѣйшей драмѣ. Воспитанный въ старыхъ сценическихъ преданіяхъ, онъ перенесъ въ новѣйшую драму, съ которой ему надобно было *примиряться*, всю напыщенность и рутину старой трагедіи. Являясь даже во фракѣ, въ роляхъ Чацкаго и Онѣгина, онъ не могъ освободиться отъ своего героическаго величія: ходилъ въ сапогахъ, какъ на котурнахъ, размахивалъ руками въ Онѣгинѣ, какъ Дмитрій Донской, и декламировалъ въ Чацкомъ, какъ Фингалъ. Въ шекспировомъ Гамлетѣ онъ походилъ болѣе на расиноваго Ипполита, въ которомъ нѣкогда рукоплескали ему наравнѣ съ Семеновой. Отличный (по прежнимъ понятіямъ) декламаторъ и превосходный пластикъ, онъ былъ на нашей сценѣ послѣднимъ и талантливымъ представителемъ отживавшаго искусства. Постоянно герой, онъ почти никогда на сценѣ не былъ просто человѣкомъ, и изъ груди его рѣдко вырывались звуки истинной страсти, тѣ ласкающіе или потрясающіе звуки, проникавшіе до глубины сердца, которые намъ удавалось слышать изъ устъ талантливаго дикаря — Мочалова. безпутно промотавшаго свой прекрасный талантъ...

Мартыновъ, какъ геніальный актеръ, инстинктивно понялъ, что время стараго риторическаго искусства прошло безвозвратно и что надобно окончательно оторваться отъ всѣхъ рутинныхъ и пошлыхъ сценическихъ преданій. Въ немъ билъ свѣжій ключъ новой жизни—и онъ не могъ идти по избитой дорогѣ, руководиться рутиной, благоговѣть передъ устарѣлыми авторитетами, и проч. Онъ проложилъ для себя новый путь. Онъ первый явился на русской сценѣ *настоящимъ человѣкомъ*, каковъ онъ есть въ дѣйствительной жизни, въ свои комическія и трагическія минуты. Мартыновъ показалъ намъ въ первый разъ на сценѣ *русскаго человѣка*— помѣщика, купца, крестьянина, чиновника; онъ глубоко и вѣрно, со всѣми тончайшими оттѣнками, уловилъ черты каждаго изъ этихъ сословій. Онъ обновилъ и оживилъ русскую сцену, онъ придалъ ей популярность, онъ далъ ей смыслъ и значеніе.

И все это онъ совершилъ одною своею творческою силою, однимъ чуднымъ инстинктомъ художника, безъ всякой посторонней помощи.

Щепкинъ, напримѣръ, еще задолго до Мартынова имѣлъ очень благотворное вліяніе на московскую сцену. Онъ преслѣдовалъ всѣ устарѣлыя сценическія преданія и внушалъ любовь къ искусству молодому поколѣнію артистовъ, группировавшемуся около него; но Щепкинъ образовался и получилъ настоящій взглядъ на искусство въ кругу передовыхъ людей русской литературы: съ Аксаковыми, Надеждинымъ, съ Бѣлинскимъ и его кружкомъ, съ Гоголемъ онъ былъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ, онъ поддерживалъ связи со всѣми извѣстными литераторами...

Мартыновъ постоянно шелъ одинъ по пути развитія, какъ мы сказали, безъ всякихъ совѣтниковъ и руководителей, вдали отъ всѣхъ литературныхъ знаменитостей. Онъ не искалъ ихъ; они потомъ сами бросились къ нему, пораженные его талантомъ...

Не легко у насъ поприще артиста. Чтобы переносить борьбу съ нищетою, съ ежедневными мелочными и неожиданными непріятностями, съ придирками и прижимками театральныхъ бюрократовъ и проч., надобно

имѣть сильную любовь къ искусству—и Мартыновъ все это сносилъ терпѣливо, потому-что искусство было его жизнію. Онъ даже не заботился объ улучшеніи своего положенія, подобно другимъ болѣе рѣшительнымъ и смѣлымъ своимъ товарищамъ. Онъ ни у кого не заискивалъ, никому не кланялся и, можетъ-быть, до конца жизни ограничился бы безропотно тѣмъ незначительнымъ содержаніемъ, которымъ онъ пользовался прежде, если бы не одно обстоятельство.

Но прежде нежели говорить объ этомъ, мы передадимъ по порядку нѣкоторые факты изъ его жизни, слышанные нами отъ людей близкихъ къ нему, отъ нѣкоторыхъ его товарищей, и отчасти взятые нами изъ разныхъ фельетоновъ.

Отецъ Мартынова былъ управляющимъ у г-жи Сухозанетъ. Она обратила вниманіе на его сына; по ея протекціи — и то не безъ затрудненій—онъ былъ помѣщенъ въ театральное училище. Помѣщенію его почему-то препятствовалъ театральный чиновникъ Гемнигъ, и десятилѣтній Мартыновъ, чуть было не попавшій по его милости въ Петропавловское училище, опредѣленъ уже въ театральную школу по настоянію бывшаго тогда директоромъ театровъ князя Гагарина казеннокоштнымъ воспитанникомъ.

Тогда въ театральномъ училищѣ занимались почти исключительно хореграфическимъ искусствомъ, и Мартыновъ попалъ въ школу знаменитаго, воспѣтаго Пушкинымъ, Дидло, который немилосердно выламывалъ руки и ноги своимъ ученикамъ и ученицамъ. Два года пробылъ Мартыновъ въ этой нелегкой гимнастической школѣ и оказалъ такіе танцовальные успѣхи, что самъ немилосердный г. Дидло удостоилъ поставить его въ первую пару. Это былъ блестящій шагъ для Мартынова къ достиженію *почетнаго званія перваго танцовщика*. Въ это время г. Дидло умеръ, всѣ его сильфы, зефиры и амуры разбрелись, и Мартыновъ попалъ такимъ-то образомъ въ ученики декоратора Конопи, у котораго онъ занимался три года малеваніемъ декорацій. Послѣ смерти Конопи, Мартыновъ сталъ играть на учебной сценѣ и, къ счастію, обратилъ на себя вниманіе только-что назначеннаго тогда въ директоры театровъ г. Гедеонова своею игрою въ «Знакомыхъ Незнакомцахъ».

Эти любопытныя свѣдѣнія мы заимствовали изъ статьи о Мартыновѣ въ «Русскомъ Инвалидѣ». Авторъ ея, между-прочимъ, замѣчаетъ, что г. Дидло имѣлъ *благодѣтельное вліяніе на Мартынова, и что свобода, непринужденность—и когда нужно—изящество движеній даны ему, безъ всякаго сомнѣнія, уроками Дидло.*

Нѣтъ, мы не только сомнѣваемся въ этомъ, но полагаемъ совершенно наоборотъ, что не имѣй Мартыновъ врожденнаго чувства сценической правды, присущаго всѣмъ великимъ талантамъ, уроки пошлой и искусственной граціи, преподававшіеся ему Дидло, очень бы дурно подѣйствовали на него.

И неужели въ наше время серьёзно можно называть граціею—балетные прыжки, жесты, антраша и ломанья? Настоящая грація дается природою, безъ всякихъ пособій г. Дидло и другихъ.

Г. Гедеоновъ рѣшительно подвигнулъ Мартынова заниматься исклю-

чительно драматическимъ искусствомъ. Въ школѣ обратилъ на него особенное вниманіе П. А. Каратыгинъ, бывшій тогда учителемъ драматическаго искусства, и поощрялъ его своими похвалами.

Однимъ изъ первыхъ публичныхъ дебютовъ Мартынова была роль Мирошки въ водевилѣ *Филатка и Мирошка* (1832 г.). Онъ съигралъ эту роль случайно, по внезапной болѣзни актера Воротникова. Успѣхъ былъ огромный. Затѣмъ, замѣченный публикою, онъ мало-по-малу сталъ пріобрѣтать себѣ извѣстность.

Въ теченіе первыхъ лѣтъ послѣ выпуска изъ театральнаго училища онъ получалъ самое ничтожное содержаніе и помогалъ своему многочисленному семейству. Въ это время онъ жилъ съ однимъ изъ своихъ товарищей по школѣ, и они попеременно чистили другъ другу платье и сапоги. Мартыновъ, за неимѣніемъ сальной свѣчи, нерѣдко долженъ былъ учить свои роли при поэтическомъ свѣтѣ луны. Какъ-то разъ удалось ему (Мартыновъ самъ разсказывалъ это автору статьи о немъ въ «Русскомъ Инвалидѣ»), при усиленной экономіи, завестись новой парой платья. Въ этотъ день онъ все гулялъ по Невскому проспекту, и ему казалось, что всѣ любуются его платьемъ. Вернувшись домой, онъ принялся учить роль, а платье свое развѣсилъ на стулъ, и, переходя отъ платья къ роли, заснулъ наконецъ крѣпкимъ сномъ. Жилъ онъ въ нижнемъ этажѣ и забылъ запереть окно.—Когда онъ проснулся отъ холода и всталъ, чтобы запереть окно, онъ, къ ужасу своему, увидѣлъ, что платье исчезло. Каково же было ему, разсчитывавшему на эффектъ своей новой пары, идти на другой день на репетицію въ истертомъ и поношенномъ сюртукѣ!

Положеніе Мартынова улучшилось впослѣдствіи, когда уже онъ сдѣлался любимцемъ публики. Ему назначено было 1,400 руб. сер. въ годъ жалованья, отъ трехъ до четырехъ рублей серебромъ за спектакль и половинный бенефисъ. Мартыновъ былъ очень доволенъ этимъ содержаніемъ, будучи холостымъ; но когда онъ женился и у него родилось нѣсколько дѣтей—этихъ денегъ было ему недостаточно, особенно при увеличивавшейся съ каждымъ годомъ дороговизнѣ петербургской жизни. Несмотря на это, Мартыновъ никогда не жаловался никому на свое стѣсненное положеніе и не помышлялъ хлопотать о прибавкѣ. Въ 1859 году, если мы не ошибаемся, Самойловъ вдругъ получилъ прибавку къ получаемымъ имъ также 1,140 р. с.—1,600 р. с., по 35 р. с. за спектакль и полный бенефисъ. Мартыновъ почиталъ себя не хуже Самойлова. Самолюбіе нашего артиста было уязвлено тѣмъ, что его забыли; но г. Гедеоновъ, который былъ еще тогда директоромъ театровъ, успокоилъ его и объявилъ ему, что онъ выхлопочетъ и ему такую же прибавку.

— Я никогда бы не сталъ васъ безпокоить этимъ, сказалъ Мартыновъ г. Гедеонову:—потому-что я доволенъ милостями и вниманіемъ ко мнѣ Государя и прожилъ бы кое-какъ съ тѣмъ, что я получаю; но если нашли нужнымъ возвысить жалованье Самойлова, — за что же забыли меня?

Черезъ полгода послѣ этого, жалованье Мартынова сравняли съ жалованьемъ Самойлова, назначили ему также по 35 р. с. за спектакль и полный бенефисъ.

Мартыновъ пришелъ отъ этого въ восторгъ и почиталъ себя чуть не Крезомъ.

Многіе полагаютъ, что Мартыновъ скопилъ себѣ капиталъ; но изъ чего было скапливать ему? Онъ оставилъ пятерыхъ дѣтей, а вполнѣ обезпеченнымъ положеніемъ пользовался только послѣдніе два года. Намъ очень хорошо извѣстно, что, кромѣ пенсіона, у вдовы Мартыновой не осталось ничего послѣ мужа.

Положеніе Мартынова въ началѣ его поприща было очень печальное. Мы не говоримъ уже о его матеріальныхъ стѣсненіяхъ, которыя, какъ мы сейчасъ видѣли, онъ переносилъ легко, но о его положеніи, какъ артиста. Тогдашній комическій репертуаръ весь состоялъ изъ пошлыхъ французскихъ водевилей, просто переведенныхъ, или, что̀ еще хуже, передѣланныхъ на русскіе нравы, и изъ нѣсколькихъ устарѣлыхъ комедій князя Шаховскаго, Загоскина и другихъ. Такой репертуаръ способствовалъ не къ развитію дарованія артистовъ, а къ гибели этихъ дарованій въ самомъ зародышѣ. Только мощный талантъ Мартынова, который почти въ теченіе 20 лѣтъ не находилъ себѣ никакой пищи, могъ вынести съ честію это тяжкое испытаніе и выйти изъ него съ торжествомъ, не загрязнившись и не опошлившись. Кромѣ этого, Мартыновъ былъ еще стѣсненъ, какъ справедливо замѣтилъ авторъ статьи о немъ въ «Русскомъ Инвалидѣ», рутиннымъ сценическимъ обычаемъ, не допускающимъ артиста выходить изъ предѣла исключительнаго рода ролей, свойственныхъ будто бы только его таланту,—изъ своего *амплуа*, какъ говорятъ французы.

Только въ послѣдніе воды, когда русская сцена воскресла съ появленіемъ Островскаго и нѣкоторыхъ болѣе или менѣе удачныхъ пьесъ, взятыхъ изъ народной жизни, представилась возможность Мартынову показать вполнѣ свои драматическія силы и изумительную многосторонность своего таланта... Только въ послѣдніе годы мы убѣдились въ томъ, что Мартыновъ, независимо отъ своего комическаго таланта, обладаетъ еще не въ меньшей степени трагическимъ элементомъ. До этого, любители драматическаго искусства и литераторы смотрѣли на Мартынова довольно хладнокровно; многіе даже говорили, что Мартыновъ повторяется, что пошлый репертуаръ, въ которомъ онъ вращался, гибельно подѣйствовалъ на него, и такъ далѣе... Но эти господа не предчувствовали, какъ жестоко они ошибаются.

Мы никогда не забудемъ первое представленіе драмы г. Потѣхина: «Чужое добро въ прокъ нейдетъ». На это представленіе сошлись, между-прочимъ, почти всѣ наши извѣстные литераторы.

Мартыновъ съ перваго своего появленія поразилъ необыкновенною простотою, глубиною и вѣрностью своей игры. Онъ приковалъ къ себѣ вниманіе даже тѣхъ, которые начинали охладѣвать къ нему. Съ біеніемъ сердца стали они слѣдить за его игрою, не пропуская ни одного движенія, ни одного жеста; въ волненіи и изумленіи только поглядывая повременамъ другъ на друга. Когда представленіе кончилось, многіе изъ охладѣвшихъ къ Мартынову литераторовъ бросились въ уборную къ нему и обнимали его со слезами; въ партерѣ эти господа, потрясенные до глубины, повторяли: «Да, это великій артистъ, великій!» какъ-будто это

было новое открытіе. Тутъ же пошли толки о томъ, что надобно сблизиться съ Мартыновымъ, дать въ честь его обѣдъ, и прочее, какъ это обыкновенно водится въ минуты энтузіазма.

Такой же энтузіазмъ, если еще не болѣе, возбудилъ Мартыновъ въ пьесѣ г. Чернышева: «Не въ деньгахъ счастье»....

Литераторы начали посѣщать Александринскій театръ всякій разъ, когда Мартыновъ являлся въ этихъ пьесахъ и въ комедіяхъ Островскаго, и наконецъ уваженіе ихъ къ таланту великаго артиста возрасло до того, что въ честь его былъ данъ дѣйствительно обѣдъ, на которомъ произносились и читались стихи и рѣчи и былъ поднесенъ артисту портфель съ портретами почти всѣхъ участвовавшихъ въ этомъ обѣдѣ, о которомъ мы подробно говорили въ свое время.

Мартыновъ былъ тронутъ до глубины такимъ вниманіемъ къ нему со стороны людей, которыхъ по преимуществу считаютъ тонкими цѣнителями и знатоками искусства. Онъ былъ такъ взволнованъ и смущенъ въ этотъ день различными оваціями, что на всѣ эти краснорѣчивыя и, конечно, заранѣе заготовленныя рѣчи пробормоталъ только нѣсколько несвязныхъ словъ. На нѣкоторыхъ изъ литераторовъ это непріятно подѣйствовало... «Ну, какъ было не приготовиться заранѣе, чтобы прилично отвѣчать на наши рѣчи, стихи и тосты?» замѣчали нѣкоторые изъ нихъ. Но Мартыновъ, скромный, робкій, наивный какъ дитя, никогда не разсчитывалъ на эффекты, до которыхъ мы, литераторы, такіе охотники,— онъ явился на этотъ обѣдъ запросто, безъ всякихъ заученыхъ фразъ и приготовленій; но когда онъ возвратился домой съ огромнымъ альбомомъ, рѣчами и стихами, онъ отдалъ все это женѣ своей (мы слышали это отъ нея самой), бросился на диванъ и зарыдалъ...

Талантъ Мартынова цѣнили не одни только его соотечественники. Онъ приводилъ въ восторгъ своею игрою почти всѣхъ пріѣзжавшихъ въ Петербургъ артистовъ. Имя его сдѣлалось извѣстно черезъ нихъ въ Европѣ. Г. Алланъ, бывшій нѣкогда на здѣшней французской сценѣ, очень тонкій знатокъ искусства, сознавался, говорятъ, что онъ не встрѣчалъ подобнаго таланта на европейскихъ сценахъ. И дѣйствительно, изъ французскихъ актеровъ нашего времени только одинъ Фредерикъ Леметръ могъ равняться талантомъ съ Мартыновымъ.

Говорятъ также, что Лаблашъ очень любилъ Мартынова. Авторъ статьи о Мартыновѣ въ «Русскомъ Инвалидѣ» разсказываетъ, что онъ былъ свидѣтелемъ, какъ Лаблашъ смѣялся, глядя на Мартынова въ «Знакомыхъ Незнакомцахъ».

— Чему смѣетесь вы? спросили его:—развѣ вы понимаете?

— По-русски ни слова, отвѣчалъ Лаблашъ: — но я понимаю Мартынова.

Несмотря на свой громадный талантъ, Мартыновъ, какъ всѣ нервическія натуры, былъ страшно недовѣрчивъ къ самому себѣ и, несмотря на свою двадцати-восьми-лѣтнюю сценическую опытность, передъ появленіемъ своимъ на сценѣ въ новой роли всякій разъ былъ въ смущеніи и безпокойствѣ.

Физическія силы артиста давно уже начали ослабѣвать мало-по-малу, чему, конечно, одною изъ причинъ была усиленная игра его, которая сначала была необходима ему для поддержанія его существованія. Онъ нерѣдко являлся на сценѣ нѣсколько дней сряду, и въ одномъ представленіи игралъ въ нѣсколькихъ пьесахъ. Болѣзнь его, развиваясь незамѣтно, обнаружилась лѣтомъ 1857 года въ Павловскѣ до такой степени, что жизнь его была въ опасности, однако онъ кое-какъ поправился. Лѣтомъ 1858 г. онъ отправился за границу, былъ въ Италіи и на Эмскихъ водахъ и по возвращеніи почувствовалъ себя какъ-будто лучше; несмотря на это, весною 1859 года, по совѣту врачей, онъ снова поѣхалъ за границу. Лучшіе доктора Германіи, славящіеся леченіемъ грудныхъ болѣзней, осматривали его, и нашли, что хотя легкія его разстроены, но что ему нечего опасаться, *если онъ будетъ вести жизнь нормальную* и *спокойную*. Это было все равно, что сказать: «*если* вы оставите свое артистическое поприще, то вы будете живы»; а оставить его для Мартынова было все равно, что умереть. По возвращеніи своемъ въ 1859 году, онъ чувствовалъ себя очень хорошо; въ теченіе всей зимы игралъ безпрестанно и въ самыхъ трудныхъ роляхъ своихъ, не чувствуя особеннаго утомленія. Не только его родные и друзья, но и онъ самъ успокоился, несмотря на свою мнительность...

Весною нынѣшняго года, предпринимая поѣздку въ Москву и во внутрь Россіи, онъ говорилъ:

— Теперь ужь я не лечиться ѣду, а деньги добывать.

Мартыновъ остановился въ Москвѣ, далъ нѣсколько представленій, возбудивъ страшный энтузіазмъ даже и въ московской публикѣ, не совсѣмъ, какъ извѣстно, благосклонной къ петербургскимъ талантамъ; но вдругъ овладѣло имъ ничѣмъ неудержимое, болѣзненное желаніе повидаться съ женой и дѣтьми — и онъ, воспользовавшись трехъ-дневнымъ антрактомъ между двумя представленіями, отправился въ Петербургъ, пробылъ тамъ одинъ день, обнялъ въ послѣдній разъ жену, благословилъ дѣтей и вернулся въ Москву къ самому представленію.

Вотъ подробности о поѣздкѣ Мартынова въ Воронежъ, Харьковъ и Одессу. Подробности эти заимствовали мы изъ письма одного литератора, бывшаго его неразлучнымъ спутникомъ, и сообщены «Сѣверною Пчелою».

«Отъ Москвы до Одессы мы останавливались въ Воронежѣ. Первая ошибка Александра Евстафьевича была въ томъ, что онъ, почти не отдохнувши съ дороги, игралъ въ Воронежѣ три большіе спектакля сряду. Изъ Воронежа мы пріѣхали въ Харьковъ, гдѣ, несмотря на просьбы друзей, онъ не захотѣлъ даже отдохнуть, и мы поѣхали въ Одессу. Хотя дорога и утомила Александра Евстафьевича, но въ Одессу онъ пріѣхалъ въ состояніи довольно удовлетворительномъ. Одесса въ іюнѣ—это печь: сорокаградусные жары, ни одной капли дождя, адская пыль—все это едва переносимо и для здороваго, а для больного чахоткой — убійственно. Вліяніе одесскаго климата оказалось скоро: изнуреніе усиливалось, и каждый спектакль добивалъ въ артистѣ послѣднія силы. Послѣ *Кащея*, я думалъ, что онъ умретъ тутъ же на сценѣ.

«Когда мы уговаривали его, чтобы онъ отдохнулъ, или вовсе бросилъ Одессу, онъ отвѣчалъ, что связанъ словомъ, и что Крымъ его поправитъ.

«На южный берегъ его Мартыновъ поѣхалъ съ силами, совершенно разбитыми, такъ-что едва взошелъ на пароходъ. Въ Ялтѣ, какъ за послѣднее средство, онъ взялся за кумысъ; но пилъ его не долго; онъ скоро ему опротивѣлъ. Тутъ стали появляться очень неблагопріятные признаки, именно: обильная мокрота дурнаго свойства, которую онъ, при совершенной слабости, едва имѣлъ силы откашливать. Въ концѣ іюля онъ сталъ собираться домой, но какъ-то нехотя и съ какимъ-то страхомъ. Сколько разъ онъ говорилъ мнѣ и окружающимъ: — «Какъ я покажусь домой! Что скажутъ? Я испугаю семейство, я теперь долженъ буду лечиться.» Мы ѣхали опять чрезъ Одессу и пробыли тамъ два дня. Тутъ онъ сталъ торопиться. Я предлагалъ ему отдохнуть. — «Нѣтъ, нѣтъ, я поѣду, я ужь послалъ сегодня письмо; я приготовилъ своихъ ко всему.» Мы выѣхали изъ Одессы 2-го августа, ѣхали тихо, останавливались на ночь и среди дня въ жаръ. Кашель становился все хуже, мокрота увеличивалась, и силы слабѣли. Передъ Харьковомъ, Александръ Евстафьевичъ сказалъ Степану, своему служителю: «я умру въ Харьковѣ.» Когда я утѣшалъ его, что доѣдетъ благополучно, онъ отвѣчалъ мнѣ, что на него начинаетъ нападать апатія и совершенное равнодушіе ко всему. Въ Харьковъ мы пріѣхали въ 8 часовъ вечера, и онъ предполагалъ пробыть тамъ дней пять или шесть. Къ концу болѣзнь начала развиваться быстро, пропала всякая надежда даже временно возстановить его силы. Несмотря ни на что, онъ хотѣлъ ѣхать; я не рѣшился ему противорѣчить, хотя твердо былъ убѣжденъ, что онъ умретъ дорогой. Нанята была почтовая карета, и въ двѣнадцать часовъ дня въ воскресенье, 14-го августа, назначенъ былъ выѣздъ. Утромъ я вошелъ къ Александру Евстафьевичу, онъ лежалъ еще на кровати. — «Какъ я поѣду? сказалъ онъ:—я очень слабъ сегодня.» — «Такъ отдохните еще денька два, отвѣчалъ я.» Онъ согласился.

«Въ этотъ же день онъ не могъ самъ перейди до дивана, на которомъ обыкновенно лежалъ днемъ. Доктора ничего не могли сдѣлать: легкихъ не было. Въ понедѣльникъ, 15-го, Александръ Евстафьевичъ не могъ самъ подняться съ подушки. Во вторникъ былъ консиліумъ; но кончина приближалась. Въ этотъ день я и Степанъ не отходили отъ него ни на шагъ. Въ пять часовъ онъ еще принялъ лекарство, въ шесть уже не принималъ; я спросилъ у него: не зажечь ли огня? Онъ проговорилъ: «зажгите!» и это были послѣднія его слова.

«Часовъ въ семь больной какъ-то странно обвелъ глазами комнату; я велѣлъ Степану подойти къ нему поближе, думая, что онъ его ищетъ глазами; Степанъ сталъ противъ него; но мы ошиблись; взоръ его остановился; онъ глядѣлъ, уже не видя ничего. Потомъ онъ началъ дышать тише и тише, и черезъ полчаса жизнь перешла въ смерть, такъ незамѣтно, что мы все еще ждали послѣдняго вздоха, когда все уже было кончено. Вообще болѣзнь Александра Евстафьевича очень походила на медленное, постоянное угасаніе; начиная съ Одессы, день за день съ

страшной постепенностью угасали его силы; все слабѣло: память, слухъ, зрѣніе, аппетитъ, и чѣмъ ближе къ концу, тѣмъ быстрѣе. Онъ умеръ во вторникъ (16-го) въ половинѣ восьмого, въ среду его положили въ гробъ и вынесли въ кладбищенскую церковь. Три версты мы несли его на рукахъ, перемѣняясь съ артистами и студентами. Самое большое сочувствіе къ покойному обнаружили артисты и университетъ; на выносѣ, кромѣ студентовъ, былъ ректоръ и профессоры. Въ пятницу отпѣли и закрыли гробъ. Подробности этихъ дней пусть напишетъ кто-нибудь другой! я все это видѣлъ, какъ во снѣ.»

Первая телеграфическая депеша изъ Харькова за подписью гг. Островскаго, Турбина и Щербины извѣщала семейство Мартынова объ его опасномъ положеніи. На эту депешу отвѣчали изъ Петербурга, чтобы не щадить никакихъ усилій для его спасенія. Затѣмъ получено было извѣстіе, что Мартыновъ слабѣетъ, и вслѣдъ затѣмъ депеша извѣщала, что, несмотря ни на какія усилія врачей, онъ скончался.

Отъ 28-го августа мы получили слѣдующую записку отъ Островскаго:

«Горе, большое горе! Нашего Мартынова не стало! Онъ умеръ въ Харьковѣ на моихъ рукахъ. Безъ страданій, угасая день за день, онъ скончался тихо, какъ ребенокъ, не сознавая даже своего положенія. Я только вчера пріѣхалъ въ Москву, усталый и разбитый. Я вамъ напишу подробно, въ видѣ письма, о послѣднихъ четырехъ мѣсяцахъ его жизни,— дайте только немного опомниться. Съ Мартыновымъ я потерялъ все на петербургской сценѣ. Теперь я не знаю, когда буду въ Петербургѣ. Мнѣ какъ-то не хочется туда ѣхать....»

Человѣкъ свыкается со всѣмъ на свѣтѣ—и мы начинали уже было свыкаться съ мыслію, что Мартынова нѣтъ, что мы не увидимъ болѣе нашего артиста; но эти отрывочныя строки Островскаго, проникнутыя такою глубокою грустью, подѣйствовали на насъ такъ, какъ-будто мы въ первый разъ изъ нихъ узнали о страшной потерѣ, понесенной нашимъ театромъ и нашей драматической литературой.

Гнетущее и безотрадное чувство овладѣло нами. Странное дѣло! Отчего всѣ люди, отмѣченные печатью избранія, самые талантливые, самые чистые, самые благородные, не уживаются на нашей почвѣ и преждевременно сходятъ въ могилу? Неужели это только роковая случайность, и нѣтъ другаго объясненія этого грустнаго факта? Но намъ не до того теперь, чтобы входить въ изслѣдованія его причины.... Еще одного изъ такихъ не стало! Мартынова нѣтъ! Мы лишились великаго комика, возбуждавшаго въ насъ смѣхъ, о которомъ говорилъ Гоголь,— тотъ смѣхъ, который «заставляетъ выступить ярко то̀, что проскользнуло бы; безъ проникающей силы котораго мелочь и пустота жизни не испугала бы такъ человѣка. Презрѣнное и ничтожное жизни, мимо котораго онъ равнодушно проходитъ всякій день, не возрасло бы передъ нимъ въ такой страшной, почти каррикатурной силѣ и онъ не вскрикнулъ бы содрогаясь: «Неужели есть такіе люди?...» Мы не увидимъ болѣе великаго драматическаго артиста, потрясавшаго насъ до глубины сердца, доставлявшаго намъ минуты высокихъ наслажденій, заставлявшаго насъ плакать горячими слезами, потрясавшаго театръ снизу до

И Царь любилъ тебя и русскій весь народъ!...
Всѣ страсти, слабости, иль недостатки вѣка
Умѣлъ ты выяснять въ наивной простотѣ, —
Ты выставлялъ всегда живаго человѣка,
Какъ есть, во всей его грѣховной наготѣ!
Ты придалъ важное значеніе искусству:
Путь вѣрный, взглядъ прямой ты указалъ во всемъ!
И мы, по совѣсти и искреннему чувству,
Послѣдній долгъ тебѣ съ любовью отдаемъ!...
Пускай предѣловъ нѣтъ искусству, и найдутся
Опять достойные; хоть чрезъ немного лѣтъ,
Таланты, можетъ-быть, другіе разовьются...
Но что *Мартыновъ* былъ — *не повторится!* нѣтъ!...
И въ этомъ, по трудамъ, вѣнецъ его нетлѣнный...
Такъ молвимъ же теперь, покорные судьбѣ:
«Миръ праху твоему, артистъ нашъ незабвенный
И память вѣчная—да будетъ о тебѣ!...»

Свѣжій холмъ могилы Мартынова усыпанъ цвѣтами. Миръ праху великаго, незабвеннаго артиста!

Неужели всѣ мы, которые были обязаны ему минутами высокихъ артистическихъ наслажденій, всѣ мы, въ сію минуту такъ искренно и глубоко огорченные его преждевременною кончиною, забудемъ о немъ и объ его могилѣ такъ же скоро, какъ мы забыли о Бѣлинскомъ и объ его могилѣ?... У Мартынова осталась жена съ однимъ только пенсіономъ, какъ мы говорили, и пять сиротъ, еще никуда не пристроенныхъ. Ей предстоитъ много трудовъ, заботъ и издержекъ, а памятникъ на могилѣ великаго артиста есть дѣло общественное. Артисты и литераторы должны первые въ этомъ случаѣ подать примѣръ, принести свою лепту на сооруженіе этого памятника и открыть на него подписку.

желѣзной дороги гробъ его перенесенъ на рукахъ въ Знаменскую церковь, конвоируемый жандармами. Толпа была такъ велика, что мы не могли попасть въ церковь.

13-го сентября, въ день похоронъ, совершена была въ Знаменской церкви литургія: на одномъ изъ клиросовъ пѣли артисты русской оперы, на другомъ обыкновенные пѣвчіе; священникъ театральной школы произнесъ слово, въ которомъ очень краснорѣчиво выставилъ заслуги покойнаго искусству и отозвался съ горячностью объ его геніальномъ талантѣ. За обѣдней, кромѣ семейства покойнаго, его родныхъ и друзей, присутствовали многіе артисты итальянской оперы, французской и нѣмецкой сценъ (мы замѣтили между прочими гг. Тамберлика, Эверарди, Лёмениля, Верне), также всѣ извѣстные наши литераторы и журналисты, театральное начальство и чиновники. Памяти Мартынова отдали послѣдній долгъ и многія значительныя особы: генералъ-адъютантъ князь В. А. Долгорукій, генералъ-адъютантъ Тимашевъ и нѣкоторые другіе. Гробъ сверхъ покрова былъ усыпанъ вѣнками и цвѣтами. Послѣ панихиды онъ былъ вынесенъ друзьями и почитателями покойнаго: въ числѣ послѣднихъ мы замѣтили одного изъ нашихъ государственныхъ людей...

Въ эту минуту уже весь Невскій проспектъ по всему протяженію, отъ Знаменія до Адмиралтейства, былъ затопленъ народомъ; изъ каждаго окна, по всему этому огромному протяженію, выглядывало нѣсколько головъ, всѣ балконы были биткомъ набиты, народъ даже усыпалъ крыши... День былъ удивительный, ни одного облачка на небѣ, солнце не только свѣтило, но палило—было до 18° тепла. Когда гробъ хотѣли поставить на дроги, въ толпѣ раздались крики: «На рукахъ! Мы понесемъ его на рукахъ!» Но за тяжестью, нести гробъ на рукахъ не было никакой возможности; его снова поставили на дроги, но лошадей распрягли, и дроги везены были публикою отъ Знаменія до Смоленскаго кладбища. Кисти балдахина держали попеременно гг. студенты С.-Петербургскаго университета. Гробъ былъ подвозимъ къ Александринскому театру и печальное шествіе было пріостановлено на минуту. Мы думали, что здѣсь его встрѣтятъ воспитанники театральной школы, но они однако не показывались. Послѣ краткой литіи, шествіе, обогнувъ Александринскую площадь, снова вступило на Невскій.

Только въ 4 часа гробъ ввезенъ былъ въ ворота Смоленскаго кладбища и въ половинѣ 5-го часа опущенъ въ могилу. Тогда товарищъ покойнаго, П. И. Григорьевъ, бросивъ послѣднюю горсть земли въ могилу великаго артиста, произнесъ съ глубокимъ чувствомъ, потрясеннымъ, но звучнымъ голосомъ:

Миръ праху твоему, артистъ нашъ незабвенный!
Ты преданъ былъ душой искусству своему!
Что создалъ ты у насъ на сценѣ современной,
Того не создавать ужъ больше никому!..
Всегда единственный, всегда своеобразный,
Ты объ руку всегда съ искусствомъ шелъ впередъ.
Въ семьѣ артистовъ ты — сіялъ звѣздой алмазной,

И Царь любилъ тебя и русскій весь народъ!...
Всѣ страсти, слабости, иль недостатки вѣка
Умѣлъ ты выяснять въ наивной простотѣ, —
Ты выставлялъ всегда живаго человѣка,
Какъ есть, во всей его грѣховной наготѣ!
Ты придалъ важное значеніе искусству:
Путь вѣрный, взглядъ прямой ты указалъ во всемъ!
И мы, по совѣсти и искреннему чувству,
Послѣдній долгъ тебѣ съ любовью отдаемъ!...
Пускай предѣловъ нѣтъ искусству, и найдутся
Опять достойные; хоть чрезъ немного лѣтъ,
Таланты, можетъ-быть, другіе разовьются...
Но что *Мартыновъ* былъ — *не повторится!* нѣтъ!...
И въ этомъ, по трудамъ, вѣнецъ его нетлѣнный...
Такъ молвимъ же теперь, покорные судьбѣ:
«Миръ праху твоему, артистъ нашъ незабвенный
И память вѣчная—да будетъ о тебѣ!...»

Свѣжій холмъ могилы Мартынова усыпанъ цвѣтами. Миръ праху великаго, незабвеннаго артиста!

Неужели всѣ мы, которые были обязаны ему минутами высокихъ артистическихъ наслажденій, всѣ мы, въ сію минуту такъ искренно и глубоко огорченные его преждевременною кончиною, забудемъ о немъ и объ его могилѣ такъ же скоро, какъ мы забыли о Бѣлинскомъ и объ его могилѣ?... У Мартынова осталась жена съ однимъ только пенсіономъ, какъ мы говорили, и пять сиротъ, еще никуда не пристроенныхъ. Ей предстоитъ много трудовъ, заботъ и издержекъ, а памятникъ на могилѣ великаго артиста есть дѣло общественное. Артисты и литераторы должны первые въ этомъ случаѣ подать примѣръ, принести свою лепту на сооруженіе этого памятника и открыть на него подписку.

РАШЕЛЬ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

I.

ФЕДРА, МАРІЯ СТЮАРТЪ, АНДРОМАХА И АДРІЕННА ЛЕКУВРЕРЪ.

Наконецъ Петербургъ увидѣлъ эту великую артистку, наконецъ она явилась передъ нами, предшествуемая громкою европейскою извѣстностью, молвою и различными толками, часто странными и противорѣчащими. Эта извѣстность, молва и толки, раздражая, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, наше любопытство, заставили Петербургъ ожидать съ нетерпѣніемъ знаменитую гостью. «*Она* такого-то числа выѣзжаетъ изъ Парижа, *она* тогда-то должна быть въ Варшавѣ, ее непремѣнно ждутъ въ Петербургъ въ такой-то день», — словомъ, въ половинѣ октября Петербургъ почти исключительно занимался Рашелью. Онъ какъ бы предугадывалъ ожидающее его высокое художественное наслажденіе, онъ какъ бы предчувствовалъ минуты того невыразимаго восторга, который доставитъ ему эта геніальная женщина, воскресившая не только давно забытую французскую классическую трагедію, но олицетворившая собою на сценѣ древнюю женщину.

И вотъ громкое имя артистки въ первый разъ появилось на петербургскихъ афишахъ. 25-го октября возвѣщена была «Федра». Уже за нѣсколько дней до этого, въ книжныхъ петербургскихъ лавкахъ нельзя было достать ни одного экземпляра Расина и Корнеля. Въ этихъ приготовленіяхъ къ Рашель, въ этомъ любопытствѣ, ожиданіи и нетерпѣніи не позволяли себѣ принимать участіе только немногіе утонченные свѣтскіе господа, которые, по законамъ такъ-называемаго *comme il faut*, никогда ничѣмъ не увлекаются и не волнуются, боятся обнаружить какой-нибудь признакъ человѣческаго чувства или человѣческой страсти на своемъ изящномъ лицѣ, какъ-нибудь измѣнить себѣ голосомъ или движеніемъ, которые бы обнаружили внутреннее волненіе. Къ этимъ джентльменамъ присоединился еще немногочисленный классъ людей довольно грубыхъ, желающихъ казаться — во что̀ бы то ни стало, хотя наперекоръ здравому смыслу —

оригинальными, и вслѣдствіе этого находящихся въ вѣчномъ раздорѣ, въ постоянномъ противорѣчіи съ общественнымъ мнѣніемъ, для которыхъ не существуетъ никакихъ авторитетовъ, и которые повторяютъ: «Европейская Слава! Ну, что жь такое? А мы вотъ такъ и должны непремѣнно подчиниться тому, что говоритъ Европа? Да развѣ у насъ нѣтъ собственнаго мнѣнія, собственнаго вкуса?»... и проч.,—и, наконецъ, господа, лишенные совершенно способности понимать искусство, для которыхъ недоступны ни красота, ни пластика, ни поэзія, которыхъ не можетъ пробудить отъ апатіи и отупѣнія никакое слово, никакой звукъ.

О такихъ людяхъ, впрочемъ, и упоминать не стоитъ.... Какъ бы то ни было, большинство публики, собравшейся на первое представленіе «Федры», не принадлежало ни къ одному изъ этихъ разрядовъ. Съ видимымъ волненіемъ и нетерпѣніемъ ожидало оно появленія знаменитой артистки, и когда Энона проговорила:

Elle veut voir le jour et sa douleur profonde
M'ordonne toutefois d'écarter tout le monde....
Elle vient....

всѣ бинокли обратились на сцену и въ залѣ сдѣлалась такая тишина, какъ-будто бы всѣ притаили дыханіе.

Колеблющимися шагами, опираясь на свою наперсницу, блѣдная, но съ дико-пылающими глазами, настоящая Федра Эврипида, сгораемая неудержимою страстью, пожираемая преступнымъ огнемъ, караемая мщеніемъ неумолимой богини любви и красоты, медленно приближалась къ авансценѣ вдохновенная артистка:

N'allons point plus avant....

и глухіе, зловѣщіе, страшные звуки вырвались изъ груди ея....

Но прежде, нежели мы станемъ передавать впечатлѣнія, произведенныя на насъ игрою Рашель, мы разскажемъ здѣсь, въ короткихъ словахъ, ея біографію и напомнимъ читателямъ нѣкоторые отзывы о первыхъ ея дебютахъ въ Парижѣ.

Феликсъ (Элиза-Рашель) родилась въ Ліонѣ, въ 1820 году, отъ бѣднаго еврейскаго семейства. Отецъ ея былъ уличный торговецъ, мать занималась перепродажею стараго платья. Послѣ революціи 1830 года, стѣсненныя обстоятельства принудили ихъ оставить Ліонъ и переселиться въ Парижъ, который представлялъ имъ болѣе средствъ къ существованію. Каждый изъ членовъ многочисленнаго семейства Феликсъ долженъ былъ трудиться для добыванія себѣ насущнаго хлѣба. Въ то время, какъ отецъ перебѣгалъ изъ лавки въ лавку, изъ дома въ домъ, покупая и перепродавая, мать скиталась съ дѣтьми своими по улицамъ, прося милостыни. Старшій изъ братьевъ и одна изъ сестеръ везли сзади телѣжку, въ которой лежалъ самый меньшой изъ дѣтей. Среди этой кочевой, нищенской жизни родилась и росла Рашель. Но и тогда еще врожденное благородство и грація отличали ее, говорятъ, отъ всѣхъ окружавшихъ ее, и тогда уже для наблюдательнаго глаза могли быть замѣтны стремленія къ изящному, предвѣщавшія что-то необыкновенное въ этомъ ре-

бенкѣ. Однажды она пѣла плачевную пѣсню о вѣчномъ жидѣ, изъ которой она даже составила небольшую драму. Ея разсказъ, смѣшанный съ пѣніемъ, производилъ большой эффектъ на улицахъ и въ кофейняхъ. Она была замѣчена на Сенъ-Мартенскомъ бульварѣ, гдѣ получила даже прозваніе *Маленькой Жоржъ* (la Petite Georges). Однажды, дрожа отъ холода и голода, бѣдное дитя пѣло по своему обыкновенію, и въ звукахъ ея дѣтскаго голоса было въ этотъ разъ что-то особенно трогающее. Шоронъ, извѣстный музыкантъ, проходившій мимо нея, остановился при этихъ звукахъ. Онъ угадалъ будущность этой дѣвочки, взялъ ее съ собою и помѣстилъ въ школу пѣнія въ улицѣ Монсиньи, — въ ту школу, изъ которой вышелъ Дюпре.

Шоронъ предсказывалъ блестящую музыкальную будущность своей воспитанницѣ; но онъ вскорѣ умеръ, и Рашель снова возвратилась въ свое семейство, безъ всякихъ средствъ. Въ это время она была уже не ребенокъ: она развилась и выросла и получила нѣкоторое воспитаніе. Счастливый случай вскорѣ открылъ ей ея настоящій путь. Ей попалась однажды книга, къ которой она приступила съ величайшимъ любопытствомъ. Книга эта была первый томъ Расина, изданіе де-Пру (de Proult), 1760 г., in-8. Какой-то отставной актеръ далъ ей первые уроки въ декламаціи; потомъ она обратилась къ Сентъ-Олеру, который сдѣлался для нея не только учителемъ, но и отцомъ. Подъ его надзоромъ, она дебютировала въ залѣ Мольера и потомъ въ аристократическомъ *hôtel Castellane*. Въ этотъ вечеръ, по окончаніи пьесы, герцогиня д'Абрантесъ подошла къ ней и сказала: «Знаете ли, что съ такимъ талантомъ, какой у васъ, можно преобразовать французскую сцену!»

Но Рашель надобно было перенести тяжелое испытаніе—выдержать экзаменъ въ консерваторіи. Классическіе судьи выслушали геніальную дѣвочку, нашли, что она скандируетъ стихи недурно, и что современемъ можетъ удачно разыгрывать роли наперсницъ, когда пріобрѣтетъ побольше вкуса и познакомится съ сценическими приличіями и условіями. Ее даже обнадежили, что она можетъ съиграть роль *Флипотты* въ «Тартюфѣ». Эти ученые судьи не предчувствовали, что передъ ними стоитъ та, которой предназначено было воскресить на сценѣ царственныхъ героинь древности и указать новый путь сценическому искусству. Монваль, режиссёръ театра *Gymnase*, которому г. Пуарсонъ поручилъ вербовать актеровъ и актрисъ для своего театра за дешевую цѣну, ангажировалъ Рашель, и она дебютировала на сценѣ бульварнаго театра 24-го апрѣля 1837 г., въ *Vendéenne* Поля Дюпора. Этотъ дебютъ не могъ пройти незамѣченнымъ: игра ея поразила смѣлостью, рѣзкостью и вмѣстѣ простотою. Пьеса эта, по милости молодой артистки, повторялась почти ежедневно въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. Вслѣдъ затѣмъ Рашель играла въ *Бракѣ по разсудку (Mariage de raison)*, и вдругъ имя ея болѣе не показывалось на афишѣ, и слухи о ней совсѣмъ замолкли.

Г. Пуарсонъ понялъ цѣну этого таланта: онъ уничтожилъ контрактъ актрисы, продолжая платить ей жалованье, и отдалъ ее на попеченіе знаменитаго актера Французскаго театра *Самсона*. Наконецъ, 12-го іюня 1838 г., возвѣщенъ былъ дебютъ Рашель на первомъ Французскомъ театрѣ

въ «Гораціяхъ» Корнеля. Въ первыя представленія на дебютантку не обратили особеннаго вниманія, да и обращать-то вниманія было некому, потому-что зала была чуть не совсѣмъ пуста. Робкія родственныя рукоплесканія раздавались изрѣдка. Но, мало-по-малу, возбужденная журнальными возгласами и толками, любопытная публика начала наполнять залу. Публика эта впрочемъ, недовѣрчиво и неблагосклонно встрѣчала худощавую, небольшаго роста, слабую семнадцатилѣтнюю дѣвочку, которая осмѣлилась надѣть на себя трагическую тогу. Но вдругъ, когда, къ удивленію всѣхъ, глаза этой дѣвочки загорались какимъ-то страннымъ огнемъ, когда движенія ея принимали античную грацію, а голосъ начиналъ звучать какъ металлъ, когда она открывала мысль въ стихѣ, давала ему выраженіе и силу, — публика, неожиданно увлеченная ею, начинала рукоплескать ей въ восторгѣ.—Успѣхи ея возрастали съ каждымъ представленіемъ. Послѣ *Гораціевъ*, Рашель дебютировала въ *Синнѣ*, *Ифигеніи*, *Андромахѣ* и *Танкредѣ*.

Жюль-Жанень первый указалъ Франціи на талантъ Рашель. Но, несмотря на искреннее удивленіе его къ этому таланту, онъ покровительствовалъ ее въ началѣ довольно свысока.

«Какая странность! восклицалъ онъ. — Почти дитя, не имѣющее ни о чемъ понятія, дѣвочка маленькаго роста, дурная собой, неумѣющая говорить, завладѣла старой трагедіей. Я встрѣтилъ эту дѣвочку недавно, и она сказала мнѣ: *C'est moi que j'étai t'au Gymnase*. А я, улыбнувшись, отвѣчалъ ей на это: *Je le savions*. Однако, въ заключеніе онъ прибавилъ: «Всетаки это самая необыкновенная, самая удивительная изъ всѣхъ дѣвочекъ, появлявшихся въ наше время на театральныхъ подмосткахъ!»

Возникавшій талантъ Рашель долженъ былъ непремѣнно породить завистниковъ и враговъ, которые для униженія ея не останавливались ни передъ какими мѣрами; но этимъ завистникамъ трудно было бороться съ нею. Противъ закулисныхъ интригъ ея постояннымъ покровителемъ и защитникомъ былъ старый и добрый актеръ Жоанни. Противъ другого рода зоговоровъ ее защищалъ ея собственный геній. Однажды ее даже попробовали было освистать въ «Митридатѣ». Вотъ какъ разсказываетъ объ этотъ Жанень:

«.... Если бы вы могли вообразить, какая толпа была прошедшій разъ во Французскомъ театрѣ. И немудрено: въ этотъ вечеръ играла Рашель въ своей лучшей роли, въ роли Герміоны. Она была ошикана въ «Митридатѣ», и еще какъ ошикана! и кѣмъ? Она хотѣла отмстить и отмстила, и еще какъ отмстила! Никогда энергія, презрѣніе, гнѣвъ, негодованіе,—всѣ страсти, составляющія прекрасную роль Герміоны, не были воспроизведены на сценѣ съ лучшимъ и бо́льшимъ вдохновеніемъ. Рашель была въ злобѣ и бѣшенствѣ отъ оскорбленій, нанесенныхъ наканунѣ ея рождающейся славѣ, и она на этотъ шумъ, на эти шиканья и крики отвѣчала всѣми криками и воплями своего сердца, всѣми волненіями души своей, всею выразительностью своего чистаго и спокойнаго лица, всею энергіею своего жеста....»

Съ величайшимъ любопытствомъ перечитываешь теперь всѣ жур-

нальные толки о первыхъ дебютахъ Рашель. Чтобы напомнить нашимъ читателямъ, что̀ и ка̀къ о ней говорили тогда, мы приведемъ здѣсь отрывки изъ фельетоновъ и въ особенности фельетонъ 24 сентября 1838 года въ «Journal des Débats».

«Г-жа Рашель — говоритъ Жанень — продолжаетъ курсъ преобразованій, начатыхъ ею. На нее одну, на это бѣдное дитя, *худощавое*, *тщедушное*, *дурно-выкормленное*, опирается теперь старая трагедія, какъ нѣкогда слѣпой и окровавленный Эдипъ опирался на Антигону. Только показалось на афишахъ имя, которое мы услышали въ первый разъ едва ли не вчера — имя Рашель — рядомъ съ великими именами Корнеля, Расина и Вольтера, какъ со всѣхъ сторонъ стеклись друзья высокаго драматическаго искусства—души боязливыя и робкія, но умы благородные и тонкіе, которые скрывались, запуганные новѣйшею драмою. Въ этотъ день Французскій театръ принялъ праздничный видъ, серьёзный и торжественный. Въ этотъ день исчезли съ этой оскверненной сцены всѣ эти пустыя и жалкія принадлежности безсильнаго искусства: мебели, костюмы, оружія, декораціи.... осталась одна истинная поэзія, обернутая въ пурпуровыя тряпки, дурно и непривѣтливо помѣщенная въ своемъ древнемъ дворцѣ, двери котораго открыты для всѣхъ настежь, обутая въ свои старыя, истоптанныя сандаліи, но подъ этимъ рубищемъ, въ этихъ тряпкахъ, окруженная своими беззубыми ликторами, всетаки прекрасная, могущественная, великая. Да, великая! потому-что у нея никто не осмѣлится спросить: отчего она, подобно своей незаконной сестрѣ (драмѣ), не употребляетъ для услугъ своихъ цѣлыхъ армій декораторовъ, машинистовъ, портныхъ, слесарей, фабрикующихъ фальшивые ключи, и проч.? Если бы кто-нибудь рѣшился спросить у нея объ этомъ, она, эта благородная дама, отвѣчала бы: «Потому, что имя мое—трагедія, потому, что я живу сама собой, независимо отъ машинистовъ, потому, что отецъ мой—Корнель. Посмотрите на этотъ ореолъ, украшающій чело мое. Я царица и имѣю право носить рубище!»

«Драма въ свою очередь могла бы, по нашему мнѣнію, замѣтить на это трагедіи:

«Къ чему эти напыщенныя, эти великолѣпныя и эффектныя фразы? Кто далъ право твоему защитнику отнимать у меня законныя права мои и выдавать меня за побочную сестру твою? Ты называешь отцомъ своимъ Корнеля и гордишься этимъ происхожденіемъ; но развѣ я не имѣю еще бо̀льшаго права гордиться своимъ происхожденіемъ? отецъ мой—Шекспиръ. Я родилась на театральныхъ подмосткахъ, когда еще не было ни машинистовъ, ни декораторовъ; девизъ мой — простота и истина; я проникала въ глубокіе, сокровенные тайники человѣческаго сердца, я подслушивала всюду его біеніе, я наблюдала за малѣйшимъ движеніемъ души человѣческой, я слѣдила за постепеннымъ развитіемъ человѣческихъ страстей, подмѣчала всѣ малѣйшіе оттѣнки этихъ страстей. Человѣкъ открылся передо мною весь во всемъ своемъ величіи и во всей нищетѣ своей, во всей своей силѣ и во всей своей слабости. Имя ему—*Гамлетъ*, *Отелло*, *Макбетъ*, *Антоній*, *Ричардъ III*, *Фальстафъ*. Какое же ты имѣешь право тщеславиться передо мною,—ты, нѣсколько подрумянивавшая колос-

совъ и полу-буговъ древности, наряжавшая ихъ въ современныя тебѣ придворныя платья и придававшая имъ невольно безсиліе и изнѣженность героевъ твоего вѣка?»

Мы, въ свою очередь, могли бы также замѣтить краснорѣчивому защитнику старой французской трагедіи, что онъ смѣшиваетъ здѣсь драму съ французскою мелодрамою 30-хъ годовъ и что между Шекспиромъ — царемъ драмы—и сочинителями различныхъ мелодрамъ, которыя поддерживались на сценѣ только декораторами и машинистами, нѣтъ ничего общаго.

Но обратимся къ фельетону.

«Воскресить этотъ благородный трупъ — продолжаетъ Жанень — вызвать на живую арену эту знаменитую изгнанницу (трагедію), оживить мыслію, движеніемъ, страстію эти дивныя произведенія, *всетаки умиравшія безъ представителя, безъ истолкователя,* у котораго было бы немного священнаго огня въ душѣ и во взглядѣ,—о, это великій подвигъ! И когда подумаешь, что этотъ подвигъ былъ предпринятъ дѣвочкой, не понимающей ничего, не знающей ни исторіи, ни поэзіи, ни того языка, на которомъ она говоритъ, не вѣдающей страстей, которыя она представляетъ,—приходишь въ недоумѣніе, какъ этотъ почти невозможный подвигъ исполненъ такъ легко и посредствомъ такихъ ничтожныхъ средствъ!... Но дѣло въ томъ, что это дитя владѣетъ болѣе, чѣмъ знаніемъ: это— вдохновенная дѣвочка. Нѣчто божественное — mens divinior — то, что оживляетъ *поэзію*, было вложено въ нее при самомъ рожденіи. Невѣжество ей послужило болѣе, чѣмъ знаніе. Если бы она поняла всю важность своего предпріятія, если бы она угадала, подъ какимъ густымъ слоемъ пепла крылась та искра, которую она должна была раздуть своимъ дыханіемъ, если бы она могла знать, какъ долго и какъ неподвижно лежалъ этотъ трупъ, къ которому она приковала свое существо, дѣтское, болѣзненное и робкое, — она навѣрно отказалась бы отъ своего подвига!

«Къ счастію, она не видала опасности, она бросилась въ нее очертя голову, она понадѣялась на своихъ великихъ учителей, которые въ сомнѣніи покачивали головою; она не отчаявалась за эти великія произведенія, оскорбляемыя въ настоящую минуту. Ея смѣлость помогла ей, ея довѣрчивость спасла ее, ея натуральный, здравый смыслъ побѣдилъ всѣ препятствія. Она овладѣла своимъ призваніемъ.... болѣе, чѣмъ овладѣла: она открыла его, — и теперь самовластно управляетъ имъ.... Видѣли ли вы ее проходящую быстрыми и смѣлыми шагами трагедію Корнеля? Видѣли ли вы ея страстное одушевленіе въ трагедіяхъ Вольтера?... И во всѣхъ этихъ разнообразныхъ усиліяхъ рановременнаго генія замѣтили ли вы хотя что-нибудь напоминающее извѣстную школу, что-нибудь намекающее о консерваторіи, указывающее на скрытаго за кулисами учителя?... Нѣтъ, все, что открыла она, принадлежитъ ей, ей одной. Она первая проникла безъ всякаго руководителя въ чудныя тайны классической трагедіи. Когда она ошибается, это ошибки ея собственныя; когда она становится на самую высокую точку, до которой могутъ возвыситься любовь, ненависть, ужасъ, ея торжество принадлежитъ ей, — ей одной. Она пренебрегаетъ избитыми путями... еще лучше: она не знаетъ ихъ. Часто старый трагикъ,

играющій съ нею, привыкшій въ извѣстномъ мѣстѣ къ извѣстному, заученому ударенію, вдругъ останавливается, смущенный новымъ словомъ, новымъ звукомъ въ устахъ этой чудной дѣвочки. Она уничтожила всѣ преданія, она отбросила всѣ заученые жесты, употреблявшіеся въ продолженіе ста лѣтъ. Если актеръ не будетъ слѣдовать за нею съ тѣмъ же нетерпѣніемъ и вниманіемъ, какъ партеръ,— горе ему! Она ускользнетъ отъ него какъ змѣя, въ ту минуту, когда онъ вздумаетъ схватить ее.... Онъ горячится, выходитъ изъ себя, размахиваетъ руками по преданію,—а она остается холодною, спокойною, неподвижною.... и бѣдный актеръ теряется, не знаетъ, что ему дѣлать. — И не спрашивайте у нея заранѣе, какъ она будетъ играть въ такомъ-то мѣстѣ—она ничего не предвидитъ заранѣе, ничего не разсчитываетъ.... Она отдается безсознательно влеченію души своей. Актеръ и зритель часто обманываются въ своихъ ожиданіяхъ. Кто знаетъ? можетъ-быть, эту молнію во взглядѣ, эту скорбь въ голосѣ, это поразившее васъ еще вчера движеніе, — въ такомъ-то мѣстѣ пьесы,—вы уже никогда болѣе не услышите и не увидите!...

«Это волшебница Виргилія.... Глядите на нее: вотъ она передъ вами блѣдная, умирающая, опустившаяся, сгорбившаяся, дурно сложенная, съ обыкновеннымъ выраженіемъ на лицѣ, молодость безъ силы и свѣжести... Но вдругъ, когда она почуетъ свое призваніе, все существо ея выростаетъ и оживляется, огонь изъ души переходитъ во взглядъ; сердце, кажется, хочетъ вырваться изъ груди; голосъ начинаетъ звучать... Видѣли ли вы что-нибудь прекраснѣе? Какая поза! какая талія, какія руки! Ее можно принять за неоконченную древнюю статую великаго мастера, къ которой никакой рѣзецъ не осмѣлится прикоснуться!... И покуда ей говорятъ, покуда ее разжигаютъ страсти, покуда она дѣйствуетъ въ драмѣ, у нея все въ движеніи — сердце, душа, умъ, взглядъ,—она вся жизнь, съ ногъ до головы. Ея грудь волнуется, ея нога съ невыразимой энергіей опирается о землю; и, когда жестъ ей кажется недостаточно выразительнымъ, когда ей недостаетъ голоса, она ударяетъ ногою о землю съ такою силою, что вамъ становится страшно.

«Такъ въ продолженіе пятнадцати дней она играла Герміону, Аменаиду, Камиллу.... Ничего не можетъ быть возвышеннѣе этой неукротимой Камиллы. Римлянка на столько, на сколько женщина можетъ быть римлянкою, она измѣняетъ себѣ только при видѣ своего умирающаго любовника. Ея извѣстное проклятіе, нѣсколько опошлившееся отъ частой декламаціи, произнесено было Рашелью съ неподражаемымъ умомъ. Ни криковъ, ни размахиваній руками. При началѣ этого страшнаго гнѣва, этой неудержимой бури, поднимающейся со дна души ея, Камилла говоритъ тихо, почти про-себя; но вы уже слышите глухіе раскаты грома, постепенно приближающіеся. Чѣмъ болѣе этотъ гнѣвъ сдерживается въ груди, тѣмъ болѣе онъ страшенъ; но и въ самомъ проклятіи слышатся страстные и нѣжные звуки женщины, которая гибнетъ отъ любви. Точно такъ и въ томъ мѣстѣ «Андромахи», когда Герміона, оставленная Пирромъ, предаетъ его кинжалу Ореста, Рашель въ началѣ спокойна. Какая въ ней глубокая и уязвляющая иронія! Но мало-по-малу ненависть, отчаяніе, невыносимая скорбь этой страдающей души разражаются во всей силѣ; при всемъ томъ,

даже въ самыхъ ея увлеченіяхъ, не оставляетъ ее эта иронія, эта ядовитая насмѣшка, это презрѣніе къ *троянкѣ* (*Troyenne*)!... Эта дѣвочка владѣетъ удивительной логикой. Никогда она не забываетъ преобладающей страсти въ своей роли и не жертвуютъ ею для эффекта.... Но когда она устаетъ, утомляется, падаетъ подъ гнетомъ страстей, тогда все кончено; она перестаетъ играть, она не слушаетъ болѣе, ея голосъ слабѣетъ, руки опускаются; она все уже сдѣлала, что̀ могла... что̀ ей за дѣло до васъ и до поэта! Свѣточъ, руководившій ее, потухъ....

«.... Въ одно изъ представленій «Андромахи», Бовале, игравшій Ореста, уже запятнанный кровію Пирра, схватилъ нечаянно за руку Герміону.... О, если бы вы могли видѣть, съ какимъ невыразимымъ негодованіемъ, съ какимъ поражающимъ ужасомъ она, вся трепещущая, вырвала у него эту руку и отскочила отъ него! Откуда взялось у нея столько гордости и презрѣнія?... Но спросите у фигляра Кина, кто научилъ его играть Ричарда III? Спросите у серебреника Лёкэня, кто научилъ его играть роли Оросмана и Танкреда? Спросите у Дюшенуа, какъ она изъ горничной валансьенскаго аптекаря преобразилась въ Федру? Спросите у этой дѣвочки, которая учится грамматикѣ, ка̀къ и почему она насъ трогаетъ и волнуетъ? Спросите у всѣхъ этихъ великихъ актеровъ и актрисъ, вышедшихъ Богъ знаетъ откуда, гдѣ они заимствовали эту чудную грацію, эту утонченность, это благородство манеръ? Спросите же, въ свою очередь, у актеровъ, получившихъ образованіе, приготовлявшихся къ своему дѣлу, изучившихъ свои роли, отчего они такъ пошлы и жалки на сценѣ?... Но все это тайны искусства, которыя нѣтъ никакой возможности объяснить, и которыя навсегда останутся тайнами....»

Вотъ еще нѣсколько словъ Жаненя о Рашель въ роли *Монимы*, въ расиновомъ *Митридатѣ:*

«Рядомъ съ Митридатомъ, почти на одной доскѣ съ нимъ, является Монима — молодая и прекрасная гречанка, одно изъ самыхъ нѣжныхъ и чистыхъ созданій Расина. До Расина Плутархъ, мало сочувствовавшій страданіямъ женщины, проливавшій слезы только о герояхъ, съ участіемъ говоритъ о ея добродѣтеляхъ и о ея несчастіи. Это трогательное восклицаніе:

Et toi, fatal bandeau!

Расинъ взялъ у Плутарха. Бѣдная женщина, одинокая, беззащитная, увѣнчанная раба, безъ друга, почти безъ наперсницы, она любитъ тайною и сдержанною любовью. Она едва обнаруживаетъ свою любовь, и то только тогда, когда узнаетъ о мнимой смерти Митридата; но когда этотъ грозный Митридатъ появляется передъ нею, — о, какое страданіе скрывать эту любовь, произнести «*прости!*» своему возлюбленному. Въ этой женщинѣ двѣ женщины: раба, спокойная, страдающая, покорившаяся своей участи, готовая на жертву, и женщина, оскорбленная безжалостнымъ человѣкомъ, который, посредствомъ обмана, вырываетъ у нея тайну ея сердца. И Рашель вполнѣ поняла двойственность этой роли. Она является сначала блѣдная, печальная, тихая, готовая на все; но когда наступаетъ минута бури, раба превращается въ царицу; оскорбленная женщина гордо подни-

маетъ голову.... этотъ ребенокъ вступаетъ въ борьбу съ Митридатомъ! Ея жестъ, ея взглядъ уничтожаютъ; она стоитъ передъ грознымъ старикомъ съ такимъ величіемъ.... но это только до-тѣхъ-поръ, покуда онъ насиліемъ хочетъ вести ее къ алтарю, покуда ее поддерживаетъ негодованіе.... Старикъ уходитъ, и силы ее оставляютъ,—и передъ вами снова та покорная, робкая, готовая на смерть дѣвушка, которую вы видѣли въ первыхъ дѣйствіяхъ. Она чувствуетъ, что борьба неровна, что она будетъ раздавлена Митридатомъ.... Все это превосходно развито у Расина и все это въ высшей степени понято этимъ ребенкомъ, этою чудною Рашелью.»

«.... Теперь мы можемъ смѣло сказать, — говоритъ Жанень въ заключеніе своего фельетона — что старая трагедія воскресла во всемъ своемъ блескѣ, во всей своей величавой простотѣ. Теперь не нужны дорогія декораціи, странные костюмы, толпы народа на сценѣ. Всѣ эти нелѣпыя принадлежности новѣйшей драмы не стоятъ одного хорошаго стиха старой трагедіи. Мы довольствуемся теперь холстомъ, расписаннымъ пятьдесятъ лѣтъ назадъ тому, заржавленнымъ кинжаломъ, дырявой туникой. Расинъ и Корнель отвѣтятъ за остальное.... И это преобразованіе совершено, такъ быстро, такъ неожиданно, такъ невѣроятно, дѣвочкою, которая семь лѣтъ передъ этимъ скиталась нищею по парижскимъ улицамъ!»

Черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ этихъ строкъ, на сценѣ Михайловскаго театра, въ Петербургѣ, мы увидѣли ту, которую Жанень называлъ блѣднымъ, тщедушнымъ, худощавымъ ребенкомъ, дѣвочкою безъ силы и свѣжести.

Вонъ она:

Передъ нами тридцати-трехъ-лѣтняя женщина, средняго роста. Ея лицо продолговато и блѣдно, ея глаза исполнены необыкновеннаго ума и жизни; брови прямыя, прекрасно обрисованныя, губы довольно тонкія, нижняя губа нѣсколько преобладаетъ надъ верхней, — на этихъ губахъ, кажется, постоянно шевелятся иронія и презрѣніе; верхняя часть ея высокаго, немного выдавшагося впередъ лба придаетъ какое-то особенное характеристическое выраженіе и значеніе всему ея лицу. Всѣ эти черты, взятыя вмѣстѣ, дышатъ благородствомъ и поражаютъ изящною тонкостью. Шея и руки какъ у античной статуи. Густые черные и вьющіеся на вискахъ волосы украшаютъ ея чудную голову. На головѣ этой блеститъ діадема... Туника живописно драпируетъ ея худощавый, гибкій и змѣистый станъ... Смотрите, сколько страданія на этомъ блѣдномъ лицѣ! какой дикій огонь въ этихъ глазахъ!... Нѣтъ! это не Федра Расина, всетаки нѣсколько напоминающая версальскихъ раскаявающихся грѣшницъ: это— древняя Федра, истомленная, изнуренная медленнымъ огнемъ страсти, эта чувственная Федра, которой палящее дыханіе, кажется, ощущаешь вблизи, которая усиливается бороться съ своею преступною страстью и вся трепещетъ отъ ужаса и стыда,—это та Федра, которая говоритъ своей кормилицѣ:

«О, закрой меня! Слезы вырываются изъ глазъ моихъ и лицо мое горитъ стыдомъ!...»

И въ другомъ мѣстѣ:

«Увы! увы! отчего не могу я на берегу свѣтлаго источника испить чистой воды, чтобы заглушить мою палящую жажду? отчего не могу я скрыться подъ густой тѣнью тополей и отдохнуть на зеленомъ лугу?»

Нѣтъ, это не расинова Федра, потому-что въ устахъ этой Федры мелодичный, изящный, плавный, гладкій стихъ Расина звучитъ какъ-то странно... Она придала суровость и грозную силу этому стиху, и вы не вѣрите, что слушаете Расина.

Je ne me soutiens plus; ma force m'abandonne:
Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi.
Hélas!...
Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent!...

Ноги ея подкашиваются, все тѣло ея дрожитъ, взоръ ея блуждаетъ... Надобно слышать эти страшные звуки, когда она произноситъ:

Noble et brillant auteur d'une triste famille,
Toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille,
Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois,
Soleil, je te viens voir pour la dernière fois.

Когда Энона выговариваетъ имя Ипполита, выраженіе, съ которымъ прерываетъ ее Федра:

Malheureuse! quel nom est sorti de ta bouche!

обнаруживаетъ все... Энона прикоснулась къ неизлечимой и наболѣвшей ранѣ.

По окончаніи перваго дѣйствія, многіе—люди, впрочемъ, одаренные вкусомъ и любовью къ изящному—остались недовольны Рашелью: говорили, что ея игра ненатуральна, что она тянетъ стихи и поетъ, что вообще, кажется, она ниже своей славы, и что едва ли это не геній, созданный французскими фельетонистами.

Такіе судьи уже потому одному неправы, что они слишкомъ опрометчивы и, не задумываясь, тотчасъ рѣшаютъ всякій вопросъ. Они полагаютъ, что можно довѣряться первому впечатлѣнію въ дѣлѣ искусства... странные люди!

Но всѣ явленія, выходящія изъ черты обыкновеннаго, не даются вдругъ людямъ неприготовленнымъ... Для того, чтобы понять и оцѣнить съ перваго взгляда дрезденскую Мадонну Рафаэля, шекспирова «Гамлета», древнюю статую, драгоцѣнную камею, необходимы предварительное изученіе, чтеніе, наглядность и опытность. Человѣкъ, даже надѣленный вкусомъ и чувствомъ изящнаго, но неприготовленный, можетъ пройти мимо этой Мадонны, не замѣтивъ ее, можетъ не дочесть «Гамлета», потому-что онъ покажется ему скучнымъ, и промѣнять античный мраморъ, художественный обломокъ древности на какую-нибудь изящную современную игрушку въ родѣ Вакханки Бьянъ-Эме. Искусство не дается вдругъ: оно открывается только тѣмъ, кто входитъ въ храмъ его съ благоговѣніемъ,

съ любовью, послѣ долгихъ трудовъ и приготовленій... Чтобы произносить свой судъ надъ такой великой артисткой, какъ Рашель, надобно по-крайней-мѣрѣ взять на себя трудъ вникнуть въ игру ея и изучить ее во всѣхъ оттѣнкахъ, въ постепенномъ развитіи выполняемыхъ ею ролей; надобно быть хорошо знакомымъ съ тѣми произведеніями, которыя составляютъ ея репертуаръ, и — еще болѣе — имѣть хотя нѣкоторое понятіе о тѣхъ источникахъ, изъ которыхъ вышли эти произведенія... Бѣглыя и личныя впечатлѣнія ни къ чему не ведутъ и ничего не доказываютъ, а въ отношеніи къ такой артисткѣ, какъ Рашель, они просто смѣшны.

Въ первое представленіе — мы не скрываемъ этого — и намъ также показался нѣсколько страннымъ и натянутымъ голосъ, которымъ она говоритъ всю первую сцену съ Эноной; но, вникнувъ въ роль Федры и видѣвъ потомъ Рашель нѣсколько разъ въ этой роли, мы убѣдились, почему она всю эту сцену говоритъ такъ, а не иначе.

Въ первыя минуты до страшнаго признанія своего Энонѣ она вся проникнута ужасомъ и презрѣніемъ къ самой себѣ: она сознаетъ, что страсть, которую она носитъ въ себѣ по волѣ мстящей богини, страсть преступная, чудовищная; она лучше желаетъ умереть, чѣмъ сознаться въ этой страсти.

Je meurs, pour ne point faire un aveu si funeste,

говоритъ она Энонѣ. Одинъ выходъ ея изъ этого глубоко-трагическаго положенія — смерть, — и она готова къ ней. Смерть — ея единственное торжество и побѣда надъ самой собою. И въ этихъ глухихъ, дикихъ звукахъ, какъ-будто выходящихъ не изъ груди женщины, а изъ могильнаго склепа, слышится вся глубина страданій Федры, все ея презрѣніе и отвращеніе къ самой себѣ, весь ужасъ ея положенія, все усиліе побороть въ себѣ эту страсть и сознаніе собственнаго безсилія и жажда смерти. Эти звуки вполнѣ выражаютъ страшное состояніе души ея... Прислушайтесь, какъ она произноситъ:

O haine de Vénus! ô fatale colère!
Dans quels égarements l'amour jeta ma mère!

Или:

De l'amour j'ai toutes les fureurs.

И когда она приступаетъ къ страшному признанію, когда слова: «Ты знаешь этого сына амазонки?» срываются съ устъ ея, съ какимъ стыдомъ, трепещущая и задыхающаяся на восклицаніе Эноны:

Hippolyte? Grands dieux!

отвѣчаетъ она:

C'est toi qui l'as nommé...

Страшные звуки, но которые, замѣтьте, уже не повторяются потомъ, когда Федра, поощренная своей наперсницей, отдается на произволъ гибельной страсти и нѣсколько примиряется съ своимъ положеніемъ.

Во второмъ дѣйствіи это уже не та мрачная, жаждущая смерти Федра, которая борется съ самой собой и которую мы видѣли въ первомъ дѣйствіи. Ложное извѣстіе о смерти Тезея, совѣты Эноны разожгли еще болѣе ея безумную страсть, ея безумныя надежды. Она уже не стыдится своего увлеченія; сначала она, правда, только намекаетъ о немъ Ипполиту, но довольно уже ясно. Это уже другіе звуки, — и какъ нѣжатъ они ухо! сколько въ нихъ непреодолимаго соблазна, какимъ огнемъ горятъ глаза ея, какъ сіяетъ лицо ея, когда она произноситъ:

Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée:
Je l'aime; non point tel que l'ont vu les enfers,
Volage adorateur de mille objets divers,
Qui va du dieu des morts déshonorer la couche;
Mais fidèle, mais fier et même un peu farouche,
Charmant, jeune, traînant tout les coeurs après soi,
Tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois.
Il avait votre port, vos yeux, votre langage...

Но когда Ипполитъ послѣ ея признанія говоритъ:

Ma honte ne peut plus soutenir votre vue;
Eh je vais...

надобно видѣть эту женщину, выраженіе лица ея, ея движеніе, огонь, сверкнувшій въ глазахъ ея, — надобно слышать этотъ голосъ, которымъ она останавливаетъ Ипполита:

Ah cruel! tu m'as trop entendue!
Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur.
Eh bien! connais donc Phèdre et toute sa fureur.
J'aime.

и потомъ переходъ:

Ne pense pas qu'au moment que je t'aime,
Innocente à mes yeux je m'approuve moi-même...
. . . . . .
Objet infortuné des vengeances célestes,
Je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes.

Какъ неподражаемо этотъ послѣдній стихъ произносится великой артисткой! Счастливы тѣ — мы обращаемся не ко всѣмъ, а преимущественно къ людямъ, понимающимъ и любящимъ искусство — счастливы тѣ, которые слышали этотъ стихъ изъ устъ Рашель. Минуты такого художественнаго наслажденія рѣдки; для насъ, покрайней-мѣрѣ, это минуты высочайшаго блаженства!

Вся роль Федры выполняется художественно и вдохновенно Рашелью. Это уже не та блѣдная, слабая, болѣзненная дѣвочка, о которой говорилъ Жанень, имѣющая только вдохновенныя минуты и потомъ ослабѣвающая, перестающая принимать участіе въ ходѣ пьесы: нѣтъ! это артистка,

уже вполнѣ обладающая своимъ талантомъ, которая вся жизнь, вся движеніе, вся энергія, покуда она на сценѣ... Но верхъ торжества въ этомъ непрерывномъ ея торжествѣ—это четвертое дѣйствіе, когда къ страсти, снѣдающей ее, присоединяется еще новая страсть—ревность, когда она узнаетъ, что Ипполитъ любитъ Арисію...

OEnone, qui l'eût cru! j'avai une rivale!

восклицаетъ она, и какъ восклицаетъ!

Страшно становится за несчастную Энону, когда Федра спрашиваетъ ее:

Ils s'aiment! Par quel charme ont-ils trompé mes yeux?
Comment se sont-ils vus? depuis quand? dans quels lieux?
Tu le savais: pourquoi me laissais-tu séduire?

Сцена съ Эноной (въ четвертомъ дѣйствіи), отъ перваго до послѣдняго слова, самая огненная, самая краснорѣчивая страница въ лѣтописяхъ сценическаго искусства.

Тезей возвратился. Ипполита оклеветали въ глазахъ отца. Онъ выгнанъ; онъ любитъ другую: онъ презрѣлъ и отвергнулъ Федру, — эту гордую Федру, такъ долго таившую свою страсть,—эту Федру, которая, какъ своихъ изобличителей, боялась свѣта, дня, солнца... Убитая, опозоренная, оскорбленная, она вспыхиваетъ въ послѣдній разъ всею силою негодованія, всею силою презрѣнія; всѣмъ бѣшенствомъ гнѣва противъ своей наперсницы—виновницы ея признанія Ипполиту; она превращается въ богиню карающую и мстящую, въ фурію, когда произноситъ съ угрожающимъ жестомъ, отъ котораго Энона припадаетъ къ землѣ:

Je ne t'écoute plus. Va-t'en monstre exécrable;
Va, laisse moi le soin de mon sort déplorable...

Въ послѣднемъ дѣйствіи, послѣ смерти Ипполита, Федра появляется передъ Тезеемъ уже полуживая, блѣдная, слабая, съ ядомъ въ груди.... Для нея все кончено.... Она опускается въ кресла и съ тихимъ страданіемъ произноситъ послѣднее признаніе, объявляетъ мужу о своей страсти и о невинности Ипполита.... Голосъ ея гаснетъ съ каждымъ словомъ.... Она уже едва произноситъ слова.... Они замираютъ на запекшихся устахъ ея.... Смерть уже коснулась ея, когда она едва слышно произноситъ свои послѣднія слова:

Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage
Et le ciel et l'époux que ma présence outrage;
Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté
Rend au jour qu'ils souillaient toute sa pureté....

Когда занавѣсъ опустился и начались крики, многіе изъ тѣхъ, которые послѣ перваго дѣйствія тотчасъ же рѣшили, что Рашель не принадлежитъ къ этой великой семьѣ, членами которой были Дюшенуа, Марсъ, Тальма, Кинъ, что это слава, сдѣланная французскими фельe-

тонистами, — были видимо взволнованы и тронуты и сознались, что Рашель точно обладаетъ огромнымъ талантомъ; что она *неподражаема* въ сценахъ, гдѣ выражаетъ ненависть, злобу, презрѣніе, а что въ остальныхъ сценахъ, гдѣ дѣйствіе развивается спокойно, въ сценахъ, гдѣ трагедія еще не возвысилась до своего паѳоса, и другія съиграли бы не хуже ея.... До какой степени несправедливо такое сужденіе, повторяемое нѣкоторыми и теперь, послѣ двадцати представленій, данныхъ Рашелью, мы покажемъ впослѣдствіи, при разсмотрѣніи игры ея въ другихъ пьесахъ. Здѣсь мы замѣтимъ одно, что эти толки, можетъ-быть, имѣютъ началомъ своимъ фельетоны Жюль-Жаненя, отчасти приведенные нами выше, въ которыхъ, какъ замѣтили читатели, проводится та же самая мысль, распространившаяся потомъ въ массахъ и обратившаяся въ привычку при сужденіяхъ объ игрѣ Рашель. Но господа, судящіе теперь такимъ образомъ о Рашель, упускаютъ изъ виду то, что между Рашель настоящею и тою, которою она была пятнадцать лѣтъ назадъ тому, есть, вѣроятно, разница; что въ эти пятнадцать лѣтъ ея великій талантъ не могъ оставаться неподвижнымъ, что въ теченіе пятнадцати лѣтъ сценической опытности она должна была овладѣть имъ и пріобрѣсть ту художественную полноту въ исполненіи своихъ ролей, которой ей недоставало въ началѣ.

Несмотря на крики и вызовы, вообще въ первыя представленія замѣтна была если не холодность, то какая-то сдержанность, недовѣрчивость въ зрителяхъ. Эта недовѣрчивость, впрочемъ — отличительная черта русской публики, и мы нисколько не думаемъ ставить ей это въ недостатокъ. Она не хочетъ вдругъ обнаружить, что вѣритъ только на слово европейскимъ авторитетамъ, что она подчиняется имъ безусловно; она чувствуетъ необходимость убѣдиться собственными глазами, собственнымъ слухомъ, повѣрить собственнымъ чувствомъ, до какой степени справедлива эта слава, этотъ авторитетъ.... Еще одно обстоятельство: русская публика предубѣждена противъ старой французской трагедіи. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ ей толковали различные признанные и непризнанные критики, что эта трагедія — вся ложь, вся напыщенность, что она накрахмалена, нарумянена, напудрена, чуть не бездарна; что въ ней нѣтъ ни движенія, ни истинной страсти, а одна только декламація,—и еще до-сихъ-поръ повторяютъ это съ чужихъ словъ наши остроумные фельетонисты. Пробѣгите хоть изъ любопытства ихъ отзывы о классической трагедіи по поводу Рашель. Мы, признаемся, также предпочитаемъ этому роду произведеній, нѣсколько искусственному и узкому, драмы Шекспира, въ которыхъ жизнь разливается какъ море широкими волнами, являясь во всей своей грубой красотѣ, во всей безпощадной истинѣ. Но, какъ бы то ни было, мы убѣждены, что человѣкъ вполнѣ образованный, понимающій искусство, владѣющій эстетическимъ вкусомъ, если не будетъ, подобно французамъ, подобно Жанену, восторгаться отъ классической трагедіи, то всетаки съумѣетъ отдать справедливость генію Корнеля и Расина и не рѣшится произнести во всеуслышаніе, что въ ихъ произведеніяхъ вдохновеніе и истинная поэзія замѣнены только искусственностью и высокопарными стихами, а дѣй-

ствіе — одной риторикой.... Это еще позволительно было говорить лѣтъ тридцать тому назадъ, во времена отчаянной борьбы классицизма съ романтизмомъ.... Дѣйствія въ Корнелѣ и особенно въ Расинѣ точно мало видно извнѣ; но тотъ, кто изучалъ ихъ произведенія, не могъ упустить изъ виду того внутренняго дѣйствія, которое постепенно развивается въ этихъ монологахъ и діалогахъ, полныхъ энергіи и силы или звучащихъ какъ музыка.... И неужели вы думаете, что если бы эти произведенія, кромѣ высокопарности, искусственности и риторики, не заключали въ себѣ ничего, если бы въ нихъ не было никакого движенія, никакой страсти, изъ нихъ можно было бы сдѣлать то, что дѣлаетъ Рашель? Геніальная артистка явилась передъ нами, чтобы доказать намъ, что мы не имѣемъ права съ легкою насмѣшкою и презрѣніемъ отзываться объ этихъ произведеніяхъ. Положимъ, что классическая трагедія пала, но падшій левъ всетаки левъ, и всякій фельетонистъ не имѣетъ права безнаказанно лягать его....

Такъ два обстоятельства, сейчасъ приведенныя нами: нежеленіе безусловно подчиняться европейскимъ авторитетамъ и предубѣжденіе противъ классической трагедіи, были причинами того, что въ первыя представленія публика какъ бы старалась удерживать свой восторгъ, казалась осторожною въ отношеніи къ артисткѣ. Но и въ эти представленія были минуты общаго одушевленія, общаго восторга, невольно вырывавшагося изъ стѣсненной груди зрителей единодушными рукоплесканіями, — такія минуты, которыя даются рѣдко, когда вы чувствуете, что какъ-будто электрическая искра пробѣжала по всей этой разнообразной и разнохарактерной массѣ людей и вся эта масса вздрогнула вдругъ какъ одинъ человѣкъ. Такими минутами можно быть обязану только великимъ артистамъ, такія минуты испытываешь только въ представленіяхъ Рашель. Такую минуту испыталъ я въ первый разъ въ жизни въ первое представленіе въ Парижѣ на С.-Мартенскомъ театрѣ, въ 1845 г., пошлой мелодрамы: «La Dame de Saint-Tropez», когда, въ пятомъ дѣйствіи, Фредерикъ Леметръ, полу-отравленный, подозрѣвающій въ этомъ отравленіи жену свою, которую онъ любитъ, постепенно приподнимается, увидѣвъ въ зеркалѣ, какъ его другъ и товарищъ подсыпаетъ ему яду въ чашку. Открытіе, что жена его невинна, его радость при этомъ, ужасъ и удивленіе, что отравитель его тотъ, котораго онъ считалъ своимъ другомъ, борьба этихъ разнородныхъ ощущеній на блѣдномъ, изможденномъ страданіями лицѣ, недовѣріе къ самому себѣ.... И артистъ все продолжалъ вглядываться въ зеркало и все приподнимался.... Наконецъ другъ его подошелъ къ нему; онъ поднесъ ему съ пріятною улыбкою роковую чашку. Несчастный взглянулъ на него, изъ груди его вырвался раздирающій крикъ, и онъ схватилъ отравителя за руку.... Выраженіе этого лица и этотъ звукъ невозможно забыть. Въ то мгновеніе я чувствовалъ, какъ холодъ пробѣжалъ по тѣлу всѣхъ зрителей, какъ замерло у всѣхъ дыханіе. Это было чудное мгновеніе, и вслѣдъ за тѣмъ раздались крики и рукоплесканія....

Обратимся къ Рашель. Послѣ «Федры», безъ всякаго сомнѣнія, лучшаго произведенія Расина, которое болѣе другихъ приближается къ древ-

ней трагедіи, въ которой Рокъ, этотъ неизбѣжный, неумолимый, ненасытный Рокъ древнихъ, требующій безпрестанныхъ жертвъ, играетъ первую роль, движетъ всей трагедіей,—послѣ этой любимой пьесы Расина, которою онъ заключилъ свое драматическое поприще (1677 г.), мы увидѣли Рашель въ *Маріи Стюартъ*, *Пьерра Лебрёна*, которому вздумалось, въ одинъ прекрасный день, изуродовать слабое произведеніе Шиллера и заключить его въ классическіе французскіе размѣры и рамки. Эту «Марію Стюартъ», передѣланную на старый ладъ и появившуюся въ Парижѣ, кажется, въ 1820 г., должно бы было отнести къ самымъ бѣднымъ и ничтожнымъ произведеніямъ французской классической школы, если бы она не отличалась въ нѣкоторыхъ мѣстахъ звучными и сильными стихами. Вся эта трагедія заключаетъ въ себѣ одну только истинно-драматическую сцену, почти цѣликомъ перенесенную изъ Шиллера, — сцену свиданія Маріи съ Елисаветой, устроенную Мельвилемъ и Лейчестеромъ. И въ этой сценѣ Рашель обнаружила весь колоссальный талантъ свой.... Сколько величія въ этой женщинѣ!

Посмотрите, какихъ тяжкихъ, какихъ невыносимыхъ страданій стоитъ ей побѣдить свою гордость, какая страшная внутренняя борьба совершается въ ней передъ тѣмъ, какъ она принуждаетъ себя униженно преклонить колѣни передъ своей соперницей! Она проситъ ее великодушно протянуть ей руку: но Елисавета холодна и безмолвна. Тогда подавленныя страсти мало-по-малу начинаютъ снова пробуждаться въ оскорбленной Маріи: она приподнимается изъ праха и гордо стоитъ передъ той, которая держитъ въ рукахъ своихъ ея жизнь и смерть. Разговоръ ихъ, сначала исполненный колкихъ намековъ, разгорается все болѣе и болѣе. Елисавета съ безжалостнымъ равнодушіемъ оскорбляетъ ее, — и тогда-то, пылающая гнѣвомъ и местію, которыхъ уже не въ силахъ болѣе удерживать, Марія подавляетъ свою неумолимую соперницу всею своею ненавистью и презрѣніемъ. И какъ величественна и прекрасна артистка, одушевленная этимъ гнѣвомъ! Ея движенія, ея взгляды, ея трепещущія отъ злобы губы, покосившіяся на сторону, въ которыхъ столько яду и ироніи, и звукъ ея голоса, — все это оледеняетъ кровь. Эта за минуту недоступная и гордая королева уничтожена и попрана своей плѣнницей. Марія торжествуетъ. Что ей за дѣло, что это минутное торжество, что завтра ждетъ ее казнь! Она вся сіяетъ безумнымъ восторгомъ, дикою радостью. Лейчестеръ — свидѣтель этого униженія,— и она счастлива! Съ недоступнымъ для другой женщины величіемъ произноситъ она: «Не мнѣ, а *тебѣ* лежать въ прахѣ передо мною. Я твоя королева!» Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ подъ рукою лебрёновской трагедіи и не можемъ привести словъ этихъ въ подлинникѣ.

Въ эту минуту всѣ, даже самые недовѣрчивые, зрители, пораженные красотою, энергіею, силою, гнѣвомъ и величіемъ артистки, увлеченные ея геніемъ, вѣроятно, сознали внутренно, что недаромъ же досталась этой женщинѣ европейская слава. Раздался оглушающій громъ рукоплесканій: рукоплескали всѣ, даже и дамы, сидящія въ ложахъ бель-этажа. Всѣ знакомые и незнакомые переглянулись другъ съ другомъ, какъ б

желая сообщить другъ другу: «Да, это точно великая артистка, это точно геніальная женщина!»

Въ послѣднемъ дѣйствіи, за минуту передъ казнію, въ сценѣ прощанія съ своими друзьями и приближенными, — въ этой сценѣ, когда Марія преклоняетъ колѣни съ религіознымъ чувствомъ передъ благословляющимъ ее Мельвилемъ, Рашель показала, что не только одно грозное величіе свойственно ея таланту, что она является великой артисткой не въ однѣхъ только сценахъ, гдѣ движутъ ею страсти. Нѣтъ, это величіе никогда не оставляетъ ее: оно въ ея натурѣ. Тихая, спокойная, покорная судьбѣ, обреченная плахѣ, оставляющая всѣ свои земныя надежды и помыслы, свой блескъ и свою корону, она всетаки королева до самой роковой минуты. И только въ послѣдній разъ вспыхиваетъ въ ней земная страсть при видѣ Лейчестера, когда она, съ горькой ироніей, говоритъ ему: «Вы обѣщали меня вывести изъ тюрьмы и теперь исполняете ваше слово!»

Послѣ *Маріи Стюартъ* мы увидѣли *Герміону*—лучшую роль Рашель, по мнѣнію Жюль-Жаненя; но каждая роль, которую создаетъ на сценѣ эта женщина, есть ея лучшая роль. Можно ли положительно сказать, въ чемъ она лучше: въ *Федрѣ*, въ *Маріи Стюартъ* или въ *Герміонѣ?* Вдохновеніе никогда не оставляетъ ее, какую бы роль ни взяла она; эта роль, можно сказать заранѣе, будетъ исполнена ею съ полною художественною отчетливостью, потому-что она, какъ истинная артистка, не возьметъ на себя той роли, которою не можетъ внутренно проникнуться, которая не можетъ возбудить ея сочувствія. Это не актриса, разсчитывающая на внѣшніе эффекты и хватающаяся за всѣ роли, въ которыхъ она отъискиваетъ случаи къ этимъ эффектамъ, и поддѣлывающаяся подъ вкусъ публики, часто невѣрный. Рашель не имѣетъ ничего общаго съ такого рода актрисами, хотя и талантливыми.

Талантъ Рашель могучъ и глубокъ, потому-что это талантъ внутренній; каждый жестъ этой женщины, каждый взглядъ ея, каждое слово дышатъ художественною простотою, потому-что ея душа, ея сердце приводятъ въ движеніе эти взгляды, управляютъ этими жестами, звучатъ въ этихъ словахъ. Вотъ отчего она такъ могущественно дѣйствуетъ на зрителя; вотъ отчего она покоряетъ самыхъ упорныхъ, смягчаетъ самыхъ недовѣрчивыхъ своихъ судей. Она не льститъ публикѣ, она не угождаетъ ея прихотямъ; въ полномъ сознаніи своего призванія, въ полной увѣренности въ своихъ силахъ, она говоритъ ей: «Я не буду идти избитымъ путемъ вслѣдъ за тобою, не ты будешь указывать мнѣ мое направленіе. Я знаю, что я увлеку тебя за собою, и, безъ всякаго усилія съ моей стороны, ты безпрекословно повсюду пойдешь за мною. Я буду повелѣвать тобой самовластно. Я заставлю тебя плакать горячими слезами, содрогаться отъ ужаса; я выведу тебя изъ твоей апатіи, я пробужу въ тебѣ человѣческія чувства и ощущенія; я одушевлю тебя, хоть бы ты принадлежалъ къ самымъ утонченнымъ, къ самымъ мертвымъ свѣтскимъ автоматамъ; я покажу тебѣ, какія чудеса можетъ производить искусство истинное, этотъ неугасаемый, священный огонь, который горитъ въ душѣ артиста!»

И Рашель точно производитъ чудеса.

Ея благородное, прекрасное лицо покорно малѣйшимъ оттѣнкамъ ея внутреннихъ ощущеній и страстей; въ этомъ лицѣ столько жизни и подвижности, что нѣтъ возможности слѣдить за всѣми его мгновенными измѣненіями; ея голосъ мѣняется также быстро: то мягкій и нѣжный какъ бархатъ, то порывистый и страстный какъ пламень, то глухой и дикій какъ роковой, металлическій звукъ набата,—онъ всегда звучитъ вѣрно. Каждая ея поза, каждое ея движеніе — этюдъ для скульптора: это — античная статуя, во всей ея высокой простотѣ, во всей величавой граціи.

Посмотрите на нее въ роли Герміоны...

«Андромаха» считается однимъ изъ лучшихъ произведеній Расина. Что̀ касается собственно до насъ, мы предпочитаемъ ей «Федру»; но нельзя не отдать справедливости, что роль Герміоны отдѣлана французскимъ трагикомъ съ большимъ искусствомъ. Мы полагаемъ, что всѣмъ образованнымъ читателямъ извѣстно содержаніе этой трагедіи, и поэтому безполезно бы было здѣсь напоминать его. Мы укажемъ только на тѣ мѣста въ роли Герміоны, въ которыхъ великая артистка особенно поразила насъ. Въ этихъ бѣглыхъ журнальныхъ замѣткахъ невозможно, къ сожалѣнію, прослѣдить въ подробностяхъ и послѣдовательно игру ея въ каждой роли и передать тѣ малѣйшіе оттѣнки, которые она придаетъ въ извѣстныхъ мѣстахъ выраженію своего лица и звукамъ голоса. Такая оцѣнка, важная для искусства, превзошла бы далеко предѣлы журнальной статьи.

Герміона—единственная гороиня этой трагедіи, которая названа именемъ Андромахи. Весь интересъ сосредоточивается на одной этой страстной гречанкѣ, умѣющей такъ же горячо любить, какъ и ненавидѣть, исполненной глубокой ироніи и презрѣнія къ этому несчастному, влюбленному въ нее Оресту, котораго она выбираетъ орудіемъ своего мщенія, и руками котораго зарѣзываетъ Пирра, страстно любимаго ею. Пирръ, сама Андромаха, и въ особенности Орестъ, лица блѣдныя, совершенно уничтожающіяся передъ увлекательнымъ въ самой злобѣ образомъ мстящей Герміоны.

Въ минуту появленія Рашель на сценѣ мы увидѣли передъ собою олицетворенную Герміону. Эта глубокая, ироническая полу-улыбка на блѣдномъ лицѣ, эти брови, нѣсколько надвинувшіяся впередъ, этотъ строгій взглядъ не могутъ никому болѣе принадлежать, какъ Герміонѣ. Характеръ Герміоны и любовь ея къ Пирру обнаруживаются съ первыхъ словъ ея, въ отвѣтѣ на наивный вопросъ ея наперсницы о Пиррѣ:

Ne m'avez-vous pas dit que vous le haissiez?
— Si je le hais, Cléone! (возражаетъ она) il y va de ma gloire,
Après tant de bontés dont il perd la mémoire;
Lui qui me fut si cher, et qui m'a pu trahir!
Ah! je l'ai trop aimé, pour ne le point hair.

Въ голосѣ, которымъ произнесла, и въ выраженіи, которое Рашель придала послѣднему стиху, высказалась уже женщина оскорбленная и готовая на месть. Вся слѣдующая затѣмъ сцена съ Орестомъ ведена была ею съ искусствомъ удивительнымъ. Когда этотъ несчастный и жалкій

Орестъ высказалъ ей всю любовь свою, которую онъ самъ называетъ *слѣпою*, и спросилъ у нея о рѣшеніи своей участи, предчувствуя, впрочемъ, что она его ненавидитъ, надобно было слышать, съ какой тонкой и ядовитой ироніей отвѣчала ему на это Герміона:

Hé quoi! toujours injuste... и проч.

. . . . . .

mais *qui sait* si depuis
Je n'ai point en secret partagé vos ennuis?
Pensez-vous avoir seul éprouvé des alarmes;
Que l'Épire jamais n'ait vu couler mes larmes?
Enfin, qui vous a dit, que malgré, mon devoir
Je n'ai pas quelquefois souhaité de vous voir?

Бѣдный вдругъ не понялъ той ядовитой ироніи, съ которой произнесены были эти слова, и обрадовался было, но потомъ опомнился, началъ сомнѣваться, жаловаться Герміонѣ на свою горькую участь (partage funeste) и упомянулъ, между-прочимъ, о томъ, что Пирръ ненавидитъ ее.

Какъ уязвленная гадомъ, вздрогнула Герміона и бросила злобный взглядъ на своего жалкаго обожателя, — такой взглядъ, который долженъ былъ уничтожить его. Такъ взглядывать можетъ только одна Рашель. И съ какимъ презрѣніемъ прервала она его рѣчь этимъ вопросомъ:

Qui vous l'a dit, seigneur, qu'il me méprise?
Ses regards, ses discours vous l'ont-ils donc appris?
Jugez-vous que ma vue inspire des mépris;
Qu'elle allume en un coeur des feux si peu durables?
Peut-être d'autres yeux me sont plus favorables...

Какъ тонко она возжигаетъ ненависть Ореста къ Пирру, какъ грозно требуетъ она отъ него, чтобы греки превратили Эпиръ во второй Иліонъ, срыли бы его до основанія.

Qu'on fasse de l'Épire un second Ilion;
Allez...

восклицаетъ она, поднимая руку, какъ бы приказывая ему немедленно исполнить это, и, на мгновеніе остановившись, спрашиваетъ:

Après cela direz-vous que je l'aime?

Лицо Рашель въ эту минуту, ея поза, ея жестъ никогда не изгладятся изъ нашей памяти. Про нее можно сказать словами поэта:

.... Мой умъ *невольно* возмущалъ
Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
Какъ царь, нѣмой и гордый, онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно...

..... мы чувствуемъ совершенное безсиліе и невозможность хотя приблизительно познакомить съ игрою Рашель тѣхъ, кто не видалъ ее. Какъ передать всѣ эти чудныя движенія, всѣ эти взгляды, всѣ эти оттѣнки въ голосѣ? радостное, свѣтлое выраженіе въ лицѣ ея, когда она думаетъ, что Пирръ рѣшился оставить для нея Андромаху, — голосъ, которымъ артистка произноситъ:

Sais-tu quel est Pyrrhus? T'es-tu fait raconter
Le nombre des exploits... *Mais qui les peut compter?*
Intrépide, et partout suivi de la victoire,
Charmant, fidèle; enfin rien ne manque à sa gloire...

эту ядовитую иронію, съ которой она отвѣчаетъ на просьбу *Троянки*, умоляющей ее вступиться у Пирра за ея сына:

S'il faut fléchir Pyrrhus, *qui le peut mieux que vous?*
Vos yeux assez longtemps ont regné sur son âme.
Faites-le prononcer; *j'y souscrirai, madame...*

Эти слова: j'y souscrirai, madame, протянутыя съ злобной насмѣшкой, какъ отравленный кинжалъ, медленно вонзаются и повертываются Герміоною въ сердцѣ соперницы.

Есть ли какія-нибудь средства дать понятіе объ этой сценѣ, когда Герміона, узнавшая о томъ, что Пирръ готовъ соединиться съ *Троянкой*, пылаемая местью, поджигаетъ Ореста на убійство,—эти звуки, которыми она произноситъ:

Je veux savoir, seigneur, si vous m'aimez...
. . . . . .
Vengez moi, je crois tout.
. . . . . .
Mais, si vous me vengez, *vengez-moi dans une heure.*
Tous vos retardements sont pour moi des réfus.
Courez au temple. Il faut immoler...

и когда Орестъ съ ужасомъ узнаетъ, что надо убить Пирра, ея ироническій вопросъ:

Hé quoi! votre haine chancelle?
. . . . . .

и замѣчаніе:

S'il ne meurt *aujourd'*hui je puis l'aimer *demain...*

и эти страшныя слова:

Revenez tout couvert du sang de l'infidèle
Allez: en cet état soyez sûr de mon coeur...

слова, произнесенныя такъ, что кровь застываетъ...

Какъ передать вамъ лицо этой геніальной женщины, когда она говоритъ колеблющемуся Оресту:

Je m'en vais seul au temple où leur hymen s'apprête,
Où vous n'osez aller mériter ma conquête:
Là, de mon ennemi je saurai m'approcher;
Je percerai le coeur que je n'ai pu toucher;
Et mes sanglantes mains, sur moi-même tournées,
Aussitôt, malgré lui, joindrons nos destinées....

и то выраженіе, съ которымъ она оканчиваетъ:

Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux
De mourir avec lui, que de vivre avec vous....

ея возраженія Пирру при послѣднемъ ихъ свиданіи:

Je ne t'ai point aimé, cruel! qu'ai-je donc fait?...

и ея заключительныя слова къ нему, въ которыхъ месть, злоба, негодованіе, презрѣніе оскорбленной и оставленной женщины являются во всемъ своемъ величавомъ ужасѣ:

Porte au pied des autels ce coeur qui m'abandonne;
Va, cours: *mais crains encor d'y trouver Hermione!...*

ея восклицаніе, когда она узнаетъ о смерти Пирра:

Il est mort!...

упадая головой на плечо своей наперсницы.... Съ закрытыми глазами, полумертвая отъ ужаса, прислонясь къ этой Клеонѣ, она остается такъ почти все время, покуда безумный Орестъ разсказываетъ ей о совершонномъ имъ *подвигѣ*. Но когда онъ вскрикиваетъ:

Vous seule avez poussé les coups....

Герміона какъ львица кидается къ нему и бросаетъ въ него презрительно эти слова:

Tais-toi, perfide....
Et n'impute qu'à toi ton lâche parricide.
Va faire *chez tes Grecs* admirer ta fureur,
Va; je la désavoue, et tu me fais horreur.

и потомъ задыхающимся голосомъ, съ воплемъ спрашиваетъ его:

Barbare, qu'as-tu fait? avec quelle furie
As-tu tranché le cours d'une si belle vie?

И подходитъ къ нему и, становясь передъ нимъ лицомъ къ лицу, грозно произноситъ:

Mais parle; de son sort qui t'a rendu l'arbitre?
Pourquoi l'assasiner? qu'a-t-il fait? à quel titre?
Qui te l'a dit?

Изумленный Орестъ, который, надобно сказать правду, довольно тупоуменъ, отвѣчаетъ ей, размахивая руками: «Да не вы ли здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, приказали мнѣ убить его?»

Ah! fallait-il en croire une amante insensée?

перебиваетъ она его съ упрекомъ:

Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée?
Et *ne voyais-tu pas dans mes emportements,*
Que mon coeur démentait ma bouche à tous moments?

Какое чудное созданіе эта Герміона, эта любящая и мстящая женщина! какъ хороша она даже въ своемъ кровавомъ величіи! и какъ жалокъ этотъ бѣдный Пирръ, промѣнявшій ее на Андромаху! Испытать любовь этой Герміоны—величайшее счастіе. А онъ добровольно оттолкнулъ ее отъ себя. Безумецъ! онъ заслуживаетъ своей участи.

Собственно лицо Герміоны не оригинальное созданіе Расина. Она заимствована отчасти изъ «Андромахи» Эврипида. Въ остальномъ между «Андромахою» Эврипида и «Андромахою» Расина, несмотря на одинаковое названіе этихъ трагедій, нѣтъ почти ничего общаго. Даже содержаніе ихъ различно.

Переходъ отъ изящно-строгихъ произведеній Корнеля и Расина, заключенныхъ въ магическомъ кругу трехъ единствъ, къ новѣйшимъ, небрежнымъ и немного *растрепаннымъ*, если можно такъ выразиться, драматическимъ произведеніямъ, которыя носятъ названіе *мелодрамъ*, *драмъ-комедій*, *драмъ-фантазій* и проч. и составляются компаніями,—этотъ переходъ, надо сознаться, очень рѣзкій. И мы вполнѣ понимаемъ, почему Рашель долго колебалась, принять ли ей на себя роль *Адріенны Лекуврёръ*,—роль, впрочемъ, для нея составленную.

Она появилась въ этой роли въ Парижѣ, въ первый разъ, 14 апрѣля 1849 года.... Г. Теофиль Готье, отдавая отчетъ объ игрѣ ея, говорилъ, между-прочимъ, въ своемъ фельетонѣ:

«Такъ-какъ репертуаръ этихъ образцовыхъ произведеній (старыхъ трагедій) очень ограниченъ, то г-жа Рашель должна же была наконецъ поискать въ современномъ искусствѣ того, чего не могло дать ей старое искусство. Ни Тальма, ни Марсъ не отказывались играть въ современныхъ имъ произведеніяхъ, и, конечно, отъ этого они ничего не потеряли. Немногія попытки самой г-жи Рашель должны были внушить ей наконецъ *смѣлость* перейти къ современности; но она все еще колебалась и рѣшилась принять на себя роль Адріенны только послѣ переговоровъ и совѣщаній съ извѣстными литераторами и журналистами.... Журналисты уговорили ее принять эту роль, и огромный успѣхъ былъ наградою перваго *смѣлаго* шага знаменитой актрисы.... Рашель была мила съ старымъ

Мишоннэ, нѣжна и страстна съ графомъ Морицемъ Саксонскимъ, полна чувства собственнаго достоинства, насмѣшлива и горда въ сценахъ съ принцессой Бульонской....» и проч.

Если бы Рашель перешла отъ новѣйшей драмы къ старой трагедіи, тогда бы это была точно *смѣлость*; но какая смѣлость съ геніальнымъ талантомъ, послѣ чуда, совершоннаго ею, послѣ возстановленія старой трагедіи, валявшейся въ пыли забвенія, перейти къ этимъ произведеніямъ, основаннымъ на внѣшнихъ эффектахъ, къ произведеніямъ, въ которыхъ иногда и посредственныя актрисы награждаются громами рукоплесканій? Рашель колебалась, но колебалась, мы полагаемъ, не отъ недостатка смѣлости. Ей, вѣрно, тяжело было измѣнить своимъ старымъ друзьямъ—Корнелю и Расину, которымъ она была обязана славой; ей, вѣрно, страннымъ казалось снять съ своей головы діадему, которая такъ идетъ къ ней, промѣнять тунику, которая такъ живописно драпируетъ ея станъ, на новѣйшее платье съ мыскомъ и таліей, и вмѣсто котурновъ обуть свои ножки въ атласные башмаки или въ прюнелевыя ботинки; ей не хотѣлось разстаться съ этимъ древнимъ величіемъ — изъ Камиллы, Герміоны, Федры вдругъ снизойти на степень обыкновенной женщины, — женщины, которыхъ мы встрѣчаемъ и видимъ повсюду, и, наконецъ, промѣнять этотъ шестистопный александрійскій стихъ, который звучитъ такой чудной музыкой въ устахъ ея, на обыкновенную, пошлую, вседневную прозу....

Какъ бы то ни было, но, вѣроятно, Петербургъ, въ ноябрѣ 1853 г., съ такимъ же нетерпѣніемъ и любопытствомъ, какъ Парижъ въ апрѣлѣ 1849 г., ожидалъ появленія Рашель въ роли Адріенны.

Прежде, нежели мы, въ короткихъ словахъ, напомнимъ нашимъ читателямъ содержаніе мелодрамы Скриба, мы немного познакомимъ ихъ съ дѣйствительной Адріенной Лекуврёръ. Сближеніе и сравненіе двухъ такихъ талантовъ, какъ Рашель и Адріенна, представляетъ много любопытнаго.

Адріенна родилась въ послѣднихъ годахъ XVII столѣтія (кажется, въ 1690 г.) и въ теченіе двѣнадцати лѣтъ, съ 1705 до 1717, испытала свой талантъ въ самыхъ замѣчательныхъ роляхъ Корнеля и Расина. На двадцать-седьмомъ году она заключила контрактъ съ Страсбургскимъ театромъ, какъ вдругъ получила приказаніе явиться на сценѣ Французской комедіи, гдѣ первый ея дебютъ былъ истиннымъ торжествомъ. Она была невысокаго роста, но ея походка была благородна и величава, ея взглядъ и движенія были выразительны и одушевленны; голосъ ея, звучный и мягкій, находилъ оттѣнки для выраженія самыхъ разнообразныхъ мыслей и чувствъ; лицо ея было необыкновенно подвижно, и вся она была исполнена граціи. Это свидѣтельствуетъ, между прочими, и Вольтеръ.

Адріенна произвела огромный переворотъ на театрѣ. Въ эпоху ея появленія не только трагическая, даже комическая декламація походила болѣе на пѣніе, почти положенное на ноты. Горе актеру, который бы осмѣлился нарушить эти пѣвучія преданія, переходившія какъ наслѣдство отъ одного къ другому! Актриса Дюкло, родившаяся въ 1664 году,

двадцатью-шестью годами прежде Адріенны, пользовалась въ Парижѣ огромною извѣстностью и самовластно управляла сценою Французской комедіи. Отступить отъ ея старой и избитой манеры значило объявить открытую и непримиримую борьбу всѣмъ предразсудкамъ толпы, значило сказать этой толпѣ, что она, въ теченіе десятковъ лѣтъ, блуждала по ложной дорогѣ.... Адріенна не колебалась: въ ней заговорилъ ея геній. Она не брала уроковъ у знаменитыхъ актеровъ; она про-себя, втайнѣ читала и изучала Корнеля и Расина. Она руководствовалась собственнымъ сознаніемъ, собственнымъ сердцемъ.

Вольтеръ, судя по письму его къ Тирьо, написанному черезъ годъ послѣ смерти Адріенны,—былъ ея поклонникомъ, другомъ и даже болѣе—любимцемъ. Графъ д'Аржанталь былъ не такъ счастливъ. Сохранились два трогательныя письма Адріенны: одно — къ г-жѣ Форіаль, матери графа, другое — къ самому д'Аржанталю. Г-жа Форіаль хотѣла непремѣнно удалить своего сына изъ Парижа, чтобы излечить его отъ страсти къ знаменитой актрисѣ. Адріенна умоляетъ въ письмѣ г-жу Форіаль, чтобы она позволила ему остаться въ Парижѣ, и проситъ у нея совѣта, какъ она должна себя держать въ отношеніи къ нему. Артистка была старше графа десятью годами, и она пишетъ къ нему письмо тономъ матери, дѣлаетъ ему наставленія и совѣты. Эти два безъискусственныя, простодушныя письма въ высшей степени трогательны.

Окруженная всѣмъ блескомъ, всѣми искушеніями свѣта, молодая, прекрасная, свободная, страстная по натурѣ, Адріенна не могла остаться равнодушной, холодной среди своихъ безчисленныхъ поклонниковъ; но она не отдавалась легкомысленно увлеченію страстей, любовь не была для нея капризомъ, праздной забавой. Она любила чистосердечно, сильно и искренно.

Исторія сохранила только память о ея любви къ графу Морицу Саксонскому. И на этомъ эпизодѣ гг. Скрибъ и Легуве разъиграли свою драматическую фантазію, или драму-комедію.

Принцесса Бульонская влюблена въ графа Морица Саксонскаго, который влюбленъ въ Адріенну Лекуврёръ.... Весь интересъ драмы заключается въ борьбѣ этихъ двухъ женщинъ, двухъ соперницъ. Адріенна является великодушною и благородною, принцесса — низкою и мстительною. Адріенна спасаетъ герцогиню отъ позора въ загородномъ домѣ Дюкло, любовницы ея мужа; принцесса—отравляетъ актрису, но, правда, отравляетъ потому, что Адріенна нанесла ей такое оскорбленіе, котораго не прощаютъ женщины: она заклеймила ее расиновскими стихами, на ея же собственномъ вечерѣ, въ глазахъ всего этого блестящаго, великосвѣтскаго общества.

Внѣшняя постройка въ этой драмѣ-комедіи, какъ и во всѣхъ пьесахъ Скриба, отличается большою ловкостью; впрочемъ, въ этой внѣшней постройкѣ только и заключается все ея достоинство. Лицо Адріенны очеркнуто бойко, но блѣдно. Морицъ — лицо совершенно безцвѣтное и жалкое. Онъ постоянно колеблется между этими двумя женщинами: между женщиною, которая можетъ служить его честолюбію, и другою—

сердце которой горячо и глубоко предано ему. Онъ не на столько честолюбивъ, чтобы отказаться отъ любви, и не на столько любитъ, чтобы отказаться отъ своихъ честолюбивыхъ плановъ. Въ немъ тогда только заговариваетъ голосъ истиннаго чувства, когда Адріенна уже умираетъ. Любовь принцессы не возбуждаетъ ни малѣйшаго сочувствія; лицо режиссёра *Мишоннэ* — снимокъ съ *Отца Дебютантки*; *герцогъ* — лицо совершенно ничтожное; *аббатъ* — также лицо избитое во французской комедіи.

Но что̀ намъ до самой драмы! Въ ней играетъ Рашель: намъ хочется услышать, какъ она заговоритъ этой прозой, которой говоримъ всѣ мы, простые смертные; намъ любопытно увидѣть ее въ бальномъ или домашнемъ платьѣ, которыя носятъ въ наше время всѣ женщины, потому-что мы не можемъ вообразить Рашель безъ александрійскаго стиха и безъ туники. Впрочемъ, мы заранѣе увѣрены, что и въ новѣйшей драмѣ она будетъ играть такъ, какъ не въ состояніи играть ни одна изъ самыхъ талантливыхъ современныхъ актрисъ.

И мы не ошиблись... Адріенна, какъ извѣстно, появляется только во второмъ дѣйствіи, въ фойэ Французской комедіи, въ костюмѣ *Роксаны*.

Вотъ она, эта великая артистка, воспроизводящая другую великую артистку—свою сестру по искусству.... Рашель одѣта такъ, какъ одѣвались на сценѣ Роксаны конца XVII столѣтія. Она вся облита брильянтами и драгоцѣнными камнями, волосы ея напудрены, на головѣ ея тюрбанъ, также украшенный брильянтами, съ небольшимъ султаномъ. Она входитъ съ книжкою въ рукахъ, съ своимъ неразлучнымъ, съ своимъ милымъ Расиномъ. Она ходитъ по сценѣ и учитъ свою роль.... какая простота, какое благородство, какая *природная* грація въ ея походкѣ! Посмотрите, какъ она вся поглощена своею ролью, которую повторяетъ про-себя: она почти никого не замѣчаетъ... и на вопросъ принца Бульонскаго:

— Вы все изучаете? что̀ же вы наконецъ отъискиваете?

— *Истину*, отвѣчаетъ она.

Но *истина* уже давно открылась ей. Рашель не нужно было гоняться за нею и долго отъискивать ее. Истина показывается прямо такимъ артисткамъ, къ какимъ принадлежитъ она. Эта истина съ перваго шагу на сценѣ пошла объ руку съ своей избранницей и съ-тѣхъ-поръ не оставляла ее. Еще болѣе: истина заключалась въ ней самой, и Рашель вызвала ее изъ себя силою своего генія.

Истина и, неразлучная съ нею, высокая, художественная простота— во взглядѣ этой женщины, въ ея походкѣ, въ выраженіи ея лица, въ ея движеніяхъ, въ ея позахъ, въ ея спокойствіи, въ ея гнѣвѣ, въ ея отчаяніи, въ ея радости, въ ея улыбкѣ, въ ея слезахъ, — во всей въ ней. Ея красота, которою поражены вы, хотя она вовсе не красавица, въ обыкновенномъ значеніи этого слова, ея благородство, утонченность ея манеръ, ея глубокій сценическій тактъ, — все это та же истина....

Слушаете ли вы ея признаніе Мишоннэ въ любви къ этому неизвѣстному офицеру, къ этому Морицу, въ которомъ она не подозрѣваетъ графа

Саксонскаго, ея разсказъ о встрѣчѣ съ этимъ офицеромъ, или разговоръ ея съ самимъ Морицомъ, ея намекъ о томъ, что онъ плохо знаетъ орѳографію, басня Лафонтена, которую она ему читаетъ,—все это въ высшей степени благородно, просто и истинно.

А когда она узнаетъ о томъ, что этотъ, такъ любимый ею человѣкъ, самъ Морицъ Саксонскій; когда ревность къ актрисѣ Дюкло, возбужденная болтливымъ аббатомъ, прокрадывается къ ней въ душу; когда она начинаетъ недовѣрчиво смотрѣть на Морица, который успокоиваетъ ее и говоритъ, что свиданіе, назначенное ему въ эту ночь—политическая интрига, отъ котораго зависитъ вся его будущность....

— А Дюкло? спрашиваетъ она.

— Elle n'est pas ici, отвѣчаетъ графъ: — et ce n'est pas elle que j'aime.... Je le jure sur l'honneur!... me crois-tu?

Это *oui*, это удивительное *oui*, которое она произноситъ послѣ минуты молчанія. — что̀ это такое, если не высочайшая художественная простота и истина?

Сцена ея впотьмахъ, когда она великодушно спасаетъ свою неизвѣстную соперницу, — эта сцена разъигрывается Рашель съ такимъ художественнымъ совершенствомъ, далѣе котораго не можетъ идти сценическое искусство... Этотъ голосъ, которымъ она отвѣчаетъ на вопросъ принцессы:

— Qui donc a donné à Maurice le droit de tout vous dire?

— *Et qui a donné à vous même le droit de l'appeler Maurice, le droit de m'interroger.... de trembler.... de fremir... car votre main tremble! vous l'aimez!*

Это страшный голосъ ревности, это сама ревность, говорящая устами Рашель.... Это опять все та же истина!...

— Je l'aime de toutes les forces de mon âme, отвѣчаетъ ей принцесса.

— *Et moi aussi!* отвѣчаетъ ей Адріенна.

— Je vous perdrai! говоритъ ей герцогиня.

— *Et moi... je vous protege!* отвѣчаетъ ей артистка.

Эти два отвѣта до-сихъ-поръ преслѣдуютъ насъ.

Сцена въ великолѣпномъ салонѣ принцессы, куда Адріенна приглашена для чтенія стиховъ,—эта эффектная сцена, въ которой соперницы узнаютъ другъ друга, и гдѣ Адріенна, вся трепещущая отъ ревности въ лихорадочномъ жару, смотритъ на принцессу и, указывая на нее рукой, произноситъ эти стихи Расина:

... et ne suis point de ces femmes hardies...
Qui goûtant dans le crime une honteuse paix,
Ont su se faire un front qui ne rougit jamais...

и, наконецъ, послѣдняя сцена, когда отравленная Адріенна умираетъ, все это—полное торжество искусства и истины... Эти два предсмертные вздоха, эти остановившіеся глаза, эти судорожныя движенія... да! это смерть, настоящая смерть, — страшная, мучительная смерть!... Дрожь пробѣгаетъ по вашему тѣлу и дыханіе ваше замираетъ, когда опускается занавѣсъ.

О труппѣ, привезенной господиномъ Феликсомъ, *директоромъ отпусковъ г-жи Рашель*, говорить нечего. Напряженное вниманіе, съ которымъ слѣдишь за ея чудною игрою, нѣсколько утомленное, отдыхаетъ, когда она сходитъ со сцены, потому-что тогда нечего смотрѣть на этой сценѣ. Впрочемъ, господинъ изъ этой труппы, играющій въ «Адріеннѣ» роль Аббата, очень недуренъ; даже другой господинъ, немилосердно кричащій и размахивающій руками въ *Тезеѣ*, въ *Лейчестерѣ* и въ *Орестѣ*, не совсѣмъ дуренъ въ роли *Мишоннэ*...

«Адріенна Лекуврёръ» давалась восемь разъ сряду, и каждый разъ театръ былъ наполненъ сверху до низу, и каждый разъ сильнѣе и сильнѣе возрасталъ энтузіазмъ къ артисткѣ въ этой сначала недовѣрчивой публикѣ. Рашель вызывали со слезами и съ криками, выходившими изъ душъ потрясенныхъ и взволнованныхъ. Такіе крики удавалось слышать не всѣмъ артистамъ. Въ одно изъ представленій она была осыпана букетами цвѣтовъ. И эта Рашель, эта гордая своимъ талантомъ женщина, въ свою очередь разстроганная и потрясенная до глубины, невольно почти преклонила колѣни свои передъ этой публикой... Въ эту торжественную минуту артистка и публика слились въ одномъ общемъ восторгѣ, оцѣнили и поняли другъ друга. Публика поняла— что̀ такое искусство истинное, артистка почувствовала—что эта новая, еще за нѣсколько дней передъ тѣмъ чуждая для нея публика сдѣлалась ей близкою, потому-что она въ состояніи понимать искусство и сочувствовать ему...

II.

ВТОРОЕ ДѢЙСТВІЕ ГОФОЛИ, БАЯЗЕТЪ, ВЕНЕЦІАНСКАЯ АКТРИСА (ANGELO)—В. ГЮГО, ПОЛІЕВКТЪ, ГОРАЦІЙ И ЛИДІЯ—ПОНСАРА.

Мы вошли въ залу театра въ ту минуту, когда сцена представляла небольшую комнату съ каминомъ. Надъ каминомъ часы съ неподвижною стрѣлкою и двѣ вазы съ тряпичными цвѣтами; комната перегорожена ширмой; за ширмой, по лѣвую руку—диванъ, по правую—стулья и столъ съ шашками. Въ этой комнатѣ только два лица: старичокъ и старушка,— старушка—въ бархатномъ капотѣ, въ чепцѣ съ цвѣтками, насуриленная, набѣленная, нарумяненная, кокетливая, — одна изъ тѣхъ добрыхъ и ничтожныхъ старушекъ, какихъ мы часто встрѣчаемъ въ свѣтѣ, для которыхъ разстаться съ мыслію, что онѣ еще могутъ нравиться, все равно,

что умереть, которыя, расписывая свое лицо и замазывая свои морщины, воображаютъ, что краска, румяны и бѣлилы могутъ возвратить подобіе жизни и молодости—молодости, когда кровь уже застываетъ въ жилахъ! старичокъ—въ модномъ фракѣ, также пустой, добрый и милый, одинъ изъ тѣхъ старичковъ, которыхъ мы нерѣдко встрѣчаемъ. Суета и пустота жизни оставили на немъ неизгладимые и глубокіе слѣды: онъ не можетъ примириться съ мыслію, что уже почти вся лѣстница жизни пройдена имъ, и что только нѣсколько ступеней отдѣляютъ его отъ могилы. Старичокъ и старушка не хотятъ жить настоящимъ: они живутъ своими воспоминаніями, они подрумяниваютъ и подкрашиваютъ свое прошедшее, какъ свое лицо; они любезничаютъ, нѣжничаютъ, кокетничаютъ другъ съ другомъ, ссорятся, мирятся, какъ во время оно. Старушка прячется за ширмы, старичокъ на цыпочкахъ подходитъ къ ширмамъ и заводитъ съ ней робкій разговоръ... Они забавляются любовью, какъ дѣти — куклами; они играютъ въ любовь, лицемѣрятъ другъ передъ другомъ, разъигрываютъ пародію на свое прошедшее, передразниваютъ свою молодость и дрожащимъ, старческимъ голосомъ лепечутъ нѣжные звуки. Печальная картина печальной ежедневности!... Актеръ и актриса разъиграли свои роли съ большимъ искусствомъ, и занавѣсъ опустился.

Когда онъ снова поднялся, на этихъ же самыхъ подмосткахъ, на этой же самой сценѣ, гдѣ за минуту передъ тѣмъ нѣжно болтали старичокъ въ модномъ фракѣ и старушка съ розами на чепцѣ, мы увидѣли... Трудно передать читателю этотъ рѣзкій, дикій, странный переходъ отъ мелкой обрисовки измельчавшейся современной жизни къ изображенію колоссальныхъ образовъ древности, переходъ отъ г. Октава Фёлье къ Расину, отъ литературной игрушки къ серьёзному произведенію искусства, отъ утонченной болтовни нашихъ салоновъ къ стихамъ, полнымъ поэзіи и музыки. Переходъ былъ такъ страненъ и неожиданъ, что мы не вдругъ успѣли очнуться... Еще все мерещился намъ будуаръ разрумяненной старушки на томъ мѣстѣ, гдѣ возвышались колонны, преддверіе іудейскаго храма; еще безсмысленный, слабый, старческій лепетъ непріятно смѣшивался въ ушахъ нашихъ съ звучнымъ и громкимъ стихомъ, славившимъ величіе Бога живаго. Мы пришли въ себя только въ ту минуту, когда произнесено было имя кровавой Гофоліи и когда, при восклицаніи:

Ah! la voici. Sortons: il la faut éviter...

говорившіе на сценѣ разбѣжались съ ужасомъ...

На эту сцену, какъ бы преслѣдуемая какимъ-то видѣніемъ, вбѣжала женщина, обернутая царственной пурпурной мантіей, съ высокой, остроконечной короной на головѣ, изъ-подъ которой выбивались сѣдые волосы, упадавшіе на грудь,—страшная женщина, съ искаженными отъ внутренняго волненія чертами лица, блѣдная какъ смерть, съ горящими глазами, вся исполненная ужаса и тревоги, съ дрожавшими колѣнями, съ покосившимся ртомъ,—поклонница Ваала, кровавая и безпощадная, —

Une femme... (peut-on la nommer sans blasphème!)
Une femme... *c'est Athalie elle-même...*

Этотъ образъ, заставившій всѣхъ содрогнуться, никогда не изгладится изъ нашей памяти. Онъ какъ и теперь живой передъ нами, во всей своей ужасающей прелести... Красота страстной и преступной Федры, мстящей Герміоны почти блѣднѣетъ передъ этою женщиною, передъ этой сѣдовласой еврейкой, которая дышетъ смертію и разрушеніемъ.

И въ этомъ ужасающемъ образѣ, во всей этой страшной фигурѣ нѣтъ ни тѣни преувеличенія, никакого разсчета на эффектъ. Этотъ образъ, эта фигура воспроизведены вдохновенно. Здѣсь все—отъ выраженія лица до малѣйшей складки на платьѣ—вѣрно художественной истинѣ. Смотря на этотъ образъ, вы понимаете, до какой степени можетъ обаятельно дѣйствовать искусство. Самыя черныя, самыя возмутительныя, самыя чудовищныя явленія жизни оно возводитъ въ перлъ созданія, облекаетъ въ художественную форму, возвышаетъ до идеала, освѣщаетъ ихъ своимъ особеннымъ свѣтомъ... не для возбужденія сочувствія къ такимъ явленіямъ—сохрани Боже! истинное искусство всегда дѣйствуетъ на человѣка благотворно и нравственно... но для того, чтобы ярче освѣтить это безобразіе, заставить проникнуться ужасомъ, сильнѣе и глубже содрогнуться. Цѣль художника—кто бы онъ ни былъ: поэтъ, скульпторъ, живописецъ, актеръ — не рабское, мелочное подражаніе натурѣ, а созданіе. Онъ совлекаетъ съ натуры ея прозаическую, ея грязную оболочку, уловляя ея духъ и ея силу. Онъ схватываетъ выраженіе, душу, сущность предмета, не довольствуясь одною внѣшнею вѣрностью. Такъ и Рашель. Она въ высшей степени обладаетъ этою художественною способностью схватывать существенную, внутреннюю сторону своей роли, возводить въ перлъ созданія по преимуществу самые подземные и мрачные характеры. Когда со дна взволнованной и потрясенной души артистки поднимаются грозныя и разрушительныя страсти: ненависть, злоба, гнѣвъ, мщеніе, презрѣніе, она вдругъ преображается и какъ бы выростаетъ. Всегда настоящая артистка, исполненная сценической истины и сценическаго такта, въ эти минуты она дѣлается геніальною... Выраженіе ея лица, ея жестъ, ея взглядъ, даже едва замѣтное движеніе ея губъ могутъ заставить содрогнуться. Но не жалкая страсть какой-нибудь современной лицемѣрки, въ родѣ лэди Тартюфъ, нужна для Рашель. Она не вдохновится такой мелкой злобой... для нея жалки и ничтожны наши ежедневныя клеветы и сплетни. Ей необходимы страсть Федры, злоба и мщеніе Герміоны, жажда крови и разрушенія Гофоліи. Ей неловко разъигрывать какую-нибудь сплетницу и лицемѣрку въ платьѣ изъ дама̀, въ кружевной мантильи и въ шляпкѣ съ цвѣтами... Шнуровка тѣснитъ и душитъ ее, шляпа съ цвѣтами мѣшаетъ ей, въ салонѣ или въ будуарѣ ей тѣсно... Все это хорошо для какой-нибудь обыкновенной талантливой актрисы, но не для Рашель. Для Рашель нужны злоба, мщеніе и ненависть героическихъ размѣровъ; внутренняя борьба, но не въ стаканѣ воды; ей нужны царственная мантія, пѐплумъ, туника, діадема, портикъ храма, дворецъ, площадь; ей нужны широта и просторъ; ей нужно прежде всего величіе—царственное величіе Марін Стюартъ или кровавое величіе Гофоліи...

Гофолія посылаетъ за Матаномъ, жрецомъ Ваала, и задыхающимся голосомъ произноситъ, упадая въ кресла:

Heureuse si je puis trouver par son secours
Cette paix que je cherche, et qui me fuit toujour.

Но спокойствія и мира души никогда не найти ей: этотъ сонъ, это видѣніе, этотъ отрокъ—ея пробудившаяся совѣсть, это Бирнамскій лѣсъ Шекспира, идущій навстрѣчу Макбета. Тщетно Гофолія усиливается заглушить въ себѣ ее:

Un songe (*me devrais-je inquiéter d'un songe!*)

восклицаетъ она.

И въ звукахъ голоса Рашель, и въ выраженіи, которое она даетъ этимъ словамъ, слышится именно то гордое, но безсильное желаніе задушить въ себѣ мучительное безпокойство, которое такъ превосходно выражено поэтомъ въ приведенномъ нами стихѣ. Это сонъ! Можно ли вѣрить снамъ? презрительно думаетъ она и въ то же время вѣритъ и съ ужасомъ признается:

Je l'évite partout; partout il me poursuit...

Кто изъ насъ не выучивалъ нѣкогда наизусть этихъ поэтическихъ стиховъ:

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit?.... и проч.

но въ устахъ Рашель стихи эти показались намъ какъ бы новыми и еще болѣе поэтическими, потому-что Рашель не *декламируетъ*, а говоритъ, и говоритъ такъ, что вы видите и чувствуете, кажется, какъ во время этого разсказа у нея кровь стынетъ въ жилахъ и сѣдые волосы ея поднимаются отъ ужаса....

Deux fois mes tristes yeux se sont vu retracer
Ce même enfant toujours tout prêt à me percer....

произноситъ она, дрожа всѣмъ тѣломъ. И, что̀ ужаснѣе всего, этотъ отрокъ, облеченный въ бѣлыя ризы, не сонъ, не мечта, не игра разстроеннаго и потрясеннаго воображенія: онъ дѣйствительно существуетъ. Гофолія видѣла его въ іудейскомъ храмѣ, шедшаго рядомъ съ первосвященникомъ.... Это былъ точно онъ:

Tel qu'un songe effrayant l'a peint à ma pensée....
Je l'ai vu: son même air, son même habit de lin,
Sa demarche, ses yeux, et tous ses traits enfin:
C'est lui-même....

И не она одна видѣла его: іудейскій военачальникъ Абнеръ былъ въ эту минуту тутъ, и онъ долженъ былъ видѣть его! Гофолія обращается къ Абнеру.

Mais cet enfant fatal, Abner, vous l'avez vu;
Quel est-il? de quel sang? et de quelle tribu?...

спрашиваетъ она, вперивъ въ него свой пронзительный взглядъ.

Когда же отрокъ становится лицомъ къ лицу передъ нею, и она, впиваясь въ него глазами, начинаетъ убѣждаться, что сонъ ея точно превращается въ дѣйствительность, подавляемый ужасъ все болѣе и болѣе овладѣваетъ ею, и изъ глубины смятенной души ея вырываются страшные звуки:

Oh ciel! plus j'examine et plus je le regarde....
C'est lui! D'horreur encor tous mes sens sont saisis....

Вся эта сцена съ отрокомъ, въ которомъ заключена надежда іудейскаго народа и гибель Гофоліи, выполнена была Рашелью съ удивительнымъ искусствомъ. Она предлагаетъ ему вопросы, сначала нѣсколько суровымъ, но потомъ постепенно смягчающимся голосомъ. Свѣтлый и кроткій видъ отрока, его проникающій въ душу голосъ благотворно начинаютъ дѣйствовать на безпощадную Гофолію, и она, пораженная этимъ какъ чудомъ, восклицаетъ, не довѣряя самой себѣ:

Je serais sensible à la pitié!....

Она почти съ нѣжностью произноситъ затѣмъ:

Je plains le triste sort d'un enfant tel que vous.

и потомъ гордо прибавляетъ:

Venez dans mon palais, vous y verrez ma gloire...

Она, кажется, притягиваетъ къ себѣ это дитя магнитизмомъ глазъ, соблазномъ рѣчей, вкрадчивостью и нѣжностью голоса.... Оно уже возлѣ нея.... Она беретъ его руку, она ласкаетъ его; но въ этихъ нѣжныхъ звукахъ слышится ядовитое шипѣнье, это — ласки змѣи, которая постепенно опутываетъ жертву своими кольцами для того, чтобы потомъ вѣрнѣе задушить ее.

Vous n'êtes point sans doute un enfant ordinaire,

говоритъ она ему, продолжая ласкать его.

Vous voyez, je suis reine, et n'ai point d'héritier.
Laissez là cet habit, quittez ce vil métier:
Je veux vous faire part de toutes mes richesses.
Essayez dès ce jour l'effet de mes promesses,
A ma table, partout, à mes côtés assis,
Je prétends vous traiter comme mon propre fils.

Эта сцена, одна изъ лучшихъ въ репертуарѣ Рашель, обнаруживающая все мастерство, всю художественную отчетливость ея игры и всѣ самыя тонкія стороны ея таланта, превосходно заканчивается стихами:

.... Qu'il vous donne ce roi promis aux nations,
Cet enfant de David, votre espoir, votre attente....
Mais nous nous reverrons. Adieu. Je sors contente
J'ai voulu voir; j'ai vu....

которые Рашель произноситъ просто, почти спокойнымъ голосомъ; но вы чувствуете, что это спокойствіе страшнѣе самой бури, что это — грозное и мрачное затишье передъ разрушающимъ и губительнымъ ураганомъ.

Увлеченные великимъ талантомъ Рашель, ея античною красотою и граціею, мы выразили до-сихъ-поръ только наше безусловное удивленіе къ ея таланту, нашъ восторгъ и то художественное наслажденіе, которое доставила намъ артистка, и котораго мы давно не испытывали. Мы еще не успѣли сказать объ отличительномъ характерѣ ея таланта, мы говорили о немъ только въ общихъ чертахъ; но для того, чтобы перейти къ болѣе спокойному опредѣленію игры Рашель, необходимо было вглядѣться пристальнѣе въ эту игру и внимательнѣе прослѣдить артистку въ тѣхъ разнообразныхъ роляхъ, въ которыхъ она являлась передъ нами. При первомъ взглядѣ на истинно-художественное произведеніе, отмѣченное печатью геніальности, къ какому бы роду ни принадлежало оно, подъ какой бы формой ни являлось, васъ поражаетъ прежде всего общая красота его; у васъ кружится голова и замираетъ дыханіе при созерцаніи его красоты и силы, и отъ васъ ускользаютъ тѣ тонкіе оттѣнки и подробности, тѣ особенности и частности его, которыя вы отъискиваете потомъ при отчетливомъ и внимательномъ его разсмотрѣніи. Теперь мы можемъ высказать опредѣлительнѣе наше мнѣніе о талантѣ артистки, которая появленіемъ своимъ пробудила бо̀льшую часть нашей публики отъ апатіи и доставила истинный праздникъ немногимъ друзьямъ искусства....

Перейдемъ къ «Баязету».

«Баязетъ», хотя появившійся пятью годами прежде «Федры» (въ 1672 году), въ эпоху, когда литературная дѣятельность Расина еще не совсѣмъ ослабѣла, принадлежитъ къ менѣе удачнымъ его произведеніямъ; но эта трагедія имѣла значительный успѣхъ въ свое время, тогда-какъ «Гофолія», это истинно поэтическое произведеніе, прошло совершенно незамѣченная,—отчасти, можетъ-быть, потому, что она не понравилась г-жѣ Ментенонъ. Г-жа Севинье не раздѣляла, однако, восторга своихъ современниковъ къ «Баязету». Вотъ что̀ она писала объ этой трагедіи: «Лица въ «Баязетѣ» холодны, нравы турокъ дурно подмѣчены, развязка плохо подготовлена; не понимаешь причины этой страшной рѣзни. Есть, впрочемъ, мѣста въ пьесѣ очень пріятныя; но ничего истинно высокаго и прекраснаго, ничего возвышающаго душу, ни одной тирады, отъ которой пробѣгала бы дрожь, какъ у Корнеля.... Сохрани Богъ сравнивать Расина съ Корнелемъ! Между ними страшная разница. Да здравствуетъ нашъ старый другъ Корнель!...» и проч.

Сегре разсказываетъ, что въ одно изъ представленій «Баязета», когда онъ сидѣлъ рядомъ съ Корнелемъ, Корнель обратился къ нему. «Я никому бы не сказалъ, кромѣ васъ, того, что̀ я хочу сказать—замѣтилъ Корнель—потому-что это могутъ приписать зависти, но въ «Баязетѣ», по-моему, нѣтъ ни одного лица, которое бы имѣло свойственный турку характеръ и чувства. Всѣ эти фигуры, наряженныя въ турецкія платья, чувствуютъ и говорятъ какъ французы.»

Корнель и Севинье совершенно правы.

Роль Роксаны, задуманная лучше другихъ ролей, выполнена неудачно; она очерчена, можетъ-быть, довольно ловко, но слишкомъ блѣдно. Но Роксаною движутъ ревность и месть—двѣ страсти, которыхъ сильнѣе и могущественнѣе Рашель никто, вѣроятно, не олицетворялъ на сценѣ,—и артистка изъ слабыхъ данныхъ, которыя представлялъ ей оригиналъ, изъ блѣднаго очерка создаетъ лицо полное жизни и энергіи.

Въ сценѣ съ Баязетомъ, во второмъ дѣйствіи, когда этотъ нерѣшительный Баязетъ, принуждаемый высказаться Роксаною, колеблется и говоритъ:

. . . . . ma vie est votre bien
Mais enfin voulez-vous....

Роксана гнѣвно и гордо перебиваетъ его:

Non, je ne veux plus rien.
Ne m'importune plus de tes raisons forcées;
Je vois combien tes voeux sont loin de mes pensées;
Je ne te presse plus, ingrat, d'y consentir:
Rentre dans le néant dont je t'ai fait sortir....

Этими и потомъ слѣдующими затѣмъ стихами:

. . . . . je n'ai rien à vous dire:
Du sultan Amurat je reconnais l'empire.
Sortez. Que le serail soit désormais fermé
Et que tout rentre ici dans l'ordre accoutumé....

Рашель сразу очеркнула свою роль и обнаружила характеръ Роксаны, который развила и создала въ послѣдующихъ дѣйствіяхъ. Такъ художникъ набрасываетъ мѣломъ эскизъ своего будущаго созданія; но и въ этомъ небрежномъ очеркѣ можно провидѣть уже будущее великое произведеніе. Передъ нами не Роксана XVII столѣтія, не восточная маркиза въ пудрѣ, какою мы видѣли Рашель въ «Адріеннѣ Лекуврёръ», хотя это и не настоящая турчанка, Это—какая-то идеальная женщина, существо очаровательное и фантастическое, въ полу-восточномъ блестящемъ костюмѣ, съ тюрбаномъ на головѣ, усыпанномъ разноцвѣтными и драгоцѣнными камнями, изъ-подъ котораго выбиваются черные, густые, волнистые волосы. Да и къ чему намъ вѣрный національный костюмъ турчанки въ пьесѣ, въ которой турки не имѣютъ ничего общаго съ турками, въ которой они говорятъ своимъ дамамъ съ утонченною вѣжливостью: *Madame*, и въ которой дамы величаютъ ихъ *Seigneur?* Здѣсь нечего искать мѣстнаго колорита, исторической вѣрности; здѣсь важны не турки и турчанки, а люди и страсти, ими управляющія и движущія. Здѣсь мы требуемъ не исторической, а *человѣческой истины.* Рашель играетъ не турчанку, а женщину, страстно и ревниво любящую, и если она не увлекаетъ васъ, какъ въ Герміонѣ, то это вина не ея, а поэта, не артистки, а инструмента, на которомъ она играетъ. Но и изъ этого

неблагодарнаго инструмента Рашель умѣла извлечь чудные звуки; она коснулась своею рукою всѣхъ струнъ его, даже едва замѣтныхъ.

Въ третьемъ дѣйствіи, послѣ холоднаго отвѣта Баязета на ея воззваніе къ нему:

Venez, seigneur, venez; il est temps de paraître
Et que tout le sérail reconnaisse son maître....

переходъ отъ увѣренности въ любви Баязета къ подозрѣнію былъ переданъ Рашелью съ искусствомъ, доступнымъ только такимъ артисткамъ, какъ она. Изъ этой сцены Рашель сдѣлала то, чего, вѣроятно, и не подозрѣвалъ поэтъ. Послѣ этого стиха:

Je vais de vos bontés attendre les effets,

который произноситъ Баязетъ, — Роксана сначала удивлена этими словами, потомъ сомнѣніе постепенно начинаетъ овладѣвать ею, и она остается долго погруженная въ молчаніе. Вы видите, какъ это сомнѣніе все сильнѣе и сильнѣе охватываетъ ее и превращается въ ревность. Она бросаетъ пылающій взглядъ на Аталиду, — одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которыхъ ядовитость и силу передать нѣтъ никакой возможности,— опять задумывается и наконецъ уже начинаетъ говорить глухо, какъ бы про-себя:

De quel étonnement, oh ciel! suis-je frappée?
Est-ce un songe? et mes yeux ne m'ont-ils point trompée?...
. . . . . .
Se repent-il déjà de m'avoir apaisée?
Mais moi-même tantôt me serais-je abusée?...

и потомъ, вдругъ, обращаясь къ своей соперницѣ, произноситъ быстро, тѣмъ потрясающимъ контральтовымъ голосомъ, который всегда обнаруживаетъ въ ней внутреннюю бурю:

Ah... Mais il vous parlait: quels étaient ses discours,
Madame?...

Она выслушиваетъ терпѣливо оправданіе Баязета изъ устъ Аталиды, не спуская съ нея глазъ, и замѣчаетъ, съ злобной ироніей и съ ядовитой улыбкой:

Je vois qu'à l'excuser votre adresse est extrême:
Vous parlez mieux pour lui qu'il ne parle lui-même.

Эта сцена и все четвертое дѣйствіе, въ которомъ Роксана окончательно испытываетъ Аталиду; монологъ Роксаны, начинающійся словами:

Ma rivale à mes yeux s'est enfin déclarée...

презрѣніе, съ которымъ она произноситъ имя Аталиды:

изведеніе уродливое и угловатое, не имѣющее цѣлаго, въ которомъ только мѣстами видны геніальныя вспышки? Неужели строго обдуманное и художественно выполненное твореніе можно промѣнять на неправильный эскизъ, на небрежный очеркъ, потому только, что въ этомъ эскизѣ, въ этомъ очеркѣ васъ поразили два или три геніальныхъ штриха? Такого рода произведенія, сколько бы ни проглядывало въ нихъ мѣстами таланта и силы, всетаки не болѣе, какъ геніальныя уродливости сравнительно съ цѣлымъ и стройнымъ художественнымъ созданіемъ. Что касается до насъ, мы всегда предпочтемъ дрезденскую Мадонну Рафаэля геніальнымъ и хаотическимъ очеркамъ Сальватора Розы, точно такъ же, какъ Рашель предпочтемъ всякому актеру или актрисѣ, еще не съумѣвшимъ вполнѣ овладѣть своимъ талантомъ или геніемъ, который вспыхиваетъ у нихъ иногда, какъ пламя пожара, вдругъ прорывающееся неожиданно и великолѣпно въ разныхъ мѣстахъ наружу. Это пламя на мгновеніе освѣщаетъ только своимъ страшнымъ свѣтомъ, бросая вокругъ себя кровавое зарево, и потомъ исчезаетъ въ густотѣ дыма; но ровный и яркій свѣтъ всетаки пріятнѣе для глазъ такого эффектнаго и мгновеннаго освѣщенія....

Послѣ «Баязета» Рашель явилась на сценѣ въ «Венеціанской Актрисѣ», В. Гюго, а потомъ въ «Поліевктѣ» Корнеля, въ Полинѣ; но мы сначала скажемъ нѣсколько словъ о послѣдней.

Роль Полины была выполнена ею съ тѣмъ высокимъ искусствомъ, съ какимъ она выполняетъ вообще всѣ свои роли, хотя въ этой роли менѣе данныхъ для самыхъ сильныхъ и блестящихъ сторонъ ея характера. Здѣсь нѣтъ простора вдохновенію Рашель, здѣсь нѣтъ тѣхъ разрушительныхъ, сжигающихъ, бурныхъ страстей, подъ вліяніемъ которыхъ она является во всемъ своемъ грозномъ величіи. Образъ Полины, воспроизводимый артисткою, не выступаетъ передъ вами съ такою рельефностью, съ такимъ могуществомъ, какъ образы Федры и Герміоны, глубоко запечатлѣвшіеся въ памяти и долго потомъ тревожащіе воображеніе. Но и въ этой роли у Рашель есть минуты истинно вдохновенныя.

Ея восклицаніе (въ 4-мъ дѣйствіи), когда Поліевктъ возсылаетъ мольбы о томъ, чтобы она обратилась къ истинной религіи:

Que dis-tu, malheureux? qu'oses-tu souhaiter?

и потомъ эти слова ея къ мужу, исполненныя горькаго отчаянія:

Va, cruel, va mourir! tu ne m'aimas jamais....

все это произносится артисткой съ глубокой истиной и съ тонкими, непередаваемыми оттѣнками въ голосѣ и выраженіи.

Но въ заключительной сценѣ трагедіи, когда послѣ казни мужа Полина является передъ своимъ отцомъ уже христіанкой, Рашель снова становится велика и вдохновенна.

Эта женщина, въ бѣлой туникѣ, съ свѣтлымъ, сіяющимъ лицомъ и взоромъ, не имѣетъ уже ничего общаго съ прежней Полиной. Ее нельзя узнать: такъ чудно преобразилась она, озаренная свѣтомъ истинной религіи.

Mon époux en mourant m'a laissé ses lumières....

говоритъ она своему отцу и потомъ продолжаетъ, воздѣвъ руки:

Je vois, je sais, je crois, je suis desabusée:
De ce bienheureux sang tu me vois baptisée;
Je suis chrétienne enfin....

Желаніе соединиться съ Поліевктомъ, жажда пріобщиться вмѣстѣ съ нимъ этого вѣчнаго блаженства, которое обѣщано Богомъ любви и милосердія, жажда смерти мученической, — все это удивительно выражено артисткой, особенно негодованіе новообращенной къ ложнымъ богамъ, въ этихъ стихахъ:

Mène, mène-moi voir tes dieux que je déteste;
Ils n'en ont brisé qu'un, je briserai le reste....

Странно теперь перейти отъ произведеній Корнеля, полныхъ героическаго величія, отъ которыхъ вѣетъ какимъ-то мощнымъ духомъ, къ ложнымъ и безсильнымъ произведеніямъ, въ которыхъ нѣтъ ни исторической, ни человѣческой истины....

Послѣ «Федры», «Андромахи» и «Поліевкта» нѣтъ никакой возможности безъ непріятнаго ощущенія смотрѣть на эту «Венеціанскую Актрису». Мелодраматическое фразёрство и натянутые эффекты оскорбляютъ васъ на каждомъ шагу въ этой пьесѣ, сшитой такъ неловко и небрежно, что вы видите всѣ швы ея, всѣ живыя нитки. И, замѣтьте, это произведеніе главы романтической французской школы, — той школы, которая выступила нѣкогда съ такой заносчивостью и претензіею въ предисловіи къ «Кромвелю», которая мечтала совершить великій переворотъ въ искусствѣ.... Драматическія произведенія Виктора Гюго, конечно, не лишены значенія, но только не съ точки зрѣнія искусства, и только одна «Марьонъ-Делормъ» — лучшая его драма, можетъ видержать эстетическую критику. Остальныя, пользовавшіяся въ свое время болѣе или менѣе значительнымъ успѣхомъ, давно уже забыты и въ настоящую минуту почти утратили все свое значеніе, тогда-какъ старики Корнель и Расинъ, заслоненные на время этими произведеніями раздраженной и болѣзненной фантазіи,—возстаютъ передъ нами снова, несмотря на свою устарѣлую форму, во всемъ своемъ величіи, поддерживаемые своей внутренней силой и истинной поэзіей, истолковательницей которой явилась передъ нами великая артистка.

По поводу старой трагедіи, о которой нынѣ отзываются такъ остроумно русскіе фельетонисты, намъ пришло въ голову нѣсколько строкъ Гейне и мы кстати приведемъ ихъ здѣсь, напомнивъ читателямъ, изъ какого источника заимствовала нападки свои на эту трагедію наша критика.

Очеркнувъ мастерскую каррикатуру Августа-Вильгельма Шлегеля, Гейне продолжаетъ:

«Г. Шлегель сдѣлался еще болѣе извѣстенъ во Франціи послѣ того, когда въ этой же Франціи онъ вдругъ напалъ съ ожесточеніемъ на ея

литературные авторитеты. Въ это время, мы, нѣмцы, взирали, разумѣется, съ радостью и гордостью на нашего воинственнаго соотечественника, объяснявшаго французамъ, что ихъ классическая литература никуда не годится; что Мольеръ — шутъ и фарсёръ, а не поэтъ; что Расинъ имѣетъ самое ничтожное значеніе, и что только мы, нѣмцы,— мы единственные боги на Парнасѣ! Г. Шлегель безпрестанно повторялъ, что французы народъ самый прозаическій, и что во Франціи вовсе нѣтъ поэзіи, и онъ повторялъ это тогда, когда Наполеонъ импровизировалъ свою великолѣпную эпопею. Но г. Шлегель не замѣтилъ ничего этого. Во время своего пребыванія во Франціи онъ любовался только на самого себя, разсматривалъ только собственную, изысканную и чопорную фигуру въ зеркалѣ: какже ему было въ-самомъ-дѣлѣ подмѣтить поэзію во Франціи?

«Но г. Шлегель никогда, впрочемъ, не могъ постигнуть поэзіи прошедшаго, а поэзія настоящаго времени какъ-то ускользнула отъ него. Все, что касается до настоящей жизни, казалось ему въ высшей степени прозаическимъ. Расина труднѣе всего было понять г. Шлегелю, ибо этотъ великій поэтъ является представителемъ новѣйшихъ временъ, рядомъ съ великимъ королемъ, который открываетъ новую эпоху.

«Отъ Корнеля еще вѣетъ средневѣковою жизнью. Въ немъ и во Фрондѣ еще слышатся предсмертные отголоски стараго умирающаго рыцарства; въ этомъ смыслѣ онъ даже поэтъ романтическій. Но въ Расинѣ уже совсѣмъ потухли средневѣковыя чувства и поэзія: онъ открываетъ идеи новыя, является органомъ новаго общества. Въ его груди распустились первыя весеннія фіалки, предшественники нашей юности; въ немъ видишь даже побѣги лавровъ, которые потомъ разрослись такъ широко и величаво. Въ-самомъ-дѣлѣ, кто знаетъ, сколько блестящихъ подвиговъ породили нѣжные и гармоническіе стихи Расина? Эти герои, которые почили у Пирамидъ, или на поляхъ Маренго, Аустерлица и Іены, — всѣ они знали наизусть Расина, а предводитель ихъ слушалъ его стихи изъ устъ Тальмы. Я не знаю, выше ли Эврипидъ Расина, какъ поэтъ, но я знаю, что Расинъ возжигалъ энтузіазмъ и мужество огнемъ любви, что онъ приводилъ въ восторгъ и облагороживалъ цѣлый народъ. Чего же болѣе хотите вы отъ поэта? Всѣ мы смертные, всѣ мы сойдемъ въ могилу, оставивъ въ наслѣдіе потомкамъ наше слово, и когда это слово выполнило на землѣ свое назначеніе, оно возвращается въ лоно Божіе — въ царство вѣчнаго свѣта, красоты и гармоніи.

«Если бы г. Шлегель сказалъ, напримѣръ, что уже Расинъ сдѣлалъ свое дѣло, и что новое время требовало новыхъ поэтовъ, тогда бы его нападки на поэта имѣли нѣкоторое основаніе; но эти нападки не опираются ни на что, потому-что онъ хотѣлъ показать слабость Расина сравнительно съ древними поэтами. Г. Шлегель не только не понялъ этой изящной тонкости, этой безконечной граціи, этого глубокаго очарованія, которое заключается въ мысли облечь новѣйшихъ французскихъ героевъ въ римскія тоги и обуть ихъ въ котурны, но онъ еще былъ такъ неловокъ, что этотъ остроумный маскарадъ принялъ за что-то

серьёзное и версальскихъ грековъ началъ мѣрить по аѳинской мѣркѣ, сравнивать ихъ съ аѳинскими греками, противопоставлять «Федрѣ» Расина — «Федру» Эврипида! Эта манера судить настоящее по прошедшему такъ вкоренилась въ г. Шлегеля, что онъ постоянно лаврами старыхъ поэтовъ сѣкъ новыхъ, и, чтобы унизить въ свою очередь Эврипида, не находилъ ничего остроумнѣе, какъ сравнивать его съ Софокломъ или даже съ Эсхиломъ.»

Да, что̀ бы безсмысленно ни повторяли теперь о старой трагедіи съ голоса нашихъ журналовъ тридцатыхъ годовъ, которые въ свою очередь толковали о ней съ голоса Августа-Вильгельма Шлегеля, величавый и мощный Корнель, нѣжный, поэтическій и музыкальный Расинъ— всетаки колоссы сравнительно съ новѣйшими драматическими писателями Франціи.

И, признаемся, намъ какъ-то неловко и непріятно было увидѣть Рашель послѣ этой трагедіи, гдѣ настоящая ея сфера, въ мелодрамѣ, которая только и отличается отъ бульварныхъ мелодрамъ тѣмъ, что въ ней нѣтъ бенгальскихъ огней для произведенія бо̀льшаго эффекта. Еще въ роли Адріенны Лекуврёръ Рашель болѣе въ своей сферѣ: тамъ она является въ костюмѣ Роксаны, читаетъ стихи изъ «Федры»; но въ «Венеціанской Актрисѣ» ничто уже не напоминаетъ объ ея античной красотѣ и объ ея царственномъ величіи. Она сходитъ съ своего древняго пьедестала, чтобы стать на ряду съ обыкновенными мелодраматическими героинями, чтобы вмѣсто гармоническихъ стиховъ заговорить риторической прозой. Эта Камилла и Герміона должна превратиться въ кокетливую и плаксивую куртизанку!... Въ ложныхъ, напыщенныхъ пьесахъ артисты также должны лгать, притворяться, насильственно возбуждать въ себѣ чувства или страсти для произведенія эффекта, потому-что ненатуральныя положенія, въ которыя ихъ ставитъ авторъ, громкія фразы, которыя онъ заставляетъ говорить ихъ, не могутъ возбудить истиннаго чувства, истинной страсти.

Рашель употребила весь свой умъ, все свое удивительное искусство для того, чтобы избѣжать лжи, упростить и приблизить къ натурѣ мелодраматическую роль Тизбе; но это усиліе видимо стѣсняло ее. Прибѣгать же къ тѣмъ внѣшнимъ эффектамъ, къ которымъ прибѣгали въ этой роли другія актрисы, она не могла потому, что глубокое чувство истины не допускало ее до этого. Вотъ отчего въ роли Тизбе она не произвела того энтузіазма, который производили другія выполнявшія эту роль и не имѣвшія, разумѣется, тѣни ея таланта. Самая лучшая ея минута въ этой роли — появленіе ночью въ спальнѣ Катарины Брагадини. Блѣдная фигура этой женщины, въ черномъ платьѣ, освѣщенная красноватымъ блескомъ лампады, которую она держитъ въ дрожащей рукѣ, ея дикіе, блуждающіе взоры, когда она осматриваетъ комнату, мучительное желаніе удостовѣриться, точно ли это комната ея соперницы, точно ли тутъ ея Родольфо, и гдѣ скрытъ онъ, — вся эта внутренняя тревога, такъ живо отпечатлѣвшаяся на лицѣ ея — картина, достойная кисти великаго живописца!

Ея шопотъ, когда она подходитъ къ столу, на которомъ стояла

свѣчка, за одно мгновеніе передъ тѣмъ потушенная Катариной: «А! свѣтильня еще дымится!» — этотъ удивительный шопотъ; ея встрѣча лицомъ къ лицу съ Катариной, которая вскакиваетъ въ испугѣ съ своей постели при видѣ этой женщины, и вообще вся эта сцена мучительной ревности, отчаянья и гнѣва, до появленія чудовищнаго и не имѣющаго въ себѣ ничего человѣческаго Подесты, — все это было выполнено ею истинно и просто. Длинный и плаксивый монологъ Тизбе въ послѣднемъ дѣйствіи и плохо подготовленная мелодраматическая развязка не произвели большого впечатлѣнія. Стоны и плаксивыя жалобы, выражаемые краснорѣчивымъ книжнымъ языкомъ и повторяющіеся около получаса, не для такой артистки, какъ Рашель. Это страдательное положеніе нейдетъ къ ней. Г-жа Бурбье, актриса съ большимъ дарованіемъ, двадцать лѣтъ тому назадъ игравшая эту роль на петербургской сценѣ, имѣла въ ней несравненно бо̀льшій успѣхъ, — во-первыхъ, потому, что г-жа Бурбье была воспитана на мелодрамѣ и мастерски умѣла пользоваться всѣми внѣшними эффектами своихъ ролей, а во-вторыхъ потому, что это было двадцать лѣтъ тому назадъ, когда «Венеціанская Актриса» казалась намъ замѣчательнымъ произведеніемъ, когда мы еще безусловно восторгались В. Гюго и Дюма и ставили ихъ чуть не на ряду съ Шекспиромъ!...

Намъ остается только упомянуть о «Гораціи и Лидіи».

Г. Понсаръ изъ извѣстной оды Горація, прекрасный переводъ которой наши читатели найдутъ въ этой же книжкѣ «Современника», сдѣлалъ не совсѣмъ удачную драматическую сцену, что-то въ родѣ античнаго водевиля. Рашель очень искусно разъиграла роль Лидіи и превосходно прочла эти стихи:

Compagnons du printemps, les zéphyrs ont soufflé
Dans les voiles tendues.... и прочее.

Но намъ кажется, что въ ней слишкомъ много величія, строгости, серьёзности и ироніи для гораціевой Лидіи; что Рашель болѣе къ лицу діадема, нежели виноградный вѣнокъ, что она создана для олицетворенія страстей царственной Федры, а не для выраженія чувственной стороны древней вакханки, и когда мы смотрѣли на артистку, подъ одеждой Лидіи мелькали передъ нами то страстная и гордая Федра, то тонкая, умная и ядовитая современная куртизанка.

Слѣдя за игрою артистки, наблюдая и изучая эту игру, мы пришли къ такому убѣжденію, что Рашель принадлежитъ къ талантамъ исключительнымъ, и что эта именно исключительность и есть лучшее доказательство ея геніальности. Игра ея всегда отличается умомъ, изящною тонкостью и чувствомъ сценическаго такта, но Рашель только тогда вполнѣ въ своей сферѣ, когда находится въ сообществѣ боговъ и героевъ, когда на челѣ ея діадема, когда изящно изваянная сухощавая рука ея открыта, когда на ней ея родныя туника и пѐплумъ, тайна носить которыя какъ бы завѣщана ей древнимъ міромъ. Рашель въ тунике и въ пѐплумѣ, въ каждую минуту игры своей, въ каждой изящной своей

позѣ — античный мраморъ геніальнаго рѣзца, фигура, снятая съ драгоцѣнной камеи или съ древняго художественнаго барельефа. Когда она только-что появляется передъ вами на сценѣ въ Федрѣ, въ Герміонѣ, въ Полинѣ, въ Камиллѣ, васъ прежде всего поражаютъ изящество ея формъ, ея пластическая сторона, доведенная до возможнаго совершенства. Смотря на нее, кажется, что она изучала древніе образцы въ ихъ лучшихъ памятникахъ, и что, вслѣдствіе этого изученія, глубокая тайна формы вполнѣ открылась ей. Но не въ одномъ только спокойствіи она сохраняетъ изящество формы. Въ самыя трагическія свои минуты, когда въ отчаяніи страданія злобы, ненависти или гнѣва она дѣлаетъ жестъ, или въ судорогахъ падаетъ на кресла,—даже въ предсмертныхъ мукахъ она не теряетъ античную красоту формы. И немудрено: эти минуты — ея торжество, апоѳеоза ея таланта; тутъ она становится великой и вдохновенной. И для того, чтобы вдохновить Рашель, ей нужны, какъ мы уже замѣтили, героическія страсти, страсти въ колоссальныхъ размѣрахъ.... по преимуществу темныя и грозныя страсти; ее не шевелятъ наши мелкія страстишки. Она не заставитъ расплакаться, зато потрясетъ до основанія и, можетъ-быть, заставитъ рыдать. И тѣ очень ошибаются, которые думаютъ, что Рашель совсѣмъ лишена нѣжныхъ чувствъ. Правда, въ ней нѣтъ этой чувствительности, этой нѣжности, переходящей въ изнѣженность, въ плаксивость, въ сантиментальность, какъ у другихъ актрисъ,—нѣжности, отъ которой ослабѣваетъ голосъ и вянетъ все существо: у нея нѣжность своего рода, исключительно свойственная сильнымъ натурамъ, которая часто ускользаетъ отъ глазъ и отъ слуха зрителя, потому-что проявляется мгновенно во взглядѣ, въ движеніи, въ звукѣ голоса и тотчасъ подавляется и скрывается. Правда, ея величіе — въ грозѣ, когда она мечетъ молніи изъ глазъ и уничтожаетъ однимъ мановеніемъ руки; но ея лицо принимаетъ иногда такое свѣтлое выраженіе, оно озаряется такой улыбкой, отъ которой и зрителямъ становится свѣтлѣе и легче.... До какой степени Рашель можетъ потрясти и тронуть, мы покажемъ въ слѣдующей статьѣ, когда прослѣдимъ вдохновенную отъ первой до послѣдней минуты игру ея въ роли Камиллы, въ «Горацiѣ» великаго Корнеля, который былъ данъ въ субботу 26-го декабря, въ бенефисъ великой артистки. Этотъ вечеръ былъ истиннымъ праздникомъ искусства.

III.

ЛЭДИ ТАРТЮФЪ. — ГОРАЦІЙ КОРНЕЛЯ. — ВОРОБЕЙ ЛЕСБІИ, КОМЕДІЯ Г. БАРТЕ. — ІОАННА Д'АРКЪ, ТРАГЕДІЯ А. СУМЕ.

Г-жа Жирардень и Корнель, лэди Тартюфъ и римлянка Камилла — странное сближеніе! Комедія г-жи Жирардень — карточное зданіе, на устройство котораго потрачено, впрочемъ, немного ловкости, немного тон-

кости и особенно много терпѣнія,—прихотливая игрушка, готовая разлетѣться при малѣйшемъ дуновеніи здраваго смысла, но посягающая на безсмертіе, усиливающаяся стать бокъ-о-бокъ съ произведеніями искусства, вылитыми изъ мѣди или высѣченными изъ мрамора,—кукла, кивающая своей восковой головкой колоссальной статуѣ Мольера. Когда я переходилъ отъ этой лэди Тартюфъ, отъ этой вседневной и пошлой сплетницы и клеветницы, неизвѣстно зачѣмъ принимающей иногда трагическія позы и раздувающейся до паѳоса, къ монументальному образу корнеліевскаго Горація, отъ современной драмы къ старой трагедіи—и надобно замѣтить, что этотъ переходъ былъ довольно дикій—мнѣ пришли въ голову слова Эдгара Кине.

«Въ новѣйшей драмѣ—говоритъ онъ, по своему обыкновенію, очень фразисто—несмотря на все ея искусство, на всю ея безграничную свободу, я чувствую себя гораздо болѣе стѣсненнымъ, чѣмъ въ узкихъ рамкахъ Корнеля и Расина. Отчего это? Не оттого ли, что, соразмѣряя, изъ вѣжливости, ваши лица съ моимъ маленькимъ ростомъ, вы заключаете меня въ мое собственное ничтожество, вы приводите меня къ самому себѣ, а мое шаткое, тщедушное я и безъ того мучитъ меня и тревожитъ? Почему вы лучше не пособите мнѣ выйти изъ него? Попробуйте. Мнѣ все кажется, что тамъ, въ глубинѣ существа моего, есть другое лицо, лучшее, болѣе возвышенное, болѣе сильное, и что оно предстанетъ предо мною, если вы оставите эту вседневную сферу, въ которой я осужденъ вращаться. Я какъ необдѣланный мраморъ въ рукахъ вашихъ: вы высѣкаете изъ него хромоногій треножникъ, а изъ него можно изваять полу-бога.... Вы осматриваете меня съ ногъ до головы, берете обыкновенную мѣру и говорите: «вотъ твой ростъ!» И я вамъ вѣрю. Но отчего же вы не хотите прибавить хоть сколько-нибудь къ этому росту, возвысить меня хоть немного въ моихъ собственныхъ глазахъ? У меня натура способная къ измѣненію, къ движенію впередъ, къ росту. Я дѣлаюсь мелкимъ съ мелкими, я выростаю съ большими.

«Къ чему же вы уничтожили на сценѣ эти знаменитыя три единства, если душа моя не можетъ пользоваться этимъ широкимъ пространствомъ, которое завоевали вы для своей драмы? Неужели вы думаете, что я ребенокъ, при которомъ нельзя говорить о великихъ тайнахъ человѣчества? Неужели мнѣ по-плечу только одни мелкія ощущеньица и чувствованьица? Неужели Атриды, Прометей, старый Горацій, Родригъ созданы не для меня, непонятны мнѣ?... О, нѣтъ! мнѣ душно въ моей ничтожной и жалкой сферѣ. Мнѣ хочется освѣжить и возвысить душу мою, хотя на мгновеніе, созерцаніемъ этихъ героевъ. Это моя внутренняя, неодолимая потребность; а вы все выводите на сцену только моего сосѣда по квартирѣ, который и безъ того надоѣлъ мнѣ. Я не хочу, чтобы вы представляли меня въ той бѣдной и условной формѣ, въ которую вдавили меня обстоятельства, и изъ которой я тщетно усиливаюсь вырваться: нѣтъ! покажите мнѣ меня не такимъ, какимъ я есть, но такимъ, какимъ бы я могъ быть; покажите мнѣ этого человѣка съ душой возвышенной и безсмертной, котораго я ношу въ самомъ себѣ, къ которому я мучительно стремлюсь и съ которымъ я не могу сравняться. Заставьте меня

почувствовать безконечную радость при созерцаніи такого человѣка. Возвысьте духъ мой, какъ возвышаютъ его Эсхилъ, Софоклъ, Шекспиръ, Корнель и Расинъ. Отдайте мнѣ великихъ людей, безъ которыхъ я гибну. Бога ради, не заключайте меня въ извѣстное пространство времени. Вчера вы ограничивались одною древностью, сегодня—одними средними вѣками: въ какую же эпоху вы введете меня завтра? Жизнь моя здѣсь на землѣ такъ коротка, долго ли я просижу въ этихъ креслахъ—неизвѣстно, а вы хотите непремѣнно замуровать меня въ извѣстномъ вѣкѣ, въ извѣстной эпохѣ, въ извѣстномъ пространствѣ времени....

....«Но вы останавливаете меня и говорите, что время трагедіи прошло безвозвратно. Что̀ такое? Можетъ ли это быть? Трагическій элементъ исчезъ изъ жизни человѣческой? борьба съ судьбой кончилась для всѣхъ? съ классической формой исчезли и слезы на днѣ урны? Этого быть не можетъ. Вы хотите этимъ сказать, что серьёзная сторона жизни перестала существовать для человѣка? Если это правда, тогда ужь не одна трагедія, а и человѣкъ пересталъ существовать....

«Думали, что послѣ героической драмы драма мѣщанская есть шагъ впередъ въ искусствѣ, въ смыслѣ народности. Совершенное заблужденіе. Народъ, даже въ рубищѣ, требуетъ героя. Онъ не можетъ безъ него обойтись, онъ всюду отъискиваетъ его, и если вы не найдете для него такого героя среди безсмертныхъ представителей правосудія и истины, онъ пойдетъ его искать въ Византійскомъ циркѣ.

«При созерцаніи классической трагедіи я ощущаю въ себѣ не только удивленіе, состраданіе и ужасъ, смѣшанные вмѣстѣ. Эти ощущенія доставляютъ мнѣ и другого рода произведенія искусства. Но я нахожу въ глубинѣ героической драмы исключительное чувство, котораго не даетъ мнѣ никакое искусство: это именно чувство героизма. Читая или смотря на сценѣ героическую драму, я тотчасъ сознаю, что начинаю жить жизнью болѣе могущественною—великихъ людей; ихъ присутствіе мгновенно сообщается мнѣ и возвышаетъ меня,—мнѣ становится шире, свободнѣе и легче.

«Этого мало, если душа моя будетъ только потрясена драматическимъ произведеніемъ: этого не довольно, что сердце мое будетъ въ рукахъ вашихъ: я хочу, чтобъ въ этомъ волненіи смятенная душа моя ощутила ту могучую силу, которая выходитъ изъ глубины вашего произведенія. Я хочу сдѣлаться, хоть на мгновеніе, героемъ въ сообществѣ героевъ, потому-что это—высочайшее блаженство, которое только можетъ испытать душа человѣческая. И это блаженство даютъ мнѣ и Шекспиръ, и Корнель.... Что̀ мнѣ за дѣло, что форма ихъ произведеній различна! у нихъ сущность, начало — одно. Дѣло въ томъ, что они вырываютъ меня изъ моей пошлой среды и даютъ мнѣ на минуту почувствовать мое нравственное величіе.

«....Поставить зрителя въ уровень съ великими судьбами, сдѣлать его сотоварищемъ полу-боговъ, заставить его почувствовать, что онъ имѣетъ голосъ въ великомъ хорѣ человѣчества; душу измельчавшую, опошлившуюся, заснувшую пробудить и сдѣлать вдругъ причастною высшимъ

радостямъ, высшимъ страданіямъ, высшимъ ощущеніямъ—вотъ настоящій источникъ трагическаго ощущенія....»

Мнѣ пришли въ голову эти слова Кине не потому, чтобы они отличались особеннымъ глубокомысліемъ и новостью, не потому, чтобы я безусловно соглашался съ воззрѣніемъ французскаго профессора на драматическое искусство, но потому, что эти слова вполнѣ соотвѣтствовали тогдашнему настроенію моего духа. Непріятное, тяжелое, смутное, подавляющее впечатлѣніе, которое оставила во мнѣ пьеса г-жи Жирардень, постепенно изглаживалось, по мѣрѣ того, какъ великая героическая драма Корнеля грандіозно развертывалась передо мною во всемъ своемъ идеальномъ величіи,—по мѣрѣ того, какъ въ отдаленіи, на заднемъ планѣ моей памяти, стирались эти мелкіе люди съ своими пошлыми, микроскопическими интересами, порываніями и страстями. Эта несносная интриганка, клеветница, фразёрка и сплетница лэди Тартюфъ—это порожденіе раздраженнаго авторскаго самолюбія и ухищренной фантазіи—наконецъ совсѣмъ исчезла, и вмѣсто нея явился передо мною чудный, античный образъ Камиллы, озаренный свѣтомъ художественной красоты и какъ бы геніально изваянный изъ чистѣйшаго мрамора. Я какъ-будто бы вдругъ вырвался изъ душной, тѣсной комнаты и очутился подъ сводами просторнаго и величественнаго зданія. Мнѣ въ-самомъ-дѣлѣ стало свободнѣе и легче дышать; все сдѣлалось свѣтло, широко и ясно вокругъ меня. Колоссальныя фигуры этихъ несокрушимыхъ римлянъ, страсти, движущія трагедіей,—все это вмѣстѣ охватило меня своею грандіозностью и величіемъ. Я ощутилъ ту могучую силу, которая выходила изъ глубины этой старой трагедіи, и невольно вспомнилъ приведенныя здѣсь мною слова Кине.

Какъ выраженіе души человѣческой, чувствующей потребность, порывающейся, въ извѣстный моментъ, выйти изъ тѣснаго и вседневнаго обихода, для того, чтобы свободнѣе подышать на просторѣ въ сферахъ высшихъ, эти слова Кине имѣютъ и смыслъ и значеніе,—каждый изъ насъ ощущалъ, вѣроятно, такіе моменты; но если слова эти принять какъ взглядъ на драматическое искусство вообще, если требовать, чтобы новѣйшая драма обратилась исключительно въ героическую, это будетъ если не совершенно нелѣпо, то покрайней-мѣрѣ очень странно. Шекспиръ изображалъ и героя и *человѣка*, потому-то онъ такъ неизмѣримо выше другихъ, также великихъ драматическихъ писателей.... Но все это посторонніе вопросы: мы должны говорить о геніальной представительницѣ на сценѣ этой героической драмы—о Рашель.

Да, она *исключительно* ея представительница,—мы вполнѣ убѣдились въ этомъ. Рашель, мы повторяемъ это еще разъ, безъ царственнаго вѣнца, безъ туники, безъ пеплума, безъ атрибутовъ античнаго величія, безъ ореола героизма,—Рашель въ шнуровкѣ, въ шляпкѣ, даже въ великолѣпномъ костюмѣ Венеціанской Актрисы изъ великой артистки превращается не-болѣе, какъ въ артистку умную, владѣющую тактомъ и манерами избраннаго общества. Смотря на нее въ Адріеннѣ Лекуврёръ, въ Венеціанской Актрисѣ, въ лэди Тартюфъ, вы съ удовольствіемъ слѣдите за ея сценическимъ искусствомъ и ловкостью; вы въ восторгѣ отъ ея

благородныхъ и утонченныхъ манеръ; васъ часто поражаютъ удачные оттѣнки въ ея голосѣ, выраженіе ея тонкаго, умнаго лица,—но въ то же время вы чувствуете, что артисткѣ тѣсно и не совсѣмъ ловко въ этихъ рамкахъ обыкновенной жизни, и вамъ досадно, зачѣмъ передъ вами Венеціанская Актриса, лэди Тартюфъ, а не Федра, не Герміона, не Полина или Камилла.

Всего сильнѣе и рѣзче васъ поражаетъ это въ лэди Тартюфъ. Не говоря уже о томъ, что эта роль сама по себѣ натянута, неопредѣленна и не выдержана, но намъ кажется, какъ бы ни была удачно создана роль, чѣмъ ближе она будетъ къ современности, тѣмъ менѣе будетъ идти къ Рашель. Ей тяжело изъ вѣжливости соразмѣряться съ нашимъ маленькимъ ростомъ, являться передъ нами въ той узкой, бѣдной и условной формѣ, въ которой движемся мы. Ея сфера чисто-героическая, именно та, о которой говоритъ Кине, — и въ этой исключительной, нѣсколько идеальной сферѣ она владычествуетъ безусловно и распоряжается самовластно, какъ повелительница. И мы теперь очень хорошо понимаемъ, почему артистка такъ долго колебалась прежде, нежели рѣшилась явиться на сценѣ въ современной драмѣ. Современный французскій репертуаръ ничего не представляетъ для ея таланта: онъ слишкомъ мелокъ для нея. Она не можетъ и не должна унижаться до мелодрамы: ей по необходимости слѣдовало бы ограничиться старой трагедіей. Но если бы французы имѣли хорошій переводъ Шекспира, мы увѣрены, что, напримѣръ, въ роли Клеопатры или лэди Макбетъ Рашель была бы такъ же велика, какъ и въ трагедіи Корнеля и Расина. Для такой великой артистки нужны великіе творцы. Ей необходимы Корнели и Шекспиры, а не гг. Суме и Скрибъ или г-жа Жирардень.

Рашель выполнила роль г-жи де-Блоссакъ (лэди Тартюфъ) прекрасно; особенно тонко и умно ведена была ею сцена съ маршаломъ (дѣйствіе III, сцена II), въ которой онъ объясняется ей въ любви.

— Mais ce n'est pas M-lle de Matignon, говоритъ маршалъ: — que je veux épouser, c'est une personne dont l'âge et les goûts sont plus en rapport avec les miens, une personne que j'aime depuis longtemps et à qui je crois un peu d'affection pour moi... Devinez vous?...

И маршалъ съ боязнью и нетерпѣніемъ глядитъ на госпожу де-Блоссакъ.

Едва скрывая волненіе, съ грустнымъ достоинствомъ г-жа де-Блоссакъ отвѣчаетъ;

— *Non, monsieur le maréchal.*
— Vous cherchez un prétexte, возражаетъ ей маршалъ.
— *Ce que je devine est une folie!* вырывается восклицаніе изъ груди ея.

Это *non* и послѣднее восклицаніе въ устахъ Рашель удивительны. Но всего лучше показалась она намъ въ объясненіи съ Гекторомъ, на его квартирѣ (дѣйст. V, сцена V), и преимущественно въ ту минуту, когда, сидя на диванѣ, она постепенно передвигается съ одного конца къ другому, приближаясь къ стулу, на которомъ сидитъ Гекторъ; но

слово: передвигается здѣсь рѣшительно неумѣстно: Рашель не передвигается, не приближается къ Гектору, а подползаетъ къ нему какъ змѣя, произнося своимъ вкрадчивымъ, сладкимъ, льющимся въ душу голосомъ, въ которомъ слышится что-то ядовитое:

— Je vous ai dit que je vous aimais, Hector, mais je ne vous ai pas dit pourquoi je vous aimais: c'est que vous êtes précisément le contraire des êtres qui m'entourent, de tous ces hommes égoistes, menteurs et lâches...

Выраженіе лица ея въ эту минуту, ея змѣиныя движенія, звукъ ея голоса,—все это неподражаемо. И, несмотря на все это, намъ кажется, что артистка сдѣлала бы недурно, если бы исключила роль лэди Тартюфъ, свои роли въ античныхъ водевиляхъ и даже роль Іоанны д'Аркъ изъ своего репертуара. Второй античный водевиль, въ которомъ мы ее видѣли, называющійся «Le moineau de Lesbie» (Воробей Лесбіи), отличается отъ перваго, т. е. отъ «Горація и Лидіи», только своею чрезмѣрною длиннотою, а Рашель въ роли Лесбіи—такъ же, какъ и въ роли Лидіи, не совершенно удовлетворяетъ нашему идеалу древней куртизанки, который мы, впрочемъ, составили не по собственному произволу, а по произведеніямъ Катулла и Горація. Мы уже замѣтили, что Рашель создана для высокихъ, царственныхъ и сильныхъ страстей, а не для выраженія чувственной, вакхической стороны, и что ей къ лицу болѣе діадема, чѣмъ виноградный вѣнокъ.

Что же касается до Іоанны д'Аркъ, то, во-первыхъ, лицо этой вдохновенной домремійской поселянки — вообще чисто-лирическое, не представляющее почти ничего для артистки, которой по преимуществу необходимы сильныя, разрушающія, гибельныя страсти; а во-вторыхъ, въ трагедіи Суме роль этой Іоанны ограничивается уже совершенно одной декламаціей отъ перваго до послѣдняго дѣйствія и лишена малѣйшаго драматическаго движенія. Съ самаго начала спасительница Франціи уже является въ тюрьмѣ, обреченная на смерть, лицомъ чисто-страдательнымъ. Въ лирической драмѣ Шиллера Іоанна озарена поэтическимъ блескомъ, въ трагедіи Суме — она превращена въ риторическаго автомата. Что же можно сдѣлать артисткѣ изъ такой роли? Ей только остается читать стихи, и Рашель читаетъ ихъ, разумѣется, превосходно. Въ III сценѣ IV дѣйствія, когда Іоанна возвращаетъ герцога Бургундскаго своему отечеству и королю, въ этой сценѣ, не лишенной нѣкотораго движенія, Рашель произвела сильное впечатлѣніе, особенно, когда произнесла:

Je triomphe, et le ciel à mon saint dévoûment
Réservait tout l'honneur de ce grand changement...
Je ramène un héros à la France, à la gloire!
Que sont tout mes combats près de cette victoire?...

Всего сильнѣе, впрочемъ, подѣйствовала она на публику въ ту минуту, когда, взойдя на костеръ съ своимъ знаменемъ, которое крѣпко прижала къ груди, она произнесла торжественно:

. . . . . Terre de Saint Louis
De ces tyrans des mers cesse d'être sujette!
Anglais, disparaissez, *le monde* vous rejette...

очень удачно замѣнивъ словомъ *le monde* слово *la France*, стоящее въ подлинникѣ. При этомъ послѣднемъ стихѣ весь театръ зарукоплескалъ, и оглушающее, продолжительное браво не смолкало нѣсколько минутъ...

Теперь я долженъ приступить къ роли, которая выполняется Рашелью съ высокимъ совершенствомъ, передать, хоть въ слабыхъ и блѣдныхъ чертахъ, ея вдохновенную игру въ этой роли, прослѣдивъ за ея развитіемъ въ подробности, и дать хоть какое-нибудь приблизительное понятіе тѣмъ, кто не видалъ ее, объ этомъ великолѣпномъ, типическомъ образѣ *Камиллы*, созданномъ ею.

«Горацій» принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ творца французскаго театра. Отъ этой трагедіи точно вѣетъ необыкновеннымъ могуществомъ и величіемъ, тою героическою силою, отъ которой замираетъ дыханіе и ощущается внутренній, благоговѣйный трепетъ. Мѣряться съ героями, дѣйствующими въ ней, опасно. Голова кружится, глядя на высоту ихъ. Великіе, суровые, непоколебимые, все приносящіе въ жертву своей безпредѣльной привязанности къ отечеству, возведшіе чувство долга до недосягаемаго идеала, они предстаютъ передъ нами какъ колоссы, вылитые изъ несокрушимаго металла.

И на этомъ-то высокомъ чувствѣ долга, на этой-то безпредѣльной привязанности и любви къ отечеству движется вся трагедія. Здѣсь все приносится въ жертву ему—этому Риму, который не можетъ и не долженъ погибнуть, который величаво будетъ стоять во главѣ всѣхъ народовъ, до-тѣхъ-поръ, покуда его гордые, его непоколебимые сыны станутъ приносить ему въ жертву свое имущество, свою жизнь до послѣдняго дыханія, жизнь своихъ дѣтей, своихъ близкихъ, все, что имъ свято и дорого, покуда этотъ Римъ будетъ производить такихъ сыновъ, какъ Горацій. Въ знаменитомъ отвѣтѣ стараго Горація, о которомъ столько толковали Вольтеръ, Буало и Лягарпъ,—въ этомъ отвѣтѣ, который повторялся въ теченіе двухсотъ лѣтъ во всѣхъ возможныхъ риторикахъ и курсахъ словесности, который извѣстенъ во всѣхъ концахъ міра, всякому, даже полу-грамотному человѣку:

— Что же ему было дѣлать противъ трехъ?
— *Умереть!*
— Que vouliez-vous qu-il fit contre trois?
— *Qu'il mourut!...*

заключается вся сила, все величіе, все могущество древняго Рима; имъ, этимъ отвѣтомъ, вполнѣ объясняется, почему такъ страшенъ и неприступенъ былъ этотъ городъ, въ полномъ сознаніи своей силы нарекшій себя *вѣчнымъ городомъ*...

Счастливъ народъ, могущій гордиться такими сынами, сохраняющій полное сознаніе своей силы, своего могущества и вѣрующій въ свое бу-

дущее. При этомъ сознаніи и при этой вѣрѣ, если бы цѣлый міръ вооружился противъ него, онъ не устрашится и цѣлаго міра!

Въ столкновеніи съ этимъ колоссальнымъ чувствомъ, съ этою грандіозною страстью къ отечеству гибнутъ и уничтожаются всѣ личныя человѣческія страсти, чувства и привязанности, какъ бы онѣ ни были могучи и сильны сами по себѣ. Въ этомъ общемъ потокѣ, въ этой бурѣ взволнованнаго океана незамѣтно исчезаетъ все частное. Что передъ любовью этого стараго Горація къ Риму любовь Камиллы къ своему Куріацію? Она должна погибнуть, эта чудная римлянка, осмѣлившаяся положить на одни вѣсы свою личную страсть съ судьбою великаго города,—слабое существо, рѣшившееся вступить въ борьбу со всепоглощающимъ океаномъ, — и она гибнетъ, но гибнетъ какъ римлянка — съ несказаннымъ величіемъ, посылая страшныя проклятія этому несокрушимому, этому безжалостному Риму.

И только такая геніальная артистка, какъ Рашель, могла усвоить себѣ личность такой женщины, какъ Камилла, создать и воспроизвести ее на сценѣ. Никогда сценическое искусство не восходило до такого художественнаго совершенства, какъ въ исполненіи Рашелью роли Камиллы. Въ этой роли она является во всемъ своемъ блескѣ и красотѣ, потому-что въ этой роли — полный просторъ для ея таланта, вдохновляющагося только однѣми могучими и героическими страстями.

«Горацій» данъ былъ въ Петербургѣ въ первый разъ, въ бенефисъ артистки, 26-го прошедшаго декабря, и этимъ «Горацiемъ» она достойно заключила здѣсь свои представленія. Въ роли Камиллы мы увидали ее въ первый разъ въ прощальный вечеръ ея съ Петербургомъ, 24-го января.

Рашель является въ Камиллѣ въ бѣлой туникѣ и въ бѣломъ пѐплумѣ; на ея головѣ нѣтъ ни повязки, ни вѣнца, ни діадемы, никакихъ украшеній, кромѣ лучшаго ея украшенія — густыхъ, волнистыхъ, черныхъ волосъ; на ея длинныхъ и токихъ пальцахъ нѣтъ ни одного кольца, браслетъ не стягиваетъ руки ея,—на ней нѣтъ ничего блестящаго. Она вся облита матовой бѣлизной; пѐплумъ, перекинутый черезъ ея плечо, чудно драпируетъ ея тонкій, сухощавый станъ и живописно падаетъ къ ея ногамъ безчисленными складками. Вы видите передъ собою чистѣйшее мраморное изваяніе, скульптурное произведеніе тончайшаго рѣзца... минута—и этотъ мраморъ дохнетъ жизнію, вспыхнетъ и озарится страшнымъ, кровавымъ заревомъ страсти... И ничто не можетъ сравниться съ красотой этой Камиллы: ни Роксана XVII столѣтія, разукрашенная драгоцѣнными каменьями и пудрой, ни новѣйшая Роксана—въ тюрбанѣ, облитомъ брильянтами, ни Венеціанская Актриса, въ своемъ изысканномъ и блестящемъ костюмѣ, ни даже сама Федра, съ царственною повязкою на головѣ и въ желтой мантіи, залитой золотомъ! Эта скульптурная простота, это отсутствіе всѣхъ украшеній — лучшее украшеніе для Рашель.

Сабина оставляетъ Юлію для того, чтобы успокоить и утѣшить Камиллу; но она съ первой минуты отвергаетъ это утѣшеніе. Къ чему ей утѣшеніе, этой гордой и непреклонной душѣ, заранѣе измѣрившей всю глубину ожидающаго ее несчастія?

Je verrai mon amant, mon plus unique bien,

говоритъ она, блѣдная, съ затаеннымъ страданіемъ, подавляя глубокій вздохъ.

Mourir pour son pays, ou détruire le mien;
Et cet objet d'amour devenir pour ma peine,
Digne de mes soupirs, ou *digne de ma haine.*

Этими четырьмя стихами Рашель съ первой минуты дала почувствовать зрителямъ, какого рода женщина является передъ ними. Несокрушимый духъ римлянки видѣнъ уже былъ въ выраженіи лица ея, слышался въ звукахъ ея голоса, когда она произносила эти стихи, точно такъ же, какъ однимъ стихомъ:

Tout ce que je voyais me semblait Curiace...

Рашель заставила понять насъ, что ея любовь выходитъ изъ ряда обыкновенной любви, что Камилла любитъ такъ, какъ только можетъ любить дочь Горація, что она живетъ не собственною жизнію, а жизнію своего возлюбленнаго, какъ ея старый отецъ живетъ жизнію Рима.

Когда на вопросъ, предлагаемый ею Куріацію объ отцѣ:

T'a-t-il vu comme gendre, ou bien comme ennemi?

тотъ отвѣчаетъ:

Il m'a vu comme gendre...

лицо артистки улыбается радостно, озаряется кроткимъ свѣтомъ, какъ небо при занимающейся утренней зарѣ; но этотъ свѣтъ вскорѣ разгорается и ярко вспыхиваетъ, какъ-будто отъ появленія солнца, когда она узнаетъ отъ Куріація, что онъ избѣгнетъ битвы, что участь Рима и Альбы должна рѣшиться тремя бойцами, которые будутъ избраны съ обѣихъ сторонъ. Тяжелый камень спалъ съ ея сердца, и она вздохнула легко и свободно, и этотъ свободный, полный вздохъ вырвался изъ груди ея восклицаніемъ:

O dieux, que ce discours rend mon âme contente!...

Но счастіе Камиллы непродолжительно. Жребій брошенъ. На долю Гораціевъ и Куріаціевъ выпало рѣшеніе судьбы Рима и Альбы; узы родства, пріязни, любви и дружбы должны быть разорваны; всѣ эти святыя чувства должны быть принесены въ жертву долга... И здѣсь превосходно противопоставлены поэтомъ двѣ личности: суроваго, непреклоннаго, будто выкованнаго изъ мѣди римлянина, не останавливающагося ни передъ чѣмъ, безъ сожалѣнія отдающаго все завѣтное на алтарь отечества, попирающаго свою личность передъ великою идеею Рима, идущаго на бой съ роднымъ, какъ на праздникъ, и кроткаго, нѣжнаго альбанца, глубоко проникнутаго человѣческими чувствами, по необходимости покоряющагося своей участи и произносящаго съ горькой ироніей:

Ce triste et fier honneur m'émeut sans m'ébranler:
Ei si Rome demande une vertu plus haute,
Je rends grâces aux dieux, de n'etre pas Romain,
Pour conserver encor quelque chose d'humain.

Римлянину недоступны эти чувства, онъ добросовѣстно не понимаетъ ихъ и возражаетъ своимъ металлическимъ голосомъ:

Albe vous a nommé, je ne vous connais plus.

А изъ души несчастнаго Куріація вырывается вопль:

Je vous connais encore, et c'est ce qui, me tue...

Это столкновеніе холодной, отвлеченной идеи долга, олицетворяемой Гораціемъ, съ горячимъ человѣческимъ чувствомъ Куріація исполнено высочайшаго драматизма, какъ и послѣдующая затѣмъ сцена послѣдняго съ Камиллою.

Iras-tu, Curiace? et ce funeste honneur
Te plait-il aux dépens de tout notre bonheur?

спрашиваетъ его Камилла, съ боязливымъ нетерпѣніемъ ожидая его отвѣта, и когда Куріацій объявляетъ ей, что долгъ повелѣваетъ ему идти на борьбу, когда онъ говоритъ:

Telle est notre misère,
La choix d'Albe et de Rome ôte toute douceur
Aux noms jadis si doux de beau-frère et de soeur...

артистка съ ужасомъ возражаетъ своимъ контральтовымъ голосомъ:

Tu pourras donc, cruel, me présenter sa tête,
Et demander ma main pour prix de ta conquète?...

и потомъ, вся взволнованная, восклицаетъ съ выраженіемъ ядовитой ироніи, неудержимаго гнѣва и смертельнаго упрека:

Ce coeur impitoyable à ma perte s'obstine,
Et dit qu'il m'aime encore alors qu'il m'assassine!

Въ этой сценѣ еще чувство привязанности къ родинѣ, которую она проклинаетъ потомъ, мгновенно вспыхиваетъ въ ней послѣдній разъ, когда она произноситъ съ неподражаемымъ увлеченіемъ:

Pourquoi suis-je Romaine, ou que n'es-tu Romain?
Je te préparerais des lauriers de ma main;
Je t'encouragerais, au lieu de te distraire;
Et je te traiterais comme j'ai foit mon frère.

Еще минута—и роковая битва должна начаться. Сабина еще осмѣливается надѣяться, но Камилла отвергаетъ всякую надежду, какъ отвергаетъ всякое утѣшеніе.

Moi je n'espère rien!

произноситъ она глухимъ голосомъ и далѣе повторяетъ тѣмъ же голосомъ:

Pour moi j'ai tout à craindre, et rien à souhaiter.

И когда Сабина продолжаетъ утѣшать ее и говоритъ:

Mais *pour vous*, le devoir vous donne, dans vos plaintes,
Où porter vos souhaits et terminer vos craintes...

Камилла перебиваетъ ее:

Je le vois bien, ma soeur, vous n'aimâtes jamais!

Этими словами артистка открываетъ передъ вами всю безпредѣльную перспективу любви, олицетворяемой ею, — любви, къ которой способны только однѣ могучія натуры...

Разговоръ этихъ двухъ несчастныхъ женщинъ прерывается приходомъ стараго Горація, который возвѣщаетъ, что бой начался...

Vos frères sont aux mains...

говоритъ онъ.

Камилла бросается къ нему и припадаетъ на грудь его, нѣсколько минутъ оставаясь въ такомъ положеніи; потомъ она приподнимается и тихо отходитъ отъ него къ креслу, упираясь локтемъ на спинку кресла и склоняя на руку свою голову... Блѣдное, полу-мертвое лицо ея оживляется боязливымъ любопытствомъ, когда появляется Юлія,—и вы чувствуете, кажется, что дыханіе спирается въ груди артистки, когда вѣстница приготовляется отвѣчать на вопросъ старика:

Nous venez-vous, Julie, apprendre la victoire?
Rome est sujette d'Albe,

произноситъ Юлія, и въ эту минуту ослѣпительная зарница радости вдругъ вспыхиваетъ на лицѣ Камиллы, обратившейся къ Юліи; но взглядъ римлянки встрѣчается съ взглядомъ ея отца, и она мгновенно и съ ужасомъ потупляетъ голову... Эта зарница радости въ лицѣ и это движеніе были такъ геніальны, что весь партеръ вздрогнулъ невольно и вслѣдъ за тѣмъ разразился громомъ рукоплесканій....

Въ четвертомъ дѣйствіи, когда Валерій объявляетъ старому Горацію о торжествѣ Рима, въ присутствіи Камиллы, она съ постепенно возрастающимъ ужасомъ прислушивается къ его разсказу... При вѣсти о томъ, что всѣ три Куріаціи пали, изъ груди ея вырывается глухой и отчаянный вопль, и она безъ чувствъ упадаетъ въ кресла. Во все продолженіе разсказа Валерія и радостныхъ возгласовъ стараго Горація она остается въ креслахъ недвижима, безъ чувствъ; правая рука ея перевѣсилась черезъ ручку кресла, но чрезъ нѣсколько минутъ въ пальцахъ этой руки начинаетъ обнаруживаться судорожное движеніе; опущенная и отяжелѣв-

шая голова ея понемногу приподнимается. Она открываетъ глаза, еще ничего не видя передъ собою и не понимая; она проводитъ рукой по лицу, смотритъ кругомъ себя и, увидѣвъ сіяющаго торжествомъ отца своего, опять вскрикиваетъ съ ужасомъ и закрываетъ лицо руками. Эта нѣмая сцена, исполненная отчаянной, раздирающей скорби, потрясаетъ и трогаетъ до глубины души, потому-что она выполняется съ глубочайшей истиной, безъ малѣйшаго разсчета на произведеніе эффекта; потому-что вы забываете, что передъ вами актриса, и видите какъ бы въ дѣйствительности тяжкія, невыносимыя страданія женщины....

Послѣ словъ отца:

Ma fille, il n'est plus temps de répandre des pleurs...
. . . . . .
. . . . . Etouffer cette *lâce tristesse...*
Recevez-le (торжествующаго брата) avec moins de faiblesse;
Faites-vous voir sa soeur, et qu'en un même flanc
Le ciel vous a tous deux formés d'un même sang...

Камилла послѣ ухода старика остается долго безгласною; но лицо ея постепенно дѣлается грознѣе и грознѣе. Вы видите, что страшная буря закипаетъ въ стѣсненной груди ея и силы, на минуту оставившія ее, готовы подняться во всемъ ужасающемъ величіи... Она начинаетъ сначала глухимъ голосомъ:

Oui, je lui ferai voir, par d'infaillibles marques,
Qu'un véritable amour brave la main des Parques,
Et ne prend point de loin de ces cruels tyrans
Qu'un astre injurieux nous donne pour parents...

Но этотъ голосъ постепенно возвышается, и съ выраженіемъ гнѣва, смѣшаннаго съ непередаваемымъ презрѣніемъ, онъ продолжаетъ:

Tu blâmes ma douleur, *tu l'oses nommer lâche;*
Je i'*aime d'autant plus que plus elle te fâche,*
Impitoyable père.....

Гнѣвъ ея растетъ съ каждымъ мгновеніемъ, съ каждымъ словомъ буря зрѣетъ, и въ этихъ словахъ артистки вы слышите уже какъ-будто глухіе раскаты грома:

On *demande ma joie en un jour si funeste;*
Il *me faut applaudir aux exploits du vainqueur,*
Et *baiser une main qui me perce le coeur.*

Этотъ послѣдній стихъ произносится ею съ выраженіемъ отвращенія и ужаса, отъ котораго поднимается дыбомъ волосъ.

Буря созрѣла, сила страшная возвратилась къ этой бѣдной женщинѣ, каждый нервъ ея напрягся и пришелъ въ движеніе.... Она вскочила съ креселъ и разразилась всѣми долго сдерживаемыми внутри страстями: презрѣніемъ, ненавистью, злобою, негодованіемъ, всѣми прокля-

тіями уязвленнаго и растерзаннаго сердца.... Слова полились изъ устъ ея какъ разрушающій потокъ; они вырвались изъ груди ея съ бѣшенымъ, оглушающимъ шумомъ, какъ воды, прорвавшія плотину:

Dégénérons mon coeur, d'un si vertueux père,
Soyons indigne soeur d'un si *généreux* frère:
C'est gloire de passer pour un coeur abattu,
Quand *la brutalité* fait la haute vertu.
Éclatez mes douleurs; à quoi bon vous contraindre?
Quand on a tout perdu, que saurait-on plus craindre?
Pour ce cruel vainqueur n'ayez point de respect;
Loin d'éviter ses yeux, croissez à son aspect;
Offensez sa victoire, irritez sa colère,
Et prenez, s'il se peut, *plaisir à lui déplaire.*
Il vient, préparons-nous à montrer constamment
Ce que doit une amante à la mort d'un amant....

Въ концѣ этого монолога вы уже не слышите не только стиховъ, но даже словъ: только одни какіе-то страшные, задыхающіеся звуки вырываются изъ груди артистки, то возвышаясь, то ослабѣвая, какъ громовые удары; глаза ея сверкаютъ какъ молнія, и руки раздираютъ грудь, какъ бы ища сердца, чтобъ и его растерзать на части.

Торжествующій братъ Камиллы является въ сопровожденіи воина, несущаго трофеи. Эти трофеи—три меча Куріацієвъ. Онъ подходитъ къ Камиллѣ и требуетъ, чтобы она поздравляла его съ торжествомъ, а Римъ—съ освобожденіемъ....

Et rends ce que tu dois à l'heur de ma victoire,

говоритъ онъ.

Глаза артистки страшно сверкнули при этихъ словахъ; мы замѣтили даже дрожаніе въ губахъ ея. Но она сдѣлала едва замѣтное усиліе, чтобы улыбнуться—это была полу-улыбка горькая,—и произнесла, со слезами въ голосѣ:

Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois.
— Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu....

возражаетъ ей неумолимый римлянинъ. А Камилла своимъ страшнымъ, потрясающимъ контральтовымъ голосомъ, который наконецъ переходитъ въ вопль, спрашиваетъ его, ударяя себя въ грудь:

Mais qui me vengera de celle d'un amant,
Pour me faire oublier sa perte en un moment?

и потомъ, захлебываясь слезами, восклицаетъ:

O mon cher Curiace!

Но когда неумолимый братъ продолжаетъ повторять ей одно и то же своимъ безчувственнымъ голосомъ:

Tes flammes désormais doivent être étouffées;
Bannis-les de ton âme, et songe à nos trophées;
Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien....

сдерживаемыя негодованіе и бѣшенство Камиллы выходятъ изъ предѣловъ, и она вскрикиваетъ:

Donne-moi donc, *barbare*, un coeur comme le tien....

презрительно напирая на слово barbare, — и затѣмъ рѣчь ея снова бурно льется и рокочетъ, какъ вода, прорвавшая плотину, снова стихъ и слово пропадаютъ для васъ... Въ этомъ рокочущемъ потокѣ грозныхъ звуковъ изрѣдка слышится внятно нѣсколько словъ, отъ которыхъ дрожь пробѣгаетъ по тѣлу....

Je l'adorais vivant et je le pleurs mort. . . . . .
. . . . . .
Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes....

И потомъ все опять сливается въ одинъ нестройный, бѣшеный рокотъ.

Самъ Горацій приходитъ въ ужасъ отъ этого бѣшенства и восклицаетъ:

O ciel! qui vit jamais une pareille rage!

и потомъ уже грозно и настойчиво требуетъ:

Aime, aime cette mort qui fait notre bonheur,
Et *préfère* du moins au *souvenir d'un homme*
Ce que doit sa naissance *aux intérêts de Rome*...

— Rome, l'unique objet de mon ressentiment!

произноситъ артистка съ удивленіемъ, ироніей и почти шопотомъ; но этотъ шопотъ походитъ на шипѣніе змѣи, выпускающей жало.

Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant!

продолжаетъ она, грозно возвышая голосъ...

Rome qui t'a vu naître....

восклицаетъ она голосомъ уничтожающаго презрѣнія....

et que ton coeur adore!
Rome enfin *que je hais parce qu'elle t'honore!*

И затѣмъ съ наслажденіемъ бѣшенства, въ опьяненіи злобы разражается проклятіемъ Риму, оканчивающимся этими словами:

Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi *seul* en être cause, et *mourir de plaisir*....

и при этомъ *mourir de plaisir* — охрипшій голосъ ея задыхается отъ злобы и бѣшенства.

Горацій бросается на сестру съ мечомъ и закалываетъ ее.

Камилла произноситъ со стономъ:

— Ah, traître! падаетъ мертвая, и занавѣсъ опускается.

Послѣ этого, по обыкновенію, начались крики,—оглушающіе крики: «Рашель! Рашель!...» Занавѣсъ поднялся. Артистка появилась еще вся дрожащая отъ волненія, еще тяжело и неровно дышащая. На сцену къ ногамъ ея посыпались букеты и раздался громъ рукоплесканій. Партеръ замахалъ шляпами; дамы, почти всѣ оставшіяся въ своихъ ложахъ, замахали платками. Занавѣсъ опустился, начались снова крики, снова поднялся занавѣсъ, и снова появилась артистка.... вызовамъ не было конца. Такъ было въ бенефисъ ея,—то же повторилось и въ ея прощальный спектакль.

Роль Камиллы принадлежитъ, несомнѣнно, къ самымъ блестящимъ созданіямъ великой артистки. Эта роль, вмѣстѣ съ ролями Федры, Герміоны, Гофоліи и Полины, составляетъ вѣнецъ ея артистической славы. Послѣднее (пятое) дѣйствіе «Горація», обыкновенно, выкидывается для сцены, потому-что трагедія вполнѣ разрѣшается смертью Камиллы, въ чемъ даже отчасти соглашается и ея великій творецъ въ объясненіи къ своему «Горацію». Я могъ бы замѣтить, по примѣру многихъ, что напрасно Рашель умираетъ на сценѣ, что это нейдетъ къ класической пьесѣ, что она должна умирать за кулисами, какъ она это дѣлала въ Парижѣ.... и проч., и проч.; но такое замѣчаніе было бы нисколько не ново и не остроумно. Можетъ-быть, въ старой трагедіи и слѣдуетъ умирать не въ виду зрителей; но Рашель, умирающая на сценѣ, нисколько отъ этого не вредитъ пьесѣ; къ тому же, актрисы, игравшія эту роль и при жизни великаго трагическаго писателя, умирали именно на сценѣ, что, конечно, Корнель не оправдываетъ, но только свидѣтельствуетъ. Впрочемъ, замѣчаніе это въ наше время такъ мелко, что едва ли заслуживаетъ какого-либо серьёзнаго вниманія, и, вмѣсто того, чтобы толковать объ этомъ съ ученымъ видомъ знатока, я предпочитаю лучше въ заключеніе разсказать здѣсь читателямъ слѣдующій, очень любопытный фактъ изъ біографіи великой артистки, слышанный мною отъ лица, которому она передавала его сама,—фактъ, обнаруживающій, какъ рано она почувствовала свое призваніе.

Послѣ переѣзда семейства Феликсъ въ Парижъ (въ 1831 году) Рашель посылали почти ежедневно на рынокъ, за покупками различныхъ съѣстныхъ припасовъ. Надобно замѣтить, что бѣдная дѣвочка не пользовалась особенною любовью своихъ родныхъ и разыгрывала въ семействѣ роль въ родѣ Сандрильоны. У нея было одно только платье, которое, разумѣется, должно было засалиться отъ времени, и когда она подходила близко къ своимъ роднымъ, они почти всякій разъ отталкивали ее отъ себя, говоря: «Поди прочь: ты такая грязная!»

Между-тѣмъ страсть къ чтенію и въ особенности къ стихамъ начала уже въ ней сильно развиваться, и, ходя на рынокъ, она всегда останавливалась по дорогѣ передъ книжной лавочкой и съ любовью раз-

сматривала книжки, выставляемыя на показъ. Болѣе всего заинтересовала ее одна книжка, — можетъ-быть, потому, что она была переплетена довольно роскошно. Дѣвочка попросила у книгопродавца позволенія развернуть эту книжку.... Книжка заключала въ себѣ сочиненія Расина, и Расинъ открылся Рашель именно на «Федрѣ». Она нѣсколько минутъ въ восторгѣ декламировала первые попавшіеся ей стихи, и съ этой минуты у нея зародилось непреодолимое желаніе пріобрѣсти эту книжку.

— Что стоитъ она? робко спросила однажды бѣдная дѣвочка у книгопродавца.

— Пять франковъ, отвѣчалъ тотъ.

Рашель пришла въ отчаяніе. Откуда взять ей такую сумму? Она долго думала и наконецъ рѣшилась всякій день утаивать по нѣскольку су отъ поручаемыхъ ей покупокъ.... Такимъ-образомъ у ней накопилось три франка; но ждать долѣе она не могла и, взявъ однажды тихонько старый отцовскій зонтикъ, отправилась въ книжную лавочку.

— Вотъ вамъ три франка за Расина, сказала она книгопродавцу: — остальные два франка я вамъ отдамъ черезъ нѣсколько времени; а теперь покуда возьмите подъ залогъ этотъ зонтикъ, но только, я умоляю васъ, не продавайте его.... Я его непремѣнно выкуплю....

Книгопродавецъ согласился. Рашель въ восторгѣ возвратилась съ своей драгоцѣнной книжкой домой и цѣлый день декламировала стихи. Мать очень сердилась на нее за это и спросила у нея очень строго:

— Откуда ты взяла книжку?

Мнѣ подарили ее, отвѣчала дѣвочка, смѣшавшись.

Мать наотрѣзъ объявила ей, что если она будетъ продолжать читать эту книжку, то ее отнимутъ у нея и сожгутъ; что она должна проводить время не въ праздности или въ такихъ глупыхъ занятіяхъ, а заниматься дѣломъ, шитьемъ, сдѣлаться хорошей швеей и потомъ поступить въ магазинъ, чтобы быть полезной семейству.

На другой день, къ несчастію дѣвочки, пошелъ дождь; отцу надобно было идти со двора: онъ началъ искать зонтика и, къ удивленію, не находилъ его нигдѣ. Бѣдная во все это время дрожала отъ страху. По ея лицу догадались, что она должна быть виновница этой пропажи; къ ней приступили съ угрозами и съ требованіями объясненій. Она во всемъ тотчасъ призналась; отецъ далъ ей два франка, чтобы выкупить зонтикъ, и въ заключеніе очень строго наказалъ ее.... Будущей Федрѣ и Гермiонѣ Расинъ стоилъ въ началѣ самыхъ горькихъ слезъ....

Уже болѣе недѣли, какъ Рашель въ Москвѣ. Мы убѣждены, что Москва оцѣнитъ ее такъ же, какъ и Петербургъ, который не теряетъ надежды снова современемъ увидѣть великую артистку на своей сценѣ.

III.

ПИСЬМА РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ

КЪ

И. И. ПАНАЕВУ.

когда нибудь явится, то не иначе, какъ въ вашемъ журналѣ; но когда онъ явится—на этотъ вопросъ нѣтъ рѣшительно никакого даже вѣроятнаго отвѣта. Утѣшенье, какъ видите, плохое, да что дѣлать!

А вотъ что я могу вамъ сказать—у меня здѣсь гостилъ Леонтьевъ и оставилъ мнѣ отличную вещь, которую непремѣнно желалъ отдать Краевскому—другую же начатую, еще лучше, обѣщалъ кончить для Современника. Я ее долженъ получить въ теченіе нынѣшняго мѣсяца, но къ апрѣльской книжкѣ надѣюсь доставить ее вамъ. Повѣсть Леонтьева вѣроятно явится въ мартовской книжкѣ От. Зап. Рекомендую ее вамъ.

Ну прощайте, ребята, да не запаздывайте вашими книжками, а то на это сильно здѣсь жаловались мнѣ. Обнимаю васъ и остаюсь *преданный вамъ И. Тургеневъ.*

PS. Всѣмъ друзьямъ усердный поклонъ.

2.

С. Спасское. 6 марта 1853 г.

Милый Панаевъ! Пишу тебѣ нѣсколько словъ по случаю отправленія прилагаемаго письма къ И. П. Арапетову. Я не знаю его адреса—и прошу тебя доставить ему немедленно это письмо. О себѣ скажу тебѣ мало новаго—ѣздилъ я на праздники въ Орелъ и понасмотрѣлся тамъ губернской жизни. Этюдъ не дурной. Получилъ я также 2 № „Совр."—и не успѣлъ его прочесть весь.—Очень хорошо и тепло написана статья Дружинина о Ѳедотовѣ; весьма любопытна статья Гаевскаго о Дельвигѣ. До меня дошли слухи, что многіе недовольны твоимъ «Кошмаромъ» въ 1 №. Сообразивъ всѣ обстоятельства, я самъ сожалѣю о томъ, что ты помѣстилъ исторію «Космоса», но всетаки я нахожу твою статью очень забавной. У насъ теперь совершенная зима; я заперся какъ кротъ въ свою нору—и работаю какъ кротъ, роюсь и вожусь въ нѣдрахъ своего романа. Другаго у меня теперь ничего въ готовѣ нѣтъ.

Костя Огаревъ видѣлъ меня въ Орлѣ—онъ разскажетъ тебѣ обо мнѣ. Я его просилъ всѣмъ вамъ поклониться дружески.

Слышалъ я о счастьи Некрасова—посовѣтуй ему отъ моего имени не пустить его опять на вѣтеръ.

Прощай, дружище, будь здоровъ и помни *твоего И. Тургенева.*

PS. Обоимъ Мишамъ—Лонгинову и Языкову поклонъ до земли.

3.

С. Спасское. 2-го іюня 1855.

Любезный Панаевъ! Все это время я собирался къ тебѣ писать, да у меня гостили Григоровичъ, Боткинъ и Дружининъ—вчера только уѣхали—и минуты не было свободной. Мы здѣсь кутили, играли на театрѣ и т. д.

Григоровичъ, который скоро будетъ въ Петербургѣ, тебѣ объ этомъ разскажетъ. Я теперь остаюсь одинъ и намѣренъ приняться за работу; авось сдѣлаю что нибудь путное для „Современника".—Кстати, „Совр." за май еще не полученъ, а „Отеч. Зап." уже двѣ недѣли какъ прибыли. Отчего это? Вслѣдствіе этого не могу сообщить тебѣ тѣхъ замѣчаній, которыя ты желаешь. Посылаю тебѣ стихотвореніе Фета, но *умоляю*, чтобъ не было опечатокъ; въ СПб-скихъ Вѣдомостяхъ глумились надъ:

«Каждый *звукъ* оспаривалъ у груди»,

а чѣмъ онъ виноватъ.

ПАМЯТИ ДМИТРІЯ ЛЬВОВИЧА КРЮКОВА.

Когда свѣтильникомъ, предъ нашими очами,
Ко храму римскихъ музъ ты озарялъ ступень,
И чудилося намъ невольно, что надъ нами
Горація витаетъ тѣнь.
Впервые, надъ трудомъ, восторженныя слёзы
Исторгнулъ дышащій изъ устъ твоихъ пѣвецъ,
Плѣнили насъ его неблёкнущія розы
И зеленѣющій вѣнецъ.
Въ замолкнувшій чертогъ къ Минервѣ и къ Зевесу
Вслѣдъ за тобой толпа ликующая шла
И тихо древнюю ты раздвигалъ завѣсу
Съ громодержащаго орла.
Но свѣточь твой угасъ. Надежнаго союза
Судьба не обрекла межъ нами и тобой
И лиру уронивъ, поникла молча Муза
Въ слезахъ надъ урной гробовой.

А. Фетъ.

Четче я писать ужъ не умѣю; вторично умоляю: безъ опечатокъ! Какъ твое здоровье? Мое порядочно; напиши, гдѣ ты проводишь лѣто— и что у васъ тамъ дѣлается. Прощай! Жму тебѣ руку и кланяюсь всѣмъ друзьямъ. *Твой Ив. Тургеневъ.*

4.

С. Спасское. 13 іюня 1855 г.

Любезный Панаевъ! Въ отвѣтъ на твое письмецо скажу тебѣ, что съ отъѣзда моихъ гостей (Григоровича, Дружинина и Боткина) я принялся за работу и пишу повѣсть для Современника, большую, которую назначаю въ сентябрскій или октябрскій №, а разсказа пока нѣтъ и если будетъ, то очень небольшой, и то навѣрное обѣщать не могу. Я долженъ тебѣ сказать, что я радъ отказу Бекетова; еслибъ онъ пропустилъ *Переписку* и она бы у васъ явилась—я былъ бы поставленъ въ весьма ложное и непріятное положеніе къ Краевскому, которому эта повѣсть *пока* принадлежитъ. Боткинъ, кажется, оканчиваетъ Карлейля. Я не имѣлъ времени прочесть всего нумера (5-го) Современника, но онъ мнѣ кажется удачно

и пріятно составленъ, а по заглавію 6-й еще лучше. Но пожалуйста распорядись, чтобы книжки приходили сюда по крайней мѣрѣ въ одно время съ книжками От. Зап., а то онѣ всегда приходятъ дней 10 позднѣе—это въ провинціи чрезвычайно важно. «Вы еще не получали вашего журнала? А ужъ я получилъ» и т. д.

Скажи Анненкову, что я теперь разсчитываю на его пріѣздъ осенью, а теперь я ѣду чрезъ 12 дней за 250 верстъ на мѣсяцъ. Отъ 25 іюля до 10 августа я буду опять дома, а тамъ отъ 8 сентября до ноября.

Будь здоровъ. Повѣсть непремѣнно будетъ, но разсказъ я теперь писать просто не могу—можетъ быть еще удастся и я пришлю. Жму тебѣ руку и кланяюсь всѣмъ друзьямъ. *Твой Ив. Тургеневъ.*

PS. Скажи Базунову (я ужъ писалъ къ нему объ этомъ, но ты повтори), отчего онъ не высылаетъ мнѣ „Москвитянина"?

5.

С. Спасское. 27 іюня 1855 г.

Я получилъ твое письмо, любезный И. И., и напередъ извиняюсь, что отвѣчать буду въ немногихъ словахъ—кругомъ свирѣпствуетъ у насъ холера, а ты знаешь, какъ это на меня дѣйствуетъ. Я прочелъ „Севастополь" въ Инвалидѣ (Современника еще нѣтъ) и пришелъ въ совершенный восторгъ. Дай Богъ такихъ статей побольше!—Повѣсть я пишу дѣятельно (уже 66 страницъ написано) и къ желаемому тобою времени доставлю. О „Перепискѣ" я уже тебѣ писалъ.

Прошу тебя убѣдительно выдать г-ну Колбасину (Дм. Яковл.) 50 рублей серебромъ добавочныхъ за повѣсть его брата (онъ получилъ 100). Это выйдетъ меньше чѣмъ по 20 руб. за листъ. Очень ты меня этимъ обяжешь.

Надѣюсь, что ты здоровъ и веселъ—это главное. Поклонись отъ меня всѣмъ друзьямъ. Жму тебѣ руку. *Преданный тебѣ Ив. Тургеневъ.*

6.

С. Спасское. 10-го іюля 1855.

Здравствуй, милый И. И.—Холера вездѣ такъ сильна (особенно тамъ, куда я хотѣлъ на охоту ѣхать), что я поневолѣ сижу дома и хандрю. Однако тоже работаю. Получилъ твое письмо и отвѣчу въ нѣсколькихъ словахъ. Прежде всего поздравляю васъ съ повѣстью Нарской—это свѣтлая, веселая, живая вещь, много незрѣлаго, есть болтливость, но есть страницы славныя и весь колоритъ мнѣ очень нравится. Кто она такая?—Не скрою я, что я и сердитъ на васъ немного. Книгу Черны-

шевскаго, эту гнусную мертвечину, это порожденіе злобной тупости и слѣпости, не такъ бы слѣдовало разобрать, какъ это сдѣлалъ г-нъ Пыпинъ. Подобное направленіе гибельно—и „Современнику“, больше чѣмъ кому нибудь, слѣдовало возстать противъ него. Къ счастью, книга такъ безжизненна и суха, что вреда надѣлать не можетъ. Статья Толстого о Севастополѣ—чудо! я прослезился, читая ее, и кричалъ: ура! Мнѣ очень лестно желаніе его посвятить мнѣ свой новый разсказъ. Объявленіе о „Совр.“ я прочелъ въ Московскихъ Вѣдомостяхъ. Хорошо, дай Богъ, чтобъ вы могли сдержать ваши обѣщанія, т. е. чтобы приходили статьи, чтобы Толстого не убили и т. д. Это вамъ поможетъ сильно. Статья Толстого произвела здѣсь фуроръ всеобщій. Лѣтнія книжки „Совр.“ до сихъ поръ хороши, занимательны и дѣльны. Все же попадаются опечатки. Желалъ бы я знать стихъ Некрасова (въ стихотвореніи: Къ русскому писателю):

Служи не славѣ, *не* искусству—

вѣроятно опечатка вмѣсто: *но* искусству?

Всѣ мы здѣсь очень огорчены смертью Нахимова. Бѣдный! — не попользовался своей славой.

Какъ, я думаю, у васъ въ Петербургѣ душно! Мнѣ тебя жаль. Желаю тебѣ здоровья и всего хорошаго. Кланяйся Авдотьѣ Яковлевнѣ.

10-го октября я непремѣнно, если живъ, въ Петербургѣ, а насчетъ Леонтьева—точно—вы правы. *До свиданья. Твой Ив. Тургеневъ.*

PS. Извѣстіе о томъ, что Михайловъ остригся, такъ на меня подѣйствовало, что я его видѣлъ во снѣ, безъ шутокъ — и испугался до того, что бросился цѣловать его ноги.

7.

С. Спасское. 9 сентября 1855 г.

Милый Панаевъ, твой подвигъ повергъ меня въ неописанное изумленіе и я даже, читая обо всѣхъ этихъ яблокахъ, икрахъ, арбузахъ и льдахъ, почувствовалъ разстройство желудка. Господи! какіе бываютъ счастливые люди на свѣтѣ!

Я буду въ Петербургѣ непремѣнно къ 10-му октября—это самый поздній срокъ и привезу для ноябрской книжки Современника большую повѣсть. Желаю отъ души, чтобы она удалась и оказалась вамъ полезной.

Писемскій беретъ уже черезчуръ сильныя цѣны—это фактъ.

До свиданья, братъ, что-то лѣнь писать больше, да и духъ разстроенъ отъ послѣднихъ извѣстій. Жму тебѣ руку. *Твой Ив. Тургеневъ.*

8.

Парижъ. 18/30 *августа 1856 г.*

Вотъ тебѣ, милый Панаевъ, мой „Фаустъ", выправленный по замѣчаніямъ Боткина, твоимъ и Некрасова. Желаю, чтобы онъ въ этомъ видѣ понравился.

Я, слава Богу, живъ и здоровъ; ѣду дней на 6 въ Лондонъ, а оттуда въ деревню около Парижа. Вотъ мой адресъ:

M-r. Jean Tourguéneff au chateau de Courtavenel, près de Kozoy en Brie (Seine et Marne)—par Paris.

Прошу объ отсутствіи опечатокъ и въ особенности о высылкѣ мнѣ по почтѣ одного отпечатаннаго экземплара.

NB. „Фаустъ" отправленъ въ двухъ пакетахъ, по 7 листовъ въ каждомъ.

Дай мнѣ *тотчасъ* знать о прибытіи „Фауста", чтобы я былъ покоенъ.

Фетъ здѣсь. Прощай, будь здоровъ, обнимаю тебя и всѣмъ кланяюсь. *Твой Ив. Тургеневъ.*

9.

3-го октября / 21-го сентября *1856. Куртавнель (возлѣ Парижа).*

Милый Панаевъ, я получилъ твое письмо, въ которомъ ты извѣщаешь меня о прибытіи „Фауста".—Благодарю за всѣ сообщенныя извѣстія: я здѣсь нахожусь въ совершенномъ невѣдѣніи всего, что происходитъ въ литературномъ нашемъ мірѣ — и дорожу малѣйшей подробностью. — Обѣщаю тебѣ, что употреблю всѣ усилія, чтобы поддержать Современникъ и собственными трудами и сообщеніемъ разныхъ новостей, извѣстій, названій книгъ для переводовъ и т. д. — За все это я примусь какъ только переѣду въ Парижъ, т. е. черезъ три недѣли—а здѣсь мнѣ и некогда, да и не то въ головѣ. Я однако проѣздомъ въ Парижѣ познакомился съ нѣкоторыми литераторами—и въ теченіе зимы я вѣроятно всѣхъ ихъ увижу — также какъ и издателей здѣшнихъ Revues; посмотримъ, что можно будетъ сдѣлать. — Переѣхавши въ Парижъ, я тебѣ тотчасъ доставлю свой адресъ, а пока пиши: poste restante.

За „Нахлѣбника" я примусь тотчасъ, какъ только переѣду въ Парижъ и вышлю его немедленно.

Я бы очень былъ тебѣ благодаренъ, еслибъ ты могъ выслать мнѣ за „Фауста" по 100 р. сер. за листъ изъ суммъ Современника.—Также прошу тебя выслать мнѣ одинъ экземпляръ, сложивъ его въ видѣ письма—это станетъ довольно дорого — но я съ охотой заплачу его. Вексель на банкира пошли въ другомъ письмѣ.

Кланяйся Чернышевскому—я увѣренъ, что вы вмѣстѣ можете очень хорошо вести журналъ.—Присылай мнѣ покрайней мѣрѣ перечень содержанія каждаго № Современ. — я постараюсь выхлопотать, чтобъ его мнѣ присылали черезъ здѣшній почтамтъ — но не знаю, удастся ли.— Хоть, признаюсь, очень странно, что нельзя получить здѣсь одну нашу Revue, тогда какъ всѣ здѣшнія Revues попадаютъ къ намъ. Я увѣренъ,

что еслибъ нумера отправлялись sous bande — они бы не могли дорого стоить.

Попробуй, пожалуйста, съ однимъ нумеромъ, можетъ быть удастся.

Кланяйся всѣмъ добрымъ пріятелямъ — ты мнѣ не писалъ, какъ встрѣтили журналы объявленіе „Соврем.“? Что Краевскій и его Вѣдомости? Что господа москвичи? — Напиши объ этомъ слова два.

Отъ Толстого я письмо получилъ и отвѣчалъ уже.

Будь здоровъ, дружески жму тебѣ руку и остаюсь *твой Ив. Тургеневъ.*

10.

Куртавнель. 3/15 октября 1856.

Милый Иванъ Ивановичъ! Я недавно тебѣ писалъ, но не хочу оставить твое послѣднее письмо безъ отвѣта. Я еще здѣсь, но черезъ десять дней я уже поселюсь въ Парижѣ и примусь за работу очень серьезно. Моя новая большая повѣсть поспѣетъ, если я буду живъ и здоровъ, къ новому году— вы ее можете напечатать въ февральской книжкѣ; а въ декабрской „Нахлѣбника“, котораго ты получишь въ измѣненномъ видѣ въ половинѣ ноября (если только цензура его пропуститъ). Остается тебѣ подшпоривать Толстого, чтобы онъ доставилъ „Юность“ или Кавказскую повѣсть къ январской книжкѣ.—Я ему писалъ въ отвѣтъ на его письмо и также просилъ не лѣниться; напоминалъ ему также о запискахъ его брата о Кавказѣ, которыя *прелестны*, и должны появиться въ Современникѣ.—Кромѣ того у меня до новаго года будетъ готова статья подъ заглавіемъ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“. Если ты найдешь нужнымъ, можешь помѣстить это въ объявленіи.—Я очень радъ, что „Фаустъ“ въ окончательномъ видѣ тебѣ понравился; дай Богъ, чтобы онъ понравился также публикѣ.—Вы хорошо дѣлаете, что помѣщаете переводъ Гётева „Фауста“; боюсь только, чтобы этотъ колоссъ, даже въ (вѣроятно) недостаточномъ переводѣ Струговщикова, не раздавилъ бы моего червячка; но это участь маленькихъ — и ей должно покориться. — Благодарю тебя также за то, что ты позаботился насчетъ высылки Современника; ты будешь получать отъ меня аккуратный отчетъ моихъ впечатлѣній, мои замѣтки и т. д. — Я какъ только попаду въ Парижъ, познакомлюсь почти со всѣми литераторами, но что изъ этого выйдетъ — узнаешь послѣ.

Когда будешь писать Островскому, поклонись ему отъ меня и скажи, что я душевно сожалѣю о постигшемъ его несчастіи.

Напиши Григоровичу, что я ему кланяюсь и жму руку — и также прошу сдѣлать что нибудь къ XI-му нумеру.—Дружинину скажи, чтобъ онъ прислалъ мнѣ свой адресъ; я ему, по обѣщанію, отправлю изъ Парижа небольшую вещь. Кланяюсь ему и всѣмъ петербургскимъ друзьямъ: Языкову, Гончарову и т. д., и т. д.

Кстати, если „Король Лиръ“ появится въ декабрской книжкѣ, то я думаю, не худо бы „Нахлѣбника“ отложить до января.

Прощай, будь здоровъ. Изъ Парижа напишу тебѣ тотчасъ и адресъ вышлю.—Прошу тебя выслать за „Фауста“ деньги poste restante. *Твой Ив. Тургеневъ.*

PS. Жму руку Чернышевскому. — Продолжаются его статьи о Гоголевскомъ періодѣ?

11.

Парижъ. 10 ноября н. с. 1856.

Милый Панаевъ! Я получилъ высланные тобою 800 фр. и благодарю.— Также получилъ я черезъ Брандуса авг. и сент. № Современника—и хотя не все успѣлъ прочесть (у меня ихъ пріятели утащили, я надняхъ получу ихъ обратно) — однако самое любопытное просмотрѣлъ и скажу, что я обоими нумерами доволенъ. Статья Чернышевскаго меня искренно порадовала; только я нахожу, что онъ нѣсколько безцеремонно обходится съ живыми людьми, разсматривая ихъ частную жизнь съ исторической точки зрѣнія. Иные, пожалуй, разсердятся, а иные струсятъ и закричатъ. — Сознаюсь, что при выбранномъ имъ предметѣ трудно было совершенно избѣгнуть это неудобство, но всетаки считаю своею обязанностью это замѣтить. А статья прекрасна и иныя страницы меня истинно тронули.—Очерки Берга очень милы. Статья Лайбова весьма дѣльна (кто этотъ Лайбовъ?). Благодарю тебя за твое хорошее мнѣніе о моей дѣятельности и любви къ Современнику; могу тебя увѣрить, что я—какъ говорится про добрыхъ пристяжныхъ — постромки не отпущу ни на минуту, только вы съ своей стороны тяните дружно.

Я теперь окончательно поселился — Rue de Rivoli, № 206; ты мнѣ впередъ poste restante уже не пиши.—Я уже принялся за работу; одно меня нѣсколько огорчаетъ: проклятый мой пузырь, который 6 лѣтъ молчалъ, опять разболѣлся, должно быть, подъ вліяніемъ здѣшняго климата (я эту невралгію здѣсь схватилъ); боюсь я, какъ бы онъ не помѣшалъ мнѣ работать. Но авось, Богъ милостивъ, это угомонится! Очень радуюсь я успѣху моего „Фауста“, радуюсь за себя и за Совр. Надо надѣяться, что подписка на будущій годъ будетъ удовлетворительна.

Ну, прощай пока, будь здоровъ. Я принялся за „Нахлѣбника“ и постараюсь въ самомъ скоромъ времени его выслать, а тамъ статью о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ, тамъ повѣсть, лишь бы здоровье не измѣнило!

Поклонись отъ меня всѣмъ добрымъ пріятелямъ: Языкову и др. — Жму тебѣ руку и остаюсь *душевно тебѣ преданный Ив. Тургеневъ.*

12.

Парижъ. 16/28 декабря 1856.

Любезный Панаевъ! Я получилъ твое письмо сегодня и сегодня же отвѣчаю.—Глупая моя болѣзнь дѣйствительно помѣшала мнѣ работать и я не въ состояніи окончить мою большую повѣсть ко 2 № Совр. будущаго года. Предчувствуя эту бѣду, я уже отложилъ ее въ сторону и принялся за „Гамлета и Д.-Кихота", котораго окончу непремѣнно на-дняхъ — и тотчасъ вышлю. Сверхъ того я постараюсь написать хотя небольшой разсказъ, мысль котораго уже совершенно готова въ моей головѣ.—Но за это я не столько ручаюсь—а насчетъ „Гамл. и Д.-Ких." ты можешь быть совершенно покоенъ: онъ будетъ у тебя въ началѣ января — въ этомъ я даю тебѣ честное слово.

Я получилъ „Б. для Чт." Дружинина и 2 книжки Толстого; но XI-го № Современника при нихъ не было. — Надѣюсь, что его мнѣ вышлютъ (если уже не выслали) съ XII-мъ, т. е. декабрскимъ.

Помѣщены ли опечатки въ „Фаустѣ"?

Я послалъ черезъ Лонгинова редактору Моск—ъ Вѣдомостей письмо въ отвѣтъ на выходку Каткова. Оно написано въ совершенно умѣренномъ тонѣ. Я ограничиваюсь только тѣмъ, что объявляю себѣ свободнымъ отъ обязанности дать имъ повѣсть.

Теперь я эти „Призраки" непремѣнно окончу и помѣщу ихъ въ Совр—ѣ хотя бы для того, чтобы доказать г-ну Каткову что „Призраки" не „Фаустъ".

Прошу тебя, когда появится это письмо въ Моск. Вѣд. — перепечатать его въ Современникѣ (въ журнальныхъ замѣткахъ) безъ особенныхъ комментаріевъ.

Радуюсь появленію „Юности" и умиротворенію самого Толстого— это очень хорошо. Но плохо то, что другіе участники бездѣйствуютъ. Я увѣряю тебя, что еслибы не эта мерзость, которая свалилась на меня какъ снѣгъ на голову, я бы везъ какъ лошадь, но къ счастью дѣла, кажется, теперь поправляются—и я постараюсь вознаградить потерянное время.

Непріятность, случившаяся съ Современникомъ, огорчила меня; дай Богъ, чтобъ Лажечниковъ оказался путнымъ цензоромъ и не черкалъ бы.

Я также готовлю статью о современномъ состояніи французской литературы, которую я изучаю на мѣстѣ. Я уже познакомился со многими литераторами, особенно молодыми; отраднаго пока мало.—Что будетъ дальше.

Прощай и будь здоровъ. Повторяю тебѣ, насчетъ 2 № не безпокойся.—Поклонись всѣмъ добрымъ пріятелямъ, а я остаюсь *преданный тебѣ Ив. Тургеневъ.*

13.

Парижъ. 12/24 января 1857 г.

Письмо мое огорчитъ тебя, милый Панаевъ, я это знаю напередъ: фунтъ конфектъ ты проигралъ и ко 2-му № „Совр.“ я ничего прислать не могу. Единственнымъ, хотя горькимъ утѣшеніемъ служитъ мнѣ то, что въ моей неисправности не я виноватъ, а моя болѣзнь. Я знаю, вы всѣ не вѣрите ни въ мои недуги, ни въ мою любовь къ охотѣ; къ сожалѣнію болѣзнь моя слишкомъ дѣйствительна. Пузырь у меня заболѣлъ, какъ только я попалъ въ Парижъ, а въ послѣднее время у меня открылась сперматоррея, т. е. непроизвольное истеченіе ..... —болѣзнь чрезвычайно гадкая и упорная, отъ которой я уже принужденъ былъ подвергнуться операціи и т. д. и т. д. Болѣзнь эта имѣетъ свойство ужасно дѣйствовать на нервы и на нравственное состояніе души—и я теперь столь же способенъ писать, сколь способенъ пѣть или плясать на канатѣ. Единственную недостающую страницу въ разсказѣ, назначенномъ Дружинину, осилить не могу—только жду, чтобы отпустили меня и брошу проклятый Парижъ.

Могу только предложить слѣдующее: попробуйте напечатать „Нахлѣбника“; мнѣ Анненковъ пишетъ, что теперь его, пожалуй, позволятъ. Если его пропустятъ (списки достать, я думаю, легко), *то поручаю Толстому держать корректуру*, а въ случаѣ надобности—сдѣлать поправки и сокращенія. Попроси его отъ моего имени объ этомъ, а я на его письмо отвѣчу, какъ только почувствую себя въ духѣ: очень оно меня обрадовало. Да кстати, я писалъ Анненкову, чтобы *непремѣнно* выкинули изъ „*Помѣщика*“ (котораго я, вижу, хотятъ перепечатывать въ „Для легкаго чтенія“) строфу объ Аксаковѣ (она кончается такъ: „Западныхъ людей бранитъ и пишетъ донесенья“), а то я принужденъ буду печатно протестовать противъ распоряженія моей собственностью. Пожалуйста сообщи это Давыдову и въ случаѣ нужды, потребуй перепечатки. Если бъ мой разсказъ для „Б. для Чт.“ пришелъ вовремя и если бы Др. согласился, то можно бы его напечатать—а я Дружинину доставилъ бы другой, но все это гадательно.

Да, что дѣлать: l'homme propose et le пузырь dispose. Делавò тоже глазами хлопаетъ и статью о французской литературѣ не написалъ, я уже думаю обратиться къ León de Wailly. — Словомъ, все идетъ какъ черезъ пень колоду.

Если мнѣ полегчитъ, я къ 9-му № что нибудь сдѣлаю—но ничего рѣшительно обѣщать не могу.

Но письмо такъ неутѣшительно, что лучше поскорѣй его кончить. Прощай и не брани меня — я бы давно это тебѣ написалъ, но я до послѣдней минуты все надѣялся. *Твой Ив. Тургеневъ.*

14.

Парижъ. 6/18 марта 1857 г.

Милый Панаевъ! Я у тебя въ долгу—не отвѣчалъ еще на твое последнее письмо—но мнѣ было такъ во всѣхъ отношеніяхъ скверно, что рѣшительно въ голову ничего не шло.

И теперь мнѣ не лучше, но меня поддерживаетъ мысль, что я скоро оставлю Парижъ.... Однако недѣли три еще здѣсь прожить придется.

Вчера получилъ я отъ Вульфа письмо, изъ котораго вижу, что мою комедію пропустили. Очень этому радъ—а то бы мое сотрудничество оказалось дѣйствительнымъ „пуффомъ".—Работать я совершенно не въ состояніи.—Но напрасно ты полагаешь, что моя статья „Гамл. и Д.-К." не начата вовсе; она, напротивъ, почти совсѣмъ готова и еслибы я могъ надѣяться хотя на маленькую перемежку—я бы скоро ее выслалъ. Обѣщать въ моемъ положеніи ничего не могу, но буду стараться.

Прошу тебя съ полученіемъ сего письма приказать послать мнѣ „Чужой хлѣбъ" по *почтѣ*—отдѣльными листами, на мой счетъ; прошу тебя не забыть этого. Мартовская книжка Совр-а меня уже здѣсь не застанетъ—я распоряжусь здѣсь, чтобы мнѣ ее переслали въ Лондонъ, но комедія моя меня еще застанетъ, особенно если ее пошлютъ по почтѣ.

2 № Современника вчера получилъ; жиденекъ онъ, особенно въ сравненіи съ блестящимъ 2-мъ нумеромъ „Б. для Чт.".

Всѣ письма, приходящія изъ Петербурга на имя Некрасова, я, съ его разрѣшенія, распечатываю и пересылаю немедленно въ Римъ.

Толстой кончилъ надняхъ отличную

(окончаніе утрачено).

15.

Парижъ $\frac{7 \text{ апрѣля}}{26 \text{ марта}}$ *1857 г.*

Милый Панаевъ! Спасибо за письмо и за высылку комедіи, которую я получилъ.

Теперь у меня до тебя слѣдующая просьба: Сдѣлай одолженіе, выдай немедленно Д. Колбасину слѣдующіе 240 р. сер. за „Чужой хлѣбъ" (считая по 75 р. за листъ, какъ сказано въ условіи), да недоставшіе 50 р. за „Фауста" („Фауста" я положилъ по 100 р., потому что онъ не попалъ въ счётъ статей по контракту).

Эти деньги мнѣ крайне нужны и Колбасинъ мнѣ ихъ тотчасъ вышлетъ вмѣстѣ съ другими, которыя у него находятся.—Надѣюсь на твою дружбу.

Письмо твое было сообщено Толстому и онъ велѣлъ тебѣ сказать, что вышлетъ свою повѣсть, какъ только кончитъ ее. — Онъ прилежно трудится надъ ея переправкой — а вещь будетъ славная. — Во всякомъ случаѣ должно навѣрное полагать, что къ маю поспѣетъ.

Здоровье мое нѣсколько поправилось—и я, пожалуй, чего добраго, кончу „Гамл. и Д.-К." до отъѣзда въ Лондонъ, т. е. черезъ три недѣли.— Въ Лондонѣ я, вѣроятно, если Сатана не впутается, буду здоровъ и

авось примусь за работу. Если же не въ Лондонѣ, то во время пребыванія моего на водахъ въ Германіи (мнѣ непремѣнно надо полечиться)—я что нибудь сдѣлаю и пришлю.

Я радъ, что твое здоровье поправляется. Стары мы, братъ, стали, круто подъ гору пошло.

Отъ Некрасова я давно не имѣю извѣстій.

Прощай, братъ, поправляйся. Пожалуйста, исполни мою просьбу. *Твой Ив. Тургеневъ.*

16.

Лондонъ. 25 мая 1857 г.

Я здѣсь со вчерашняго дня, любезный другъ Иванъ Ивановичъ—думаю провесть въ Англіи дней около 15 или 20, а тамъ ѣду въ Германію на воды, на какія именно—еще не знаю, но какъ только я попаду туда, извѣщу тебя.

Въ уединеніи воднаго леченія и при здоровьи я надѣюсь работать и хоть что нибудь сдѣлать для Современника, но это дѣло впереди—а теперь спѣшу тебя извѣстить о слѣдующемъ:

Нѣсколько дней тому назадъ, я отправилъ на твое имя въ С.-Петербургъ изъ Парижа картину, писанную масляными красками (головку (отрѣзано). Боткина, (отрѣзано).

оставлю себѣ.—Получивши ее, ты ее раскупорь и повѣсь ее у себя на стѣнѣ до моего прибытія. Еслибы пришлось что нибудь заплатить на таможнѣ или другія какія нибудь издержки, ты это сдѣлай—а мы сочтемся.

Некрасова я оставилъ въ Парижѣ, онъ лечится у Panè—и пробудетъ тамъ недѣли съ двѣ—а потомъ мы, я думаю, вмѣстѣ поѣдемъ въ Германію.

И такъ будь здоровъ—и до свиданія въ сентябрѣ. Я тебѣ напишу съ мѣста леченія.

(отрѣзано).

17.

Зинцигъ. 4/16 іюля 1857 г.

Любезный другъ! Некрасовъ, вѣроятно, уже давно въ Петербургѣ и получилъ мое письмо, которое я послалъ къ нему на другой день моего пріѣзда сюда, недѣли двѣ тому назадъ.—Въ случаѣ однако, еслибы оно затерялось, то увѣдомляю тебя, что я нахожусь въ городѣ Зинцигѣ на лѣвомъ берегу Рейна, невдалекѣ отъ Бонна, и пью воды. Кажется, онѣ мнѣ помогаютъ; сверхъ того я беру ванны. Я останусь здѣсь до 20 августа, а 20 сентября непремѣнно буду въ Петербургѣ и, если не ошибаюсь, привезу съ собою повѣсть, которую я здѣсь началъ и, Богъ дастъ, кончу.—Странно было мнѣ приниматься за перо, послѣ годоваго бездѣйствія, и сначала

трудно было, потомъ пошло полегче. Я просилъ Некрасова выслать мнѣ сюда 250 р. сер. или 300, если возможно, въ счетъ будущихъ работъ. Надѣюсь, что онъ уже исполнилъ мою просьбу, если же нѣтъ, то попроси его выслать мнѣ эти деньги тотчасъ, на имя какого нибудь франкфуртскаго банкира; мой адресъ: Sinzig, bei Remagen am Rhein, Regierungsbezirk Coblentz.

Увѣдомь меня также, получилъ ли ты высланную мною картину Грёза? — Я просилъ тебя ее подержать у себя до моего прибытія.

Напиши мнѣ также окончательное число подписчиковъ на Совр. въ нынѣшнемъ году.

Кланяюсь всѣмъ знакомымъ, Авдотьѣ Яковлевнѣ и т. д. Надѣюсь увидѣть тебя мѣсяца черезъ два съ небольшимъ и тогда дружно приняться за Совр. Пока, будь здоровъ и прощай. *Твой Ив. Тургеневъ.*

PS. Жду отъ тебя письма.

18.

Римъ. 1/13 января 1858 г.

Милый Панаевъ! Мѣсяцъ тому назадъ, когда я посылалъ вамъ мою повѣсть, мнѣ было такъ плохо, что я никакъ не надѣялся остаться въ Римѣ и сказалъ тебѣ, чтобы ты отвѣчалъ мнѣ въ Вѣну poste restante; но съ тѣхъ поръ мое здоровье немного поправилось—и я остаюсь здѣсь до конца зимы, а потому если ты до сихъ поръ еще не отвѣчалъ мнѣ, покорно прошу тебя отвѣтить мнѣ немедленно на слѣдующіе пункты:

1. Получили ли вы мою повѣсть и напечатали ли ее или отложили до другаго нумера? Если напечатали, пожалуйста пришли мнѣ ее какъ говорится sous bande—или лучше просто письмомъ.

2. Выслали ли 600 фр. Гюману въ Парижъ?

3. Выслали ли сюда Анненковскія книги, декабрскій Современникъ и Русскій Вѣстникъ?

4. Сколько мнѣ приходилось по окончательному расчету и за „Асю“ денегъ?

Надѣюсь, что ты будешь такъ добръ и отвѣтишь мнѣ акуратно по всѣмъ этимъ пунктамъ. Пиши мнѣ poste restante, сюда.—Очень я буду тебѣ обязанъ, если ты немедленно отвѣтишь.

Я теперь принялся за большую повѣсть, которую надѣюсь привезть съ собой въ Россію въ маѣ мѣсяцѣ вмѣстѣ съ нескончаемымъ „Гамлетомъ и Д.-К.“.

Будь здоровъ, обнимаю тебя и остаюсь *преданный тебѣ Ив. Тургеневъ.*

19.

С. Спасское. 9 іюня 1858 г.

Милый Панаевъ! Пишу тебѣ на-скоро два слова подъ вліяніемъ извѣстія о смерти Иванова; сдѣлай одолженіе, сообщи мнѣ всѣ подробности

этой непонятной смерти.—Надѣюсь, что ты исполнишь мою просьбу.— О себѣ тебѣ скажу, что я здоровъ, ѣзжу на охоту и ѣмъ все, хотя холера опять появилась въ близости.

Кланяюсь всѣмъ друзьямъ и жму тебя руку. Сообщи, если что слышалъ о Боткинѣ, объ Анненковѣ и т. д. *Твой Ив. Тургеневъ.*

20.

Любезный Панаевъ! Вотъ тебѣ (правда, немного поздно) 3 первыхъ № „Московскаго Вѣстника", прочти ихъ поскорѣе и помѣсти въ запискахъ Новаго поэта, расхваливши въ прахъ. Пожалуйста, сдѣлай это. *Твой Ив. Тургеневъ.*

С.-Петербургъ. Среда.
(1859)

II. ПИСЬМА А. В. ГОЛОВНИНА.

1.

1 янв.

На-дняхъ я буду защищать наши журналы. Потрудитесь доставить дня черезъ два оружіе указаніемъ на статьи, въ которыхъ вы помогали правительству. *Головнинъ.*

2.

Пятница.

Мнѣ чрезвычайно жаль, почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, что я не былъ дома оба раза, когда вы заходили ко мнѣ.

Сдѣлайте мнѣ большое удовольствіе провести у меня вечеръ въ *понедѣльникъ* и примите впередъ мою благодарность. *Предан. Головнинъ.*

3.

Воскресенье.

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, мнѣ очень и очень нужно бы васъ видѣть и я буду премного благодаренъ, если вы зайдете ко мнѣ сегодня въ 7 час. вечера. Я пришелъ бы самъ, но рѣшительно некогда. *Пред. Головнинъ.*

(На бумагѣ водяной знакъ: 1860).

4.

23 января.

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ! Посылаю вамъ еще записку о тѣхъ свѣдѣніяхъ изъ нашихъ губерній, которыя желательно бы собрать объ учебныхъ заведеніяхъ.

Я уже сдѣлалъ распоряженіе, чтобы вамъ были доставлены 5 т. р. для раздачи по вашему усмотрѣнію тѣмъ лицамъ, которыхъ вы отправите по Россіи и за границу. *Покорный слуга Головнинъ.*

(Тоже).

5.

24 января.

По случаю публикованія государ. росписи и назначенія новаго министра финансовъ потрудитесь, почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, сообщить мнѣ имя, отчество, фамилію и адресъ вашихъ финансовыхъ сотрудниковъ, чтобы м-ръ фин. могъ съ ними познакомиться и доставить имъ матеріалы. *Покорный слуга Головнинъ.*

(Тоже). (Помѣта Панаева):

Григорій Захаровичъ Елисѣевъ на Литейной, близъ Невскаго, домъ Целибѣевой.

Николай Александровичъ Серно-Соловьевичъ на Царскосельскомъ проспектѣ, въ собственномъ домѣ (противъ часовни).

Николай Гавриловичъ Чернышевскій у Владимірской, домъ Есауловой.

6.

11 февраля.

Я слышалъ, почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, что готовится какое-то письмо мнѣ о г. Щаповѣ. Увѣдомьте пожалуста, что̀ вы объ этомъ знаете. Тутъ надобно поступить очень осторожно, чтобы достигнуть цѣли. *Преданный Головнинъ.*

7.

17 февраля.

Сегодня Государь пожаловалъ Островскому за „Кузьму Минина“ перстень въ 500 р. *Преданный Головнинъ.*

8.

Понедѣльникъ.

Мнѣ очень нужно васъ видѣть, почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, по дѣлу, которое прямо васъ касается, и потому прошу васъ потрудиться зайти ко мнѣ сегодня на нѣсколько минутъ въ $7^1/_2$ ч. вечера. *Головнинъ.*

9.

Воскресенье.

Потрудитесь, почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, сообщить мнѣ нѣсколько вопросовъ и потомъ повременамъ повторять подобные о томъ,

что можно и чего нельзя печатать, напр. о пользѣ гласности бюджета. Не зайдете-ли ко мнѣ на нѣсколько минутъ сегодня въ 8 ч. *Преданный Головнинъ.*

10.

Четвергъ.

Почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ. Увѣдомьте меня, пожалуста, когда ѣдетъ г. Пыпинъ. Мнѣ очень хотѣлось бы видѣть его передъ отъѣздомъ и узнать не нужны ли ему рекомендательныя письма и куда.—Я подписался на „Современникъ", но еще не получилъ I-й книжки. Будьте пожалуста столь же благосклонны ко мнѣ, какъ и къ прочимъ вашимъ подписчикамъ. *Преданный Головнинъ.*

III. ЗАПИСКА Б. Н. МАНСУРОВА.

Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ. Весьма сожалѣю о вашей болѣзни и буду имѣть честь ждать васъ въ четвергъ въ 12 часовъ. *Преданный вамъ покорнѣйшій слуга Б. Мансуровъ.*

5 февраля.

IV. ПИСЬМА В. П. БОТКИНА.

1.

Москва. 29 мая 1856.

Милѣйшій Иванъ Ивановичъ, съ великою радостью получилъ я твое письмецо, изъ котораго вижу, что обѣщаніе твое пріѣхать ко мнѣ въ Кунцово—не останется одною фантазіею. Жду тебя съ величайшею радостью и нетерпѣніемъ. Пріѣзжай съ работой, поживемъ тихо и хорошо. Мѣста у меня много, такъ что у тебя будетъ совсѣмъ особая комната.—Есть и купанье отличное. Только одно кажется плохо: въ Кунцовѣ клубника плохо растетъ — да и ее ты вѣроятно съумѣешь отыскать. Зачѣмъ же только дней на 10 хочешь ты пріѣхать; если тебѣ понравится—почему не пожить подольше? Вѣдь и тебѣ будетъ пріятно подышать свѣжимъ воздухомъ. И такъ я жду тебя съ радостью и нетерпѣніемъ.

До скораго свиданія, милѣйшій другъ!

Я отъ Некрасова давно ничего не имѣю; писалъ ему, но отвѣта не получалъ. Что съ нимъ?

Жду я Григоровича, который около 7 іюня будто бы долженъ быть въ Спб. Тургеневъ писалъ, что будетъ сегодня, но на него нельзя разсчитывать.

Пожалуста пріѣзжай. Душевно преданный тебѣ *В. Боткинъ.*

Милѣйшему Ивану Павловичу и Языкову сердечный мой поклонъ.

2.

Нижній. 19 августа 1856.

Вотъ ужъ и второе письмо отъ тебя, любезный другъ Иванъ Ивановичъ,—а я до-сихъ-поръ не собрался отвѣтить тебѣ на первое. Дѣло въ томъ, что голова набита такою дрянью, что нѣтъ возможности привесть себя въ ясное сознаніе. Надежда моя, что и я улучу здѣсь время заняться и поработать—оказалась напрасною. Безпрестанные перерывы не даютъ сосредоточиться въ себѣ, и я до-сихъ-поръ не могъ ни за что приняться. Разныя дѣловыя соображенія по неволѣ устремляютъ смыслъ въ одну сторону,—въ душѣ пустота — а голова въ сухой и тупой дѣятельности. Нечего дѣлать—надо ужъ оставить до Москвы. Даже читаю здѣсь очень мало, а серьезнаго и вовсе не могу читать. Получилъ я здѣсь „Современникъ“ за августъ. Этотъ № недуренъ. Статья Берга—вяла, но по предмету теперь прочтется съ любопытствомъ, а вялость произошла отъ того, что бѣдный Бергъ вовсе не знаетъ ни по французски, ни по нѣмецки—это я знаю достовѣрно—отъ этого всѣ бесѣды его съ франц. полковникомъ вышли такія безхарактерныя, безличныя и такія скучныя.—А повѣсть Надеждина порядочная. Она, какъ мнѣ кажется, была исправлена, и оттого читается свободно, — хотя говоря вообще, авторъ не отличается ни мыслію, ни какимъ либо дарованіемъ. Это одинъ изъ сносныхъ разскащиковъ и болѣе ничего; не глупъ — да и не уменъ—середка на половинѣ или попросту не безполезная посредственность. Но картины помѣщичьяго житья набросаны очень недурно и еслибъ въ сознаніи автора было какое нибудь поэтическое воззрѣніе—повѣсть могла бы выйти даже очень хорошею. Статья г. Лайбова къ сожалѣнію суха, равно какъ и критика. Но вообще книжка почтенная.—

Наконецъ Некрасовъ таки собрался и уѣхалъ. Я убѣжденъ, что житье за границей принесетъ ему во всѣхъ отношеніяхъ большую пользу. Ужасно интересуетъ меня разговоръ его „вмѣсто предисловія“. Изъ напечатанныхъ въ этой книжкѣ стихотвореній два очень хороши, а „Баллада“ хотя для насъ и не имѣетъ собственно значенія, но большинство публики будетъ весьма читать ее.

Спасибо тебѣ, любезный другъ, за твое приглашеніе; ужъ конечно съ великою радостью воспользуюсь имъ—и мы съ тобой отлично поживемъ вмѣстѣ; лишь бы только вырваться мнѣ изъ Москвы да подольше побыть въ Петерб. Я здѣсь видѣлъ Потѣхина, который сказывалъ мнѣ, что Островскій вывихнулъ себѣ ногу и лежитъ въ какомъ-то городѣ.

Прочелъ я статью Кирѣевскаго (въ „Бесѣдѣ“)—отличная! Какимъ глубокимъ умомъ и свѣдѣніями обладаетъ этотъ человѣкъ! Но основная мысль статьи кажется мнѣ утопическою. То гармоническое единство мышленія и бытія, къ которому онъ стремится и которое теперь считаетъ возможнымъ, увы! давно миновалось. — Оно существовало только въ тѣ эпохи, когда человѣкъ принималъ свои воззрѣнія и представленія о мірѣ за непреложную и вѣчную истину. Пока прощай! Весь твой *В. Боткинъ.*

Я боюсь, чтобы Чернышевскій не надоѣлъ читателямъ своими іереміадами. Онъ имѣетъ благороднѣйшую основу—но съ ними нужно обращаться осторожно и не употреблять имена часто всуе.

V. ПИСЬМО П. К. ЩЕБАЛЬСКАГО.

Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ! Спѣшу благодарить васъ за лестное для меня приглашеніе участвовать въ „Современникѣ", а равно и за нѣсколько обязательныхъ словъ, сказанныхъ имъ въ свое время о моей статьѣ, которая скоро выйдетъ особою книжкой и повергнется милостивому его вниманію.

Когда изготовлю что нибудь соотвѣтствующее его видамъ и требованіямъ, — чего до сихъ поръ не смѣлъ вполнѣ надѣяться касательно „Царевны Софіи",—то за особую честь сочту прислать въ вашъ журналъ; но не знаю скоро ли это будетъ, потому что служебныя обязанности оставляютъ мнѣ не много свободнаго времени.

Прошу васъ принять увѣреніе въ совершенномъ уваженіи вашего покорнаго слуги. *П. Щебальскій.*

19 августа.

VI. ПИСЬМО А. Н. ОСТРОВСКАГО.

Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ! Получивъ ваше письмо я принялся за работу и хотѣлъ отвѣчать самымъ дѣломъ, т. е. выслать вамъ поскорѣе разсказъ; но силы не позволяютъ, я все еще лежу и не вижу конца своимъ страданіямъ. Повѣрьте что я всею душою преданъ „Современнику" и только совершенная невозможность удерживаетъ меня отъ исполненія обѣщанія. Обойдитесь пока безъ меня; по выздоровленіи я надѣюсь вознаградить потерянное время. Поклонитесь отъ меня Александру Васильевичу, я ему очень благодаренъ за память обо мнѣ. Ради Бога не сердитесь. Преданный вамъ *А. Островскій.*

12 октября 1856 г.

VII. ПИСЬМО ГР. Л. Н. ТОЛСТАГО (КЪ НЕКРАСОВУ).

Милостивый Государь Николай Алексѣевичъ! Вы уже должны были получить статью мою: *Севастополь въ декабрѣ* и обѣщаніе статьи Столыпина. Вотъ она. Несмотря на дикую орѳографію этой рукописи,

которую вы уже сами распорядитесь исправить, ежели она будетъ напечатана безъ цензурныхъ вырѣзокъ, чего старался всѣми силами избѣжать авторъ.—Вы согласитесь, я надѣюсь, что статей такихъ военныхъ или очень мало или вовсе не печатается у насъ къ несчастію. Можетъ быть съ этимъ же курьеромъ пошлется статья Сакена, о которой ничего не говорю, и которую, надѣюсь, вы не напечатаете. Поправки сдѣланы черными чернилами Хрулевымъ лѣвой рукой, потому что правая ранена. Столыпинъ проситъ помѣстить ихъ въ выноскахъ. Пожалуйста, ежели можно, помѣстите какъ мою, такъ и Столыпинскую въ іюньской книжкѣ. Теперь мы всѣ собрались и литературное общество надшаго журнала начинаетъ организоваться и, какъ я вамъ писалъ, ежемѣсячно вы будете получать отъ меня 2, 3 или 4 статьи *современнаго* военнаго содержанія. Лучшіе 2 сотрудника Бакунинъ и Ростовцевъ еще не успѣли кончить своихъ статей. Будьте такъ добры отвѣчайте мнѣ и пишите вообще съ этимъ курьеромъ, адъютантомъ Горчакова, и съ будущими, которые безпрестанно снуютъ отъ васъ и сюда.

Затѣмъ съ совершеннымъ уваженіемъ имѣю честь быть вашъ покорный слуга *Гр. Л. Толстой.*

30 апрѣля.
Севастополь.

VIII. ПИСЬМО М. Н. ЛОНГИНОВА.

Москва. 2-го іюня 1857 г.

Les beaux esprits se rencontrent. Ты писалъ ко мнѣ, любезный другъ Панаевъ, почти въ то же время, когда и я съ своей стороны адресовалъ къ тебѣ мою послѣднюю цидулку. Изъ приложенія къ ней ты можешь убѣдиться, что я ни на минуту не помышлялъ о томъ, чтобы старый другъ „Современникъ“ пересталъ быть постояннымъ депо моихъ чернокнижныхъ занятій (какъ говоритъ Ипатъ). Кстати, сообщу тебѣ подробности, которыя ты желаешь знать о Молвѣ и славянофилахъ, равно и о моихъ отношеніяхъ къ нимъ. „Молва“ должна была издаваться Петромъ Ив. Бартеневымъ, отличнымъ библіографомъ, скромнымъ, благороднымъ труженникомъ, котораго я душевно люблю и обѣщалъ ему посильное содѣйствіе. Барт. славянофилъ, но человѣкъ опытный и самостоятельный; при немъ газета была бы дѣльна и умѣренна; но ему не разрѣшило издавать ее начальство Архива, гдѣ онъ служитъ. Тогда выкопали кандидата Шпилевскаго, юношу, поступившаго подъ полную опеку К. Аксакова, который при своей доброй душѣ и благородствѣ страшный фанатикъ и совершенно неопытенъ въ журнальномъ дѣлѣ. Ему лишь бы высказать въ „premier-Moscou“ славянскія убѣжденія, подавая ихъ черезъ часъ по ложкѣ, а остальное все равно, такъ что мнѣ

говорили, будто иныя статьи печатаются не прочитанныя. Тутъ безъ имени остритъ Хомяковъ и пр., а разные угрюмые нули въ родѣ Безсонова (такъ я полагаю) пускаются въ неприличія. Этому дается ходъ и оттого, что все это писано въ своемъ приходѣ, который не можетъ не ругать все живое: Леонтьева, Павлова, Соловьева и пр. Тутъ поднимаются въ защиту Григорьева, въ мерзости статьи котораго не хотятъ сознаться, кажется, не столько по убѣжденію нравственному, сколько изъ духа партіи и особенно изъ стыда признаться, что Кошелевъ, человѣкъ честный и порядочный, но безтактный, просто не понялъ неприличія статьи хриплаго друга генерала Липранди. Тутъ отстаиваютъ Крылова, который рѣшительно потерянъ въ глазахъ публики, перессорился со всѣмъ факультетомъ и, говорятъ, на-дняхъ чуть не подрался съ деканомъ Баршевымъ на экзаменѣ. Крыловъ боленъ отъ желчи и досады; докторъ его хотѣлъ видѣть его экскременты, а Крыловъ подалъ ему листки „Молвы", говоря съ цинизмомъ про свои же статьи: вотъ они, мои экскременты. Это разсказывали мнѣ сами же славянофилы. Онъ готовитъ къ осени опроверженіе окончательное и проситъ попечителя приказать для бо́льшей гласности напечатать его и въ Московск. Вѣдом., которыя въ страшной враждѣ съ „Бесѣдой" и „Молвой". Аксаковъ въ деревнѣ и я его не видѣлъ съ мѣсяцъ, поэтому не успѣлъ ему высказать по совѣсти, какъ жалка „Молва" съ тѣхъ поръ особенно, какъ обозначилось ея направленіе; тамъ печатаются даже мерзости: объ отъѣздѣ литераторовъ за границу и т. п. и все отъ ожесточенія духа партіи и незнанія приличій; вотъ куда влечетъ это несчастное направленіе и честныхъ, славныхъ по сердцу людей! Они впрочемъ хотятъ принять мѣры и обуздать сотрудниковъ: глупые, ни на что неотвѣчающіе отвѣты Крылова ужъ перестали печатать и вообще помышляютъ о реформѣ. Обѣщавшись участвовать въ „Молвѣ" при началѣ, я далъ статью о театрѣ Екатерины, тѣмъ болѣе, что ни однимъ словомъ не даю въ ней чувствовать, что раздѣляю мысли несостоятельнаго славянофильства, а просто представляю факты; статья появилась въ 3 нумерахъ и въ это время Молва успѣла такъ отличиться, что я отдалъ на-дняхъ статью о поэтѣ Цыгановѣ, чисто газетную, въ Моск. Вѣд. (она напечатана въ № 66), хоть именно полагалъ такія статейки помѣщать въ Молвѣ, какъ чисто литературной газетѣ. Если она не измѣнится, то мое участіе кончено. Какъ ни ничтожно оно, но я не могу появляться въ печати между дикими статьями о Тропининѣ съ хамскими рѣчами пьянаго Рамазанова и бранными выходками на людей, достойныхъ уваженія, мнѣ близкихъ издавна. Кромѣ того Молва начинаетъ уже встрѣчать всеобщее осужденіе публики, даже не исключительныхъ западниковъ, тѣхъ, которые считаютъ Бесѣду, не смотря на ея странности, серьезнымъ журналомъ. Между тѣмъ всѣ смѣются, а многіе изъ курьеза подписываются на Молву,—такъ необходима здѣсь газета литературная. Не смотря на всѣ неудобства начала изданія въ апрѣлѣ и пр., на нее 500 подписчиковъ, чего и не ожидали славянофилы, предпринявшіе изданіе въ явный убытокъ и готовясь къ нему.

Теперь я принимаюсь за статью въ Смирдинскій сборникъ; это долгъ

всякаго, кто читаетъ и пишетъ. Но къ № 9-му Современника опять явятся мои записки и будутъ продолжаться непрерывно. Я остаюсь въ городѣ; жена же на-дняхъ переѣхала въ подмосковную за 30 верстъ и я буду ее иногда посѣщать. Какъ я радъ тебя увидѣть въ іюлѣ; пріѣзжай прямо ко мнѣ и остановись у меня; я одинъ во всемъ домѣ и открылъ пріютъ для пріѣзжихъ друзей; тебѣ будетъ покойно. Скажи Арапетову, что дѣло его кончено и въ субботу отправленъ указъ о вводѣ во владѣніе въ Звенигородъ. Обними его за меня; теперь писать некогда, а скоро пришлю ему и нумеръ указа. У насъ страшныя грозы около Москвы; дальнія молніи *безпрерывно* въ теченіе 5 и 6 часовъ свѣтятся и картины великолѣпны, громъ же иногда чуть слышится и то вдалекѣ. Прощай, будь здоровъ и напиши что у васъ? Весь твой *М. Лонгиновъ.*

IX. ПИСЬМО Д. В. ГРИГОРОВИЧА.

Брестъ 4/16 октября 1858 года.

Пишу вамъ наскоро, дорогой другъ Иванъ Ивановичъ, потому что вчера только вернулись въ Брестъ изъ Парижа и сегодня въ 6 часовъ вечера сымаемся съ якоря, чтобы идти въ Кадиксъ. Въ Парижѣ, вы понимаете, было не до писемъ! Такъ много хочется вамъ сказать, что право не знаю съ чего начать; начну съ Парижа,—это всего интереснѣе: я провелъ тамъ ровно три недѣли и такимъ образомъ: вставалъ въ 8— и мгновенно отправлялся слоняться то по городу то по окрестностямъ; смотрѣлъ мало — болѣе шлялся; я полагаю, что придерживаясь такой повидимому пустой системы, я всетаки болѣе видѣлъ, чѣмъ другіе; въ Парижѣ нравы и образъ жизни во сто кратъ достопримѣчательнѣе, чѣмъ памятники искусства. Познакомился я съ кучею народу и даже на улицѣ, на имперіалахъ, въ кафе, въ театрахъ,— словомъ, гдѣ только шелъ или сидѣлъ человѣкъ—онъ превращался уже въ знакомаго или покрайней мѣрѣ собесѣдника; все это при французской сообщительности и моей собственной дѣло не мудреное. Обѣдалъ я всегда одинъ (т. е. безъ товарища-соотечественника)—потомъ отправлялся снова шляндурствовать по бульварамъ до 8 часа — часа, когда я неминуемо каждый вечеръ устремлялся въ Мабиль, Chateau des fleurs, Prado и т. д.—Слава, которой пользуются у насъ дѣвчонки Мабиля и другихъ баловъ — рѣшительно преувеличена; хорошенькихъ мало; повѣрьте мнѣ, дорогóй, — Саша убиваетъ все это во всѣхъ отношеніяхъ! Вообще женская часть пользуется далеко не заслуженной репутаціей. До смерти жаль, что не могу по времени войти въ детали, которыхъ сотни; впрочемъ я рѣшился писать письма изъ Парижа или Франціи, гдѣ все является въ лицахъ и діалогахъ; форма такая, что день описывается за днемъ; причина этихъ писемъ то, что я не пропускалъ черты, движенія, фразы, надписи безъ того, чтобы не записывать; замѣтки вышли преинтересныя и

презабавныя и жаль было бы ихъ бросить. Михайловъ, котораго я видѣлъ въ Парижѣ, сказалъ мнѣ, что пишетъ въ Совр. письма изъ Франціи; вамъ слѣдовательно будетъ излишне печатать мои впечатлѣнія и я отошлю ихъ куда нибудь; впрочемъ, если вы хотите, скажите только слово — вы знаете, что я всегда отдаю предпочтеніе Совр. Домъ Дюма, гдѣ я жилъ, представляетъ уже самъ по себѣ громаду интереса; самъ старичина, послѣ того, что я узналъ о немъ, представляется теперь моему воображенію чѣмъ-то истинно титаническимъ. Театры парижскіе просто мерзость; я былъ въ 7 и всюду видѣлъ однѣ только волшебныя пьесы, гдѣ, надо правду сказать, глаза менѣе поражаются хорошенькими женщинами и великолѣпными декораціями, чѣмъ бенгальскимъ огнемъ, который сіяетъ съ начала пьесы и до конца. Bibelots du diable, pilules du diable, Faust и другія нелѣпости. Литература мелкихъ журналовъ— невѣроятна; это крайній предѣлъ безсилія и паденія; повѣрите-ли, что наши Щелчки, Пересмѣшники, Рододендроны и Весельчаки—лучше. Все это конечно одна сторона, но за то съ другой—съ другой! Я понялъ почему, не смотря на всеобщую ругню, весь міръ все таки валитъ въ Парижъ, заживаетъ тамъ и проживается. — Въ морѣ мнѣ хорошо; меня не качаетъ; но я рѣшительно умираю на кораблѣ отъ дурной пищи; вы знаете, какой я спартанецъ въ этомъ отношеніи—и ужъ если жалуюсь, такъ стало за дѣло. Что касается до работы—я никакъ не думалъ, что такъ много ее будетъ; это потому можетъ быть, что я пишу слишкомъ детально, добросовѣстно: до сихъ поръ еще не дошелъ до Копенгагена—а мы между тѣмъ уже въ Брестѣ, т. е. во Франціи и черезъ двѣ недѣли въ Испаніи. Я почти не принимался за повѣсть; какъ было полторы главы, такъ и теперь; мы будемъ стоять въ Ниццѣ 3 мѣсяца; деньги у насъ уже всѣ за три мѣсяца истрачены въ Парижѣ, на берегъ ѣхать не съ чѣмъ — и я думаю, что тогда догоню записки плаванія и примусь опять за повѣсть; впрочемъ, по пріѣздѣ въ Ниццу, тотчасъ напишу вамъ и Некрасову. Если вамъ не лѣнь писать мнѣ пишите скорѣе и адресуйте такимъ образомъ:

М. Г.

Италія Ville-Franche près de Nice secretaire de l'escadre russe au bord du Rétvizan *Poste restante.*

Пожалуста напишите; какъ только выѣдемъ изъ Бреста и пройдетъ парижскій хмѣль, даю вамъ обоимъ слово написать подробно о моихъ впечатлѣніяхъ, но и вы не лѣнитесь. Меня ждалъ сюрпризъ въ Парижѣ: перевели много моихъ повѣстей и даже романъ „Переселенцы", который будетъ печататься въ „Le Nord"; вы я думаю получили уже начало, потому что были въ наборѣ первые 3 фельетона; не читалъ рукописи — и не могу судить о переводѣ, но думаю, что плохо.—О похожденіяхъ моихъ мореходныхъ прочтете въ Морск. Сборн. Хочу печатать съ января. Изъ общихъ знакомыхъ попалось мнѣ въ Парижѣ одно только пріятное лицо — это Чичеринъ; я съ нимъ провелъ два-три дня и полюбилъ его. Если жить гдѣ нибудь пріятно и дешево, такъ это въ Парижѣ; я былъ у Fernande (Victor Oncevol) питательницы, у M-me Roger

de Reauvois; видѣлъ и познакомился съ м-мъ Дашъ; всѣ живутъ въ Batignoles, и за квартиру въ годъ платятъ 400 франк.—невѣроятно, а такъ и живутъ очень мило, получая отъ 3 до 4 тысячъ франковъ, не болѣе. Современемъ также думаю тамъ поселиться на годъ, если обстоятельства не измѣнятся. Но прощайте, цѣлую васъ и Некрасова. Авдотьѣ Яковлевнѣ, которую теперь только вполнѣ и много полюбилъ, кланяюсь, кланяюсь очень. Скажите ей, что ея pled у меня сохраняется, но передайте ей, что не я, а вы забыли его у меня въ каютѣ. Прощайте,—сегодня и на 15 дней предстоитъ плаваніе по океану, я уже познакомился съ нимъ и отправлюсь не безъ смущенія. До Ниццы.

Григоровичъ.

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

ПОЯСНЕНІЕ КЪ «ВОСПОМИНАНІЯМЪ».

(Изъ Современника 1861 г., № 12).

Въ «Русской рѣчи», издающейся въ Москвѣ г. Ѳеоктитовымъ, напечатана статейка по поводу «Воспоминаній» г. Панаева, въ которой между прочимъ сказано:

«Очевидно, что г. Панаевъ, говоря о «*Воспоминаніяхъ* и *Запискахъ Багрова*», разумѣетъ книгу, раздѣленную на двѣ части и вышедшую подъ заглавіемъ: «*Семейная хроника и воспоминанія*», потому что книги подъ заглавіемъ: «*Записки Багрова*» никогда не было, и всѣмъ извѣстно, что только «*Семейная хроника*» доставила С. Т. Аксакову ту заслуженную славу и тотъ общій почетъ (мы позволяемъ себѣ говорить общій, хотя г. Панаевъ и не удостоилъ его своимъ одобреніемъ), которыми онъ пользовался въ послѣдніе три года своей жизни.

«Изъ «*Семейной Хроники*» былъ напечатанъ, *безъ подписи автора*, небольшой отрывокъ, на шести страницахъ, въ *Московскомъ Сборникѣ 1846 г.*, потомъ въ *Москвитянинѣ 1854 г.* былъ напечатанъ «Шушеринъ» и еще небольшой отрывокъ изъ *Семейной хроники* — въ смѣси. «Шушеринъ» былъ замѣченъ, но весьма воздержно похваленъ; отрывокъ изъ «*Семейной хроники*» не обратилъ на себя рѣшительно никакого вниманія.

«Успѣхъ *Записокъ Ружейнаго охотника* Оренбургской губерн., хотя и былъ значителенъ, однако никогда и никому не подавалъ повода ставить С. Т. Аксакова такъ высоко, какъ онъ былъ поставленъ впослѣдствіи. Но «*Семейная хроника и воспоминанія*» вышли въ началѣ 1856 г.

«Теперь спрашивается: какъ могъ Грановскій, скончавшійся въ 55 г., говорить о книгѣ, вышедшей въ 56, да еще черезъ два года послѣ ея появленія? Желательно, чтобъ г. Панаевъ объяснилъ намъ такой странный фактъ, и это ему вѣроятно будетъ легко потому, что онъ такъ ясно помнитъ всѣ подробности *вечера у Арапетова*», и такъ далѣе.

Г. Панаевъ просилъ насъ объяснить, что онъ прежде всего очень благодаренъ за это справедливое замѣчаніе, что книги С. Т. Аксакова подъ заглавіемъ «Записки Багрова» дѣйствительно не существовало никогда, что «Семейная Хроника и Воспоминанія» изданы точно послѣ смерти Грановскаго, что все это непростительный недосмотръ со стороны г. Панаева и что на вечерѣ у г. Арапетова Грановскій, конечно, говорилъ о вышедшихъ при его жизни сочиненіяхъ Аксакова, о которыхъ уже и тогда отзывались нѣсколько преувеличенно литературныя петербургскія и московскія знаменитости. Разговоръ этотъ не могъ быть забытъ, вѣроятно, П. В. Анненковымъ, къ которому онъ попреимуществу относился.

L.H.
8/W

YC 73389
U. C. BERKELEY LIBRARIES
C042290585